Annotation

1856 - 1864 гг.

Никитенко Александр Васильевич

Дневник. Том 2

Александр Васильевич Никитенко

ДНЕВНИК

Том II

ЗАХАРОВ МОСКВА

Тексты печатаются без сокращений по второму дополненному изданию 1904 года под ред. М.Лемке и с учетом исправлений в третьем издании “Дневника” 1955—1956 гг. под ред. И.Айзенштока.

Источник: Никитенко А. В. Записки и дневник (В 3-х книгах). — М.: Захаров, 2005. — 608 с. — (Серия “Биографии и мемуары”).

Александр Васильевич Никитенко (1804—1877) — крепостной, домашний учитель, студент, журналист, историк литературы, цензор, чиновник Министерства народного просвещения, дослужившийся до тайного советника, профессор Петербургского университета и действительный член Академии наук.

“Воспоминания и Дневник” Никитенко — уникальный документ исключительной историко-культурной ценности: в нем воссоздана объемная панорама противоречивой эпохи XIX века.

“Дневник” дает портреты многих известных лиц — влиятельных сановников и министров (Уварова, Перовского, Бенкендорфа, Норова, Ростовцева, Головнина,

Валуева), членов императорской фамилии и царедворцев, знаменитых деятелей из университетской и академической среды. Знакомый едва ли не с каждым петербургским литератором, Никитенко оставил в дневнике характеристики множества писателей разных партий и направлений: Пушкина и Булгарина, Греча и Сенковского, Погодина и Каткова, Печерина и Герцена, Кукольника и Ростопчиной, своих сослуживцев-цензоров Вяземского, Гончарова, Тютчева.

OCR: Слава Неверов slavanva($)yandex.



Содержание

ДНЕВНИК. Том 2

1856

3 января 1856 года

Новый год встретил у Авраама Сергеевича [Норова, министра народного просвещения]. Скучно. Слухи о мире.

16 января 1856 года

В массах сильно недовольны согласием на мир и принятием в нем четырех пунктов. “Драться надо, — говорят отчаянные патриоты, — драться до последней капли крови, до последнего человека”. Некоторые действительно так думают и чувствуют, как говорят. Это люди благородные, хотя и недальновидные. Но большинство крикунов состоит из лицемеров, которые хотят своим криком выказать патриотизм. Есть и такие, которые жалеют о войне как о мутной воде, где можно рыбу ловить и где они действительно и ловили ее усердно.

Правительство очень умно — слышит эти толки, но не слушается их. Государь своею уступчивостью и своим согласием на четыре пункта доказал, мне кажется, не только благородство характера и свое нежелание бесполезного кровопролития, но и умный, тонкий расчет. Он считает нужным начать с того, чтобы примириться с общественным мнением Европы, и видя, как это там хорошо принято, нельзя не согласиться, что он достиг своей цели. Он не должен, подобно отцу своему, восстанавливать против себя и России силу, которая, по выражению Талейрана, умнее и сильнее даже его и Наполеона, — общественное мнение. Николай не понимал сам, что делает. Он не взвесил всех последствий своих враждебных Европе видов — и заплатил за это жизнью, когда, наконец, последствия эти открылись ему во всем своем ужасе. Нет возможности идти дальше этим путем и нести на своих плечах коалицию всей Европы. Это все равно привело бы к миру, но уже окончательно бесславному и пагубному. Нет, тысячу раз нет! Хвала и благодарение Александру II, который имел высокое мужество отказаться от голоса самолюбия в пользу истинных выгод и истинной славы. Мы видели, каковы наши военные успехи. Хорошо кричать тем, у кого нет ответственности, а Александр отвечает не только за настоящее, но и за будущее.

20 января 1856 года

Познакомился на вечере у министра с одним из коноводов московских славянофилов, Хомяковым. Он явился в зал министра в армяке, без галстука, в красной рубашке с косым воротником и с шапкой-мурмулкой подмышкой. Говорил

неумолкно и большей частью по-французски — как и следует представителю русской народности. Встреча его со мной была несколько натянута, ибо он не без основания подозревает во мне западника. Но я поспешил бросить себе и ему под ноги доску, на которой мы могли легко сойтись. Он приехал сюда хлопотать о разрешении ему издавать славянофильский журнал, и я обратился прямо к этому предмету, сказав, что ничего не может быть желательнее, как чтобы каждый имел возможность высказывать свои убеждения. Это тотчас развязало нам языки, и мы пустились рассуждать, не опасаясь где-нибудь столкнуться лбами. Он умен, но, кажется, не без того, что называется себе на уме.

31 января 1856 года

В сегодняшнем номере “Санкт-Петербургских ведомостей” напечатано, что я утвержден в звании редактора “Журнала министерства народного просвещения” на место Сербиновича (приказ 24 января).

5 февраля 1856 года

Великий князь Константин Николаевич повелел нашей комиссии осмотреть Кронштадтское штурманское училище. Сегодня мы все отправляемся в Кронштадт.

9 февраля 1856 года

Возвратился из Кронштадта. Мы осматривали училище очень усердно. Оно в довольно хорошем состоянии; материальная часть даже весьма хороша. В учении общие недочеты, происходящие то от неправильного смешения общего образования со специальным, то от дурно организованной целой системы, и наконец, от невозможности иметь вдали от Петербурга порядочных преподавателей. Русский язык особенно плох.

В Кронштадте был у адмирала Новосильского, одного из героев Севастополя.

Он умен, обходителен, прост. Говорили об укреплениям Кронштадта, то есть о сваях, которыми обносят Кронштадт на довольно большом расстояния в море. Адмирал полагает это сильным препятствием для неприятеля. Но тем не менее то, что последний в прошедшие два года не сжег Кронштадта и не дошел до Петербурга (северным фарватером), адмирал приписывает особенной милости Божьей и неспособности или недостатку решимости английских адмиралов Я указал ему из окошка на наш флот, занимающий всю гавань, и заметил его многочисленность.

— Это ничего не значит, — сказал Новосильский, — все-таки у нас флота нет. Эти корабли не годятся для дела, потому что они не винтовые.

Об осаде Севастополя адмирал говорил, что там совершались адские дела. Уже недели за полторы до сдачи было очевидно, что мы там не удержимся, и оттуда тогда же начали вывозить пушки и снаряды. Севастополь мог считаться потерянным уже со времени чернореченского сражения. Гавань севастопольская отныне не

годится к употреблению, ибо завалена потопленными кораблями и развалинами крепости; замену ей надо будет искать в Феодосии и т.д.

Потом мы были на большом обеде в клубе, а вечером на другой день на бале. Мне показалось, что между морскими офицерами более образованных, чем между сухопутными. Общество их приятнее, особенно старых моряков.

26 февраля 1856 года

Докладывал министру программу будущих действий главного правления училищ, которую он должен лично представить государю. Авраам Сергеевич был особенно нежен и горячо выразил мне свою благодарность. “Что бы я делал без вас в подобных случаях?” — прибавил он. Вообще он был в том прекрасном настроении духа, в котором обыкновенно видит вещи ясно.

Между прочим он выразил свое огорчение по поводу статьи во французском “Дебате”, где о нем говорят как о либеральном министр.

— Когда бы это не была медвежья услуга! — заметил он. Я старался его успокоить тем, что в публике не слышно никаких двусмысленных толков по этому поводу.

Во “Франкфуртской газете”, говорят, и обо мне отзываются с похвалою. Надо прочесть, что такое.

29 февраля 1856 года

Сегодня Плетнев сказал мне следующую утешительную вещь. На прошедшей неделе государь был на домашнем спектакле у великой княгини Марии Николаевны. Давали, между прочим, пьесу графа Соллогуба “Чиновник”. В ней сказано очень много смелых вещей о безнравственности, то есть о воровстве наших властей.

По окончании спектакля государь, встретив Плетнева, сказал ему:

— Не правда ли, пьеса очень хороша?

— Она не только хороша, ваше величество, — отвечал Плетнев, — но составляет эру в нашей литературе. В ней говорится о состоянии наших общественных нравов то, чего прежде нельзя было и подумать, не только сказать во всеуслышание.

— Давно бы пора говорить это, — сказал государь. — Воровство, поверхностность, ложь и неуважение законности — вот наши главные общественные раны.

На днях был на двух литературных чтениях: у князя Вяземского, где читал свое произведение граф Лев Толстой, и у Тургенева, где читал Островский сперва небольшую пьесу “Семейная картина”, а потом драму, тоже заимствованную из русских нравов и быта.

Островский, бесспорно, даровитейший из наших современных писателей,

которые строят свои создания на народном, или, лучше сказать, простонародном элементе. Жаль только, что он односторонен — вращается все в сфере нашего купечества. Оттого он повторяется, часто воспроизводит одни и те же характеры, поет с одних и тех же мотивов. Но он знает купеческий быт в совершенстве, и он не дает одних дагерротипных изображений. У него есть комизм, юмор, есть характеры, которые выдвигаются сами собой из массы искусно расположенного материала. Сам Островский совсем не то, что о нем разглашала одна литературная партия. Он держит себя скромно, прилично; вовсе не похож на пьяницу, каким его разглашают, и даже очень приятен в обращении. Читает он свои пьесы превосходно.

5 марта 1856 года

Вечером большой раут у графа Блудова. Кого, кого там не было! Более всех я говорил с Деляновым о делах, с Хрущевым также о делах, с каким-то тайным советником все о делах, с графом — еще и еще о делах и, наконец, с графинею, дочерью Димитрия Николаевича, о деле.

Вымышленная опасность всегда более пугает, чем действительная.

Министр был у государя с докладом. Программа наша утверждена. Тут было шесть пунктов большой важности.

8 марта 1856 года

Государь изъявил свое согласие на определение меня членом главного правления училищ. Это объявил мне сам министр. Но тут же выразил что-то вроде какого-то колебания в вопросе: не лучше ли мне быть членом ученого комитета? Я на это возразил, с чем он опять согласился. Удивительный человек Авраам Сергеевич! Тяжело иметь дело с таким шатким человеком. Но тут видно влияние моих департаментских благоприятелей. Но я решился не поддаваться.

Вечером до полуночи занимался с министром.

10 марта 1856 года

Опять тревоги по милости жалкой бесхарактерности министра. Нет возможности идти с ним путем ровным, прямым и открытым, а между тем он сам хороший человек. Но вот что значит не иметь ума твердого и воли, способной решать самой, без чужих подпорок. При этом боязнь, чтобы его не уличили в зависимости от кого-нибудь.

Недели две тому назад он пригласил меня в заседание главного правления училищ как будущего члена, о чем и объявил во всеуслышание. А теперь желает сделать меня членом ученого комитета, все время повторяя, что государь изъявил согласие сделать меня членом не комитета, а правления. Когда же я не согласился на его желание, он встревожился и стал уверять, что сделает меня не только членом правления, но и председателем комитета, что я необходим, что и думать нельзя о

том, чтобы мне не быть членом правления. Ах, Авраам Сергеевич! Жалко смотреть, как он в таких случаях изворачивается.

12 марта 1856 года

Еще одна нравственная болезнь нашего так называемого мыслящего поколения — это *беглость мысли*. Мы не идем по пути мысли твердым логическим шагом, а бежим сломя голову, и притом без всякой определенной цели, часто влекомые одним только желанием отличиться я обратить на себя внимание. На этом бегу мы схватываем кое-какие идеи, познания, кое-какие убеждения без основательности, без глубины, без опоры доблестного и трезвого труда. И вот мы, великие люди, гении в собственных глазах, произносим решительные приговоры о Западе и Севере, о Юге и Востоке, о науке и литературе и прочее и прочее.

Многие ожидают от войны спасительных последствий, то есть вразумления в том, чего нам недостает и, следовательно, в том, что мы должны делать. Это, может быть, и так. Да где нам взять решимости и последовательного труда, чтобы выполнить то, что сами признаем за полезное и должное? Где нам взять честности, чтобы выполнять это не как-нибудь, а вполне сознательно, без лжи и фальши?

Мы одарены многими прекрасными способностями, кроме одной — способности делать что-нибудь из своих способностей.

Великий характер состоит в том, чтобы наполнять собой всякую сферу, в которой ему суждено пребывать и действовать.

13 марта 1856 года

Все складывается так, чтобы в конце концов заставить меня удалиться от дел, возлагаемых на меня министерством. Нечестно было бы, если бы я это сделал, не желая бороться и превозмогать препятствий, неразлучных со всякою полезною деятельностью. Но здесь не то. Судьба свела меня с человеком, у которого хорошие намерения, доброе сердце, искры ума, но нет способности управлять ходом дел, нет твердости ни в уме, ни в воле. Это солома, иногда воспламеняющаяся сама собой, но чаще от соприкосновения с огнем и гаснущая в одно мгновение. С одной стороны, он боится зависимости, с другой — готов каждую минуту попасть в руки какого-нибудь подьячего вроде Кисловского, который испугает его формою. Он — одна из начальных жертв несчастного канцеляризма, который у нас так часто заменяет правительственный разум. И странное дело, эти слабые характеры, которые боятся зависимости, всегда попадают в руки плутов и никогда не в состоянии прочно сойтись с честными людьми. Им непременно надо быть обманутыми.

Подняться на интригу, на хитрости, прикрывая это видами общественной пользы? Если бы у меня на это и хватило ловкости, то этому решительно противятся гордость и чувство человеческого достоинства, которые наполняют душу мою презрением ко всем этим пошлым маневрам. Да и стоит ли игра свеч? Подлость остается подлостью, а добро выйдет очень сомнительное.

Мой честный образ действий не понят — остается одно: уйти.

19 марта 1856 года

Не желая опять сам лично объясняться с министром, я прибег к посредничеству П.П.Татаринова. Изложив ему подробно все обстоятельства моих отношений к министру, которые, впрочем, ему и без того хорошо известны, потому что он нам обоим близкий человек, — я в заключение сказал, что если такая шаткость будет продолжаться, то я, несмотря на всю мою любовь к Аврааму Сергеевичу, принужден буду оставить все дела по министерству. П.П. взялся объясниться с ним вместо меня. Это было часов в одиннадцать утра, а в два часа П. П.был уже снова у меня. Он исполнил мое поручение. Министр, говорит он, глубоко огорчился, показал ему бумагу, в которой ходатайствует об определении меня в члены правления, и прибавил, что таким образом я впредь буду в состоянии уже сам за себя стоять. В заключение он просил его съездить ко мне и передать мне все это. Вечером мне сообщили еще, что он сильно сердился, то есть не как министр, а как друг (выражаясь сам этим словом), и просил меня завтра обедать к нему.

20 марта 1856 года

Обедал у Авраама Сергеевича. Я очень неохотно к нему отправился, ожидая длинных объяснений. Но дело обошлось короче и проще: мы опять примирились! Бумага обо мне, говорит министр, уже послана к Танееву.

22 марта 1856 года

Избран членом комиссия от 2-го отделения Академии наук для пересмотра ее постановлений. Мне очень хотелось от этого уклониться. Тут непременно наткнешься на ссору с некоторыми членами, которые во имя так называемого русского элемента хотят воевать с немцами. Я, разумеется, буду ни за русских, ни за немцев, а за то, что буду считать справедливым. Да и что это за русская партия? Давыдов со своими личными замыслами, Срезневский со своими юсами. Разве кто мешает русским отличаться в академии нравственным достоинством и учеными подвигами? Но в том-то и дело, что это труднее, чем кричать: “Вот немцы, все немцы”.

28 марта 1856 года

Читал министру написанное мною заключение к годичному отчету. Объятия.

Отчего даже очень умные и так называемые образованные люди часто служат самым мелким страстям? Оттого, что вообще и умный человек ничто, когда ему недостает возвышенных стремлений, которые одни способны внушить глубокое презрение к тому, что занимает мелких людей.

Встретил недавно Тимофеева, бывшего некогда литератором, но уже давно не

появлявшегося в печати. Я не видел его лет пятнадцать и насилу мог узнать. Лицо его, некогда довольно приятное, теперь точно опухло и заплыло жиром. Он женился, разбогател, взяв за женой огромное имение, не служит, отъедается и отпивается то в своих деревнях, то в Москве. Это был большой писака! Писание у него было род какого-то животного процесса, как бы совершавшегося без его ведома и воли. Он мало учился и мало думал. Как под мельничными жерновами, у него в мозгу все превращалось в стихи, и стихи выходили гладкие, иногда даже в них присутствовала мысль — но все-таки, кажется, без ведома автора. Журналы наполнены были его стихами. Он издал три тома своих сочинений с портретами — и вдруг замолчал и скрылся куда-то. Но вот теперь выплыл с семьей, деньгами и брюхом — уже без стихов. Впрочем, виноват, стихи есть. У него со временем развилось странное направление: он писал и прятал все написанное. У него полны ящики исписанной бумаги, которые он мне раз показывал.

— Что же вы не печатаете? — опросил я его.

— Да так, — отвечал он, — ведь я пишу, потому что пишется.

Несмотря на это, он, однако, любит кому-нибудь читать свои произведения.

30 марта 1856 года

Был на днях у московской барыни С.Н.К., которая приехала сюда на несколько дней. Боже мой! Что за сорочья болтовня, что за крохотные чувствованьица! Что за важничанье и умничанье! И все это без малейшей грации. Везде натяжка, фальшь, подделка, усилие казаться, а не быть. И какой решительный приговор над всеми: политики, литераторы, ученые, государственные люди — все так и заливаются мутными волнами этой болтовни, тонут в страшном хаосе слов, лишенных даже детского простодушия. В гостиной было еще несколько лиц — все под стать.

Когда насмотришься на этих людей и наслушаешься их, то совершенно теряешь веру в улучшение нашего нравственного и умственного была.

7 апреля 1856 года

Диспут в университете, которому подвергся мой адъюнкт Сухомлинов, ищущий степени доктора. Оппонентами были я и Касторский. Автор защищал свою диссертацию “О литературном характере древней русской летописи”. Тут много фактов. Защищался автор хорошо.

Вчера с Устряловым сделался удар во время лекции его в педагогическом институте. Впрочем, он в памяти. Его упрекают в сильном потворстве своему чреву. Он действительно большой едун, не отказывается и от хорошего винца, много спит, мало движется. Оттого он обрюзг, заплыл каким-то желтоватым жиром и сделался лакомым куском для кондрашки. Впрочем, не всякий ли должен ежечасно быть готов к внезапному нападению этого врага? Эти внезапные нападения часто повторяются в последнее время.

4 апреля 1856 года

Я чувствую сильную усталость от служебной и деловой сутолоки. Я едва успеваю быть то там, то здесь, делать то или другое. Комитеты, комиссии, лекции, наблюдение за преподаванием по разным ведомствам, чтение журнальных корректур, дела, поручаемые мне по министерству, меры обороны против департаментских крыс — все это и многое другое составляют такую мутную смесь житейских волн, что я захлебываюсь ими и едва, как говорится, успеваю перевести дух. Здоровье надломлено. Пора бы отдохнуть несколько месяцев. Да как отдохнуть? Нужны деньги, деньги и деньги. А я ими не запасся, не сумел их приобрести, следовательно, не заслуживаю и отдыха! Увы! Я много в жизни делал того, что не требуется жизнью, и не делал того, что ею требуется.

12 апреля 1856 года

Предположения и опасения, которые вертелись у меня в уме уже год тому назад, сбываются. Министерство народного просвещения отдается в опеку. Только я не предвидел, кто будет главным опекуном. Дело в том, что главное правление училищ по воле государя получает такое устройство, что оно составит род самостоятельной коллегии с правом протестовать против решений министра — разумеется, в важнейших основных вопросах образования, воспитания и управления, — а как членом правления сделан Ростовцев, то понятно, кто тут будет главным действующим лицом. Нельзя не согласиться, что этому перевороту много помогла дурная слава нашей министерской бюрократии с знаменитым ее представителем Кисловским. По городу много ходило слухов о зависимости от нее министра. Да и самое поведение Авраама Сергеевича, человека доброго и, как говорится, благонамеренного, но вовсе не отличающегося ни тактом, ни самостоятельным характером, немало содействовало этому ограничению. Как бы то ни было, а мы накануне важных перемен по министерству. На днях у меня был адъютант Ростовцева, Коссиковский, и рассказал мне много любопытного. Яков Иванович, между прочим, желает меня видеть.

13 апреля 1856 года

Плетнев утвержден членом главного правления училищ, Так как я вместе с ним назначался в это звание, то выходит, что меня отвергли. Значит, вся эта процедура о назначении меня членом главного правления училищ была просто комедия. Но к чему она? Зачем прибег к ней Авраам Сергеевич? Да и чем заслужил я это оскорбление?

Министерство только что объявило мне, что государь не желает утвердить меня членом главного правления училищ под тем предлогом, что я еще не старый действительный статский советник. Но ведь еще недавно Авраам Сергеевич утверждал мне, что государь уже изъявил свое согласие на мое определение. Что-то неясно, а главное — гадко.

15 апреля 1856 года

День Пасхи. К крайнему моему сожалению, не был у заутрени, которую я так люблю. В министерскую церковь я не хотел ехать, а другой (кроме приходских) у меня в виду не было.

Вчера был вместе с другими четвероклассными особами приглашен на бал во дворец 17 числа. Отказался по нездоровью.

21 апреля 1856 года

Вчера был у Ростовцева. Он долго задержал меня у себя. Он рассказал мне все обстоятельства, каким образом устроилось нынешнее главное правление училищ и каким образом учинена над министерством опека. При этом он также передал мне несколько примеров удивительной бесхарактерности Авраама Сергеевича. Бюрократические козни и власть Кисловского над этим слабым человеком ему известны даже лучше, чем мне. Я услышал от него много новых подробностей. Яков Иванович говорит, что это невозможно, чтобы государь не утвердил меня членом главного правления: Авраам Сергеевич все это выдумал, чтобы как-нибудь вывернуться передо мною. Всего вернее, что он, убоясь своей канцелярии, вовсе не делал обо- мне представления. Необдуманностью своих поступков он уже не раз ставил себя в такое положение, что не знал сам, как из него выйти, и прибегал к школьным уловкам. Во всяком случае я теперь уже не действующее лицо: Авраама Сергеевича связали по рукам, а он сам уже окончательно оттолкнул меня от себя.

Затем с Ростовцевым много было говорено о требованиях нашего образования, о гимназиях, о необходимости дать им новое устройство. Я высказал ему мою давнишнюю мысль о прибавке к нынешнему курсу восьмого года.

27 апреля 1856 года

Жизнь так ничтожна, что и скорби ее не стоят того, чтобы долго заниматься ими. Жалок тот, кто страданиями не умел купить себе некоторой независимости духа и внутреннего успокоения.

28 апреля 1856 года

Вчера вечером читал у меня Фет свою фантастическую повесть в стихах. Стихи хороши: есть картины, образы, но мысли никакой. Эти поэты думают, что можно писать без всякой определенной идеи, что отыскать или привить эту идею к сочинению есть дело читателя, а не автора.

Я высказал последнему то, что думал, а также и догадку какую можно иметь о том, что автор хотел сказать. Он удивился, что тут ищут мысли. И.И.Панаев был одного мнения со мной.

Не отметил еще важного для нашего университета события. На первый день праздника попечитель Мусин-Пушкин уволен от этой должности с производством в

чин действительного тайного советника. Эта почетная отставка против его воли. Он не ожидал ее и сначала, говорят, сильно смутился. Теперь пошли обычные толки. Радуются почти все, кто только слышал имя Мусина-Пушкина. Между тем он не из худших администраторов нашего времени. Он, правда, человек не высокого ума, однако же то, что называется человеком с практическим умом. В нем было три достоинства, которых лишены так называемые “добрые начальники”. Первое: в самое крутое время он не подкапывался сознательно под науку; не выслуживался, отыскивая в ней что-нибудь вредное; не посягал на свободу преподавания. Напротив, он по-своему оказывал ей уважение и признавал ее права. Второе его достоинство — он умел ценить ученые заслуги и горою стоял за своих ученых сослуживцев, защищая их от всяческих козней. Я сам тому свидетель. Когда в смутное время 1849 года легионы шпионов подсматривали за университетом и следили за каждым нашим шагом, когда отбирали наши записки — в том числе и мои, — Мусин-Пушкин, как истый рыцарь, ополчился в защиту нашей чести и безопасности и писал в нашу пользу сильно, твердо и безбоязненно. Часто случалось, что он отказывал таким лицам, как граф Орлов, в определении кого-нибудь на место, на которое справедливость требовала назначить своего заслуженного ученого или чиновника. Вообще у него не было ничего похожего на пресмыкательство перед сильными или на выслуживание. Что делал он, худо ли, хорошо ли, то делал по убеждению. Третье его достоинство — верность своему слову.

Но все эти достоинства, к сожалению, были облечены в такую кору, что немногие могли их узнать настолько, чтобы как следует оценить. Он со своими добрыми качествами ездил на бешеной лошади, которая, закусив удила, часто помимо его воли мчала его в грязь, в пропасти, в болота, куда ни попало, где он рисковал задавить кого-нибудь и сломить шею самому себе. Лошадь эта — его бурливый характер. С подчиненными своими и даже с неподчиненными он разыгрывал самые нелепые сцены ругательств — вот что создало ему скверную репутацию, которая и довела его, наконец, до падения. Нынешний государь, с его прекрасными человеческими наклонностями, не мог его выносить. Он и министру не раз изъявлял свое неудовольствие на Мусина-Пушкина.

Самая слабая сторона последнего была цензура. В цензуре он часто бывал просто нелеп. Да и сказать правду, с такими цензорами, какие были в последнее время, нельзя было и дела делать. Система эта, однако, была не его: она была установлена свыше. Впрочем, он и сам не уважал литературы. Он не имел к ней того, что называют симпатией.

2 мая 1856 года

Пахнуло чем-то похожим на весну. Странно, что громады льда плывут по Неве из Ладожского озера, *а* между тем жарко. Голые прутья деревьев начинают покрываться зеленым пушком. Пора на дачу.

5 мая 1856 года

Бурное заседание в Академии наук. Выбирали в ординарные академики греческой словесности А. К. Наука, адъюнкта в берлинской гимназии. Оно, пожалуй, может быть, и слишком поспешно сделать гимназического адъюнкта прямо ординарным академиком. Но как уже дело было обсуждено в прежних заседаниях, а теперь только следовало класть шары, то я не счел приличным возражать против выбора филологического отделения. Но не так рассудил Срезневский, один из жарких поборников так называемой русской партии. Сначала дело шло тихо. Баллотировали, и Наук не был выбран. Но вдруг при счете шаров оказалась какая-то ошибка. Приступили к перебаллотировке. Тут-то восстал Срезневский, и, правду сказать, довольно резко. С ним заспорили другие, и спор начал принимать личный характер. Между тем перебаллотировка произведена, и Наук опять не выбран.

Министр решительно на меня гневается. Он очень резко, чтоб не сказать грубо, выразился на мой счет одному из своих приближенных. Ну, это, право, слишком нелепо! Бедный Авраам Сергеевич! Вот что значит бремя не по силам! Это просто добрый человек, и министру в нем не уместиться. Тут нечем помочь — тут радикальная неспособность к делу. Вряд ли он долго еще пробудет министром. Однако какова должна быть слабость характера, чтобы унизиться до лжи!

7 мая 1856 года

Обедал у графа Блудова. Сообщил ему, что у меня готово предисловие к дополнительному изданию сочинений Жуковского. Он назначил время, чтобы прочесть его вместе.

Ну, кажется в министре я приобрел настоящего врага. Вот новый подарок судьбы! Единственная моя вина — и конечно, вина — это доверие, которое я питал к его сердцу. Зато по мере его отдаления от меня заметно скрепляется его союз с Кисловским: этот умнее его, насколько волк умнее овцы. Но не гнусно ли все это? Если что принадлежит к неизбежным и обыкновенным явлениям жизни, то что же, наконец, такое эта жизнь, наполненная только и только подобным сбродом всяких мелочей, борьба с которыми даже не составляет достоинства? Ибо есть ли тут хоть капля чего-нибудь разумного, потому что ведь и зло может иметь свои разумные основания и свои разумные последствия.

Вчера был у князя Вяземского, который упорно наводил речь на мои новые отношения с министром. Разумеется, я осторожно и по возможности искусно уклонялся от его более или менее нескромных вопросов. Вот этот сановник, пожалуй, и хорошо понимает вещи, но черт ли в этом понимании, когда и из него, как из сухого песку, нельзя сделать никакой формы! Все они таковы — эти правители русских судеб.

12 мая 1856 года

На даче. Теперь занимаюсь сочинением о воспитании, которое я, в качестве члена морской комиссии, должен представить великому князю Константину

Николаевичу. Дело это замедлилось по причине множества занятий, которыми я был обременен.

20 мая 1856 года, воскресенье

Четверг, пятницу и субботу в городе: присутствовал на академических заседаниях, был в Аудиторском училище и в Римско-католической академии. В субботу обедал у графа Блудова. Это почтенный старец. Отрадно видеть в нем живучесть человеческой природы. В семьдесят четыре года он сохранил изумительную свежесть ума, памяти и воображения. Он славится охотой поговорить. Но разговор его приятен и поучителен. Мало того, что он говорит умно, но и всегда полон одушевления и сочувствия ко всему человечному, к искусству, к науке. Давыдов справедливо замечает, что это плоды гуманитарного образования. Между тем обширная европейская начитанность и любовь к общечеловеческому образованию нимало не мешают ему горячо любить свое отечество, свою литературу, историю, предания своей старины и т.п. Блудов в своих рассказах передает много любопытного из воспоминаний о прошлом времени. Он многого был свидетелем; во многом был участником и деятелем. :

Недавно Норов говорил одному из моих близких приятелей, что он меня не представил к званию члена главного правления училищ (а мне еще недавно утверждал, что государь отказал ему, несмотря на его жаркое ходатайство), что он меня не представил потому, что будто бы я везде хвастаюсь моим влиянием на него; что он-де это слышал из верного и преданного ему источника. Каково! Ведь это просто отвратительно и сильно смахивает на лакейские сплетни. По чести могу сказать, что я всегда и везде ревниво охранял его достоинство как министра и как человека, близкого моему сердцу. Но кто же виноват в том, что вот теперь в публике все единодушно говорят, что он находится в руках своего вице-директора и что министерством управляет не министр, а подьячий? Правду сказал Яков Иванович, что он. Норов, все лжет и лгал, когда передавал мне слова государя.

В пятницу вечером приезжал ко мне прощаться Николай Романович Ребиндер, назначенный попечителем в Киев. Мы оба были тронуты. Вот уже восемнадцать лет, как мы понимаем, уважаем и любим друг друга.

24 мая 1856 года, четверг

Вчера был в городе. Вечер провел у Кавелина, где были также Милютин, Дмитрий Алексеевич, встреча с которым, кстати сказать, всегда меня радует, и два молодые профессора: один из Казани, Ешевский, другой из Москвы, Капустин.

Читано было дополнение Кавелина к его весьма умной статье об освобождении крестьян, которая ходит в рукописи и которую он мне недавно давал для прочтения. Главных два положения: 1) произвести освобождение посредством выкупа и 2) выкупить крестьян не иначе, как с землей.

26 мая 1856 года

Экзамен IV курса в университете. В словесности бывает так, что у кого нет природной способности к несколько возвышенному образу мыслей, тот мало дельного может тут сказать. Голые факты литературы без умного и обстоятельного анализа ничего не значат. Некоторые из студентов оказались хорошо мыслящими, но по крайней мере половина их кое-как плелась за высшими понятиями, путаясь и спотыкаясь.

После экзамена поехал к Мусину-Пушкину с прощальным визитом. Ну право же, он лучше, чем о нем думают, особенно в сравнении с другими.

27 мая 1856 года, воскресенье

Вот главное, что я старался проводить и всеми силами поддерживать во время моих трехлетних сношений с министром:

1) Не действовать вспышками по минутным соображениям, а определить виды министерства ясно и отчетливо и затем уже систематически, неуклонно действовать в духе их.

2) Устроить гимназии.

3) Открыть главное правление училищ (это прежде всего).

4) Университеты наши на краю пропасти, вследствие недостатка способных, хороших профессоров, потому немедленно заняться подготовлением их: а) обязав университеты готовить способных молодых людей со специальной целью замещать ими профессорские кафедры; б) обеспечив будущность профессоров так, чтобы способные люди могли свободно и безраздельно отдавать свои силы университету.

5) Дать разумное и сообразное с требованиями просвещения направление цензуре. Для этого: а) заменить неспособных цензоров более способными; б) дать им в дополнение к уставу наказ, который, предлагая им по возможности определенные руководящие правила, обуздывал бы их произвол и давал бы больше простора литературе.

Разумеется, почти все это и многое другое было гласом вопиющего в пустыне. Канцелярия точно крючьями оттягивала осуществление всякой из этих идей и повергала ее в тьму кромешную, идеже пребывают всякие пакости и ниче-соже нет благого и рационального. А министр довольствовался тем, что поговорит со мной о высших предметах — и довольно.

31 мая 1856 года, четверг

К величайшему моему неудовольствию столкнулся на поезде железной дороги с Норовым. Он вошел в то же отделение, где и я находился, и сел возле меня. Министр распространился насчет своих благих намерений относительно журнала, порученного моей редакции. Наученный горьким опытом, я, признаюсь, слушал его безучастно, повторяя, что для поднятия журнала необходимы деньги и деньги.

— Да ведь журнал улучшается же, — сказал он. — Он не достиг еще той степени, на которой должен стоять министерский журнал, но, надеюсь, в ваших руках скоро достигнет.

— Да, — отвечал я, — журнал улучшается благодаря личным отношениям и дружбе ко мне наших ученых, которые снабдили меня на первый раз своими статьями, по моей просьбе. Но я не могу употреблять во зло их личную дружбу и, наконец, должен обещать им вознаграждение, соответственное их трудам и требованиям времени. Что же касается того, что журнал еще не достиг степени совершенства, на которой он должен находиться, то такие вещи не творятся в четыре месяца, да еще без денег.

Министр ссылался на патриотизм, который должен воодушевлять ученых, а я возражал, что и патриотизму нужен хлеб насущный. Наконец он обещал мне возвратить журналу те три тысячи рублей пособия, которые были у него отняты во время управления министерством князя Шихматова. К сожалению, я слишком хорошо знаю цену этим обещаниям. Я имел слабость огорчиться этой встречей с человеком, к которому я потерял всякое доверие и с которым потому не желал бы встречаться.

3 июня 1856 года, воскресенье

Теперь только приехал из города.

Пропасть было дела, то по академии, то по университету, где на меня временно возложена должность декана. Вечером в субботу приглашал меня к себе граф Блудов вместе с бароном Клодтом, князем Вяземским и Тютчевым для обсуждения проекта памятника, который собираются воздвигнуть на могиле Жуковского.

Некоторые литераторы меня недавно упрекали в том, что я не примыкаю ни к какой литературной партии в особенности и не ратую ни за одну из них исключительно.

— Мой девиз, — отвечал я, — независимость моих собственных мнений и уважение к мнениям других. Всем известно, что я всегда так думал и поступал, и я нахожу, что мне и вперед не следует изменять моего образа мыслей и действий.

10 июня 1856 года

Сегодня поутру, к моему удивлению, посетил меня Авраам Сергеевич. Он жаловался на Блудова, который что-то сильно его атакует. Чем и как?

11 июня 1856 года

Стремление посредством литературы ввести образованный класс в интересы низшего и тем открыть путь образованию в среду последнего — мысль прекрасная. Но не надо, однако, невежество, грубость и предрассудки этого класса выставлять как нечто поэтическое и способное вызывать одно умиление. И в этом классе не

менее, чем в других, недостатков и пошлости. Нужды нет, что они в нем не заимствованы и естественны, — все-таки это пошлости, и дагерротипные снимки с них ничего не говорят в пользу того, что есть, и нимало не пролагают дороги к тому, что должно быть. Литература, исключительно направленная к этим предметам и исключительно усвоившая себе эту манеру, доказывает недостаток творчества и стремления к усовершенствованию. Ведь и в самом деле легче списывать грубую натуру со всеми ее неприглядными подробностями, чем мыслить и создавать.

22 августа 1856 года, среда

Вот и август приближается к концу. Лето давно прошло, или, лучше сказать, оно и не начиналось. Май, июнь, июль промелькнули среди холода, ветра, дождя. Такого гнусного лета я не запомню, даже в Петербурге. Но и помимо погоды я провел лето дурно, без отдыха, в постоянной сутолоке и деловых дрязгах.

Из внешних обстоятельств стоит отметить разве только донос на меня и Давыдова министру — что мы его ругаем и собираемся составить против него настоящий заговор с помощью Ростовцева. Так как донос главным образом касался Давыдова, то я и советовал ему объясниться с Ростовцевым, — что он и сделал.

— Старый младенец, старый младенец! — повторил несколько раз Ростовцев о Норове.

А в министерстве тем временем творятся такие дела, что о них грустно говорить и думать. Везде на первом плане Кисловский.

18 сентября 1856 года

Московские остряки сложили на нашего министра остроту: “Он без памяти любит просвещение”. А в Петербурге к этому прибавляют еще: “Он без ума от своего министерства”. Ах, Авраам Сергеевич, в какую тину вы залезли!

Недавно, между прочим, произошел следующий скандал. Совет Московского университета избрал на кафедру истории отличного молодого ученого, Ешевского, которого я рекомендовал министру еще во время юбилея Московского университета. Авраам Сергеевич с ним лично познакомился, выслушал его пробную лекцию, пришел в восторг и благодарил меня за него. Попечитель одобрил избрание совета и представил Ешевского на утверждение министру. Но Кисловский решил иначе: он послал в Москву, вопреки избранию совета и санкции попечителя, своего собственного избранника. Приезд последнего в Москву, само собою разумеется, изумил и привел в негодование все ученое сословие и попечителя. Его заставили прочесть пробную лекцию, которая принесла ему мало чести. Все это произошло в присутствии министра и, само собою разумеется, не могло быть ему приятно, особенно когда попечитель, Ковалевский, вежливо, однако твердо и решительно заявил ему, что скорее подаст в отставку, чем позволит Кисловскому вмешиваться в дела Московского университета. Кисловский, уверят, от этого заболел, а министр должен был утвердить Ешевского — не без гнева, однако, на попечителя, столь благородно и решительно отстоявшего свое и университетское право. Событие это

разнеслось по Москве, дошло и сюда, где произвело весьма грустное впечатление.

Я выбран в члены театрального комитета для рассмотрения пьес, написанных к столетнему юбилею театра. Комитет собирался раз шесть; прочитал двадцать четыре пьесы — одну другой слабее и, наконец, остановился на одной, которую и одобрил. По вскрытии пакета, в котором она заключалась, оказалось, что пьеса эта графа Соллогуба. К этому прибавили еще пролог Зотова.

Говорят, что наш комитет сделается постоянным. Меня уже спрашивали от имени министра императорского двора, согласен ли я и вперед быть членом?

2 октября 1856 года

Торжественный въезд государя императора в Петербург. Процессия прошла мимо окон моей квартиры в половине второго. От нас все было видно отлично. Процессия пышная, как все процессии подобного рода. Несметные толпы народа.

6 октября 1856 года

Получил от министра императорского двора графа Ад-лерберга уже официальное приглашение быть членом комитета при дирекции театров, на который возлагается рассмотрение вновь поступающих на сцену пьес.

9 октября 1856 года

Обедал у графа Блудова в первый раз по возвращении его из Москвы. Разговор шел о литературе. Графиня-дочь прочитала мне стихи какой-то тульской стихотворицы. Графиня, как известно, большая патриотка и радуется появлению всякого так называемого отечественного таланта. Плетнев пишет из Парижа, что его всего больше поражает в французах единство национального чувства. Причину тому он полагает в их вере в свое национальное превосходство. “Отчего у нас, — спрашивает он, — нет таких великих результатов народности, как у них?” — и отвечает: — “От недостатка веры в наши моральные качества!” А я думаю — от неразвитости самих моральных качеств у нас. Способностей у нас много, но, увы, не меньше и безнравственности.

25 октября 1856 года

Всякая отрасль науки заслуживает уважения, но не заслуживают уважения претензии ученых, из которых каждый хотел бы, чтобы его отрасль была признана за целое дерево, причем другим деревьям и расти не нужно.

Русское слово и словесность так дороги нам, что мы должны их подвергать самому тщательному и всестороннему исследованию. Надо рассматривать их *критически*, *исторически*, *эстетически*. Тут нужно несколько специалистов.

Борьба в Академии с Срезневским. Ему хочется, чтобы все русское отделение

состояло из славянства: славянских древностей, славянской филологии, славянской литературы. Кафедру русской словесности он хотел бы превратить в кафедру славяно-русской, так, чтобы собственно русская словесность утонула в потоке славянщины. Я против этого сильно восстал. Меня на этот раз слабо поддерживал Иван Иванович Давыдов. Тем не менее Срезневский в заключение сдался.

11 ноября 1856 года

Был у попечителя Московского университета Ковалевского. Он дивные вещи порассказал мне о Норове, как, например: он скажет да, а Кисловский нет — и дело не делается, или, лучше сказать, делается по решению последнего. Какой вред для хода дел! Представления попечителей о самых важных нуждах подвергаются страшным задержкам, крючкотворствам, искажениям, не говоря уже о высших вопросах воспитания и образования, на которые не обращается никакого внимания. Многие представления по годам не разрешаются. Канцелярский произвол над всем владычествует. Всякая мысль, касающаяся воспитания и образования, всякое ученое лицо, всякая книга находят себе враждебное противодействие в департаментских чиновниках. Министр ничего не знает, ничего не видит, а только слушает своего наперсника Кисловского и подписывает бумаги, которых содержание часто не знает или через несколько минут забывает, так что о деле, о котором ему вчера было говорено, сегодня надо вновь говорить, а на следующий затем день оно непременно будет сделано не так, как он его понял, как обещал и даже как положил письменную резолюцию.

12 ноября 1856 года, понедельник

Сегодня П.П.Татаринов приезжал ко мне от министра просить меня по-прежнему бывать у него по средам. Я уклонился.

20 ноября 1856 года

Обедал сегодня у графа Д.Н.Блудова. После обеда мы с ним остались одни. Предметом нашего разговора были дела по министерству народного просвещения. Граф сильно негодует на то, что там творится. Он мне рассказывал любопытные подробности о поведении Норова в Государственном совете вчера и сегодня по случаю прении о производстве в чины молодых людей, кончивших курс высших учебных заведений. Это ныне составляет важный законодательный вопрос по нашему министерству.

Вопрос этот обсуждался еще при покойном государе в комитете, состоявшем, под председательством графа Блудова, из Ростовцева, барона Корфа, Протасова и Н.Н.Анненкова. Там было положено отменить производство в чины воспитанников высших заведений по так называемым сокращенным срокам. В нынешнее царствование, когда комитет был уже накануне закрытия, дело это вместе с другими вопросами, касающимися преобразований учебных заведений, передано было Норову, а тот возложил на меня рассмотреть их и составить о них записку с

указанием, что из идей комитета может быть принято, что должно быть изменено, дополнено и прочее. Я занялся этим усердно и тогда же нашел, что план преобразования университетов был очень неудовлетворителен. Впрочем, я узнал впоследствии, что комитет в этом случае действовал стратегически: университеты были на краю гибели; они подвергались опасности закрытия (в 1849, 1850 годах), и комитет стремился только к одному — во что бы то ни стало спасти их. Но многие идеи комитета о низшем и среднем образовании были весьма хороши и могут служить прекрасным материалом при полезных изменениях и улучшениях по этой части. Обо всем этом мы тогда много толковали с Норовым, и, между прочим, я советовал ему принять и мысль комитета относительно производства в чины. Это он, как и все другое, совершенно одобрил, в этом же духе объяснялся с графом Блудовым и даже подписал формальную о том бумагу.

По разрыве моей связи с ним он вдруг переменил намерение — конечно, под влиянием Кисловского, который, очевидно, задался задачей вырывать все, что было посеяно мной. В Государственном совете сильно удивились перемене норовского мнения и еще больше удивились, когда выслушали его записку об этом предмете — и по содержанию и по изложению вовсе не государственную. И вот в эти два последние заседания совет, как говорится, припер его. Норов не сумел дельно и логически защищать свое мнение: он растерялся, вышел из себя. и почти бранился. Наконец, поставленный в тупик возражениями членов, он обратился к председателю с просьбою призвать присутствующих к порядку.

— Если кого-либо надо призвать к порядку, — возразил граф Орлов, — так это вас.

Когда Норов начал было ссылаться на свою записку, один из членов заметил ему, что подобных записок не представляют в Государственный совет, что его записка — памфлет, а не выражение мыслей и соображений министра. Все это мне говорил граф Дмитрий Николаевич. Ах, Авраам Сергеевич!

Граф, между прочим, рассказывал много интересного из своих воспоминаний о прошлом времени Речь как-то коснулась Булгарина и Греча. Графу положительно известно, что Булгарин участвовал в службе по тайной полиции во время Бенкендорфа. Между прочим рассказал он мне и следующий случай из истории тайных дел.

— Не помню, в котором году, — говорил граф, — покойный государь долго отсутствовал из Петербурга. При нем находились граф Бенкендорф и Дашков, бывший министр юстиции. Они были между собой дружны.

Однажды Бенкендорф сказал Дашкову:

— Не хотите ли полюбопытствовать, прочесть доставленный мне из Третьего отделения — разумеется, секретный — отчет о состоянии умов в Петербурге. Я еще не читал его, но вас он, вероятно, займет.

Дашков взял отчет и, к изумлению своему, — что же нашел в нем? Обвинение в крайнем либерализме князя П.А.Вяземского, графа Блудова, многих других таких же лиц и даже самого себя. Он тут же сделал свои замечания на полях и на следующий день, отдавая бумаги Бенкендорфу, сказал:

— Я прочел этот интересный документ и требую от вас, граф, честного слова, что если вы представите его государю, то не иначе как вместе с моими замечаниями.

— Я сделаю лучше, — отвечал граф, — я ничего не представлю.

Так и было сделано.

21 ноября 1856 года

Был у нашего попечителя. Разговор о наших ученых, учебных и цензурных делах. Те же жалобы, то же негодование на бестолковое управление по министерству, благодаря которому нет возможности предпринять и сделать что-либо полезное.

23 ноября 1856 года, пятница

Вечер у князя Щербатова. Там были некоторые из наших профессоров, литераторов и один цензор. Был, между прочим, и Титов, бывший наш посланник в Константинополе. Мы долго говорили. Он человек умный и живой, Говорят, его назначают в наставники к наследнику. Этот выбор, кажется, недурен. Титов, по-видимому любит науку и просвещение.

25 ноября 1856 года

После девяти или десяти лет увиделся с Позеном. Он мало изменился физически и умственно. Это человек с большим практическим умом. Говорили, будто его вызывают сюда, чтобы употребить в дело. Это было бы хорошо. Но вряд ли, по крайней мере я так заключил из его собственных слов.

26 ноября 1856 года, понедельник

Читал в собрании членов факультета (собирались у Фишера) записку о необходимости преподавания философии в университетах. Записка была очень одобрена, и собрание положило дать ей дальнейший ход по начальству.

Второе отделение Академии и университет возложили на меня написать отчеты к акту на 29 декабря и 8 февраля. На это уйдет немало времени.

Мелочные невольные влечения чувств, желания, привычки и т.п. иногда сильно надоедают. Обращайся с ними как и с людьми подобного рода, то есть будь с ними учтив, слушай, когда нельзя избежать, даже их болтовню, не показывая ни нетерпения, ни досады, а думай и поступай по-своему.

4 декабря 1856 года, вторник.

Обедал у графа Блудова. Никого не было. Разговор о литературе. Граф рассказал мне несколько старинных преданий двора. Он когда-то хотел писать историю дома

Романовых.

6 декабря 1856 года, четверг

Поутру видел Войцеховича и долго с ним говорил. Он рассказал мне прелюбопытные вещи о раскольниках, делами которых года три тому назад занимался по поручению правительства. По словам Войцеховича, они составляют огромную силу в государстве. Их около десяти миллионов. Они имеют сношения с Австрией, где находится одно из их центральных управлений. Иные из их верований очень грубы, другие в высшей степени рациональны. Некоторые секты отличаются безнравственностью: есть, например, такие, где жены считаются общими и принято убивать детей. Войцехович уверял меня, что в одном раскольничьем селении становой пристав, по его распоряжению, вытащил из пруда более сорока трупов младенцев!

Вечером был в театре. Праздновался столетний юбилей существования русского театра. Сперва была сыграна увертюра, составленная из старинных мотивов, потом был дан пролог Зотова, много пострадавший от выпущенных цензурою стихов. При воспоминании о Грибоедове и Гоголя раздались рукоплескания. Потом шла одобренная нашим комитетом пьеса графа Соллогуба, несколько растянутая, но в общем не лишенная интереса. Разыграна пьеса была хорошо, только Самойлов и Сосницкий (Сумароков и Пушкин) нетвердо знали свои роли. Затем последовал балет. Спектакль кончился в 12 часов. Театр был полон. Присутствовала и императорская фамилия. Вид театральной залы был великолепен.

Говорят, барон Корф назначен членом главного правления училищ. Авраама Сергеевича, очевидно, вяжут по рукам и ногам: там Ростовцев, здесь Корф. Но странное дело, говорят, государь его ласкает.

Печальна судьба русского просвещения. Не раз страдало оно в тяжком плену: то был плен татар, обскурантов и т д., а ныне оно томится в плену подьячих.

7 декабря 1856 года

На Срезневского подан от кого-то донос (безыменный) президенту Академии. В нем говорится, что Срезневский дурно издает академические “известия”, наполняет их дурными статьями, преимущественно своими; что не смотрит за корректурой, не делает ничего основательного для филологии и только обманывает доверие к нему Второго отделения и т.д. и т.д. Граф Блудов отдал донос И. И. Давыдову, сказав, что решительно не верит доносчику. Срезневский сильно огорчился. Мы выслушали довольно длинную защиту его и выразили ему свое участие как товарищу. Иван Иванович, в продолжение года сам беспрестанно уязвляемый безыменными доносами, более всех сочувствовал Срезневскому. Много плодов соберут со всего этого наука и общество!

9 декабря 1856 года, суббота

Был на похоронах вдовы Жуковского, которая умерла в Москве и привезена сюда, чтобы быть положенною рядом с мужем на кладбище Александро-Невской лавры. Тут были граф Блудов с дочерью, князь Вяземский, Титов, Норов и прочие. Последний, увидев меня, подошел ко мне, любезно сожалел, что давно меня не видел, и приглашал к себе. Видя мое нежелание принять его приглашение, он, наконец, именем редакции “Журнала” вынудил у меня обещание быть у него по делам ее. От этого официального приглашения я уже не мог отказаться. Это, конечно, ничего бы, если б я мог надеяться чего-либо добиться для редакции. А то ведь из этого ничего не выйдет. Он примется бесплоднейшим образом толковать о делах министерства, требовать моего мнения и, что всего хуже, объясняться.

10 декабря 1856 года, воскресенье

Вечер у князя Щербатова. Тут и ученые и литераторы, и цензоры. Князь очень радушно и любезно всех принимает. Но не люблю я всех этих собраний. О них ничего искреннего, а только каждый старается казаться в глазах других значительнее, чем он есть. Невольно и сам становишься на ходули, чтобы не попасть под ноги другим.

12 декабря 1856 года

Читал князю Щербатову записку свою о необходимости преподавания философии в университетах.

Сделал непростительную ошибку в разговоре с князем, когда тот говорил о Баршеве и Калмыкове, которых он не хочет оставить в университете, несмотря на то, что совет избирает их на продолжение службы после двадцатипятилетия. Я был застигнут врасплох и не возразил так, как следовало. К. и Б. не гении, но и не такие же бездарности, чтобы не могли быть еще полезными, тем более, что в настоящую минуту их некем и заменить. Мое заступничество, даже и более энергическое, вероятно ни к чему не повело бы, но я по крайней мере исполнил бы свой долг.

16 декабря 1856 года, воскресенье

Был у Носова. Как я и ожидал, произошли объяснения и целования. Но из этого опять-таки ничего не вышло. Он был так рассеян, что ему нельзя было вложить ни одной мысли в голову.

22 декабря 1856 года

Заседание в Академии. Читал отчет, назначенный к публичному акту 29 декабря.

23 декабря 1856 года, воскресенье

Был у Позена. Чрезвычайно любопытная беседа. Он передал мне, как говорит, слово в слово свой разговор с государем на днях. Позен привез с собой проект освобождения крестьян и по этому случаю был приглашен к государю. Его величество как нельзя благосклоннее выслушал пояснительные замечания Позена и обещал прочесть проект с полным вниманием. Позен, между прочим, предупредил государя, что у него, Позена, много врагов.

— О, и сколько! — подтвердил государь.

— Потому неудивительно, — прибавил Позен, — если идеи мои будут многими отвергнуты.

— Ваш проект не подписан? — спросил государь.

— Нет, ваше величество, — отвечал Позен.

— Ну, и это хорошо, — заметил государь. Между тем дня через три после того к Позену приехал князь Долгорукий для объяснений, по приказанию государя.

Позен хотел мне прочесть весь свой проект, но он собирался на юбилейный обед к Ростовцеву и потому прочел мне только некоторые места. Я знал, что Позен умен и владеет пером, но таких идей, такого светлого взгляда на вещи, такого правдивого и благородного голоса в пользу человеческого достоинства и прав его, наконец такой силы красноречия, простого, сжатого и твердого, правду сказать, я от него не ожидал. Жаль, если его не употребят в дело! Его многие не любят и боятся.

29 декабря 1856 года, суббота

Акт в Академии наук. Я читал отчет по русскому отделению. Отчет и чтение заслужили одобрение. Я выслушал много похвал и поздравлений.

Вечером был раут у президента, на котором присутствовали все академики. Я, между прочим, разговаривал с Сакеном, сражавшимся под Севастополем, с Титовым, бывшим посланником в Константинополе, с Ростовцевым. Еще на акте Норов сказал мне, что ему очень нужно о чем-то переговорить со мной, и настоятельно приглашал к себе. Кажется, надо будет к нему отправиться, хотя мне это крайне не хочется. Постараюсь по крайней мере извлечь из этого пользу и опять попробую высказать ему то, что мне не удалось высказать в мое последнее свидание с ним.

30 декабря 1856 года

Только что возвратился домой с одного вечера с глубоким отвращением ко всему мною виденному и слышанному. Там было то, что называется цветом общества, и действительно многие умные люди, но все они отдаются потоку событий, ни о чем не думают, кроме своих выгод, своего мелкого честолюбия, тщеславия и т.д. Таков дух времени, и мало кто считает нужным ему противостоять и противодействовать. Да и на что? Все должно “идти к концу, как угодно творцу”, по выражению Шекспира. Эгоизм с жадностью хватается за это убеждение, чтобы

освободиться даже от желания что-нибудь делать в пользу общую.

31 декабря 1856 года

Вот и еще года как не бывало! Еще год грустной опытности. Что приобретено для внутреннего мира, для успехов самоусовершенствования, для блага общего и для собственного? Ничего, ничего, ничего!

Конец 1856 году.

1857

1 января 1857 года, вторник

Между прочим был у Позена и просидел у него около часу. По его проекту об освобождении крестьян назначен комитет под председательством самого государя. Члены комитета: граф Орлов, Ростовцев, Брок, Гагарин, князь Долгорукий, Адлерберг.

29 декабря был обычный годичный акт в Академии наук. Я читал отчет. Собрание было великолепно: лентами и звездами хоть мост мости. Министр, увидев меня, убедительно просил к нему зайти, говоря, что имеет сообщить мне нечто очень важное.

2 января 1857 года, среда

Любопытное свидание с Авраамом Сергеевичем. Он желал видеть меня, чтобы посоветоваться о том, какое направление дать делу о разрядах. Я воспользовался этим случаем, чтобы представить ему, в каком печальном положении вообще находится министерство. Оно в безнадежном состоянии. При этом я заметил Аврааму Сергеевичу, что на днях у него вырвали из рук еще идею: об отношениях семейного воспитания к общественному, — идею, которую так громко ныне провозгласил Ростовцев и которую теперь, может быть, испортили, утрируя ее. А ведь год тому назад министерство уже имело на свой проект согласие государя по поводу учреждения женских гимназий — но ничего не сделало.

— Помните, — сказал я Аврааму Сергеевичу, — у меня было заготовлено отношение к министру внутренних дел, где этому делу давали уже ход? Мое отношение было задержано, и вот что теперь для вас из этого вышло.

Затем я выразил предположение, что министру необходимо для восстановления хоть сколько-нибудь своего кредита взять на себя почин в предстоявших еще по министерству делах. В предметах недостатка нет. Он согласился у просил меня изложить мои мысли об этом на бумаге и, главное, приготовить проект о разрядах в таком духе, как у предлагал прежде, то есть, чтобы чины были заменены должностями.

Затем Авраам Сергеевич — уж, право, не знаю, зачем — опять коснулся моего определения, или, лучше сказать, неопределения в члены главного правления училищ. Последовали странные, запутанные объяснения — такие странные запутанные, что мне стало жаль его, и я поспешил положить конец им и нашему свиданию. Речь была и о Кисловском. Авраам Сергеевич выразил мнение, что не

худо было бы мне с ним помириться. Я с жаром отверг эту недостойную мысль: как будто Кисловский мог и должен был что-нибудь значить в моей деятельности и в моих отношениях с министром.

В заключение министр по обыкновению обнял меня, уверяя в своей любви. Из этого, конечно, ничего не выйдет, но по крайней мере я ему высказал все то, что по совести считал необходимым высказать.

10 января 1857 года, четверг

Обедал у Позена. Он дал мне прочесть письма свои к государю, сопровождавшие проекты о разных отраслях государственного правления. Проекты эти составлены Позеном по требованию его величества. Проект о необходимости начертать программу и определить систему управления отличается многими светлыми и основательными мыслями, хоть и в нем есть общие места. Позен принимает четыре основные начала: православие, самодержавие, человечество и народность, но трем из этих идей дает другое значение, чем Уваров. Всего замечательнее его письма. Они написаны смело, умно и даже красноречиво. Любопытно в одном из них то место, где он говорит о том, что народ ожидает от государя улучшения своего жребия после войны и что в случае неудовлетворения этих ожиданий надо опасаться всеобщего неудовольствия. Положение народа он просто называет невыносимым.

Комитет об эмансипации ничего не решил. Позен уезжает во вторник.

13 января 1857 года, воскресенье

Был сегодня у директора канцелярии военного министра Брискорна. На прошедшей неделе я представлялся военному министру, который приглашал меня для совещания по поводу устройства образования и судьбы военных кантонистов: о них на днях состоялся высочайший указ. Тут же было мне объявлено, что я назначен членом комитета, на который возложены эти дела, а вчера я получил о том и официальную бумагу от министра. Мой проект, представленный в конце прошлого года, говорят, очень ему понравился. Брискорн назначен председателем комитета, потому я и был у него сегодня. Он излагал свои мысли в духе моего проекта. Мы поговорили о наших будущих занятиях и, кажется, согласились в главном, а именно в том, о чем я уже писал.

15 января 1857 года, вторник

Хотите ли приобрести известность? Ругайте как можно больше тех, которые уже достигли ее прежде вас. Во-первых, слушателям приятно будет услышать, что такой-то вовсе не такой талант, не такой ум, не так честен и благороден, как о нем говорят. А во-вторых, вы докажете собственный ум, ибо, по мнению толпы, тот непременно должен быть очень умен и даровит, кто ни в ком не признает ни ума, ни дарования.

Ум без честности похож на бритву без рукоятки: при всем желании нет возможности его употреблять, а если станешь употреблять, то обрежешься.

26 января 1857 года, суббота

В ту минуту, когда общество наше готово совсем утонуть в обычной апатии и пустоте, когда толки о погоде, о придворных новостях, о том, что в таком-то журнале обруган такой-то, и т.д., — когда все это начинает безмерно надоедать, благосклонная судьба обыкновенно посылает нашей публике на выручку какой-нибудь громкий особенный случай, преимущественно скандал, и вот публика выходит из летаргического сна, начинает шевелиться, поднимает голову, слушает, говорит, смеется, пока это ей не надоест в свою очередь, и она, усталая, снова погружается в пуховик своего умственного и сердечного бездействия.

Вот теперь такой случай прилетел к нам из Москвы: граф Бобринский подрался с профессором Шевыревым, или, лучше сказать, поколотил Шевырева, так что тот лежит в постели больной. Сегодня в Академии, в университете только об этом и толкуют. Кто стоит за одного из бойцов, кто за другого, но обстоятельства этого факта так перепутаны разными добавлениями, толкованиями, изменениями, вольными и невольными, что решительно нельзя составить себе точного о нем понятия. Знаешь только, что была драка, что подрались московский граф и московский профессор, что подрались они по-русски, то есть оплеухами, кулаками, пинками и прочими способами патриархального допетровского быта.

На днях также много занимала публику, прикосновенную к литературе, статья в “Русской беседе”, в которой В.В.Григорьев обругал Грановского. Этот Григорьев был когда-то послан в Лифляндию, за свою сомнительную деятельность в которой по возвращении получил крест. Во время моего цензорства он написал было статью — прямой донос на противную себе партию русских литераторов. Словом, этот любезный господин с успехом шел по следам Булгарина. Теперь ему сильно не понравилась высокая и чистая репутация Грановского, и он задумал столкнуть его в грязь.

Трудно решить, сколько добра приносит образование, но то несомненно, что оно необходимо.

8 февраля 1857 года, пятница

Акт в университете. Я читал отчет. Всеобщее, а со стороны многих даже жаркое одобрение. Я в отчете коснулся некоторых вещей, о которых в прежних отчетах не говорилось, да и не могло говориться. Между прочим всем понравился мой отзыв о Мусине-Пушкине.

Вечером был у князя П.А.Вяземского, где некто Львов читал свою драму “Свет не без добрых людей”.

Вчера был большой обед в Римско-католической академии по случаю утверждения нового ректора Якубильского. Тут, между прочим, встретил Норова. За

обедом я сидел от него довольно далеко. Увидев меня, он стал через весь стол громогласно изъявлять сожаление, что давно меня не видит. Потому сказал, что у него пропасть важных дел, о которых ему надо со мной переговорить, и т.д. — все во всеуслышание и очень некстати. Я отклонился от настоящего ответа и произносил отрывочные и ничего не значащие слова.

Дело о Шевыреве и графе Бобринском решено. Шевырев послан на житье в Ярославль, а графу Бобринскому велено жить безвыездно в своей деревне.

11 февраля 1857 года, понедельник

Князь Щербатов читал мне некоторые из своих предположений об улучшении гимназий и уездных училищ. Главная его идея: меньше учебной и административной формалистики и больше сущности. Он представляет о том доклад министру. Князь хлопочет также об увеличении учительских окладов. Разумеется, в министерстве обо всем этом и не подумают и ничего не сделают — несть бо там ни ума, чтобы думать, ни воли, чтобы делать.

Ребиндер, который недавно приехал сюда на несколько дней из Киева, также читал мне свои предположения. В них много прекрасного. Я вполне разделяю его мысли об усилении философского преподавания и о возбуждении вообще среди молодежи духовной деятельности. Об этом он не только представил министру (разумеется, совершенно бесполезно), но и лично государю, к которому являлся на днях.

12 февраля 1857 года, вторник

Князь Вяземский, которому теперь поручено главное наблюдение за цензурой, просил меня заняться проектом об ее устройстве, ибо великий хаос в ней. Я повторил ему то же, что сто раз говорил и ему и министру, именно, что тут нужно прежде всего сделать три вещи: a) дать инструкции цензорам; b) освободить цензуру от разных предписаний, особенно накопившихся с 1848 года, которые по их крайней нерациональности и жестокости не могут быть исполняемы, а между тем висят над цензорами как дамоклов меч; c) уничтожить правило, обязующее цензоров сноситься с каждым ведомством, которого касается литературное произведение по своему роду или содержанию.

Князь поручил мне пригласить одного из цензоров, вместе с ним рассмотреть и обсудить все эти обстоятельства и затем представить их ему, князю. Я, впрочем, объявил князю, что не беру на себя роли законодателя, а советую назначить комитет. Для предварительного обсуждения я избрал себе в помощники, за неимением лучшего, Фрейганга.

“Русский вестник” напечатал статью “Пугачевщина”. Велено сделать редактору и цензору строгий выговор.

Желать чего-либо пылко, но достигать желаемого со спокойным мужеством и хладнокровным постоянством есть признак сильной души.

17 февраля 1857 года, воскресенье

Вечер у князя Щербатова. Здесь сказал несколько слов, которых не следовало говорить. Каюсь. Все эти сердечные волнения и недовольства происходят из одного источника — из важности, которую мы придаем людям и жизни. Следует ли возносить их так высоко, чтобы потом, видя их низверженными в грязь, сетовать, тревожиться, негодовать? Право, игра не стоит свеч. Не важнее ли всего то, чтобы меньше страдать?

Серьезная точка зрения на жизнь и людей самая опасная. Тут Бог знает, в какие коллизии войдешь и с судьбою и с порядком вещей, и с самим собою, между тем как дело, по выражению Софокла, не стоит тени дыма.

23 февраля 1857 года, суббота

Читал сегодня по просьбе студентов и с согласия начальства речь студентам о цели и значении предпринятого ими “Сборника” и о литературных средствах достигнуть этой цели. Присутствовали ректор и многие из профессоров. Огромная зала (амфитеатром) была битком набита. Были и посторонние посетители. Прочитав до того лекцию, я чувствовал себя несколько утомленным, тем не менее импровизированная речь моя, хотя я сам и желал бы ее получше, была принята хорошо. Раздались аплодисменты, крики “браво”, топанье ногами и т.д. Товарищи-профессора тоже весьма одобрили. Значит, дело можно считать удачным.

Цель моя была наэлектризовать юношей, возбудить в них благородное рвение к предпринимаемому ими делу, но вместе и воздержать их от непосильных стремлений во что бы то ни стало к авторской славе и внушить им уважение к общественному мнению. Я при этом случае припомнил им слова Талейрана, который сказал, что он знает кого-то умнее себя и Наполеона: этот кто-то — все.

24 февраля 1857 года, воскресенье

Заседание комитета у графа Блудова по изданию сочинений Жуковского. Читано было примечание графа к поэме “Агасфер”.

26 февраля 1857 года, вторник

Вчера было читано в совете университета прошение мое об отпуске. Здоровье мое очень плохо. Силы до того надломлены, что, если не принять теперь же надлежащих мер к их восстановлению, они, того и смотри, совсем сломятся.

7 марта 1857 года, пятница

Вечером был в спектакле театральной школы как член театрального комитета. Пьесы игрались плохие, но некоторые из воспитанников и воспитанниц играли

недурно, хотя в игре их постоянно просвечивает недостаток эстетического образования. Вообще их учат неважно. Главное внимание школы, по-видимому, устремлено на танцы, и последние, в самом деле, удивительны.

2 марта 1857 года, суббота

Был у Ростовцева. Неприятны мне эти постоянные толки о Норове с укорами ему самому и его управлению. Так и на этот раз; все одно и то же: неспособность к делам, зависимость от подьячих в таких случаях, которых они совсем не понимают или понимают только с подьяческой точки зрения, двоедушие и пр. и пр.

Вся беда от того, что мы даем слишком большую цену жизни и самим себе. От этого мы созидаем множество неосуществимых планов и сетуем об их неисполнимости, а на случайности жизни смотрим без достаточного мужества.

3 марта 1857 года, воскресенье

Новые колебания Авраама Сергеевича. На днях он сообщил князю Щербатову о слиянии Педагогического института с университетом как о деле решенном. А сегодня при случайной встрече со мной, жалуясь на бедность университета, заметил, что о слиянии этом и речи быть не может, что заведения не следует уничтожать и что государю это не понравилось бы.

— Но ведь, — возразил я, — вы сами, Авраам Сергеевич, были того мнения, что университет приготовляет лучших учителей, чем их давал до сих пор Педагогический институт; что закрытое заведение может образовывать ученых, а не учителей, которых гораздо вернее образует университет, где на умы действует не одна наука, но и жизнь.

— Да, это неоспоримо, — отвечал он.

— Ну, так на первом плане должна же быть польза, — продолжал я, — и если мы убеждены в ней, то и должны высказать свою мысль без уклончивости. Да и притом кто же думает об уничтожении Педагогического института? Дело идет не о закрытии его, а о соединении с университетом — соединении, которое усилит университет и улучшит самбе образование учителей. А чтобы тут не было никаких даже сомнений, то назовите: “Центральный педагогический институт при С.-Петербургском университете”.

Эта идея пленила его. Он опять стал просить меня написать это. Конечно, все это одни слова.

20 марта 1857 года, среда

Ум есть не что иное, как орудие, пригодное для жизни. Иной употребляет его как сеть для ловли благ житейских; другой как кинжал для нанесения ран, чтобы, обессилив своего врага, исторгнуть у него то, в чем нуждается или чего желает; третий как щит против нападений; четвертый как когти и зубы, которые выказывает

по временам ради внушения страха, и т.д. Беда, если ум ни на что не годен, кроме тканья понятий, идей истинного и прекрасного и тому подобной паутины, в которую нельзя ловить даже и мух.

24 марта 1857 года, воскресенье

Диспут в университете. А.Н.Пыпин защищал свою диссертацию на звание магистра: “О русской повести”. Оппонировали я и Срезневский. Я взял за главное основание возражений — недостаток результатов о рассуждениях молодого ученого. Не видно, какие черты умственной, нравственной и эстетической жизни русского народа выражаются в дополнениях и переделках повестей, зашедших к нам из Византии и с Запада. Но с этой стороны только и можно было отчасти поражать диспутанта. Все остальное было неопровержимо. Пыпин защищался отлично. Было довольно много публики.

Самая необходимая вещь для человека — самообладание. У животных есть опекун: природа. Она всем у них распоряжается и хозяйничает. Мы же получили от нее только орудия и средства: все остальное зависит от нас. Оттого чем больше дано нам сил, тем труднее ими управлять и распоряжаться.

Тысяча вещей в душе нашей делается без нашего ведома. Мысли и впечатления роятся в ней ежеминутно, и каждое из этих движений влечет нас то в ту, то в другую сторону. Но все это ничего не значит, если распорядительная сила хороша и если под ее контролем движения эти не могут дойти до своих крайних последствий. Иногда случается даже и уступить какому-нибудь влечению. Но и тут пусть окончательно ничто не делается без вашего вмешательства, без причины вам известной, вами допускаемой.

27 марта 1857 года, среда

У графа Блудова. Разговор о нашей администрации и о Броке, который требует, чтобы ничто, касающееся финансов, не печаталось без его разрешения, и открыто объявляет, что наши писатели приведут нас к революции. Я заметил, что он ошибается, что революцию делают не писатели, а неспособные министры. Тут был еще, между прочим, Тютчев, который очень удачно острил над кое-кем из наших администраторов.

30 марта 1857 года, суббота

Заседание театрального комитета. Министр императорского двора граф Адлерберг прислал на наше рассмотрение устав комитета. Мы читали этот проект вместе с замечаниями директора, которому не хочется допускать в театральные дела никакого постороннего вмешательства. Министр же хочет противного, но, кажется, ему недостает настойчивости. Мы решились действовать твердо и попытаться сломить беззакония, которые мешают успешному развитию такого прекрасного и полезного дела как драматическое искусство.

Ни одно дело не совершается без пожертвований: честность требует пожертвования выгодой, а выгода — пожертвования честностью. Выбирайте любое.

28 апреля 1857 года, воскресенье

Весь месяц прошел в сильных приступах болезни и в устройстве поездки за границу, куда меня настойчиво посылают врачи. После разных треволнений дело, кажется, уладилось.

12 октября 1857 года, суббота

Визиты попечителю и министру. Последнему должен был представиться после своего возвращения [из-за границы, куда Никитенко ездил для лечения]. Он встретил меня с обычными объятиями, старался выказать теплое участие ко всему, что меня касается, но в этом участии недоставало главного — искренности, или я не сумел ее открыть.

Князь Щербатов хвалился, что он одержал победу над департаментом и Кисловским. Он формально объявил министру, что не хочет иметь никакого дела с последним, и потребовал, чтобы ни одно дело по С.-Петербургскому округу не решалось без участия попечителя, для чего выразил желание присутствовать при докладах. Авраам Сергеевич на все согласился.

15 октября 1857 года, вторник

Вот каким событием был я встречен по возвращении в отечество. В Москве несколько студентов праздновали именины своего товарища. Между студентами было человек пять-шесть поляков. Вдруг к ним явился квартальный надзиратель с требованием выдачи мошенника, который будто бы между ними находился. Молодые люди скромно заметили, что он, вероятно, ошибается, что между ними такого не имеется, и просили его удалиться. Он ушел, но скоро вернулся, приведя с собою человек двадцать полицейских. Одни из них сломали двери, другие полезли в окна; стали всех бить и вязать с криками, что тут все изменники, ляхи. Произошла кровавая драка. Студенты были избиты палашами и нагайками и отведены на съезжую. Четверо так пострадали, что опасаются за их жизнь. Генерал-губернатор Закревский дал знать телеграммою государю в Киев, что “в университете бунт”. Государь отвечал: “Не верю”.

Производится следствие. Теперь государь в Москве. Общий голос, что молодые люди в этом деле вели себя превосходно. Даже враги университета во всем винят полицию. Все с нетерпением ждут решения государя.

16 октября 1857 года, среда

Вечер у Березина, где был радушно встречен многими из моих университетских товарищей литераторов. Тут, между прочим, был Кавелин, ныне наставник

наследника по юридическим наукам, И.К.Бабст, назначенный также наставником к нему по политической экономии. Нам не заимствовать надо у Европы, а учиться. Надо уметь хотеть — хотеть трудиться умно и честно

21 октября 1857 года, понедельник

Приступаю понемногу к обычным занятиям своим по службе и в кабинете, хотя здоровье все еще скрипит.

27 октября 1857 года, воскресенье

Получил от графа Адлерберга бумагу о назначении меня председателем театрального комитета.

Просматривал разные журналы, вышедшие в мое отсутствие. Многие статьи в них, особенно в “Современнике”, поражают крайней смелостью и парадоксальностью своих стремлений.

После всего испытанного нашим обществом в недавнем прошлом протест и оппозиция — явления неизбежные. Мало того, они необходимые элементы общественной и государственной жизни, которая без них теряет равновесие, застаивается и глохнет. И потому протестуйте, господа, — это ваше право и даже долг, — но пусть протест ваш покоится на прочных началах разума и совершается не во имя ваших личных, узких мировоззрений и страстей, а во имя широких общечеловеческих идеалов правды и добра. Но не так думают и поступают наши современные протестанты. Ослепленные ненавистью к недугам прошлого, они в нем всё без разбора бранят и клянут; ополчаются против всего, часто даже вопреки разуму и истории, и не замечают, что у самих под ногами еще не сложилась почва и что в своей нетерпимости они становятся представителями нового и чуть ли не еще вящего деспотизма, чем прежний. Нет, господа, истина не так легко дается.

Мы, правда, идем по скату, и многие могут думать, что тут уже ничего не значат благородные усилия в пользу общественного добра и порядка. Это ошибочно. Из этого вовсе не следует, что человеку честному надо сидеть сложа руки или предаваться крайностям.

14 ноября 1857 года, четверг

Настоящий год богат у нас гибельными происшествиями. Неслыханным образом потонул восьмидесятичетырех-пушечный корабль со всеми пассажирами и командой (всего 800 человек). Ему ведено было так скоро собраться в путь, что он, видите ли, не успел как следует расположить балласт и прикрепить пушки, отчего он наклонился на один бок, опрокинулся и пошел ко дну. Летом два компанейские парохода — один сел на мель на пути из Петергофа в Петербург, а другой чуть не потонул где-то на пути из Штеттина. На Каспийском море потонул фрегат со всеми людьми. В пожаре около Думы погибло, говорят, двенадцать человек. Потонул пароход на Неве, у Охты, шедший из Шлиссельбурга, и потонул оттого, что шкипер

был пьян и не распорядился, когда стемнело, зажечь фонари, отчего наткнулся в темноте на другой пароход. Потонуло много пассажиров, и в том числе всеми уважаемый пастор Мориц. Но и из спасшихся многие умерли в последующие дни, кто от ушибов, кто от простуды, кто от испуга.

6 декабря 1857 года, пятница

Своровано — и где же? Между студентами! Студенты издают сборник, для чего у них собраны деньги. Один из молодых редакторов захватил в свои руки пятьсот рублей: от них и след пропал. Сегодня был у меня один из профессоров и с горестью рассказал мне это. Кроме того, он передал еще несколько других случаев, где студенты вели себя вовсе нехорошо. Да, это действительно и горько и обидно. Между тем попечитель, князь Щербатов, смотрит на все сквозь пальцы.

8 декабря 1857 года, понедельник

Умер Красовский, председатель иностранного цензурного комитета, человек с дикими понятиями, фанатик и вместе лицемер, всю жизнь, сколько мог, гасивший просвещение. Давыдов вздумал написать ему панегирик (Красовский был членом Российской академии). Я восстал против этого: “Что же мы будем говорить об истинных заслугах и достоинствах после восхвалений таким людям, как Красовский? Да и кто поверит таким хвалам? Пора бросить эти лицемерные чествования доблестей, которых не было и в которые менее всего верит тот, кто их превозносит. Поговорка, что об умерших не должно говорить худо, справедлива только в отношении наших личных приятелей и врагов, но не в отношении к общественным деятелям. Как египтяне, судившие своих царей по смерти, мы должны бескорыстно и строго судить этих людей, если они вместо пользы, какую могли приносить, делали вред. Пусть это служит уроком живым. И если мы не можем сказать всей правды, то не будем же по крайней мере восхвалять”.

Один Грот меня поддержал. Плетнев что-то пробормотал, прочие молчали. И.И.Давыдов возразил, что ведь Красовский был тайный советник, однако обещал смягчить свою хвалебную песнь.

9 декабря 1857 года, вторник

На днях обедал у графа Блудова. Он много говорил о Сперанском и, между прочим, рассказал следующее. Сперанский был человек необыкновенный: большой приверженец Наполеона и французской системы управления, которую потом и у нас ввел. Он впоследствии не любил императора Александра I, который платил ему тем же и раз в откровенном разговоре сказал о Сперанском одному из своих приближенных: “Ты не знаешь, какой это трус и подлец”. Однако Сперанский не был ни тем, ни другим. Его обвиняли в двенадцатом году в измене, но это несправедливо, хотя император Александр этому верил. По крайней мере он приводил в доказательство виновности Сперанского частые сношения последнего с французским послом. Карамзин защищал его в этом перед государем.

Еще, говорил граф Блудов, Сперанский был необыкновенно почтителен к своей матери. Когда во дни его могущества она явилась к нему повидаться, — мать его была простая деревенская попадья, одетая в балахон и повязанная платком, — он при встрече с ней, по старому русскому обычаю, упал перед нею на колени и оказал ей всевозможные знаки сыновней любви и уважения.

11 декабря 1857 года, четверг

Заседание в Академии наук. Председательствовал президент. Были выборы в почетные члены. Граф предложил очень много лиц, большею частью все чуждых Академии и науке. Сначала члены терпеливо клали белые шары, но потом терпение их истощилось, и, как всегда бывает в подобных случаях, потерпели достойные в пользу недостойных. Так, например, министр внутренних дел Ланской выбран, а Тютчев и Мельников (инженер) не выбраны. Граф был недоволен и прекратил дальнейшие выборы из опасения новых поражений.

14 декабря 1857 года

Был на похоронах П.Г.Буткова, сенатора и члена Академии наук. Старик дотянул до восьмидесяти двух лет. Он был добрый и честный человек, и я лично питаю к нему неизменную признательность за помощь, которую он в былое время оказал мне — бедному, униженному юноше.

16 декабря 1857 года, понедельник

Князь Щербатов начинает действовать очень странно. Он, между прочим, хочет уничтожить пансионы при гимназиях и стипендии бедным студентам университета. В университете дела идут дурно. Студенты остаются без нравственного руководства. Князь, очевидно, добивается популярности. Например, студенты издают два рукописные журнала, которые, между прочим, наполняют всяческими ругательствами. Один журнал называется “Вестник свободных мнений”, а другой, в подражание Герцену, “Колокол”. Попечитель это знает и дозволяет. Но во избежание скандала он объявил студентам, что сам берется быть их цензором и желает, чтобы статьи предварительно показывались ему. Они и покажут ему пять-шесть статей невинных, а затем прибавят к ним несколько и других, которые тоже пустят в ход под покровительством попечительской санкции. Вместо того, чтобы побуждать молодых людей учиться, он поощряет их быть журналистами и тратить время на пустяки, которые в конце концов могут вредно отразиться на них самих и иметь пагубные последствия для всего сословия и заведения.

18 декабря 1857 года, среда

Виделся с государственным статс-секретарем Бутковым. Вот каким он мне показался. Говорит он бойко и легко, и это, кажется, была одна из причин его быстрого возвышения. Судит он очень либерально и, кажется, хочет так судить,

чтобы казаться человеком времени, человеком просвещенным, прогрессистом, потому что ныне на стороне профессистов много умных людей. Но суждения его очень поверхностны: на них очевидные следы слегка прочтенного или слышанного. Ничего глубокого, основательного, государственного в нем не заметно. Это ум беглый, по преимуществу легкий. Ему очень хочется казаться выше бюрократического порядка вещей, и потому он бранит бюрократию и защищает принцип сословной представительности. Но все это носит на себе печать незрелости и чего-то навеянного, а не выросшего из глубины собственных убеждений и соображений.

19 декабря 1857 года, четверг

Всеобщие толки о так называемой эмансипации, приступ к которой все прочли в напечатанных в газетах семнадцатого числа рескрипте Назимову и в отношении министра внутренних дел. Главное — приступ сделан, и назад идти нельзя.

22 декабря 1857 года, воскресенье

В публике боятся последствий рескрипта об эмансипации — волнений между крестьянами. Многие не решаются летом ехать к себе в деревню.

Никто не думает, что освобождение крестьян будет иметь благодетельные последствия для самого дворянства. А казалось бы, что этого именно и следовало бы ожидать. Оно должно дать ему более политического значения. Повелевая рабами, оно само было рабом. Но как скоро установится идея права между дворянством и ему подвластными, то идея этого права непременно должна проникнуть и в другие общественные отношения, должна получить повсеместное приложение. Сделав этот шаг, мы вступили на путь многих реформ, значение которых теперь нельзя с полной вероятностью определить. Сила потока, в который мы ринулись, увлечет нас туда, куда мы не можем предвидеть.

23 декабря 1857 года, понедельник

В номере 270 “С.-Петербургских ведомостей” напечатал я возражение, против мысли Даля о вреде грамотности для нашего простого народа. Мое возражение принято в публике очень хорошо. Слышу много изъявлений удовольствия и благодарностей.

24 декабря 1857 года, вторник

Наши журналы в настоящее время почти исключительно наполняются описаниями разных гадостей и сплетней нашего общественного быта. Я очень далек от того, чтобы отвергать значение и пользу этого рода обличительной литературы, особенно в данный момент. Но меня огорчает крайняя исключительность такого направления и слишком тесная замкнутость ее в узкой сфере интересов минуты. Она

не только исключает из своего круга, но и со злостью преследует все, что отзывается общечеловеческими, возвышенными интересами, всякое стремление к идеалу. Такое исключительное направление литературы в конце концов не может не быть вредно обществу, как все узкое, личное, зараженное нетерпимостью.

25 декабря 1857 года, среда

Граф Блудов пригласил меня сегодня на открытие надгробного памятника Жуковскому. Была отслужена панихида в церкви и на могиле. Памятник сделан еще по указанию вдовы Жуковского из черного гранита, в виде гробницы. По сторонам тексты из св. Писания. Он показался мне массивным и неуклюжим.

26 декабря 1857 года, четверг

Обедал у графа Блудова. Разговор о покойном государе. “За несколько часов до смерти его, — рассказывал граф, — ко мне с торопливостью подошли граф Адлерберг и князь Долгорукий и предложили мне заняться сочинением манифеста о вступлении на престол нового государя.

— Господа, — отвечал я, — как можем мы говорить о манифесте, когда император еще жив. Время ли думать об этом? Нет! Я не буду писать манифеста, пока царствующий государь еще дышит.

Когда Николай Павлович скончался, меня позвали к новому императору.

— Скажите его величеству, — отвечал я посланному, — что я прежде пойду поклониться телу государя, а потом, исполнив мой долг, явлюсь к нему.

Так я и сделал. Государь принял меня очень благосклонно и с глубокою горестью приказал составить манифест”.

Много также говорил Блудов опять о Сперанском. Сперанский вел дневник, находящийся теперь в руках Корфа, который занимается биографией Сперанского. Дневник этот престранный. Он наполнен такими пустяками и мелочами, что заставляет предполагать, будто он писался с намерением скрыть настоящие мысли и наблюдения автора на случай, если бы бумаги его попали в чужие руки.

29 декабря 1857 года, воскресенье

Акт в Академии наук. Два отчета: один читал И.И.Давыдов о деяниях II отделения, а другой — секретарь Веселовский о подвигах всей академии. Иван Иванович утомил слушателей своим акафистом Иннокентию.

После акта академики собрались на обед в Шахматный клуб, куда явились и президент, граф Димитрий Николаевич Блудов, и министр. Обед был хорош и, кажется, весел, как бывают все наши официальные и полуофициальные обеды. Тут все делаются большими друзьями и провозглашают вместе с тостами самые благие желания и намерения. Я сказал моему соседу:

— Как было бы хорошо, если бы вся жизнь человеческая состояла из обеда. Сколько было бы у нас дружбы, добрых начинаний, прекрасных чувств. Ведь и здесь всего немало, но жаль, что это переварится вместе с съеденным обедом, и тем все и кончится.

И.И. Давыдов сказал очень умный и приличный спич и— к удивлению всех — без лести, хотя тут было бы кому воскурить.

После обеда я познакомился с Бэром, которого давно уважал.

1858

1 января 1858 года, среда

Получил из военного министерства проект положения об учебных заведениях и программы, с просьбой рассмотреть их в два дня и написать свое мнение.

2 января 1858 года, четверг

Занимался проектом и программами. Завтра отправляю все со своим заключением.

3 января 1858 года, пятница

Между прочими были у меня Панаев и молодой Ламанский, даровитый молодой человек, приготовляющийся занять у нас в университете кафедру славянских наречий.

Панаев рассказывал про свое свидание с Чевкиным, главноуправляющим путями сообщения. Сей государственный муж доказывал ему, что нынешнее направление литературы, заключающееся в преследовании всяческих крадств, вредно. Недавно в какой-то статье задеты были по этой части путейские чиновники. Вообще многим из нынешних главных начальств не нравится литературное бичевание мерзостей, совершающихся в их ведомствах. Они находят, что это повлечет неуважение к правительству. Гласность и усиление общественного мнения в делах общественных они находят вредным, особенно граф Панин. Но они ошибаются: тут нет ничего общего с уважением или неуважением к правительству. Последнее само тяготится разными административными злоупотреблениями и в гласности и в общественном мнении должно бы видеть самую деятельную помощь против зла, с которым хочет бороться.

На днях министр сильно накричал на цензора Бекетова за то, что тот по напечатании рескрипта об освобождении пропустил в “Сыне отечества” извлечение о постановлениях для остзейских крестьян. Это случилось в отсутствие князя Г.А.Щербатова. Но когда князь вернулся, он настоял, чтобы Бекетов не был отрешен от должности, как грозил министр. Все это была работа Кисловского, который отрешением Бекетова думал сделать неприятное князю. Но последний поступил очень решительно, что называется, прижал министра и не дал в этот раз тайному подьячему духу восторжествовать над справедливостью.

5 января 1858 года, воскресенье

Вечер у князя Щербатова. Мне было передано от его имени, что он очень жалеет, что давно меня не видел. Было объяснение.

— Мне кажется, — сказал князь, — что вы сердитесь на меня.

Я не скрыл, что некоторые слова и поступки, ему приписываемые, вызывают мое недоумение. Князь многое опроверг, а другое объяснил преувеличениями своих недоброжелателей. Мы дали слово друг другу вперед в таких случаях откровенно объясняться.

Затем князь горько жаловался на хаос, царствующий в нашем министерстве. Кисловский везде на первом плане.

6 января 1858 года, понедельник

У графа Блудова. Там был также попечитель Московского университета Ковалевский. Разговор о статье в Москве “Публика и народ”, за пропуск которой чуть не был отрешен цензор Гиляров; о том, как князь Щербатов отстоял Бекетова; о современной литературе и литераторах. Граф выражал сожаление, что современные писатели, по-видимому, совсем знать не хотят, что выражать свои мысли в слове есть искусство, и пишут как попало.

Попечитель жаловался на борьбу в Московском университете между славянофилами и западниками. Борьба доходит до того, что противники даже не стесняются друг другу гадить. Это особенно отражается на лицах, ищущих степеней и кафедр. *Западники* отвергают даже людей способных, но не принадлежащих к их партии. *Славянофилы* мстят им тем же.

Говорили еще о московском обеде по поводу высочайшего рескрипта о свободе, о множестве произнесенных на нем речей, из которых не одобряли речи Погодина; о графине Ростопчиной, которая сделалась страшной консерваторкой.

Граф Блудов и Ковалевский вспоминали о графе Канкрине. По мнению первого, это был лучший министр финансов в России. Он был, по словам Блудова, ума обширного и очень находчив в финансовых операциях. Между прочим, кто-то припомнил его слова: “Я министр финансов не России, а русского императора”.

— Но это, — заметил Блудов, — ему не мешало любить и знать Россию. Вот по какому случаю император Александр I приблизил Канкрина к себе. После Бауценского сражения армия наша, теснимая неприятелем, оставалась без всякого продовольствия. Канкрин был тогда интендантом. Государь призывает его к себе и говорит ему: “Мы в тяжелом положении. Если ты найдешь способ вывести армию из затруднения и доставить ей продовольствие, я награжу тебя так, как ты не ожидаешь”. Канкрин нашел этот способ, и с тех пор карьера его была упрочена.

11 января 1858 года, суббота

Заседание театрального комитета. Ни одной порядочной пьесы, хотя мы на этот

раз рассматривали их пять.

Волнение рабочих крестьян по дороге от Луги до Острова. В Смоленской губернии, говорят, убили несколько помещиков.

13 января 1858 года, понедельник

Вечером был приглашен на совещание по устройству “Общества литературного фонда для пособия нуждающимся литераторам и ученым и их семействам”. Собрание наше состояло из Краевского, Кавелина, Галахова, Дружинина, Анненкова, Дудышкина и меня. Мне поручили написать проект устава.

Бесконечные толки о свободе крестьян. Правду сказать, есть о чем потолковать. Тут затронуты самые существенные интересы общества, многие симпатии и антипатии, до сих пор таившиеся в умах. Но, Боже мой, сколько же и нелепостей в этих толках. Сквозь разные более или менее пристрастные суждения, однако, явственно проглядывает дух двух враждебных партий — желающей освобождения и не желающей его. К первой принадлежат все так называемые мыслящие или притворяющиеся мыслящими умы: литераторы, ученые и т.д. Ко второй — все те, материальные интересы которых замешаны в эту громадную игру, следовательно, большая часть помещиков-душевладелъцев. Между лицами, принадлежащими к последней партии, различаются два оттенка: одни находят меру освобождения несправедливою в тех условиях, в каких она предложена правительством; другие находят ее безусловно вредною или по крайней мере преждевременною. Конечно, они имеют основание опасаться. Тут дело идет об их благосостоянии. Вопрос касается их поземельной собственности, от которой они не хотят отказаться. А иным просто не по сердцу уничтожение их *барства* — и эти чуть ли не сильнее всех кричат.

Кавелин, которого, кстати сказать, нельзя не любить и не уважать, в своих страстных увлечениях, однако, доходит часто до крайностей. Теперь, например, он вопиет против дворянства как против вреднейшего из зол на земле. Как будто бы зло в самом дворянском сословии, а не в особенностях его положения у нас.

15 января 1858 года, среда

Умер член II отделения Академии наук Коркунов. Он недели две хворал тифом. Это был человек честнейший из честных, ума не обширного, маленьких знаний во множестве.

16 января 1858 года, четверг

Меня избрали секретарем II отделения на место Коркунова, который состоял также и в этом звании.

Обедал у графа Блудова. Там были: Анненков, издатель Пушкина, и Ковалевский, директор азиатского департамента. Разговор о литературе, которой

очень хочется говорить о главном современном вопросе — о свободе, или так называемой эмансипации, и о цензуре, которой очень не хочется этого дозволить. Графиня читала стихи Аксакова в честь освобождения. Стихи эти не пропущены, несмотря на то, что в них принимает участие великий князь Константин Николаевич.

Был у меня Львов, автор комедии “Свет не без добрых людей”, и принес мне билет на завтрашнее представление. Я пьесы еще не видал. Ее запретили в Москве, и здесь велено давать ее реже. Публика от нее в восторге. Власти осыпают автора похвалами, а между тем произведение его гонится со сцены. Кажется, и слава и гонение преувеличены. Пьеса, несомненно, имеет достоинства. Но одни восхищаются, а другие возмущаются всего больше словами: “Правдою нельзя нажиться на службе”.

17 января 1858 года, пятница

Заседание в комитете по устройству кантонистских школ. Члены — все сияющие и звездоносные генералы в мундирах. Я во фраке казался между ними вороною, залетевшею в стаю павлинов. Были жаркие прения о некоторых параграфах устава. Заседание затянулось с двенадцати часов до трех.

Вечером в театре на представлении пьесы “Свет не без добрых людей”. Некоторые места в ней производят сильное впечатление. В ней много современной истины, и это главная причина ее успеха. Игра актеров очень хороша, особенно Мартынова, Зубарева, Максимова и Линской.

18 января 1858 года, суббота

Радикальные реформы редко не вредны.

Задуманные с лучшими намерениями, они почти никогда не достигают своей цели, потому что им недостает почвы. Почва будущего, во имя которого они предпринимаются, состоит из настоящего и прошедшего. Вещи, оторванные от того и другого, не идут, а мчатся в беспорядке, волнуются, блуждают, запутываются и производят хаос, из которого трудно бывает выбраться.

У Валерьяна Никитича Вельбрехта собралось несколько человек бывших студентов С.-Петербургского университета разных выпусков для совещания о праздновании дня открытия его. Меня избрали председателем этого собрания, в котором и была составлена программа обеда. Я и князь Щербатов назначены председателями-хозяевами праздника, и мне же поручено написать речь к первому заздравному тосту в честь государя. День назначен 16 февраля.

Говорят, министр народного просвещения потерпел сильное поражение в заседании совета министров в прошедший четверг, где он докладывал. Начало доклада, по-видимому, было хорошее. Министр прочитал записку о необходимости действовать по цензуре в смягчительном духе. Записку эту писал князь Вяземский с помощью Гончарова. Против Норова восстал враг мысли, всякого гражданского,

умственного и нравственного усовершенствования, граф Панин. Он не лишен ума, а главное — умеет говорить. Бедный Норов начал было защищать дело просвещения и литературы, но защита его, говорят, вышла хуже нападок. Панин, разумеется, восторжествовал, и цензуре велено быть строже.

21 января 1858 года, вторник

Панин, Брок и Чевкин, кажется, помешались на том, что все революции на свете бывают от литературы. Они не хотят понять, что литература — только эхо образовавшихся в обществе понятий и убеждений; что если она обращает внимание правительства на какие-нибудь административные беспорядки, то тем оказывает услуги ему самому; что надо отличать нападки на законы от нападок на неисполнение последних и что нападки этого рода только возвышают достоинство закона и законодательной власти.

22 января 1858 года, среда

У графа Блудова. Все та же песня о хаосе в делах по министерству народного просвещения и разговор о несообразности в действиях цензуры.

25 января 1858 года, суббота

Два комитета вечером: один театральный, другой по военному ведомству. В последний я получил приглашение с надписью: “Весьма нужное”. Надо было отправиться туда. Заседание продолжалось до полуночи у генерала Данненберга. Сильно восставал против всех воспитательных учреждений военного министерства Булгаков. Он полагает, что все образование должно быть сосредоточено в министерстве народного просвещения, и сильно нападал на преобладание в военно-учебных заведениях так называемой ружистики — с чем соглашались и прочие генералы. Была высказана мысль относительно общего образования: в министерстве народного просвещения должно бы существовать общесовещательное собрание из лиц всех ведомств, под председательством министра. Там рассматривались бы все проекты и соображения о специальном образовании, какое нужно каждому ведомству. Образование должно быть *общим, национальным и государственным’*, одно для народа, другое для разных специальных потребностей государства.

Еще слово о Булгакове: это человек умный, даровитый, либеральный, владеющий даром слова.

26 января 1858 года, воскресенье

Есть прогресс *сломя голову* и прогресс *постепенный*. Если бы надо было себя сформулировать одной из тех категорий, на какие принято подразделять политические мнения в Европе, я бы назвал себя умеренным прогрессистом. Я худо верю в те учения, которые обещают обществу беспредельное счастье и

усовершенствование, но верю в необходимость для человечества развития, на всякой степени которого для него воздвигается известная мера благ с неизбежною примесью известных зол; верю, что не идти путем этого развития — значит противиться закону природы и подвергаться произвольно таким опасностям и бедствиям, которых избежать есть долг разумного существа. Как природа испытывает перемены времен года и с каждой переменой производит новые существа и новые явления, не выходя из общей сферы, определяющей ее деятельность, так и человечество не может оставаться неподвижным и должно раскрывать в исторической последовательности те силы, какие составляют его содержание.

27 января 1858 года, понедельник

Вот что случилось: бывшим студентам С.-Петербургского университета запрещено собраться вместе в память его основания и вместе пообедать. Причина тому, как говорится, покрыта мраком неизвестности. Сегодня я был у Вельбрехта: никто ничего не знает. Все участники предполагаемого праздника — а их могло быть человек до пятисот — чувствуют себя оскорбленными. Между тем московцы, казанцы и харьковцы преспокойно отпраздновали себе свои дни. Князь Васильчиков полагает, что можно будет просить, что это еще переменится. Но я не знаю, желательно ли это: неприятное впечатление произведено, и праздник был бы холоден и лишен одушевления.

29 января 1858 года, среда

Сегодня у графа Блудова было много говорено о графе Панине, который пылает такой ненавистью к просвещению и литературе, что беспрестанно предлагает какие-нибудь новые, стеснительные цензурные меры. Например, чтобы побудить цензоров к вящей строгости, он предлагает за всякое упущение немедленно подвергать их взысканию, а потом уже исследовать, точно ли дело стоило такого взыскания. Не значит ли это рассуждать прямо навыворот? Это особенно прилично министру правосудия.

Боже мой! Как посмотришь — к каким странностям приводит слепая ненависть к истине и разуму.

31 января 1858 года, пятница

Оказывается, что запрещение нашего обеда есть мера общая, которая клонится к тому, чтобы вперед не было праздников в честь университетов или в честь каких бы то ни было общественных явлений. В Москве Кокорев хотел устроить какой-то огромный обед в честь эмансипации. Граф Закревский увидел в этом нехорошее и в таком виде представил сюда, вследствие чего последовало запрещение и кокоревского, и нашего обедов.

Теперь у меня на руках два проекта уставов — один театрального комитета,

другой “Литературного фонда для пособия нуждающимся литераторам и ученым”.

5 февраля 1858 года, среда

Во Франции творятся скверные дела. Враги Наполеона должны быть довольны: он начинает делать ошибки. Путь, на который он вступил, тот самый, который привел к гибели его дядю. Это путь военного деспотизма и ослепления своим могуществом.

Люди ни дурны, ни хороши, а точно таковы, какими им надлежит быть по условиям их природы и жизни. Ни сетовать, ни негодовать тут не о чем, а надо только остерегаться. Неприятности следуют всегда за излишней доверчивостью. Кто сел в крапиву — не жалуйся, что обжегся.

6 февраля 1858 года, четверг

Первое заседание комитета, учрежденного для пересмотра старого и составления нового цензурного устава. Прежде прочитана была записка князя Вяземского о состоянии направления нынешней литературы, представленная министром народного просвещения государю. Записка оправдывает литературу от взводимых на нее обвинений. Она составлена умно и изложена изящно. Вообще записка эта делает честь князю Вяземскому по светлым идеям в пользу мысли и просвещения, которые он сумел вложить в нее. Он опровергает ею мнение многих, будто он сделался простым аристократом-царедворцем, особенно Герцена, который беспощадно казнит его в каждом номере “Колокола”. Любопытны также замечания государя на эту записку. Некоторые места в ней он одобряет, к другим относится как будто недоверчиво, и в замечаниях его тогда проглядывает как бы нерасположение к литературе и сомнение в ее благонамеренности. Вообще он считает необходимым бдительное цензурное наблюдение за ней.

16 февраля 1858 года, воскресенье

Вся эта неделя была для меня полна самой тяжелой и скорой работы. Я написал два проекта уставов: театрального комитета и “Литературно-ученого фонда”. Первый уже рассмотрен и одобрен комитетом, второй будет рассматриваться на этой неделе. Сверх того, идут заседания комитета для пересмотра цензурного устава. Много толков, много изменений. Все это составляет хаос, который надо привести в стройный вид и ясное выражение. Князь Вяземский в данном случае умно и благородно смотрит на вещи, но за этот последний труд не берется. В последнее заседание комитета о цензуре князь предложил возложить на меня составление и редакцию проекта изменений и дополнений к цензурному уставу, а равно и тех листов, которые должны быть внесены в Государственный совет, где наш проект без сомнения будут сильно оспаривать.

20 февраля 1858 года, четверг

Собрание “Литературного фонда”. Я читал проект устава. Предложено несколько изменений.

24 февраля 1858 года, понедельник

Заседание комитета для пересмотра цензурного устава. Читал обработанный мною весь первый отдел, где изложены основные начала цензуры. Я написал несколько новых параграфов с целью дать литературе побольше простора в суждениях о делах общественных. На этот раз принято все, за исключением одного параграфа.

Все это только начало труда, будет пропасть работы. К чему она опять приведет — не знаю. Горько становится, когда подумаю, сколько раз уже моя работа в этом направлении пропадала даром! С Авраамом Сергеевичем уже казалось так налажено — но удобная минута была пропущена, и вот опять все сызнова начинай. А все не хочется отстать, и всякий раз возлагаешь надежды на столь знаменательное в нашей русской жизни *авось.*

Переписан и подписан членами проект устава о театральном комитете.

Вчера князь Щербатов читал мне свой устав университета. Сомнительный успех, ибо тут требуются деньги и новые права.

25 февраля 1858 года, вторник

Вечером на спектакле в театральной школе. Снеткова очень хорошо выполнила сцену Марины у фонтана из “Бориса Годунова”. В ней положительный талант, да и наружность у нее прелестная, но выйдет ли что из всех этих задатков быть отличной артисткой — другой вопрос. Ей, как и всем нашим артистам, недостает общего образования и школы.

26 февраля 1858 года, среда

На днях был у меня митавский губернатор П.А. Валуев. Он привез мне письмо от моего доброго приятеля К. И. Рудницкого из Риги, с которым и он дружен. Валуеву очень понравилась моя “Мадонна” и мой спор с Далем о грамотности, и он пожелал со мной познакомиться. Вчера я отдал ему визит.

У жизни много цепей. От иных надо уметь освободиться, другие — носить с терпением и мужеством. Хуже всего, когда мы к тем, которые сковывают жизнь, прибавляем от себя новые.

Величайшее благо, до какого может достигнуть человек усилиями ума и воли, есть независимость духа, не нуждающаяся ни в случайных дарах счастья, ни в другой благосклонности людей, кроме той, за которую он может заплатить наличными услугами и трудом.

28 февраля 1858 года, пятница

Ездил поутру к Панаеву, директору канцелярии министра императорского двора, объясняться по делам театрального комитета. Проект устава должен быть представлен на днях министру.

Вечером получил горестную весть. М.М.Тимаев, мой старый друг, благороднейший из людей, каких я знал, внезапно умер. Поутру был здоров, спокоен, говорил с женой о предстоящей свадьбе своего сына и удалился в другую комнату. Через минуту вошел к нему слуга и нашел его мертвым. Ему был шестьдесят один год.

2 марта 1858 года, воскресенье

Вчера был на огромном рауте у графа Д.Н.Блудова. Звезд и кринолинов — без конца. Я все время проговорил с Остроградским, а потом и с Титовым.

Решительный приговор вовсе не служит доказательством знания, а часто служит только доказательством притязаний на знание.

4 марта 1858 года, вторник

Отослал к графу Адлербергу проект устава театрального комитета при моем донесении.

Вечером в театре. Здесь услышал о смерти Сенковского. Он уже давно страдал несварением желудка.

7 марта 1858 года, пятница

Был у графа Адлерберга. Разговор об уставе театрального комитета. Граф объявил, что доволен им, и благодарил за него. Спрашивал моего мнения о пользе комитета. Я отвечал, что польза его преимущественно отрицательная: препятствие загромождать сцену плохими пьесами. Но тут есть также и положительная польза, а именно, что писатели, особенно молодые, будут находить ободрение в мысли, что судьба их сочинений отныне станет решаться не произволом, часто невежественным, а судом литературным и, по возможности, справедливым.

Граф заметил, что у нас теперь мало драматических талантов, потом перешел к цензуре, заговорил о трудности ее направить и заметил, что у нас в литературе господствуют не совсем хорошие стремления. Я возразил, что положительно дурного или вредного в ней ничего нет, а что если некоторые из молодых писателей иногда и увлекаются чересчур горячими мыслями, то это не может иметь вообще решающего влияния на умы, так как они всегда найдут противодействие в произведениях людей более зрелых и с более установившимся образом мыслей.

Граф указал на шаткость у нас общественного мнения. “Иногда, — сказал он, — резко нападают на какое-нибудь высшее лицо — оно удалено, и вот его начинают возносить. Затем граф просил указать ему несколько кандидатов на места членов

театрального комитета.

10 марта 1858 года, понедельник

До сих пор еще не отметил случай, доставивший мне и развлечение и некоторое удовольствие: обед бывших студентов С.-Петербургского университета, состоявшийся еще 16 февраля. Это не был большой, парадный, обед, который нам запретили, а простая, дружеская трапеза, на которую собралось человек до тридцати в квартире Вельбрехта. Обед был очень оживлен. В течение его и на мою долю выпало маленькое торжество. В честь мою был выпит тост и сказано несколько слов, от которых у меня стало тепло на душе. Спасибо, господа!

Затем последовали другие тосты, пение, и на первом плане всемирный студенческий гимн Gaudeamus igitur и проч. В числе певцов особенно отличались князь Васильчиков и братья Уваровы.

16 марта 1858 года, воскресенье

У графа Блудова. Важная новость: Норов подал в отставку, и просьба его принята.

17 марта 1858 года, понедельник

Совет университета, в котором попечитель предложил на рассмотрение составленный им проект нового университетского устава. Тут все уже знали об отставке Норова. Говорят, на место его назначается Ковалевский, попечитель московский. Всеобщее мнение: хуже того, что было, быть не может. Бедный Авраам Сергеевич, вот к чему его привели все его шатания.

18 марта 1858 года, вторник

Князь Вяземский сказал мне сегодня, что он тоже подал в отставку и получил ее. Жаль. Он не много делал и не много мог сделать, но он человек благородный, просвещенный и умный.

19 марта 1858 года, среда

Сейчас получил известие от Петра Петровича Татаринова, что Норов подал в отставку и получил ее.

Вчера пронесся слух, что Брок также уволен и на места его назначен Княжевич. Вот сколько перемен! Что-то дадут они нам?

Место Норова занял Ковалевский.

Говорят, государь, решая отставку Норова, сказал: “Это почтенный человек по своему сердцу, по благонамеренности; я душевно люблю его и уважаю. Но он

неспособен быть министром, и я дольше оставить его на этом месте не могу”.

Митрополит Григорий в одной своей проповеди, говоря, как мало люди расположены к Богу, сказал: “Иной думает больше о собаке, чем о Боге”.

23 марта 1858 года. Светлое Христово Воскресение. Заутреню слушал в театральной церкви.

24 марта 1858 года, понедельник

Читал разбор Герценом истории 14 декабря Корфа. Герцен слишком строго судит о Ростовцеве. В письме последнего много ребяческого, в поступке его больше несостоятельности, чем подлости, какую приписывает ему Герцен. Я тогда хорошо знал Ростовцева и хорошо помню все обстоятельства дела и моральное настроение самого Ростовцева.

Он был тогда очень молод и вряд ли в состоянии действовать по таким утонченным соображениям своекорыстия и подлости, какие доступны человеку, умудренному опытом и жизнью. Роль историческою лица могла ему улыбаться, но можно с достоверностью сказать, что он не предвидел всех последствий своего шага. Он предварил заговорщиков, что намерен донести на них, и донесши, сообщил им о том. Тут забота о самосохранении, но вряд ли какие-либо дальнейшие расчеты. Иное дело после, когда у него в глазах мелькнули флигель-адъютантские аксельбанты (тотчас после 14 декабря). Туг уже мог развиться в его голове целый план блестящей будущности, хотя он тогда же уверял меня, что флигель-адъютантство было бы для него большим горем.

Утром был, между прочим, у Позена. К нему беспрестанно приезжали разные сановники. Тут много было говорено о крестьянском вопросе.

4 апреля 1858 года, пятница Норов приезжал в Академию прощаться. Говорили речи:

Остроградский и Броссе — приличные, И.И.Давыдов — исполненную лести. Как! Лести развенчанной власти? Да, но Норов, уходя, просил нового министра наградить Давыдова синей лентой, а Кисловского — красною.

7 апреля 1858 года, вторник

Был у нового министра. Речь о цензуре. Государь сильно озабочен ею. В нем поколебали расположение к литературе и склонили его не в пользу ее. Теперь он требует со стороны цензуры ограничений, хотя и не желает стеснить мысль. Как это согласить? Министр сказал, что он надеется на меня.

— Это дело, — сказал он, — падает на двух людей: на вас и на меня. Разумеется, ни вы, ни я не можем действовать в стеснительном духе.

Я заметил ему, что частные ошибки и увлечения отдельных писателей нельзя ставить в вину всей литературе и считать их за ее общее направление.

Министр согласился со мною. Как бы то ни было, а государь требует от министра решения цензурной задачи, а министр ожидает этого от меня. А дело в том, что, несмотря на ожидания одних и на заботы других, вещи все-таки пойдут к концу, как угодно творцу. Ясно одно: стеснениями не направишь и не сдержишь умов, очнувшихся от вековой дремоты. Это силы нестройные, не отрезвляемые ни преданиями, ни верованиями, стремящиеся действовать без твердых убеждений, без сознательной цели — и потому разнузданные. Соответственное противодействие они могли бы встретить только в той же литературе, которая, предоставленная самой себе, конечно, не замедлила бы из своей же среды выдвинуть против них нужных борцов и обуздателей.

10 апреля 1858 года, четверг

Вечером доклад министру по комитету цензурного устава. Мы занимались около двух часов, и оба порядочно устали. Да, трудно, очень трудно обеспечить свободу мысли. Мы хотим улучшений и думаем, что можем достигнуть их без помощи общественного мнения, посредством той же бюрократии, которая так погрязла в крадстве. А между тем правительству, очевидно, полезнее и безопаснее союз с печатью, чем война с нею. Если наложить на печать путы, она начнет действовать скрытыми путями и сделается недоступною никакому контролю. Никакая сила не в состоянии уследить за тайно подвизающейся мыслью, раздраженною и принужденною быть лукавой. Ведь мы не знаем еще, чем кончится страшная система полицейского преследования мысли и слова во Франции. Но и там все-таки определенная система, а у нас хотят позволить и не позволить, стеснить и не стеснить.

Сегодня министр поднял мысль об ответственности журнальных редакторов. Он думает, что это единственный способ спасти что-нибудь существенное в пользу нашей литературы.

18 апреля 1858 года, пятница

Вследствие моей телеграфной депеши сегодня из Киева явился ко мне Н.Р.Ребиндер. Он приехал объясниться с новым министром и подать в отставку тотчас, если ему покажется, что на него смотрят не совсем благосклонно. Что будешь делать с этим благородным, умным, просвещенным, но нетерпеливым и раздражительным человеком. От первого случая, который не по нем, он становится на дыбы, прячется в себя и начинает желчные филиппики против всей вселенной. Я старался его успокоить и направить на более мирные и кроткие размышления. Он ко мне заехал прямо с железной дороги.

Был у министра. Он спешил в заседание главного правления училищ, но все же не отпустил меня без толков о цензуре. Что мог сказать я нового, помимо повторения одного и того же, а именно, что литературе необходимо дать более

простора; что в другом духе нынче и думать нельзя писать устава; что этого требует и справедливость и политическое благоразумие; что если этого не сделать, то пойдет в ход писаная литература, следить за которою нет никакой возможности.

В заключение министр еще раз просил меня поусерднее заняться цензурным уставом и прибавил, что он и государю докладывал, что дело это лежит на мне. Государь на это заметил, что он меня знает, и приказал поспешить уставом. “Нельзя ли через месяц кончить это?” — спросил его величество. Министр отвечал, что трудность и важность дела не позволяют слишком спешить, но что будут употреблены все меры к его скорейшему и успешнейшему окончанию.

20 апреля 1858 года, воскресенье

Вечером у графа Блудова, который пригласил меня, Давыдова и Веселовского на совещание о надписи на медали, выбиваемой в честь покойного государя. Разговор о крестьянском деле. В 1830 г. было уже готово положение, заключавшее в себе первый и важный шаг к освобождению, как то: воспрещается брать крестьян в дворовые люди, вообще личная свобода. Но Мордвинов отсоветовал императору Николаю обнародовать это постановление до возвращения государя из путешествия: он собирался тогда в Вильну. Это дело после затянулось. Между тем вспыхнула революция во Франции, а там — в Польше, и об освобождении крестьян уже не было и речи до 1847 года.

Право, нельзя не любить графа Блудова. Как он свеж умом и сердцем, несмотря на свои за семьдесят лет! А какая доброта! Что нужды, что он немножко кокетничает своим умом и красноречием; слава Богу, что есть чем кокетничать.

О Н.А.Муханове, назначенном в товарищи нашему министру, говорят: это человек неглупый, светски образованный, очень приятный в обществе. Его очень любит молодая императрица.

Выговор князю Щербатову за пропуск статьи Кавелина “О новых условиях сельского быта”, напечатанной в апрельской книжке “Современника”. Статья противоречит с мерами освобождения в рескрипте, почему ее и не пропустил цензор министерства внутренних дел. Несмотря на это, князь Щербатов позволил ее печатать, за что и сделан ему выговор.

Кавелина и Бабста партия военных пестунов наследника называет красными, желая этим нагадить Титову и забрать юношу в свои руки.

Новый министр финансов Княжевич испросил у государя разрешение, чтобы позволено было писать и печатать о финансах все беспрепятственно, кроме опровержений или возражений на состоявшиеся уже меры и постановления правительства. Он велел также сделать выговор двум директорам: Ключареву и еще кому-то, за дурное и грубое обращение с чиновниками. Первое умно, второе гуманно, то есть еще раз умно.

21 апреля 1858 года, понедельник

Обедал у Ребиндера. После обеда пришел Струговщиков. Разумеется, разговор о современных делах. Струговщиков лезет из себя за Кокорева. Журналисты его обругали: Панаев и “Северная пчела”.

Утро провел за цензурным уставом.

Ошибки и заблуждения тем и сильны, что в них всегда есть своя доля истины.

26 апреля 1858 года, суббота

Напечатание статьи Кавелина в “Современнике” имело следующие печальные последствия: князю Щербатову сделан высочайший выговор со внесением в послужной список; Титов подал в отставку от должности воспитателя наследника; Кавелин уволен от должности преподавателя. Титов, говорят, потому подал в отставку, что ему изъявлено высочайшее неудовольствие за выбор таких наставников, как Кавелин. Впрочем, не это главная причина: месяца три тому назад напечатано в Лейпциге на русском языке письмо Погодина к Титову с советами, как воспитывать наследника. Письмо очень резкое. Тогда уже Титов начал колебаться. Партия, желающая воспитывать наследника в духе прежнего времени, воспользовалась этим и нанесла теперь решительный удар Титову. Но вообще во всем этом действует другая партия, более общая и сильная, партия, враждебная так называемому прогрессу, не желающая ни освобождения крестьян, ни развития науки, ни гласности, — словом, никаких улучшений, о которых после смерти Николая так сильно начало хлопотать общественное мнение. Главами этой партии считаются князь Орлов, князь Долгорукий и граф Панин. Это, по-видимому, и справедливо.

Вечером позвал меня министр к себе. Речь опять о цензуре и цензурном уставе. Возвратясь к себе, я поехал вместе с Н.Р.Ребиндером к Языкову. Там встретил Редкина и И.И.Панаева. Языков дал мне прочитать письмо Погодина. Оно заключает в себе несколько общих мест о воспитании вообще и несколько смелых, но несбыточных фантазий о воспитании наследника в особенности. Но главное, тон его и некоторые выражения чрезвычайно резкие, какие Погодин любит раскидывать по бумаге без оглядки. Величайшая неосторожность — чтоб не сказать более — была пустить это письмо по рукам и довести его до печати. Мог ли Погодин предполагать, что оно произведет полезное действие на тех, в руках которых находится воспитание наследника. Это ругательства, а не советы, а известно, что ругательства раздражают только, а не просвещают.

Удивительны эти господа! Они вопиют об общественной пользе, а не хотят действовать так, чтобы она была достигнута. Многие считают это храбростью. Но вряд ли оно заслуживает этого названия: во время Николая Павловича не много было таких храбрецов и такой храбрости. Неужели дело только в том, чтобы выразить свои личные чувствования, свое негодование и пр. Хотите пользы, так не делайте вреда. Деятель общественный есть лицо ответственное: он отвечает не только за свои идеи, но и за удобоприменяемость их. Не трудно возбуждать страсти, но труднее их направлять. Эти господа готовы забрызгать вас грязью с головы до ног, утопить вас, сжечь, если вы осмелитесь иметь мнение, несогласное с их

мнением. Они хотят свободы мнений своих, но не чужих.

28 апреля 1858 года, понедельник

Сильный холод. Всего три градуса тепла. Так и пахнет снегом.

Опять на меня навалилась куча дел: цензурный устав, записка о проекте учебных заведений по военному министерству.

Ребиндер уехал вчера. Мы дружески с ним простились в субботу еще, в карете, возвращаясь от Языкова. Он завез меня домой.

Вечер у законоучителя университетского Янышева. Это очень умный и образованный священник и прекрасного сердца. Он был несколько лет за границею, священником при нашей висбаденской церкви, и успел сдружиться с наукою и с европейскою образованностью. Его православие есть высокое и святое христианское верование. Вообще наши заграничные священники делают нам честь. Я знаю трех или четырех, и все они люди просвещенные и достойные уважения. Я провел вечер у Янышева в приятной беседе вместе с моими благородными учениками Миллером и Дашковым. Но выйдя от него, мы встретили проливной дождь и страшный ветер. Ни одного извозчика — пришлось идти пешком от Калинкина моста. Я возвратился домой почти в час ночи.

Говорили, между прочим, об отличительной черте нравственного христианского идеала — о любви. Я сказал, что любовь не есть добродетель, а талант и блаженство. Ее нельзя вменять в заслугу и нельзя достигнуть преднамеренно.

30 апреля 1858 года, среда

Занятие в совете. Рассматривался проект устава университета. Куторга 2-й [Михаил Степанович] выходил из себя, доказывая, что историю нынче нельзя писать, не усвоив себе древних критик, и что ни один новейший историк ничего не значит в сравнении с Фукидидом. Ему говорили я и другие, что новейший историк должен знать и изучать древних историков, но что писать историю можно и даже должно не по их воззрениям и анализу. Он стоял упорно на своем и требовал, чтобы в распределении факультетских предметов по историческому разряду греческая филология считалась предметом не дополнительным, а обязательным. Совет почти единогласно решил противное, с чем согласился и попечитель, председательствовавший в совете.

Я назначен членом комиссии для окончательного рассмотрения университетского устава.

4 мая 1858 года, воскресенье

Прочитал я вышедшие в свет три тома “Истории Петра Великого” Устрялова, доведенной до начала Северной войны, и убедился, что истории Петра Великого у нас все еще нет. Автору были открыты государственные архивы. Он собрал много

материалов, сгруппировал их и привел в известный порядок, — а истории все-таки не написал. Чтобы понять Петра Великого, его реформу и необходимость ее для России, надобно было прежде всего дать полную картину положения России в конце XVII столетия, а не изображать одни стрелецкие бунты, как это сделал Устрялов. Бунты эти составляют одно из проявлений состояния вещей в России, но далеко не все. Тут было великое брожение разнородных стихий — азиатские варварские нравы с чертами русского добродушия и простоты; грубое и глубокое невежество, смущенное вторжением иноземных понятий; темные и бессознательные порывы к чему-то лучшему; литература и искусство, каковы бы они ни были; законодательство и администрация, сложившиеся не в силу здравых понятий о государственной безопасности и благоденствии, а образовавшиеся в виде накипей, выбрасываемых изнутри на поверхность народной жизни случайными событиями и нуждами; церковь в борьбе с расколом и прочее. Все это в конце XVII столетия составляло нашу нестройную, полудикую, мятежную и тревожную общественность с уже ясными на ней признаками неизбежного переворота. Устрялов этого не понял и не выразил.

Он начинает с ссылки на известное сочинение Карамзина (мимоходом сказать, красноречивое, но слабое по мысли и исследованиям) “О старой и новой России” и делает беглый очерк государственного состояния России, которое, судя по Устрялову, было очень хорошо: “Цари не были деспотами; перед законом все были равны; законы и управления премудрые; мужи совета, бояре, украшенные сединами, судили и рядили, делали и говорили одну правду, думали только об общественном благе и никого не угнетали”. Между тем во всем была неурядица; везде невежество; никакой промышленности; политическое бессилие; доходившее до того, что мы еще платили дань татарам и не раз трепетали от них в Москве. Как же согласить одно с другим? Вы ожидаете, что автор сам себе задаст этот вопрос и постарается решить его. Ничуть не бывало. Соединив эти два несовместимые положения вещей, он преспокойно отправляется в свой исторический путь и начинает заниматься стрельцами и Софиею, а читателя предоставляет собственным выводам и заключениям. Слог тоже неудовлетворителен. В нем явное подражание карамзинской манере, отчего выходит старинная пухлая риторика, чистенько прибранная, но нестерпимая в наше время. Притом ни одной яркой характеристики, ни одного живого образа. Все гладко и плоско, не исключая и самого Петра, который и в ребячестве и в юношеском возрасте является без образа и физиономии, тогда как в приложениях множество материала, где жизнь бьет ключом.

7 мая 1858 года, среда

Вчера был у меня генерал Данненберг. Кажется, это почтенный и добрый человек. У него хорошие виды по части военной администрации; например, чтобы стоящих на очереди в рекруты мальчиков с 14 лет определять в училища, где бы они подготовлялись к будущему своему званию и получали некоторое общее образование. Срок службы для них он полагает десять лет.

8 мая 1858 года, четверг

Вчера целый день занимался несносной запиской по комитету об учреждении учебных заведений в военном министерстве. Тут была пропасть мозголомной работы. Записка может пойти к государю. Сегодня кончил ее и прочитал генералу Данненбергу, который очень ее одобрил. Мы с ним сошлись во многих взглядах.

Вечером до десяти часов в комитете, рассматривающем проект университетского устава. Это труд, кажется, как и многие другие подобного рода, на ветер. Такие улучшения университета, какие мы предполагаем, — чистая утопия. У нас нет еще твердого убеждения в том, что науке нужны и простор, и средства, и уважение ее интересов. Напрасно обрадовались некоторые, что вот, дескать, теперь настоящее торжество науки. Мы далеки еще от этого торжества. Оно наступит тогда, когда будут оказывать ей почести не на словах, а в сердцах; когда ее не будут считать только потребностью государства, а потребностью человеческой природы.

В десятом часу вечера я. поехал к графу Блудову. Бедный и благородный старец в продолжение месяца видимо изменился. Он приближается к закату. Он едет в Виши, по приказанию врачей и настоятельному желанию государя. Дай Бог еще пожить ему несколько лет. Это человек с сердцем, с просвещенным умом, с жаркою непритворною любовью ко всему прекрасному и благому. Я считаю для себя за дорогой дар судьбы мое сближение с ним в продолжение последних трех или около трех лет. Не было недели, чтобы я раз, а иногда два не обедал у него и не проводил вечера. Он любил беседовать со мной о литературе и разных современных общественных вопросах. Ум его сохранил все сияние лучшего периода жизни, а сердце его — теплоту. Память его удивительна: он помнит не только все крупное, замечательное из того, что читал, что видел, изучал и слушал, но и мельчайшие подробности, имена, числа. После каждой моей с ним беседы я уносил с собою какое-нибудь новое сведение, ум освеженный и сердце, примиренное с человеком. А мы можем скоро его лишиться. Он приметно угасает. Кто же нам заменит его?

Увы, опять повторяю: это был в настоящее время чуть ли не единственный человек из высокопоставленных лиц, в душе которого находили себе надежное убежище всякая светлая мысль, всякий высший общественный интерес; который понимал и умом и сердцем самые нежные и тонкие оттенки всего лучшего в жизни, в науке, в человеческом сердце.

— Мы еще увидимся до отъезда моего, — сказал он мне с обыкновенным своим добродушием. — Я еду еще через неделю.

На вечере сегодня было много дам в необъятных своих кринолинах. Кочетова и Гринберг пропели очень мило несколько вещиц. Я разговаривал с Щебальским, который приехал сюда на несколько дней из Москвы, с Ф.И.Тютчевым — о цензуре; с князем Вяземским, с Деляновым, с Ковалевским и с И.И.Давыдовым.

9 мая 1858 года, пятница

Мы переехали на дачу в Павловск. Пора! Зелень уже пробилась на деревьях. Тепло. Впрочем, я ошибся: сегодня стало уже холоднее, а там, пожалуй, по законам

петербургского климата, и до снега недалеко.

Вечером, между прочим, были А.Н.Майков и Щебальский, автор “Царевны Софьи”.

Три вещи преимущественно занимают мыслящих людей нашего времени в России: освобождение крестьян, или так называемый крестьянский вопрос, печатная гласность и публичное судопроизводство. Нельзя не признаться, что это три самые насущные потребности общества, которое не хочет и не может уже возвратиться к николаевскому времени. Правительство колеблется, ультраконсерваторы пятят все назад. Правительство напрасно колеблется: из всех систем самая худшая — не держаться никакой системы, думать, что авось все уладится само собою. Ультраконсерваторы дурно делают, что хотят невозможного: ибо невозможно идти назад. Если они хотят только затянуть дело, то и это неосновательно. Что они этим выиграют или чего выиграет общество? Но об обществе они не думают. Это эгоисты, которым хотелось бы, если бы они могли, остановить самое солнце в его течении, единственно потому, что оно не им одним светит.

В настоящую минуту эта партия сильна. Она низвергла Титова и стремится окружить наследника ничтожествами нравственными и умственными. Она действует запретительно на печать. Она затягивает решение вопроса крестьянского.

Великий князь Константин Николаевич пользуется репутацией защитника и главы партии всех мыслящих людей — главы так называемого прогресса.

14 мая 1858 года, среда

Собрался было вечером ехать в комитет о рассмотрении университетского устава. Совсем оделся, но почувствовал себя дурно.

17 мая 1858 года, суббота Мне лучше. Поутру был у князя Щербатова. Неутешительный разговор о современных делах. В главном управлении училищ генерал-губернатор П.Н.Игнатьев напал на несчастные листки, которых развелось ныне множество и которые продаются на улицах по пяти копеек. Это его пугает. Между тем в этих листках нет ничего ни умного, ни опасного. Им строго воспрещено печатать что-нибудь относящееся к общественным вопросам. Это пустая болтовня для утехи гостинодворцев, грамотных дворников и пр. Один господин литератор и мне говорил, что их следовало бы запретить.

“Зачем?” — отвечал я. Конечно, это вздор, но он приучает грамотных людей к чтению — все-таки это лучше кабака и харчевни. Между тем от вздорного они мало-помалу перейдут и к дельному. Ведь и хлеб вырастает из навоза. Да и что это за система — все запрещать? К чему только протянет руку русский человек самым невинным образом, тотчас и бить его по рукам! Ведь и в старину издавались же для народа лубочные картины с разными рассказами и сказками! Но наши великие администраторы во всем видят опасность.

20 мая 1858 года, вторник

С субботы на даче и занимаюсь цензурным уставом

22 мая 1858 года, четверг

Привезли сегодня из города множество разных призывов в комитеты, в том числе и от министра приглашение явиться к нему, письма и пр. Словом, в эти дни, которые я провожу здесь (в Павловске), накопилось множество дел, требующих моего присутствия в городе. А между тем я борюсь с врагом упорным и коварным — моим недугом.

К обеду приехал Марк Николаевич Любощинский и привез разные неприятные известия: о том, что, по предложению Панина, делят Россию на военные генерал-губернаторства; что в уездах учреждаются военные начальства; что на печать страшно налегают и пр. Словом, из мнимых бед, которые повсюду видят наши толкатели назад, они навлекают на нас и на себя много не мнимого зла.

24 мая 1858 года, суббота

Утро. Прекрасный день, по крайней мере сначала. Но “впредь утро похвали, как вечер уж наступит”.

Любощинский пишет, что он был у министра и передал ему о моей болезни. Министр сказал, что государь очень спешит цензурным уставом.

Вечером приехал ко мне чиновник из военного министерства с известием, что записка моя представлена была военным министром государю при объяснении, что он совершенно согласен со мной. Государь написал, что он вполне разделяет представленное ему мнение. О мнениях Васильчикова и Булгакова его величество выразился очень неблагосклонно, особенно о последнем.

Занимался весь день уставом. Во вторник думаю отвезти министру.

25 мая 1858 года, воскресенье

Приехал из города Миллер. Был С.Барановский, едущий и Париж заказывать по своему проекту вагон для железной дороги, который должен двигаться не парами, а воздухом. Ему какая-то компания дала для этого десять тысяч рублей серебром.

Работал над уставом. Голова свежа, только к вечеру стала немного тяжела. Ходить много не могу. День светлый и теплый.

26 мая 1858 года, понедельник

Был у министра. Государь сильно спешит цензурным уставом. Мы, как говорится, на попятный двор. Это заметно и относительно печати и относительно многого другого. Жаль, очень жаль. Много еще будет испытано ненужных бедствий.

28 мая 1858 года, среда

На даче. Прекрасные дни. Май — прелесть, отлично ведет себя. Роскошная зелень, благоухание цветущих великолепно яблонь и сиреней, пение соловья, солнце, теплота— все это вместе составляет настоящую, роскошную, не петербургскую весну. А у меня все-таки болит голова.

29 мая 1858 года, четверг

В городе. Заседание в Академии и разные другие дела. На Невском проспекте и на Исаакиевской площади большая суматоха — приготовления к завтрашнему дню, к освящению Исаакиевского собора. Перед отъездом моим на дачу, в семь часов вечера, я получил от церемониальной экспедиции два билета на вход в церковь и один кучерской на проезд к собору. Но воспользоваться ими я не могу. Церемония начнется завтра в десять часов утра, а ехать туда, чтобы попасть в ряд карет, надобно в девять; а из Павловска поезд железной дороги идет в четверть девятого. А карета? Ее не достанешь теперь и за пятьдесят рублей.

31 мая 1858 года, суббота

В городе, в заседании Академии.

В Исаакиевском соборе в день освящения было очень мало публики. Билеты разосланы были только первым четырем классам.

Запрещено употреблять в печати слово “прогресс”. В самом деле, это бессмысленное слово в приложении к XIX веку, который утописты превозносят до небес, что он родит чудеса прогресса. Хорош прогресс, когда Европа среди политических страшных бурь, через потоки крови, добралась, наконец, до Наполеона III, который тридцать семь миллионов образованного, прогрессивного и, как говорится, великого народа отдал под надзор полиции. И у нас тоже хорош прогресс своего рода, когда даже запрещается употреблять это слово.

У нас поворот назад становится очевидным из некоторых мер, например из военного управления, которому предается Россия, по примеру Франции, из цензурных стеснений и пр.

1 июня 1858 года, воскресенье

Вечером в вокзале встретил Ф.И.Тютчева. Весьма интересный разговор о нынешнем состоянии дел.

5 июня 1858 года, четверг

В городе. Представил министру перебеленные тетради цензурного устава. Положено, чтобы пояснительная записка и все прочее было готово к возвращению

государя из Архангельска, куда едет он 12-го и через 18 или 19 дней будет обратно.

Я говорил с министром много о цензуре и предложил ему мысль, что прежде, нежели наш устав пойдет в Государственный совет, представить его при пояснительной записке государю. В этой-то записке теперь вся сила. Министр одобрил все мои предположения.

7 июня 1858 года, суббота

Обедал в ресторане Донона вместе с несколькими литераторами — Тургеневым, Гончаровым, Некрасовым, Панаевым, Чернышевским и пр. Тут был также недавно приехавший из-за границы художник Иванов. Много было говорено, но ничего особенно умного и ничего особенно глупого. Пили не много. Языков по обыкновению был полон юмора.

9 июня 1858 года, понедельник

Новый обед у Донона — прощальный князю Щербатову, который подал в отставку. Я приготовил было, по желанию некоторых из собеседников, небольшой спич, но князь просил для предупреждения всяких толков не читать его, а взял его на память себе. Обед был грустен.

12 июня 1858 года, четверг

Навестил меня Скрипицын, недавно приехавший из-за границы, где он провел два года. Он нигде не служит. Рассказывал мне о свидании своем с Муравьевым, министром государственных имуществ. По словам его, у Муравьева очень хорошие намерения. Он уверял, что крестьянского дела поворотить назад нельзя.

Но что за человек сам Скрипицын? Я знаком с ним лет пятнадцать и порядочно его знаю. Он сильно теснил католиков, когда был директором департамента иностранных исповеданий. Он заклятый враг немцев не потому, что они немцы, а потому, что делают из себя преданных слуг лица, а не России. Он поборник чистого русского элемента. Скрипицын умен, но мало или легко образован, как почти все наши умные люди. Ум его подвижен и скор, но не обширен и не глубок. Это ум скорых мер и интриги. Схватившись за какую-нибудь идею, он развивает ее быстро, делает из нее сеть, накидывает ее на вещи и лица и тянет ее изо всех сил, не видя, что она рвется и что тогда из прорех ее вываливаются эти вещи и лица, сперва захваченные, по-видимому, довольно удачно. Он кокетничает своим умом. Ему, собственно говоря, нет дела до успеха своих замыслов, лишь бы ему дали время и возможность принять нужную, по его мнению, умственную позу. Недоброжелатели Скрипицына, мне кажется, совершенно несправедливо ославили его человеком нечестным и злым. Он далеко не такой беззастенчивый и готовый на все для своего возвышения честолюбец, как Войцехович, не такой делец-приобретатель, как Позен. Он человек идеи, и это дает ему большой перевес над теми умными и способными людьми нашего чиновничьего мира, которые смотрели или смотрят в министры,

считая каждое министерство своим делом.

16 июня 1858 года, понедельник

Ездил поутру в город, был в редакции, отдал в Академию записку о пьесах, поступивших на соискание уваровской премии. Одна пьеса — “Столетие в лицах”, комедия, другая — драма “Донос при Петре I”. Обе ничтожные вещи.

22 июня 1858 года, воскресенье

К обеду приехали люди мне приятные: М.Н.Любощинский, И.И.Домонтович, Рудницкий и двоюродный брат его, возвратившийся из-за границы. Марковский, который жил там почти все время по выпуске из университета. Все они из тех людей, которые не напрасно учились и сохранили в себе все благородное и прекрасное, что дается высшею наукою. Я немного ожил в обществе этих добрых людей.

23 июня 1858 года, понедельник

В городе. Конференция в Римско-католической академии.

24 июня 1858 года, вторник

Вечером пошел на бенефис Штрауса. Слушал, между прочим, маленьких скрипачей Ратчек. Их два брата и сестра, которая тоже играла на скрипке. Выдрессированы они очень хорошо. Но неужели это искусство, где исполнители ни умом, ни сердцем не в состоянии досягнуть до мысли, которую должны выразить? Это чистая механика, основанная на физических средствах — на слухе и на труде, без сомнения бессознательном и принудительном.

Я не дождался конца бенефиса и заехал по дороге к Скрипицыну, у которого и просидел с час.

Утром заезжала Марья Павловна Сумарокова с визитом. Она говорила, между прочим, о воспитателе наследника Гримме, с которым хорошо знакома. Она уверяла, что Гримм совершенно непричастен к увольнению Титова и Кавелина. О последнем Гримм даже говорил государю в весьма хорошем смысле, но его величество решительно объявил, что он не хочет, чтобы Кавелин преподавал наследнику.

26 июня 1858 года, четверг

В городе. Заседание в Академии, последнее перед каникулами.

2 июля 1858 года, среда

Был сегодня у министра. Он меня благодарил за проект цензурного устава и отпустил на две недели. По приезде моем положено пустить дело в ход при моей пояснительной записке, которую кончу у брата в Корчеве. Итак, я еду. Из Корчевы, если станет желания и решимости, проеду в Москву.

Лето превосходное. Ни одного неблагоприятного дня. Было несколько небольших теплых и отрадных дождей.

5 июля 1858 года, суббота Корчева, Тверской губернии. Вчера в двенадцать часов дня выехали мы из Петербурга по московской железной дороге и сегодня в половине девятого утра приехали в Кор-чеву. Взяв от железной дороги в сторону, мы в каком-то допотопном экипаже тряслись по гнуснейшей дороге, извивавшейся по самой печальной местности. Это обширная болотистая и лесистая пустыня, где только изредка мелькают жалкие деревушки. Даже Волга не красит ее. А что касается до самой Корчевы, то это пародия на город. Мне даже жутко стало от мысли, что я здесь проведу несколько времени. Но скоро нашел утешение в семье, где приютился.

6 июля 1858 года, вторник

Эта бедная Корчева скучна, как могила. Она бедна, грязна, бестолкова. Но, конечно, если поискать хорошенько, то и в ней найдешь отрадные исключения. Вот и я наткнулся на одно из них в лице здешнего штатного смотрителя училищ. Он очень порядочный и развитой человек. Написал два руководства к преподаванию геометрии и арифметики. Я взял их у него, чтобы показать в Петербурге специалистам: нельзя ли дать им ход и тем помочь бедному трудолюбивому человеку.

Но положение Корчевы тем не менее остается крайне неприглядным. Около — ни рощ, ни полей. Волга лежит в грязи, и, смотря на нее, удивляешься, как такая почтенная река, матушка и кормилица многих губерний, решается пролагать себе путь по этому гнусному болоту. Прилично ли такой знаменитой реке ведаться с такими скучными берегами, да еще держать у себя на плече эту Корчеву, с ее кабаками и пьяным народом.

10 июля 1858 года, четверг

Ездил в деревню Устья, помещица которой претипичная барыня. Она побывала за границей, вывезла оттуда необъятных размеров кринолин, страсть к мотовству, резкость суждений о Наполеоне III, о Париже, о Швейцарии, об эмансипации — и презрение ко всему своему родному. Кроме того, у нее погреб отлично снабжен шампанским, и она не щадит его.

Вечером пили чай в запустелом саду помещика Гурьева, доживающего в Москве остальные две тысячи душ огромного имения.

Вообще в провинции видишь и слышишь мало утешительного. Плутни,

злоупотребления в делах правосудия и администрации здесь еще в полной силе. В простом народе особенно неприятно поражает повальное пьянство.

14 июля 1858 года, понедельник

Сегодня последний день в Корчеве. Последние дни прошли однообразно, но приятно. Мы сделали несколько дальних прогулок, которые в значительной степени примирили меня с здешнею местностью. Мы ездили за Волгу в лес, на опушке которого, в виду роскошной нивы, пили чай на траве. Не знаю, всегда ли здесь так, но в нынешнем году нивы поражают обещаниями богатейших жатв, а поля покрыты густою, сочною травою, очевидно вскормленною и взлелеянною Волгою. Тем досаднее на Корчеву, которая не сумела свить себе здесь опрятного гнезда.

Во время сегодняшней прогулки нас застигла сильная гроза. Она внезапно налетела вместе с страшною бурею, которая у нас на глазах повалила дерево. К счастью, мы в это время проезжали маленькую деревушку, где могли укрыться от ливня и переждать грозу.

16 июля 1858 года, среда

Я дома. Вчера я прочел книгу, которая навела меня на грустные размышления.

Как безотрадно становится, когда вспомнишь, как мало еще сделались люди христианами, как мало применяют они христианство в жизни. Книга, о которой я говорю, озаглавлена: “О сельском духовенстве в России”. Ее писал глубокий знаток этого предмета, очевидно священник [И.С.Беллюстин], а напечатана она за границею. Ужаснейшая картина положения нашего духовенства! Говорят, эту книгу представляли митрополиту и другим духовным властям. Они разгневались и назвали все это клеветою. Один Бажанов был другого мнения.

31 июля 1858 года, четверг

Сегодня в городе на так называемой студенческой сходке, где студенты толкуют о своем “Сборнике” и об оказании пособия своим товарищам. Дело хорошее, особенно последнее, но, к сожалению, молодые люди упускают из виду главные предметы своих собраний и пускаются в рассуждения о предметах, для верного суждения о которых им следует еще серьезно поучиться и подумать.

Завтра совет университета — надо ночевать в городе. 4 августа начинаются приемные экзамены. Значит — конец антракту. Одевайся опять в доспехи и готовься к борьбе с людьми и событиями.

2 августа 1858 года, суббота

Заседание в Академии наук. Вечером поехал на Каменный остров к А.М.Княжевичу, которого не видал еще со времени назначения его министром финансов. Мы долго гуляли с ним на Елагином острове. Напившись у него чаю, в

одиннадцать часов я возвратился домой.

4 августа 1858 года, понедельник

Приемные экзамены в университете. Остался ночевать в городе.

5 августа 1858 года

Экзамены. Огромный прилив желающих поступить в университет. Большинство приготовлено дурно — неразвито, мало знаний. Много поляков, немцев, иностранцев. Эти еще лучше, так же как и те, которые учились в гимназиях. Но юноши домашнего приготовления — это серое полотно, вытканное перстами маменек под надзором мудрых папенек. Но я, кроме самых негодных, никому не затворил дверей в университет: при малом знакомстве с наукою у нас и то недурно, что будет побольше людей, которым она хоть сколько-нибудь западет в ум. Все-таки четыре года они будут слышать человеческие речи. Ведь они не провели бы их полезнее, не пошли бы учиться ремеслам, а полезли бы в чиновники, в офицеры.

Большая часть идет по камеральному отделению. Из 250 человек один нашелся охотник по историко-филологическому факультету.

7 августа 1858 года, пятница

Получил от министра императорского двора графа Адлерберга отношение, что государю императору по его докладу угодно назначить меня членом комиссии о преобразовании управления театров.

8 августа 1858 года, суббота

Сегодня, кажется, конец красным и прекрасным дням. Сумрачное и холодное утро. Облака строго осеннего цвета.

12 августа 1858 года

Первое заседание в комиссии о преобразовании театров. Читаны исторические документы прежнего управления. Страшные дефициты, плутовство и тщетные усилия правительства отвратить и то и другое.

13 августа 1858 года

Петр Петрович Татаринов при смерти от холеры. Сегодня я был у него. Он и не думает умирать, а между тем лицо и голос его уже отмечены страшными гробовыми признаками.

14 августа 1858 года

Сегодня был в городе, в заседании Академии и в театральной комиссии, и возвратился домой в половине пятого. Только что ступил я на дебаркадер в Павловске, как раздался чей-то голос: “Павловск горит!” Но тут меня встретили домашние и поспешили успокоить, что пожар не на нашей стороне, а в Конюшенной и Госпитальной улицах. Проехать нельзя было мимо этих улиц, и мы отправились пешком по парку. Я все-таки заглянул на пожар: да, это огромный пожар. Целые два квартала горят.

Я пообедал и опять пошел на пожар. Он еще продолжался. К восьми часам вечера его, наконец, потушили. Сгорело шестнадцать домов.

Татаринов умер.

15 августа 1858 года

Был утром на панихиде у бедняги Татаринова. Ему было, однако, семьдесят лет. Но все привычки его не показывали вовсе этого.

Дни совершенно июньские, даже с июньскими вечерами и утрами. Но дым от горящих кругом лесов и торфа наполняет воздух страшным смрадом и мглою. Дождя — ни капли.

19 августа 1858 года

В Петербурге страшное происшествие. В окрестностях Петербурга, верстах от пяти, в Выборгской стороне, на Пороховых заводах, взорвало до 1800 пудов пороха. Можно себе представить, что из этого произошло. Многие дома на Выборгской стороне, на Черной речке и во многих ближайших к Неве местах были потрясены, как от удара землетрясения. В домах разбиты окна, а на самих заводах, говорят, последовало страшное разрушение. Убитых или разорванных на части людей, по умеренным известиям, до сорока. Раненых около того. Взрыв последовал в восемь часов утра. Я был еще в Павловске и не слыхал ничего. Но в Петербурге даже в самых отдаленных частях города его чувствовали более или менее. Вообще нынешнее лето у нас много бед. Везде пожар лесов и, что ужаснее всего, пожар торфа, отчего погибли многие деревни. На московской железной дороге сгорела станция и на несколько верст сгорела деревянная настилка самой дороги, так что принуждены были остановить поезда. Вот уже почти месяц, как мы в Павловске буквально тонем в густых облаках дыма от горящего вокруг торфа. Солнце и луна показываются на горизонте в виде раскаленных шаров без лучей. Право, не комета ли уж нас затрагивает? Мы не видели ее еще за тучами дыма. Между тем погода прекраснейшая.

20 августа 1858 года

В Петербурге. Дополнительные приемные экзамены в университете.

25 августа 1858 года

В городе. Заседание в совете университета. Плетнев грубо оборвал профессора Попова за то, что тот выразил свое мнение по поводу одного, впрочем неважного, дела. Но как у него громозвучный голос, то он выразил его этим голосом, впрочем, без всякой кому-либо обиды. Плетнев крикнул на него: “Что вы так кричите? Неужели вы этого не понимаете…” и пр. Это вызвало из уст профессора Попова ответ благородный, умный, твердый, которым он уничтожил Плетнева и заставил его замолчать.

Никто в России не выносит своего величия. Это грустно, но несомненно.

30 августа 1858 года

Что касается до крестьянского дела, то только тупые или безнадежно злые люди могут сомневаться в необходимости так называемой эмансипации.

Сейчас опять с пожара. Едва успел потухнуть первый, как вот и второй. Он вспыхнул рядом с первым, только немного повыше, и завладел целым кварталом. Шестнадцать домов в пламени.

У меня обедало несколько моих знакомых, по случаю моих именин. Теперь они все разбрелись, и вот мы одни смотрим на величавое зарево. Девять часов вечера. Говорят, что поджигают. Нашли где-то в другом квартале целый ком горючих веществ, но успели не дать им воспламениться. Но то не подлежит сомнению, что во время пожарной суматохи солдаты здешнего образцового полка, призванные для помощи, производят страшные грабежи. Может быть, они хотят быть и в этом деле образцовыми.

2 сентября 1858 года, вторник,

Переехали с дачи.

3 сентября 1858 года, среда

Читал сегодня попечителю Делянову мою записку о цензуре и цензурном уставе, предназначенную для государя.

10 сентября 1858 года, среда

Вечером у Гончарова слушал новый роман его “Обломов”. Много тонкого анализа сердца. Прекрасный язык. Превосходно понятый и обрисованный характер женщины с ее любовью. Но много такого еще, что может быть объяснено только в целом. Вообще в этом произведении, кроме неоспоримого таланта, поэтического одушевления, много ума и тщательной, умной обработки. Оно совершенно другого направления, чем все наши нынешние романы и повести. Со мною вместе были

слушателями его: Краевский, который и купил его для “Отечественных записок”, Дудышкин и Манков, издатель детского журнала (“Подснежник”). Положено читать продолжение в субботу.

15 сентября 1858 года, понедельник

Фейербах и многие другие умствователи отвергают разумную божественную личность. Но если существует моя личность, почему же не быть другой, совершеннейшей личности? Я не понимаю, как она может быть, но также не понимаю, как она может не быть.

16 сентября 1858 года, вторник,

Нынешние крайние либералы со своим повальным отрицанием и деспотизмом просто страшны. Они, в сущности, те же деспоты, только навыворот: в них тот же эгоизм и та же нетерпимость, как и в ультраконсерваторах. На самом деле, какой свободы являются они поборниками? Поверьте им на слово, возымейте, в вашу очередь, желание быть свободными. Начните со свободы самой великой, самой законной, самой вожделенной для человека, без которой всякая другая не имеет смысла, — со свободы мнений. Посмотрите, какой ужас из этого произойдет, как они на вас накинутся за малейшее разногласие, какой анафеме предадут, доказывая, что вся свобода в безусловном и слепом повиновении им и их доктрине. Благодарю за такую свободу! Я могу еще стерпеть, если квартальный станет следить за мной на улице, надоедать мне напоминанием, что тут нельзя ступить или надо ступить так, а не так, но решительно не могу допустить, чтобы кто-либо вторгался в мою внутреннюю жизнь и распоряжался там по-своему.

Насильно навязываемое благо не есть благо. Самая ужасная и несносная тирания та, которая посягает на нашу сокровенную мысль, на святыню наших верований. По либеральному кодексу нынешних крайних либералов надо быть с ними заодно до того, что у вас, наконец, не останется своего — ни мысли, ни чувства за душой! Нет, свободу создает сама сила вещей, а не чей-нибудь произвол; основанная на увлечении, она шатка, ненадежна. Только та свобода и прочна и богата благими последствиями, которую выработала история, которой никто не навязывал людям, которая явилась не в виде отвлеченной доктрины, а как плод действительного кровного труда, а не искусственного возбуждения.

Студенты бурлят и накликают на университет беду. Произошла какая-то стычка с полицией. Обер-полицеймейстер жаловался попечителю на неприличное поведение студентов. Произошел взаимный обмен резкостей. Эх, господа студенты, не бережете вы ни университет, ни науку!

18 сентября 1858 года, четверг

В первый раз видел сегодня комету во всем ее блеске. Хвост ее чуть не задевает Медведицу.

21 сентября 1858 года, воскресенье

Сегодня говорил со студентом Боголюбовым, который имеет влияние на своих товарищей. Старался внушить ему, чтобы он действовал на них в примирительном духе, склонял их к тому, чтобы они вели себя скромнее, больше думали о науке и не давали врагам университета поводов вредить ему в глазах государя и общества.

25 сентября 1858 года, четверг

Дело о студентах производит много шума. Жаль. Это заставляет молодых людей придавать себе слишком много значения, все больше и больше отвлекает их от науки, которая должна одна всевластно царствовать в стенах университета.

28 сентября 1858 года, воскресенье

Кажется, мы не много выиграли с переменою министра. Евграф Петрович Ковалевский тоже отличный человек, но в министерстве по-прежнему ничего не делается. Судьбы науки и образования по-прежнему остаются в руках Гаевского, Кисловского и Берте.

На днях был у меня председатель комитета иностранной цензуры, Федор Иванович Тютчев, и жаловался, что министр на словах решит одно, а на бумаге другое. Да, это опять норовщина.

Сегодня я отправляюсь к министру. Что-то он мне скажет? Он как будто совсем забыл о цензуре и о цензурном уставе. А ведь сколько раз он мне твердил о вопиющей необходимости устава и даже подстрекал меня именем государя. А вот теперь прошли июль, август и сентябрь, мой проект готов, но о цензуре как будто все позабыли.

Только что от министра. Евграф Петрович превзошел мои ожидания. Я застал его в том же кабинете, где так часто видел Норова, в тех же самых креслах. Зловещее предзнаменование! Начали мы с ним говорить и—о, ужас! Это Норов, он сам, он весь, со всею своею шаткостью, бесхарактерностью, неспособностью к какой-либо мере, выходящей из канцелярской рутины, и, наконец, с отрицанием того, что за несколько времени перед тем он утверждал торжественно и горячо. Вместо им же самим с жаром принятой мысли объяснить государю состояние цензуры и необходимость решений, выработанных цензурным комитетом, он пускает теперь наш проект на истязание главного управления цензуры, к большинству членов которого он, по собственным словам, не имеет никакого доверия.

Вот и конец моим трудам и надеждам! Я вышел от него с огорчением и с досадою, наслушавшись вдоволь о том, как трудно ныне вести дело цензуры, и тому подобных вещей, какие обыкновенно говорятся людьми слабыми и не приспособленными к энергической деятельности.

1 октября 1858 года, среда

Утром был у графа Блудова, в первый раз по возвращении его из-за границы. Он, кажется, мало поздоровел. Проклятые семьдесят семь лет на плечах! Впрочем, он так же любезен, разговорчив и добр, как прежде, как всегда. Спросил меня о цензуре и изъявил желание прочесть мою записку, о которой уже слышал от Ф.И.Тютчева. Это хорошо. Может быть, он поддержит дело. Ковалевский не может не уважить его голоса.

5 октября 1858 года, воскресенье

Утром был у Ф.И.Тютчева с целью вместе с ним обсудить: нельзя ли двинуть как-нибудь цензурное дело?

Федор Иванович рассказал мне, между прочим, о проекте, присланном сюда из Берлина нашим посланником, бароном Будбергом, который предлагает, по примеру Франции, учредить *наблюдательно-последовательную* цензуру.

— Хорошо! А нынешняя предупредительная тоже остается? — спросил я.

— В том-то и дело! — отвечал Тютчев.

Был уже, по высочайшему повелению, назначен для рассмотрения проекта и комитет из князя Горчакова, князя Долгорукова, Тимашева, нашего министра и Тютчева. Последний сильно протестовал против этой двойственной цензуры — предупредительной и последовательной. Наш министр с ним соглашался.

— Но надобно же, — заметил князь Долгорукий, — что-нибудь сделать, чтобы успокоить государя, которого сильно озабочивает цензура.

Вечером был у А.М.Княжевича. Александр Максимович очень дружен с нашим министром, и мне хотелось склонить его, чтобы он подействовал на своего друга и подвиг последнего прямо объясниться с государем по делу цензуры, без чего никакого успеха нельзя ожидать. Он взялся прочесть мою записку.

6 октября 1858 года, понедельник

Послал Княжевичу объяснительную записку. У графа Блудова. Он меня на этот раз порадовал своею бодростью и свежестью, несмотря на то, что третьего дня был встревожен пожаром, происшедшим рядом с ним. Мы очень приятно поговорили с ним все после обеда, до девяти чесов. Речь касалась и цензуры. Он пожелал прочесть мою записку. Министр, говорит он, хочет представить ее на рассмотрение прямо государю. Впрочем, я, с моей стороны, сделал все, что мог, и мою обязанность считаю конченною, о чем сказал и министру в письме, отсылая ему записку.

Графиня Антонина Дмитриевна Блудова привезла мне заграничный гостинец: прекрасную фотографию одной из Каульбаховых фресок в Берлине.

Скандал в здешней духовной академии. Студенты, недовольные своим инспектором, монахом Викторином, пожаловались на него митрополиту, грозя, что если им не будет оказана справедливость, то они обратятся за защитою к светским властям. Говорят, они, между прочим, очень резко высказались об общем состоянии у нас академического и семинарского воспитания. Это приписывают влиянию напечатанной в Лейпциге книги: “О русском сельском духовенстве”.

Но духовные власти мало заботятся об улучшениях по своей части и предпочитают покровительствовать памфлетам вроде следующих: “Предостережение от увлечения духом настоящего времени” и “Современные идеи: православны ли?” В первой, между прочим, доказывается, что прогресс заключается в неподвижности церковных преданий и что богословие содержит в себе все науки. Нечего рассуждать, а надо держаться буквы церковного учения. В других брошюрах проповедуются крайне аскетические правила общественных нравов и поведения, предаются анафеме концерты, живые картины и благотворительные балы и т.д.

8 октября 1858 года, среда

Отослал свою пояснительную записку графу Блудову. У нас ныне настоящее царства хаоса. Хаос во всем: в администрации, в нравственных началах, в убеждениях. Хаос в головах тех, которые думают управлять общественным мнением.

Поутру обычное заседание в Академии наук. Приступаем к исправлению словаря, который намерены печатать новым изданием. Каждое почти слово разбирается в заседании. Работа обещает быть нескончаемой. Но отделению хочется сделать что-нибудь осязательное, ибо, правду сказать, занятия наши большею частью фиктивные. Один из членов внесет какой-нибудь лоскут старой церковнославянской рукописи, отрывок какого-нибудь требника и т.п., а мы сидим, уткнув лица в брады свои, и глубокомысленно слушаем замечания о юсе большом или малом, а когда это покажется нам недостаточным, беремся за чтение слов областного словаря, давно рассмотренного уже Востоковым; переговорим о текущих городских новостях и расходимся с спокойной совестью. Впрочем, иначе и быть не может; одни из академиков уже почтенные старцы, для которых всякий труд непосилен, а немногие другие, могущие трудиться, до такой степени завалены другими казенными работами, что об Академии им некогда и думать.

11 октября 1858 года, суббота

Вечером у князя Щербатова, который заехал в Петербург из деревни на пути за границу. Он рассказывал о некоторых случаях волнения между крестьянами. В одних местах крестьяне отказывались по-прежнему работать, в других — не хотели платить управляющему оброка, а где так чуть не поколотили исправника и становых. Но большинство этих случаев у помещиков, у которых крестьяне на барщине.

12 октября 1858 года, воскресенье

У министра. Он совершенно одобряет мою пояснительную записку и соглашается со всеми моими идеями. Для Государственного совета надо будет ее несколько сократить. Вообще было много говорено о цензуре и о проекте составить особенное бюро, которое бы не административно, а нравственно занималось направлением литературы. Я заметил, что это чистая мечта. Министр того же мнения, но говорит, что некоторые этого желают.

Ковалевский опять благодарил меня за записку и за труды мои по цензуре, но надежды мои на успех дела в том направлении, какое я желал ему дать, тем не менее подорваны.

13 октября 1858 года, понедельник

Читал Щербатова и Радищева, изданных в Лондоне Герценом. Щербатов озлоблен против Екатерины. Допустив, что ее у нас чересчур прославляли, ее все-таки, кажется, не следует порицать так, как Щербатов и Герцен. Пусть, по их мнению, в ее лучших государственных мерах было много искусственного, много внушенного желанием подделаться под ходячие идеи времени, последствия которых она не предвидела, много тщеславного, но тем не менее нельзя же отрицать в ее характере гуманности, а в ее уме такта и возвышенности.

Несмотря на разврат и фаворитизм, Россия все-таки многим ей обязана. Она обязана ей внесением в нравы, в законодательство и управление человечных начал, которые не остались бесплодными.

Радищев — человек умный и с характером, несмотря на бездну пустословия в его сочинении и на желание блистать красноречием. Селивановский в своих записках говорит, что книгу Радищева типографщики не хотели печатать, несмотря на то, что обер-полицеймейстер, тогдашний цензор, позволил ее, — конечно, не прочитав. Радищев тогда завел типографию у себя в деревне, напечатал там свою книгу и разбросал ее по дорогам, на постоялых дворах и т.д. Он же говорит, что Радищев написал ее вследствие каких-то неприятностей по службе. Естественно, книга должна была подвергнуться сама и подвергнуть преследованию своего автора. Это было в разгар французской революции, и мудрено ли, что Екатерина II, уже старуха, испугалась таких сочинений, как “Вадим” Княжнина и книга Радищева.

21 октября 1858 года, вторник

Дело мое о цензуре принимает совершенно бюрократический характер. Теперь какой-то чиновник делает из моей работы выписки, записки и еще невесть что. К этому прибавляются еще какие-то выписки и проч. и проч. Словом, мой добросовестный и, как уверяли меня люди, читавшие его и знающие, труд не совсем глупый, труд многих месяцев — потерян.

Обедал у графа Блудова. Он рассказывал много любопытного о принцессе Таракановой. У него в руках было все дело о ней, и он составлял из него записку для

государя. В моих бумагах есть извлечение о судьбе этой женщины из дел государственного архива. Рассказ Блудова и мои сведения тождественны. У меня, однако, недостает конца. Тараканова умерла не от наводнения в Алексеевской равелине, как говорит предание, а от чахотки, зародыш которой привезла с собой из Италии. Екатерина II объявила, что дарует ей свободу и пенсион, если она откажется от своих мечтаний. Тараканова просила несколько времени на размышление и в течение этого времени скончалась. Она не дочь Елисаветы, а была орудием польских конфедератов, которые, в виду недавней истории Пугачева, хотели ее употребить для таких же целей. У Елисаветы, впрочем, действительно была дочь. Ее постригли в монахини, и она умерла в одном из московских женских монастырей.

Графиня Антонина Дмитриевна Блудова только к обеду возвратилась из Царского Села, где была у государыни. К нам присоединился еще Ковалевский, брат министра. Графиня рассказывала подробности своего посещения царской фамилии.

22 октября 1858 года, среда

Был у попечителя Делянова. Говорили о предполагаемых публичных лекциях в университете в пользу неимущих студентов. Четыре профессора согласились читать лекции: Стасюлевич, Ценковский, Горлов и я. Попечитель это одобряет.

Это, наконец, оказалось справедливым, что в Царском Селе при переделке комнат наследника в одной из них, между полом и сводом, на котором пол этот настлан, найден скелет женщины. Кто она, живая или мертвая сюда заложена, кем и когда — неизвестно. Все на ней и сама она истлела. Остались одни кости и бриллиантовая серьга, которая вдета была в одно ухо, когда ухо еще существовало. Все это рассказал мне граф Блудов.

29 октября 1858 года, среда

Удивительно, что льготы, какими мы ныне пользуемся, важные вопросы, какие выступили на нашу общественную сцену, не породили между нами ни благородных характеров, ни людей с сильною волею, устремленною на добро, а только привели в движение множество маленьких страстей, мелких самолюбий, ничтожных и эгоистических стремлений.

А.Н. очень хороший человек, только в известных пределах. Боюсь, что эти пределы не простираются далее его *я*. Он всегда с большим удовольствием толкует о нравственных истинах, о честности, о высоком и прекрасном, и вы охотно сочтете его очень хорошим человеком, если не будете слишком взыскательны и не потребуете, чтобы он это доказал на деле.

30 октября 1858 года, четверг

Говорят, Герцен в 25-м номере “Колокола” разражается ругательствами на разных лиц, не исключая и очень высокопоставленных. Право же, это не умно. Герцен в этом случае действует не как человек, желающий споспешествовать благой

цели и избирающий лучшие для того средства, а как фанатик, одержимый бесом известного учения, которому любо накричаться вдоволь. Жаль, он мог бы быть очень полезен. Теперь же, благодаря его излишествам, к нему начинают быть равнодушными те, которые его боялись, и перестают уважать те, которые считали его одним из полезнейших наших общественных деятелей, так что он может мало-помалу совсем утратить свое влияние в России.

В “Колоколе”, между прочим, помещены еще какие-то официальные бумаги, и теперь идет розыск о том, как они ему достались.

2 ноября 1858 года, воскресенье

Председатель нашего драматического комитета при театре Жихарев сильно проштрафился. Еще в июне месяце всем членам комитета в награду за их труды были присланы бриллиантовые перстни через Жихарева как председателя. Мы и получили их тогда же, то есть в июне или в июле, все, кроме Дружинина, который был в деревне. Его перстень остался на хранении у Жихарева. В сентябре приехал Дружинин, а перстня ему нет как нет. С.П.Жихарев, очевидно, вспомнил свои старые служебные привычки и присвоил его себе. Перстень продан или в закладе. Жихареву уже не раз напоминали, что пора отдать высочайшую награду кому следует. Он постоянно обещает исполнить это завтра, но Дружинин до сих пор только в газетах видел себя награжденным. Все члены комитета хотят написать Жихареву адрес с заявлением, что не желают заседать с ним в комитете.

3 ноября 1858 года, понедельник

Заседание в совете университета. Восточный факультет поступил очень неприлично с своим деканом Казембеком. Он в сентябре присудил ему читать арабскую словесность вместо заболевшего Тантави, а в октябре отдал этот предмет другому, в совете же отрекся, что так поступил. Между тем по справке оказалось, что все было, как сказано выше, и протокол подписан членами как следует. Совет высказался в пользу Казембека, который уличил больше всех восстававшего против него Мухлинского.

В совете прочитан проект о публичных лекциях при университете, предпринятых в пользу неимущих студентов Стасюлевичем. Горловым, Ценковским и мною. Я прочитал и программу моих лекций, которая была тут же одобрена советом. Предметом моих лекций будет Державин.

8 ноября 1858 года, суббота

Сегодня в театральном комитете я от имени членов и по их просьбе написал письмо Жихареву с просьбою покончить (разумеется, удовлетворительно) с перстнем Дружинина. Все члены литературы подписали письмо.

В нем мы, между прочим, намекаем, что после такого скандала не можем оставаться с ним в комитете.

На этой неделе я обедал у графа Д.Н.Блудова. Был, между прочим, разговор о Герцене и его “Колоколе”. Государь крайне огорчен и недоволен его последними выходками. Хотели литографировать какую-то записку по крестьянскому комитету, чтобы членам удобнее было ее читать. Государь этого не велел, сказав, что “только литографируй, а там она и появится в “Колоколе”.

Правительство хочет иметь в литературе свой орган, который должен быть вверен нескольким литераторам. Об этом рассуждали у графа Блудова. Граф сказал, что насчитывает у нас три рода литераторов: одни — злонамеренные и упорные в своих крайних желаниях, другие — не имеющие никаких желаний, кроме желания набить себе карман, и третьи — люди благородные и даровитые, которые могут действовать только по убеждению. Этих правительство не иначе может привлечь на свою сторону, как сделав их участниками своих благих видов. Разумеется, оно и может ожидать пользы только от последних. Граф далеко не уверен в успехе замышляемой меры, но не противится попытке в виде опыта.

10 ноября 1858 года, понедельник

В театре, на представлении “Отелло”. Мулат или, как назвали его в афише, африканец Ольридж, приехавший сюда на несколько дней, играл Отелло на английском языке с немецкими актерами. Я не говорю и не понимаю по-английски, но хорошо знаю пьесу, и потому поехал в театр — и не жалею. Этот Ольридж большой артист. Трудно идти дальше в выражении сильных и глубоких страстей. В третьем акте в сцене с Яго он до того страшен, что людям слабонервным трудно его выносить, а в сцене отчаяния в последнем акте вас душат слезы.

Игра его без всякой аффектации. Это чистейшая природа, с ее грозными вулканическими потрясениями. Все у него просто и благородно — и голос чудесный. Я долго не мог заснуть в эту ночь, а во сне все мерещился мне этот Отелло со своею тигровою яростью, со своими потрясающими сердце воплями, со своею беспредельною скорбью в последнем акте.

Ольридж будет еще играть “Ричарда”, “Шейлока” и “Лира”.

13 ноября 1858 года, четверг

Письмо к Жихареву имело успех. Перстень возвращен. Он был заложен и выкуплен.

Ростовцев напечатал извлечение из своих писем из-за границы к государю императору о крестьянском вопросе. Толку не доберешься в толках об этой брошюре. Мне до сих пор еще не удалось ее поймать. Она напечатана в небольшом числе экземпляров. Одни говорят, что это сочинение кадета, другие находят в нем смысл и хорошие мысли.

16 ноября 1858 года, воскресенье

Замечательная статья в “Отечественных записках” “Стенька Разин” Костомарова. Ужасное, невежественное состояние допетровской России изображено у Костомарова очень ярко и правдиво. У него все факты, не то что у Жеребцова, автора фантастической истории цивилизации в России, где он голословно восхваляет все, что было до Петра, и объявляет, что Петр испортил Россию и уничтожил в ней все зародыши великой самобытной цивилизации.

19 ноября 1858 года, среда

У графа Блудова. Там был и министр народного просвещения. Разговор за обедом все время вращался около печати и цензуры. Министр жаловался на “Русский вестник” за напечатание думского протокола о Безобразове, который теперь хочет по этому поводу затеять процесс.

Дело в том, что Безобразов, известный противник освобождения крестьян, отказывался принять от Думы грамоту на звание городового обывателя, говоря, что “он принадлежит к древнему московскому дворянству и не хочет состоять в числе людей среднего рода”. Это подлинные слова его. Он даже жаловался генерал-губернатору Игнатьеву на то, что Дума посылала ему грамоту, а генерал-губернатор препроводил его жалобу к надлежащему исполнению в Думу. Дума выставила все законы, по которым она была вправе сделать то, что она сделала. Безобразов и Игнатьев очутились в пренеприятном положении. Решение свое (протокол) Дума напечатала для рассылки членам, но оно ходило по городу и, путешествуя из рук в руки, дошло до Москвы, где Катков и тиснул его целиком в своем журнале.

“Искра” напечатала в объявлении виньетку, которую III отделение истолковало по-своему и объявило злонамеренною, хотя ее можно истолковать десять раз иначе. Требовали сведения у издателя Степанова. Дело доходило до государя, но оставлено без последствий за недостатком ясных доказательств в возмутительности виньетки

Обер-прокурор св. синода граф Толстой относился к нашему министру с заявлением, что русская литература посягает на веру. Он набрал кучу отрывочных фраз и на этом основал обвинение. Министр отвечал, что из оборванных фраз и стихов нельзя вывести никакого заключения.

В “Le Nord” напечатано что-то нехорошее про двух новых сенаторов, Ламанского и Гревеница. Граф Панин почему-то вообразил себе, что это нехорошее сообщено в иностранную газету непременно чиновником министерства финансов, вследствие чего и просил Княжевича разыскать, какой это чиновник.

Кстати о Панине. Граф Блудов рассказывал, что по случаю напечатания какой-то статьи, которая не понравилась министру юстиции, последний предлагал строго наказать цензора, ее пропустившего. А когда ему заметили, что надо же прежде потребовать от цензора объяснения, ибо он, может быть, ц. прав, Панин отвечал: “Нет, его прежде наказать, а после потребовать объяснения или оправдания”.

Герцен напечатал в “Колоколе” письмо к государю о том, как дурно идет воспитание наследника после увольнения Титова. Тут, говорят, жестоко достается Гримму. Письмо, впрочем, я слышал, отличается хорошим тоном и очень умно. Оно

произвело сильное впечатление при дворе.

22 ноября 1858 года, суббота

В Москве перессорились профессора: Ешевский, Соловьев и Леонтьев, и одни из них наделали гадостей другим. Студенты, чтобы не отстать, в свою очередь наделали гадостей профессору Варнеку, объявив, что не хотят слушать его лекций, ибо он нехороший и отсталый профессор. Между тем Варнек, по уверению специалистов (он занимается зоологиею), принадлежит к числу наших лучших ученых. Впрочем, следствие, произведенное в Москве самим министром, показало, что и Варнек был неправ. Он действительно грубо обращался со студентами и тем самым вызвал с их стороны враждебную себе демонстрацию. А университетское юношество наше и без того везде волнуется и пенится.

Причины тому, мне кажется, следующие. Льготы последнего времени как бы врасплох застали наше общество. У многих от непривычной свободы закружилась голова, а тем больше у молодых людей, и без того не слишком склонных к умеренности. Человек, внезапно выведенный из тьмы на свет и из спертой атмосферы на чистый воздух, всегда бывал сначала ошеломлен и как будто опьянен. С другой стороны, большинство начальствующих лиц — еще воспитанники старого режима, и они представляют из себя классические образцы неспособности применяться к новым обстоятельствам. Третья причина университетских неурядиц, наконец, кроется в самой организации университетов, лишившей сословие профессоров всякого нравственного влияния над юношами с тех пор, как наблюдение за их поступками перешло в руки инспектора с его помощниками.

Молодые люди смотрят на него как на квартального надзирателя, и он по самому положению своему не может иметь среди них никакого нравственного авторитета.

Вообще у нас во всем великое нестроение и неурядица. Русское общество похоже ныне на большое озеро, в глубине которого действуют подземные огни, а на поверхности беспрестанно вскакивают пузыри, лопаются и опять вскакивают. Кипение это само по себе не представляло бы ничего необычайного, тут нет еще большой беды. Но беда в совершенном отсутствии всякого организующего начала, в отсутствии характеров и высших нравственных убеждений. И вот еще беда: нет ни одной вчерашней мысли, как бы она ни была основательна, которая бы уже сегодня не казалась старою. Жар, с которым вчера принимали такую-то меру, сегодня уже остыл. Каждый день что-нибудь начинается, а на другой — только что начатое бросается недоконченным, и не потому, чтобы взамен находилось лучшее, а в силу какого-то неудержимого, слепого стремления вперед — но куда? Какая-то невидимая сила, как бес, гонит нас, кружит, выбрасывает из колеи. Всякий тянет в свою сторону, бьется не о том, чтобы было удобнее и лучше, а о том, чтобы вещи существовали как ему хочется. У нас столько же партий, сколько самолюбий. Иной хлопочет вовсе не из-за того, чтобы поддержать какое-нибудь начало, а из-за того, чтобы сказать: “Это я, господа, это мое”. Если же кому-нибудь удастся выразить и пустить в ход здравую, хорошую мысль, он уже земли под собой не слышит. Он

важничает, зазнается, и то, что было у него хорошего, испаряется в чаду претензий и высокомерия. Ему уже непременно хочется, чтобы в мире существовала одна его мысль, и он кстати и некстати всюду тычет ее.

23 ноября 1858 года, воскресенье

Был у попечителя на совещании по случаю студенческих проказ. Да, юношество пенится, но, к сожалению, не всегда как шампанское, а подчас как настоящий откупной сиволдай. Вот теперь поссорились два студента, и один вызвал другого на дуэль. Вызванный, говорят, отказался от дуэли, а за свою обиду взял деньги. Товарищи возопили, что это подло, и потребовали от последнего, чтобы он непременно дрался. Начальство узнало, розняло петухов и посадило их в карцер.

Пока мы об этом судили да рядили с попечителем и инспектором, приехал товарищ министра юстиции Замятнин. Его сын попал в секунданты. Разумеется, мы решили всеми мерами “воспрепятствовать дуэли, а студента, взявшего деньги, если это окажется справедливым, выключить из университета.

Заезжал к Александру Максимовичу Княжевичу: он сегодня именинник. Боже мой, сколько к нему набрело чиновников! И какие все умильные, сладкие лица! От них так и веет благонамеренностью, усердием, преданностью!

28 ноября 1858 года, пятница

Обедал у графа Д.Н.Блудова. Никого не было, кроме известной певицы, девицы Гринберг. Разговор о современной литературе. Граф находит нелепым литературный протест, напечатанный в “С.-Петербургских ведомостях” в защиту жидов, обруганных “Иллюстрациею”. Затем граф удивлялся великому множеству появляющихся у нас новых журналов и недоумевал, кто будет их наполнять и кто будет их читать? Еще жаловался он на некоторые журналы, позволяющие себе такие вольности, что их трудно становится защищать.

Министр наш поехал в Москву. Там, говорят, опять произошло что-то в университете.

30 ноября 1858 года, воскресенье

“Всякий народ, — говорит Лютер, — имеет своего дьявола”. Дьявол русского народа есть разногласие во всем, что касается общественных интересов, страсть все относить к себе, мерить собою. Это и мелкое самолюбие, кажется, общий порок славянских племен: оно-то и мешает развитию у нас духа ассоциации. Мы стоим на том, что лучше повиноваться чужому произволу, чем уступить в чем-либо своему собрату.

5 декабря 1858 года, четверг

Вот как я попался. В субботу на прошлой неделе задумал я сплутовать и

наказан за то. Время мое до того расхищено текущими занятиями по службе в университете, в Академии, по разным комитетам и пр., что мне решительно некогда написать академического отчета (по II отделению) к 29 декабря. Все утра мои уходят на это, вечера также, а по ночам работать боюсь, чтобы не раздразнить моего старого заклятого врага. Вот я и умудрился: написал в субботу кому следует записку, что в университете быть не могу “по болезни”. Что же вышло? К вечеру в тот же день я действительно заболел.

6 декабря 1858 года, пятница

Говорят, государь в совете министров изъявил свое неудовольствие за сопротивление, которое он встречает в комитете по делу об освобождении крестьян. Он прямо указал на Муравьева и Буткова, которые во время своих поездок летом по России везде распускали слухи, что проект освобождения существует только для вида: поговорят-де, да тем и кончится. Но странное же дело! Государь видит в некоторых лицах прямое противодействие своим великодушным намерениям, а между тем лица эти крепко сидят на своих местах.

Меншиков, известный государственный остроумец, который все свои правительственные способности выразил в нескольких более или менее удачных каламбурах и остротах, на днях пустил в ход новую остроту по Москве, где он теперь залег на покой, подобно вельможам века Екатерины II. В Москву приехал М.А.Корф.

— Ну, что нового у вас? — спросил его Меншиков.

— Нового ничего нет, кроме множества новых комитетов, — отвечал Корф, — и ко всякому из этих комитетов приобщают Якова Ивановича Ростовцева.

— Вы Якова Ивановича-то приобщаете, — заметил Меншиков, — да жаль, что не исповедуете его.

7 декабря 1858 года, суббота

Катков в двадцатом номере своего журнала напечатал рядом три статьи, которые наделали много шума: знаменитый думский протокол о Безобразове, “О полиции вне полиции” Громеки и чью-то ребяческую выходку против наших университетов. Особенно нашумели две первые статьи и, к сожалению, даже дали оружие в руки врагам всего доброго в литературе. “Русский вестник” навлек на себя опалу, а цензора подверг взысканию. Говорят, будто фон Крузе уже отрешен от должности.

9 декабря 1858 года, понедельник

Вот ни за что пропало десять дней! А теперь беги, скачи скорей, скорей! Много ли дней остается до праздников, до Нового года? А работы, работы…

Сегодня доктор позволил мне выйти, и я отправился в театральную комиссию.

Дело на этот раз шло о балетной труппе. Нам предстоит сократить ее. В ней огромное число лиц — 222, тогда как в парижской не более 150, а в берлинской всего 70 с чем-то. Содержание нашей труппы стоит 114 тысяч рублей серебром в год, кроме монтировки балетов.

12 декабря 1858 года, четверг

Заседание в Академии. Читал годичный отчет вчерне. Одобрен.

Теперь до января следующие дела: 1) окончательная отделка отчета; 2) дело по комиссии о рассмотрении руководства к географии Шульгина, которое большей частью падает на меня как на председателя; 3) приготовление публичных лекций; 4) записка об Аудиторском училище; 5) проект о пенсионах артистам театров. А сколько заседаний в комитетах, из которых многие не высиживают и воробьиного яйца. И так вся жизнь. Ну, вот когда спохватился: немножко поздно! Да жизнь-то что? — говоря словами хемницерова метафизика. Смех, право. Однако не до смеха. Вот 17 января я и эмерит уже [т.е. почетный профессор — за 25 лет стажа]. Хоть бы кончить посерьезнее.

17 декабря 1858 года, вторник

Сцена в университете. Сегодня в сборную залу явилась ко мне депутация студентов с просьбою подписать бумагу, в которой они обращаются к попечителю за защитою от полиции и солдат; у них с ними третьего дня произошла стычка на пожаре. Бумага гласит, что дело было так: студенты бросились спасать имущество своих товарищей в горящем доме; солдаты, составлявшие около пожара цепь, не только не пустили их туда, но, отталкивая, еще били их прикладами, к чему особенно поощрял солдат офицер, командовавший цепью. “Бей этих канальев!” — неоднократно повторял он.

Подписать бумагу я, конечно, не мог, но обещался поговорить с ректором. Студенты в страшном волнении. Но хорош ректор. Вместо того чтобы успокоить студентов и их направить, он-то и послал их к профессорам, а сам спрятался.

18 декабря 1858 года

Наряжено следствие по делу о студентах.

22 декабря 1858 года, воскресенье

Был у попечителя. Он в больших хлопотах по поводу студенческих дел. Я предложил ему следующую меру: составить из ректора и трех или четырех ассистентов-профессоров маленькую консульту для ближайшего сношения со студентами. Находясь в непосредственных и постоянных сношениях с ними, они, поддерживаемые авторитетом университета, гораздо лучше, чем инспектор, не имеющий на них никакого морального влияния, смогут предупреждать всякие

нехорошие поползновения. Попечитель обещал переговорить об этом с министром.

Есть проект переодеть студентов в обыкновенное общее платье, чтобы они были наравне со всеми подчинены общей полиции. Конечно, это облегчит университет. Но, с другой стороны, это уже совершенно предаст этих бедных юношей во власть нашей грубой полиции.

24 декабря 1858 года, вторник

Обедал у графа Блудова. Были Плетнев и Тютчев. Разговор о знаменитом, только что состоявшемся учреждении для сдерживания писателей, которые, по мнению Чевкина, Панина и других, подготовляют в России революцию. Теперь вздумали создать комитет, который *бы любовно, патриархально и разумно* направлял литературу нашу, особенно журналистов, на путь истинный. Он будет входить в непосредственные с ними сношения и действовать *мерами короткого назидания,* не вступая ни в какие цензурные права.

— А если литераторы их не послушают? — спросил я у графа.

— Ну, так ничего.

— Если ничего, — заметил я, — так и комитет ничего.

— Хорошо! Это, видите ли, нечто вроде французского Bureau de la presse, переделанного на русский лад.

Удивительная вещь!.. Нет такой нелепости, такого бессмыслия, которое бы у нас не могло быть предложено в виде правительственной меры.

Граф Блудов, разумеется, против этого бестолкового учреждения, которое непременно должно или превратиться в негласный бутурлинский комитет, процветавший при Николае Павловиче, или в самое смешное ничто.

Но кто же члены этого “троемужия”, как называет его Тютчев? Это всего любопытнее: Муханов (товарищ нашего министра), Адлерберг (сын В.Ф.Адлерберга) и Тимашев. Если бы нарочно постарались отыскать самых неспособных для этой роли людей, то лучше не нашли бы. Они будут направлять литераторов, советовать им, рассуждать с ними о важнейших вопросах, нравственных, политических, литературных, — они, которые никогда ни о чем не рассуждали, ничего не читали и не читают! Смех и горе!

Министр сильно противился всему этому, и перед отъездом его в Москву было решено, что комитета не будет. В Москве он пробыл дней шесть и, возвратясь, застал дело уже состоявшимся. Все это проделано министром иностранных дел князем Горчаковым.

Любопытно, как попал сюда Тимашев. Он был сперва отвергнут по причине его тайно-полицейской репутации. Ему ужасно хотелось, однако, стать в числе трех великих хранителей целомудрия русской мысли, и он придумал следующий остроумный аргумент: “Так как, — говорил он, — я не пользуюсь популярностью, то позвольте мне быть членом нового комитета, чтобы я имел случай приобрести

ее”. Превосходный предлог! Так как меня терпеть не могут, то мне и прилично делать дело, на которое должны быть избраны лица просвещенные и наиболее пользующиеся доверием и расположением общества.

Граф Дмитрий Николаевич с самым лестным одобрением отзывался мне о моей цензурной записке, что выразил и официально. Он горячо благодарил меня за нее.

— Это, — отвечал я, — по крайней мере останется мне утешением в неудаче.

— Не говорите этого, — возразил он, — хорошие вещи не пропадают бесплодно.

От графа я поехал в драматический комитет, где мы одобрили пьесу Куликова.

Ковалевский намеревается подать в отставку. Об этом он уже говорил.

25 декабря 1858 года, среда

Собрание в университете профессоров, которые будут читать публичные лекции. Председательствовал попечитель. Ценковский отказался, потому что ему много труда от публичных чтений в Пассаже. Наши лекции откроются после 15 января, по вечерам, от половины восьмого часа. Каждая будет продолжаться час. Я взял для себя четверги. Каждый прочтет по своему предмету три лекции. Я со Стасюлевичем, впрочем, решаемся и на четыре, если предмет не истощится и в публике будет видно желание нас слушать.

28 декабря 1858 года, суббота

Был у И.С.Тургенева. Он написал новый роман [“Дворянское гнездо”] совершенно в художественном направлении. Вот это хорошо! Пора перестать делать из литературы только деловые записки о казусных происшествиях и считать ее исключительно исправительным бичом.

Тургенев рассказал мне про обед у князя Орлова. Князь тоже находит новоучрежденное литературное “троемужие” неразумным. Но добивавшиеся этой меры, по словам его, имели другие виды. Они хотели присвоить себе контрольную власть над всеми министерствами, а литература служила так, предлогом. Это был в особенности план В.Ф.Адлерберга. Отличные виды, отличные люди, все отлично! О бедная русская земля, кто и как тобой не помыкал!

Дело “троемужия”, впрочем, очень просто: оно превратится в негласный комитет. Сегодня был у меня один из окончивших в нынешнем году курс студентов, которого Муханов приглашает к себе в сотрудники, то есть в шпионы, по этому комитету. Он предлагает ему читать журналы и доносить комитету о том, что найдет в них дурного. Молодой человек был сильно озадачен этим приглашением и пришел ко мне за советом. Я открыл ему темную сторону предложенной ему роли, и он ушел от меня, по-видимому, убежденным и утвердившимся в идее чести.

В университете вывешено повеление, воспрещающее студентам аплодировать профессорам на лекциях и вообще изъявлять свое одобрение или неодобрение.

30 декабря 1858 года, понедельник

Акт в Академии наук. Я прочитал мой отчет. Он был короток и прочитан живо и потому заслужил всеобщее одобрение.

Министр сказал мне сегодня, что ему стыдно смотреть на меня. Он представлял меня к награде за работы по цензурному законодательству и получил от государя отказ. Министр до того простер свое ходатайство обо мне, что просил государя вменить это в личную ему награду, — и все-таки получил отказ. Евграф Петрович горячо выразил мне свое недовольство и сожаление. Я не менее горячо поблагодарил его за доброе ко мне отношение и поспешил его успокоить. Все, что случилось, вполне естественно. Какая тут награда за труды, относящиеся к науке и литературе? Я работал много и добросовестно, но работал исключительно для идеи. Тут и речи быть не может о награде. Вот если бы идея эта осуществилась и пошла в ход да принесла бы желаемые плоды… Но все это мечты, мечты и мечты, даже без всякой сладости!..

31 декабря 1858 года, вторник

Конец 1858 году.

1859

1 января 1859 года, среда

Обедал вчера у Гончарова, где собралось несколько литераторов, а именно: Тургенев, Боткин, Анненков, Панаев, Некрасов, Полонский, Дружинин. Обед был роскошный и довольно оживленный. Между прочим был выпит тост “в честь лучшего гражданина”, которым хотели почтить меня.

После обеда Некрасов прочел свое замечательное стихотворение “Кладбище”, а затем я с Боткиным отправился в театр, где меня уже ожидала моя семья. Давали оперу “Зора” Россини. Она шла превосходно. Особенно восхитила меня Лотти своим очаровательным пением и игрой. Она очень мила, проста и грациозна.

После театра заехали к нам Звегинцевы, еще кое-кто из родственников и приятелей, и мы, наперекор всем невзгодам минувшего года, встретили новый шампанским.

2 января 1859 года, четверг

Для привлечения в уездные училища детей низшего звания почему бы не постановить, что кончившие в них с успехом курс учения освобождаются от телесного наказания? Это значило бы не принуждать их насильно к учению, а призывать их к нему, так сказать, голосом чести.

Литературный обед у Некрасова. Были почти все наши наличные известности: Панаев, Полонский, Чернышевский, Гончаров, Тургенев и т.д. Из московских был Павлов, к которому я питаю антипатию и которого старался здесь избегать, как в Дрездене его жены.

Человек, который в печати с таким жаром проповедует нравственные начала, а на деле топчет их в грязь и сам необузданно следует влечению страстей под предлогом требований широкой натуры, — такой человек не может возбуждать к себе уважения, хотя бы он обладал умом и талантом. Есть моральные верования и принципы, которые человек должен признавать. Никакой ум и талант, никакая широта натуры никого от них не увольняют.

Горбунов читал свои драматические сцены из народной жизни с обыкновенным искусством.

Вчера и сегодня занимался обдумыванием и составлением подробной программы публичных лекций. Мне хотелось бы, чтобы они сошли хорошо.

6 января 1859 года, понедельник

По секрету получено в университете высочайшее повеление, чтобы не делать подписки на денежное вспомоществование отставленному московскому цензору Крузе.

Много убил свободного времени на публичные лекции, которые теперь готовы. А что из этого? Если они будут хороши, то поговорят о них дня два, да и забудут, а если будут дурны, то побранят меня, да и не забудут этого никогда.

8 января 1859 года, среда

В 29 N “Колокола” прочитал письмо к Герцену, приписываемое Чичерину, в котором Герцена упрекают от имени всех мыслящих людей в России за резкий тон и радикализм. Это, конечно, отчасти справедливо, и Герцен вредит этим своему влиянию на общество и на правительство. Но возражение, ему сделанное, кажется, еще вреднее. Оно как бы оправдывает крутые меры и вызывает их.

Сильно занят моими публичными лекциями. Материал готов, план обдуман. Поленов прислал мне записки Державина, которые, впрочем, будут печататься скоро в “Русской беседе”. В них о поэтической деятельности Державина почти нет ничего, а все говорится об администрации и службе. Видно, это Державина более занимало, чем поэзия. Я кое-чем воспользовался для биографии его.

11 января 1859 года, воскресенье

Мы больны комитетами. Сейчас получил от генерала Левшина приглашение быть членом комитета для начертания подробных программ наук в училищах военного ведомства и избрания руководств. А между тем у меня в голове так и ходит мысль, как бы с началом моей эмеритуры бросить все эти комитеты, бесполезные для дела и для меня самого.

Разумеется, отказался от этого любезного приглашения. Но все-таки просили меня хоть взглянуть на то, что будет сделано другими, и чтобы я хоть *числился* членом. Это последнее желание забавно.

12 января 1859 года, понедельник.

Заседание в театральной комиссии, от которой сильно мне хочется отделаться. Я это теперь же сделал бы, если бы не нужно было докладывать государю, потому что я определен по высочайшему повелению. Сегодня сильные прения происходили о пенсионах артистам. Боятся все, чтобы не слишком много дать. Я всеми силами стою за права артистов. Но что значит мой. голос против тех, которые боятся разорить казну двумя-тремя тысячами в пользу, например, круглых нищих сирот, остающихся после этих бедных людей?

14 января 1859 года, среда

Странная зима. Беспрерывная оттепель. Сегодня, например, около трех градусов тепла.

16 января 1859 года, пятница

Вчера была первая моя публичная лекция. Не знаю как публика, а я ею крайне недоволен.

Говорят, “Парус” запрещен. Его вышло всего еще два номера.

Дело студентов, побитых солдатами по приказанию командира на пожаре, исследовано особою комиссиею, назначенною по высочайшему повелению. Оказалось, что студенты ни в чем не повинны. Они действительно только спасали имущество товарища, квартира которого горела. Комиссия заключила, что единственное виновное в этом деле и подлежащее суду лицо есть офицер, который действительно дал приказание солдатам бить прикладом студентов, когда те обратились к нему с жалобою на то, что один солдат ударил или толкнул их товарища.

Щебальскому министр поручил делать для государя ежемесячно обозрение замечательнейших статей в наших журналах с выписками из них, как это делалось при Норове с книгами, с целью знакомить государя с нашими лучшими литературными и учеными произведениями.

17 января 1859 года, суббота

Сегодня совершилось двадцатипятилетие моей профессорской деятельности. Итак, я уже эмерит! Совет университета в следующее заседание рассудит, оставаться ли мне еще на пять лет профессором. Как скоро прошли эти двадцать пять лет! Пошлое восклицание! Его повторяют все миллион раз. О жизнь! Что ты и какое твое назначение?..

У меня был один из моих четверговых слушателей. Он выражал мне свое удовольствие и пересказал мне все содержание лекции. Значит, я что-нибудь сказал, что не потерялось в воздухе. Может быть, и так, но я сам недоволен, недоволен, тысячу, миллион раз недоволен.

“Парус” не запрещен, а только ведено его следующий, то есть третий номер прислать в Петербург на предварительное рассмотрение.

Между студентами ходит лист с именами тех профессоров, которых они хотят выжить из университета.

18 января 1859 года, воскресенье

Оттепель продолжается. Снега в городе почти нет.

22 января 1859 года, четверг

Моя вторая публичная лекция в университете. Я ею несколько довольнее, чем первою.

23 января 1859 года, пятница

Нынче у нас расплодилась масса периодических изданий. Пересматривать все становится просто непосильным, да, правду сказать, и бесполезным трудом. Все эти новые издания не дают ничего нового. Умственными кормильцами общества по-прежнему остаются “Русский вестник”, “Отечественные записки”, “Современник”, “Библиотека для чтения”, а из газет — “С.-Петербургские ведомости”. “Русский дневник” еще не определился. Если он пойдет путем, каким идет теперь, то есть путем сухих статистических цифр и данных с перечнем известий о пожарах и убийствах в губерниях, то из него, пожалуй, выйдет своего рода полезная специальная газета, но сухая, скучная и неспособная действовать на умы.

Говорят, Тимашев изо всех сил хлопочет, чтобы издатель “Паруса” И.С.Аксаков был спроважен в Вятку. Мысль отличная, самая современная, патриотическая и полезная правительству, напоминающая людям доверчивым, утопистам и оптимистам, что мы еще не так далеко ушли от времен Николая Павловича, как они думают. Впрочем, я не полагаю, чтобы государь на это согласился. Это была бы большая ошибка.

26 января 1859 года, понедельник

Публичные лекции Стасюлевича. Он читал о провинциальном быте Франции при Людовике XIV. Зала была битком набита слушателями. Первая лекция его, говорят (я на ней не присутствовал), изобиловала прозрачными намеками на современное положение вещей у нас, и это разлакомило публику.

Аксакова не сослали в Вятку, но запретили его журнал. Мне передавал Краевский любопытный разговор Аксакова с Тимашевым. Между прочим Аксаков сказал:

— Вы боитесь, ваше превосходительство, революции. Вы правы — нам действительно угрожает революция, потому что есть заговорщики.

— Как, — спросил с ужасом Тимашев: — где они?

— В Третьем отделении. Третье отделение своим преследованием мысли, своим гнетом готовит революцию, ссоря мыслящий класс с нашим добрейшим государем.

29 января 1859 года, четверг

Моя третья и последняя публичная лекция сегодня имела большой успех, и я сам доволен ею. Получил много благодарностей и рукопожатий.

Горлову не позволено читать лекций из политической экономии. Это успех гласности! Мы, кажется, не шутя вызываем тень Николая Павловича. Но теперь это

может быть и опасно. Правительство нехорошо делает, что, принимая начало, не допускает последствий.

Назначенный в Москву попечителем Н.В.Исаков объяснялся с государем, желая узнать, какому направлению он должен следовать, особенно в цензуре.

— Я убежден, — сказал Исаков, — что гласность необходима.

— И я тоже, — отвечал государь, — только у нас дурное направление.

В чем оно состоит, однако, ни тот, ни другой не могли сказать. Так дело и остается нерешенным, и не в этом одном отношении.

Вчера я подал председателю театральной комиссии Жихареву письмо с просьбою ходатайствовать мне у министра императорского двора увольнение от должности члена в этой комиссии. Жихарев просил меня вместо официальной бумаги написать дружескую записку, чтобы он мог предварительно переговорить с министром.

Меня не забывают старые приятели: Краевский, Панаев и Катков прислали мне билеты на свои журналы.

Нельзя сказать, чтобы человеческая природа не была способна к добру. Но между способностью что-либо делать и самим делом — расстояние огромное. Свойство добра таково, что оно неизбежно соединено с трудом и пожертвованиями. Недостаточно стремиться к нему, а надо еще ради него действовать, преодолевать препятствия. Вот этого-то большею частью и недостает людям. Потому-то главная задача воспитания не столько в том, чтобы возбуждать добрые намерения, сколько в том, чтобы развивать и укреплять силу, нужную для их осуществления.

30 января 1859 года, пятница

Чтобы твердо стоять на почве общественной деятельности, надо питать уверенность, что мы нужны обществу. Приобрести эту уверенность на основании доверия к своим заслугам и способностям — по крайней мере для меня — невозможно. Надо иметь на то какие-нибудь ручательства со стороны самого общества, надо, чтобы последнее признало в вас и то и другое. А чтобы получить это ручательство и это признание, надо служить обществу не так, как ты хочешь, а как хочет оно. Правда, ты можешь навязать ему свои виды, заставить его принять твои идеи, но для этого надо быть или гением, или шарлатаном.

Всю систему моей жизни я основал на нравственных принципах, на идеях высшего человеческого достоинства и совершенства. Мне хотелось действовать на людей этими силами, которым я старался придать и внешнюю привлекательность, заимствуя ее опять-таки от одного из нравственных начал — от изящного. Поступки мои соразмерялись не с требованием лиц и обстоятельств, а с личным моим одушевлением. Выходило, что я иногда обращал на себя внимание, но так как во мне мало было соответствия с тем, что составляло насущную нужду или к чему клонились страсти и намерения людей моей среды, то меня скоро забывали. Мною при случае пользовались, но по миновании нужды бросали. Я не хотел или не умел

делать уступок, но это не из гордости или непонимания вещей, а в сипу принципов и наклонностей, выработавшихся во мне с детства. Одним словом, я всегда был, есть и, кажется, навсегда останусь тем, что называется *доктринер*…

В конце концов, однако, стоит ли сама жизнь того, что человек о ней передумает или для нее предпримет? Ведь это только наши страсти, наши пристрастия и привычки заставляют нас так много ценить и уважать то, что не заслуживает, в сущности, ни цены, ни уважения. Надо же быть мужем и справляться со всем этим, как подобает мужу.

1 февраля 1859 года, воскресенье

Отношения мои к Плетневу давно уже, как говорится на дипломатическом языке, натянутые. В течение двадцатипятилетних уверений в дружбе он не раз подставлял мне ногу и теперь, по приезде моем из-за границы, опять хотел исподтишка устроить мне новую неприятность. Я успел это заметить, стал в оборонительное положение и дружеские отношения заменил приличными. Так и до сего дня. Но мне претит таким образом встречаться часто с человеком, с которым некогда мы все-таки делились насущным духовным хлебом, хотя, правду сказать, я редко получал от него хлеб чистый и вполне доброкачественный. У меня давно мелькала мысль объясниться с ним откровенно, дать ему возможность оправдаться, с тем чтобы с моей стороны совершенно забыть его кошачьи покушения.

Сегодня поутру я окончательно на это решился и поехал к нему. Дома нет — у обедни. Досадно. На возвратном пути я заехал к Звегинцеву, где случайно узнал нечто, что совсем охладило мой сентиментальный порыв и еще раз доказало мне, что я имею дело с сухим, холодным эгоистом, испорченным долгим трением о всякие житейские мерзости, с лицемером, который внутренне осмеет твой порыв и, при случае, все-таки опять тебя обманет, расточая сладкие речи, а на деле вредя тебе. Я не поехал вторично к Плетневу.

4 февраля 1859 года, среда

Я избран вчера советом в профессоры еще на пять лет. Получил тринадцать утвердительных шаров против десяти отрицательных. Видно, сильно поработал Плетнев, чтобы на меня упало столько черных шаров. Странное дело! Откуда взялось у меня в университете десять врагов? Правду сказать, я этого не ожидал. И ведь ни одного из них нет, решительно ни одного, который не расточал бы мне всевозможных любезностей, и ни одного, с которым бы я не был по крайней мере в хороших товарищеских отношениях.

В одно время со мною баллотирован и Устрялов — и не выбран. Но бедный Устрялов после бывшего с ним удара в полном упадке сил.

6 февраля 1859 года, пятница

Обедал у нашего министра Ковалевского. После обеда он отозвал меня в

сторону и сказал мне, что Комитет наблюдения над печатью (Адлерберг, Муханов и Тимашев) желает со мною посоветоваться насчет своего устройства и дел. Евграф Петрович не дал вымолвить мне слова в ответ и, взяв меня за руку, прибавил: “Пожалуйста, пожалуйста, не отказывайтесь”.

Я отвечал, что трудно что-нибудь советовать там, где цель самого учреждения не определена или где она вращается в безграничном кругу.

— Но вы все-таки не отказывайтесь, явитесь к ним, — сказал министр, — и прочтите им лекцию. Вы найдете между ними одного человека, понимающего вещи: это граф Адлерберг.

То же подтвердил после и Тютчев.

В заключение я сказал, что пусть они назначат время, и я к ним явлюсь.

Говорил со мною еще и товарищ нашего министра Муханов, намекая на что-то, что я услышу от министра.

Муханов пользуется милостью двора, но в публике он известен как человек пустой. Нынче я говорил с ним в первый раз и, проговорив с четверть часа, подумал, что общественное мнение вряд ли ошибается на его счет. Он говорил избитые общие места, но с видом высокого уважения к себе и к своим словам.

Между тем комитет, как я и опасался, грозит превратиться в новый “негласный”, а судя по людям, из которых он состоит, из него выйдет гласная и чудовищная нелепость. И вот чем и как думают они направлять умы.

7 февраля 1859 года, суббота

Вечер у Щебальского. Он живет ужасно далеко, на даче за Нарвскою заставою. Мы отправились туда с Дубровским. Их живет там целая колония — три родные сестры жены Щебальского со своими семействами. Все очень милые люди.

Там был, между прочим, Мельников, редактор “Дневника”, человек умный и очень лукавый, как кажется. Он принадлежит к типу русских умных людей-кулаков.

Комитет вступил, наконец, гласно в свои негласные права. Он отнесся к министру с требованием объявить кому следует, чтобы цензоры и литераторы являлись к нему по его призыву для объяснений и вразумлений. Муханову дано, между прочим, право задерживать до его разрешения выдачу билета на выпуск книги или журнала из типографии. Да это хуже бутурлинского негласного комитета! Даже император Николай Павлович не посягал на это. Вот они забрались в какое болото! Что же я с ними буду говорить, когда они меня позовут? Тут невозможно никакое разумное внушение.

Какая жалость, что дела так идут. Они разрушают возможность сближения того, кто мыслит в России, с правительством, и как мы ни привыкли к дурному управлению, как ни мало у нас средств противодействия ему, но тут неизбежно зло, и зло великое. С одной стороны, быстрое последовательное погружение в хаос всяческих административных беспорядков и неурядицы, с другой — разлив мнений,

уж совершенно противоположных всякому ретроградному движению, — мнений опасных, когда они сделаются нормальным состоянием умов, опасных всегда, даже и у нас. А наверху плачевная неспособность дать какое-нибудь стройное и разумное направление вещам, — ведь это дурно, из рук вон дурно!

Правительство испугано движением, какое у нас с некоторого времени образовалось. Оно не хочет сидеть сложа руки, а действовать оно привыкло одним способом — способом удержания, гнета, устрашения. Оно не понимает, что действовать значит *управлять, направлять;* да и понять ему трудно это, потому что оно не допускает к себе никаких способностей и окружено непроницаемой стеной из слабых голов и сердец. Обстоятельства становятся еще плачевнее, когда мы вспомним, как воспитывается и кем окружен наследник.

8 февраля 1859 года, воскресенье

Студентский обед. Собралось человек шестьдесят в доме одного из бывших студентов, Тимофеева. Все происходило шумно, весело, но пристойно. Сахаров произнес речь. После был провозглашен тост в честь университета, потом тост за меня. Я в ответ предложил тост в честь Тургенева и притом сказал: “Господа! Судьба раскидала нас по разным поприщам деятельности, но каждый из нас, где бы он ни был и каким бы путем ни шел, носит в сердце своем глубокую любовь к русской мысли и к русскому слову, следовательно, и к литературе. Выпьем же в честь одного из лучших строителей этой литературы — в честь Ивана Сергеевича Тургенева, который в своих произведениях так верен художественной красоте и национальному духу, что не знаешь, что он больше любит — искусство или Россию. По-моему, он любит их равно”. Потом в течение обеда еще раз пили за мое здоровье и даже за здоровье моей жены. Потом пели и разъехались в десять часов.

9 февраля 1859 года, понедельник

Обед у Тургенева по случаю проекта о Фонде или Обществе для пособия бедным литераторам и их семействам. Как обыкновенно, все наши проекты общественные должны быть спрыснуты шампанским. Я мало верю в русские ассоциации, однако же я писал и проект устава Общества пособия, к которому первую мысль подал Дружинин, заимствовав ее в английских журналах, так как он занимается английскою литературою. Все мы сегодня подписали наш проект и просьбу на имя министра народного просвещения. Ковалевский, брат министра, взялся представить их ему.

13 февраля 1859 года, пятница

Сейчас получил приглашение на похороны Марии Антоновны Корсини, или Быстроглазовой. Это одна из моих бывших учениц, с которой у нас до последней минуты сохранились самые теплые, дружеские отношения. Она была тогда, да и теперь еще редкой красоты. А какой возвышенный ум, какое прекрасное сердце! И всего лет тридцать семь или восемь она жила. И этого ничего нет уже! Мелькнула,

как падучая звезда, — и погасла! Бедная Мария Антоновна! Как все это жалко, ничтожно — красота, ум, высшие качества сердца.

Смертный! силе, нас гнетущей, Покоряйся и терпи!

В этом вся наука жизни.

14 февраля 1859 года, суббота

Похороны Марии Антоновны Корсини. Она еще не начала разлагаться. Лицо ее приняло величественное, строгое выражение. Я был у обедни и на панихиде и проводил ее до могилы. Ее хоронили на Волковом кладбище, направо, между малою и большою новыми церквами. После я зашел поклониться праху моих детей…

Непонятно, как можно предаваться пошлым житейским сплетням после того, как встретишься со смертью и побеседуешь с могилами!

Две живые развалины подошли ко мне на похоронах:

Дубельт, столь некогда страшный — впрочем, страшный только своим местом, а не сердцем и характером, — и Греч, тоже некогда знаменитый. Обменявшись общими местами, мы расстались.

15 февраля 1859 года, воскресенье

Ростовцев написал мне великолепную благодарность за рассмотрение руководства географии, составленного Шульгиным для военно-учебных заведений. Совершенно не за что: работала вся комиссия, где я был председателем. А сделай настоящее полезное дело, сделай его собственным бодрым и разумным трудом — никто не скажет спасибо.

17 февраля 1859 года, вторник

Получил официальную бумагу, что “государь император, в уважение причин, изложенных мною в письме к Жихареву, изъявил высочайшее соизволение свое на увольнение меня от звания члена комитета для преобразования театров”. Итак, мало-помалу я отсекаю у моего официального древа ветви, от которых никому ни тени, ни цвета, ни плода не было и нет, а которые, однако, поглощают много соков из самого корня моей жизни. При других обстоятельствах совесть не допускала бы меня отказаться от общественной обязанности, но в данном случае, право, никто не думает об искусстве. Тут будут только слова, проекты, цифры, а там дело отложится и умрет в канцелярии. Да и нужно мне, наконец, побольше сосредоточиться. Много истрачено времени и сил на эпизоды.

18 февраля 1859 года, среда

Занимаюсь давно задуманным трудом об изучении философии и необходимости преподавания ее в высших учебных заведениях.

19 февраля 1859 года, четверг

Хорошему еще можно доверять, не доверяй ничему очень *хорошему* — ни очень хорошему здоровью, ни очень хорошему ращению людей, ни очень хорошим обстоятельствам. Тут непременно скрывается или коварство природы, или коварство людей, или коварство судьбы. Это для того, чтобы напасть на тебя врасплох.

20 февраля 1859 года, пятница

Меня призывал министр народного просвещения для объяснений. Явился к нему в час.

— Дело об определении вас в Комитет печати, — сказал мне министр, — приняло серьезный и щекотливый оборот. На это изъявил свое желание государь, и теперь я вам это передаю именно как его желание, о котором мне сообщил граф Адлерберг.

— Да, — отвечал я, — это действительно ставит меня в большое затруднение. Я готов на всякий труд, который давал бы хоть тень надежды на пользу делу, столь дорогому для меня, как наука и литература. Но у этого комитета нет почвы, если он, как говорят его члены, создан, для нравственного наблюдения над литературою, — и тут не на чем стоять. Если же он должен превратиться в негласный комитет, то почва его грязная, и я не хочу на ней выпачкаться.

Мы долго еще об этом толковали, и, наконец, я обещался Евграфу Петровичу попытаться, нельзя ли дать всему этому делу по возможности благоприятный оборот.

Пока мы рассуждали, приехал Муханов. Тут у меня завязался с ним отдельный разговор.

Муханов старался доказать, что Комитет не имеет никаких ретроградных намерений; что в нем ничего нет похожего на комитет 2 апреля; что государь слишком далек от подобного учреждения.

— Меня лично, ваше превосходительство, — отвечал я, — не смущает мысль о комитете 2 апреля: я считаю его невозможным. Даже думать об его возможности я считал бы противным духу нашего времени и оскорбительным для духа нашего просвещенного государя. Но не могу скрыть от вас, . что общественное мнение сильно предубеждено против этого нового комитета.

26 февраля 1859 года, четверг

Все эти дни я был занят размышлениями и переговорами о моем предполагаемом участии в Комитете. В понедельник, 23-го, я был приглашен в него. Тут увидел лицом к лицу графа Адлерберга (Александра), Тимашева и Муханова.

Принят я был крайне вежливо, особенно графом Адлербергом. Я решился открыто высказать им как мои убеждения, так и взгляд мой на Комитет, дабы они

сами могли решить, могу ли я участвовать в делах их. Они слушали меня с глубоким вниманием.

Я говорил им, какое невыгодное мнение составила себе публика о Комитете; что она считает его комитетом 2 апреля; что я, с своей стороны, полагаю этот последний совершенно невозможным в настоящее время и думаю, что их Комитет не может быть гасительного и ретроградного свойства; что его единственно возможное назначение — быть посредником между литературою и государем и действовать на общественное мнение, проводя в него путем печати виды и намерения правительства, подобно тому как действует литература, проводя в него свои идеи.

Они торжественно подтвердили мой взгляд.

Я изложил им также мои политические верования. Я полагаю необходимым для России всякие улучшения, считая главными началами в них: гласность, законность *и развитие способов народного воспитания и образования'*, то есть, как говорят модными словами, я верую в необходимость прогресса. Но есть два рода прогресса: один можно назвать прогрессом *сломя голову,* который часто проскакивает мимо цели, и другой — *умеренно, постепенно,* но верными шагами идущий к цели. Я поборник последнего — и неуклонный.

Все это они приняли очень хорошо. Затем я сказал, что если бы мне пришлось участвовать в Комитете, то не иначе, как с *правом голоса.*

Это их смутило. Муханов заметил, что так как государь уже утвердил положение комитета и состав его, то трудно внести в него новое начало.

На это я возразил, что другой характер, характер делопроизводителя бюрократического, для меня невозможен ни по положению моему, ни по убеждению.

Положено было, чтобы я оставил записку в духе того, что говорил, и в четверг принес бы ее с собою. Тем заседание было кончено.

Сегодня, в четверг, я прочитал им мою записку, где те же идеи изложены подробнее. Распространившись, что литература вообще не питает никаких революционных замыслов, я стоял на том, что подавлять ее нет ни малейших причин; что для нее вполне достаточно обыкновенных цензурных мер; что стеснять литературу посредством правительственных *мероприятий* невозможно и не должно и что комитету следует разве только, по воле государя, *наблюдать* за движением умов и направлять к общему благу не литературу, а общественное мнение.

Я забыл сказать, что в понедельник еще, после моих объяснений в комитете, я поехал к министру и сообщил ему, что требую *права голоса в комитете.* Он совершенно это одобрил и убеждал меня принять на этом условии место директора-правителя дел, так как с этим правом я, несомненно, буду в состоянии делать добро.

Он сказал мне также, что в воскресенье, на бале, говорил с государем обо мне и указывал на меня как на лицо, которое, по его мнению, более чем кто-либо может действовать с пользою в комитете. Государь обратился к Адлербергу и сказал: “Слышишь, Александр?” Министр и прежде, при самом образовании Комитета,

предлагал меня в члены вместе с князем Вяземским, Тютчевым, Плетневым и Ковалевским, братом своим.

Записка моя после всего была принята, и завтра пойдет доклад к государю. Жребий брошен. Я на новом поприще общественной деятельности. Трудности тут будут — и трудности значительные. Но нехорошо, нечестно было бы, избегая их, отказываться действовать. Много будет толков. Возможно, что многие станут меня упрекать за то, что я решился с моим чистым именем заседать в трибунале, который признается гасительным, но в том-то и дело, господа, что я хочу парализовать его гасительные вожделения. Будет возможность действовать благородно — буду, нельзя — пойду прочь.

Во всяком случае я твердо намерен до последней крайности противиться мерам стеснительным. Но в то же время я убежден, что и литература в данную минуту не может, не должна расторгнуть всякую связь с правительством и стать открыто во враждебное ему положение. Если я прав, то необходимо, чтобы кто-нибудь из нас явился представителем этой связи и взял на себя роль, так сказать, связующего звена. Попробую быть этим звеном.

Может быть, мне удастся растолковать Комитету, что на дела подобного рода надо смотреть широким государственным глазом; что Комитету не следует враждовать ни с мыслью, ни с литературою, ни с чем: он не партия, а общественный деятель; что не следует раздражать умы; что на нем, Комитете, большая ответственность перед Россиею, государем и потомством и что в силу этой ответственности он не должен останавливаться на мелких литературных дрязгах, а смотреть дальше и видеть в литературе общественную силу, которая может сделать много добра обществу. Если же с этим добром соединяются также и неизбежные спутники всех человеческих деяний — ошибки, заблуждения, увлечения, то их ослаблять следует не гнетом на самое добро, а разумным влиянием на общественное мнение. Может быть, удастся, а нет — так не я первый, не я последний из обманувшихся в чистых намерениях. Долг мой будет исполнен. Да, я приму на себя эту новую обязанность, *если мне будет предоставлено право голоса*.

Тютчев, Гончаров, Любощинский сильно одобряют мое решение.

Да и Комитет, кажется, понял чистоту моих намерений. В нем ни слова не было сказано ни о каких-либо выгодах, ни отличиях. А что касается жалованья — я удовлетворяюсь первою цифрою, какая будет названа. Что же касается моих других занятий, их, само собою разумеется, придется несколько посократить.

27 февраля 1859 года, пятница

Правда ли это? Говорят, что редактор польской газеты Огрызко посажен в крепость. Что газета его запрещена, это справедливо. Но что самого редактора запретили, это мне только сегодня сообщил один из моих пятничных посетителей. Виновником этого называют князя М.Д.Горчакова, наместника Царства Польского, который теперь здесь. Он напал на редактора за напечатанное в его газете письмо Лелевеля — письмо, само по себе, может быть, и невинное, но преступное потому, что оно доказывает связь редактора с государственным преступником. Чего нельзя

представить в ужасном виде? Во всяком случае это весьма печальное событие. Это первая жестокая мера по отношению к печати в нынешнее царствование.

Главный недостаток царствования Николая Павловича тот, что все оно было — ошибка. Восставая целые двадцать девять лет против мысли, он не погасил ее, а сделал оппозиционною правительству.

Об Огрызке и польской газете “Слово” все справедливо.

1 марта 1859 года, воскресенье

Получил бумагу с высочайшим утверждением меня директором делопроизводства Комитета по делам печати. Благослови, Боже, действовать на пользу мысли и литературы в духе соглашения и примирения!

Поутру был у министра и сообщил ему содержание моей записки, читанной в четверг в Комитете. Он был очень доволен и говорил, что теперь он спокоен, так как видит во мне опору и защитника литературы. Мы долго с ним говорили в этом духе. Честный, благородный человек!

2 марта 1859 года, понедельник

Поутру был у Делянова. Он рассказал мне процедуру воспрещения “Слова” и заключения Огрызко в крепость. Эта кара постигла последнего за его сношение с государственным преступником. Делянов сильно ходатайствовал за него у Долгорукова, считая себя единственным виновником появления статьи в печати.

Заезжал к ректору Римско-католической академии Якубильскому заявить, что мне, может быть, придется оставить ее. Он очень огорчился и настаивал, чтобы я как-нибудь остался. В самом деле, пятнадцать лет служил я в этой академии, и все в ней, от швейцара до главного начальника, оказывали мне неизменное расположение. Мне самому грустно расстаться с нею.

В три часа отправился к Муханову, где было назначено заседание Комитета. Меня приветствовали уже как сочлена. Государь прочел всю мою записку и, говорят, остался чрезвычайно доволен ею. Это уж очень хорошо, ибо там много сказано в защиту литературы. Граф Адлерберг, между прочим, объявил мне, что я должен буду представиться государю.

4 марта 1859 года, среда

До меня доходят слухи, что назначение меня в Комитет вообще встречено с радостью в литературном кругу. Некоторые из *крайних* полагают однако, что поступлением моим в Комитет я утвердил его существование; что если бы я отказался от него, то, увидев невозможность привлечь к себе какую-либо из благородных сил литературы, он принужден был бы закрыться, как дело вполне неудавшееся и невозможное. Ну, а если бы этого не случилось? Не принял ли бы тогда Комитет характера вполне подавляющего? Вряд ли бы он мог так добродушно

посягнуть на самоубийство. Не увидел ли бы он, напротив, в таком решительном отчуждении литературы от правительства нового повода пугать ею последнее и не счел ли бы своею обязанностью действовать против нее всячески, как против явного врага. Правительство, пожалуй, опять стало бы прибегать *к сильным мерам,* и запрещения посыпались бы то на тот, то на этот журнал. Что тогда? Не лучше ли попытаться достигнуть желаемого путем мирных соглашений. Если я имел мужество принять на себя трудную роль посредника между литературою и правительством, то это с целью отстаивать интересы первой, если они будут подвергаться опасности…

Литературе может угрожать еще один сильный враг, против которого ей нужен союз с правительством, — это ретроградные, ультраконсервативные и обскурантские покушения духовных властей.

5 марта 1859 года, четверг

Собрание у графа Адлерберга. Комитет желает иметь особых *чтецов,* которые бы следили за всеми журналами и отмечали вредные места. Я объяснил Комитету, что эта мера усилит только неблагоприятные впечатления в публике, которая вспомнит, что и у комитета 2 апреля были особые чтецы с этою целью. Взамен их я предлагал возложить эту обязанность на сотрудников будущего журнала, которые и без того должны следить за журналами каждый по своей части, и Комитет, не прибегая ни к каким искусственным средствам, будет в возможности знать, что делается в текущей литературе. Этим я именно хотел достигнуть отмены *звания* чтецов, бросающих тень на Комитет, и без того не пользующийся доверием публики. Муханов возразил, что чтецы необходимы: ибо сотрудники не в состоянии будут управиться с громадою журналов. Прочие члены также были на это согласны. Видя, что благоприятного результата тут добиться нельзя, я не настаивал более и решился прежде хорошенько высмотреть и изучить Комитет и его позиции, чтобы с пользою противодействовать вредным замыслам, если они окажутся. Затем остальное время, то есть почти от трех до пяти часов продолжалась болтовня о разных предметах, в которой главную роль играл Муханов, неистощимый болтун.

7 марта 1859 года, суббота

Читал записку мою Делянову. Он выслушал с большим одобрением.

Огрызко сделался предметом всеобщих толков. Заключение его в крепость и запрещение журнала вызвали в публике самое тяжелое впечатление. Говорят, государь согласился на эту меру только потому, что Горчаков (варшавский) объявил, что не поедет обратно в Варшаву, если Огрызко не будет посажен в крепость.

В совете министров за Огрызко сильно стояли Ковалевский, Ростовцев и князь Долгорукий.

9 марта 1859 года, понедельник

Шли рассуждения (в Комитете по делам книгопечатания) об обществах трезвости, которые быстро распространяются в империи, чем правительство поставлено в большое затруднение. С одной стороны, угрожает подрыв откупу, а с этим вместе значительные убытки для казны, а с другой — нельзя же правительству препятствовать благородному порыву народа не пьянствовать. Муханов требовал напечатать статью не в осуждение трезвости, а в осуждение незаконного действия крестьян, определивших сечь и штрафовать пьющих. Об этом положено рассуждать еще в следующем заседании.

Говорено было о журнале; я опять подтвердил, как это трудно, но что я занимаюсь планом. Трудность состоит в приискании помощников: литература смотрит недоверчиво на Комитет.

Граф Адлерберг объявил мне, что государь желает, чтобы я представился ему в середу, в час.

Мне крайне тяжело от всех этих толков. Но все надо превозмочь: и советы доброжелателей, и козни врагов, и трудности предстоящего дела. Да. многие красноречиво говорят: вот то-то и то-то надо сделать для литературы. Я не хочу говорить, но хочу делать. Проповедовать вообще легче, но делать немного труднее. Не я основал Комитет. Но, сознав гнет, каким он должен лечь на литературу, я взялся поворотить его оглобли в сторону общественного мнения и поставить его лицом к лицу с ним на почве гласности,

Эта попытка быть примирителем между мыслью и правительством мне, может, не удастся. Но не сделать попытки было бы трусостью, больше того — было бы изменою лучшим надеждам общества.

Не корыстолюбие и не тщеславие руководят мною. Я опираюсь на мои человеческие идеи и на силу воли.

Да и надеждам моим дан довольно сильный толчок. В то время как на литературу сыпятся обвинения в революционных замыслах, когда против нее раздаются вопли Паниных, Чевкиных и так далее, я уже успел склонить Комитет к признанию, что это ложь, и заставил его передать это государю.

Я представляюсь государю, но после чего? После того, как он прочел мою апологию литературы, гласности и мысли; после того, как я высказал мнение, что Комитет может действовать разве только путем той же гласности, и не на литературу, а на общественное мнение.

10 марта 1859 года, вторник

Обед у Дюссо, данный литераторами в честь актера Мартынова. Собралось человек сорок Мартынову поднесли письмо, подписанное всеми присутствовавшими, и портреты их в прекрасно переплетенном альбоме. Письмо прочитал за обедом Дружинин, во время тоста. Потом Некрасов прочел стихи в честь Мартынова. Обед был весел и оживлен, но без криков, возгласов и всяких излишеств, какими обыкновенно отличаются наши триумфальные обеды. Все было искренно, просто и потому хорошо. Да, я забыл еще, что Островский произнес

довольно длинную речь от имени драматических писателей. Я за обедом сидел между Шевченко и Языковым.

Все литераторы приняли меня радушно, по-братски. Многие выражали удовольствие по случаю моего нового назначения. Это было мне приятно, как свидетельство, что они понимают мои намерения и отдают им справедливость. После обеда я поехал на представление в театральную школу.

В понедельник я был на вечере у графа Блудова, где многие тоже выражали мне свое сочувствие и одобряли план об издании правительственного журнала.

Да, да и да, я примирю Комитет с литературою и с общественным мнением!

11 марта 1859 года, среда

Замечательный день: я представлялся государю. Я приехал во дворец в половине первого часа. В приемной зале, обращенной к адмиралтейству, находилось несколько генералов и флигель-адъютантов. В стороне генерал-губернатор Игнатьев разговаривал с графом Блудовым. Я объявил дежурному флигель-адъютанту, зачем приехал. Через несколько минут подошел ко мне Игнатьев и осыпал меня любезностями. Немного спустя, из кабинета государя вышел министр народного просвещения. Увидев меня, он подошел ко мне.

— А мы только что говорили о вас с государем, — сказал он, — я бранил вас.

— Знаю, ваше превосходительство, — отвечал я, — что ваша брань не во вред мне.

За Ковалевским пошел в кабинет государя граф Блудов. Прошло с час времени. Явился граф Адлерберг, поговорил немного и куда-то ушел.

В ожидании от нечего делать я расхаживал по зале, поглядывая то в окна, то на стены, то на знамена, висевшие в углу.

Наконец часа в два граф Адлерберг позвал меня к государю.

— Очень рад познакомиться с вами, — сказал мне государь с невыразимою любезностью.

Я поклонился и ожидал, что его величеству еще угодно будет мне сказать. Он продолжал:

— Я со вниманием и с удовольствием читал вашу записку. Желательно, чтобы вы действовали влиянием вашим на литературу таким образом, чтобы она согласно с правительством действовала для блага общего, а не в противном смысле.

— Это, ваше величество, — отвечал я, — конечно, есть единственный путь, которым можно идти к величию и благоденствию России. Употреблю все силы мои для служения этому делу.

— Есть стремления, — продолжал государь, — которые несогласны с видами правительства. Надо их останавливать. Но я не хочу никаких стеснительных мер. Я очень желал бы, чтобы важные вопросы рассматривались и обсуживались научным

образом; наука у нас еще слаба. Но легкие статьи должны быть умеренны, особенно касающиеся политики.

Государь особенно налег на слове политика.

— Государь, — отвечал я, — осмелюсь сказать, основываясь на продолжительных моих наблюдениях и опыте, что лучшие и, следовательно, имеющие наиболее влияния умы в литературе не питают никаких враждебных правительству замыслов. Если встречаются какие-нибудь в этом роде ошибки и заблуждения, то разве только в немногих еще шатких и неопытных умах, которые не заслуживают исключительного внимания.

— Не надо думать, — заметил государь, — что дело ваше легко. Я знаю, что Комитет не пользуется расположением и доверием публики.

— Моя роль, как я ее понимаю, ваше величество, быть примирителем обеих сторон.

— Опять повторяю, — сказал еще государь, — что мое желание не употреблять никаких стеснительных мер, и если Комитет понимает мои виды, то, несмотря на трудности, может все-таки что-нибудь сделать.

При словах “если Комитет понимает мои виды”, государь значительно взглянул на Адлерберга.

Было сказано еще несколько слов об издании предполагаемой правительственной газеты, а затем государь крепко пожал мне руку и чрезвычайно ласково проговорил “Постарайтесь!”, поклонился и оставил меня.

Во все время разговора я стоял против него, а граф Адлерберг сбоку, возле меня.

Трудно передать кротость, благородство и любезность, с какими государь говорил. Меня особенно поразило во всем тоне его, в улыбке, которая почти не сходила с его уст, по временам только сменяясь какою-то серьезною мыслью, во всем лице, в каждом слове — какая-то искренность и простота, без малейшего усилия произвести эффект, показаться не тем, чем он есть в душе. В нем ни малейшего напускного царственного величия. Видно, что это человек любви и благости, и он невольно привлекает к себе сердце. “О, — подумал я, уходя от него, — сколько бы можно делать с тобою добра и сколько бы ты сделал его, если бы был окружен людьми более достойными тебя и более преданными тебе и благу России!”

При выходе из дворца я еще раз встретился с Адлербер-гом и выразил ему, как я очарован государем.

— Государь на вас надеется, — сказал он мне. Утешительно также видеть, что государь понимает трудности дела. Он несколько раз повторил это. Я боялся слишком высокого тона, который похож на приказание делать во что бы то ни стало и который говорил бы, что все можно, что велено. Между тем он только изъявлял свои желания, свои виды и советовал, а не высочайше повелевал. Он, кажется, тоже понимает, что в настоящем деле нет места для обычной сухой административной формальности.

Из дворца я прямо отправился к министру, но, узнав, что он занят докладами и что у него Муханов, я не пошел к нему.

12 марта 1859 года, четверг

Поутру был у министра и подробно рассказал ему про свое свидание с государем.

— Видите, — сказал мне Ковалевский, — каков он. Нельзя не быть ему преданным от всего сердца. Не раз мне приходилось так тяжело, что я готов был бросить все, но, поговорив с ним, опять примирялся. Не далее вот, как по делу Огрызка. Я в совете министров сильно восстал против меры, которая наделала столько неприятного шума. Меня поддерживал один Ростовцев. Но оба Горчаковы с такою яростью нападали на Огрызко и его газету и все прочие так были с ними согласны, что моя защита не помогла. Мне даже не дали прочитать приготовленной мною записки. Несколько дней государь, видимо, был на меня сердит, и я помышлял уже об удалении. Но не далее как вчера я прямо и откровенно высказал ему мои убеждения, и он опять очаровал меня своим благородством и своею добротою. Сил нет ему противиться. О, если б ему немного побольше твердости, да лучших помощников!..

После я откровенно высказал министру мое мнение о Муханове. Мои мысли были совершенно согласны с его. В деле Огрызко он играл неблаговидную роль. Он был подстрекателем Горчаковых, а когда увидел, какое впечатление это произвело на общественное мнение, он начал осуждать сам крутую меру.

— А что же говорили вы мне дней назад несколько? — заметил ему министр.

Вообще я предвижу большие затруднения с этим господином. На графа Адлерберга, кажется, можно будет действовать сердцем, на Тимашева — умом, а на этого ни тем, ни другим, потому что у него нет ни сердца, ни ума.

Тимашев представил в 9 N “Искры” стихи под названием “На Невском проспекте”, с замечаниями своими о их вредном направлении. К сожалению, стихи действительно подают повод к упреку. Но Муханов восстал против них так, как будто они были государственным преступлением. Он требовал, чтобы редактор был посажен на гауптвахту. Тимашев был гораздо умереннее. Он объявил, что сам в качестве начальника III отделения позовет редактора и сделает ему выговор. Он совершенно согласен со мною, что из этого не следует делать шума.

Потом Муханов читал переписку графа Панина с графом Блудовым по поводу статьи, напечатанной в “Русском вестнике”, — “О коммерческом суде”. Переписка эта возникла по поводу вопроса Комитета, сделанного министру юстиции: следует ли допускать в печати подобные статьи? Записка графа Блудова одобряет статью “Русского вестника” и находит, что министру юстиции следует вообще обращать больше внимания на отправление правосудия. Она исполнена ума и благородства. Но вопрос, следует ли дозволять к печатанию такие статьи, со стороны министра юстиции остался нерешенным. Положено спросить его о том снова.

Говорено было о моем вчерашнем представлении государю. Я с намерением

обратил внимание членов на великодушную и высокую мысль государя, чтобы не употреблять никаких стеснительных мер.

Признано совершенно неудобным печатать статью относительно распространения обществ трезвости. Я сильно поддерживал эту мысль.

Теперь на первом плане забота о газете. Надо склонять Комитет к мысли, что он может действовать на общественное мнение только этим путем, то есть путем гласности, а не каких-либо других мероприятий.

Муханов, кажется, доставит мне всего больше хлопот: он не способен внимать ни голосу рассудка, ни голосу сердца. У него одна мысль в голове — иметь влияние. Другие два настолько должны быть умны, чтобы понять, что собственные выгоды их требуют не презирать общественное мнение.

Еще надобно доказать им, что их честь требует противодействия таким людям, как Чевкин, Панин и прочие.

13 марта 1859 года, пятница

Вечером у графа Блудова. Там встретил я Егора Петровича Ковалевского. Он против моего назначения.

— В благих намерениях ваших, — сказал он, — никто не сомневается, но вы ничего не успеете сделать.

— Если я ничего не в состоянии буду сделать, так оставлю. Зла от попытки никакого не будет, а добро может быть.

— Нет, — возразил он, — будет зло.

— Какое же?

— Трудно сказать вдруг.

— Но было бы трусостью с моей стороны не действовать. Егор Петрович умный, благородный человек, но ипохондрик и раздражителен.

15 марта 1859 года, воскресенье

Сегодня был у меня Ф.И.Тютчев. Я прочитал ему мою записку. Он сильно ее одобрил.

Всякий человек носит в самом себе или врага, или помощника своим целям. Он должен уметь справляться с первым и вполне пользоваться последним. Мой враг — слишком живое воображение, которое часто преувеличивает опасности и забегает вперед со своими мрачными изображениями. Оттого чувствую по временам сильный упадок духа. Конечно, это проходит, но тем не менее такое состояние и неприятно и вредно. С ним надо бороться.

Ни честные намерения, ни добросовестный труд еще не ручаются за успех дела: для этого нужны еще способность, такт.

Я даю большое сражение, — не знаю, будет ли оно выиграно или проиграно. Но я даю его во имя чести русского ума, за право мысли и просвещения. Упадок духа теперь особенно некстати. Я стараюсь выбиться из него всеми силами. Но надо некоторое время, чтобы равновесие сил установилось, колеблющийся дух утвердился снова и внутри меня водворилось спокойствие и решимость идти своим путем,

Ошибаются те, которые думают, что я могу принадлежать к той или другой литературной группе. Я прежде всего и исключительно принадлежу моему убеждению, самому себе. Я признаю литературных людей наших за лучших людей России. В них больше образования, а следовательно, должно полагать, и больше, чем у других, стремления к лучшему. Это ум общества, более развитая часть наших нравственных сил. Сельский люд — это почва, почва сочная, плодообещающая. Но настоящие сеятели в ней — это люди мысли, действующие печатным словом, и мысли их необходимо дать больше простора. Я не отделяю от литературы на этот раз и в этом смысле ни публицистики, ни науки. Но люди, принадлежащие к этому кругу, одержимы своего рода заблуждениями и способны к важным ошибкам. Ни этих ошибок, ни этих заблуждений я не разделяю. Люди эти часто забывают, что для некоторых реформ мы еще не созрели. *Всему есть время, всему должны быть соблюдены постепенность и мера.* Прогресс *сломя голову, я* убежден, никуда не годится. Но постепенный, ровный прогресс есть цель, к которой необходимо стремиться.

Крайность этих людей состоит в том, что они хотят *все вдруг, все скорее.* Сначала сделаем, а после будем додумывать задним умом.

Обойдемся ли мы без революции? Решение этого вопроса принадлежит истории. Но если история ничего не дает даром, то надо стараться купить у нее то, чего она не дает даром, елико возможно меньшею ценою.

16 марта 1859 года, понедельник

Граф Адлерберг объявил, что Краевский и еще какой-то полковник генерального штаба предпринимают издавать “Энциклопедический лексикон” и просят правительство оказать им свое покровительство, взяв для себя несколько паев, потому что издание предполагается учредить на паях. Адлерберг, видимо, наклонен в пользу этого дела. Но восстали Муханов и Тимашев; первый тотчас увидел в этом какую-то опасность и призыв воскрешения Энциклопедии XVIII века; второй не пошел так далеко и находил только, что это послужит только к усилению текущей легкой литературы. Муханова я тотчас отразил, что между подобным Лексиконом и тою Энциклопедиею нет и не может быть ничего общего и что у нас уже было подобное издание, кончившееся неуспешно только потому, что издатель, Плюшар, промотал собранные с публики деньги. К сожалению, я забыл на этот раз Лексикон Края. Тимашеву я представил, что это совсем не легкая литература, а, напротив, серьезная и подлинное дело науки. Он туго поддавался, как вообще туго поддается этот сухой полицейский ум; но как все-таки это ум, а не мухановский призрак ума, то он, наконец, и убедился. Адлерберг был на моей стороне. Чтобы

отстранить всякое сомнение, я сказал, что правительству нельзя теперь ничего сказать, пока не будут представлены план и сотрудники издания. На этом и остановились.

Потом читан был ответ Ржевусского на статью Громеки, довольно пустой и слабый. Автору хотелось знать мнение Комитета. Забавны в этом ответе объяснение революции французской и инквизиции. Мои сочлены и не подозревали, что тут просто глубокое невежество. Я обнаружил им это, так же как и бессмысленность противопоставлять заслуги армии народу в охранении престола. Статью, разумеется, писал не Ржевусский; она все-таки грамотна, а почтенный граф не может быть обвинен в грамотности. Положено посоветовать автору или quasi-автору исправить ее. Разговор о полковнике фигляре Бото.

В "Колоколе" есть выходка на Тимашева, впрочем, неважная и, кажется, не совсем удачная. "Колокол" не так громко теперь звучит и не так сильно заставляет себя слушать.

19 марта 1859 года, четверг

Тимашев прочитал безыменный донос о том, что в "Петербургских" ведомостях" напечатано извещение о приготовляющемся переводе малороссийских повестей Марко Вовчка на русский язык и о намерении некоторых литераторов пустить их в продажу по самой дешевой цене. Доносчик *с патриотическою ревностью* указывает на страшный вред, долженствующий произойти от распространения в народе подобных вещей. Я объявил, что не понимаю ни этого предприятия, ни вреда от него: повести Марко Вовчка, по крайней мере те, которые я читал в "Русском вестнике", очень скучны и больше ничего. На это Муханов возразил: знаю ли я "Казачку"? "Нет", — отвечал я. Он пересказал ее содержание. Выходит, что повесть эта действительно написана с целью как бы вооружить крестьян против помещиков, их притеснителей-владельцев. Она может, точно, произвести неблагоприятные впечатления. Странно, что подобные вещи печатаются теперь, когда дело идет об уничтожении злоупотреблений, против которых восстает автор "Казачки". Это чистый анахронизм. Муханов хотел дать знать об этом министру народного просвещения. Странно также, что переводчиком повестей Вовчка в "Ведомостях" объявлен Тургенев, не знающий вовсе малороссийского языка. Это должна быть какая-нибудь спекуляция.

Затем Муханов предался по обыкновению неудержимому потоку речей. На этот раз, впрочем, он рассказал о любопытном заседании в Комитете министров, где и он, за болезнью министра/присутствовал и где дело шло о железных дорогах.

Еще важное обстоятельство, сообщенное Мухановым: у графа Панина было спрашиваемо, можно ли печатать о недостатках наших судов? Он отвечал, что можно, только в приличных выражениях, без вражды и желчи. Но о присяжных решительно, по его мнению, не следует говорить.

23 марта 1859 года, понедельник

Начали было читать переданную государем графу Адлербергу записку, которую министр народного просвещения ежемесячно представляет его величеству о замечательнейших статьях в русских журналах. Чтение это было остановлено появлением издателя “Журнала землевладельцев” Желтухина, с которым и я лет двадцать тому назад был знаком. Этому Желтухину, не знаю почему, Комитет счел полезным исходатайствовать от государя в пособие 8000 рублей серебром в год для издания его журнала. Но журнал от этого не улучшился, а, напротив, пришел в такой упадок, что за прошлый год еще не додал семи книжек. Чего хотел теперь Желтухин, трудно было понять. Главное, что ему нельзя продолжать теперь журнала (который издается в Москве) вследствие нового распоряжения, что статьи по крестьянскому вопросу, составляющие специальность “Журнала землевладельцев”, должны быть посылаемы на цензуру в С.-Петербург. Тимашев и я посоветовали ему обратиться к Ростовцеву, не возьмется ли он исходатайствовать ему изъятие из этого правила, основываясь на том, что редактор состоит экспертом при крестьянской комиссии? После многих толков с Желтухиным разошлись.

Замечательно следующее: Желтухин просил позволить ему напечатать, что он получает от правительства пособие. Для чего же? — спросили его. “Для того, — отвечал он, — что откровенность послужит мне оправданием перед публикою, которая теперь думает, что я подкуплен правительством”. — “Да ведь, — заметил я на это, — она теперь только может говорить это по догадкам, а тогда совершенно в этом уверится, и вы этой ретирадой прямо попадете в пасть врагу”. То же подтвердили и другие члены. Кажется, он убедился.

26 марта 1859 года, четверг

Сегодня говорил я большую речь о затруднительном положении цензуры, сбитой с толку отсутствием правильной системы, руководящих основных начал и вмешательством сторонних властей. Я доказывал, что необходимо, чтобы цензура была сосредоточена и независима. Цель моя, между прочим, была та, чтобы поставить цензуру вне влияний и посягательств на нее Комитета и предоставить министерству народного просвещения действовать самому, без посторонних беспрестанных внушений.

“Что мы за сыщики, — сказал я между прочим, — что гоняемся за каждою мелкою статьею и мешаем только действовать цензуре, приводя ее в страх и окончательно сбивая с толку! Мы не полиция, — мы здесь должны действовать как люди государственные, по высшим соображениям. Наше дело — видеть общее направление умов, а не мелкие какие-нибудь цензурные промахи и отступления, за которыми пусть смотрит установленная на то власть”. Это, кажется, понравилось членам, особенно Тимашеву, который вообще доступнее других разумным внушениям. Впрочем, и Муханов не возражал. “Дело Комитета даже, — сказал я еще, — не враждовать с общественным мнением и литературою, а защищать последнюю против таких господ, как Чевкины и проч.”

Говорено было также о новом цензурном уставе. “Я старался сделать в нем две вещи — пополнить устав 1828 года сообразно с новыми потребностями,

представить для цензоров закон и устроить цензурную администрацию, сосредоточив ее в одной власти, Главном управлении цензуры. Дух устава — либерально-консервативный”. На это также никто не возражал. Вообще нынешнее заседание было любопытно тем, что я, как мне кажется, многое изменил в прежних понятиях Комитета.

28 марта 1859 года, суббота

До сих пор я не вижу в Комитете по делам книгопечатания никаких особенно враждебных покушений. Было у них намерение *направлять литературу* и располагать цензурою посредством *внушений* и *страха*. Но это, теперь для меня очевидно, было скорее следствием непонимания вещей, чем систематически организованного замысла. Что касается до направления литературы, то мне удалось совсем уничтожить эту мысль, а теперь удалось уже и сильно поколебать покушение на литературу.

Приехал Ребиндер, чтобы вступить в управление департаментом министерства народного просвещения. Я виделся с ним, и мы много говорили о многом. Он вздумал было меня упрекать за Комитет. Но когда я ему объяснил ход и сущность дела, он не только примирился со мною, но еще стал усердно поддерживать меня в моих намерениях.

29 марта 1859 года, воскресенье

У министра. Ему писали из Москвы, что там уже начинают чувствовать хорошие последствия моего участия в Комитете, что, по словам Евграфа Петровича, действительно заметно и здесь и там. Так это или нет, но дурного по крайней мере до сих пор ничего не вышло.

Продолжительный разговор с Струговщиковым, к которому я заехал от министра.

Меня упрекают в одном — что я задерживаю кризис, ибо будто бы отстраняю те меры, которые сильнее всех доводов доказали бы невозможность ретроградных действий. Мысль эта, по-видимому, не лишена оснований. Но разве ретроградная партия уже так слаба, что окончательно сдалась бы после одной-другой неудачи? И неужели, с другой стороны, либеральная партия так сильна, что может верно рассчитывать на успех своего оппозиционного движения? Ведь у первой все-таки в руках власть, и что, если она вдруг захочет воспользоваться ею и начнет прихлопывать то один, то другой орган мысли?

Неужели настало время совершенного разрыва между партиею мысли и движения и правительством? Неужели нет выбора, как между *ультрами?* Я не верю этому. А если, как говорят, я ошибаюсь? Может быть. Но мне надо в этом убедиться на самом деле. Слепая ненависть была бы преступлением. Не должно легкомысленно предаваться гневу и решать такие важные вопросы в порывах страсти или увлечения.

Я убежден, что мы еще не созрели для кризиса. Зрелостью я называю то, когда бы кризис в состоянии был привести вещи к определенному положению и ручаться за какую-нибудь благоустроенную будущность. А где для этого элементы? “Но кризис бы их и произвел”. Нет! Кризис произвел бы, наверное, хаос и больше ничего. Знаю, что есть люди, рассчитывающие на хаос. Но хаос ведет непременно или к анархии, или к усиленному деспотизму.

Надо сказать в Комитете: истинный патриотизм и государственный образ действий состоят в том, чтобы охранять основные начала нашего общественного порядка, а не заниматься мелочами. Верно то, что десяток мелочей, как-нибудь проскользнувших в печати, никогда не сделает столько вреда, сколько одно поднятое на них гонение. Мелочи эти на минуту заставят поговорить и исчезнут, тогда как всякое гонение возбуждает негодование и держит умы в постоянном раздражении.

Министр мне сказал, что Муханов беспрестанно твердит о какой-то борьбе сословий.

Несомненно то, что многие наши так называемые передовые люди, при всех благородных своих стремлениях, не прочь от того, чтобы сделаться настоящими вождями движения и отодвинуть подальше всех других от арены, если эти другие не подчинятся безусловно их влиянию или их началам.

Стремление к восстановлению национальностей, кажется, составляет одну из задач нашего времени. Война с Австриею может окончиться отторжением от нее славянских племен. Но что тогда станется с Польшею? Славянофилы мечтают о федерации славян. Какую же роль тогда будет играть Россия? Откажется ли она добровольно от Польши?..

30 марта 1859 года, понедельник

Комитет учинил важное признание, к которому он пришел вследствие моих убедительных и сильных объяснений, именно: что он сделал весьма важную ошибку, объявив своим циркуляром, что он будет призывать для объяснений и замечаний литераторов и цензоров. Ошибка эта, как я говорил им, поссорила их совершенно с литературою и общественным мнением и подала повод к бесконечным неблагоприятным толкам, чем немало содействовало и решение Комитета печатать в журналах свои статьи. Я старался всячески поддержать Комитет на этом благом пути невмешательства в литературу и цензуру и, кажется, успел в этом. Это уж важная победа в пользу справедливости и благоразумного либерализма.

Мне объявил Муханов, что государь очень заботится, чтобы я скорее представил план газеты.

Поговорив по обыкновению о сторонних предметах, Комитет разошелся довольно рано.

Конечно, конституция вещь прекрасная, и без нее нельзя обойтись. Но я никак не полагаю, чтобы для нее необходима была революция, и Боже спаси нас от революции! Она была бы самая безалаберная. Мне кажется, что к конституционным формам можно идти постепенно, так, чтобы они вырабатывались без шума и тревог,

в последовательном развитии либеральных начал как в общественном духе, так и в администрации. Например, пусть развивается гласность, осуществится публично-словесное судопроизводство, устроится кассационный суд: это вместе с освобождением крестьян образует уже значительные начатки нового порядка вещей, а там самое дело и опыт покажут, как и куда идти далее.

При таком ходе вещей вырабатываются не только элементы для нового порядка вещей, но и люди. А так, вдруг, невозможно! Мы не имеем никакой подготовки. Журнальные статьи и несколько либеральных, положим, порядочных, голов еще не составляют ее.

Правительство должно открыто и смело удовлетворить некоторым желаниям образованного класса, как оно открыто и смело удовлетворило нуждам низшего посредством эмансипации.

1 апреля 1859 года, среда

Получил из совета университета бумагу о назначении меня исправляющим должность декана. Приходится отказаться, хотя я никому и ничему не служу так охотно, как университету. Но ни сил, ни времени нет. Теперь я весь углубился в проект газеты.

Надо привести в систему либеральные идеи и высказать прямо: чего *должно* и *можно* хотеть.

2 апреля 1859 года, четверг

Ничего особенного в Комитете по делам книгопечатания не было. Муханов объявил, что на праздники он едет в Москву. Поговорив о том, о сем, особенно о смерти Бозио, разошлись довольно рано.

Правительство никак не должно показывать, что оно — враг новых идей, если они сделались всеобщими. Его роль в этом случае есть роль согласителя этих идей с общими интересами и с безопасностью и благом государства.

Должно указать настоящий путь либеральному началу, а правительство убедить, чтобы оно уважало его.

4 апреля 1859 года, суббота

Вечером был у Тимашева. Если он не притворяется со мной, то он гораздо выше своей репутации, то есть той репутации, какою он пользуется в литературном кругу, и мне во многом Приходится смягчить мое первоначальное о нем мнение. Он оказывается либеральнее многих и многих из тех сановников, с которыми мне случалось рассуждать и иметь дело. Например, он прямо сказал государю, что правительство его не пользуется доверием и что доверие это может быть приобретено уступками общественному мнению, а не насилованием последнего. Он читал мне свою записку, где эта мысль выражена. Потом он вообще показывает себя

далеким от крутых мер и совершенно соглашается с тем, что надо идти путем умеренного и благоразумного либерализма. Таким образом он, по-видимому, вовсе не ретроград, не реакционер, но не скрывает, впрочем, что по его мнению надо останавливать слишком ярые стремления ультралибералов. Словом, в нем виден умный человек, понимающий потребности времени и сознающий необходимость улучшений. Он говорит, что он вовсе не против гласности, а только против ее злоупотребления.

7 апреля 1859 года, вторник

Большой комитет у И.Д.Делянова, где рассуждали об учреждении педагогических курсов при университете взамен уничтоженного Педагогического института и об открытии новой, шестой гимназии. Комитет был слишком многочислен, и потому много было пустых толков и споров. М.С.Куторга, по обыкновению, выходил из себя, доказывая, что учитель истории должен в совершенстве знать греческий и латинский языки. Пусть в этом своя доля правды, но способ, каким поддерживал это Куторга, сильно отзывал прелым самолюбием и педантизмом. Он по-прежнему доказывал, что единственный историк в мире Фукидид и что все новейшие историки, не исключая и Маколея, в сравнении с ним — дети. Такая парадоксальность, конечно, никого не могла убедить.

12 апреля 1859 года, Светлое Христово Воскресение

Заутреня в церкви театральной школы. Ужасная духота, и я страшно устал, а к усталости присоединилось еще и неудовольствие на церковную службу. Как они скомкали эту великолепную мистерию! В пении и во всем скачут напропалую, и оттого все великое, присущее идее этого торжества из торжеств, пропадает.

Утром был у министра и графа Блудова. Заезжал к Ребиндеру, у которого просидел довольно долго вместе с Струговщиковым и Галаганом, приехавшим в Петербург для присутствования в крестьянском комитете. Возвратился домой в четвертом часу, очень усталый.

13 апреля 1859 года, понедельник

У министра с поздравлением. Многочисленное собрание. Я со всех сторон получал приветствия. Много было тут расточено иудиных лобзаний. Министр был очень любезен. В углу стоял бледный и злой Кисловский, которому есть от чего бледнеть и злиться: дни его в департаменте, где он наделал столько мерзостей, говорят, сочтены. Да и меня видеть в моем настоящем положении для него скорбь великая. Ну,Бог с ним! От министра заезжал к Блудову и Ростовцеву.

16 апреля 1859 года, четверг

Все эти дни занимался проектом газеты и по случаю праздников заезжал к

некоторым из моих приятелей.

Погода гнуснейшая — страшный холод и дождь со снегом. Отправил письмо к моему старому наставнику, полюбившему и пригревшему меня еще в бытность мою в уездном училище, — Александру Ивановичу Морозову. У меня становится тепло на сердце при одном имени этого доброго, благородного человека.

19 апреля 1859 года, воскресенье

Обедал у Некрасова. Рассказ Панаева о Плетневе, который отдал ему и Некрасову в аренду “Современник”, когда новые журналы не разрешались, и получал с них 3000 рублей ассигнациями и по 4% после 1400 экземпляров. В деле этом участвовал и я, потому что издателями-хозяевами были Некрасов и Панаев, а редактором — я. Теперь времена переменились; право издания журнала ничего не значит, потому что его может получить всякий, а Плетнев все-таки требует с Некрасова и Панаева денег, и теперь уже по 3000 рублей серебром в год. Они старались его усовестить тем, что за тень, за имя журнала это дорогая плата. Предлагали ему даже 1000 рублей в год. Он не соглашается. Надо знать, что издатели “Современника” ничего, кроме имени журнала, в сущности, от Плетнева не получили: у него тогда было всего двести подписчиков, они же имеют их теперь пять тысяч пятьсот. Но тогда тут был смысл: это было право, а теперь ничто. Это юридический казус. Кто-то советовал им переменить заглавие журнала и просить позволения издавать его как новый. Тогда Плетневу придется ловить дым.

Всех очень обрадовало отрешение от должности Закревского. Он сделал вещь невероятную по своей наглости и презрению всех законов. У него есть дочь, не хуже Мессалины известная своими похождениями. Она замужем за графом Нессельроде, с которым, разумеется, не жила. Закревский вздумал ее, не разведенную с первым мужем, вторично выдать за князя Друцкого-Соколинского. Ни один священник не хотел их венчать. Наконец Закревский нашел одного, который, под угрозою ссылки в Сибирь, согласился, наконец, их перевенчать. Об этом Закревский имел дерзость сам известить государя. Вслед за тем и состоялось его увольнение.

20 апреля 1859 года, понедельник

По причине праздника пасхи и страстной недели заседаний не было. Муханов объявил о жалобе Муравьева (святоши) на “Современник”, в котором он обруган по поводу последнего своего сочинения (N 4). Сильному порицанию подверглись места, где рецензент говорит о сношениях автора с мальчиками и насмешливое употребление слова: *Шамбелан*. Муханов вопил и по обыкновению требовал крайних мер. Трудно было мне защищать статью “Современника”, или, лучше сказать, две эти глупые выходки. Я мог только сдерживать гнев членов тем, что это мелочи и что нельзя же их считать за выражения характера литературы.

Я предложил мнение мое относительно испрашиваемого пособия Энциклопедическому лексикону, предпринимаемому под редакцией Краевского. Пособия нельзя оказать, пока не будет организовано это дело правильным

устройством редакции и достоинство его не будет обеспечено участием авторитетных наших ученых и литераторов.

21 апреля 1859 года, вторник

Был у министра. Разговор о цензуре. Муравьев жаловался на “Современник” (4-я книжка) за резкий разбор его сочинения. Вообще объяснения мои с министром доставили мне большое удовольствие. Он выразил так много благородного и сильно поддержал меня в моем образе мыслей и действий по Комитету.

Педанты обыкновенно придают исключительную важность только своему роду занятий, своей науке, своему ремеслу, своему призванию и т.д., нимало не заботясь об отношении этих занятий к другим и общим интересам людей или к другим началам. С забавною чопорностью тешатся они формулами и словами, придавая им особенный вес. Педанты не хотят верить, что в мире все имеет свою важность, свой смысл и свое ничтожество и что ум состоит в том, чтобы не считать на земле ничего ни слишком великим, ни слишком малым.

Итальянские дела очень всех занимают. В прошедшую пятницу некоторые из моих посетителей сговорились при первой же неудаче австрийцев выпить шампанского за успехи итальянского оружия.

Сегодня такая отвратительная погода, какую не часто насылает на людей даже петербургский климат. Холод, дождь, снег, грязь.

Да, народом должно управлять посредством его самого.

23 апреля 1859 года, четверг

Заседания по случаю тезоименитства вдовствующей императрицы не было.

24 апреля 1859 года, пятница

Заехал вчера к графу Блудову. Почтенный старец немного живее, но вообще нынешнюю зиму он не так бодр и свеж, как был еще недавно.

— Куда поедете вы на лето? — спросил я его.

— Не знаю, — отвечал он, — может быть, на Невское.

— Ну, возразил я, — если не именно на Невское, то в подобное ему место нам всем предстоит путь.

— Только мне раньше всех вас, — сказал он.

25 апреля 1859 года, суббота

Что я буду делать с мелочными умами, которые отцеживают комара и поглощают верблюда? Я хочу спасать великую существенную вещь, политический

принцип общества, делая для этого необходимые уступки и полагая, что этим упрочится спокойное, ровное развитие общества, а они ярятся из-за пустяков и думают, что спасают общество от бурь, когда успеют потормошить какую-нибудь статейку или фразу.

27 апреля 1859 года, понедельник

Тимашев объявил, что он отправляется в отпуск за границу на три месяца.

30 апреля 1859 года, четверг

Ничего особенного не было. Положено по причине переезда на дачу графа Адлерберга на будущей неделе не собираться.

Обедал у Дюссо вместе с Гончаровым, Некрасовым, Панаевым, Ребиндером и некоторыми другими. Провожали Тургенева за границу.

1 мая 1859 года, пятница

Прекрасный день, а вчера ещё я должен был ездить в шубе.

Москва, говорят, сильно жалеет об отставке Закревского. Если это правда, то вот вам и общественное наше мнение! А не она ли вопила прежде: когда, мы от него избавимся!

Самое трудное дело — переубеждать людей, зараженных предрассудками, особенно там, где они лишены того возвышенного взгляда на вещи, который в состоянии был бы измерить не только близкое и настоящее, но и отдаленное и отношение настоящего к будущему.

Все требуют *мер*, забывая, что правильная мысль есть тоже мера, только внутренняя, без которой, однако ж, все внешние меры ничего не значат.

У нас ужасно привыкли успокаиваться на распоряжениях, комитетах, предписаниях. Определенные начала, убеждения, основные истины мало принимаются в соображение.

Так называемый *прогресс* исторический есть не иное что, как работа Данаид. Едва человечество успело поднять одну массу усовершенствований, новых идей, открытий, как другая масса готова, и ее также надо поднять и т.д. до бесконечности.

Но надо верить в прогресс настолько, насколько нужно, чтобы не дать заснуть себе и другим.

3 мая 1859 года, воскресенье

Нет, это неправда, что Москва сожалеет о Закревском. Напротив, она в восторге от его падения. Сегодня был у Д.П.Хрущева, и он читал мне письмо одного из московских своих приятелей, человека правдивого и серьезного. Он пишет, что

радость была всеобщая; многие обнимались и целовались, поздравляя друг друга с этим событием, и благодарили государя. Недовольных было только несколько чиновников.

Хорошо, если бы в разговорах почаще вспоминали изречение Фокиона, который сказал, что каждое слово прежде произнесения его надо обмокнуть в ум.

6 мая 1859 года, среда

Экзамен в университете. Экзаменовался второй курс филологов. На этот раз молодые люди очень удовлетворительно разрешали трудные вопросы из философии и литературы. Это успех.

7 мая 1859 года, четверг

Экзамен некоторых юношей, вступающих в университет. Есть люди, конечно немногие, особенно женщины, у которых, несмотря на разные невзгоды жизни, на бедствия и преследования судьбы, всегда найдется теплое, приветливое слово для ближних, улыбка, участие к бедам и прочие хорошие вещи, доказывающие здоровую, богатую натуру, которую не так-то легко сломить и разорить вконец.

8 мая 1859 года, пятница

Ездил в Царское Село к графу Адлербергу. Много говорил с ним о литературе и цензуре, стараясь разъяснить разные предубеждения, которых довольно. Он человек с умом и благородными наклонностями, насколько они могли сохраниться от рассеянной жизни. Но беда с нашими влиятельными людьми! Они неспособны к труду мыслей, мало образованы и чужды всякой глубины взгляда.

10 мая 1859 года, воскресенье

Представлялся в Царском Селе государю, для принесения благодарности за ленту. Мы поехали в девять часов утра с Ребиндером, который также должен был благодарить за чин тайного советника. У дебаркадера железной дороги в Царском Селе нас ожидали придворные экипажи. Мне пришлось ехать во дворец вместе с моим почтенным домовладельцем, бароном Фредериксом, и генералом Броневским. Кареты были очень кстати, потому что шел сильный дождь и ехать на лире или на гитаре значило бы подвергать крайней опасности от грязи белые штаны с золотым позументом.

Государь принял нас после обедни в небольшой зале наверху. Была порядочная теснота. Меня поставили возле князя Урусова, исполняющего должность обер-прокурора синода, и мы тут же познакомились. Невдалеке от меня стоял и Ребиндер.

Государь вышел в половине первого. Он был в белом мундире и в брюках с желтыми лампасами. Одних он удостоил улыбкою, других только поклоном, а с иными сказал несколько слов. Ребиндеру он сказал:

— Благодарю за прошедшее и надеюсь на будущее. Наконец дошла очередь и до меня.

— Благодарю вас, — сказал он и мне с приветливою улыбкою. — Занимаетесь вы вашим трудом?

— Занимаюсь, ваше величество, — отвечал я.

— Как скоро вы надеетесь кончить?

— Я надеюсь летними месяцами кончить план, а с нового года можно будет начать самое издание.

Он с новою улыбкою поклонился и обратился к другим. Минут в пять государь обошел весь круг и раскланялся со всеми.

Из дворца я заехал к моему старому знакомому Цылову, который теперь состоит полицеймейстером в Царском Селе, а от него уже отправился на железную дорогу. Оставалось еще полчаса до отхода машины. Мы соединились с Ребиндером и поехали обратно.

Сегодня был большой выход, и потому во дворце собралась толпа гражданских и военных чинов, особенно много военных. Лентами хоть мост мости. Смотря на этих людей, я еще раз пришел к заключению, как трудно в этих головах, под этими блестящими мундирами зародиться мысли об общественном благе, о котором если в эту минуту здесь кто-нибудь думал, то один только государь. Им некогда заниматься серьезно этою мыслью; они все поглощены заботами о выставлении себя, о представлениях, выходах, о своих местах, лентах, мундирах и т.д. Нет, не отсюда, а из недр народа могут вытекать истины о нуждах его и слагаться мысли, как удовлетворять этим нуждам. Тем-то и хороша конституционная форма. Но надо, чтобы и народ созрел для нее. Иначе представители черт знает чего нагородят или перессорятся за то, чье мнение должно быть главным, и все-таки кончится тем, что решить должен будет один, старший.

Вечером провожал министра, который едет осматривать университеты. Он был очень серьезен.

11 мая 1859 года, понедельник

Французы и сардинцы немножко поколотили австрийцев, чему я сердечно радуюсь; зато мне целую ночь снилась Пруссия, будто она собрала войска свои и Германского союза, чтобы двинуться на Рейн. А ведь это может быть.

Вечером совет в университете и комиссия о приготовлении в университете учителей взамен тех, каких давал закрывшийся Педагогический институт. И это собрание походило на большинство наших собраний, которые представляют из себя нечто, похожее на жидовский кагал. Один хочет говорить и не хочет позволить этого другому, а как этот другой того же хочет и все хотят того же, то поднимается крик, от которого трещат уши, болит голова и от которого одно средство — бежать, что я на этот раз и сделал.

В совете был спор между Кавелиным и юридическим факультетом. Кавелину хочется определить в университет своего приятеля Утина, и для этого он предлагает учредить новую кафедру *всеобщей истории положительных законов.* Факультет ему доказывает, что этой науки нет, а Кавелин утверждает, что хотя и нет, но ей следует быть. Ему опять возражают, что из того, что следует быть, еще не следует то, что она есть. Он продолжает свое. Он ссылается на немецких и французских авторов, благоприятствующих, по его заявлению, защищаемой им кафедре. Ему доказывают, что он цитирует фальшиво и т.д. и т.д. А совет должен решить, кто прав, кто виноват. Надо, однако, сказать, что Кавелин как-то младенчески утопичен и либерален. Он принадлежит, впрочем, к числу тех либералов, которые хлопочут о свободе с тем, чтобы все были свободны от деспотизма того, другого, но не от деспотизма их самих. Этот последний они считают вполне законным и за свободу повиноваться ему они на все готовы.

14 мая 1859 года, четверг

Убежал на дачу в Павловск. Май удивительный! Главное, в нем нет никакого коварства, то есть он дает избыток тепла и света без всякого намека на неожиданные дуновения северного ветра. Прельщенные прелестями дня, вы выходите на прогулку в легком платье и не подвергаетесь опасности вернуться домой с насморком или ревматизмом.

19 мая 1859 года, вторник

Со среды до вторника провел на даче в объятиях прекрасного мая, который если чем Нехорош, то только тем, что слишком жарок. Поутру в тени градусов за двадцать. Вчера приехал я в город. Сегодня здесь надо заняться кое-какими служебными делами, или, лучше сказать, делишками. Завтра в Царское Село и уже оттуда домой в Павловск. Все работаю над проектом газеты, но в эти дни мало сделал. Приходил Гончаров проститься. Он едет за границу на четыре месяца. Счастливец. И свобода, и юг, и горы Шварцвальда, и Рейн!

От Дружинина письмо из Москвы: там, по его словам, все окончательно убедились в пользе моего поступления в Комитет.

Как избежать колебаний, происходящих от различных настроений духа? Держаться крепче за основную мысль и не обращать внимания на приливы и отливы внутренних ощущений. Крепкая воля состоит в том, чтобы *решительно решить* что-либо, а на остальное не обращать внимания.

Случалось, конечно, что я подавал повод к вражде; но чаще случалось, что мне оказывали неприязнь, спешили сделать мне гадость без всякого от меня повода. Но причина все-таки должна быть. Различие вкусов, мнений, положений — вот достаточные причины вражды между людьми. Все это, однако, ужасно мелко, ужасно нелепо!

Редко в борьбе и враждах люди возвышаются до идей общего добра, а чаще всего они прикрывают ими самые презренные, эгоистические побуждения, самые

маленькие страсти. Лицемерие и лживость самые обыкновенные, но и самые гнусные пороки человеческого сердца.

22 мая 1859 года, пятница

После вчерашнего сильного дождя и грозы холод. Вчера во время обеда было еще двадцать пять градусов тепла, а вечером восемь. Сегодня пять. Все оделись в теплое, в комнатах топят.

25 мая 1859 года, понедельник

Все эти дни сильный холод. Сегодня опять потеплело. В канцелярии министра финансов, куда приходил за некоторыми справками, нечаянно встретился с Катковым. Мы не видались четыре года. Он едет в Берлин к знаменитому врачу Треффе посоветоваться насчет своих глаз, которые у него очень слабы. Он не может читать. К сожалению, он завтра уже садится на пароход, и мы могли только вскользь кое о чем переговорить, отложив все прочее до его возвращения в сентябре. Получив в канцелярии министра бумагу для получения золота, он простился со мною, чтобы отправиться в казначейство.

Кстати о золоте. Его совсем нет в обращении и очень мало в казне; поэтому его с большим затруднением выдают едущим за границу; едущих же туда на нынешнее лето бесчисленное множество. Курс на наши деньги за границею страшно упал, и здесь золотой полуимпериал стоит 6 рублей 20 коп. и более.

В Петербурге были редкие случаи холеры.

29 мая 1859 года, пятница

То в городе, то в Павловске. Опять был дождь, опять гроза и опять холод.

Граф Кутузов умер от холеры, поев ботвиньи, когда уже до того был нездоров.

30 мая 1859 года, суббота

Странно и справедливо, что ничто столько не вводит в заблуждение людей, как *примеры*. “Так-то было тогда-то, так должно и может быть и теперь”, а между тем никогда вещи не бывают так, как были прежде. Мы обольщаемся аналогиею главных обстоятельств, а мир управляется мелочами, и общий закон есть не иное что, как общая сумма этих мелочей.

10 июня 1859 года, среда

Лето, кажется, небывалое в Петербурге. Роскошная теплота юга, умеряемая, но не парализуемая частыми дождями, которые сопровождаются довольно сильными по-здешнему грозами; богатая зелень, все прелестно! Я мало, однако, пользуюсь

этими прелестями, работая над моим делом. Я сижу у себя в кабинете до самого обеда, а вечером чувствую какую-то физическую усталость и не могу наслаждаться прогулкою. Дело, впрочем, подвигается вперед. Но сколько предстоит еще трудов и трудностей! Главное затруднение — где достать людей и довольно талантливых, и довольно благородных, и довольно благоразумных, которые поняли бы, что среди современных стремлений можно и должно, не склонясь ни в ту, ни в другую сторону, твердо стоять на почве собственных бескорыстных убеждений; что нам еще рано думать о радикальных переворотах; что много хорошего еще возможно на постепенном пути к ним, что наша безалаберность и политическая незрелость еще не в состоянии теперь же, сейчас, вынести полного разрыва с сильною, сосредоточенною властью? А не найдя таких людей, можно ли выполнить и мой план?

Часто одолевают меня такие сомнения, что я почти готов бываю лишиться бодрости. К счастью, эти часы искушения и упадка духа проходят, и я снова проникаюсь энергиею, готовый все исполнить, несмотря на шаткость и неуверенность успеха.

Не будь пороков, страстей, заблуждений и бедствий — из чего же бы состояла история человечества?

11 июня 1859 года, четверг

В городе. После академического заседания я остался в Петербурге и часов в шесть отправился на Черную речку к Марку Николаевичу Любощинскому. Там нашел Зарудного и Шубина. От них как от служащих в Государственном совете узнал, что государь велел в несколько дней рассмотреть мой цензурный устав и не расходиться без этого даже для каникул. Возможное ли это дело? И притом без министра народного просвещения, который теперь в отлучке. Совет не знает, что ему делать. Мне пришла идея — ехать к Муханову и сказать ему, что устав имеет связь с нашим комитетским делом и что, пока не кончено последнее, нельзя рассматривать первый. Зарудный и Шубин одобрили эту мысль.

Я действительно был у Муханова. Он обещал воспользоваться этою мыслью и между тем напомнить государю об обещании Ковалевскому, когда тот уезжал, до его возвращения не рассматривать устава.

А что побудило к такой скорости? Вернадский в своей газете, в смеси, между разными слухами, напечатал будто *Клейнмихелю хотят воздвигнуть памятник*. Это, говорят, взволновало власть. Правду сказать, Вернадский поступил как школьник: не следовало дразнить цензуру. Но, в сущности, что же тут ужасного и стоило ли из-за этого подвергать опасности, скомкать такое важное дело, как цензурный устав?

Я называющей цензурный устав, но так ли это? Он проходил через многие руки и, между прочим, через руки таких людей, как, например, Берте, правитель канцелярии Главного управления цензуры, — и каждый из этих господ считал долгом своим оставить на нем следы своих рук. Можно себе представить, каким чистым в заключение вышел он! А министр не имел, кажется, твердости действовать как должно. Вот от каких людей и обстоятельств зависит у нас решение

важных государственных вопросов.

12 июня 1859 года, пятница

Случайно сегодня на музыке встретился с Мухановым. Он мне говорил, что сильно хлопочет о том, чтобы устав о цензуре не был рассмотрен в Государственном совете до возвращения Ковалевского, и что есть надежда успеть в этом.

Ребиндер мне говорил, что Муханов вообще вовсе не так дурен, как о нем толкуют; что он доступен хорошим идеям и хотя неглубоко, но понимает вещи. Иной раз и мне начинает так казаться.

15 июня 1859 года

Получено по телеграфу известие, что австрийцы снова разбиты, и страшно разбиты, в генеральном сражении французо-сардинцами. Говорят, легло страшное множество людей с обеих сторон.

19 июня 1859 года, пятница

Заседание Комитета в Царском Селе. Нас было только трое: граф Адлерберг, Муханов и я. Тимашев в отпуску. Положено было приступить к чтению моего проекта, который почти кончен. Чтение действительно начато. И вот я опять наткнулся на замечания, которых уже больше не ожидал, например: что общественного мнения у нас нет, да едва ли оно и возможно; что толки, какие мы ежедневно слышим и читаем в журналах, не составляют его, и т.д. Это говорил граф Адлерберг. Ему возражал Муханов и, надо сказать, довольно умно и удачно. Откуда набрался этих понятий граф — не понимаю. Не в этом дело, что он невысокого мнения о нашем общественном мнении, а в том, что он в этот раз вообще обнаружил какое-то сопротивление, какую-то неприязнь ко всему мыслящему, чего я прежде в нем не замечал. Очевидно, это навеяно на нею каким-нибудь недавним событием. Всего важнее то, что тут надо подразумевать взгляд свыше.

Мы прочитали немного, а все рассуждали и спорили, так что из этого заседания ничего путного не вышло. Для меня, однако, оно было очень важно. Я вижу, что мне надо изменить мою тактику. Я думал действовать прямо, силою истины, но мы стоим не на одинаковой почве и надо маневрировать. Мне хотелось разъяснить им вещи, чтобы они пришли сами к известным убеждениям; теперь надо, чтобы они приняли их против воли. Они и примут их, если не захотят опустить руки и предоставить все судьбе.

Жаль! Они люди недурные, особенно граф Адлерберг, но до того замкнутые в кругу тесных придворных идей, что почти совершенно неспособны понимать то, что происходит на широком поле жизни, века и истории. Я, между прочим, сказал: “Положим, что все это так и что вы совершенно правы в вашем недоверии к общественному мнению. Но ведь то, на что вы теперь нападаете, уже не мнение только, не идея, а факт. И как этот факт есть сила в обществе, и сила значительная,

то вопрос уже не в том, хороша она или дурна, а в том, в какое отношение поставить себя к ней, как сделать, чтобы она была по возможности не только безвредна, но и полезна”.

Положено завтра продолжать чтение.

20 июня 1859 года, суббота

Прогресс, о котором ныне так много хлопочут, — чистая иллюзия. Но то несомненно, что непеременность состояний невозможна на земле, и люди всегда будут стремиться к чему-то, чего нет или чего еще не было, думая, что они идут вперед. В сущности, так называемый прогресс заключается в перемене состояний, в переходе из одного из них в другое, как скоро в первом истощено все, что в нем есть, и, наконец, в извлечении из множества зол каждого из состояний немножко добра, которое отличается от прежнего не количеством, а качеством.

Заседание наше сегодня не состоялось, потому что государь позвал к себе графа Адлерберга обедать.

4 июля 1859 года, суббота

Был в Петергофе, но заседания опять не было. Пробыл там до половины седьмого часа. Попробовал пообедать в трактире вокзала и получил за полтора рубля нечто очень плохое. Возвратился в Павловск в одиннадцать часов.

Итак, мир. Северная Италия полусвободна. Наполеон заключил его, никого не спросясь и без всяких посредничеств.

12 июля 1859 года, воскресенье

В Петергофе. Читал план газеты. Одобрен. Спор такой же, как и в прошлое заседание, о революционном направлении умов. Я всеми силами старался доказать, что такого направления на самом деле нет ни в нашей литературе, ни в нашем обществе; что у нас нет элементов для революции — их не выработала история; что если нам чего надо бояться, так это полного хаоса общественных отношений и администрации, и все-таки и это не произведет политического переворота, а разве только так, неурядицу, резню без определенной цели. Но до хаоса следует и должно не допустить.

Обедал у графа Адлерберга.

17июля 1859 года, пятница

Еду в Москву недели на две.

18—22 сентября 1859 года

В Москве. В субботу, 23-го, я возвратился из Москвы. Зачем туда ездил? Что там делал? Цель поездки была, во-первых, отдохнуть от беспрерывной умственной работы вдали от вызывающих ее обстоятельств. Во-вторых, я имел также намерение проехать оттуда в Муром к брату, который хотел приехать за мною в Москву. Мне очень хотелось видеться с братом. Кроме того, я хотел посмотреть на московских литераторов и сделать маленькую рекогносцировку, нельзя ли кого приобрести в сотрудники для будущей газеты. Ничто из этою не достигнуто. Брат в Москву не приехал: вероятно, он не получил моего письма. Литераторов летом в Москве мало, а те, которых я видел случайно, к делу не относятся. Москва показалась мне какою-то грязноватою, пустынною и скучноватою. Если бы не мысль, что авось подъедет брат, я уже на третий день уехал бы назад. Единственный день, проведенный мною приятно, был с моим милым Шором в Петровско-Разумовском, куда я ездил к нему в среду.

Ультралибералы и не подозревают, какие они сами деспоты и тираны: как эти желают, чтобы никто не смел шагу сделать без их ведома или противу их воли, так и они желают, чтобы никто не осмеливался думать иначе, чем они думают. А из всех тираний самая ужасная — тирания мысли. Почему такой-то господин считает себя вправе думать, что только тот способ служить делу человечества хорош, который он предлагает, и что все, мыслящие не так, как он, должны быть прокляты?

Я желал бы быть понят друзьями нашего так называемого прогресса как следует; желал бы, чтобы они отдали и мне справедливость. Но если это невозможно, то мне остается идти своею дорогою, опираясь на свою совесть, и в ней одной искать вознаграждения за мои чистые и бескорыстные труды для той же великой общественной пользы, к которой, по-видимому, и они стремятся.

“В дому отца моего обители мнози суть”.

Я полагаю, что если мысль наша и литература должны по роковой необходимости стать в открытую вражду с правительством, то теперь еще не пришло к тому время.

Между деятелями или вождями нашего общества лежит бездна, которая всегда будет мешать их соединению для общих интересов. Бездна эта — самолюбие. Мелочность наша и незрелость обнаруживаются и в том, что никто не старается судить друг друга беспристрастно. Никто не хочет признать заслуг другого, если они состоялись не по той методе или не тем способом, какие он считает лучшими.

Каждый из так называемых передовых людей говорит другому: “Иди по моей дороге и иди за мною. Проклят ты, если изберешь другую или пойдешь впереди сам”.

Если правительство имеет благие намерения — помочь ему. Если не имеет — всегда время уйти.

Государь в личном со мною объяснении высказал такие благие и прекрасные намерения, что это решительно возбудило во мне надежды. Но если, окруженный людьми ограниченными и своекорыстными, он обманет мои ожидания, я по крайней мере останусь чист перед своею совестью: она не станет упрекать меня ни в малодушии, ни в нерадивости. Я до конца пройду путь, который считаю правым.

Главное, у меня нет помощников. Так называемые передовые умы наши до того враждебны правительству, что и на меня даже смотрят холодно — не потому, говорят они, чтобы сомневались в чистоте моих намерений, а потому, что я будто бы содействую задержке кризиса.

Но в конце концов, господа, чего же хотите вы достигнуть? Каких ближайших результатов? Революции? Без участия народа? Но такие революции глупы и безнравственны!

Редакционный комитет из нескольких литераторов и других компетентных лиц и с ним слить Комитет книгопечатания.

27 сентября 1859 года

Переехал с дачи 12-го, в пятницу. Весь август прошел в занятиях по Комитету книгопечатания. С той поры, как я высказал и постоянно поддерживал мысль, что Комитет есть ошибка, он ничего не делал. Он выслушал только часть моего проекта о газете. Муханов беспрерывно порывался к проявлению силы Комитета по цензуре, которая, по его мнению, допускала и допускает страшные послабления в литературе. Но как граф Адлерберг и Тимашев отвечали на эту рьяность молчанием, а я повторял, что нам тут нечего делать, то слова Муханова пропадали в воздухе бесплодно, и он обращался к рассказыванию анекдотов и пр. Наконец бездействие его утомило, и в одном из заседаний он горячо выразил мысль, что нам ничего не остается делать, как слиться с министерством народного просвещения. Этого только я и ждал. Вся моя стратегия к этому и вела. Но я не хотел от себя высказывать этой мысли. Мне хотелось, чтобы эту меру, вследствие очевидной необходимости, предложил кто-нибудь из членов. Так и случилось. Теперь я употребил всю мою диалектику, чтобы поддержать это благое намерение, и в следующее же заседание прочитал уже приготовленный мною проект превращения Комитета в Главное управление цензуры под председательством министра народного просвещения. Он одобрен, прочитан последнему, снова одобрен, сегодня, 27 числа, я везу его к Тимашеву для представления государю через графа Адлерберга.

В заседания Главного управления допущены цензора и литераторы. Я крепко боялся, что это встретит сопротивление, особенно допущение литераторов. Но я заранее меру эту оградил такими доводами и причинами, что сопротивления не было.

Весь август меня преследовали головные боли, являвшиеся каждый день после работы. Приходилось подчас оставлять письменный стол и ходить: это несколько облегчало тяжесть в голове.

28 сентября 1859 года

Тимашев спешил в Царское Село, где государыне должен представляться Шамиль, и потому бумаг мы не отправили государю.

Был у Позена. Туда приезжал киевский губернский предводитель дворянства.

Оба они в сильнейшем негодовании на крестьянский комитет, который отвергает их предложения. Сколько я мог понять из их разговоров, они хотели бы обязать крестьян к большому денежному вознаграждению за землю, чего комитет не хочет. Они жалуются на то, что в комитете преобладает элемент бюрократический, что их призвали не для того, чтобы выслушать их мнения и совещаться с ними, а чтобы требовать их безусловного согласия на заранее заготовленную программу, и пр.

Говорят, депутаты намекнули на что-то, похожее на конституцию. Но государь очень спокойно отвечал, что они собраны для того, чтобы рассуждать о крестьянском вопросе, и должны заниматься этим, а не посторонними делами, которые до них не касаются.

Говорят также, что в первом совещании Главного крестьянского комитета, где присутствовал государь, князь Орлов выразил опасения, что освобождение крестьян может навести на мысль о конституции, и что государь сказал:

— Что ж, если это точно будет желание России и если она к этому созрела, — я готов!

29 сентября 1859 года

Может быть, на Комитет наш могут быть возложены какие-нибудь другие обязанности — только не в отношении цензуры, потому что его исключительная роль по отношению к ней, по смыслу нашего же проекта, кончилась. Дело все в том-то и состояло, чтобы цензуру централизировать и освободить от всякого в нее вмешательства сторонней власти.

Началом нового проекта принято: централизация и сближение цензурной власти со своими агентами и литераторами. Сказать: потребность в централизации была так очевидна, что вы сами первые предложили мысль о соединении Комитета с Главным управлением цензуры.

Согласие министра на проект было необходимо, иначе не могла состояться централизация.

Что Комитет лишается всякой возможности действовать. И что самостоятельно он существовать не может — это с первой до последней строчки говорится в проекте. В нем только нет фразы: *он закрывается* — и это потому только, что Комитету было неловко ее произнести самому себе. Но больше всякой фразы сущность новой организации это говорит.

Перемена ветра. Министр меня позвал и с великим негодованием и прискорбием мне объявил, что Муханов вовсе не думает об ослаблении или прекращении действий Комитета.

30 сентября 1859 года

Был у министра. Есть точка соглашения, на нее указал Тимашев. Министр ничего против этого не имеет. Всю бурю воздвиг Муханов. Он не хочет, по-

видимому, никак признаться в негодности Комитета, который есть отчасти и его создание.

Все злоупотребления нашей печати вместе взятые не сделали столько вреда, как употребленное против них это средство. Лекарство хуже болезни. Я уверен, что Муханов будет настаивать на изменении редакции проекта как слишком резкой. В нем слишком сильно говорится о невозможности существования Комитета в его настоящем виде, следовательно, он оскорбителен для его учредителей, между которыми главный, кажется, был Горчаков, министр иностранных дел, а с ним очень дружен Муханов.

Причины всякой отмены прежнего в проекте должны быть указаны ясно и точно. Иначе почему же бы предлагать эту отмену?

Уверены ли вы, что никто не станет восставать против новой меры, предлагаемой в проекте? А как отстранить это возражение, не объявив, *почему* настоящий Комитет не может существовать.

Не должно принимать таких мер: a) которые поссорили бы правительство с общественным мнением, b) которые, вместо здешней, усилили бы печать заграничную.

7 октября 1859 года

Муханов сделался кроток, как ягненок. Он теперь не прочь даже и от совершенного закрытия Комитета. Он говорил со мною об этом. Странный человек. В нем ни к чему нет ни заклятой ненависти, ни живой любви: он вертится, как ветряная мельница, по дуновению в данную минуту действующих на него мнений.

8 октября 1859 года

Я боялся, что захотят изменить редакцию проекта. В таком случае мне пришлось бы резко воспротивиться. К счастью, этого не произошло. Было предложено несколько мелких изменений, и на них я согласился без возражения.

Положено ждать графа Адлерберга и после общего совещания с министром прийти к окончательному решению.

Сегодня вечером читан был снова проект соединения Комитета с Главным управлением цензуры. Ему оставлена одна тень значения; и то, если министр немного понатужится, то может и совершенно его сломить, в чем, впрочем, кажется, нет особенной надобности: он окончательно будет обессилен.

Муханов и Тимашев сильно озлоблены против литературы, особенно против так называемой обличительной литературы, последними выходками ее. Они, кажется, расположены к самым жестким мерам. Муханов на мои возражения заметил, что во мне виден литератор, — впрочем, весьма любезно, шутя. Я отвечал ему, что я верю в то, что не Россия для литературы создана, а литература для России, и что так как это сила, призванная ей на службу, то надо, чтобы она действовала.

Вырывая плевелы, не должно уничтожать пшеницы.

Всякая революция нехороша, но нет ничего хуже, как революция ускоренная, преждевременная. Она опасна, как преждевременные роды.

У меня, может быть, не меньше ненависти к деспотизму, бесправию и всякому произволу, как у любого из красных, но они только ненавидят, а это мало — надо действовать. Действовать же по какому бы то ни было слепому чувству, хотя бы по ненависти ко злу, не значит действовать ни разумно, ни справедливо. Жизнь требует управления, и кто берет на себя роль деятеля, тот принимает на себя и ответственность за последствия.

17 *октября 1859 года*

Болен.

23 октября 1859 года, пятница

Полегче. Заседание у министра народного просвещения по делу о слиянии Комитета по делам печати с Главным управлением цензуры. Присутствовали: министр, Тимашев, граф Адлерберг и я. Важное дело слияния Комитета по делам книгопечатания с Главным управлением цензуры. Положено на днях поднести о том доклад государю. В записке, писанной для того мною, Комитет сам в точных и резких выражениях говорит не только о своей бесполезности, но и вредности.

Говорено у министра о новой драме Писемского, которую пропустил было Палаузов. Драма из крестьянского быта. В ней помещик соблазняет жену крестьянина, и последний, в порыве ярости, убивает первого. В настоящую минуту, когда крестьянский вопрос в самом разгаре, печатать эту драму найдено неблагоразумным. Но как драма действительно, говорят, хороша, то ее не следует запрещать, а только остановить на время.

Говорят, что по крестьянскому делу большие несогласия между комиссиею и депутатами. Последние, между прочим, будто бы явно стремятся к конституции.

26 октября 1859 года

Министр призывал к себе Писемского, очень хвалил его драму, дал слово пропустить ее, только спустя некоторое время.

Много толков о крестьянском деле. Пять депутатов подписали на имя государя бумагу, в которой просят о даровании открытого судопроизводства, о присяжных, о большей свободе печати и о праве, по которому дворянство могло бы представлять государю о своих нуждах. Говорят, государь принял эту бумагу благосклонно и обещал передать ее на рассмотрение Государственному совету. Но отчего же ее подписали пять депутатов из двадцати? (Слух неверен, — подписавшим этот адрес, напротив, ведено сделать строгий выговор. — Примечание в рукописи самого Никитенко.)

1 ноября 1859 года

Был поутру у доктора Н.Ф.Здекауера посоветоваться о своем здоровье, которое сильно пошаливает…

Сегодня же собрание главных учредителей Общества пособия нуждающимся литераторам у Ковалевского. Тут, по свойственной нам привычке, каждый хотел быть первым со своим мнением, из чего вышло много крику по пустякам. Положено всем собраться для открытия Общества и для выборов членов комитета 8 ноября. Мне поручено составить протокол этого собрания, чтобы потом передать его министру.

5 ноября 1859 года, четверг

В Царском Селе, у графа Адлерберга. Государь совершенно согласен с нашим проектом о слиянии Комитета с Главным управлением цензуры. Одного он не одобрил только: чтобы президент Академии наук был членом Главного управления.

8 ноября 1859 года, воскресенье

Открытие Общества пособия нуждающимся литераторам и ученым происходило в квартире министра народного просвещения. В собрании было человек пятьдесят. По прочтении параграфов устава, имеющих отношение к акту открытия и выбора членов комитета, общество провозглашено открытым и приступлено было к выбору этих членов. Выбран и я. Мне дали 20 голосов. Москва прислала 15, чего я вовсе не ожидал.

Потом комитет выбрал председателем Ковалевского, Егора Петровича; помощником его — Кавелина; секретарем — Галахова; казначеем — Краевского. Предложили лист, и затем было решено поблагодарить министра за его радушное участие в нашем деле. На меня возложили сказать ему приветствие.

Мы, то есть члены комитета, все отправились к министру, которому я и сказал от лица всех небольшое приветствие. Поговорив немного со всеми, министр при прощании оставил меня у себя, и здесь он рассказал мне, что происходило в четверговом заседании Совета министров по поводу цензурного проекта. Были сильные прения. Впрочем, слияние *“Бюро де ля пресс” с* Главным управлением цензуры не встретило сопротивления. Это дело, по-видимому, решенное.

Но вообще в ходе цензурно-литературных дел являются два неприятные обстоятельства. Во-первых, государь оказывается сильно нерасположенным к литературе. Все благородные, разумные и справедливые доводы министра в защиту ее, кажется, не произвели большого впечатления на ум его, предубежденный ревнителями молчания и безмыслия. Во-вторых, цензуру намереваются отделить от министерства народного просвещения. Это будет важная мера, но едва ли полезная самому правительству. Тут одно из двух; новая власть должна или прямо пойти против всякого движения, что опасно; или ничего нового не сделать — и тогда где

же и за кем останется победа?

Хуже всего то, что этим правительство совершенно отделится от мыслящей и просвещенной части общества. Отдав интересы ее под надзор полиции, какой бы то ни было, тайной или явной (министерство внутренних дел), оно тем прямо противопоставит ее себе. Тут уже не может быть и речи о соглашении, о разумном уравновешении. С одной стороны, лозунг: *держи, останавливай*, с другой — *прорывайся, обходи, ухищряйся, словом, действуй всеми средствами, позволенными и непозволенными.* Это весьма неудачное подражание французскому порядку.

Все зависит от системы, которую правительство избирает, и от последовательности и уменья, с которыми оно будет ей следовать.

Я полагаю возможным соединение в одном начале здравых и светлых умов, откуда бы они ни приходили.

15 ноября 1859 года, воскресенье

Большие толки об отделении цензуры от министерства народного просвещения. Я говорил графу Адлербергу мои мысли о политическом неудобстве этого отделения. “Впрочем, — прибавил я, — все дело в том, чтобы последовательно держаться каких-либо начал да не пугаться всякой статьи, несогласной с принятыми и утвердившимися понятиями. Цензура должна оберегать основной принцип нашего государственного строя; прочее принадлежит к обыкновенным процессам вырабатывающейся и развивающейся жизни”.

21 ноября 1859 года, суббота

Ездил в Царское Село к графу Адлербергу. Роль моя по Комитету книгопечатания кончена, и барон Корф набирает своих членов в новый главный комитет.

Корф ищет популярности. Может быть, не следовало бы с этого начинать, чтобы не пришлось потом поворотить оглобли.

22 ноября 1859 года, воскресенье

Очень тяжелое состояние головы. Сегодня мне даже сделалось дурно. Опять был за советом у Здекауера. От него поехал к Тимашеву.

Тимашев утвердительно пророчески говорит, что управление Корфа больше года не просуществует.

Корф сделал большую ошибку, разгласив между литераторами, что он будет следовать либеральной системе. Он, таким образом, возбудил надежды и притязания, которых сам не будет в состоянии выполнить. Тогда придется поворотить назад. Корф слишком поспешил добиваться популярности, а главная ошибка, что он показал свое желание ее добиваться.

Уже начинается коалиция против нового управления.

Причина отделения цензуры от министерства народного просвещения, ходят слухи, — сам министр. А за месяц перед этим вот что он мне говорил:

— Как Ковалевский, я могу желать отделаться от цензуры, потому что это тяжкое бремя. Но как гражданин, как русский, я всеми силами буду противодействовать всякому покушению отделить ее от министерства народного просвещения, потому что это может иметь пагубные следствия для литературы.

И между тем он же первый, говорят, в совете министров и предложил эту меру.

Дело в том, что оторванная от министерства народного просвещения цензура сделается добычею всякого искателя власти и влияния. Теперь уже многие зарятся на нее и затевают козни против Корфа, и нет ничего невозможного, чтобы пророчество Тимашева оправдалось. Тогда, чего доброго, цензура, пожалуй, угодит и в III отделение. Вообще она сделалась, более чем когда-либо, игралищем случайностей. Чем больше думаю, тем больше нахожу, что наш проект был самый разумный и наиболее сообразный с выгодами литературы и самого правительства.

24 ноября 1859 года, вторник

Болезнь моя продолжается. Я даже несколько дней не выхожу. Вчера писал ко мне барон Корф, прося меня к себе по делам службы. Я отвечал, что уже пятый день болезнь препятствует мне выходить из комнаты, но как скоро получу облегчение, буду иметь честь явиться к нему.

Министр зовет меня завтра к себе. Доктор позволяет завтра выехать.

27 ноября 1859 года, пятница

Все еще дурно идут дела моего здоровья. Теперь жду доктора, а там пущусь к министру и к Корфу.

Зачем звал меня Корф? Не понимаю! Не полагал ли он, что я буду просить его взять меня в новый цензурный комитет? В таком случае он ошибся. В заключение он просил меня повидаться с Тройницким (Александром Григорьевичем) для объяснений — каких, о чем? Покрыто мраком неизвестности.

От Корфа поехал к Адлербергу, который все время говорил о Корфе и его действиях. Граф хотел быть у него.

Министр объяснил мне, как произошло отделение цензуры от министерства народного просвещения. Это инициатива самого государя, а не внушение графа Строганова.

1860

3 февраля I860 года

С 27 ноября прошлого года не писал я моих заметок. Это один из самых тяжелых периодов моей жизни. Меня посетила тяжкая, серьезная болезнь. Я был под гнетом таких физических страданий, которые не раз приводили меня к мысли, что для меня уже все кончено, что еще один толчок, и я буду переброшен туда, откуда уже нет возврата и куда обыкновенно так не хочется идти всему живущему. Началось как будто с простуды, но по миновании последней потянулись бесконечные нити, обрывки которых и до сих пор меня опутывают. Слабость всего тела, соединенная с невыносимой тоской, преследовала меня днем, а ночью голова осаждалась толчками, каким-то странным перевиранием, подергиванием, какими-то приливами и отливами… Нравственное мое состояние доходило то до полного упадка воли и характера, то возвышалось до мужественной борьбы с природою. Мысль о смерти стояла передо мной неотступно. К этому присоединялись еще какие-то суеверные приметы, которые сильно меня тревожили. Очевидно, вся моя нервная система была потрясена. Так говорили и оба доктора — Вальц и Здекауер, которого призвали на совещание. Между тем неминуемой опасности в моем положении не находили. Однако полное восстановление сил врачи обещают только летом, при совершенном отсутствии всяких серьезных занятий. Надо ехать или за границу, или в деревню…

6 февраля 1860 года, суббота

Выздоровление мое плохо подвигается вперед. Я, конечно, чувствую себя лучше, чем месяц тому назад. Но пароксизмы слабости, особенно тоски, и головные неурядицы почти те же самые. Однако я понемногу приступаю к занятиям.

7 февраля 1860 года, воскресенье

Вчера был в заседании Главного управления цензуры и два часа выдержал хорошо. Но потом все-таки я попросил позволения удалиться, так как дела было много и заседание обещало затянуться. Я ходил в заседание и назад пешком. Мороз в 20R, но день прекрасный, тихий и светлый.

Странный, в самом деле, человек Чевкин. Он так свирепствует против литературы, что даже Панина далеко оставляет за собой. В последнем заседании Главного управления цензуры, например, читано было его отношение к министру с такими замечаниями на какую-то статью о железных дорогах, которые (то есть

замечания) всем членам до единого показались противными здравому смыслу, — каковы они и есть в действительности. Разумеется, их отвергли и положили представить государю, так как в законе сказано, что в случае разногласия управления с каким-либо министром оно просит разрешения у его величества.

Мое мнение о нераздробимости цензуры положено внести в общую записку.

Глухой Медем что-то толковал о неприкосновенности самодержавия. Его никто не слушал, так как он не слышал никого.

Вообще для литературы настала эпоха весьма неблагоприятная. Главное, государь сильно против нее вооружен.

Министр объяснялся со мной откровенно и выразил мысль, что в Главном управлении литература вряд ли найдет других защитников, кроме него самого, меня и Делянова.

Доклад министра государю о преобразовании цензуры с начала до конца не иное что, как умная и благородная апология литературы. Государь утвердил этот доклад, и он был прочитан в первом заседании как выражение принципа, которому цензура должна следовать. Нет сомнения, однако, что ему не последуют.

9 февраля 1860 года, вторник

Вот и билет на похороны Ростовцева, который умер в субботу в семь часов утра. Сегодня его хоронят. Государь сам закрыл ему глаза. Он, говорят, изъявил скорбь свою тяжкими рыданиями. Этою смертью глубоко опечалены все, кроме врагов освобождения крестьян. Конечно, это лучшее надгробное слово Ростовцеву.

Жизнь ценим мы высоко по инстинкту, который питает непреодолимое отвращение к смерти. Но должны ли мы ценить жизнь так по разуму? Неужели голос разума не должен иметь никакой силы в решениях, касающихся наших понятий, наших убеждений и взглядов? Если инстинкт имеет свои права, то имеет их и разум, который также составляет часть нашего существа. А что же говорит разум? Он говорит, что вещь, которой мы должны необходимо лишиться и которой можем лишиться ежеминутно, вещь столь преходящая и ненадежная, — не заслуживает цены, какую мы ей даем. Люди храбрые так обыкновенно о ней и думают. Трусы трепещут от одной мысли ее лишиться.

Но с разумом сообразно питать высокие верования в разумное домостроительство жизни, в божественное миро-управление и мирохранение. В таком случае еще меньше причин сокрушаться о жизни.

10 февраля 1860 года, среда

Невыразимо тяжки эти моменты неопределенной тоски, которые постоянно посещают меня во время моей болезни…

11 февраля 1860 года, четверг

Действительно, в жизни так много эфемерного и разочаровывающего, что давать ей высокую цену становится почти смешным в глазах рассудка. В самом деле, все люди с высшим призванием немного давали ей цены, так немного, что идею свою всегда ставили выше ее. Не значит ли это, однако, что кисел виноград? Нет, я по крайней мере нахожу, что в ней много прекрасного, особенно много прекрасного в деятельности мысли, в возвышенном и светлом воззрении на природу, в некоторых привязанностях сердца, в самом сознании, что живешь и действуешь. Но быстрота, с которой она все приносит и уносит, зыбкость и ненадежность почвы, на которой она движется, какая-то случайность ее даров и ее лишений делают ее чем-то очень похожим на мечту, на сновидение, даже на насмешку над нашими стремлениями, желаниями и надеждами, так что слишком серьезная к ней привязанность, излишние заботы о ней и страх ее потерять становятся в свою очередь чем-то смешным, малодушным, непростительным, по крайней мере для человека с умом и характером.

15 февраля 1860 года, понедельник

Сегодня я встал с головной болью, но в то же время чувствую какую-то особенную энергию в душе. Может быть, и это болезненное, нервическое состояние? Как бы то ни было, а это недурно. Назло этим преследованиям болезни я отправляюсь в заседание Главного управления цензуры к 12 часам. Так солдат, раненный в битве, перевязав кое-как свою рану, снова спешит на бой.

Все-таки не досидел до конца. В Главном управлении цензуры занимались не важными делами. Мне отдали для прочтения мнение Пржецлавского о гласности — такого свойства, по словам Делянова, что если ему последовать, сделается решительно невозможным в литературе какое-либо мнение о делах общественных. Вообще этот господин заявляет себя отъявленным поборником тьмы и безгласия.

Вечером пришел Марк Любошинский и сообщил мне Новость, что на место Ростовцева по крестьянскому делу назначен граф Панин. Это назначение поразило как громом всех друзей свободы и улучшений. Образ мыслей графа Панина известен. Он постоянно противодействовал всякому успеху умственному, вещественному, юридическому и вообще всякому. Его привыкли считать первым на поприще тьмы, безгласия, безнравия и прочих подобных прекрасных дел. Как же он будет вести себя там, где требуется именно все противное его прежним понятиям и деяниям?

Нельзя не признаться, что с Ростовцевым погибло для нас много прекрасного. Это общее убеждение. Враги добра и мысли, видимо, поднимают головы. Бедное мое отечество! Так шатки все благие начинания в тебе! Стоит сойти с поприща одному человеку, чтобы все опять отодвинулось назад.

17 февраля 1860 года, среда

Опыт вечернего выезда. Был в заседании Общества пособия нуждающимся литераторам до 10 часов. Опыт почти удался.

20 февраля 1860 года, суббота

Заседание в Главном управлении цензуры. Я выдержал его до конца хорошо и возвратился домой без особенной усталости. Говорил Пржецлавскому, что я совершенно несогласен с его *мнением о гласности*, которое в самом деле считаю неблагородным и неумным; но написано оно гладко. У меня с Пржецлавским завязался горячий спор, в котором принял участие и Делянов, разумеется, поддерживая меня. Но так как это пока было еще только частное прение, которое не повело бы ни к какому решению, то я прекратил его, объявив, однако, всему собранию, что представлю письменное возражение.

23 февраля 1860 года, вторник

Читал в первый раз после болезни лекцию в университете, то есть после трех месяцев, и я с некоторым страхом приступил к этому опыту. Дело обошлось, однако, хорошо: прочел лекцию довольно живо и без особенной усталости.

Вчера вечером, в 7 часов, был на публичной лекции Миллера, которую он читал о Шиллере. Потом я сделал Миллеру свои замечания, которыми он и обещал воспользоваться.

27 февраля 1860 года, суббота

Заседание в Главном управлении цензуры от 12 почти до 4 часов. Я храбро высидел его до конца, принимал участие в прениях, читал свой доклад, но домой вернулся усталый и с головной болью.

29 февраля I860 года, понедельник

И все-таки я не могу расстаться с мыслью, что среди всей этой страшной путаницы, неурядицы и бестолковщины человеческой жизни есть что-то *доброе, разумное, примиряющее и покоящееся на прочных основах* — и что это что-то заключается в едином, всеобъемлющем, всесовершенном существе, которое имеет и желание и власть исправлять недостатки и несовершенства вещей… Я не могу объяснить себе, как это возможно; но еще гораздо менее могу понять, как это может быть невозможным. Это, конечно, не ясное понятие, не аксиома разумного ведения — это только верование. Но верования так же нельзя выкинуть из экономии человеческой природы, как и мысли.

Бывают состояния человеческой жизни, когда человек совершенно лишается всякой возможности управлять своей судьбой, когда он блуждает во мраке, не зная, куда направить шаги свои и что ожидает его в двух шагах от него. Тут ничего более не остается, как отдать всего себя текущему мгновению, не удручая себя мыслью о будущем, которая становится мучительною, когда ее нельзя утвердить на основательном предположении или верной надежде.

Я теперь нахожусь точно в таком же положении, как человек, попавший под суд. Дело его тянется, а он все сидит в тюрьме и не знает, чем оно кончится, к чему его приговорят, или не простят ли его, вменив ему в наказание выдержанное им заключение и разные истязания, им уже претерпенные.

7 марта 1860 года, вторник

Болезни не прекращаются в моем доме. Как только поправится один член семьи, заболевает другой. Вся нынешняя зима досталась нам на то, чтобы отбиваться ежедневно от страданий. Особенно сильно напугал меня племянник, опасно болевший скарлатиной.

Так называемые радости суть призраки. Одни страдания серьезны и существенны.

В судьбе человеческой так много нелепого, или, лучше сказать, так все нелепо, что разум, желающий это объяснить, должен прийти в отчаяние. Вот почему необходимы верования, которые, конечно, не решают вопроса о человеке и не разъясняют ничего о нем, но делают ненужным это решение и изъяснение.

Из всего смешного в человеке самое смешное — гордость. Положим, что в отношении к способностям он превосходит все другие существа на земле. Но в отношении к своей судьбе чем же он выше какого-нибудь комара, которого каждое дуновение ветра может обратить в ничто?

3 марта 1860 года, четверг

Вчера вечером заседание в комитете Общества пособия нуждающимся литераторам. Спор с Кавелиным о способе выбора в члены. Я отвергал право комитета входить в разбирательство поведения и нравственности кандидатов, что превращает его в какую-то цензуру нравов. Кавелин защищал противное. Я требовал безмолвной подачи голосов. Наконец согласились, чтобы в случае сомнения отлагать баллотировку на следующее заседание. Так как мое мнение было таким образом принято, то я уже не читал заготовленной мною записки из чувства деликатности, может быть, и излишнего. Кавелин большой либерал: он допускает и проповедует докрасна свободу с правом беспрекословного повиновения его мнению.

4 марта 1860 года, пятница

У Чернышевского есть ум, дарование, но, к сожалению, то и другое затемнено у него крайнею нетерпимостью. Он, на беду себе, считает себя первым умником и публицистом в Европе.

Не распускайся в бесплодных жалобах о том, что есть, а лучше думай о том, как бы притупить по возможности жало того, что есть. Все-таки это лучше, чем усиливать зло усиленным ощущением его.

9 марта 1860 года, среда

Утром был у Адлерберга-старика. Говорено было о театральном комитете. Граф выразил сомнение в его пользе, а я защищал его, но соглашался с графом в необходимости произвести некоторые перемены в его составе, а главное — удалить от председательства С.П.Жихарева. Комитет необходимо от него освободить, так думает граф и намерен это сделать. Граф был очень приветлив и дружелюбен.

10 марта 1860 года, четверг

Мороз около 10R и сильный ветер. Вот начало нашей весны.

11 марта 1860 года, пятница

Доктора требуют, чтобы я непременно ехал за границу. Это мне мало улыбается. Я предпочел бы ехать в деревню, но врачи и слышать об этом не хотят.

13 марта 1860 года, воскресенье

Подал министру просьбу об увольнении меня за границу в отпуск на четыре месяца, с 15 мая по 15 сентября.

Министр был очень ласков и откровенен. Жалобы на неблагоприятные поступки Пржецлавского, который действует разными интригами в пользу своей записки против гласности, так как ему становится очевидным, что он встретит сильную оппозицию в Главном управлении.

14 марта 1860 года, понедельник

Поутру лекция в университете, вечером заседание в комитете Общества для пособия нуждающимся литераторам. Предложил оказать пособие семейству Талызина. Мне поручено навести справки.

15 марта 1860 года, вторник

В университете читал лекцию живо, успешно и без усталости. Оттуда ездил навести справки о Талызиных, чтобы в следующем заседании окончательно испросить им пенсион. Я действительно нашел их вполне заслуживающими покровительства Общества.

17 марта 1860 года, четверг

Вчера простился с благородным, добрым другом моим В.И.Барановским, который навсегда оставляет Петербург. Грустная, очень грустная разлука.

В молодости человек живет почти исключительно инстинктами, живет как

животное высшего разряда. В возрасте зрелом он начинает жить больше по разуму, самостоятельнее, человечнее. Но от этого он не живет счастливее.

19 марта 1860 года, суббота

Заседание в Главном управлении цензуры. У некоторых господ есть искусство возбуждать такие вопросы, которые, не быв возбуждены, прошли бы совершенно незамеченными, но которые, раз поднятые, уже требуют решения, а решения эти часто бывают стеснительными. Вот, например, в сегодняшнем заседании барон Медем возбудил один из таких вопросов. Между тем с ним объясняться нет никакой возможности: он так глух, что все, что можно, это только сказать ему несколько слов в трубу. И при этом он очень упрям.

Профессор Калмыков умер. Один из лучших наших ученых и благородный человек! Он долго и много страдал. Недели полторы тому назад ему отрезали ноги, чтобы остановить распространение какого-то сухого антонова огня. Это не спасло бедного. Он и мне был добрым, любящим товарищем.

24 марта 1860 года, четверг

С 12 часов до 4-х на экзамене в Аудиторском училище. Я не мог туда не поехать по старым воспоминаниям, хотя все эти дни мне опять сильнее нездоровилось.

Уметь воздерживаться от некоторых мыслей столь же необходимо, как уметь воздерживаться от вредных снедей и напитков.

Меня неотступно преследует мысль о ничтожестве человеческом, пропитанная горечью и иронией. Мысль эта всегда была мне присуща, но во время моей болезни особенно развилась. Как бы ни было в ней много справедливого, ей, однако, следует положить предел, потому что и она такое же ничтожество, как и все прочее в человеке. Не надо отнимать силы у инстинктов жизни.

Заседание в Главном управлении цензуры. Управление сегодня было решительно в свирепом расположении духа: оно присудило цензора Драшусова к увольнению от должности, а редактора “Светоча” Калиновского определило предать суду. Первый подвергся остракизму по докладу члена Тройницкого, который открыл многие его промахи в “Московском вестнике” и в “Развлечении”. Граф Адлерберг, Тимашев и Пржецлавский, особенно последний, требовали, чтобы бедный Драшусов был формально отрешен. Но я, Муханов и министр воспротивились этому, и по нашему настоянию решено было по крайней мере отнестись к председателю Московского цензурного комитета, чтобы он посоветовал Драшусову подать просьбу об отставке. Я сильно поспорил с Пржецлавским: этот господин дышит ненавистью ко всякой мысли и вообще к печати, и он предлагал самые жесткие меры. Его поддерживал Тимашев. Я сказал ему: “Не думайте действовать террором. Ни правительственный, ни другой какой террор никогда не приводили к добру”. Хуже всех Пржецлавский. Он, очевидно, добивается какого-то значения. А впрочем, черт его знает: он поляк и, может быть, хочет гадить и самому правительству, клоня его к предосудительной жесткости. После подвигов Огрызко

все кажется возможным.

27 марта 1860 года, воскресенье

В час собрание Общества для пособия литераторам. Прочитан был отчет, выбрано несколько новых членов, а потом мы, то есть члены комитета, пошли к фотографу Кучаеву, который просил у нас позволения снять с нас портреты в группе. Я противился этому. Мне вообще не нравится какое бы то ни было добивание популярности, показывание себя, что составляет одну из болезней нашего времени. Но на этот раз я не мог без обиды товарищам уклониться, как я уже не раз уклонялся в подобных случаях, от изображения меня между академиками, между литераторами, чтобы портрет мой не торчал в окнах магазинов.

Вчера был публичный диспут между профессорами Костомаровым и Погодиным. Один защищал происхождение Руси из Литвы (Жмуди), другой — из Скандинавии. Диспут происходил в большой университетской зале, и народу собралось великое множество. Студенты разражались неистовыми рукоплесканиями, преимущественно в честь Костомарова.

Какая в этом споре животворная истина? Никакой. Но тут было зрелище, и толпа собралась. Нехорошо, что брали с нее деньги. Положим, что это в пользу нуждающихся студентов. Но, право, нехорошо *штуками* возбуждать общественную благотворительность в их пользу, да еще в стенах университета. Говорят, хорошо, что публика делается участницей умственных интересов. Да разве это участие в умственных интересах? Тут просто зрелище, своего рода упражнение в эквилибристике. По поводу этого диспута князь Вяземский разрешился следующей удачной остротой: “Прежде мы не знали, *куда* идем, а теперь не знаем и *откуда”*.

Вчера министр мне объявил, что государь согласен на мой отпуск. Кроме того, министр хлопочет о выдаче мне пособия.

28 марта 1860 года, понедельник

Заседание в комитете Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Просил о назначении пенсии дочерям Талызина в 250 рублей, не менее. Комитет утвердил это.

Кавелина можно определить следующими словами: это милый, способный, но взбалмошный юноша. Странно, как распределяются природою способности у людей! Кавелин, бесспорно, очень даровитый человек, а между тем в уме его чего-то не хватает. Он часто судит ни здраво, ни точно. Он вечно увлекается, но не столько страстностью своей натуры, сколько неспособностью останавливаться и углубляться в вещи. Он гордится, по-видимому, тем, что не отстает от времени, а между тем не замечает, что ветер времени гонит его, как щепку, и бросает со стороны в сторону. Ему непременно хочется быть первым между так называемыми передовыми нашими людьми — и он готов шуметь, скакать, волноваться и волновать других, чтобы только его заметили. Кавелину, подобно многим из наших передовых людей, кажется, что он подвизается единственно за истину, за право, за свободу, — а он

подвизается в то же время, и чуть ли не больше всего, за свою популярность. Мы крайне незрелы во многом еще, особенно незрелы характером. Нас беспрестанно увлекают чужие примеры. Нам мешают спать репутации героев европейской истории. Мы чувствуем в себе потребность служить отечеству, но не столько заботимся о том, чтобы действительно для него что-нибудь сделать, сколько о том, чтобы казаться сделавшими. Обидно, что на такие размышления наводят даже люди, подобные Кавелину, — богато одаренные природой, но не вырабатывающие в себе характера.

29 марта I860 года, вторник

Лет пять или шесть тому назад Гончаров прочитал Тургеневу план своего романа (“Художник”). Когда последний напечатал свое “Дворянское гнездо”, то Гончаров заметил в некоторых местах сходство с тем, что было у него в программе его романа; в нем родилось подозрение, что Тургенев заимствовал у него эти места, о чем он и объявил автору “Дворянского гнезда”. На это Тургенев отвечал ему письмом, что он, конечно, не думал заимствовать у него что-нибудь умышленно; но как некоторые подробности сделали на него глубокое впечатление, то немудрено, что они могли у него повториться бессознательно в его повести. Это добродушное признание сделалось поводом большой истории. В подозрительном, жестком, себялюбивом и вместе лукавом характере Гончарова закрепилась мысль, что Тургенев с намерением заимствовал у него чуть не все или по крайней мере главное, что он обокрал его.

Об этом он с горечью говорил некоторым литераторам, также мне. Я старался ему доказать, что если Тургенев и заимствовал у него что-нибудь, то его это не должно столько огорчать, — таланты их так различны, что никому в голову не придет называть одного из них подражателем другого, и когда роман Гончарова выйдет в свет, то, конечно, его не упрекнут в этом. В нынешнем году вышла повесть Тургенева “Накануне”. Взглянув на нее предубежденными уже очами, Гончаров нашел и в ней сходство со своей программой и решительно взбесился. Он написал Тургеневу ироническое странное письмо, которое этот оставил без внимания.

Встретясь на днях с Дудышкиным и узнав от него, что он идет обедать к Тургеневу, он грубо и злобно сказал ему: “Скажите Тургеневу, что он обеды задает на мои деньги” (Тургенев получил за свою повесть от “Русского вестника” 4000 руб.). Дудышкин, видя человека, решительно потерявшего голову, должен был бы поступить осторожнее; но он буквально передал слова Гончарова Тургеневу. Разумеется, это должно было в последнем переполнить меру терпения. Тургенев написал Гончарову весьма серьезное письмо, назвал его слова клеветой и требовал объяснения в присутствии избранных обоими доверенных лиц; в противном случае угрожал ему дуэлью. .Впрочем, это не была какая-нибудь *фатская* угроза, а последнее слово умного, мягкого, но жестоко оскорбленного человека.

По соглашению обоюдному, избраны были посредниками и свидетелями при предстоящем объяснении: Анненков, Дружинин, Дудышкин и я. Сегодня в час пополудни и происходило это знаменитое объяснение. Тургенев был видимо

взволнован, однако весьма ясно, просто и без малейших порывов гнева, хотя не без прискорбия, изложил весь ход дела, на что Гончаров отвечал как-то смутно и неудовлетворительно. Приводимые им места сходства в повести “Накануне” и в своей программе мало убеждали в его пользу, так что победа явно склонилась на сторону Тургенева, и оказалось, что Гончаров был увлечен, как он сам выразился, своим мнительным характером и преувеличил вещи. Затем Тургенев объявил, что всякие дружественные отношения между им и г. Гончаровым отныне прекращены, и удалился.

Самое важное, чего мы боялись, это были слова Гончарова, переданные Дудышкиным; но как Гончаров признал их сам за нелепые и сказанные без намерения и не в том смысле, какой можно в них видеть, ради одной шутки, впрочем, по его собственному признанию, неделикатной и грубой, а Дудышкин выразил, что он не был уполномочен сказавшим их передать Тургеневу, то мы торжественно провозгласили слова эти как бы не существовавшими, чем самый важный casus belli [повод к раздорам] был отстранен. Вообще надобно признаться, что мой друг Иван Александрович в этой истории играл роль не очень завидную; он показал себя каким-то раздражительным, крайне необстоятельным и грубым человеком, тогда как Тургенев вообще, особенно во время этого объяснения, без сомнения для него тягостного, вел себя с большим достоинством, тактом, изяществом и какой-то особенной грацией, свойственной людям порядочным высоко образованного общества.

30 марта 1860 года, среда

Получил официальную бумагу от министра об увольнении меня в отпуск за границу на четыре месяца для излечения болезни и с выдачею мне пособия взамен жалованья, высчитываемого по Главному управлению цензуры и по университету.

31 марта 1860 года, четверг

Справлялся по почте о пароходах. Расписание рейсов еще не сделано, к 7 апреля оно будет готово.

3 апреля 1860 года, воскресенье, день Пасхи

Во всю мою жизнь я, может быть, раз пять, и то по независящим от меня причинам, не присутствовал на заутрене и обедне этого праздника. Я люблю эту величественную драму-мистерию, темою которой служит отрадная, глубокая идея возрождения. Самая торжественность и пышность этой драмы, какими облекает ее наша церковь, вполне соответствует значению идеи. Одно меня только часто приводило в негодование — это небрежность, с какою она большею частью разыгрывается в наших церквах. Попы, что называется, отхватывают заутреню и обедню, искажая их торопливым безучастным исполнением. Присутствующие заодно с ними не знают, кажется, как дождаться конца. Никто не одушевлен, не проникнут истинною, великою поэзиею этого священнодействия, в котором под

изящными символами дух человеческий отыскивает и приветствует свою будущность, затерянную в бурных тревогах и превратностях существующего порядка вещей.

На этот раз я побоялся ехать в церковь: меня пугала страшная духота в ней и выход на холод, где, еще полубольной, я легко мог встретиться с простудой, которая уж очень не ладит с идеей жизни, так радостно звучащей в словах: “Христос воскресе!”. Моя семья отправилась в церковь без меня, а я остался дома с Гебгардтом старшим и встретил праздник чтением в евангелии величественно-простодушного повествования о том, как воскрес Христос.

4 апреля 1860 года, понедельник

Нельзя обязывать людей ни к чему более того, что мы сами в состоянии сделать. Никто не бывает совершенен, даже из тех, которые требуют совершенства от других.

5 апреля I860 года, вторник

Был кое у кого с визитами. Вечером в семь часов гулял пешком около часу; время превосходное. Весь март был довольно хорош, а особенно последние дни его и первые апрельские залиты сиянием солнца. Тепла от 4 до 6R. Я с трудом хожу в моей шубе, которую доктор не велел скидывать до вскрытия Невы.

7 апреля 1860 года, четверг

День тихий и теплый. Нева прошла. Вечером, около пяти часов, была значительная гроза и дождь.

Я записался в почтамте на пароход “Владимир” в Штеттин на 14 мая. Итак, это решено: отсюда все колебания и нерешимости прочь.

9 апреля 1860 года, суббота

Мы вздумали переменить 14 число на 7-е. Я получил и билеты, уже только не на “Владимир”, а на “Орел”. За четыре с половиною места во втором разряде и за одно в третьем я заплатил 190 руб. 75 коп.

10 апреля 1860 года, воскресенье

Отец мой обыкновенно говаривал при какой-нибудь новой неожиданной беде: “Это для того, чтобы ни один род бедствий не оставался для меня чуждым”. Действительно это была какая-то его привилегия. Я могу сказать то же о себе, начиная с прошлого ноября месяца. Все это время болезни, одна тяжеле другой, не переводились в моей семье. Бремя страданий постоянно перекладывалось в ней с одних плеч на другие. Разумеется, глупо говорить тут о судьбе или о чем-нибудь

подобном. Все это игра случайностей, проистекающая из нищеты нашей природы и условий жизни, среди которых она зыблется.

13 апреля 1860 года, среда

Сегодня в первый раз вздохнул полегче: моим больным лучше.

Надо отличать в людях пороки темперамента от пороков, проистекающих из нашего высокого мнения о самих себе, от пороков, порождаемых умственным высокомерием. Люди, одержимые первыми, заслуживают сожаления; но вторые невольно возбуждают чувство отвращения или, скорее, презрения.

Говорят, что энергия всегда совпадает с самонадеянностью: силе свойственно впадать в преувеличения. Неужели энергия должна уменьшаться по мере того, как человек начинает приобретать более зрелые и верные понятия о самом себе, о людях, о мире. и об отношениях своих к ним? Неужели же сила исключает истину? Мне кажется, что это скорее недостаток человеческого образования, чем закон.

14 апреля 1860 года, четверг

Спектакль в пользу Общества для пособия нуждающимся литераторам. Игран был “Ревизор”. Писемский играл городничего. Пьеса шла неблистательно, но денег собрано много. Все места почти были заняты. Мы, члены комитета, распоряжались спектаклем как хозяева. Я пробыл там до 11 часов и возвратился домой, не почувствовав усталости, несмотря на то, что почти все время пробыл на ногах.

Спектакль посетил великий князь Константин Николаевич. Там встретился со мной Павлов и разразился ужасными жалобами на председателя московской цензуры Щербинина.

16 апреля 1860 года, суббота

Заседание в Главном управлении цензуры. У меня разбаливаться начала от него голова, потому что оно продолжалось с 12 часов до 4-х. Важного, впрочем, ничего не было. Граф Адлерберг приехал поздно, но все-таки нашел довольно времени, чтобы напасть с ожесточением на некоторые фразы из читаемых статей. С недавнего времени он выражает самые претительные мысли, что считают за отголосок мнений государя.

21 апреля 1860 года, четверг

Вечером у Ребиндера. Там был один из депутатов по крестьянскому делу и Струговщиков. Первый рассказывал странные вещи о графе Панине и его деяниях по комитету, между прочим о том, как граф сделал рисунок для стола, за которым должны заседать члены, считая это весьма важным делом. С другим у меня завязался спор о достоинствах некоторого лица. Струговщиков обыкновенно вдохновляется кем-нибудь из самых ярых либералов — в данную минуту

Кокоревым, у которого занимает деньги и, вероятно, потому считает его величайшим гением русской земли. Я, однакож, поступил нехорошо, вдаваясь слишком серьезно в прения с человеком, которому в сущности нет дела до настоящего смысла и значения вещей,

Надо действовать так, чтобы правительство само помогало реформам, потому что без помощи его мы не можем их делать, но вместо того мы его дразним — и для чего? Для того, что нашему самолюбию приятно выставлять себя единственными виновниками всего хорошего.

22 апреля 1860 года, пятница

Экзамен IV Курса в университете. Вечером был в спектакле, который давался в пользу нашего Общества.

23 апреля 1860 года, суббота

До сегодняшнего дня погода весь апрель стояла прекрасная. Вчера еще было светло, хотя довольно холодно, а сегодня мокрый снег с дождем и всего три с половиной*R* тепла.

Большой раут у Егора Петровича Кавалевского. Тут было несколько министров: А.М.Горчаков, министр народного просвещения, министр финансов, несколько литераторов, дам и пр. Делалось, что обыкновенно делается на этих вечерах, — разговаривали, друг другу кадили, ели сласти, пили чай. Я возвратился домой часов в двенадцать, пешком. Гончаров довел меня до Литейной.

Талейран говорил, что слово дано нам, чтобы скрывать наши мысли. К этому можно прибавить, что ум дан нам, кажется, для того, чтобы нас обманывать.

Я вышел из рядов народа. Я плебей с головы до ног. Но я не допускаю мысли, что хорошо бы дать народу власть. На земле не может быть ни всеобщего довольства, ни всеобщего образования, ни всеобщей добродетели. Из многих всегда будут выделяться некоторые с перевесом того, чего недостает другим. Массе никогда не будет доставать тех элементов, которые делают власть справедливою, мудрою, просвещенною, — и она по необходимости или употребит ее во зло, или передаст ее в руки одного и, таким образом, неизбежно приведет к деспотизму. Народ должен быть управляем, а не управлять. Но он должен иметь право предъявлять свои нужды, указывать правительству на пороки и злоупотребления тех лиц, которые поставлены для охранения и исполнения законов. Но изобретать меры и постановлять решения он не должен: ему для этого недостает ни времени, ни просвещения. Однако из этого вовсе не следует, чтобы я признавал первенство за аристократией. Немногие или некоторые, которые занимаются делами управления, должны получать власть по праву избрания, а не по праву привилегий или каких-либо других случайностей, и никому из народа не должен быть прегражден путь к власти, если он достоин ее по своим дарованиям и образованию.

30 апреля 1860 года, суббота

Взял вчера паспорта за границу.

Если вы раздражаетесь, то откажитесь от претензий руководить и управлять другими.

Заседание в Главном управлении цензуры. Жаркие прения по поводу статьи Арсеньева о необходимости гласного судопроизводства. Пржецлавский, разумеется, был против этой статьи, с ним заодно Берте. Но все прочие были за напечатание статьи, не исключая Тимашева и Муханова.

1 мая 1860 года, воскресенье

Холод. Прощальные визиты графу Блудову, Княжевичу, Делянову и Муханову.

2 мая 1860 года, понедельник

Отвратительный холод, так что я раскаивался, что не надел сегодня шубы. Вот приятный спутник собирающимся в путь-дорогу, особенно морем. Меня пугают холодом, советуют взять шубы. Поутру неприятный, как холод, экзамен в Римско-католической академии. Вечером заседание в комитете для пособия нуждающимся литераторам. Бездна хлопот перед отъездом.

6 мая 1860 года, пятница

Сборы, суматоха и скука. И все это делается без доверия к будущему и с досадою, зачем делается. Я предпочел бы, например, поездку в деревню, что меньше стоило бы и денег, и времени, и усилий.

Но полно. Мужество состоит в том, чтобы уже не колебаться, ступив на путь. Итак, вперед, по крайней мере с решимостью и свободою духа, если не с доверием к судьбе. Между прочим, вчера случилась некоторая неприятность: из мешка с золотом, которое приготовлено для дороги и разложено в пачках, мы не досчитываемся пачки с 20 полуимпериалами. Есть сильный повод подозревать лакея Осипа, но настоящих улик нет, да и некогда делать разыскания. Приходится забыть эту потерю, хотя 20 полуимпериалов для меня не пустая вещь. Надо утешать себя и тем, что бездельник, присвоивший эту сумму, мог бы присвоить и гораздо больше и посадить меня, как говорится, совсем на мель.

А теперь, листки эти, ступайте в портфель до Берлина.

7 мая 1860 года, суббота

В час мы на Английской набережной простились с провожавшими нас знакомыми и отправились в Кронштадт, где на рейде пересели на пароход “Прусский Орел”, на котором и должны плыть в Штеттин. В шесть часов вечера пароход снялся с якоря, и мы понеслись по волнам Финского залива. Погода была

прекрасная и сопровождала нас до самого Штеттина. На другой день, то есть в воскресенье, я уже мог любоваться величественным зрелищем открытого беспредельного моря. Зрелище действительно величественное — без всякого излишества, восторгов и сентиментальностей. Море слегка рябило волнами, и только под колесами парохода оно сердито шумело, слегка вздувалось и рассыпалось серебристой пеной. Ветер был противный, и поэтому мы шли на парах. Иногда он, по-видимому, переменял направление, и тогда тотчас ставили паруса.

Я с семейством большею частью сидел за кормою, где мы были защищены от ветра. С нами ехал Гончаров. Вообще общество на пароходе было порядочное. Мы не замедлили сблизиться с генералом Ф.Г.Шульманом и его женой и с премилою дамою А.В.Вилламовою. Пароход хорошо устроен. Все на нем опрятно и порядочно. Одно только дурно: на него было принято много сверхкомплектных пассажиров, и оттого в общей каюте стояла ужасная теснота, особенно во время обеда и ночью, когда все сверхкомплектные собирались сюда. Спать им предоставлялось где попало. Иные успевали захватить себе место на диване, остальные располагались на полу, чуть не друг на друге. Койки все до одной были заняты. Мне досталась койка внизу, а семья моя заняла весь небольшой уголок на женской половине.

Не обходилось и без комических сцен. Один пожилой немец никак не мог помириться с своим сверхкомплектным положением и самым бесцеремонным образом забирался в первую койку, хозяин которой еще не успевал в нее улечься. Но вот хозяин возвращается и, ничего не подозревая, собирается занять свое ложе, а оно уже занято, и на него оттуда выглядывает чья-то умильно улыбающаяся рожа, и чья-то голова в ночном колпаке приветливо ему кивает. Нет возможности не рассмеяться; он так и делает. А злополучный сверхкомплектный пассажир при первом же требовании настоящего хозяина койки беспрекословно, с изысканной любезностью уступает ему место и идет дальше искать другое, еще незанятое, ложе. Повторяется та же сцена — и так в течение всей ночи. Я прозвал этого пассажира кукушкой и с любопытством следил за невозмутимо-добродушным упорством, с каким он посягал на чужие места и которое не изменило ему до самого Штеттина.

Обед подавался в три часа и очень хороший.

Первые места отличались от наших вторых прекрасно устроенною галерееею на палубе, куда сходились обедать пассажиры обоих классов. Сперва теснота наших кают и койки, висящие по сторонам как птичьи гнезда, сделали на меня неприятное впечатление, но я скоро к этому привык.

В понедельник к вечеру, когда мы поровнялись с островом Гогландом, начало покачивать. Многих из дам и мужчин также немедленно укачало. Но мы храбро держались. Я не испытывал ни малейшего неприятного ощущения, напротив, был бодр, весел и так здоров, как уже давно себя не чувствовал. Ночь с понедельника я почти всю провел на палубе, где трудно было ходить от качки.

В шесть часов утра во вторник мы были уже в Свинемюнде, а в девять и в Штеттине. В Свинемюнде нас на пароходе осматривали таможенные — весьма учтиво и без придирок. Мы объявили, что везем с собой несколько фунтов чаю, за что и заплатили ничтожную пошлину. В Штеттине мы пробыли до двух часов, а в

четыре приехали в Берлин.

Дорога от Штеттина до Берлина по однообразной равнине, но мимо часто мелькают деревушки. Переезд из Померании в Бранденбургию заметен тем, что местность вдруг становится скучнее, песчанее и Лесистее.

13 мая 1860 года, пятница

Ездили с А.В.Вилламовою и Ф.Г.Шульманом в Потсдам, где вторично осматривали то, что видели уже в 1857 году. В Сансуси на этот раз успели только заглянуть, а во дворце совсем не были, потому что там живет сумасшедший король.

15 мая 1860 года, воскресенье

Поутру был у Фрерикса, знаменитого берлинского доктора. Он прочитал историю моей болезни, изложенную Вальцем, исследовал меня сам, потом сказал, что болезнь моя — расстройство нервной системы и печени. Вальц отлично меня пользовал, и он, Фрерикс, решительно ничего не имеет прибавить, а советует, как и Вальц, сначала ехать в Киссинген, потом отдыхать в Альпийских горах и в заключение купаться в море.

Вечером прогулка в Шарлоттенбург. Длинная аллея с хорошенькими домиками в Тиргартене привела нас к дворцу, где мы немного погуляли в саду. Был сильный холод с дождем.

16 мая 1860 года, понедельник

В семь часов утра оставили Берлин и в двенадцать прибыли в Дрезден. Остановились в отеле “Франкфурт”, рекомендованном нам Гончаровым, который уже тут нас дожидался. Отель не роскошный, но хозяин очень усердный и услужливый. Придется остаться тут, пока приищем квартиру для детей.

17 мая 1860 года, вторник

Погода ужасная. Беспрерывный дождь с таким холодным, пронзительным ветром, какой и в Петербурге редко бывает в мае.

19 мая 1860 года, четверг

Ездили в Пильниц к госпоже Бульмеринг, чтобы посоветоваться с нею насчет пребывания моей семьи в Дрездене на время моей поездки в Киссинген и в Швейцарию. Туда ехали мы по правому берегу Эльбы, среди богатых нив, сквозь почти непрерывный ряд деревенек, а оттуда возвращались левым подгорным берегом. Что за прелестные места — сады, парки, рощи, скаты гор, деревеньки, дачи! Путь наш окончился Шиллеровою улицею с великолепной каштановой аллеею, врезывающеюся в самый город. Посреди улицы статуя Шиллера, против

того домика, где он жил со своим другом Вернером. Тут был и центр торжества, происходившего в прошлом году в честь Шиллера.

22 мая I860 года, воскресенье

Дни проводим в приискании квартиры и прогулках по городу с Гончаровым, который одержим неистовою страстью бродить по городу и покупать в магазинах разные ненужные вещи. Мы перепробовали с ним сигары почти во всех здешних лучших сигарных магазинах.

Чаще всего бываем мы на Брюлевской террасе.

На днях ходили в галерею, где я снова наслаждался созерцанием Сикстинской мадонны.

Сегодня ездили за город в Вальдшлесхен. Чудесные виды. Везде по случаю праздничного дня толпы гуляющего и отдыхающего народа, но все чинно, прилично.

23 мая 1860 года, понедельник

Прогулка в Тарант со всей семьей и с Гончаровым в коляске. От самого Дрездена начинается ряд деревень и непрерывно тянется до самого Таранта. Местность, сперва лишь слегка холмистая, вдруг принимает вид горного ущелья, напоминающего виды Саксонской Швейцарии. Самый Тарант прижат в углу к горам. Тут же утес, на котором с одной стороны расположена церковь, а с другой возвышаются развалины какого-то старинного здания, — все это чудо-прекрасно! Резвый поток огибает с одной стороны уголок, где приютилась гостиница, и образует из него маленький полуостров. Уголок этот так свеж, уютен и мил, что невольно призывает в нем отдохнуть. Так мы и сделали; спросили земляники, молока. К обеду вернулись в Дрезден.

Недаром все путешественники твердят о Таранте и ездят им любоваться. Это одна из приятнейших прогулок в окрестностях Дрездена. Я, к сожалению, мало мог наслаждаться, так как весь день очень дурно себя чувствовал.

Виделся с доктором Вальтером — здешним медицинским светилом. Главная цель моего настоящего свидания с ним было совещание о здоровье детей, которых здесь оставляю. Мое намерение поселить их в Пильнице Вальтер не одобрил, говоря, что Эльба там не так удобна для купанья, как в Дрездене, пониже или немного повыше моста. Обо мне он повторил то же, что говорили Фрерикс и Вальц.

26 мая 1860 года, четверг

Переехали на квартиру, которую наняли в Прагерштрассе для детей на время моего отсутствия из Дрездена. Квартира очень миленькая, на конце новой улицы, и расположена так, что находится недалеко от центра города, но в то же время стоит только завернуть за угол налево, как выходишь в поле и в двадцать минут ходьбы достигаешь Гросгартена. В квартире три чистенькие, светлые комнатки в нижнем

этаже (по-здешнему партер), кухня, садик, вся мебель, белье столовое и на четыре постели, вся посуда — хозяйские. И за это 25 талеров в месяц. Дом N 16.

31 мая 1860 года, вторник

Выехал в Киссинген вместе с женою. Гончаров ехал с нами до Плауена, откуда направился в Мариенбад.

1 июня 1860 года, среда

Через Лейпциг и Гоф доехали мы по железной дороге до Швейнфурта. Оттуда в мальпосте продолжали путь до Киссингена. Дорога пролегает по живописной местности. В Киссинген мы приехали в семь часов вечера и остановились в “Отеле Сотье”.

7 июня 1860 года, вторник

Киссинген прелестное местечко. Сегодня после обеда ездили вместе с Шульманами в Боклет, на расстоянии часа езды отсюда. Там тоже минеральный источник, но другого свойства. Место это очень живописно, хотя во многом уступает Киссингену. А посещается оно куда меньше последнего: в настоящее время в нем пребывают и пользуются водами всего семнадцать человек. Мы погуляли там с час, а на возвратном пути нас застиг дождь.

Поутру был у меня граф Апраксин и принес мне последний номер “Колокола”. В этом номере мало остроумия и правда сильно перемешана с ложью.

8 июня 1860 года, среда

Перед обедом сделали сегодня прелестнейшую прогулку к развалинам замка Боденлаубе, на высокой горе вправо от Киссингена. Туда ведет дорожка, довольно отлогая, по здешнему обыкновению обсаженная грушами и яблонями. На ней местами встречаются скамейки, так что можно без малейшего утомления добраться до вершины горы. У подошвы второго выступа ее стоит опрятный домик с садиком — это ресторан. Обогнув его и миновав этот выступ, мы скоро взошли на самую вершину горы, где некогда, говорят, красовался величественный замок. Но теперь тут торчат только грубые каменные обломки, по виду которых трудно определить их первоначальное назначение. Но виды отсюда очаровательны. Все противоположные высоты тут как на ладони, и между ними чистенький, миловидный Киссинген лежит весь напоказ, точно в корзине зелени и цветов. Взор далеко обнимает беспредельный горизонт, испещренный холмами, лесами, богатыми нивами, виноградниками. Все здесь прекрасно; все производит впечатление довольства и благосостояния.

День хотя серенький, но теплый и без дождя.

12 июня 1860 года, воскресенье

После обеда гуляли на ближайшей горе, где в настоящее время на самой вершине рядом с баварским развевается виртембергский флаг в честь королевы виртембергской, которая теперь в Киссингене. Вся эта возвышенность не иное что, как прекрасный парк с отлогими извилистыми дорожками, беседками и скамьями для отдыха гуляющих. Со всех сторон очаровательные виды. Мы обошли всю гору, останавливаясь для отдыха на лучших местах и любуясь живописною местностью и прелестным вечером. В семь часов мы спустились в кургауз, где еще послушали хорошей музыки. Тут было очень тесно. Наехало много новых лиц. Вообще здесь заметен постоянный прилив и отлив их. Они быстро сменяются, как в пестром калейдоскопе. Между прочими познакомился с очень интересным лицом, с бывшим нашим посланником в Константинополе, А.П.Бутеневым.

13 июня 1860 года, понедельник

После обеда отправились к развалинам замка Боденлаубе. Было еще довольно жарко, и мы с некоторым трудом, два раза отдыхая, добрались до ресторана у подошвы скалы с развалинами. Здесь отдохнули и отправились обратно по гребню соседней горы к так называемой Голгофе. С этого гребня виден весь Киссинген: долина, по которой извивается шаловливая Саала, каштановая аллея и группы деревьев, среди которых она мелькает, окрестные горы, покрытые лесом с разными оттенками зелени, — все это составляет великолепный ландшафт, обнимаемый одним взглядом. Мы углубились в небольшой сосновый лесок, и нам представились: налево — небольшая часовня, а направо — высокий пьедестал с распятием и скульптурными изображениями лиц, присутствовавших при последних страданиях и кончине Христа. Отсюда дорожка ведет вниз по крутому скату, и с одной стороны ее, в равном друг от друга расстоянии, каменные ниши с скульптурными изображениями разных моментов скорбного пути Иисуса. Надо сказать правду, изображения эти так грубо исполнены, что производят очень неприятное впечатление. Но вот и конец лесу, и последний спуск в долину, к дороге, ведущей в какую-то деревеньку. Что за восхитительный сельский вид открывается здесь на поля и золотистые нивы с обещаниями богатейшей жатвы. Над полями там и сям взвивались жаворонки и наполняли воздух неумолкаемым пением, а иногда слышался и крик моего земляка перепела., Я присел на камень и долго любовался этою мирною, прекрасною картиною, стараясь, однако, обегать взором грубые изображения Христовых страстей.

15 июня 1860 года, среда

Читал русские газеты. Мало хорошего. Плутовство и бестолковость наших акционерных обществ; пустота дачных увеселений и т.д.

Письма из Дрездена: слава Богу, там все благополучно. Но дурные вести оттуда же от Ребиндера. Жена его быстрыми шагами идет к могиле. Уже послали за священником в Берлин. Жаль мне бедного Ребиндера! Зло предвидено давно, но оно ничем не лучше неожиданного. Это только другая вариация той же темы.

16 июня 1860 года, четверг

Вечером, часов около девяти, иллюминация кургауза и фейерверк по случаю завтрашних именин королевы виртембергской (Паулины), которая пользуется здешними водами. Иллюминация при тихом и хорошем вечере была недурна, а фейерверк даже очень хорош.

17 июня 1860 года, пятница

Все утро провел с графом Апраксиным, с которым мы как-то сошлись и часто бываем вместе. Он умен, но, по обыкновению наших аристократов, очень легко образован, на что и сам сильно жалуется и ропщет. У него было три гувернера один за другим, два француза и последний — немец. От них он научился курить, волочиться за женщинами; они не передавали ему даже грамматического знания своих языков. Затем он поступил в Пажеский корпус, где тоже не многому научился. Теперь он старается пополнить недостатки своего образования основательным чтением, читает много и серьезные вещи, но чувствует, что под ним нет твердой почвы. Жаль! В этом человеке много элементов, из которых могло бы образоваться что-нибудь очень хорошее. Ум его наклонен к серьезному, дельному, но ему недостает твердых опор. В нем много стремлений к благородной, широкой деятельности. Но за что и как приняться? — он не знает. Его взгляд на самого себя и на современное поколение довольно верен, хотя неутешителен.

Вечером был, по обыкновению, в кургаузе. Завел несколько новых знакомств, и в том числе с вице-президентом с.-петербургской медицинской академии, Иваном Тимофеевичем Глебовым. Все время шел дождь. Но показались две радуги, и одна такая великолепная, какую я редко видел. Я долго любовался ею на лугу за Саалою, прикрывшись зонтиком. Но холодный, северный ветер — родной сын, если не брат, нашего петербургского — прогнал меня домой.

18 июня 1860 года, суббота

В кургаузе видел замечательно неприятную физиономию: она принадлежит герцогу Фридриху-Вильгельму Гессен-Кассельскому, известному немецкому реакционеру. На лице так и отпечатаны надутое высокомерие, тупость и злость. От него решительно пахнет Неаполем, Бурбонами и пыткою.

25 июня 1860 года, суббота

Ездили к развалинам замка Тримберг, на расстоянии часа с четвертью езды от Киссингена. Развалины замка очень живописны, но еще живописнее долина, расстилающаяся у подошвы гор, на одной из которых был построен замок. Мы исходили все углы развалин.

Верующая простота невежества в неизбежных скорбях находит свои утешения.

Высший ум, может быть не без основания отрицая их, неужели же так и осужден не иметь их? Нет, для него также должны быть свои верования, потому что его логика оказывается бессильною, а нельзя же, чтобы он оставался без всего в самых тяжких обстоятельствах, оставался с одним мрачным, безвыходным отрицанием, потому что в конце концов и он же что-нибудь значит. И если эти верования не более, как инстинкты нашей разумной природы, то следует предаться и им. Инстинкты как выражение самого закона и силы вещей благонадежнее и жизненнее наших умозаключений.

6 июля 1860 года, среда

Собираемся ехать из Киссингена. Зашел поутру в кургауз. Толпа новых лиц. Новое поколение ищущих исцеления сменило старое. По-прежнему доктора, стоя под деревьями, исповедуют подходящих к ним по очереди своих пациентов. По-прежнему толпятся сотни людей около источников Ракоци и Пандура, протягивая руки к стаканам с целебною влагою. По-прежнему гремит музыка, как будто в знак веселья, а в сущности.— это чистая ложь, потому что каждому тут не до веселья. Я встретил некоторых знакомых: по-прежнему те же разговоры, как проведена ночь, сколько кто принял ванн и сколько еще остается принять, и т.д.

По-прежнему в аллеях мелькают женщины в необъятных кринолинах. Тщетно думаете вы уловить на их лицах черту действительной грации, прелести: это большею частью или изнуренные страданиями лица, или с поддельным цветом молодости и красоты. Все ложь. Мне стало досадно и грустно. Я поспешил в поле и вышел на голгофскую дорогу.

Вот где прекрасное, истинно прекрасное! Нивы покрыты богатою жатвою; яблони, груши и вишневые деревья обременены плодами. Везде пестреют цветы, жужжат насекомые, перекликаются птички, раздается звонкая песнь жаворонка. Крестьянка несет в корзине сочную траву. Волы тянут высоко нагруженный сеном воз. Все здесь говорит о вечной гармонии природы, о невозмутимой радости, довольстве, о благоуспешном благородном труде. Воздух тепел и чист. На горизонте ходят тучки, обещая дождь, который еще больше все оживотворит.

Вот я и уезжаю из Киссингена, а о восстановлении здоровья еще и помину нет. Хочу еще остановиться в Вюрцбурге и, по совету И.Т.Глебова, повидаться с знаменитым тамошним врачом Бамбергом.

В Киссингене мы наняли коляску за семь гульденов и в ней доехали до Швейнфурта к двум часам, выехав в одиннадцать. Дорога приятная. День теплый, хотя с маленьким дождем.

Из Швейнфурта до Вюрцбурга всего час езды. Остановились в отеле “Кронпринц”. Вечером виделся с Бамбергом. Советует ехать не к морю, купанье в котором он полагает для меня слишком сильным, а в Ишль и принимать там речные ванны — салины. Он привел меня в колебание, но я, по зрелом размышлении, в заключение решился не изменять первоначальному плану.

Ездили в коляске по городу. Он тесен, с узкими улицами и очень населен.

Статуи на мосту, исправительное заведение для женщин, госпиталь, дворец с садом, в котором мы прошлись несколько с попавшимся нам одним русским.

7 июля 1860 года, четверг

В половине десятого выехали из Вюрцбурга, а в два часа были во Франкфурте. Остановились в отеле “Англетер”.

8 июля 1860 года, пятница

Сегодня ездил в Соден. Встретился там с Шульманом и с милым М.И.Сухомлиновым. С последним мы горячо обнялись. День проведен в прогулках по полям и рощам Содена. Жена Сухомлинова очень милая молоденькая женщина и отличная музыкантша. Живут они в хорошеньком уютном домике.

9 июля 1860 года, суббота

Ночь провели в Содене, а утром, распростившись с Шульманом и Сухомлиновым, в дилижансе уехали на станцию железной дороги. Сухомлинов особенно горячо встретил и проводил меня, и я душою отдохнул в беседе с ним.

Возвратясь во Франкфурт, мы вечером посетили еще зоологический сад, где было гулянье с весьма порядочною военною музыкою. Сад очень хорош, хотя невелик. Большое собрание птиц, между которыми особенно замечательны водяные птицы тропических стран; четыре прекрасных страуса; много крохотных премиленьких пичужек. Прекрасен вид с террасы на окрестности города. Гуляющих много. Но все просто, прилично, хотя и оживленно. Мы пробыли там до восьми часов. Заплатили за вход по флорину.

Но среди всего этого меня не покидает тоскливое расположение духа. Грустное воспоминание о детях, почти до слез, и горячее желание увидеть их. Опять раздумье: ехать ли в Швейцарию и не лучше ли возвратиться в Дрезден? Соблазн велик, и будь я здесь теперь один, сейчас бы махнул туда. В расположении духа, в каком я нахожусь, какую занимательность для меня будет иметь Швейцария и какая будет польза для здоровья?

10 июля I860 года, воскресенье

Осматривали город, заезжали в синагогу: это новое великолепное здание. Завернули в гнусную Иуденштрассе, этот остаток средневековых жилищ евреев.

Около шести часов выехали из Франкфурта по пути в Швейцарию.

12 июля 1860 года, вторник

Миновав Дармштадт, живописный Гейдельберг и патриархальный Оффенбах,

сегодня прибыли в Базель.

Местность до Гейдельберга непривлекательна, особенно около Дармштадта. Растительность какая-то хилая. Но от Гейдельберга начинаются живописные места: кудрявые Шварцвальдские горы, а внизу долина, простирающаяся далеко до Рейна и вдоль него. Растительность роскошная, сочная, особенно не доезжая Аппенвейера.

В Базеле остановились в “Отель дю Соваж”, который выбрали по совету печатного листка. Оказался плохим и дорогим. Все плохо: комната, обед, услуга.

Вообще, надо правду сказать, что в больших городах Европы часто поступают с путешественниками не очень-то добросовестно. В отелях часто берут за все втридорога, правда, прикрывая это вежливыми словами и улыбками. Везде проглядывает сухой эгоизм и жадность к прибыли.

Вообще честность строго соблюдается между согражданами, но о ней не думают в сношениях с иностранцами. Это объясняется очень просто. Тут каждый боится закона и общественного мнения — этих двух великих могуществ в западной цивилизации. Худо тому, кто в своем городе или селе изобличит себя в недобросовестности, против него восстанет вся масса. Но за чужеземца не стоит ни сила общественного мнения, ни сила закона: его можно обмануть, а пожалуй, и притеснить безнаказанно. Значит, уважение к правам других, честность, столь восхваляемая в Европе, особенно в Германии, происходят вовсе не от той высокой гуманности, которую в ней видят наши ультразападники, а единственно от утвердившихся взаимных отношений друг к другу. Конечно, и это хорошо, потому что членам такого общества обеспечивается безопасность. Но той цивилизации, где человек и все ему принадлежащее уважалось бы единственно по чувству человечности, Европа еще не достигла.

Осматривали город. Старинный собор с остатками средневековой древности; зала, где некогда заседала духовная конгрегация. За собором, с террасы, прекраснейший вид на Рейн.

В этих старинных городах чувствуешь себя придавленным и погребенным в громадах камней: так тесны улицы и сплошные здания.

13 июля 1860 года, среда

В половине первого мы были на дебаркадере по пути в Берн. Здешний вокзал решительно похож на сарай. Многочисленная толпа теснилась в нем и ждала звонка к отъезду в невыносимой духоте. Наконец двери отворились, и все побежали сломя голову занимать места в вагонах, которые оказались гораздо хуже немецких. Вообще Швейцария в отношении удобств и порядка на железных дорогах далеко уступает Германии.

Берн проехали, остановясь в нем всего на несколько минут. В Тун прибыли около трех часов. Из Туна на пароходе по Тунскому озеру плыли час до Интерлакена. Озеро со своими зелеными водами, обрамленное громадными горами, великолепно. В Интерлакене взяли коляску и приехали в отель “Обер”. Нам отвели премаленькую комнатку в хорошеньком настоящем швейцарском шале, по соседству

с главным зданием отеля, который в настоящую минуту переполнен. Прямо перед моими окнами — покрытая снегами Юнгфрау, а по соседству с ней, налево, — Шейнблате. Немножко правее из-за зелени выглядывает прелестный домик, где пьют сыворотку.

14 июля 1860 года, четверг

Поутру встал очень рано. Гулял около своего жилища, любуясь величественною Юнгфрау, блиставшею своими снегами в сиянии утреннего солнца, а на ребрах Щейнблате ходили облака. Несколько позже мы поднялись на соседнюю высоту и сели отдохнуть возле одного голландца, рисовавшего виды гор, и с ним немного побеседовали. Пошел прелестный, тихий, теплый дождик, который скоро прошел. Мы уселись на платформе, откуда чудесный вид на озеро и на деревню Интерлакен. Несколько девочек предлагали нам купить у них разные деревянные вещицы, но мы попросили их петь. Они спели нам премиленькую швейцарскую песнь, за что были награждены несколькими мелкими монетами. Мы не заметили, как подкралась новая туча и разразилась сильнейшим дождем с грозой. Один удар грома был особенно силен и величественным грохотом прокатился по горам. Мы с грехом пополам приютились в каком-то пустом здании, думая переждать дождик, долго ждали и все-таки вернулись домой под ливнем, мокрые и усталые.

18 июля I860 года, понедельник

Невыносимая погода. Небо, как в Петербурге, точно завешено тряпками. Холодно. Мелкий дождь сеет как сквозь сито — сеет, чтобы вырастить грязь. Горы приняли мрачный, суровый вид и закутались в дымчатые и беловатые облака. Юнгфрау на минуту обнажила свои передние белоснежные члены и опять, как будто застыдясь, прикрыла их непроницаемым облаком. Наслаждайся тут, как хочешь, Швейцарией!

19 июля 1860 года, вторник

Дождь продолжает лить ливнем, холод. Альп — как не бывало за облаками. Точно со всего света сбежались сюда тучи, чтобы вылить целое море воды на бедный Интерлакен. В Петербурге не бывает сквернее этого. Две добрые старушки англичанки, встречающиеся с нами в общей зале за чаем и обедом, приехавшие сюда, чтобы вздохнуть свободно и отдохнуть от лондонского дыма, — чуть не плачут с горя.

Под вечер дождь немного укротился. Стало тихо и не так холодно. Мы вышли на дорогу, которая ведет в домик, где пьют сыворотку. Вдали на противоположной стороне мелькали огоньки в домах, а в долине звучали колокола коров. Вдруг на скате одной из гор вспыхнул яркий огонь. Это зажгли костер в честь конституции Швейцарского союза, годовщина которой празднуется первого августа. Вслед за первым по ту сторону горы засверкал другой такой же огонь — и только на этот раз. Обыкновенно в этот день костры зажигаются в большом количестве на разных

высотах, и это должно производить великолепный эффект, но в настоящем году дурная погода помешала торжеству.

20 июля 1860 года, среда

Хорошее утро. Солнце льет свой свет на Юнгфрау, и она блестит радостно в своих снежных одеждах, как невеста, приготовляющаяся к венцу.

Под вечер сделали прогулку на гору, соседнюю с Юнгфрау. Дорога, опоясывающая эту гору, широка, удобна, и с нее во многих пунктах открываются восхитительные виды. Особенно хороша отсюда Юнгфрау. По направлению к ней идет узкое, невообразимо грозное ущелье, которое вдруг расползается в. прелестную зеленую долину с группою домиков, и она кажется улыбкою на лице гиганта. На заднем плане масса снежных вершин. Нам повстречалось несколько англичан, которые обменялись с нами вежливыми поклонами. Вечер был тихий и теплый. Порывался идти дождь, но останавливался, не решаясь нарушать прелести настоящей минуты. Еще мгновение — и дальние вершины вспыхнули последним сиянием потухающего дня. Одна цепь гор против заходящего солнца особенно прекрасна. Она горела фиолетовым огнем с самыми разнообразными оттенками, которые, постепенно погасая, наконец слились в одну синеву надвигающейся ночи. Внизу замелькали огоньки.

21 июля I860 года

Народонаселение в Интерлакене, по-видимому, не пользуется избытком и довольством. Бедность повсюду бросается в глаза. Жилища их — хижины, столь живописные на картинах и в декорациях, в действительности имеют печальный вид. Лица взрослых изнурены, а у детей почти все с каким-то идиотским выражением. Одежда мужчин и женщин состоит большею частью из тряпья в заплатах. Хотя цирюльник, который приходит меня брить, и говорит, что здесь такая мода, но это всегдашняя мода нищеты. Вообще сколько привлекательного здесь в природе, столько, напротив, оскорбительного для взгляда и чувства в массе жителей-поселян. Что-то тупое, грубое и жалкое на лицах большинства из них.

22 июля 1860 года, пятница

Здесь завязался процесс между содержателем отеля Фишером и квартировавшими у него тремя русскими — Веревкиным и братьями Губаревыми. Этот Фишер кормил их отвратительно и за все драл непомерные цены. Например, он взял с них шесть франков за переноску их вещей от него к Оберу, что составляет полверсты. Когда же они заметили ему о несообразности всего этого, он отвечал им очень грубо и, между прочим, сказал, что “бесчестно могут поступать только русские”. За эти-то, собственно, слова и начался процесс. Наши молодые люди принесли жалобу в суд и взяли адвоката.

Вчера было первое заседание суда по этому делу. Фишер должен был сознаться

во всем, в чем его обвиняли, хотя долго отпирался и увертывался мошеннически. Я познакомился с этими молодыми людьми, которые занимают теперь в отеле Обера соседние со мною комнаты: они вполне порядочные люди.

23 июля 1860 года, суббота

Опять дождь. Опять горы совершенно скрылись в облаках. Одно утешение остается — полное равнодушие к этим гадостям природы, так же как и к человеческим.

Но ведь природа как прямое несомненное бытие, как истина всегда изящна, с какой бы то ни было стороны и в каком бы то ни было отношении.

В самом деле, не глупо ли хмуриться, как это небо, на то, что день не прекрасен, что Альпы потонули в облаках и что дождь льет, как будто ему не было начала и не будет Конца?

Разве для того эти величественные Альпы возносят к небу свои снежные вершины и у подножия их расстилается богатая растительность; для того атмосфера наполняется разными испарениями; для того белая грудь Юнгфрау то сверкает в ярких лучах утреннего солнца, то прячется в облаках, — разве это и все другие бесчисленные чудеса и изменения природы делаются для того, чтобы человек находил это для себя приятным, хорошим и удобным? Да и сам он разве для того существует, чтобы существование свое находить счастливым? Вечная деятельность сил, не знающих иной цели, как действовать; вечная производительность, сменяющая одни явления другими по одним и тем же законам, но в бесконечно разнообразном изменении оттенков, степеней, частностей, — вот то, чему быть должно и что влечет за собою человека неотразимым могуществом и погружает его в волны, где он, немного поплескавшись и побарахтавшись, в силу того же всеобщего великого процесса жизни исчезает навсегда, как капля дождя, как атом паров.

А ты хмуришься, негодуешь: зачем дурна погода? Зачем льет дождь? Зачем Альпы прячутся от тебя за тучами? Не должен ли ты, напротив, как мыслящее существо, принимать это за выполнение всеобщего закона, за необходимость, за цепь явлений, в которой и ты служишь маленьким звеном?

Ужасно трудно человеческому эгоизму примириться с тем, что не служит прямо к его выгодам и удовольствиям. А между тем он должен же убедиться, что ничто так мало не входило и не входит в план всеобщего порядка вещей, как его выгоды и удовольствия.

Процесс наших русских с мошенником трактирщиком решен не в их пользу. Они подали на апелляцию в бернский суд.

24 июля 1860 года, воскресенье

Долго любовался сегодня с Малого Рюгена чудною Юнгфрау, которая блестит по-праздничному. Все путешественники за нею волочатся. Обрадовавшись перерыву

в дурной погоде, они гурьбою высыпали на нее смотреть.

Поразительная противоположность: глубокая зима на вершине Юнгфрау, а по бокам ее и по скатам других Альп роскошная летняя зелень. Снега почти врезываются в нее.

После полудня мы отправились в Лаутербруннен вместе с В.П.Валуа, Н.А.Добролюбовым (сотрудник “Современника”) и еще одним русским гвардейским офицером. Дорога ведет в ущелье между Абенбергом и Брейтлау к Юнгфрау, которая из моего окна кажется на расстоянии всего двух верст, не более. На самом же деле к ней надо ехать верст тридцать. Ущелье извивается между гигантскими гранитными скалами самых разнообразных и величественных форм. На дне его бежит, яростно скачет, шумит и пенится небольшой поток Лучина. Мы вторглись, так сказать, в самую середину Альп и наслаждались видами, которых описать, конечно, нет никакой, возможности. Но вот издали, вправо, показался Штаубах, который с подоблачной высоты несется вниз по черному граниту и, разбиваясь о него, обращается в одну серебряную пыль. За ним другой водопад, а прямо впереди белая Юнгфрау, которая, несмотря на проеханное расстояние, кажется все такою же отдаленною, как из моего окна. Мы оставили коляску у гостиницы и сами пошли к Штаубаху. По дороге встречный пастух затрубил в исполинский рог, звуки которого подхватило эхо и в бесконечных перекатах рассыпало по горам. Это была одна из самых приятных прогулок, тем более что ей благоприятствовал теплый и светлый день.

27 июля 1860 года, среда

Прелестная прогулка в ущелье около хребта Гардерберга. Хорошая проезжая дорога ведет по узкому карнизу хребта, огибая его все выше и выше. Внизу пропасть, а в ней кипит и бьется седой поток. На крутизнах противоположного хребта кое-где мелькают хижины на таких отвесных высотах, что, кажется, туда и козам не взобраться, не только что людям. Хижины эти имеют убогий вид, как и люди, их обитающие. Мы встретили одного старика, согбенного под тяжестью огромной охапки свежей травы и зеленых ветвей: это он нес продовольствие своим козам. Мы обменялись с ним несколькими словами. Я дал ему две сигары, и широкая улыбка расплылась по его старческому загрубелому лицу.

28 июля 1860 года, четверг

Совершенно неожиданно и с удовольствием встретил Срезневского, ехавшего с женой в Лаутербруннен. Он возвращается из Италии в Россию и заехал сюда только на один день.

Прогулка к Гисбаху. На пароходе час туда и столько же обратно. Чудесный день, и потому все англичане со своими леди и мисс бросились на прогулку. Пароход был переполнен. Гисбахский водопад принадлежит к тем чудесам природы, которые можно описывать только статистически или географически, — передать же их красоты нечего и стараться. Он семью уступами низвергается со страшной высоты и

на каждом уступе образует как бы отдельный водопад. Мы поднялись очень высоко на платформу, где расположена гостиница и откуда лучший вид на Гисбах, то есть на его пятый уступ. Мы здесь отдохнули, позавтракали и направились к мостику, переброшенному через пятый уступ. Дорожка становилась труднее и труднее, то есть круче, ска-листее и более скользкою. Однако мы благополучно добрались до шестого мостика, но дальше я не пошел. Группа девушек на прощанье спела несколько швейцарских мелодий. В три часа мы вернулись на пароход и поехали обратно в Интерлакен.

29 июля 1860 года, пятница

Погода устала быть хорошей. Проливной дождь. Все тянет к скуке и наводит тоску.

31 июля 1860 года, воскресенье

Сегодня утро ясное. Мы едем в Гриндельвальд к глетчерам. Нас было довольно много, и мы разместились в трех колясках. Но не успели мы двинуться в путь, как клубы зловещих туч стали надвигаться из-за гор и быстро застилать все небо. Полил дождь и сопровождал нас до самого Гриндельвальда. Там, однако же, он укротился и дал нам время добраться до одного из глетчеров. Мы шли к нему долго по тяжелой и грязной тропинке. Нас сопровождал проводник. От ледяного грота веяло холодом. Здесь Альпы принимают какой-то особенно грозный, трагический характер. Два глетчера находятся в ущельях: один между Эгером и Шрекгорном, другой между Шрекгорном и Ветергорном.

Возвратный путь наш совершился тоже под проливным дождем. На мгновение только проглянуло солнце, вспыхнула радуга и перекинулась через Альпы, как орденская лента через плечо кавалера.

1 августа I860 года, понедельник

День ясный и приятный, хотя с прохладой. Вечером прогулка к Бриенскому озеру. Мы долго сидели на платформе, любуясь прекрасным видом на Интерлакен, и слушали швейцарские мелодии, доносившиеся сюда откуда-то издалека. Стало смеркаться. Огоньки засверкали в домах, а над Юнгфрау зажглась великолепная вечерняя звезда. Она горит прямо над господствующею вершиною этой горы, точно венчает ее девственную красоту. В траве сверкали светящиеся червячки. Милый, уютный Интерлакен был как яркими точками весь усеян огоньками. Семьи швейцарцев сидели у порога своих жилищ, отдыхая от дневных трудов. В эту минуту все здесь было тихо, мирно, отрадно. А вокруг в дремлющем немом величии стояли грозные Альпы, как бы оберегая долину от тревог и бурь всего остального мира.

3 августа 1860 года, среда

Грустно, очень грустно расставаться с Интерлакеном! Время, проведенное в нем, было для меня истинным отдыхом, несмотря на часто суровую погоду, которая многому мешала. Все сложилось здесь так, чтобы сделать пребывание наше особенно приятным: спокойное, уютное помещение, честные хозяева, недорогое, но весьма приличное содержание, общество людей образованных и, конец концов, самое важное — природа дивная, великолепная, словом — Альпы.

5 августа 1860 года, пятница

Сегодня покидаем Интерлакен. Прощай, прелестная, тихая, гостеприимная долина! В тебе провел я лучшие до сих пор дни моего заграничного скитания. Едем в два часа по Тунскому озеру в Тун, а там в Берн.

На Тунском озере нас преследовал проливной дождь со свирепым холодным ветром. Мы кое-как жались на палубе парохода под навесом, прикрываясь сбоку зонтиками. Многие из пассажиров удалились в каюту. Но мы храбро выдерживали борьбу со стихией и прибыли благополучно в Тун, где сели в поезд, отправляющийся в Берн.

С Интерлакеном мы простились как нельзя дружелюбнее. Отель “Обер” сделался мне как своим домом. В оба мои путешествия за границей я не находил убежища честнее, удобнее и приятнее. Сам Обер отличный хозяин. Все люди, от него зависящие, благословляют его и с своей стороны исполняют свои обязанности усердно, добросовестно. Внимание их к путешественникам редкое. Я простился с Обером, как со старым приятелем. Потом мы под проливным дождем заехали проститься с некоторыми из наших здешних добрых знакомцев. Я с грустью еще взглянул на Юнгфрау, на Рюген, на крутизны которого я еще вчера с таким удовольствием взбирался; на домик, где пьют сыворотку; на свой чистенький и миловидный шале: посмотрел еще раз на долину, которую в мрачном величии окружают исполинские Альпы, в этот день закутавшиеся в облака, — и потом, сев в коляску, сложил в сердце моем все воспоминания об этом очаровательном месте, чтобы питаться ими в скучные дни на нашем унылом и безотрадном севере.

Около пяти мы были в Берне и остановились в отеле “Корона”.

После обеда мы пошли в собор слушать орган, который считался наравне с Фрейбургским. Действительно, этот орган чудо искусства. Между прочим была сыграна оратория “Страшный суд” с такою силою и выразительностью, что невольный трепет пробегал по членам. Я в первую минуту был убежден, что слышу человеческие голоса великих артистов. Ничего не бывало: все это не что иное, как дудки, трубы, валы и валики, сделанные руками человеческими.

За обедом в Берне рад был неожиданно встретить Редкина с семейством. Он едет в Интерлакен дня на три, побывав уже в Люцерне и на Риги.

6 августа 1860 года, суббота

В Берне. Поехали осматривать город. Отдали визит представителям Бернского

кантона — медведям: их четыре. Республика содержит их на свой счет и очень хорошо.

Зашли на эспланаду возле собора. Удивительный вид на снежные Альпы, которые полукругом раскидываются на огромное пространство. Между ними красуется наша старая знакомка Юнгфрау. Вообще с этого пункта весь Берн и окрестности его видны отлично, и они прекрасны. Внизу эспланады в живописных берегах кипит речка.

Выехали из Берна около полудня, взяв билеты до Биеля. В Герцогенбуше переменили вагоны и миновали Золотурн. Слева тянутся Фрейбургские Альпы.

В Биеле нас пересадили на пароход, и мы по Невшательскому озеру плыли до Ланскроны, а оттуда опять в вагонах до Иевшателя. С нами ехал премилый и препочтенный старик, полковник швейцарской армии. Он нам сообщал разные сведения о местах, которые мы проезжали. Его имя Бонтон.

С озера чудесный вид на Фрейбургские Альпы слева, а справа на Юрские, обращенные к Франции.

Богатые виноградники по берегу Невшательского озера и по горным скатам.

Недалеко от Грансона знаменитое место, где Карл Смелый был разбит и убит швейцарцами в сражении, которое и названо Грансонским. Я очень хорошо заметил неровную покатость на берегу озера, где происходило сражение.

По приезде в Невшатель оказалось, что по милости бестолковых распоряжений на швейцарских дорогах наш чемодан и саквояж остались в Биеле. Мы объявили об этом начальнику бюро и теперь едем совершенно налегке в Лозанну. Одним словом, с нами повторилась та же история, что в Интерлакене с Шульманами. Миновав Ивердон и достигнув Лозанны, мы немедленно телеграфировали в Биель о высылке нам сюда наших вещей. Остановились здесь в отеле “Гиббон”: очень хороший и честный отель.

7 августа 1860 года, воскресенье

Вещей наших все еще нет. Боюсь, чтобы нам не пришлось из-за них пробыть здесь лишний день-другой, а надо спешить к морю. Утром посетили собор, побродили по городу, который богат очаровательными видами.

8 августа 1860 года, понедельник

Сегодня мы целый день провели в плавании по Женевскому озеру на пароходе “Орел”. От самого Вильнева и до Женевы чудные, восхитительные места. Справа — цепь гор, за которыми выглядывают громадные снежные Альпы, и между ними всех выше седоголовый Монблан. Слева — отлогие берега, слегка холмистые, усеянные прелестными домиками и виноградниками, а позади опять-таки горы, обращенные к Франции, но уже гораздо ниже. День был прекрасный, и голубое Женевское озеро покоилось в невозмутимой тишине.

Мимо беспрестанно мелькали прелестные городки, из которых иные точно выходят прямо из вод озера. Вот Морж: против него снежные Альпы и между ними особенно Монблан. Далее Ролль, против которого на небольшом островке воздвигнут нашим императором Александром Первым памятник Лагарпу. Нион, потом Коппет с замком почти на берегу озера, где жила Сталь. Замок старый, с круглыми башнями по углам, обветшалый, закоптелый — он, кажется, необитаем. Немного за Коппетом, на противоположном берегу озера, видна колокольня: отсюда, от Женевы налево, уже Савойя.

В Женеву мы приехали около восьми часов вечера. Было уже темно. Мы остановились в “Отель де Пост”.

9 августа 1860 года, вторник

День прегнусный, холод и дождь. Мы взяли фиакр, чтобы ездить по городу. Заехали в церковь, где памятник Рогану; побывали в музее, не стоящем, впрочем, того, чтобы в нем быть. Хорошего там только бюсты Руссо и Боннета. Посмотрели еще памятник Руссо на острове у моста и панораму Шамуни. Потом поехали за город к тому месту, где Рона сливается с другою рекою и обе некоторое время текут далее в одном русле, но не сливая своих вод. День скучный. Женева мне не нравится В ней что-то сухое и холодное.

10 августа 1860 года, среда

Переезд из Женевы во Францию. Не доезжая Бельгарда, где таможня, три туннеля. Третий перед самым Бельгардом: едут семь минут.

На таможне с нами обошлись очень любезно. Нас почти не осматривали: едва открыли сундук и мешок и не обратили никакого внимания на мои сорок сигар.

За Бельгардом идут Юрские Альпы. От Кюлоза и особенно у Россильена они становятся страшно угрюмы и дики, принимают самые разнообразные, фантастические формы. Перед вами вдруг вырастают, точно замки, целые города со стенами и башнями. Глаз до того обманут, что даже видит ворота и окна и готов принять все эти то беспорядочно нагроможденные, то правильно сложенные громады за настоящие здания или за развалины их. Юры в своем роде тоже чудесные явления природы. Проехав мимо Буржа, мы, наконец, достигли Макона, где ночуем.

11 августа 1860 года, четверг

От Макона до Парижа еще далеко — часов шестнадцать езды. Но мы решились все это расстояние сразу проехать. Перед Дижоном нас встретил настоящий содом. Толпы народа валили туда навстречу Наполеону, который едет обозревать Савойю и Алжир. На пути его повсюду, особенно в Дижоне, делались великолепные приготовления к его приему. Вагоны, следующие к Дижону, где готовилось главное торжество, были набиты людьми, как бочонки сельдями. В наш вагон, никого не

спросясь и без билета, сверх комплекта, ворвался какой-то блузник с женой и шестинедельным ребенком и бесцеремонно расположился у окна, чуть не на коленях у молодой и хорошенькой француженки. Выло невыносимо тесно и душно. Пытка наша, однако, мгновенно прекратилась, лишь только мы миновали Дижон. Кроме нас, в нашем вагоне остались еще только двое: чрезвычайно приличный благообразный итальянец и миловидная француженка, все время без умолку болтавшая. На расстоянии двух часов от Дижона мимо нас промчался, как вихрь, вагон, несший в себе цезаря и его счастье. Разумеется, мы не могли его увидеть. Около полуночи приехали в Париж и остановились в улице Vivienne, в “Hotel des Etrangers”.

13 августа 1860 года, суббота

Вчера мы только промелькнули в Париже и сегодня уже прибыли в Булонь, то есть к цели моих настоящих стремлений. В Булонь прибыли в пять часов. На станции железной дороги нас очень радушно встретили Гончаров и Грот. Они вместе с нами отправились в отель, где квартируют. Мы тоже там поместились в двух небольших комнатках.

14 августа 1860 года, воскресенье

Дождь. Тем не менее мы вместе с Гончаровым и Гротом отправились к океану. Это достойное дополнение к Альпам. Я, таким образом, видел два могущественнейшие создания природы. Прекрасно, величественно, грозно-прекрасно! Там, направо, чуть-чуть белеют меловые берега Англии, а левее — путь в другую часть света. Право, хорошо побывать здесь!

Гончаров взял на себя в Булони, которая ему уже издавна знакома, роль церемониймейстера по отношению ко мне. Он свел меня к океану и, как сам выражается, “представил ему”. Он же руководил в устройстве дел моего купанья и рекомендовал мне своего собственного купальщика: это бравый, сильный молодец по имени Паранти.

После мы все с тем же Гончаровым бродили по городу — старинному, с узкими улицами и высокими домами. Были в крепости и на крепостных бульварах, откуда широкий вид на заречную часть города и на океан.

18 августа I860 года, четверг

Ходил утром на мол любоваться морем, которое великолепно после прошедшей ночи. В эту ночь оно сильно бушевало. Гул и рев его тревожили наш сон. Теперь оно сильно волновалось, и волны его, грозно вздымаясь, преследовали одна другую, сталкивались и рассыпались у бери а серебристой пеной, а подальше ударялись об утес и влажным столпом, точно фонтаном, поднимались вверх. Несмотря на бурную погоду, множество мисс и леди (большая часть здешних посетителей — англичане) в черных костюмах полоскались в волнах, как морские птицы. Весело было смотреть

на их резвые, смелые движения, а океан все шумел и стонал.

19 августа 1860 года, пятница В полдень отправился на мол. Есть в морском воздухе что-то особенно легкое и живительное. Самый ветер, как бы силен он ни был, охватывает со всех сторон, как вода в море, но не проникает в жилы и кости, не остужает крови и не леденит сердца. И странно, что при этом обилии воды вы даже сразу после дождя не ощущаете сырости. Целое лето почти я не выходил из теплого пальто, а здесь, несмотря на сильные ветры и даже при отсутствии солнца, я хожу в летнем легком пальто и надеваю свое любимое ватное только в девять часов вечера, когда иду с Гончаровым бродить по городу. Почти совсем отвык я и от калош, за которые мне всегда так много достается от моих домашних и приятелей.

20 августа 1860 года, суббота

Опять на мол поздно вечером. Ночь прекрасна в лунном сиянии, океан великолепен в совершенном спокойствии. Было много гуляющих леди и мисс, которые, очевидно, отличаются большим пристрастием к морю. Вдали блестит маяк. Перед нами беспредельное пространство, волна за волной, дальше, все дальше, до самой Америки. Вот из гавани выходит пароход — не туда ли уж в самом деле? Нет, в Англию, куда через два часа и прибудет.

Я ставлю гораздо выше честного и знающего свое дело ремесленника, который, изготовляя заказанную ему вещь, не думает, что он одолжает вселенную, нежели какого-нибудь другого деятеля в сфере, будто бы более высокой, но одержимого великими претензиями без великого характера. Ведь великий характер тем-то и велик, что не имеет претензий. Надо прежде всего быть человеком, а потом уже чем угодно или чем должно, возможно и нужно для всякого и всех.

26 августа 1860 года, пятница

День светлый и мягкий. Море тихо в своих берегах, как младенец в колыбели. По лону его пробегают едва заметные струйки: это оно дышит.

Ездили осматривать наполеоновскую колонну, воздвигнутую верстах в четырех от города на том месте, где Наполеон I, снаряжая свою булонскую экспедицию в Англию, раздавал войску почетные легионы. Окруженный блеском императорского величия и озаренный славой недавних побед, он хотел поразить умы французов и воспламенить в них энтузиазм так, чтобы они, как поток раскаленной лавы, ринулись на ненавистных ему островитян. Колонна красива. Она возвышается на 150 футов. Император изображен на ней в порфире, со скипетром в одной руке, с короною в другой, с лавровым венком на голове. Вокруг колонны посажены кедры и разведен сад, содержимый в большом порядке и чистоте. Путь туда по холмам, с которых открывается вид на чуть-чуть белеющие вдали берега Англии.

Одна из невыгод коротких отношений с людьми в том, что они порождают необходимость или потворствовать их слабостям, недостаткам и страстям, или,

противясь этому, навлекать на себя их неприязнь. Лучше всего избегать этой короткости. Но не всегда можно успеть в этом. Часто обстоятельства ставят людей друг к другу так, что сближение между ними делается неизбежным, и вот между ними устанавливаются отношения, по-видимому, дружеские. Но тут-то и зацепка. Близость производит то, что они трутся взаимно о шероховатости один другого, которые на дальнем расстоянии незаметны, — и не только трутся, но натирают один другому мозоли.

29 августа 1860 года, понедельник

Каждое утро ходим мы на станцию железной дороги и запасаемся там в книжном ларе свежей газетой — то “Constitutionel’ем”, то “Patrie”. Сегодня тоже мы взяли последний номер первого. Меня сильно занимают дела Италии. Народ там, очевидно, готов к новому устройству, к единству. Везде восстание в пользу этого единства, и с каждым днем все умаляется значение жалкого остатка бурбонской династии неаполитанского короля. Он не умел понять важной и простой политической истины, что народами нельзя управлять только по своим желаниям, а надо несколько уважать и их желания. Каковы бы ни были потребности времени, им необходимо в известных пределах уступать. И потому нет ничего несообразнее того консерватизма, который хочет не сдерживать только и умерять излишества в порывах новых идей, а уничтожать их и поворачивать вещи назад или удерживать их в одном и том же положении. Не нелепо ли думать, что можно навсегда установить такой-то порядок вещей, когда навсегда, кроме смерти, ничего нет на свете.

Гарибальди — славный человек. Это не гений, это нечто больше и выше того — это человек добра, герой человечества в самом разумном, благороднейшем смысле этого слова.

Пребывание мое в Булони приходит к концу. Что принесло оно мне для моего здоровья? Подвожу итоги: они мало утешительны. Я все время чувствовал себя здесь гораздо хуже, чем в Интерлакене. Говорят, благотворное действие морских купаний после отзовется. Будем надеяться, а пока по-прежнему одно остается — мужаться.

Останавливать бег собственных мыслей, давать им должное направление — требует такой же силы воли, если не больше еще, чем управлять, ходом общественных дел. Вообще иметь дело с самим собою без эгоизма, малодушия и обольщения разными приманками жизни — чуть ли не гораздо труднее, чем иметь дело с другими. Всего труднее прямо смотреть в глаза истине, когда она приходит разрушать наши иллюзии или противоречить нашим наклонностям, принятым понятиям и самолюбию. А между тем как ни увертывайся от истины, как ни усиливайся заглушить ее голос или обмануть софизмами, она, вытесненная из твоих убеждений и умствований, возьмет свое на деле. Она сделает так, что действительность устроится совсем иначе, чем ты воображал или хотел, — и вот ты останешься пораженным в самом существенном, чего ты добивался и чего должно добиваться, — в результате.

30 августа 1860 года, вторник

День моих именин. Это первый раз, что я провожу его не в кругу моих детей. Бедные! Они тоскуют без меня в этот день, а я посылаю им мой привет одними грустными мыслями.

Завтра едем в Париж. А там — к детям: пора, пора! Обнять их становится вопиющей потребностью моего сердца. Грустно только, что возврат мой мало порадует их: я принесу им больное тело и тревожный дух.

Прощай, Boulogne-sur-mer!

1 сентября I860 года, четверг

Вчера утром уехали из Булони. Нас провожали на железную дорогу хозяин нашего пансиона и две милые англичанки, с которыми мы в последнее время близко сошлись. В Париж приехали под вечер и остановились в улице Ришелье, в отеле “Альпы”.

Сегодня я долго сидел в Пале-Рояле, любуясь детьми, которых нянюшки приводят туда играть. Премилые дети эти французята: резвые, живые как котята, исполненные детской грации и такие свеженькие, как будто они растут где-нибудь в деревне, а не в тесном и душном Париже. И игры их совершенно приличны, без натяжки и буйства, хотя это дети, судя по их платью, большею частью небогатых родителей.

Вообще во французах есть что-то привлекательное. В них нет той угловатости и аляповатости, какую видишь в массе немцев, ни той демократической грубости, какая заметна в швейцарцах. Их живость имеет какую-то свою грацию, доказывающую эстетическое превосходство этой расы.

Я прожил в Булони около трех недель. Там в небольшом городе теснится много людей, не могущих похвастаться особенным образованием: это торговцы, рабочие, матросы, рыбаки. Может быть, то была случайность, но во все время моего пребывания там не произошло ни одной суматохи в самых людных местах, ссоры, шума и т.п. Все делается у них живо, быстро, никакой толкотни или замешательства. Я заходил часто в таверну Мартена или, как мы его прозвали с Гончаровым, — Мартыныча. Там, между прочим, собираются и люди простого звания. Они там пьют, едят, курят, читают газеты, но все это совершенно прилично. Пьяных я видел всего только раз — двух мастеровых. Солдаты — люди молодые, бравые, развязные, но тоже показались мне скромными для своего звания. Смотря на них так, со стороны и в спокойное время, трудно себе представить, что французы — это люди, наделавшие столько революций.

3 сентября 1860 года, суббота

Маленькая неприятность по части житейских дел. По рекомендации одной француженки, в свою очередь рекомендованной нам одним русским, мы заказали портному пальто для меня за 150 франков (35 рублей). Сегодня он принес его. Не

рассмотрев хорошенько, мы заплатили за него деньги, но, впрочем, тут же заметили на нем пятна, как будто оно было чем-то облито или запачкано. Показали портному. Он очень развязно объявил, что так всегда бывает от смочки сукна и что стоит мне только надеть сегодня пальто и поносить его часа два, как все пятна исчезнут. Вот я ходил в обновке с десяти часов утра до вечера, а пятна и не думают исчезать. Очевидно, что портной нас надул, поставив залежалый материал. Теперь дела не поправишь: деньги заплачены. Надо помириться с потерею 35 рублей. Но у меня могли бы украсть и гораздо больше, всего могли обокрасть. Этим и надо утешиться. Видно, моему попорченному телу прилично и платье носить испорченное.

Три действия моей лечебной драмы исполнены: киссингенские воды, швейцарский отдых и морское купанье. Остается четвертое и последнее: совещание с Вальтером в Дрездене. Кажется, и с телом моим происходит такое же надувательство, как и с пальто, долженствующим его прикрывать. Медицина не отстает от портняжного искусства в способности обманывать.

А конец концов тот, что я возвращаюсь домой все-таки больным. Нечем мне порадовать мою семью. Выходит, что жизнь моя парализована, надолго ли — Богу одному известно. А из всего этого следует, что я крепче, чем когда-либо, должен держаться своего девиза: терпение и мужество.

5 сентября 1860 года, понедельник

Бродил по Итальянскому бульвару. Все то же: толпа и магазины. Побыл немножко в Пале-Рояле. И там все то же: под арками торгуют, под деревьями резвятся дети и сплетничают няньки. Днем Пале-Рояль вообще беден посетителями. Он, кажется, тогда поступает почти в исключительное владение детей и нянек. Лишь изредка попадается какой-нибудь праздный человек, который бродит под арками; и заглядывает в окна магазинов или в небрежной позе сидит на скамье и читает или дремлет над газетой.

6 сентября I860 года, вторник

Бродил по набережной Сены, останавливаясь перед выставками гравюр и старых книг. Осматривали церковь св. Клотильды за Сен-Жерменским предместьем. Ездили в Рere Lachaise, но все это довольно вяло, чему, может быть, способствовал и сумрачный день.

Наполеон царствует с полным авторитетом самодержавного государя: на уста французов он наложил печать молчания; мысли их предписал границы; деятельности их указал материальные цели, а из всех атрибутов свободы оставил им только одно трехцветное знамя.

Французский народ едва ли способен возвыситься до истинного нравственного достоинства. Он мало уважает то, что не имеет непосредственного отношения к его интересам и страстям. Он любит шум, блеск, гоняется за отличиями чести и славы, но, кажется, лишен чутья к тому доброму и доблестному, которое хорошо само по себе и которое за это именно должно быть уважаемо человеком.

Французы приобрели всемирную известность своею любезностью и вежливостью. Но они могут быть ужасно не вежливы и грубы, как скоро не чувствуют необходимости или расположения быть вежливыми и любезными. Говоря известные учтивые слова, расточая улыбки, они гораздо более следуют привычке, чем благородному, гуманному стремлению не делать и не говорить ничего такого другим, что могло бы быть им неприятно или огорчить их. Француз по природе своей сух и фальшив. Он искренен только в своих усилиях выказать свое превосходство и когда бросается в наружный блеск.

Но надо отдать справедливость французскому народу: он одарен удивительно привлекательною внешностью. Французы очень хороши в известном расстоянии — издали. Но очарование исчезает, как скоро вы подходите к ним ближе и начинаете всматриваться в их физиономию. С удивлением и некоторым ужасом вы видите тогда вместо ярких приятных черт, пленявших вас издали, — маску, жалкую подделку под жизнь.

8 сентября 1860 года, четверг

В семь часов утра выехали мы из Парижа на Кельн. До Компьена все леса, и сам Компьен тоже в них. Почва ровная, лишь местами слегка волнистая. Население довольно жидкое. Деревень встречается мало. Вот и Намюр. Здесь разносчик газет прокричал о разбитии пьемонтцами генерала Ламорисьера. Я встрепенулся и поспешил купить номер “Independance Beige”, в котором помещено это известие.

Все пространство от Намюра до Вервье очень красиво. С переездом в Бельгию местность немедленно делается гористою. По обеим сторонам тянется цепь невысоких, но чрезвычайно живописных гор. Мы ехали очаровательною долиною, которая причудливо извивается по берегу реки. Мимо мелькают рощи, рощицы, группы деревьев, аллеи, — это один нескончаемый парк. Но у этого парка своя поразительная особенность: он до такой степени заселен, что все пространство от Намюра до Вервье представляет как бы одну непрерывную улицу фабрик и жилищ — улицу оригинальную, извилистую, не правильную, а раскидывающуюся в разных направлениях то группами зданий, то целыми селениями и городами. Везде кипит промышленная и фабричная деятельность, которая каким-то чудесным образом сливается здесь с нетронутыми искусством красотами природы и производит на путешественника очень приятное впечатление. Это Бельгия. Везде довольство и труд. Деревни и города смотрят весело, точно улыбаются и говорят: “У нас дружно обитают свобода и благосостояние”. Какая разница с наполеоновскою Франциею! По крайней мере все это мне так показалось из окна вагона.

Промелькнул мимо Льеж. Перемена вагонов в Вервье, Ахен. Последний — большой город, как-то неправильно раскинувшийся среди весьма живописного месторасположения.

Наконец, вот и Кельн. Здесь прусская таможня. Но мы разделались с ней очень просто. Один из таможенных служителей объявил нам без церемонии, что если мы дадим хороший тринкгельд (на чай) то дело у нас сладится в минуту без всяких хлопот. У нас не случилось монеты меньше десяти франков, и чтобы не терять

времени и избежать всякой суматохи, мы решились ими пожертвовать. Дело, в самом деле, было кончено в минуту. У нас только спросили: не имеем ли мы чего запрещенного в сундуке? И даже не открыли его. Сверх того, таможенные уже взяли на себя и все распоряжения относительно перемещения нашего багажа из таможни в вагоны на завтрашний поезд, так что мы уже не имели никаких забот и немедленно отправились в гостиницу “Голландер” на берегу Рейна. Мы решились в Кельне переночевать. Нам хотелось осмотреть город, особенно знаменитый собор, и мы положили остаться тут до следующего вечернего поезда. Нам отвели хорошо убранную, но очень низенькую комнату, окнами на Рейн.

9 сентября 1860 года, пятница

Утром, взяв комиссионера (за два с половиной франка на четыре часа), мы сели в фиакр и отправились обозревать город. Разумеется, мы прежде всего поехали к собору. Он действительно одно из чудес искусства и по справедливости считается великолепным памятником готической архитектуры. Его грандиозные размеры, легкость, с какою он стремится вверх, и неподражаемая отделка во всех мельчайших подробностях точно кружевных орнаментов — все это изумительно изящно, величественно, тонко. Внутренность церкви вполне соответствует ее внешности. Мы обошли ее во всех направлениях. Замечательны гробницы архиепископов и первого из них, основателя собора. Любопытные по своей древности барельефы (XI и XII веков) с некоторых из них сорваны французами, и гробницы эти так и остаются обнаженными. В готических окнах разноцветные стекла, украшенные старинною живописью: на левой стороне церкви она вся принадлежит знаменитому Альбрехту Дюреру.

Церковь еще не достроена. Ее продолжают воздвигать, или, вернее, отделывать, по первоначальным рисункам, но нам говорили, что она вполне будет окончена еще не прежде, как через восемнадцать лет. Мы видели около наваленные громады камней; из них некоторые уже обделаны для орнаментов и превосходно выполированы.

Из собора мы поехали в церковь св. Петра взглянуть на картину Рубенса, изображающую пригвождение к кресту св. Петра. Картина эта — одно из лучших произведений Рубенса. Предсмертные муки на лице Петра, движение мускулов и выражение на лицах палачей изумительны по живописи и верности природе. Картина эта тоже была взята французами, но по заключении мира возвращена. Тут же копия с нее, как бы в доказательство того, как подражания гениальным произведениям могут быть ниже образцов.

Далее, мы поехали по городу, к Рейну и т.д. Но кроме собора и этой картины Рубенса, в Кельне решительно нет ничего замечательного. Это один из скучнейших, да, пожалуй, и грязнейших городов в Европе или по крайней мере в Германии. В нем даже нет тротуаров и ни одной порядочной улицы. Нет места для прогулок, ни сада публичного, ни театра. Театр когда-то был, да сгорел, и теперь, никто не думает об его возобновлении. Словом, это ультранемецкий город, крайность безвкусия и равнодушия ко всему, кроме денег и торговых расчетов. Даже благородный,

величественный Рейн, добежав до Кельна, принимает какой-то пошло-деловитый вид и лежит в плоских неопрятных берегах. Его ярко-изумрудный цвет превращается здесь в какой-то мутный, грязный.

Возвратясь в гостиницу, мы не знали, как убить остальное время до семи часов вечера, когда отходит поезд в Дрезден. У нас оставалось на руках еще часов пять. Я рад был даже обеду в час: все-таки хоть какое-нибудь занятие. Впрочем, обед был очень хорош и недорог. В 20 минут восьмого мы, наконец, пустились в путь, очень довольные, что расстались с неприютным Кельном, и приятно волнуемые ожиданием предстоящего соединения с детьми. Мы взяли, однако, с Кельна дань — разумеется, за свои деньги — купили вид собора да склянку знаменитого одеколона.

10 сентября 1860 года, суббота

Ночью Проехали Дюссельдорф и Ганновер, не видав их. В пять часов утра в Магдебурге меняли вагоны. Отсюда до Лейпцига гладкая, беспредельная равнина. От Лейпцига до Дрездена уже рукой подать. И действительно, вот он, Дрезден! На станции нас ожидали мои милые дети и И.А.Гончаров также. Радость и восторги неописанные. Мы были в разлуке три месяца и десять дней. Такой продолжительной разлуки ни я, ни дети мои еще никогда не испытывали. Благодаря Бога, я нашел их здоровыми и веселыми. Мы уже все вместе примчались в Прагерштрассе.

14 сентября 1860 года, среда

В Дрездене я стараюсь жить по возможности беззаботно и еще хоть в течение нескольких дней не думать об ожидающих меня в Петербурге всяческих заботах и трудах. Да и погода сильно к тому располагает. Дни светлые, теплые, каких вообще не много в нынешний год выпало на нашу долю за границей. Усердно гуляем то в Гросгартене, то на Брюлевской террасе; то я бесцельно брожу по городу с Гончаровым, который продолжает неистово заниматься покупками — в настоящее время особенно сигар и стереоскоп— ных картинок с видами. Сегодня были, между прочим, в зверинце, который, впрочем, очень мал. Оттуда по мосту перешли через Эльбу, обогнули Японский сад и вернулись по другому мосту. Уже смеркалось. Луна сияла во всем своем блеске, и вид с мостов на Дрезден был прекрасен.

15 сентября I860 года, четверг

Писал в Варшаву к тамошнему начальнику мальпостного движения между Варшавой и Петербургом, Ф.Ф.Кобержскому, о заготовлении нам мест.

В каталоге человеческих бедствий, который, как известно, толст не меньше нашего академического словаря, не последнее место должно быть отведено толчкам в голову, продолжающим меня преследовать по ночам. А в самом деле любопытно бы составить словарь человеческих бедствий. Ведь сюда, чего доброго, пожалуй, вошли бы такие слова, как, например: друг, проекты, то есть проекты о доставлении человеческому роду всевозможных благ, и т.д.

16 сентября 1860 года, пятница

Теперь, когда я приближаюсь к арене моей деятельности, к отечеству, в душе моей восстают вопросы, один другого важнее, о характере и способах этой деятельности. По настроению моих нравственных сил, по основным принципам моим, по тому, чем я обязан обществу и самому себе, — я не могу действовать иначе, как с достоинством и энергией. Наша эпоха, как и всякая другая, впрочем, возлагает на каждого честного человека, на деятеля, и долг и ответственность. Кто не чувствует себя существом совсем ничтожным, тот должен стараться выполнить ее требования. Но не изменят ли мне мои физические силы? Сомнения терзают меня.

Университетские лекции, публичные лекции о Пушкине, работы по Главному управлению цензуры. Надо также что-нибудь бросить и в академическую кошницу, пустота которой давно уже поднимает на нас справедливые жалобы.

Вечером Гончаров читал мне новую, написанную им в Дрездене, главу своего романа [“Обрыв”]. Он перед тем уже читал мне кое-что из него. Места, прочитанные до сих пор, очень хороши. Главная черта его таланта — это искусная тушовка, уменье оттенять верно каждую подробность, давать ей значение, соответственное характеру всей картины. Притом у него особенная мягкость кисти и язык легкий, гибкий. В новой, сегодня читанной главе начинает развертываться характер Веры. На этот раз я остался не безусловно доволен. Мне показалось, что характер этот создан на воздухе, где-то в другой атмосфере, и принесен на свет сюда к нам, а не выдвинут здесь же из нашей почвы, на которой мы живем и движемся. Между тем на него потрачено много изящного. Он блестящ и ярок. Я тут же поделился с автором моим мнением и сомнением.

17 сентября 1860 года, суббота

Странное противоречие в вещах человеческих! Счастьем мы редко обязаны себе, но несчастий наших мы всегда строители сами. Что ни делай для первого, редко удается нам достигнуть цели, но второе получается легко, часто вовсе не заметными ошибками, крайностями, увлечениями.

Располагаться в жизни и на земле слишком широко и оседло, с различными предосторожностями и заботами об упрочении своего положения, право, нелепо и смешно.

Разбирая строго, но правдиво свою жизнь, я нахожу, что наслаждался очень мало и так же мало сделал хорошего. Первому препятствовали обстоятельства, собственное неблагоразумие и необузданное стремление к какому-то недосягаемому идеалу, препятствовавшее мне всегда сознавать цену настоящего и парализовавшее во мне самую способность наслаждаться, а второму — несовершенства и недостатки моей воли.

Во мне, однако, есть какая-то упругость, благодаря которой во мне крепко держатся один раз укоренившиеся во мне верования, убеждения, взгляды на вещи,

несмотря на скептические колебания моего ума и недостатки моей воли.

Познай самого себя — какая это бесконечная наука! Равная ей по своей нескончаемости — наука усовершенствования самого себя. Постоянный контроль над самим собой имеет свою выгоду и невыгоду — выгоду ту, что мешает укоренению и осуществлению многого дурного; невыгоду ту, что держит волю в постоянном колебании и нерешительности, делает нас мнительными и ослабляет способность быстрых, энергических решений и дел.

Все люди, из каких бы рас они ни происходили, под какими бы законами жизни, какою бы историею ни были воспитаны, одинаково расположены к эгоизму. Различаются же они способностью страстей. Оттого происходит, что эгоизм одних умеряется расчетливостью и благоразумием, других — прямее и открытое идет к цели. Там хладнокровие и уверенность, здесь пылкость и крайности…

Неохотно я расстаюсь с Дрезденом. Мне хотелось бы в нем провести еще несколько дней в беззаботном отдыхе, которого я не имел в моих беспрестанных переездах в погоне за здоровьем, постоянно от меня убегавшим. Словом, мне хотелось бы допить последние капли немногих ясных и нетревожных минут — ну, да надо ехать! А ведь в Варшаве, пожалуй, придется проскучать неделю, может быть и больше, вследствие трудности, с какою получаются места в мальпосте.

18 сентября 1860 года, воскресенье

Пришло письмо от Кобержского, начальника мальпостов варшавских. Он уведомляет меня, что места в экипажах до Острова могут быть для нас готовы не прежде пятого октября. Итак, пришлось бы недели две сидеть в Варшаве. Мы решаемся лучше провести это время в Дрездене, где жизнь дешевле и приятнее. Пришел Гончаров. Он сегодня едет и обещает еще переговорить с Кобержским, а о последствиях меня уведомить.

21 сентября I860 года, среда

Истинно благородное сердце, ясный высокий ум, истинная честность, истинное просвещение, чуждое предрассудков, но не чуждающееся благих, возвышающих душу верований, — везде составляют исключение.

Погода меняется. Холодный ветер, сумрачно. Но вид полей, по которым я сегодня много бродил, еще сохраняет следы роскошного плодоносного лета.

Однако меня начинает сильно позывать к работе. Да и совестно уже становится, что я так долго ничем не занимался. Заботы о здоровье поглощали исключительно мое время. Теперь хотелось бы вознаградить потерянное, но благоразумие и медицина велят трудиться осторожнее.

Обдумываю публичные лекции о Пушкине и бросаю на бумагу разные заметки и главные черты плана.

О великих деятелях в обществе, как о великих явлениях природы, никогда

нельзя сказать, что они изучены окончательно и что, раз описав, объяснив их, уже возвращаться к ним не для чего. Богатства в них жизни таковы, что понять, объяснить, определить их сразу нет никакой возможности. Значение и действие их к тому же никогда не раскрываются вдруг. Они, как все живое, одарены способностью развиваться и развивать заключающееся в них содержание, так что то, что вы узнали в них сегодня, часто служит только предисловием или указанием того, что узнаете завтра или позднее.

24 сентября 1860 года, суббота

Каких последствий от жизни хочешь ты серьезнее тех, какие есть? Цель жизни не есть ли самая жизнь? Какое дело природе до того, живешь ли ты, живут ли или будут жить Иван и Исидор, жук или слон, — лишь бы поток жизни не иссякал и не прерывался.

28 сентября 1860 года, среда

Дождь, холод. Ветер сегодня, вооруженный ножами, так и ходит по улицам и режет людей. В комнатах страшно холодно, а топить — боимся угара. Печи у немцев устроены не по-нашему. Они не способны ни дать, ни удержать тепла. Это нечто вроде черт знает чего. Бестолковые немцы, написавшие тысячи умных и глупых книг, не постигли премудрости, как зимой согревать свои жилища. У них нет вьюшек в печах, да и самые печи устроены, кажется, так, чтобы служить только пугалом холоду, а не серьезно с ним бороться и его изгонять. Бестолковые немцы!

Я читаю перевод библии, издаваемый в Лондоне и которого до сих пор вышло еще только одно “Пятикнижие”. Под переводом подписано имя Вадима [псевдоним Кельсиева] и он печатается в Герценовской типографии. Перевод делается с еврейского подлинника, при пособии перевода на английский язык еврея, доктора Бениша. Буквальная точность — главная задача переводчика. Поэтому перевод является освобожденным от всякой славянской высокопарности и темноты. Он читается как Гомерова Илиада. Не знаю, какое действие произвел бы он в России своей патриархальной простотой и разговорным житейским тоном. Думаю однако, что идея о божественности и классическом величии библии сильно поколебалась бы.

В сущности, это есть история и законодательство народа, управляемого теократией, и в этом смысле библия понятна и естественна. Но божественный характер ее плохо вяжется с нашими христианскими понятиями. Бог тут является в слишком человеческом и страстном виде. Моисей (или Моше), конечно, имел причины представить его таким для евреев. Они нуждались в правителе строгом, всегда готовом на казни, не щадившем никого и ничего в порывах гнева, — и Бог действительно, по Моисею, был для них таким правителем. Но мы, христиане, не можем понять такого Бога и в таком правителе не имеем нужды.

Хотел было прогуляться по городу, но подлец немецкий ветер по-прежнему ходит по улицам с ножами и пыряет ими в ус и в рыло, говоря красноречивой

русской поговоркой. Зашел к прелестной кондитерше и взял у нее для детей разного сладкого хлама. В самом деле, эта кондитерша красавица. Достанься это чудное личико француженке, что бы она с ним наделала! А эта немка неподвижно стоит себе у прилавка и только невозмутимо опускает себе в карман ваши зильбергроши.

29 сентября I860 года, четверг

Сегодня открытие памятника Веберу на театральной площади. Жаль, что скверная погода — холод и дождь. Открытие состоится в десять часов.

Всякий живет своей мерой мыслей, знаний, верований, чувств и убеждений. Кто богаче ими, тот живет лучше. У каждого есть свой источник, из которого он может добывать все эти сокровища.

Литература воспитывает поколение, и потому писатели должны помнить, что на них лежит ответственность в том, сколько они могут внушить ему добрых стремлений и благородных чувств и сколько могут ослабить или укрепить в нем все честное, вместе с образованием эстетического чувства.

Ошибка литературных критиков и историков в том, что они смотрят на литературу односторонне. Они видят в ней силу, или возвышающуюся над обществом и притягивающую его к себе, или исключительно преданную общественным интересам и зависящую от них. Поэтому одни впадают в отвлеченный и мечтательный идеализм, другие в крайний реализм. Между тем у литературы двоякое призвание. Она в одно и то же время служит и идеалам, и действительности. Те только произведения вполне соответствуют истинному назначению литературы, в которых идеальное не противно действительному, а действительное не уничтожает идеального. Таковы у нас произведения Пушкина.

Всякий писатель, сильно действовавший на свое общество, пробуждает в нем или утверждает и известные нравственные и социальные принципы, открывает новые виды умственной деятельности, склоняет ум и сердце к известного рода понятиям, убеждениям. Этим отличается писатель-деятель от писателя с обыкновенным художественным смыслом, который изящными образами и картинами доставляет пищу одному только эстетическому чувству.

За Пушкиным мы признаем два значения: 1) значение как художника, образователя эстетического чувства в своем обществе и 2) как общественного деятеля, развивавшего в обществе известные нравственные принципы, склонявшего общество к известным задачам и вопросам жизни, дававшего направление мыслям и чувствам своего поколения.

Прежде у нас как бы играли в высшие интересы жизни. Перед умами мелькали высшие идеалы, но они не подвергались анализу, и их не сближали с жизнью. Они и в литературе и в действительности оставались отвлеченными в области фантазии. Пушкин первый смотрит на них с серьезной стороны, первый учит сочетать лучшие стремления духа, идеалы, с действительностью на почве нашей общественной и исторической жизни.

В последнее время Пушкину ставили в укор, что он лишен социального

значения. Я глубоко уважаю то социальное направление, о котором так много заботится наша современная литература. Я вполне признаю в ней деятеля в этом смысле и слишком далек от того, чтобы навязывать ей исключительно так называемый художественный характер. Но понятию “социальный” я даю более широкое значение, чем в последнее время принято ему давать. Я вижу в нем не только текущие общественные интересы, как бы они ни были важны, не только указание на текущие нужды, на разные недуги и злоупотребления, но и все, что заключается в основных верованиях и стремлениях народного духа, все, что входит в цели и способы его развития, словом — весь нравственный порядок вещей, всю сферу понятий эпохи.

Таким образом мы считаем писателем социальным не только того, который нам указывает на разладицу общественных нравов и общественной жизни с идеалом человечности и народности, но и того, который эти идеалы возвышает, очищая их от всех временных искажений и извращений. Дело только в том, чтобы этот последний не выставлял нам идеалов отвлеченных или таких, которые чужды нашей народности и общественности. Пусть идеал его будет в высшей степени человечен, но пусть он в то же время вращается в сфере наших национальных и общественных понятий. Пусть между ним и этими последними существует связь, хотя бы и основанная на темных гаданиях только или предчувствиях людей, на стремлении их к лучшему или даже не к лучшему, а к известному, определенному миросозерцанию.

В Пушкине мы это находим, и потому вполне считаем его писателем социальным.

Надо только, чтобы писатель такого рода имел достаточно гения или таланта, чтобы быть в состоянии предчувствия, гадания, стремления общественные облечь в образы верные, живые, могущие неотразимо действовать на общество. Это последнее уже зависит, конечно, от степени его эстетического или художественного дарования. А у Пушкина оно было велико.

30 сентября 1860 года, пятница

Отправляемся сегодня в Россию через Бреславль и Варшаву в одиннадцать часов вечера, то есть с ночным поездом.

В полдень ходил смотреть памятник Вебера, открытый третьего дня. В этот день готовилось большое торжество, но оно сократилось по причине дурной погоды. Памятник не грандиозен, но очень хорош. Это бронзовая статуя Вебера на гранитном пьедестале. Он стоит, опершись локтем одной руки на ноты, которые поддерживает муза, а в другой руке держит лавровую ветвь. Поза его благородна и проста. На лице выражено внимание: он как будто прислушивается к какой-то гармонии. Отделка памятника отчетлива и изящна; пьедестал отшлифован превосходно: драпировка легка. На пьедестале простая надпись: “Карл-Мария Вебер”. Мне очень хотелось быть на торжестве открытия, но в этот день был такой холод с пронзительным ветром и дождем, что я побоялся доверить ему мое бедное тело и лишился нескольких приятных впечатлений.

Не выходят у меня из головы французы, какими я их видел теперь, под

режимом Наполеона III. Они как бы созданы для того, чтобы любить зрелища и делать их, — они созданы для спектакля. Они играют в чувства, в правила, в честь, в революции. И надо отдать им справедливость, все, что относится к представлению, у них превосходно: знание ролей, мимика, декламация, вся обстановка. В них, если можно так сказать, нет того, чтобы *быть,* но природа одарила их богатыми средствами для того, чтобы *казаться* и производить эффект: воин, заговорщик, любовник, фанатик, либерал, раб — все это является у них на сцене, все это роли, выполненные с блеском и искусством. Они обладают таким уменьем переселяться в каждое лицо, усваивать себе по крайней мере наружные свойства его, что нередко обманывают неопытных. С первого взгляда их, пожалуй, и примешь не за актеров, а за настоящих людей, но пойдите за кулисы, всмотритесь поближе: вы во всем увидите румяна, мишуру, гримировку.

Французы своими революциями окончательно достигли того, к чему вели их национальные инстинкты, — они достигли равенства. Далее они не пойдут. Свобода, о которой мечтали их утописты, не по ним и не для них. Они могут снести какое угодно угнетение, лишь бы они были угнетены все одинаково и никто не был изъят из общего порядка вещей, никто не стоял выше другого. Прочная республика вряд ли возможна во Франции уже по тому одному, что она дает возможность выдвинуться вперед таланту и уму, что она допускает известные личности до превосходства, недоступного для других. Они не хотели бы никакого олицетворения власти — не потому, что власть сама по себе им ненавистна, но потому, что она украшается и возвеличивается ненавистными атрибутами личного превосходства. Но как совсем без власти жить нельзя, то они охотно с нею примиряются, лишь бы она была сосредоточена и поставлена так высоко, что уравняться с ней ни для кого нет никакой возможности.

Таковы по крайней мере французы настоящей эпохи. Наполеон III постиг это вполне. Он один, и совершенно один, стоит на уединенной высоте, не как французский гражданин, не как член общества, а как ни для кого не доступное могущество, олицетворенное человеческим именем. Он ни с кем не разделяет своей власти, но покажи только, что разделяет, — обаяние его мгновенно исчезнет.

Французы неспособны также никому дать над собой власти без того, чтобы не пожелать скоро взять ее назад. Но кто сам возьмет эту власть и сумеет поддержать ее, бросая им пыль в глаза, тому они повинуются беспрекословно.

1 октября I860 года, суббота

Вчера в одиннадцать часов вечера выехали мы из Дрездена, а сегодня в полдень были на таможне в Сосновицах. Тут с нами обошлись учтиво, без всяких придирок. Но когда мы в десять часов вечера прибыли в Варшаву, там опять хотели нас осматривать. Когда же я спросил у чиновника, занимавшегося приемом паспортов, законно ли это, он приказал оставить и нас и других пассажиров в покое. Явился комиссионер из отеля “Европа”, куда мы скоро и прибыли в омнибусе.

2 октября 1860 года, воскресенье

День тихий и светлый. Гулял в Саксонском саду, который не велик, но для городского сада хорош. Заходил справиться о местах в мальпосте: они будут для меня готовы в четверг.

Каждый город, селение, местность, как и человек, имеет в общем своем виде свою физиономию, эту неуловимую особенность, которая возбуждает в наблюдателе известного рода впечатление. Варшава, по крайней мере на меня, не производит приятного впечатления. Она вообще как-то грязна и жестка… Площадь против Саксонского сада могла бы быть хороша, если бы ее не портили здания безобразного и мрачного вида — с одной стороны гауптвахта, с другой — конюшни и казармы. Но всего некрасивее памятник посреди нее… Между тем собственно польская физиономия города не лишена интереса. Тут следы истории, свидетельствующие о самобытной жизни народа. Народонаселение в массе представляет черты оригинальности и не лишено граций своего рода. В лицах, в движениях много жизни; физиономии подвижные и красивые…

4 октября I860 года, вторник.

Письмо от Гончарова уже из Петербурга, куда он прибыл 26 сентября. Он описывает бедствия, которые претерпел в дороге вследствие всякого рода лишений, проистекающих из нашей всероссийской дикости и неустроенности. Гончаров предостерегает меня от того, чему сам подвергся.

Человечеству в течение веков удалось сделать много заслуживающего удивления. Но каждый человек в отдельности чрезвычайно мелок и ничтожен. Он бывает даже очень смешон, когда гордится своими личными преимуществами, своим умом, своими знаниями, своими доблестями, забывая, что всем этим он обязан или случайности природы и судьбы, или наследству, полученному им от совокупных усилий всего человечества.

Заходил к Старынкевичу и в разговоре с ним узнал о разных настроениях нашей цензуры. В “Русском слове” была напечатана статья о Гоголе, в которой говорится, что тот пользовался уважением публики до тех пор, пока не начал “воскурять фимиам царю небесному и царю земному”. Государь, говорят, призывал по этому случаю министра, которому сказал: “Что обо мне говорят, я на то не обращаю внимания. Нельзя всеми быть любиму: одни любят, другие нет. Цари земные бывают с ошибками. Но о царе небесном нельзя так отзываться”.

Хорошие слова, и в самом деле жаль, что литература наша говорит такие бестактные вещи. Она не понимает ни своего положения, ни своей задачи в настоящую минуту. И ее дело не дразнить и не тревожить умы, а руководить их и просвещать. Это прекрасная роль, и ее нельзя выполнять, неистовым образом все ругая, как это, например, теперь делает Герцен. Герцен имеет свою неотъемлемую заслугу, но и он гораздо лучше сделал бы, если б воздержался от ругательств. Однако он в другом положении, чем все прочие наши писатели. Он открыто взял на себя роль не руководителя, а возбудителя. В этом отношении на нем нет той ответственности, как на других. Герцен не участвует непосредственно в делах наших. Ему может не быть вовсе дела до соблюдения разных условий, которыми не

должен пренебрегать ни один писатель, если он желает успешно и благотворно действовать на общество.

По моей совести и ни моему разумению, надо сдерживать слепое стремление, вызывающее из мрака духа бури, которого труднее остановить в его разрушительном течении, чем вызвать. Я родился, вырос, возмужал и теперь старею в отвращении и вражде ко всякому игу, ко всякому притеснению. Личное мое чувство, все привязанности моего сердца на стороне свободы и права. Но я никогда в моих идеях не играл легкомысленно жребием людей для осуществления каких бы то ни было утопий свободы и права. Я не считал и не считаю их возможными без опоры закона. Мне известно, как и всякому, что блага эти покупаются жертвами, что без кризисов нельзя обойтись в переходах общества от одного порядка вещей к другому. Но ускорять или возбуждать насильственно эти кризисы — не мое дело. Напротив, я полагаю, что честный человек обязан смягчать их и содействовать тому, чтобы новый порядок вещей состоялся сколь возможно с меньшими пожертвованиями. Если история ничего даром не дает, то надобно по крайней мере заплатить за добро, которое она обещает или дает, сколь возможно дешевле. Мотать идеями на счет человеческой крови и мира общественного есть великое преступление. Те, которым суждено быть участниками и деятелями в этой сделке, обязаны быть мудрыми, а не рваться слепо к бездне вместе с толпой, которая не думает о том, что она оттуда вынесет.

Вечером в театре. Давали маленькую оперетку и балет “Два злодея”. Балет шел прекрасно. Вообще эта часть спектакля в Варшаве, кажется, в цветущем состоянии. Но я обманулся, ожидая увидеть мазурку, настоящую польскую мазурку, полную страсти, бешенства и грации. Мазурку, точно, танцевали, но в бальных платьях, а не национальных костюмах, и так вяло и безжизненно, как бы это было в петербургских гостиных.

13 октября 1860 года, четверг

В Петербурге. В четверг на прошедшей неделе, шестого, поутру в девять часов выехали мы из Варшавы в экипаже с экстра-почтой, где заняли четыре места внутри и пятое снаружи. Ехали мы очень скоро, останавливаясь только для перемены лошадей и для обеда не более получаса. Первые два дня погода была сносная. Но потом начал свирепствовать сильный холодный ветер с дождем, особенно по ночам. Однако мы благополучно доехали до Острова, куда и прибыли ночью, около двух часов, среди бури и ливня.

Тут в первую минуту мы были сильно озадачены. По причине большого скопления народа нигде не оставалось пустого помещения. Но нас вывело из беды распоряжение доброго Кобержского. Благодаря его заботам для нас заранее была удержана комната на почтовой станции. Было уже три часа ночи, когда мы ее заняли и расположились на кратковременный отдых. В шесть часов утра уже надо было спешить на станцию железной дороги. Новое затруднение. До станции надо было ехать еще версты три по скверной, грязной дороге и под проливным дождем с ветром. Экипажей, кроме простых телег, здесь нет. Но опять тот же Кобержский

вывел нас из этой новой беды. Оказалось, что он заранее написал островскому почтмейстеру, чтобы тот, в случае дурной погоды, дал нам мальпост для доставления нас на железную дорогу. Здесь мы нашли сущий содом, неописанную тесноту, шум, гам, толкотню. Но все, наконец, уладилось, мы заняли наши места в вагонах и без дальнейших неудобств прибыли в Петербург десятого числа, в понедельник, в пять часов вечера. На другой день, во вторник, ко мне уже начали являться разные лица. В среду представлялся министру, попечителю, заезжал в Римско-католическую академию, был у доктора Вальца и у моего милого Ребиндера.

15 октября I860 года, суббота

Заседание в Академии, первое после моего возвращения в Петербург. Та же мелочь, пустота и скука.

21 октября I860 года, пятница

Умерла императрица Александра Федоровна. По этому случаю отложено заседание в Главном управлении цензуры.

29 октября I860 года, суббота

Похороны императрицы Александры Федоровны. Процессия пройдет мимо моей квартиры. На улице уже с половины десятого началось движение: сходятся толпы народа, войска; полиция суетится.

В 45 минут первого двинулась по нашей улице процессия похорон императрицы Александры Федоровны. Везде соблюдались чинность и порядок. Толпа безмолвствовала. Сама процессия развертывалась мерно, величественно. Государь шел за гробом, бледный и печальный. Шествие тянулось мимо нас целый час.

2 ноября 1860 года, среда

Вечером была у меня графиня Толстая с женихом своим М.С.Кахановым просить меня быть ее опекуном, или, лучше сказать, опекуном имения, состоящего в тяжбе. Ее отец при смерти. Я обещался на время, пока они приищут другого, более способного.

5 ноября 1860 года, суббота

В Главном управлении цензуры я по возвращении застал еще более раздраженное отношение к литературе, чем прежде. Хотят, кажется, следовать системе притеснения. И все это наделала одна статья в “Русском слове”, или, лучше сказать, одна фраза, что “Гоголь был уважаем русской публикой до тех пор, пока не начал воскурять рабски фимиама царю земному и царю небесному”. За эту фразу

отрешили от должности цензора Ярославцева и сделали строжайший выговор издателю, графу Кушелеву-Безбородку.

9 ноября 1860 года, среда

Некоторые чувства требуют того, чтобы их превозмогать и покорять какому-нибудь высшему началу. Таково, например, отвращение мое к ложному, шаткому, сбивчивому шатанию умов нашего времени и к эгоизму и мелочному самолюбию некоторых из наших общественных деятелей. Я с величайшим трудом принуждаю себя встречаться с ними, а встречаться с ними я должен. С некоторыми из них я был связан разными отношениями. Теперь мне претит поддерживать эти отношения. Нехорошо. Но как этому помочь? Как расположить свое сердце к большей терпимости, не подрывая оснований своего характера и достоинства?

В судьбе человеческого разумения заключается судьба всего живущего. Нет твердой мысли в человеке — и целый мир превращается в хаос.

10 ноября 1860 года, четверг

Учение материалистов, чувствуя невозможность достигнуть знания вечной и высочайшей истины, обходит ее и говорит, что она и не нужна, что можно без нее обойтись для исполнения не только обыкновенной общественной обязанности, но и высших задач человеческого существования. Без знания этой истины можно обойтись; с этим спорить нельзя: род человеческий и до сих пор без него обходится. Но без верования в нее можно ли обойтись? Это другой вопрос. До сих пор род человеческий еще не открыл возможности обойтись без этого верования. На нем покоятся все наши нравственные отношения, все стремления к лучшему, все, чем человек укрощает свои страсти и возвышается до самообладания, самоуправления, до высшего понимания себя и своей жизни.

Философия материализма есть философия отчаяния. Ее можно формулировать следующим образом: “Так как высшее знание, истина для человека недостижимы, то откажемся от них и постараемся убедить себя и других, что можно устроить наилучший нравственный порядок вещей на земле, нимало не нуждаясь в основаниях нравственности, следуя единственно за физиологическими отправлениями нашего тела”.

Дело не в начале, а в силе. Нынешние утописты (материалисты, социалисты, приверженцы так называемой положительной философии) думают, что они огромную услугу оказывают человечеству, толкуя о незаконности собственности, о злоупотреблениях власти и пр. и о средствах поправить зло, излагая теорию человеческих обществ, разделение собственности и труда. Они не видят, что все их понятия, начиная с Платона, очень стары. Но дело, очевидно, не в понятиях, не в началах, а в силе осуществлять понятия, начала…

Нравственный порядок вещей невозможен, когда в том, что мы о нем знаем и должны знать, не допустим связи с тем, чего мы не знаем и не можем знать.

Незнаемое есть верховный двигатель всякого стремления к совершенствованию. Закон развития есть не что иное, как побуждение из неизвестного перейти в известное.

11 ноября 1860 года, пятница

Это беспрерывное колебание здоровья, уже год продолжающееся, и необходимость следить за ним с вниманием зайца, преследуемого собаками, — все это сильно угнетает меня. В этом .есть что-то жалкое и унизительное. Неужели так пойдет надолго? Отпустит ли мне природа еще несколько лет жизни, или она этими тревогами приготовляет меня к окончательной и немедленной развязке? Тяжело ходить между этими пропастями сомнений, опасений, физических забот и прочее. Между тем хотелось бы еще и действовать.

Любовь к своему я и к жизни, как и всякое чувство, может доходить до болезненной раздражительности, исключающей все другие чувства и интересы. Избави Боже до этого дойти!

12 ноября 1860 года, суббота

В полдень заседание в Главном управлении цензуры. История Замятина по случаю фельетонной статьи о магазине в воскресном номере “С.-Петербургских ведомостей”. Он просит защиты против печати, чем и изобличает, что лицо, выставленное в фельетоне, действительно он и жена его. Хороши нравы общества, где возможны вещи, подобные тем, какие описаны в фельетоне!

Отвергнуть идеалы значит уничтожить в человеке всякое стремление к прогрессу.

Бесконечный анализ, которым вооружилась нынешняя наука, рассматривающая природу и человека, есть, конечно, также громадный шаг человеческого разума на пути его развития. Нынешние выводы из него неутешительны, но таковы ли будут и последующие? Может быть, именно отсюда возникнут новые идеи и принципы, каких материалистический анализ не ожидает, — идеи и принципы, укрепляющие высшие верования. Ведь анализом всего исчерпать нельзя. Но он может привести нас к таким рубежам и точкам зрения, откуда взор обнимет пространство еще бесконечнее, еще таинственнее того, какое ныне нам представляется, — и человек, в священном ужасе и великом предчувствии, воскликнет: “Там, в этом глубоком безответном неизвестном, лежит что-то выше, святее, достовернее всего, что я до сих пор узнал и прочувствовал”.

Первое правило наших ультралибералов в том, чтобы воспрещать свободу мнений всем, кроме самих себя.

26 ноября I860 года, суббота

Заседание в Главном управлении цензуры. Прения о стихотворениях Некрасова,

которые автор хочет печатать новым изданием. Издание это было запрещено еще Норовым. Теперь я подал письменно мое мнение о том, чтобы пропустить эту книгу, за исключением разве немногих строк. Прочие члены восстали против этого, находя, что стихотворения Некрасова носят чересчур демократический характер. Трудно вразумить таких господ, как, например, Пржецлавский, Берте. Однако положено отправить стихотворения в цензурный комитет и вновь рассмотреть.

1 декабря I860 года, четверг

Факультетское собрание в университете. Толки о конкурсе на кафедру философии. Некоторые прочат на нее П.Л.Лаврова. Я против этого: Лавров способен не просвещать, а помрачать умы.

3 декабря 1860 года, суббота

Заседание в Главном управлении цензуры. Берте докладывал, что в “Северной пчеле”, в статье о Северо-американских Штатах, слишком распространяются о праве народа контролировать злоупотребления администрации и изменять формы ее. Я защищал газету тем, что ведь это не ее рассуждения, а выписки из североамериканских официальных статей.

— Это факты, — прибавил я, — и факты, то и дело совершающиеся в Европе и в Америке. Нам, значит, ничего не оставалось бы, как воспретить газетам упоминать о самих фактах этого рода, то есть мы должны закрыть глаза и уши наши на зрелище мирских дел.

Министр согласился с этим. Делянов и Тройницкий поддержали меня. Положено бросить это дело.

6 декабря 1860 года, вторник

Когда тебе в жизни приходится случайно наткнуться на добро, ты в опасности лишиться его каждую минуту. Но когда постигает тебя зло, оно крепко цепляется за тебя руками и зубами, и нет никакой возможности отделаться от него скоро. Одним словом, добро шатко, неблагонадежно и случайно; зло же крепко, постоянно и неизбежно.

Был у меня мой благородный Шульман! Ему, так же как и мне, заграничное лечение принесло не много пользы. Мы говорили с ним о нынешнем направлении умов и о том, как на них хотят действовать сверху. Много печального во всем этом.

8 декабря 1860 года, четверг

У наших писателей при начале нынешнего царствования недостало такта, чтобы воспользоваться дарованною печати большей долею свободы. Они много могли бы сделать для упрочения некоторых начал в обществе и для склонения правительства к разным либеральным мерам, но они ударились в крайности и

испортили дело. Возгордившись первыми успехами, они потеряли меру, сделались чересчур требовательными, забыв, что год или два тому назад им едва позволили бы держать перо в руках. Им захотелось вдруг всего, и они начали сплошь на все нападать, как люди рьяные, но не способные руководить общественным мнением. Они употребили во зло печатное слово, вместо того чтобы воспользоваться им. Тщетно старался я стать примирительным лицом между литературой и правительством: первая так далеко занеслась, что вдруг встала в открытую и жестокую оппозицию с последним; последнее встрепенулось и стало усердно подтягивать вожжи. Такие господа, как Чернышевский, Бов и прочие, вообразили себе, что они могут взять силой право, на которое они еще не приобрели права. Они взяли на себя задачу несвоевременную и непосильную и, вместо того чтобы двигать дело вперед, только тормозят его.

Считая себя передовыми людьми, руководителями общественного мнения, они действовали как зажигатели, как демагоги, чем и доказали свою незрелость и неспособность управлять общественным движением. Перед ними была роль действительно прекрасная: быть именно руководителями умов там, где все так шатко, незрело, неразвито. Но они не поняли ее и, увлекаясь лирическими порывами, упали сами в толпу тех, которым нужно вразумление и руководство. Они как будто захотели бросить перчатку правительству, вызвать его на бой, вместо того чтобы соединить свои прогрессивные стремления с лучшими его видами — в которых нельзя же ему отказать вовсе — и таким образом сделать его, так сказать, своим помощником, с своей стороны помогая ему во всем благом и не стараясь вдруг, одним ударом, сломить его ошибки и старые предания.

Они, притом, смешали людей, стоящих около центра, с самим центром, и то, что в отсталых прежних правителях было дурного, они отнесли к самой идее правительства. Словом, это были люди, жаждавшие отличия, желавшие во что бы то ни стало сделаться популярными и, по примеру западных корифеев публицистов, быть политическими деятелями, вместо того чтобы быть только общественными, предоставив времени и постепенным успехам нашего развития делать свое дело.

10 декабря 1860 года, суббота

У графа Адлерберга. Разговор о литературе. Я старался примирить его с ней и много говорил в этом духе.

11 декабря 1860 года, воскресенье

Поутру у Ребиндера и у Делянова. Все по вопросу о кафедре философии в университете. Я настоятельно представлял тому и другому о необходимости поступить как можно осторожнее в этом деле. Всего лучше бы самою программою конкурса отстранить домогательство некоторых господ искателей, которых сует к нам в университет партия великих ультрапрогрессистов, не заботясь о том, что эти философы перевернут кверху ногами мозг в головах наших юношей. Таковы, например, Лавров и Н.Н.Булич. Последний обладает весьма небольшими способностями, но большими претензиями на популярность, которую рассчитывает

приобрести распространением новейшей философии немецких материалистов, но, конечно, в непереваренном виде. Первый человек не без ума и дарований, но с головы до ног материалист, необузданный гонитель всего, что было, есть и даже будет завтра. Красным сильно хочется, чтобы он занял у нас кафедру философии, но этого не следует допустить. Я предложил Делянову мысль, чтобы в программе конкурса было прямо объявлено, ссылаясь на закон, чтобы ищущий профессуры имел степень магистра или доктора. А если никто из таковых не явится? Уж лучше мы года четыре пробудем без философии, пока не приготовим кого-нибудь из студентов заграничным образованием. Это зло меньше, чем то, если преподавание столь важного предмета попадет в руки ненадежные или недобросовестные.

17 декабря 1860 года, суббота

Вечером заседание в Главном управлении цензуры. Пришлось долго сидеть и говорить с напряжением, отчего у меня жестоко разболелась голова. Шли ожесточенные прения. С великим прискорбием слушал я мнение графа Адлерберга по поводу одной статьи, доложенной Тройницким. Граф обнаружил невообразимое незнание и непонимание самых простых вещей в умственной и государственной жизни. Ведь его считают здесь представителем государя и голос его — отголоском последнего. Неужели и там так же думают и столько же знают? Это невероятно, невозможно!

Мысль была следующая: не должно ничего дозволять писать о предметах финансовых, политико-экономических, судебных, административных, потому что все это означает посягательство на права самодержавия и тогда даже, когда в сочинениях этого рода вопросы рассматриваются с общей точки зрения и притом не заключают в себе ни малейшего намека на желательность каких бы то ни было изменений. Если же у кого зародится мысль об улучшениях по разным общественным и государственным предметам, тот может от себя писать в то ведомство, которого касаются эти улучшения. Словом, в печати нельзя обсуждать ни одного вопроса общественного. Тройницкий справедливо заметил, что это значит возвращаться к прошедшему времени. Напрасно он, я и Делянов доказывали невозможность такой системы, и что правительство само для своей собственной пользы должно желать гласного обсуживания разных общественных и административных предметов, и что между печатным объяснением своих мыслей и доносом заключается неизмеримая разница. Я тщетно старался растолковать также разницу между неприкосновенностью политического принципа в государстве и неприкосновенностью какой-нибудь местной власти и т.п. Адлерберг упорно стоял на своем.

— К чему было поднимать вопрос о статье Ржевского в “Русском вестнике”, совершенно невинной, — сказал я Тройницкому; — вы видите, куда это ведет.

Муханов вел себя очень осторожно. Он и председательствовал за отсутствием министра. Кончилось, однако, тем, что все осталось по-прежнему.

19 декабря I860 года, понедельник

Сильная наклонность в нынешнем молодом поколении к непослушанию и дерзости. Беспрестанно слышишь о каком-нибудь скандале то в таком-то университете, то в другом заведении. Нет никакого сомнения, что эти печальные явления — прямое следствие подавления в прошлом царствовании всякой мысли, подчинения ее дисциплине, простиравшейся до совершенного пренебрежения высшими началами нравственности, — словом, следствие сурового, всеподавляющего деспотизма. Теперь все, особенно юношество, проникнуты каким-то озлоблением не только против всякого стеснения, но даже и против законного ограничения.

23 декабря I860 года, пятница

Гонение на воскресные школы. Князь Долгорукий подал государю записку, направленную против них, внушенную ему графом Строгановым. За три или четыре дня министр наш делал государю представление о безвредности этого народного дела и о необходимости не стеснять его. Государь согласился с ним. А теперь опять хотят начать преследованием грамотности, которая, конечно, не составляет еще образования, но дает народу ключ к нему. Разве хотят осудить народ на вечную закоснелость; и когда же? — когда ему дают свободу. Логично ли это? Но у наших обскурантов все рано, и эмансипация рано. Если их слушать, они будут повторять это вечно. Между тем сила вещей и событий требует изменений и нововведений. Министр имел жаркое объяснение с князем Долгоруким.

Перед тем гонителем воскресных школ уже был генерал-губернатор Игнатьев.

Конечно, дело не в воскресных школах, а в народном движении, которое ими выражается. Так что же? Повторяю: разве народ наш осужден навсегда пребывать в стоячем болоте! И не лучше ли управлять этим движением, чем уничтожать его, чтобы взамен него возбудилось движение, более вредное и опасное. Как близоруки наши государственные люди!

30 декабря 1860 года, пятница

Вечером читал у меня Майков свое новое произведение: “Испанская инквизиция”. Это, бесспорно, одно из лучших его стихотворений. Дух времени (Изабеллы), католичества и иезуитства передан им превосходно. Разговор Изабеллы с духовником веден мастерски: в нем изображение и женщины, и государыни, и католички блестит первоклассными поэтическими красотами. Притом все произведение в сложности своей таково, что в нем нельзя ни убавить, ни прибавить ни одного слова — так все точно, полно и строго обдумано.

Еще были у меня в этот вечер Ребиндер, Гончаров и Чивилев. Кстати о Чивилеве. Он назначен воспитателем великих князей на место Гримма. Он нашел маленьких князей ужасно запущенными в умственном отношении. О развитии их и приучении к умственному труду до сих пор вовсе не думали. Между тем в императрице Чивилев нашел прекрасную женщину с добрым, любящим сердцем и возвышенными понятиями. Как это могло случиться, что воспитание князей было

ведено так небрежно? Вина не Гримма, но и не тех, которые его выбрали и так долго терпели. Чивилев советовался со мною насчет некоторых преподавателей. Я советовал ему пригласить для русского языка Ореста Миллера.

Ребиндер тоже просил моего совета, кого бы определить на место Пирогова, которого решительно не хочет государь. Я никого не мог ему указать. Был призван на помощь Чивилев, и он указал Загорского.

1861

4 января 1861 года, среда

Нынешняя зима очень постоянна в холодах. Почти каждый день не меньше 15R мороза, а сегодня, например, 23R.

Обедал у графа Блудова. Там был, между прочим, В.Д. Кудрявцев, назначенный преподавателем философии наследнику. Он из Троицко-Сергиевской лавры. Говорил он так мало, что я не мог составить себе о нем никакого понятия.

5 января 1861 года, четверг

Толки о воскресных школах. Князь Долгорукий подал государю записку о их пагубности: они-де угрожают революцией и черт знает еще чем. Главный почин в этом приписывают графу Строганову. И князь и граф напугали государя. Хотят принять репрессивные меры. Советовать государю меры, подобные этой, право, могут только враги его, Сегодня будут об этом прения в Совете министров. Министр народного просвещения будет защищать школы.

Но, конечно, это одна сторона дела, и воскресные школы, с своей стороны, не безупречны и дают некоторый повод правительству к нападкам на них. В таком случае пусть правительство возьмет на себя руководство ими, но отнюдь не закрывает их.

6 января 1861 года, пятница

Виделся с Владиславом Максимовичем Княжевичем. Очень обрадовались друг другу. Я искренно люблю и уважаю этого благородного и просвещенного человека. Он, между прочим, рассказал мне о процедуре выселения татар из Крыма. Выселение было допущено в широких размерах и вдруг, без всякой постепенности. В результате Крым остался без рук, и теперь хотят возвращать ушедших. Замечательная дальновидность.

Победа за воскресными школами. Вчера было прение о них в Совете министров. Наш министр, говорят, горячо и прекрасно защищал школы. Главным виновником их гонения был не граф Строганов, как в публике ходили слухи, а П.Н.Игнатьев.

Да, победа за воскресными школами: на этот раз их отстоял министр, но сами-то они постоят ли за себя и надолго ли удержатся на высоте своего призвания? Или, как большинство всех благих начинаний в настоящее время, вместе с добрыми

семенами начнут сеять и плевелы?

7 января 1861 года, суббота

Всего важнее для человека не быть жертвой уклонений, какие уже искажали человечество или какие возможны для него по его природе. В этом настоящая нравственность. Неведение зла и лицемерие равно противны ее требованиям, а большею частью только об этом и думают нынешние воспитатели и охранители общественной нравственности.

8 января 1861 года, воскресенье

Утром был у Буслаева, который очень доволен своими лекциями у наследника. Потом зашел к Д.П.Хрущову, а в заключение к Гончарову. У последнего встретил Боткина-старшего, который приехал из Парижа недели полторы тому назад. Он говорил о страшных холодах везде за границею: в Париже 18R, в Кельне 12R, в Берлине 18R — и о всеобщем приготовлении к войне.

10 января 1861 года, вторник В самом деле, это истина, неопровержимая как аксиома: наибольшего недоброжелательства можно ожидать от тех людей, кому оказывал наибольше приязни и услуг.

12 января 1861 года, четверг

Написал и отправил письмо А.И.Морозову, моему доброму старому учителю.

Некоторым из наших деятелей приятнее слышать то, что они молоды, чем то, что они рассудительны.

14 января 1861 года, суббота

Ужаснейшие холода. Мороз за двадцать градусов, со свирепым ветром.

Был в заседании Академии наук. Рассуждали о спряжениях и ничего не рассудили.

Вечером заседание в Обществе пособия нуждающимся литераторам. Происходили перемены в составе правления

Общества: четыре члена должны были по жребию выбыть, а четыре новые избраны. Я очень желал быть в числе первых: силы мои все плохи, и всякое лишнее дело на них отзывается, о чем я и говорил уже Ковалевскому и другим. Желание мое исполнилось. Первый же вынутый номер был с моим именем. Потом вышли имена Кавелина, Краевского, Галахова. Правление много потерпит, лишаясь двух последних. Краевский прекрасно исполнял должность казначея, а Галахов — секретаря. Не скоро найдешь таких усердных и порядочных деятелей в этом кругу.

17 января 1861 года, вторник

Поутру в католической церкви реквием по случаю кончины В.Ганки. Было довольно студентов. Из профессоров, кроме меня, были, кажется, только Срезневский, Костомаров, Мухлинский.

Однако и я не дослушал всего реквиема до конца. В церкви было холодно, а мне очень не по себе.

19 января 1861 года, четверг

Юбилей министра финансов А.М.Княжевича по поводу пятидесятилетия его службы. Шум, толпа, музыка, тосты с криками ура, речь Греча, стихотворение Бенедиктова, которых никто не слыхал, обильная еда и обильное питье. В этом прошло несколько часов. Усердия в словах было много. Впрочем, Княжевич действительно человек очень хороший и добрый, и кто так о нем думал и говорил сегодня, тот не лгал, как лгут обыкновенно на официальных обедах. Государь пожаловал ему Владимира первой степени.

21 января 1861 года, суббота

Заседание в Главном управлении цензуры. Продолжалось очень долго, почти до четырех часов, и это сильно отозвалось на моей бедной голове. Гонение со стороны Московского комитета, или, вернее, его председателя, на Павлова, редактора газеты “Наше время”. На меня возложено щекотливое поручение рассмотреть это дело.

Барон Медем говорил мне о своем проекте газеты, подобной той, о которой у меня уже было дело. Он передал мне, что говорил об этом с государем, и его величество ответил, что о газете уже делаются соображения. Тут разумелся мой план. Итак, дело о газете, значит, опять думают поднять. Я сказал Медему, что переговорю с графом Ад-лербергом и сообщу ему о последующем.

Обедал у Александра Максимовича Княжевича по случаю дня рождения его брата, Владислава Максимовича. Министр доволен своим юбилеем. В самом деле, тут было много для него лестного. Государь сказал ему, что с большим удовольствием видит общее к нему расположение.

22 января 1861 года, воскресенье

Утро у князя В.Ф.Одоевского. Я давно с ним не видался. Княгиня была чрезвычайно любезна. У них по средам вечером собирается общество, и я дал слово бывать у них.

23 января 1861 года, понедельник

Такие головные толчки, как в нынешнюю ночь, невольно наталкивают на

мысль, что в одну непрекрасную ночь случится толчок, который столкнет меня в пропасть, где уже никакие толчки невозможны. До сих пор все усилия медицины против моей болезни бессильны. Мой добрый, почтенный Вальц отделывается общими местами: “это ничего, будьте спокойны”, с примесью маленьких добродушных шуточек. Очевидно, он ничего не знает или ничего не может. Я и не виню его. Нельзя же винить человека за то, чего он не знает и чего не может. А между тем дневнику моему грозит опасность превратиться в один нескончаемый скорбный лист.

27 января 1861 года, пятница

В Римско-католической академии. Распутица. От высокого до смешного один шаг. О нашем климате можно сказать, что у него от двадцатипяти-, двадцатисемиградусного мороза до оттепели один прыжок.

28 января 1861 года, суббота

Здесь в Главном управлении цензуры. В первом или во втором номере “Искры” напечатана шутка: “Слышно, будто в нынешнем году явится новая планетная система в Млечном Пути — новое солнце с 14-ю спутниками главными и 208-ю малыми; что в течение десяти лет оттуда каждый месяц по четыре раза будет падать на землю, и именно на Россию, такое огромное количество печатных листов, что они покроют все наше отечество”, и т.д. и т.д. Эти слова истолковали невозможным образом. Объясняют: 14 главных спутников — это члены высокопоставленной семьи, 208 малых — столько генералов и флигель-адъютантов; печатные листы — это кредитные билеты. В обществе разнеслись даже слухи, будто цензор, пропустивший это, посажен на гауптвахту.

В Главном управлении цензуры тоже была об этом речь. Некоторые члены готовы были сами сделать такое точно применение статьи. Я постарался объяснить, что в ней и тени ничего подобного и что все это относится к изданию “Энциклопедического лексикона”, где главное лицо (солнце) — Краевский, а у него 14 редакторов и 208 сотрудников; 10 лет — срок издания, которое в течение этого времени будет выходить выпусками — по четыре ежемесячно. С этим объяснением согласились. Не знаю, удовлетворится ли им также князь Долгорукий. Этот факт любопытен тем, что показывает, как настроено наше общество и чего оно ищет в современной литературе.

Затем пошли нападки на разные журналы, доказывающие одно: некоторые господа страшно боятся печати и готовы из каждой мухи делать слона.

29 января 1861 года, воскресенье

Важный для всей России день. Дело об освобождении крестьян внесено в Государственный совет. В заседании присутствовал сам государь. Оно длилось от часу до половины седьмого. Государь, говорят, сказал прекрасную речь, в которой,

между прочим, произнес слова: “Самодержавная власть утвердила крепостное право в России, она же должна и прекратить его”. Он с большою твердостью выразил непременную державную волю свою о том. Некоторые члены протестовали против главных оснований свободы, и между ними, говорят, жалко отличился один, который выразил скорбь о прекращении нежных патриархальных отношений между помещиками и крестьянами, П.А. Клейнмихель, обратясь к государю, сказал: “Ваше величество изволили обещать предоставить помещикам полицейскую вотчинную власть над крестьянами”.

Проект правительства сильно поддерживали великий князь Константин Николаевич, граф Панин и Чевкин. На противной стороне, между прочим, был и просвещенный, либеральный граф Строганов. Видно, недалеко ушли его либерализм и просвещение.

Партия противников свободы, кажется, готова в своем бессилии на всякие гадости. Она выдумывает и распускает по городу разные нелепые слухи в расчете напугать правительство. Теперь, например, пущена в ход глупая выдумка о явлении Путятину тени Якова Ивановича Ростовцева и проч. Из рук вон пошло и достойно только мельчайших сердец и умов.

30 января 1861 года, понедельник

Все утро занимался приготовлением доклада о споре Московского цензурного комитета с Павловым.

2 февраля 1861 года, четверг

Годичное собрание Общества для пособия нуждающимся литераторам. Ковалевский прочитал ответ или речь, которую он только один, кажется, и слышал. Надо отдать ему справедливость, он удивительный мастер читать себе под нос.

5 февраля 1861 года, воскресенье

На днях прочел я в первом номере “Отечественных записок” статью Лаврова “Три беседы о философии”. Это те самые лекции, которые были читаны в Пассаже. Боже мой, и это философия! Я не говорю уже о том, что тут все один материализм. Но что за путаница! Что за хаос мыслей! Что за бестолковое изложение! Разве только на Сандвичевых островах можно признать за философию весь этот бред, все это шатание неустановившейся мысли. И этого Лаврова хотят навязать нам в университет в профессоры. Меня особенно огорчает то, что его, между прочим, поддерживает Кавелин.

8 февраля 1861 года, среда

Акт в университете, неожиданно окончившийся большой демонстрацией со стороны студентов. Костомаров должен был читать речь. Он написал род биографии

К.С.Аксакова. Министр отменил чтение этой речи. И вот теперь, по окончании акта, в зале вдруг раздались крики: “Речь, речь Костомарова!” Крики сопровождались топаньем, стучаньем и скоро превратились в дикий рев. Начальство скрылось. Один инспектор, как тень, бродил по коридору. Ко мне обратилось несколько благоразумных студентов с просьбою, чтобы я уговорил ректора Плетнева прийти и образумить как-нибудь расходившуюся толпу. Я пошел к ректору и застал его встревоженного, но он тотчас же согласился идти. Я отправился вслед за ним, видел, как он вошел в толпу, но за шумом ничего не мог слышать. Между тем я увидел жену его, бледную, испуганную, в сопровождении двух студентов. Я предложил ей руку и увел ее. Немного спустя к нам вернулся ректор, и я уехал домой. Прескверное дело! Молодежь теряет всякий смысл…

9 февраля 1861 года, четверг

Не будем слишком сетовать на те нелепые стремления, которыми волнуются люди нашего времени. Это безумие, но только одним безумием люди вразумляются в чем-нибудь умном. Надо противодействовать безобразным порывам, исполняя требования разума, даже и не питая надежды на успех. Во всяком случае ты, может быть, сможешь хоть сколько-нибудь умерить последствия зла, если не силу самого зла.

11 февраля 1861 года, суббота

Заседание в Главном управлении цензуры. Читал мое мнение по делу о Павлове. Одобрено и положено считать его руководством для цензоров. Дело о фразе Лаврова в “Отечественных записках” (N 1) обошлось, сверх моего чаяния, совсем хорошо.

Разговор с графом Адлербергом о том, что произошло на университетском акте. Защищать поступки студентов я по совести не мог, но сказал, что здесь, во всяком случае, нужна *умеренная* строгость. Главная причина всему — неразвитость нашего юношества, которому поэтому и надо больше учиться и проч.

12 февраля 1861 года, воскресенье

У Кавелина сын умер, мальчик четырнадцати лет, прекрасно одаренный, отрада и гордость родителей. Ужасное несчастие! Я хотел сегодня поехать к нему, чтобы разделить его великое горе. Но, говорят, бедное дитя умерло от скарлатины, и я должен отказаться от моего намерения из опасения за моих собственных детей.

Вечером был у Княжевича. Длинная дружеская беседа с Владиславом Максимовичем Княжевичем. Министр входил к нам только на минуту. Он собирался на бал к Штиглицу.

15 февраля 1861 года, среда

Как спасти наши университеты от грозящей им полной деморализации? Ведь в них вся наша сила, все наши надежды на будущее!

Сегодня в сборном университетском зале были разные толки о происшествии на акте. Я высказал некоторые истины начальству, но, к сожалению, оно лишено возможности действовать с энергией и с достоинством. Да и министр не лучше в этом отношении. Некоторые из профессоров готовы даже защищать поступки студентов. С одним я сильно сегодня спорил. Ах, господа! Нет, не любовь к юношеству и к науке говорит в вас, а только стремление к популярности среди студентов. Вместо того чтобы читать им науку, вы пускаетесь в политическое заигрывание с ними. Это нравится неразумной молодежи, которая, наконец, начинает не на шутку думать, что она сила, которая может предлагать правительству запросы и контролировать его действия.

Когда правительство являлось в характере насилия, когда оно стремилось подавлять всякое развитие свободы, всякие умственные и нравственные влечения, — тогда справедливо было его ненавидеть и стараться, где можно было, ослаблять его деспотический гнет. Но когда оно ступило на другой путь, когда оно готово уважать то, что прежде презирало и угнетало, словом, когда оно стремится сделаться и более разумным и более просвещенным, — тогда бесчестно не содействовать его благим начинаниям и работать только над его ослаблением. И это в такой момент, когда общество сильно колеблется в своей незрелости и темные силы влекут его на путь к анархии!

И чего хотите вы, господа красные, если только вы имеете определенные цели? Вы хотели бы уничтожить настоящее правительство. Но кого же поставите на место его? Разумеется, вы не затруднитесь поставить себя. Но другие могут не захотеть этого. Тогда что: борьба, война? “Конечно, пусть повоюют, порежутся маленько — это полезно для человечества”. Но кто же дал вам право распоряжаться чужими жизнями и человеческую кровь считать за воду?..

18 февраля 1861 года, суббота

Умы в сильном напряжении по случаю крестьянского дела. Все ожидали манифеста о свободе 19-го числа. Потом начали ходить слухи, что он на время отлагается. В народе возбудилась мысль, что его обманывают. Вчера генерал-губернатор пустил через газеты объявление, что, несмотря на разнесшиеся слухи, “никаких правительственных распоряжений по крестьянскому делу объявлено не будет”. Это странное объявление, без всяких объяснений, что дело отлагается только на короткое время, приводит в раздражение умы. Опасаются тревог и вспышек.

В сегодняшней газете (петербургской) пишут о покушении на бунт в Варшаве.

Что-то зловещее чуется в атмосфере. Дай Бог, чтобы все прошло благополучно.

20 февраля 1861 года, понедельник

Барон Медем написал инструкцию цензорам. Сегодня прислана она мне для

прочтения. Говорят, тунисский бей вводит некоторые либеральные реформы в своем государстве. Без сомнения, однако, реформы эти составляют смешную карикатуру на свободные учреждения. Вот такую-то либеральную реформу предлагает в своей инструкции барон. Сегодняшний день я занимался проектом опровержения этой инструкции. Ее всячески надо отвергнуть. Главное, я буду доказывать, что подобные правила для цензуры невозможны. Когда это удастся доказать, инструкция сама собой падет.

22 февраля 1861 года, среда

Заезжал утром к Делянову поговорить с ним о проекте инструкции цензорам барона Медема. Он, так же как и я, находит ее невозможною. Вот уже один голос в мою пользу при будущих прениях.

23 февраля 1861 года, четверг

Наше дворянство должно с освобождением крестьян стать в новое отношение к правительству. Оно должно приобрести новый нравственный и политический авторитет. Первый зависит от него самого, от степени его ума, образования и нравственной силы: ему предстоит теперь опереться на них, и на них одних. Авторитет политический возникает сам собой из новых обстоятельств, в которые дворянство вовлечено реформой. Правительство, освобождая крестьян, не могло не совещаться об этом с дворянством, не могло не призвать его к участию в своих предначертаниях. Это зародыш, из которого могут развиться более обширные права дворянства, разумеется, если оно сумеет воспользоваться этим первым выпавшим ему на долю моментом участия в делах правительственных, но сумеет не иначе, как опираясь на нравственный авторитет. Тогда оно получит политическое значение, собственно не как дворянство (для этого у него нет достаточной юридической и исторической почвы), но как лучшая часть народа, более образованная, более развитая, более способная понять какое бы то ни было право и поддержать его перед авторитетом верховной власти.

24 февраля 1861 года, пятница

Занимался проектом об уничтожении посторонних цензоров. Дело это поручено комиссии, состоящей из меня, Тройницкого и Берте.

25 февраля 1861 года, суббота

Заседание Главного управления цензуры от 12-ти до четверти 5-го часа. Много текущих дел. Несколько просьб о разрешении изданий новых журналов, которые теперь возникают в бесчисленном множестве в России. Вернадский, по словам члена, барона Бюлера, неистовствуя в своем “Экономическом указателе” против правил цензуры, дошел, наконец, до того, что начал ясно говорить о необходимости конституции в России. Решено: призвать его в следующее заседание Главного

управления цензуры и объявить, что так как он уже неоднократно доказал, что не заслуживает доверия правительства, то ему, при первой новой выходке, запрещено будет издавать журнал. Некоторые из членов требовали немедленного запрещения, но я уговорил Тимашева, сидевшего возле меня, удовольствоваться на этот раз выговором. С нами согласились и другие.

26 февраля 1861 года, воскресенье

Все эти господа добиваются влияния. Дело не в том, чтобы устранять их, — если только они не стремятся прямо ко злу, — а в том, чтобы не допускать их до исключительного перевеса, ибо это значило бы порождать деспотизм.

2 марта 1861 года, четверг

Не то худо, когда говорят что-нибудь наперекор кому-нибудь и чему-нибудь, а когда говорят ложь, когда ничего не говорят или мешают друг другу говорить.

Обед, данный Академиею наук некоторыми литераторами и знакомыми князю П.А. Вяземскому, который приобрел литературную известность и всеобщую любовь и уважение. Я охотно согласился принять участие в этой овации и даже приготовил маленькую речь, но не сказал ее, потому что и без нее было много речей и стихов. Лучшее из всего читанного здесь были стихи Бенедиктова. Но еще лучше было благодарственное слово самого князя, проникнутое чувством и искрящееся остроумием. Стихов Тютчева я не расслышал, но их многие хвалили. Праздник вообще был довольно оживлен. Я встретил много знакомых. На эстраде, огороженной великолепными растениями и цветами, зрительницами сидели дамы.

5 марта 1861 года, воскресенье

Великий день: манифест о свободе крестьян. Мне принесли его около полудня. С невыразимо отрадным чувством прочел я этот драгоценный акт, важнее которого вряд ли что есть в тысячелетней истории русского народа. Я прочел его вслух жене моей, детям и одной нашей приятельнице в кабинете перед портретом Александра II, на который мы все взглянули с глубоким благоговением и благодарностью. Моему десятилетнему сыну я старался объяснить, как можно понятнее, сущность манифеста и велел затвердить ему навеки в своем сердце 5 марта и имя Александра II Освободителя.

Я не мог усидеть дома. Мне захотелось выйти побродить по улицам и, так сказать, слиться с обновленным народом. На перекрестках наклеены были объявления от генерал-губернатора, и возле каждого толпились кучки народа: один читал, другие слушали. Везде встречались лица довольные, но спокойные. В разных местах читали манифест. До слуха беспрестанно долетали слова: “указ о вольности”, “свобода”. Один, читая объявление и дочитав до места, где говорится, что два года дворовые должны еще оставаться в повиновении у господ, с негодованием воскликнул: “Черт дери эту бумагу! Два года — как бы не так, стану я

повиноваться!” Другие молчали.

Из знакомых я встретился с Галаховым. “Христос воскресе!” — сказал я ему. “Воистину воскресе!” — отвечал он, и мы взаимно передали друг другу нашу радость.

Потом я зашел к Ребиндеру. Он велел подать шампанского, и мы выпили по бокалу в честь Александра II.

7 марта 1861 года, вторник

В России не служить — значит не родиться. Оставить службу — значит умереть.

11 марта 1861 года, суббота

Заседание в Главном управлении цензуры. Выговор Вернадскому, издателю “Экономического указателя”, с угрозой прекратить его журнал, если он не будет осторожнее. Вернадский смущен и оправдывался довольно неловко.

13 марта 1861 года, понедельник

Заседание в факультете. Дело о суде над студентами, о котором мне уже говорил Делянов, принимает нехороший вид. А все профессора, добивающиеся у студентов популярности и не руководящие, а подстрекающие их. Тут виноват Спасович.

Всякий деспотизм скверен. Но деспотизм анархический еще несравненно хуже монархического.

16 марта 1861 года, четверг

Судьба наших университетов должна бы обратить на себя внимание наших мыслящих людей и общества, если бы они способны были заниматься такими безделицами. Университеты наши, очевидно, клонятся к упадку. Юношество в них деморализовано; профессора лишены всякого значения… Многие кафедры пусты, другие скоро будут пусты, и некем их заместить, потому что молодые даровитые люди службе университета предпочитают другие карьеры, — одним словом, полное оскудение. Право, никогда еще, кажется, даже при Николае I, в 1848 году, университеты наши не были в таком критическом положении, как теперь.

Читал сегодня в Академии мои заметки “О преподавании философии в наших университетах”. Особенное сочувствие выразил мне Билярский. Ему, как он говорит, очень нравятся мягкость, ясность и осязательность, с какими выражены у меня самые отвлеченные предметы.

18 марта 1861 года, суббота

Заседание в Главном управлении цензуры. Мне поручено написать род наказа цензорам по некоторым текущим вопросам щекотливого свойства. Делу этому угрожало попасть в руки великого инструктмейстера барона Медема или канцеляриста Берте, этого великого возбуждателя вопросов, о которых само правительство охотно забывает. О последнем уже говорить нечего, а первый думает, что можно подвести под цензурные правила все отправления ума человеческого и таким образом разом освободить человечество от всяких нехороших мыслей. Пришлось взять это дело на себя.

Вечером у Шульмана. Тут было бесчисленное множество артиллерийских офицеров, много генералов и наш министр, тесть Шульмана. Вечер давался по случаю именин Александры Евграфовны, жены Шульмана. Я много говорил с министром об университетских скандалах, о литературе, о князе Щербатове. Министр считает его человеком недальним и называет первым виновником беспорядков в нашем университете.

В заседании Главного управления цензуры сделано “Современнику” предостережение, что если он не переменит направления, то будет запрещен. Это по докладу Берте.

21 марта 1861 года, вторник

То, что касается устройства вещей на земле, превосходно. Но нельзя того же сказать о судьбе живущих на ней. Природе совершенно все разно, страдает ли какое-либо создание или не страдает. Все это немножко похоже на наши казенные заведения. Во внешнем устройстве последних все чисто, порядочно, безукоризненно, но то, для чего именно учреждено заведение, не достигается. Снаружи — благочиние и благолепие, внутри — смятение, беспорядок и всякого рода крадства. Если это больница, то там больных не лечат или дурно лечат. Если это школа, то в ней никто не заботится о воспитании.

22 марта 1861 года, среда

Вечером был у Ребиндера. Занимались проектом о разделении факультетов. Много толковали о министре. Ковалевский последнее время оказывается не на высоте своего положения. У него способности рутинера, человека, приспособленного к внешнему устройству вещей и к благоразумному ведению текущих дел, но у него не оказывается способностей быть человеком государственным и особенно министром народного просвещения.

28 марта 1861 года, вторник

Был у Делянова, чтобы удостовериться в том, справедлив ли разнесшийся слух, будто он подает в отставку. Слух оказался неверным. Толковали о введении нового управления в университете.

30 марта 1861 года, четверг

Сегодня моя последняя лекция в университете. С первого апреля начинаются экзамены. Я простился со студентами, сказав им несколько приветливых, искренних слов. Они выслушали меня внимательно и учтиво — и этого довольно, так как в моих словах не было ни лести, ни одобрения их действиям.

31 марта 1861 года, пятница

Обедал у графа Блудова. Там были, между прочим, Тютчев, Ковалевский Егор, Анненков с молодой женой. Графиня восхищалась стихами Хомякова, а Анненков не находил в них ничего хорошего. Граф нападал на нынешних писателей за то, что они не умеют писать, и в сотый раз повторял свою любимую фразу: “Они, то есть нынешние писатели, не понимают, что есть на свете нечто, называемое искусством писать”. Ковалевский и я молчали. Оспаривали графа Анненков, впрочем очень слабо, и Тютчев. Тут встретил я также — и возобновил с ним знакомство — К. К. Грота, бывшего губернатора самарского, а ныне директора департамента податей и сборов.

Вечером были у меня Воронов, Семевский, Тимофеев Константин Акимович. Семевский передавал нам свои прелюбопытные изыскания в архиве петровского времени. Выходит, что Устрялов упустил множество чрезвычайно важных источников в истории Петра, отчего история эта не представляет ни Петра, ни века его в настоящем свете.

Говорили еще о лекциях Ламанского. Он читает о Ломоносове. Я ожидал от него чего-нибудь нового, дельного. Между тем он главным образом потешается над немцами-академиками и доказывает, что Ломоносов, ссорясь с ними, хорошо делал. Интересна также мысль, что детство и юность Ломоносова прошли в самых благоприятных условиях для развития его гения, потому что живущий на Двине народ очень смышлен, и т.д.

7 апреля 1861 года, суббота

Заседание в Главном управлении цензуры. Министру сегодня точно хотелось выставить себя перед графом Адлербергом строгим и бдительным стражем литературы. Например, он усиливался опять запретить Некрасова, хотя все, кроме Пржецлавского, готовы были пропустить его, за исключением немногих мест. Наконец уже и граф Адлерберг заступился за него.

4 апреля 1861 года, вторник

Вечер у Льховского, сделавшего кругосветное путешествие и побывавшего в Японии с нашим посольством. У него целый музей японских вещей и вещиц. Механические искусства, как видно, находятся в Японии на высокой степени развития. Но сами японцы тем не менее стоят еще на очень низкой степени умственного развития и образования. У них почти до совершенства доведена

специальность рук, глаз и навыка. Эстетического же чувства, идеала — у них нечего и спрашивать.

Майков прочел нам свое новое стихотворение “Бабушка”. Хорошо!

7 апреля 1861 года, пятница

Недели две уже длится коварнейшая погода. Солнце светит ярко, как летом, а между тем стоит страшный холод с пронзительным ветром. Постоянно три-четыре градуса мороза.

Вчера занимался целый день проектом циркуляра цензорам, которым желал бы вытеснить знаменитую инструкцию барона Медема. У нее есть сторонники, а между тем она крайне запретительна. Должно быть, от усиленного напряженного состояния головы весь день ночью налетел на меня такой сильный шквал. Вся ночь была преисполнена страшных мерзостей: стукотня в голове страшная, какой давно уже не было; а толчков пять или шесть. Едва поуспокоюсь и задремлю — толчок; из них три — точно обухом в голову. Сегодня отправляюсь к Вальцу за советом — конечно, бесполезным.

8 апреля 1861 года, суббота

Весьма замечательное для меня заседание в Главном управлении цензуры. Я одержал победу. Дело в том состояло, чтобы отклонить инструкцию барона Медема, и для этого я написал циркуляр цензорам в духе, противоположном медемовской инструкции. Он стоил мне много, размышлений и времени. Я опасался, что мне придется много бороться с некоторыми из членов. Однако победа была полная. Циркуляр мой был выслушан со вниманием и в заключение был всеми одобрен, даже Пржецлавским — чего я уже никак не ожидал.

Министр сильно промахнулся. Он прямо от себя, помимо Главного управления цензуры и помимо III отделения, исходатайствовал у государя дозволение И.С.Аксакову издавать журнал. Об этом нам было объявлено в прошлом заседании с указанием того, каким образом было испрошено согласие государя. Это сильно оскорбило Тимашева, а следовательно, и князя Долгорукова: они успели переубедить государя. Когда Ковалевский сегодня явился к нему с докладом, между прочим и по делу Аксакова, государь уже другим тоном начал о нем говорить и велел, чтобы оно — это дело — было рассмотрено в Главном управлении цензуры на законном основании. Министр говорил мне об этом с прискорбием. Но дело все-таки, кажется, не проиграно: большинство голосов было за Аксакова.

Обедал у Делянова. Там были Погодин, Костомаров, Спасович. После обеда явились Плетнев и Тютчев.

9 апреля 1861 года, воскресенье

Поутру, между прочим, заходил к Дружинину. Бедный болен, и нехорошо болен.

У него, кажется, развивается чахотка. Вечером приезжал ко мне В.М.Княжевич. Мы с ним хорошо побеседовали.

10 апреля 1861 года, понедельник.

В некоторых губерниях в разных уездах уже произошли волнения среди крестьян, которые отказываются от выполнения всяких повинностей в отношении к помещикам. Помещики, в свою очередь, сильно раздражаются. Надо опасаться столкновений при наделе землей. Между тем так называемый образованный класс и передовые, как они сами себя называют, люди бредят конституцией, социализмом и проч. Юношество в полной деморализации. Польша кипит — и не одно Царство Польское, но и Литва. Все это угрожает чем-то зловещим.

12 апреля 1861 года, среда

Экзамен в университете из русской истории. Надо отдать справедливость этим юношам: они прескверно экзаменовались. Они совсем не знают — и чего не знают? — истории своего отечества. В какое время? — Когда толкуют и умствуют о разных государственных реформах. У какого профессора не знают? — У наиболее популярного и которого они награждают одобрительными криками и аплодисментами [Костомарова]. Кто не знает? — Историко-филологи, у которых наука считается все-таки в наибольшем почете и которые слывут лучшими студентами, не знаю, впрочем, почему. Невежество их, вялость, отсутствие логики в их речах, неясность изложения превзошли мои худшие ожидания.

Вечером у Ребиндера. Государь призывал к себе министра и объявил ему, что такие беспорядки, какие ныне волнуют университеты, не могут быть долее терпимы и что он намерен приступить к решительной мере — закрыть некоторые университеты. Министр на это представил, что такая мера произведет всеобщее неудовольствие, и просил не прибегать к ней. “Так придумайте же сами, что делать, — сказал государь, — но предупреждаю вас, что долее терпеть такие беспорядки нельзя, и я решился на строгие меры”.

Министр растерялся совсем: он ни о каких мерах до сих пор и не думал, как будто все обстоит благополучно. Не счастливится в выборе людей нашему доброму, хорошему государю. Три года ежедневно на глазах у Ковалевского совершаются вопиющие скверности — и он до сих пор не мог себе представить, что тут надо что-нибудь предпринять.

13 апреля 1861 года, четверг

Если искусство зависит от окружающей его природы и среды, то каково должно быть наше? Ему остается одно из двух: или, постоянно воспроизводя пошлые и грязные явления, самому стать пошлым и грязным, или удариться в отчаянный идеализм.

14 апреля 1861 года, пятница

Вечером, между прочим, приезжали девицы Старынкевич. Их три. Они миловидные и очень хорошо образованные; рассуждают о предметах серьезных, много читают на пяти языках, но вовсе не педантки. Мои дочери с ними очень сошлись.

15 апреля 1861 года, суббота

В четверг в Совете министров происходили прения об университетах. Министр наш встретил страшные нападки на беспорядки, производимые студентами. Он ссылался на дух времени, но это не помогло. Государь назначил графа Строганова, Панина и князя Долгорукова рассмотреть записку министра о мерах, которые он предлагает. Собственно говоря, это значит подвергнуть министерство контролю и вверить попечение о делах его посторонним силам. Вот и дождался Евграф Петрович! Граф Строганов, между прочим, обратился к нему с вопросом: “Что сделали бы вы, если бы какой-нибудь профессор в вашем присутствии начал бы читать лекцию о конституции в России?”

Заседание в Главном управлении цензуры. Страшная путаница в понятиях наших глав цензуры. Мне удалось, однако, помочь графине Салиас. Зотову только уже никак не мог помочь: ему, кажется, придется оставить редакцию “Иллюстрации”. Да, правду сказать, он беспрестанно ссорился с цензорами.

16 апреля 1861 года, воскресенье

Тройницкий говорил мне, что вчера получена телеграфическая депеша из Казанской губернии, извещающая о бунте там крестьян. Кто-то уверил их, что читанный ими манифест о свободе — не настоящий и что есть другой, предоставляющий им гораздо больше прав и выгод, например, отдающий им всю помещичью землю. На этом основании крестьяне отказались от повиновения не только помещикам, но и властям. Была употреблена военная сила. Шестьдесят человек крестьян убито.

Вообще ходят слухи о вспышках в разных губерниях. Поутру был у меня Погодин. Жалобы на министра, распустившего студентов. Вечер просидел у меня Сафонович (Валерьян Иванович), бывший орловский губернатор, человек умный и образованный. От него я получил любопытные сведения о положении дел и о состоянии умов в провинции.

17 апреля 1861 года, понедельник

Мой старый приятель, сенатор Хрущев, сошел с ума. Его уже отвезли в дом умалишенных к Штейну. Вслед за ним сошла с ума и жена его. Еще одно лишнее доказательство шаткости и несообразности в делах человеческих. Хрущев был честный, умный и просвещенный человек, каких не много у нас. Последние два-три года его преследовали постоянные неудачи по службе. За некоторые смелые мнения

его, особенно против Игнатьева и Муравьева, кое-кто стал прославлять его крайним либералом, даже красным, — как он однажды сам мне это говорил. Это сильно и гибельно подействовало на его восприимчивую, честолюбивую душу, особенно, когда он увидел, что ему преградили путь к широкой деятельности, на который он уже было вступил.

23 апреля 1861 года, воскресенье

День пасхи. У заутрени был в министерской церкви. После обедни министр позвал меня к себе разговляться, и мы отправились к нему вместе с Гончаровым.

Министр подал в отставку, но государь пожелал, чтобы он остался, пока приищет ему преемника. Ковалевский говорил мне, что оставляет свой пост с огорчением, но не может не оставить его, так как от него требуют, чтобы он приводил в исполнение чужие планы. Валуев сделан министром внутренних дел; Ланской — графом и обер-камергером; Чевкину и Панину пожалованы андреевские ленты; графу Блудову — аренда в двенадцать тысяч на двенадцать лет. Вообще наград бездна.

24 апреля 1861 года, понедельник

Некоторые визиты: у Княжевича, у Муханова и проч. У Муханова встретил нового министра внутренних дел Валуева, который был лучезарен, как восходящее светило. Он наговорил мне кучу любезностей.

Вечер у Егора Петровича Ковалевского. Это были его именины, на которые он обыкновенно сзывает самое пестрое общество: от Чернышевского до министра иностранных дел Горчакова. Я нашел там много знакомых, и таких, которых не видал лет двадцать, например Мухина, долго жившего на Востоке, то в Каире, то в Константинополе. Много толков о предстоящем кризисе в нашем министерстве, Делянов тоже подал в отставку. П.Л.Лавров благосклонно кивнул мне головой и поговорил о равнодушии публики к “Энциклопедическому лексикону”.

Когда большинство гостей разъехалось, несколько человек приютилось в кабинете хозяина и тут еще проболтали до часу. Панаев, по обыкновению с кокетливыми ужимками, рассказывал анекдоты об известных лицах. Чернышевский, тоже по обыкновению, смотрел великим мыслителем, публицистом, философом.

25 апреля 1861 года, вторник

Прием у министра. Бесконечные толки о кризисе в министерстве народного просвещения. Тут все видят торжество реакционной партии, и Ковалевский мало-помалу вырастает в общественном мнении. Он не только оскорблен, но озлоблен. Я, однако, полагаю, что он не совсем прав. Ему давно и серьезно следовало бы подумать об университетских беспорядках. Теперь же, когда для рассмотрения его предположений назначен триумвират, ему, конечно, ничего больше не остается, как выйти в отставку. Ковалевский — человек не довольно сильной воли и не довольно,

по настоящим временам, смелого и обширного ума. Но все-таки он умен, а главное, честен, — и этого уже много. Прочие далеко не так умны, а о добросовестности уже и говорить нечего. Каково, однако, положение государя: не иметь возможности положиться ни на ум, ни на честность окружающих его.

Говорят, Строганову предложено было министерство: он отказался. Говорят также, что он очень силен при дворе и что его интрига произвела нынешний кризис. Сюда приезжал московский попечитель Исаков. Государь дал ему прочитать предположения Ковалевского и спросил его мнение. Исаков отвечал, что он слово от слова разделяет его. “Поезжай же, скажи это графу Строганову”, — сказал государь.

Но в чем состоят эти предположения? Главная мысль их, как говорят, в том, что никакие репрессивные меры, никакие строгости не приведут к добру, но что надобно усовершенствовать университеты в финансовом отношении и дать им возможность действовать в науке соответственно потребностям времени и успехам ее в Европе. Но это все общие положения, а где же меры, которые должны и могли бы осуществить их?

26 апреля 1861 года, среда

Вчера узнал я, что бедный Куторга (старший) умер. Это был один из лучших наших профессоров. Два года уже, как он быстро падал умственно и физически. Он как-то очень невыгодно купил имение, запутался в долгах, и это потрясло его дух и тело. После него осталось семеро детей. Он был три раза женат.

Смотря на страдания, глупости человеческие, на всю эту жалкую процедуру жизни, оканчивающуюся смертью, невольно спрашиваешь себя: с какою целью все это сделано или сделалось? В отчаянии, право, иногда кажется, что это действительно сделалось, а не сделано, а потому тут о цели и спрашивать нечего.

1 мая 1861 года, понедельник

Весь апрель был очень холоден. Стояли ясные, но крайне суровые дни. Вообще и признаков весны нет.

В Казанской губернии, как известно, крестьяне забунтовали. Там объявился самозванец. Кто-то назвался одним из великих князей и распространил в народе манифест своего изделия, предоставляющий крестьянам неслыханные льготы, а именно, что вся помещичья земля их, что они не обязаны ни платить помещикам оброка, ни работать на них. Принуждены были прибегнуть к военной силе. Человек пятьдесят убито. Это не осталось без отражения и на университет. Студенты отправили по убитым панихиду. Во главе их был какой-то профессор. Другой профессор, Щапов, сказал речь.

Бесчисленные толки о назначении министра народного просвещения. Теперь бродят по городу имена Литке и Корфа.

3 мая 1861 года, среда

Однако добродушный русский народ, который, по словам Погодина, встретил свободу с умилением сердца, кротко и благодарно, начинает в разных местах проявлять свое вековое невежество и грубое непонимание закона и права. Вчера опять тамбовский помещик рассказывал мне, что у него в имении тоже были сцены неповиновения властям: “Не хотим работать, и дай нам земли, сколько хотим”. Опять принуждены были призвать солдат для растолкования им, что работать должно и что земля не вся их. В другом имении крестьяне бросились с топорами в барский лес и еще до раздела весь вырубили.

4 мая 1861 года, четверг

А болезненные симптомы у меня не прекращаются. Опять возникают толки о необходимости повторить морские купанья. На этот раз доктора соглашаются ограничиться Либавой, так как я наотрез отказался от более далекого путешествия.

5 мая 1861 года, пятница

Приемный экзамен в университете. Экзаменовались в русском языке гимназисты. Нельзя сказать, чтобы блистательно. Вечером были Гончаров, Краевский, Льховский и другие. Краевский вчера приехал из Москвы. Там студенты, по его словам, распущены еще хуже, чем в Петербурге. Они явно требуют смены таких-то лиц, чтобы начальство не мешалось в их дела, а главное — совершенно не хотят ничему учиться. Дворянство в Москве все, по словам Краевского, сильно негодует на нынешнее положение вещей. Словом, все приходит в разладицу и безобразие.

6 мая 1861 года, суббота

Прелестные майские дни, нечего сказать. Три градуса тепла, пронизывающие до мозга костей зефиры, грязь, а сегодня ночью даже выпал снег. Надевай опять шубу.

Заседание в Главном управлении цензуры. Пропасть дел, просидели до четырех часов. Прения о Зотове, которые я опять возбудил, стараясь доказать, что нельзя так легко лишать писателя права быть редактором журнала. Берте, главный виновник этого решения, утверждал, что Зотов его заслужил, нарушив цензурные правила. Я возразил, что все-таки не следовало постановлять такого сурового решения, не истощив прежде более умеренных средств. Кончилось тем, что, не отменяя уже постановленного решения, согласились дать Зотову возможность оставаться редактором “Иллюстрации” неопределенное время, в которое он может поправить свою ошибку.

Еще прения о воспрещении в обличительных статьях печатать имена. Кроме того, Пржецлавский сильно восставал против ввоза заграничных книг через Польшу.

8 мая 1861 года, понедельник

Экзамен в университете из русской словесности. Экзаменовался IV курс. Отвечали хорошо.

10 мая 1861 года, среда

Ночь, какой давно не бывало. На этот раз уже совсем не знаю, чем заслужил я такую немилость природы.

Мы все готовы быть благоразумны, трудолюбивы, честны при благоприятных условиях и всегда ссылаемся на неблагоприятные при недостатке в нас вышеупомянутых качеств.

12 мая 1861 года, пятница

Вчера решалась в Совете министров судьба университетов. Граф Строганов читал свой проект. В чем именно состоит этот проект — я в точности не знаю. Но говорят, что он клонился к тому, чтобы сделать университеты доступными только дворянству и имущим классам. Ковалевский, разумеется, сильно опровергал проект. Его поддержали решительно все члены Совета. Особенно много возражал графу Строганову Чевкин. Проект с шумом провалился.

16 мая 1861 года, вторник

Май, наконец, смилостивился: вот уже четвертый день тепло, деревья быстро распускаются.

В сегодняшнем номере “С.-Петербургских ведомостей””, наконец, напечатаны известия о казанских беспорядках среди крестьян. Убито пятьдесят пять человек, раненых семьдесят один. Да, в истории человечества ничто не дается даром. Людям за все приходится платить ценою пота и крови своей.

Окончательно утверждают, что министром народного просвещения назначен граф Путятин, а товарищем его — Танеев.

19 мая 1861 года, пятница

Вечером были Гончаров, Щебальский, Струговщиков, Тимковский и проч. Толки о новом министре (впрочем, еще не утвержденном), графе Путятине. Никакой возможности по этим толкам составить себе какое-нибудь определенное понятие об этом человеке: так разноречивы суждения о нем. У нас в обществе вообще редко являются с явственно очерченною физиономиею. Репутации большею частью устанавливаются на лживых данных — возвышаются, падают без достаточных причин или по крайней мере без причин основательных и справедливых. Никто, кажется, не заботится об истине, и всякий хочет только во что бы то ни стало

пустить в оборот и свое слово. Проклятая наша привычка во всем видеть повод к выставке себя, к показу.

Ковалевского все восхваляют за то, что он оставляет министерство с таким блеском, поддержав в Совете министров принцип прогресса и проч. Я не совсем разделяю эта мнение. На меня это производит впечатление, как будто он пожертвовал государем за добрую молву, за лестный отзыв со стороны людей известного лагеря. Следовало ли ему в такую серьезную минуту покидать доброго, честного, благонамеренного государя, вся вина которого в том, что вокруг него нет людей достойных. Но, возражают мне, что же было делать Ковалевскому, если государь не приглашал его остаться и, видимо, склонялся на сторону противной партии? Так, но Ковалевский еще раньше, после аксаковского дела, сам оттолкнул его от себя. Да и в университетском вопросе он действовал по меньшей мере нерадиво.

Университеты уже года три видимо падали в экономическом, учебном и нравственном отношении. Предпринял ли Ковалевский что-нибудь для их улучшения? Ковалевский точно боялся приняться за это дело, как бы из боязни нарекания, что он противится либеральному движению, если бы ему пришлось прибегнуть к какой-нибудь ограничительной мере в отношении студентов. Он, если можно так сказать, поставил себя в положение нейтральное, заботясь только о том, чтобы в публике его бездействие не было приписано его вине. Не знаю, но на мой взгляд он в данном случае действовал не как государственный человек, который должен бороться с трудностями, а как человек, ожидающий благоприятных обстоятельств, чтобы делать что-нибудь хорошее. Теперь он попал в мученики за правое дело. Но что скажет об этом будущее?

22 мая 1861 года, понедельник

Подал просьбу об увольнении меня в отпуск на два месяца. Здоровье мое в течение всей зимы стояло на одной и той же точке плохого состояния и ночных страданий. Врачи предписывают новый поход к морю.

Новый министр, граф Путятин, еще не вступил в должность. Он сперва едет в Англию за своим семейством.

Обедал у графа Блудова. Толки о Ковалевском, что он слаб характером: оставил по себе зародыш язвы, который может отравить все управление нового министра — Кисловского, будто теперь метящего в директоры департамента министерства народного просвещения. Я молчал. На душе уныло, мрачно, безнадежно.

23 мая 1861 года, вторник

Вечером был у меня профессор Соловьев, и мы с ним долго беседовали о современных делах, о новом министре и проч. Он принес мне два последних тома своей истории, X и XI.

25 мая 1861 года, четверг

Ездил на Каменный остров к Княжевичу. Александра Максимовича видел только мельком. Он готовил доклад государю.

Май изумительно хорош. Но что за пыль, за смрад и духота в Петербурге. Дышишь не воздухом, а мерзостью, которой и имени нет.

27 мая 1861 года, суббота

Поутру был у Муханова проститься перед отъездом. Он не остается товарищем министра. Потом зашел к министру тоже проститься. Та же песня, что он жалеет о том, чего он не успел сделать или докончить для министерства, и проч.

3 июня 1861 года, суббота

Заседание в Главном управлении цензуры. Я сильно поспорил с Пржецлавским по поводу его проекта об инструкциях цензорам, который он называет “философией цензуры”. В сущности это самые ретроградные идеи. Меня поддерживали Делянов и Тройницкий. Муханов председательствовал и вел себя очень хорошо. Он предполагает употребить проект как материал при составлении нового устава, если таковой будет составляться. Этого мне и надо было. Я решительно объявил, что буду возражать письменно на проект Пржецлавского. Проект этот положено отложить.

Сегодня болезненный пароксизм незаконно вторгся в не принадлежащий ему день и сильно-таки помучил меня.

7 июня 1861 года, среда

Со вчерашнего дня погода переменилась и от неестественных жаров вдруг перешла к неестественному холоду, дождю, а сегодня был град.

Ездил на Каменный остров к Княжевичу проститься. Министр и за чаем все подписывал бумаги. Я по обыкновению много беседовал с Владиславом Максимовичем и с дамами. Немного погуляли. Вечер был тихий и безоблачный, с чудесным лунным светом, но очень холодный.

8 июня 1861 года, четверг

Сегодня весь день ушел на укладку. Бумаги в портфель — и всякая умственная работа должна прекратиться. По крайней мере я так обещался доктору, моей семье и самому себе. Прощай на три месяца, мой милый кабинет.

9 июня 1861 года, пятница

Около полудня я с дочерью отправился в Либаву на пароходе “Леандр”. Пассажиров множество. Пароход хорош на ходу. Каюты опрятны, койки просторны.

Зато кормят на нем прегнусно, и прислуга груба и неповоротлива. За все берут страшные цены. Даже стакана чистой воды нельзя достать: вместо нее дают морскую воду. Разумеется, для того, чтобы брали вино или пиво. К ночи море разыгралось. Начались сцены укачивания. Почти всех укачало. Осталось очень немного привилегированных и в том числе мы. Мы долго сидели на палубе — ходить от качки нельзя было, потом резкий ветер прогнал нас в каюту, где я повергся на койку и заснул спокойно, без всяких толчков и томлений.

10 июня 1861 года, суббота

В половине пятого утра мы вошли в Ревельскую гавань. Некоторые из пассажиров тут совсем покинули пароход, другие съехали на берег погулять. Мы не захотели. Дул резкий ветер. Небо было сумрачно, и Ревель, едва проснувшийся, смотрел неприветливо. Часа через четыре мы опять очутились в море. Теперь оно было довольно спокойно, а к вечеру совсем стихло. Волны улеглись, зайчики скрылись, и тихая зыбь едва рябила широкое пространство.

В пятом часу пароход опять остановился, чтобы высадить пассажиров в Гапсаль и сложить часть груза в прибывшие за ним лодки. Мы простояли тут часа три. Был чудный вечер. Солнце на дальнем горизонте огненным шаром величественно погружалось в волны. С другой стороны на чистом небе выплывала полная серебристая луна, какою рисуют ее живописцы и поэты. Перед Аренсбургом новая остановка и высадка пассажиров, но это было уже ночью, когда мы спали.

11 июня 1861 года, воскресенье

Мы в Риге, куда прибыли часов около двенадцати. Остановились в гостинице “Du Nord”. Нас еще на пароходе встретил служивый Бубнов, приставленный к нам для услуг, на все время нашего пребывания в Риге, моим старым приятелем К. И. Рудницким, который сам в это время отсутствовал. Бубнов доставил наши вещи в гостиницу и ухаживал за нами так толково и добродушно, как умеют только старые солдаты. С нами вместе остановилась одна молоденькая дама, ехавшая на свидание с родными в Митаву, — настоящий ребенок и по наружности и по понятиям. Она еще на пароходе примкнула к нам и просила не оставлять ее одну.

Гуляли в саду Верман, где была музыка, а потом в Кайзергартене. С этой стороны Риги вообще много зелени, садов с прекрасными аллеями и разводится еще новый обширный парк. Рига в общем производит приятное впечатление. Но это совершенно иностранный город.

12 июня 1861 года, понедельник

День в Риге. Нам хотелось отдохнуть. Вечером заходили в католическую церковь против наших окон, от нечего делать поглазеть на свадьбу. Оказалось совсем не интересно. Невеста была старая и очень неизящна.

13 июня 1861 года, вторник

В восемь часов утра отправились в дилижансе в Митаву. Дорога непривлекательная. Кругом то песок, то болото и местами лес.

В Митаву прибыли в полдень и очень неудачно. Попали в самый разгар ярмарочной сутолоки. Гостиницы все битком набиты. Нигде ни щели пустой. Мы в унынии бродили по городу, не зная буквально, где приклонить голову. Но вот, пытливо всматриваясь в нас, подходит к нам какой-то человек — очевидно, жид — и предлагает указать нам удобное помещение. Идем за ним. Он действительно указывает нам две сносные комнаты и требует за ночлег пять рублей. Что делать? Конечно, согласились. Через минуту является солдат, тоже из жидов, с плутейшею из плутовских рож, и предлагает: не надо ли чего сделать, куда сбегать, чего добыть? Я послал его в гимназию к Траутфетеру, который не замедлил явиться, к моему великому удовольствию и облегчению. Он уже нанял для нас коляску в Либаву и обратно за десять рублей. Я осмотрел ее, и она оказалась удовлетворительной. Потом он водил меня в казначейство, где я взял подорожную.

Вечер я провел у окошка, из которого наблюдал ярмарочное движение. Тут сидели торговки с копченою рыбой, а вокруг них сновали покупатели. Купля производилась, вместо звонкой монеты, посредством каких-то бумажонок, которые вызывали бесконечные и громкие споры. Очевидно, не все эти бумажки пользуются здесь одинаковым кредитом. Вообще картина перед глазами была оживленная, но нельзя сказать, чтобы привлекательная, и воздух далеко не благоухал.

Митава не интересна, грязна и скучна. Но среди женских еврейских лиц много красивых и промелькнуло два-три даже прекрасных.

14 июня 1861 года, среда

Рано утром и не без удовольствия выехали из Митавы. Ночевали в Фрауенбурге, в грязной почтовой гостинице, сильно смахивающей на жидовскую корчму.

15 июня 1861 года, четверг

Приехали в Либаву в восемь часов вечера. У заставы, при въезде в город, нам подали записку от господина Ш. с адресом нанятой для нас квартиры, но, увы, нас там ожидало сильное .разочарование. Квартира оказалась нелепою, в скверной улице, на грязном дворе, с неопрятной обстановкою и с каким-то невыносимым затхлым запахом. Нас это очень огорчило. Мы провели ночь, кое-как разместившись на стульях: кровати смотрели слишком непривлекательно. На следующее утро решились искать другую квартиру. Неприятные объяснения с хозяйкой. Она сильно разворчалась, говоря, что наш переезд от нее обесчестит ее дом, и требовала всей уплаты сполна за ее квартиру. Я не отказывался от выдачи ей неустойки, но такое требование нашел чрезмерным. Она настаивала. Я предложил обратиться за разрешением нашего дела к бургомистру, обещаясь со своей стороны безусловно покориться его решению. Но хозяйка на это не согласилась и поспешила понизить

свои претензии до более скромной суммы, а именно до пятнадцати рублей. Я больше не спорил. После непродолжительных поисков мы нашли премилую, пречистую и преудобную квартиру у доктора Иогансена, к которому у меня было рекомендательное письмо от Вальца. С какой радостью перебрались мы сюда из сырой, мрачной, вонючей конуры, которую нам было приготовили. Теперь лучшего и желать нельзя. Три вполне приличные комнатки с зеленью, которая просится в окна, с бельем и всякою посудою — за шестьдесят рублей за шесть недель. Цена та же, что и за прежнюю квартиру.

10 июля 1861 года, понедельник

А в конце концов Либава очень, миленький, чистенький городок. В нем десять тысяч жителей, и он, очевидно, принадлежит к весьма достаточным городам. Тем не менее жители ныне жалуются на упадок торговли, которая, по их словам, до последней войны была гораздо деятельнее. Настоящий упадок торговли они приписывают англичанам, которые захватили здесь несколько кораблей, и в том числе восемнадцатипушечные. Захват этот происходил на глазах у жителей, но они не могли противиться. У них не было другого войска, кроме их так называемой национальной гвардии, состоявшей всего из нескольких десятков людей, — да и те едва умели владеть ружьем.

Крестьяне, являющиеся сюда на рынок, имеют зажиточный вид. Да и соседние деревни, в которые случается заглядывать, тоже производят скорей приятное впечатление. По крайней мере нищета не бьет здесь в глаза, и мало видно пьяных. Заметил я еще одну особенность: здешний народ, кажется, очень любит петь. Возвращаясь с работы группами, люди эти почти всегда поют, и, право, недурно.

На улицах Либавы полная тишина и спокойствие. Даже присутствие в ней жидов не портит ее. Сами они и жилища их как-то здесь опрятнее, чем, например, в городах наших западных губерний.

В Либаве есть музыкальная городская капелла. Она по три раза в неделю дает концерты в парке, в нарочно воздвигнутом для того павильоне, за что берет с приезжих по четыре рубля с мужчин и по два с дам.

Кстати о парке. Он невелик, но очень недурен, с тенистыми каштановыми и липовыми аллеями, с беседкой из зелени и с насыпной горкой посередине. На одной из прогулок в парке я встретился с моим университетским товарищем, профессором турецкого языка Березиным, и с тех пор мы часто гуляем вместе. Он приехал сюда тоже купаться в море.

Морское купанье здесь очень хорошее, но, к сожалению, только плохо, или, лучше сказать, вовсе не устроено, особенно для дам. Мужчинам все-таки лучше, потому что им открыт доступ в павильон, где в прошлом году купался наследник. Этим павильоном пользуюсь и я за три рубля в сезон.

Но у Либавы есть и оборотная сторона. Она мила, но крайне прожорлива и глотает рубли так быстро, что едва успеваю вынимать их из кармана.

14 июля 1861 года, пятница

Вечер в гостях у доктора. Тут собралось несколько почтенных либавских граждан. Мне понравилось это простое и не лишенное образования общество, которое к тому же держало себя с достоинством. Ко мне все они были очень внимательны и вежливы, но с тактом, без навязчивости и излишней предупредительности. Некоторые порядочно говорят по-русски, и я с ними беседовал о делах городских, о торговле, промышленности, но больше всего говорил об учебной части, с учителем здешней гимназии, где он преподает древние языки.

В этой маленькой Либаве есть все, что характеризует цивилизованные местности: школы, приют для сирот, заведение для призрения дряхлых и убогих, больница, клуб — все это незатейливое, не роскошное, но содержится в порядке и в довольстве. Есть две книжные лавки.

Горожане очень не расположены к курляндскому дворянству. Они обвиняют его в духе касты, в надменности, в эгоизме и в готовности всегда и везде притеснять слабых. Либавцы очень довольны статьей, которая недавно напечатана в рижской газете и где доказывается, что курляндское дворянство незаконно завладело землей и незаконно пользуется разными привилегиями. Автор статьи все это подтверждает фактами.

15 июля 1861 года, суббота

В воспитании мы больше всего должны думать о том, о чем у нас вовсе не думают, — *об образовании характеров.* Этого, конечно, нельзя достигнуть нравоучениями или дидактикою, но всякий преподаватель и наставник может этому косвенно содействовать, и наука, более чем когда-либо, должна быть призвана здесь на помощь. Вот хоть бы преподаватель русской словесности может, с своей стороны, много сделать, если захочет. Пусть он задает учащимся сочинения и настаивает на том, чтобы учащиеся выражали свои мысли с строгою точностью и логическою последовательностью. Прочь всякое щегольство фразою, всякое пусторечие. Это может постепенно отучить учащихся от неопределенного шатания мысли и направить ум их к сосредоточенности в самих себе. При разборе писателей тоже много можно содействовать правильному, строгому развитию мысли, а это, несомненно, может отразиться и на общем складе ума и характера учащихся. В этом духе должны бы действовать и другие преподаватели.

17 июля 1861 года, понедельник

Сегодня ночью разразилась великолепная гроза. Недалеко от нашей квартиры упала молния и произвела такой треск, что моментально подняла на ноги весь дом. Доктор говорил нам, что в два прошедшие дня, когда были сильные грозы, в окрестных деревнях произошло много пожаров от молнии.

7 августа 1861 года, вторник

Вчера было последнее мое купанье. Завтра уезжаю из Либавы. Этим кончается и мое летнее лечение. Что оно принесет мне впереди — не знаю. А пока пароксизмы, меня преследующие, сделались только сильнее. Я было зашалился, зазнался, возложил слишком большие надежды на море, и это на время ослабило мои худшие опасения. Доктор уверяет, что настоящее ухудшение есть совершенно естественное последствие от возбуждения, какое всегда производит морское купанье на организм человека.

Но дело в том, что я большой скептик. Я мало верю в какое-нибудь положительное знание. Судьба человеческая для меня запечатлена семью апокалипсическими печатями. Что же могу я знать из того, что мне благотворит или угрожает в этой бесконечной игре явлений, которые если и не случайны, если и основаны на законах, то законы эти опять-таки для меня тайна, запечатленная семью апокалипсическими печатями. Мы знаем гораздо более о губительных силах, которые на нас действуют разрушительно, чем о средствах, как помочь себе в горе. Одно верно: надо прямо в глаза смотреть беде и не смущаться духом, а для этого надо быть всегда настороже, всегда вооруженным с ног до головы и не давать воли пустым надеждам. Или, лучше сказать, надо не считать слишком важным ни жизнь, ни свою особу. В этом настоящая мудрость человеческая.

2 августа 1861 года, среда

Сегодня получил множество писем, между прочим от Воронова. Он сообщает мне неутешительные вести о нашем новом министре Путятине. Во-первых, Кисловский опять входит в силу и готовится играть роль, какую играл при взбалмошном и ребячливом Норове. Во-вторых, у министра бродят странные идеи, например: что преподавание в наших училищах надо подчинить духовенству; что в университетах следует отделить вольнослушающих от студентов. Первое показывает человека, который не знает нашего духовенства, второе — просто нелепость. Хуже всего, что он щетинится на таких людей, как Ребиндер и Воронов, и обнаруживает наклонность к Кисловскому. Это значит, что он не понимает своего положения и думает, что министерство должно опираться не на идеи и разум государственный, а на бюрократию. Из этого, по-видимому, следует, что он в нынешнем движении умов видит только пошлый либерализм, а не видит в нем настоящих потребностей народа и времени и что он хочет стать в упор этому движению.

Очень жаль, если это правда, потому что настоящее призвание министра народного просвещения в нынешнее время именно в том и состоит, чтобы отделять плевелы от пшеницы и не только не мешать расти последней, но всячески возделывать ее — и на этом основать систему народного образования. Ковалевский последнее время добивался популярности в кругу либералов, нетвердо понимал дело *отделения плевел от пшеницы* и действовал слабо, боясь, с одной стороны, нарекания от крикунов и не стараясь, с другой — последовательно и мужественно выдвигать лучшие элементы развития, — словом, он был слаб с обеих сторон. Опять повторяю: дело в том, чтобы сдерживать крайних разнузданных прогрессистов, но стоять во главе умеренных и благоразумно руководить последними, не допуская их

до отчаяния и до того, чтобы они, отказавшись от дела, в силу обстоятельств не примкнули также к крайним. Дело управления в наши дни становится сложнее, чем прежде, когда следовали одной системе: руби с плеча.

Я весь принадлежу принципу нашего политического возрождения, но с тем, чтобы оно шло рука об руку с нравственным. Первое не бывает прочно без второго.

Нация не может оставаться в застое, в неподвижности. Настоящее движение есть движение естественное. Его принцип: *развиться в нравственном, умственном и экономическом отношениях, согласно духу и способностям национальным.* Это движение началось с Петра, но настоящий сознательный и определенный характер его наступает только теперь. Нынешний государь дал ему санкцию освобождением крестьян. Естественно, что с этим событием национальное движение становится и неизбежным, и вопиющею потребностью. Но в этом движении надо отличать два элемента или две стороны — искусственную, проистекающую из духа подражания и поверхностного образования, что доселе было нашим уделом, и истинную — ту, о которой я сказал выше. Искусственный элемент породил у нас стремление к так называемому прогрессу с девизом: вперед очертя и сломя голову. Другой элемент породил тоже стремление к прогрессу, но умеренному, постепенному и по тому самому — более прочному и плодовитому благими последствиями. Задача правительства — отличить одно направление от другого; одно ограничивать, другому содействовать и направлять его, чтобы оно с отчаяния не впало в крайность.

Государственный человек не должен пугаться каждого симптома, которым проявляется искусственный утопический прогресс, и не считать его поводом к принятию репрессивных мер против прогресса вообще — против прогресса в лучшем и истинном смысле.

Завтра уезжаем из Либавы. Итак,

Прощай же, море!..

Я долго, долго помнить буду

Твой шум в купальные часы!

и помяну тебя благодарным словом, если наши здоровья получат от тебя хоть малую толику пользы.

3 августа 1861 года, четверг

Выехали из Либавы утром, по страшно бурной погоде. Море провожало нас громким гулом и точно пушечными выстрелами. У павильона нас ожидал Березин. Мы простились с ним и на прощание выпили по рюмке вина. Со всеми либавскими мы расстались очень дружелюбно, оставив, кажется, всех довольными — по крайней мере я всегда стараюсь, чтобы так было.

На первой же станции от Либавы произошла остановка из-за лошадей. Между

тем либавский ветер превратился в настоящую бурю, которая буквально подталкивала наш экипаж, пока мы стояли на месте. В Газенпоте в пять часов обед на грязной почтовой станции. Обед состоял из яичницы и какой-то маринованной рыбы, до которой мы не решились дотронуться, хотя нам ее подавала поразительной красоты златокудрая молоденькая хозяйская дочка, но — увы — до крайности неопрятная, как и все здешние жидовки. Ночевали,.. но не спали в Шрундене, в гнуснейшей корчме, где чувствовали себя неспокойно и даже как будто не совсем безопасно.

Сегодня днем в Доблене. Здесь развалины замка, построенного в XIV веке начальником ордена меченосцев Монгеймом. Развалины и самое местечко Доблен живописны. Прекрасная станция, чистенькая — что большая редкость в здешнем крае, — даже с комфортом и чрезвычайно приятным и ласковым смотрителем.

В Митаву приехали в семь часов вечера. На заставе нам подали письмо от доброго Траутфетера, который убедительно просил остановиться у него в доме, где предлагал две комнаты. Но мы намеревались только переночевать в Митаве и не решились на такое короткое время беспокоить добрых людей. Итак, мы остановились в гостинице “Курланд” и тотчас отправились к Траутфетеру. Он ужасно сетовал, что мы не у него остановились, угостил нас чаем и какой-то очень хорошей освежительной шипучкой из березовых почек. Все семейство Траутфетер премилое, не исключая и четырех крошечных удивительно красивых малюток.

4 августа 1861 года, пятница

Вчера Траутфетер прочитал мне из аугсбургской газеты статью об открытом будто бы заговоре в Петербурге с конституционными тенденциями и проч. Это, должно быть, какой-нибудь вздор.

В Ригу мы отправились в дилижансе, но из Риги уже надеялись ехать по железной дороге до Динабурга. Путь этот еще не открыт, но по нем ходят какие-то поезда, и в одном из них мне были обещаны места.

Это, однако, не удалось. Поезда пришлось бы ждать до понедельника, и я предпочитаю без дальнейших ухищрений ехать, как прежде, по торному пути на лошадях.

10 августа 1861 года, четверг

Добравшись до Пскова с грехом пополам по плохой дороге и в тряском экипаже, мы по железной дороге продолжали путь до Острова, а там поплелись опять на лошадях до Витебска, куда и прибыли вчера поздно вечером. Отсюда осталось еще тридцать верст до нашего деревенского уголка. Рано утром отправились мы туда на почтовых. Не доезжая станции Гановки, мы встретили Марка Любощинского с племянницей Генриеттой. Они возвращались от моих, у которых несколько дней гостили.

В полдень я, наконец, въехал в мои так называемые владения. На опушке

березовой рощи встретили нас остальные члены моей семьи. Всеобщая радость, объятия, шумные восклицания и расспросы. Мы все пешком отправились к дому, который я теперь уже могу назвать вполне нашим. Домик оказался небольшой, но очень миленький, уютный, удобный. Мой кабинет чистенький, светлый — прелесть. Во всем видна заботливость милой жены моей, которая употребила все усилия, чтобы сделать жилище приятным. И все это с ничтожными средствами.

11 августа 1861 года, пятница

Вчерашний день заключился шумно и очень оригинально. Под вечер на площадке перед нашим домом собрались крестьяне и крестьянки в праздничных одеждах, которые, впрочем, очень незатейливы. Они состоят почти исключительно из длинных белых кафтанов. Одна молоденькая девушка принесла огромный венок из колосьев и, при громком пении подруг, подала его мне. Это их обычный способ праздновать конец жатвы. Началось угощение вином и яблоками, явилась скрипка, и пошли танцы, которые продолжались до поздней ночи. Я говорил с некоторыми крестьянами, которые подходили ко мне и благодарили за хорошее с ними обращение. Ну, этого я уж никак не могу принять на свой счет и должен вполне отнести на умное и доброе управление арендатора. В заключение были зажжены два больших костра, и крестьяне разошлись при их ярком дрожащем пламени.

Сегодня вечером я ходил на деревню. Оттуда прехорошенький вид на нашу усадьбу, которая грациозно выглядывает из зелени.

13 августа 1861 года, воскресенье

У обедни. Наша церковь каменная, но очень обветшалая и требует больших поправок. Утвари церковной, однако, вполне достаточно. Некоторые предметы, как то ризы, хоругви, два-три образа, паникадила, священные сосуды, были бы хороши даже и не для маленькой деревушки. Служба, пение зато как-то безжизненны и неосмысленны. Священник первый, кажется, совсем не сочувствует тому, что делает и что читает. Особенно дурно читано было Евангелие, хотя дикция и голос читающего не представляют ничего неприятного. Главная вина в полной безучастности священнослужителя и в тупом равнодушии прихожан. Но внешние приличия были тут все налицо. Ими даже как будто старались щегольнуть перед нами. Не было забыто и поучение к народу, заимствованное из какой-то книги, но произнесенное без малейшего приспособления к слушателям и так вяло, что оно не могло возбудить ничего, кроме скуки. Жалко и досадно! Священника тут нельзя винить: он так воспитан, так направлен, так руководим… Слава Богу еще, что он не пьяница. Вопрос о жалком состоянии нашего сельского духовенства — поистине вопиющий вопрос.

После обедни я пошел в алтарь. Бедный священник видимо смутился. Я старался его обласкать и ободрить, выразив все мое уважение к его сану, и пригласил его к себе вечером на чай. В свое время он явился. Сначала он очень конфузился, но потом, как говорится, обошелся и разговаривал очень толково. Я завел речь о необходимости поучать народ простым и удобопонятным внушением

ему веры и христианской нравственности. Он жаловался на то, что крестьяне очень неохотно посещают церковь и вообще крайне неразвиты.

Одновременно была у нас родственница моей жены, госпожа Быковская, соседняя помещица, владелица трехсот пятидесяти душ и огромного количества земли. Она, как и большинство здешних дворян, очень недовольна настоящим положением вещей. По мнению ее и многих других помещиков, следовало бы дать крестьянам свободу без земли. Я пробовал доказывать ей противное с точки зрения нравственной и государственной, но безуспешно. Утешал ее тем, что все со временем уладится и выгоды будут обоюдные, — но также тщетно. Помещикам в настоящую минуту, конечно, приходится круто, но такая огромная реформа не могла быть совершена иначе, а они не хотят этого понять и сильно негодуют на правительство.

16 августа 1861 года, среда

Можно надевать на себя личину какого угодно свойства, какой угодно добродетели. Но под любовь и ум никак нельзя подделаться. Чтобы заставить поверить нашей любви, надо иметь в сердце хоть сколько-нибудь этого чувства; чтобы прикидываться умным, надо иметь хоть малую толику ума.

Я всегда был того мнения, что не должно ни в чью голову *вбивать* убеждений и идей или заставлять людей насильственно идти по известному пути. Образуйте их умы, сделайте их способными к разумной и правильной деятельности, и пусть они сами устанавливают себе свои нравственные убеждения, идеи, цели. Пусть сами избирают себе дорогу для выполнения своего назначения в жизни, потому что в человеке лишь то существенно и плодотворно, что он делает сам и по собственному своему выбору, согласно своим природным наклонностям и дарованиям. Но если он неспособен к самостоятельной выработке в себе основных, так называемых высших понятий деятельности, то вы ничего путного, ничего хорошего не достигнете вбиванием ему их в голову и в сердце. Пусть он останется при своем ограниченном образе мыслей и заботится только о том, чтобы быть честным человеком; это лучше всяких фальшивых высокостей.

Оттого у меня не было ни своей партии, ни своей школы, несмотря на то, что я мог иметь их, потому что нередко действовал на умы сильно и увлекал их с одною целью: чтобы возбуждать их нравственные силы и устремлять их ко всему благородному, правдивому и прекрасному, не предписывая им никакого определенного круга действий, не внушая им догматов и заботясь только о том, чтобы сделать их по возможности вообще способными к лучшему, а не о том, чтобы формулировать это лучшее и заставлять их думать, что вне круга таких-то понятий или вне такого-то образа мыслей ничто лучшее не возможно. У кого их не было, тот и не лез в гору, чтобы на ней спотыкаться и падать.

Я питал всегда и питаю глубокое, непреодолимое отвращение ко всякой лжи, и особенно к лживым, лицемерным нравственным ухищрениям. Мне всегда казался лучшим самый грубый и невозделанный ум и простое сердце без претензий, чем ум, поверхностно или фальшиво образованный, и сердце, изнеженное разными

сентиментальными утонченностями, то есть ум и сердце, полные высокомерных притязаний без всяких прав и заслуг, и я сильно боялся распложать такие личности, что, как известно, так легко при нашем поверхностном и шатком образовании.

17 августа 1861 года, четверг

Ходил в деревню с карманами, полными пряников для ребятишек, и для того, чтобы навестить больного крестьянина Тереху. Этот Тереха замечателен тем, что прописанное ему доктором на три дня лекарство он выпил вчера в течение нескольких часов, думая ускорить этим свое выздоровление. Мы ужаснулись, узнав об этом.

Бедный Тереха очень ослабел. Не знаем, останется ли он жив. Послали опять за доктором. Что касается ребятишек, которые сбежались ко мне за пряниками, то никакое воображение не может представить себе ничего грязнее их. Миловидные мордочки некоторых из них почти совсем исчезали под слоями грязи. Но всех их превзошел некий Тит, который представляет из себя классический образец мальчика-пачкуна. Я роздал им пряники, сел на бревно и разговорился с ними. Только немногие знают по одной или по две молитвы, большинство же едва-едва слышало о Боге. Все они совершенные дикаренки. В деревнях наших еще долго будет царить непроницаемый мрак, если правительство не озаботится открытием там школ и не обяжет родителей посылать в них детей, да священники не будут лучше подготовляться для деревенских приходов и не будут поставлены в другие отношения к прихожанам.

18 августа 1861 года, пятница

Сегодня я говорил со старостой о тех важных выгодах, которые дарованы ныне крестьянам вместе со свободой. Я не убедил его. Он слушал меня повесив голову и твердил, что до сих пор им было хорошо, а теперь еще Бог знает, что с ними будет. Я указывал ему на одно из важнейших преимуществ нового порядка вещей — что у них будут свои суды, что они сами будут выбирать свое начальство и не будут зависеть ни от чьего произвола. На это староста мой возражал, что все это поведет только к обременению их, что до сих пор они благодарили Бога за свое житье и молили за свою помещицу. В заключение он сослался на казенных крестьян, и тут-то я понял причину его страха. Здешние крестьяне думают, что отныне у них все будет так, как у казенных, следовательно, они от сносной, в данном случае, зависимости от помещика перейдут к гораздо более тяжкой зависимости от чиновников. Вот что наводит на них панический страх.

Русский чиновник — ужасная личность. Что будет впереди — еще неизвестно, а до сих пор он был естественный злейший враг народного благосостояния.

19 августа 1861 года, суббота

Человек, подобно пауку, извлекает и выводит из самого себя нити, сплетает из

них множество различных отношений, чувствований, идей и проч. и пребывает в среде их благополучно, пока толчок действительности не разорвет его хитросплетения и не докажет ему, что все это — только паутина.

20 августа 1861 года, воскресенье

Человека не удовлетворяет земной порядок вещей. В нем неотразимо живет и господствует мысль о лучшем, совершеннейшем. Для возможного удовлетворения этой потребности ему даны религия и поэзия. Одна переносит его идеалы в будущее и там полагает залоги их осуществления. Другая стремится поставить их лицом к лицу с человеком в настоящем. Прекрасное или изящное есть не иное что, как гармоническое соответственное воплощение идеала в формах жизни.

25 августа 1861 года, пятница

Холодно, мрачно. Небо сеет дождем. Деревня принимает осенний вид.

Вчера получил премилое письмо от Делянова, который сделан директором департамента народного просвещения.

30 августа 1861 года, среда.

Сегодня после обедни на нашем дворе были расставлены столы, а на них пироги, вино и разные сласти, и все это предложено крестьянам. После обеда запиликала скрипка, и начались танцы, которые продолжались до пяти часов вечера. День благоприятствовал веселью. Было довольно свежо, но ясно и тихо. В начале обеда я подошел к одному из столов, налил рюмку вина и провозгласил тост за государя императора, нашего общего отца и освободителя крестьян. “Дай Бог ему долго жить и царствовать”, — сказал я. Но, увы, и эта моя попытка вызвать в этих добрых людях сочувствие к новому порядку вещей ни к чему не привела. Они все вертелись около меня и ко мне одному обращали свои пожелания и свою благодарность. Мужички были очень довольны угощением, вели себя пристойно и твердили одно: что Бог знает еще, каково им будет от новых порядков, и что лучшего житья, каким они пользовались за последние десять лет, то есть время, когда имение поступило в настоящее владение моей жены, они не желали бы и впереди. Очевидно, желания их не простирались и не простираются далее некоторого материального довольства да безобидного обращения со стороны начальства. Понятия их о свободе, политической или какой бы то ни было, очень смутны. Женщинам были розданы подарки: чепцы, передники и ленты, а детей я взял на свое попечение и угощал их яблоками и пряниками, а когда вышли те и другие, то сахаром, который они принимали не с меньшим удовольствием.

31 августа 1861 года, четверг

Сегодня посетил здешнего посредника Рафаила Осиповича Богдановича. Весь

разговор мой с ним, разумеется, относился к крестьянскому делу. Посреднику много забот, особенно в истолковании разных вопросов крестьянам, которые, кроме своих насущных материальных выгод, ничего решительно не понимают в новом порядке вещей, в чем, впрочем, я и сам успел увериться. Затруднения также в некоторых окрестных поместьях по урочному положению, которое крестьянам не кажется обязательным законом, потому что находится не в книге, а напечатано отдельным листком. Впрочем, каких-нибудь серьезных усложнений нет. Все пока ограничивается некоторым нерадением в господских работах.

1 сентября 1861 года, пятница

Осень окончательно вступает в свои права. Все вокруг уныло, мрачно, безнадежно. Пора в Петербург.

7 сентября 1861 года, четверг

Сегодня в пять часов утра приехали в Петербург. Весь день никуда не выходил и занимался приведением в порядок моего кабинета. Но кое-кто уже узнал о моем приезде, и было немало посетителей.

8 сентября 1861 года, пятница

Представлялся новому министру Путятину. Он не сделал на меня приятного впечатления. Какая-то сухая, холодная сдержанность с учтивостью тоже холодною, сухою — вот все, что я успел заметить в две-три минуты, что продолжался мой визит. Правда и то, что у него передо мною был с докладом Кисловский. От министра я отправился к Делянову, но не застал его дома, а от него поехал к нашему новому попечителю Филипсону, карточку которого я нашел у себя по приезде. Вот совсем другой человек. От него так и веет добротой и человечностью. Два эти визита показались мне похожими на то, как если бы я побывал в темном погребе и оттуда вышел на теплый Божий свет. Прозябнув до костей у Путятина, я отогрелся у Филипсона.

10 сентября 1861 года, воскресенье Визиты Делянову и Княжевичу. С Деляновым разговор об университетских делах. Мне показалось странным, почему университет не хочет избирать проректора или, что все равно, никто не хочет быть избранным взамен ныне существующего инспектора. По моему мнению, это значит отказываться от самоуправления. Делянов не объяснил мне всего, а объяснил уже Ребиндер, к которому я поехал от него. Дело в том, что университет хотел этим выразить свое негодование против министерского циркуляра, которым граф Путятин начал свое управление. Циркуляр таков, по словам Ребиндера и Воронова, что действительно должен тотчас все наши университеты поставить в оппозиционное отношение к правительству. Так, например, поведение студентов, каждый их поступок или проступок вменяется в ответственность профессорам, а как проректор

избран должен быть именно для надзора за студентами, взамен инспектора, то понятно, почему никто из профессоров не хочет принять на себя этого звания.

В Москве тоже негодование и дух оппозиции, возбужденный циркуляром; в Киеве тоже, как говорил мне один член тамошнего ученого сословия, на днях приехавший в Петербург.

Не очень же блистательно начал свое поприще среди нас Путятин. Вообще если верить рассказам окружающих его, то это человек, совершенно не понимающий дела и не способный к нему. Как же он вел дела с японцами, которые, говорят, умеют вести свои дела? Непонятно. Подождем, присмотримся.

Странную вещь сообщил мне киевский ученый, когда я заговорил с ним о Пирогове. Последнему, как известно, там делали всевозможные овации, а тем не менее студенты (польского происхождения) готовили ему крупную неприятность, и это не состоялось единственно потому только, что Юзефович, узнав как-то о том, что грозило Пирогову, предупредил его. И в такие-то времена министерством призывается управлять Путятин.

11 сентября 1861 года, понедельник

Желая получше уяснить себе нынешние университетские дела, я поехал за сведениями еще к Кавелину. Оказывается, что университет, оскорбленный циркуляром министра, стал в оппозиционное к нему отношение, а затем уже в деле о выборе проректора не хотел исполнить требований его, отговариваясь тем, что никто не решается принять на себя этой должности. И прекрасно. В этом университет совершенно прав. Но мне кажется, нельзя так сильно настаивать на том, чтобы студенты выбирали своих депутатов для присутствия в университетском суде и в совещаниях по делам кассы. Первое министр совершенно отверг, а насчет второго предписывает, чтобы выбор делал факультет.

13 сентября 1861 года, среда

Роль честного, зрелого человека в этой сумятице: стоять посреди крайностей, стараясь умерять то ту, то другую, соблюдать закон равновесия между тем, что слишком слепо и неразумно рвется вперед, и тем, что тянется назад. Неуклонный, но разумный либерализм, не разрушающий, а созидающий, — вот мой девиз, вытекающий прямо из моих убеждений и моего характера и, на мой взгляд, всего более соответствующий существенным, не выдуманным и не экзальтированным потребностям моих сограждан. *Ничего слишком* — по выражению одного из древних мудрецов.

В третий уже раз, говорят, ходят по рукам какие-то листы, приглашающие народ к восстанию. Первые носили название “Великорусов”, а последние представляют просто род прокламаций. Неужели это работает Герцен с братией? Листы, разумеется, идут из-за границы. Все это, право же, очень неумно и очень дурно.

Вечером приезжал ко мне проститься мой старый и один из самых верных

друзей моих Ребиндер, который едет в Москву сенаторствовать. Грустно мне расстаться с ним! Много делили мы с ним пополам и горя и радости — конечно, больше первого — особенно в нашей общественной жизни. К нему обыкновенно обращался я, когда душа переполнится впечатлениями от какого-нибудь события, от какой-нибудь идеи, а иногда и так просто, когда душе захочется отдохнуть от житейского треволнения. Как я ни привык погружаться в самого себя, питаться самим собою, не бросаясь на чужой хлеб мысли и сердца, однако с Ребинде-ром мы часто ели этот хлеб — то мой, то его. И так в течение многих лет.

16 сентября 1861 года, суббота

Всеми силами надо спасти университет от такого философа, как Лавров, которого известная партия всячески старается провести в профессора философии.

Продлись долго такое направление в нашем юношестве, наша молодая наука быстро станет увядать, и мы решительными шагами пойдем к варварству.

18 сентября 1861 года, понедельник

Вечером у попечителя. Искренно и откровенно объяснялся я с ним об университетских делах и нашел в нем человека вполне сочувствующего, благородного, рассудительного, горячо любящего и юношество и науку. Особенно много говорили мы о кафедре философии. Он вполне вошел в мои мысли и так же серьезно смотрит на это дело. На эту кафедру, более чем на всякую другую, требуется ученый с установившимся образом мыслей и глубоко, всесторонне изучивший свой предмет.

Прочитал я, наконец, знаменитое воззвание “К молодому поколению”. Лживость, нелепость и наглость его могли бы изумить всякого мыслящего человека, если бы что-либо могло изумлять в настоящее бремя. Хороша, например, мысль о перерезании ста тысяч дворян. “Да ведь на войне режут и более, хоть бы в Крымскую войну” и проч. Превосходная логика! Еще лучше: “Да ведь умрут же все”. Тут, кроме пошлых революционных ругательств, которые некогда можно было слышать во всех кабаках Франции, нет ничего: ни одного рассудительного слова, которое доказывало бы, что автор или авторы хоть сколько-нибудь знакомы с государственными вопросами, с государственной жизнью народов, с наукой управления. Их бедные беснующиеся умы не могут придумать никакой другой меры, кроме ножа. Поразительное невежество относительно всего, что касается России, ее народного духа, ее нравственных, умственных и материальных средств, видно в каждой. фразе. Они требуют от нее, чтобы она для осуществления утопий, выходящих из лондонских типографий, лила кровь как воду. А угодно это России или нет — они о такой безделице не заботятся.

Опыт французской резни ничему не научил наших мудрых реформаторов. Он не научил их тому, что ужасы и разбой анархии ведут к диктатуре, да еще такой, хуже которой трудно себе что-нибудь представить, — к диктатуре реакционной, вооруженной, вместо вырванного ею из рук анархии ножа, мечом и секирою палача.

И неужели в самом деле это проповедует Герцен? Хорошо ли возбуждать народные страсти, проповедовать резню, вызывать бойцов на площадь, словом, толкать тысячи людей, как баранов, в.. омут нескончаемых бедствий, сидя в мягких креслах в спокойном кабинете, и оттуда, за три тысячи верст от всех этих ужасов, распоряжаться кровью и жизнью миллионов, не рискуя ни каплею своей крови, ни волосом с своей головы. Нечего сказать, дешевый патриотизм! Нет! Это неблагородная трусливая жадность к популярности и игранию роли на свете, к поклонению людей легковерных и недальних, лишь бы их было побольше; это тщеславное и преступное желание на чужой счет прослыть вторым Мадзини и проч. Бедная Россия! Как жестоко тебя оскорбляют, когда относятся к тебе с такими пошлыми и жалкими воззваниями, надеясь, что ты их выслушаешь благосклонно.

Хорош также “Великорусе” — 2-й номер, — толкующий о народных партиях у нас, будто бы проникнутых известными политическими тенденциями и тоже готовых на ножи за принцип раздробления России.

20 сентября 1861 года, среда

Моя первая лекция в университете. Набралось много слушателей, которые казались внимательными и хорошо настроенными. Я чувствовал себя воодушевленным.

Был у меня главный распорядитель “Энциклопедического лексикона” Гершельман с просьбою содействовать выдаче им двадцати пяти тысяч рублей серебром, о которых я уже ходатайствовал в бывшем Комитете по делам печати и на что тогда было изъявлено высочайшее соизволение с тем, чтобы это пособие было выдано редакции по выходе первых томов издания.

Заседание у министра из попечителя, Делянова и профессоров: Ленца, Срезневского, Воскресенского, Горлова и меня. Дело шло о некоторых вопросах, касающихся изменения университетского устава, определения доцентов, учреждение новых кафедр и проч. Министр, между прочим, предложил странную меру: установить жалованье профессорам по часам, наподобие того, как это существует в корпусах и других заведениях, ибо профессора читают розно: один может преподавать восемь, а другой только пять часов. Все члены нашей комиссии восстали единодушно, не исключая и попечителя. Такое распределение жалованья должно подействовать очень вредно на дух сословия. С одной стороны, оно будет поводом для каждого добиваться большего числа часов, и это непременно возбудит антагонизм между профессорами, зависть, распри; с другой — превратит профессоров в поденщиков, получающих определенную плату за известную долю труда, а не вознаграждение за всю сложную, обширную и тяжелую деятельность, посвященную науке и образованию граждан. Тогда на каком основании отказать профессору в особой плате за всякое занятие по университету — за заседание в совете и в факультете, за экзамены, за рассмотрение разных сочинений и диссертаций и проч.

Видно вообще, что граф Путятин не понимает многих вопросов и задач по управлению министерством. Его идеи во многом очень странны, чтобы не сказать

дики; например, о преподавании истории, теории механики и т.д. Он склоняется к классическому образованию. Но почему? — сам не знает. Так видел он в Англии. Мне кажется, что граф вообще ограничен. В голову его трудно вложить светлую, полезную мысль, потому что он и упорен, как все ограниченные люди. Он также очень сух во всех своих взглядах на вещи. По крайней мере мне все это так показалось в сегодняшний вечер. Может быть, он еще развернется и покажет себя в более благоприятном свете.

21 сентября 1861 года, четверг

Вторая лекция в университете. Хотя я сам менее доволен ею, чем первою, она имела большой успех. Слушателей набралось такое множество, что многим не хватило места, и иные сидели даже на окнах.

22 сентября 1861 года, пятница

Студентам запрещены сходки, но они сегодня опять устроили одну и сильно нашумели. Что-то сделает начальство? Удивительно, как некоторые становятся на сторону бесчинствующих студентов и готовы не только защищать, но и поощрять подобные проделки.

Произведено несколько арестов. Говорят, взят и великий проповедник социализма и материализма Чернышевский. Боже мой, из-за чего только эти люди губят себя и других! Уж пусть бы сами делались жертвами своих учений, но к чему увлекать за собой других, а особенно это бедное неразумное юношество! Подвизаясь в “Современнике”, этот передовой человек (так называют себя эти господа) взял на свою душу немало греха, совратив многих из “малых сих”.

23 сентября 1861 года, суббота

Заседание в Главном управлении цензуры. Новый министр в большом затруднении относительно цензуры. Он не имеет никакого установившегося взгляда на нее. Главным предметом нынешнего заседания был вопрос о “Современнике”, возбужденный Берте. По его словам, журнал этот проповедует революционные идеи. Положено, чтобы все члены прочли страницы и статьи, указанные Берте, и выразили свое мнение.

Между тем в университете продолжаются беспорядки. Запрещены сходки, но они, вопреки запрещению, собираются. Студенты шумят и требуют отмены всяких ограничений. Они, как и крестьяне в некоторых губерниях, кричат “Воля, воля!”, не давая себе ни малейшего отчета в том, о какой воле вопиют. А что делает правительство? — Восклицает: “О, какие времена, какие времена!” и налепливает на стенах в университете воззвания и правила о сохранении порядка, правила, которые часто срываются студентами и заменяются воззваниями и объявлениями другого рода. Словом, совершенный хаос. Об учении никто не думает.

Как помочь горю? И то и другое приходит в голову. Я думал бы на первый

случай предложить следующую меру. Пусть бы составилась комиссия из нескольких профессоров и в ней каждый из молодых людей, желающих учиться в университете, обязывался бы *честным словом*, что он вступает в него с единственной целью слушать лекции. Если же он и после того будет замечен в демонстрациях или в неповиновении правилам университетского благочиния, то тогда он уже подвергается исключению из университета.

24 сентября 1861 года, воскресенье

Печальный день. У министра. Он обратился к нам с маленькой речью, в которой приглашал содействовать ему в водворении порядка. Затем он толковал о необходимости и справедливости установления платы со студентов за слушание лекций. Но это мимоходом. А главное, нам тут же сделалось известным, что, вследствие беспорядков, произведенных вчера студентами, университет закрывается на некоторое время. Итак, свершилось! Худшие опасения осуществились. Университет закрывается, и не в силу обскурантских гонений, а вследствие внутреннего разложения, которое, ради обеспечения его дальнейшего существования, потребовало применения на время хирургического ножа. Это сильно поразило всех профессоров. Однако никто не выразил мнения, что эта мера не необходимая в настоящих обстоятельствах. Все, как говорится, повесили головы, не исключая и тех, которые немало, может быть, этому содействовали, поддерживая в юношах неосновательные стремления.

Вчера, кроме возгласов и диких речей против властей, юноши ворвались силою в большую залу, которая была с намерением от них заперта, переломали стулья, выломали дверь и побили стекла.

Сейчас от Филипсона (вечером в семь часов). Мы обменялись с ним мыслями относительно мер, которые следовало бы принять в университете. Он — славный человек; смотрит на вещи благородно и разумно, любит юношество и относится ко всему случившемуся с огорчением, но без раздражения. К сожалению, он не может действовать самостоятельно; он связан по рукам и по ногам.

— Знаете ли, — сказал он между прочим, — как трудно мне даже просто знать настоящее положение вещей в университете. Верные сведения обо всем я получаю от министра, а министр получает их из III отделения; III же отделение все знает через своих шпионов. Можете себе представить, как приятен этот путь!

Значит, подумал я, местное университетское начальство или так слепо, что ничего не видит, что делается у него перед глазами, или так неблагородно, что из трусости скрывает это — именно из трусости перед студентами. А между тем зло растет и выросло, наконец, до закрытия университета. Не выкинешь у меня из головы, что своевременное и единодушное воздействие на юношество профессоров и попечителя могло бы еще домашними средствами потушить пожар. Право же, гадко, до какой степени у нас нет характеров.

25 сентября 1861 года, понедельник

В четверть первого на улице, где я живу [Владимирская], показалась огромная толпа молодых людей с голубыми воротниками и такими же околышками на фуражках. За ними по пятам следовал отряд жандармов и масса народа. Толпа повернула в Колокольную улицу и стеснилась около квартиры попечителя университета. То были наши студенты, но кое-где мелькали между ними и партикулярные платья и мундиры офицерские и медицинских студентов. Я поспешно оделся и отправился на место действия. Туда спешил еще отряд пожарной команды. Здесь разыгрывалась нелепая и печальная драма студенческих буйств. Толпа пришла к попечителю требовать отмены разных университетских постановлений.

Когда я приблизился к квартире Филипсона, толпа сильно волновалась и неистово кричала посреди улицы. Жандармы ее оцепили. В хаосе криков нельзя было разобрать отдельных слов, но жесты, маханье платками, палками, шляпами свидетельствовали об исступлении, в каком находились молодые люди. Я с трудом пробирался по тротуару, который тоже весь был залит толпами студентов. Некоторые, по-видимому более умеренные, восклицали: “Господа, без скандала!” Другие испускали какие-то невнятные звуки. Небольшая группа смотрела на своих неистовствующих товарищей. Я обратился к ним и выразил сожаление о происходящем. Не знаю, искренно или притворно, они отвечали сожалениями же. Но когда я сказал, что такими выходками они вредят университету и науке, мои слова подхватил один из крикунов и отвечал: “Что за наука, Александр Васильевич! Мы решаем современные вопросы”.

Давка между тем до того усилилась, что я принужден был взобраться на парапет ограды, окружающей Владимирскую церковь, и кое-как добрался до квартиры Филипсона. Его, разумеется, там не оказалось: он был на улице со студентами. Но я хотел успокоить его жену, которую, однако, нашел спокойною.

Наконец, после долгих — я думаю, с полчаса продолжавшихся — криков и смятения толпа двинулась к университету, и попечитель во главе ее. Я взял извозчика и отправился туда же.

Попечитель был уже в университете. Увидев меня, он обрадовался и попросил меня остаться, чтобы принять участие в комиссии, которая должна выслушать представления депутатов от студентов.

Между тем молодые люди нахлынули во двор и в швейцарскую университета; на улице тоже было их множество; народ наполнял все ближайшие места; кареты, дрожки пересекали мостовую. Все было в нестройном движении и ожидании.

Явился обер-полицеймейстер Паткуль, а вслед и генерал-губернатор Игнатьев. Вошли депутаты Михаэлис, Ген и Стефанович. Генерал-губернатор обратился к ним с речью, в которой выразил свое сочувствие юношеству вообще, но в то же время — твердую решимость препятствовать всякому со стороны студентов беспорядку вне стен университета. Речь его была бы вообще хороша, но ей, на мой взгляд, недоставало определенности. Затем он потребовал, чтобы студенты разошлись, но попечитель объявил о намерении наскоро собранной им комиссии выслушать депутатов. Тогда генерал-губернатор согласился подождать и вышел в другие

комнаты.

Мы уселись перед зерцалом в зале совета, и депутат Михаэлис начал излагать желания от имени всех студентов. Желания состояли: а) в том, чтобы позволено было студентам пользоваться университетскою библиотекою во время закрытия университета, б) чтобы были отменены правила, которым студенты подчиняются по матрикулам.

Председатель, то есть попечитель, объявил им, что правила не могут быть отменены; что студенты, напротив, должны обязаться честным словом исполнять правила матрикул и в таком только случае им позволено будет вступить в университет. Если же они не хотят обязаться, то могут оставить университет: это совершенно зависит от их доброй воли. Это род договора, который университет заключает со своими слушателями. На это отвечал Михаэлис, что дать честное слово — они дадут, но исполнять его не будут. Я выразил мое удивление, что слышу такие слова из уст молодого человека, и заметил, что честным словом играть нельзя. “Что же, — отвечал он, — когда мы должны дать его по принуждению”. Ему объяснили, что там, где предлагаются условия, принять или не принять которые зависит от воли каждого, принуждения никакого нет. По окончании заседания генерал-губернатор пригласил студентов разойтись. Однако они еще долго толпились в швейцарской, на. дворе и у ворот университета. На ближайшей улице и на набережной теснились зрители всякого звания. Я вернулся домой поздно вечером, сильно огорченный и измученный.

27 сентября 1861 года, среда

Опять волнения среди студентов. Ночью арестовали некоторых из них. Вследствие этого толпа молодых людей — человек в шестьсот — собралась на университетский двор. Тут говорились возбудительные речи. В толпу ворвалась также какая-то женщина и тоже что-то говорила. Шум все возрастал, сумятица усиливалась. Об этом дано было знать генерал-губернатору, и по его распоряжению выдвинут был батальон Финляндского полка, который составил каре на улице против университетских ворот. Приехал сам Игнатьев. Из толпы выдвинулось шесть студентов. Они подошли к Игнатьеву и заявили ему о своем желании отправиться в качестве депутатов к министру просить его за своих арестованных товарищей. Им отвечали, что министр никаких депутаций не принимает. Затем, по настоятельному требованию генерал-губернатора студенты разошлись.

Все это сообщил мне попечитель.

28 сентября 1861 года, четверг

Заседание в Академии. Оттуда пошел в университет. Здесь мне представилось очень грустное зрелище. У входа с Невы толпились студенты — не в большом количестве, человек пятьдесят. Двери университета перед ними не раскрывались. Юноши смотрели как-то пасмурно и уныло, но были спокойны, не шумели. Они казались детьми, которые, напроказив, пришли к своей матери, но мать их отвергает.

Она лежит неподвижно, как будто в обмороке. В швейцарской отряд солдат. Невыразимо жаль бедных детей и горько за оскорбленную мать. Вернулся домой с стесненным сердцем. Нервы шалят.

За мной присылал Филипсон. Несмотря на усталость, я тотчас пошел к нему. Он объявил мне, что я, по распоряжению министра, назначаюсь депутатом от университета в комиссию для исследования происшедших беспорядков”

Эх, не хочется! Тут много предстоит трудностей и неприятностей, а здоровье плохо. Но как гражданин, как настоящий честный друг учащейся молодежи, я не имею права, жалея себя, отказываться от дела потому только, что оно трудно и неприятно.

В шесть часов я был у генерал-губернатора. Он встретил меня сожалениями о случившемся. Я выразил надежду, что на молодых людей не станут же в самом деле смотреть как на государственных преступников. Это — дети, и отношение к ним власти может быть только отеческое. “Бог милостив, все кончится благополучно”, — ответил генерал-губернатор. Потом он сказал еще, что многие порицают его распоряжения, а между тем этим распоряжениям обязаны, что не было пролито крови.

От генерал-губернатора я поехал к министру и сообщил ему, что я в восемь часов должен быть в крепости, где соберется комиссия.

В восемь часов в крепости. Не все члены собрались. Мы не могли приступить к делу, потому что не имели никаких данных, на основании которых могли бы приступить к допросу задержанных юношей, то есть у нас не было строго определенных сведений, за что они взяты и в чем их обвиняют. Мы составили протокол, в котором положено требовать этих сведений от кого следует, и затем разъехались. На первый раз не много. Общая растерянность и непоследовательность бросаются в глаза.

Но находившиеся налицо члены все показались мне людьми порядочными. Они далеки, по крайней мере все так высказались, от мысли обвинять и преследовать заблудших молодых людей как государственных преступников. Дай-то Бог! Это значительно облегчит наше дело, дело не только правосудия, но и милосердия.

Комендант говорил тоже в тоне простого и добродушного человека.

Студентов всего забрано тридцать семь. Один из них заболел и отправлен в больницу.

29 сентября 1861 года, пятница

Часу в десятом вечера ко мне явились члены университета Спасович, Березин и Павлов просить меня сложить с себя звание депутата, потому, говорили они, что тут требуется юрист, член юридического факультета. Само собой разумеется я не спорил, тем более что в их словах, если не в намерении, есть доля правды. Умы раздражены, и, в случае неблагоприятного исхода дела, министерство могут действительно упрекнуть в том, что оно выбрало депутата не из юристов. Так. Но, с

другой стороны, смотрите, господа, не пересолите. Увлеченные волной ходячего либерализма, вы ни в ком не допускаете спокойного и нелицеприятного отношения к делу. Вы вольны в вашем недоверии. Но требуя для юношей защитника, вооруженного не только здравым смыслом, любовью к правде и состраданием к неопытной молодежи, но еще и всеми ухищрениями юридической науки, вы как бы усиливаете значение их вины и из провинившихся детей возводите их в ответственных преступников. В таком случае вы правы: дело может так усложниться и принять такие размеры, что действительно окажется мне не по силам. Я завтра попрошу министра уволить меня по расстроенному здоровью.

30 сентября 1861 года, суббота

Подал просьбу министру об увольнении меня от звания депутата следственной комиссии о беспорядках в университете. На место меня назначил он Горлова. Он не хотел никого другого из юристов, ни Спасовича, ни Андреевского. Он сильно негодовал на адрес, поданный ему сегодня за подписью профессоров о ходатайстве за студентов, сидящих в крепости. Я не мог его подписать, потому что еще состоял депутатом и в этом качестве не должен был принимать участия ни в каких демонстрациях.

Иные просто хотели бы сделать из университета политический клуб, да уж почти и сделали это.

Впрочем, не одно университетское юношество замешано в настоящем движении. Ему сочувствуют решительно все здешние высшие учебные заведения, да и не одни здешние, а и провинциальные. Все теоретики-либералы, журналисты также на их стороне. И нет никакого сомнения, что происшествия последних двух дней связаны с прокламациями “Великорусов” и “К молодому поколению”, где провозглашается открыто революция. Словом, это симптом революционной лихорадки, которая охватила множество легких пишущих и велеречивых умов. Явление это, пожалуй, вполне естественно, но ему надо противодействовать разумно и энергически, иначе оно поведет нас к анархии, а анархия, как известно, оканчивается страшнейшим из всех деспотизмов — деспотизмом реакционным.

Кажется, приходится принять за неоспоримую истину, что исторические дела начинаются, а частью и делаются не мудростью и добродетелью, а безумием и насилием.

Беда, что в таких тревожных обстоятельствах власть обыкновенно бывает в руках ненадежных. Вот и наш министр, кажется, человек и ограниченный, и колеблющийся. Попечитель — благородный, умный, но новый у нас человек. Он бьется как рыба об лед, добросовестно и усердно, но что может сделать он один?

1 октября 1861 года, воскресенье

Да, я противник скачки сломя голову и буду поддерживать принцип правительства, даже слабого, только не реакционного.

Я знаю, господа, что вам улыбается; согласен с вами, что для самолюбия нет пищи сладостнее, как быть вождем народа; только смотрите, не лизните кровь. Кровь — скверное блюдо, чересчур пряное и отуманивающее голову.

Но в одном отношении нынешнее движение может быть и полезно, если только правительство сумеет в, нем найтись. Во-первых, правительство должно понять, что не след пренебрегать известными требованиями образованной части общества, каково бы оно ни было. Во-вторых, оно не должно откладывать в долгий ящик намеченных преобразований и должно вообще действовать разумнее и законнее. Таким образом оно может отвратить много дурного и достигнуть много хорошего. Оно должно стать во главе движения и не допускать себя до необходимости удовлетворять неизбежным требованиям времени в виде уступок. Это было бы ужасным бездействием. Неизвестно, где можно было бы остановиться на пути этих уступок, да вообще можно ли остановиться. Это уже прямо повело бы к революции, безалабернее которой вряд ли что было на свете.

Но твердость правительства никоим образом не должна переходить в раздражение или в жестокость. Боже сохрани! Да и нельзя же в самом деле на непокорных детей смотреть как на настоящих врагов. Молодым людям должно быть отпущено их увлечение; особенно, если окажется, как то более чем вероятно, что их подстрекали со стороны. Да хотя бы и не так, все же им надо отпустить их грех, ибо не ведают, что творят.

Был у Делянова. Горлов принял на себя звание университетского депутата в следственной комиссии,

Сейчас был у Марка Любощинского и нашел его в хлопотах. Он занят следствием. Служащие в сенате — не сенаторы, конечно — согласились составить адрес государю, или просьбу, о помиловании студентов или о снисхождении к ним. Марку, как обер-прокурору, поручено исследовать: кто, как, почему и проч.

2 октября 1861 года, понедельник

Вчера я был у вице-президента Медико-хирургической академии Глебова. Он мне говорил, что их студенты хотя и не отличились открытыми подвигами, как наши, но внутренне заодно с последними. В четверг предполагалась у них союзная сходка во дворе академии. Но меры были приняты: академический двор заперли и не велели пускать никого из посторонних. Несколько карет, колясок, дрожек подъезжало к воротам, из них выскакивали юноши, направляясь к воротам, но те оставались глухи и немы. Непрошенные посетители принуждены были удалиться.

Приехал из-за границы Плетнев. Вчера я видел его у попечителя. Посмотрим, как-то поведет себя в нынешних обстоятельствах этот почтенный человек, всю жизнь свою заботившийся о том, чтобы избегать всяких забот, если они не касались получения мест, пенсионов и звезд.

Я предполагал бы: 1) раз что университет закрыт — не открывать его некоторое время; 2) тем временем составить комиссию из людей истинно просвещенных; пригласить туда в виде экспертов ну хоть двух профессоров и двух академиков и

возложить на эту комиссию изыскание средств к лучшему устройству наших университетов, сообразно требованиям времени и состоянию государства, и начертать правила нового устава и 3) тогда начать, благословясь, дело новое.

Есть одно обстоятельство, которое производит страшную путаницу в умах: это страшные лжи, которые разносятся по городу недобросовестными прогрессистами о всяком происшествии, о всякой мере правительства. Все это до такой степени искажается, что и людей умеренных невольно вовлекает в усиленную оппозицию. Я беспрестанно принужден бываю опровергать нелепейшие вымыслы этого рода перед людьми, которые готовы поверить им. Так, например, распространен слух, что у студентов начальство насильно отняло их кассу, которую они собрали для пособия нуждающимся своим товарищам; что им запрещено посещать лекции других профессоров, кроме своих факультетов; что во время смятения двадцать пятого сентября солдаты били студентов прикладами, а жандармы преследовали их с обнаженными палашами и проч. Право, правительству следовало бы позаботиться о том, чтобы закрыть уста клевете. Для этого одно средство — гласность. Пусть бы правительство о всяком необыкновенном происшествии печатало небольшие извещения без дальних рассуждений, но с точностью излагая факты и опровергая ложные слухи. Для этого можно бы избрать хоть академические “Ведомости” или “С.-Петербургские ведомости”.

Около университета опять толпятся студенты и собираются массы всякого народа. Приведены в движение войска. В здание университета никого не пускают.

Кажется, не подлежит сомнению, что студенты — агнята, которых направляют сторонние силы — не настоящие пастухи, а волки в пастушьем платье.

Главная трудность в настоящих обстоятельствах — добиться истины фактов. Чего сам не видел или в чем сам не участвовал, того никак нельзя считать не только за достоверное, но даже и за полудостоверное. А между тем на истине фактов должна опираться истина мнений и действий.

Был у меня епископ католический, ректор академии Берестневич. Речь шла, разумеется, о настоящих событиях.

Он рассуждал с большой терпимостью, вовсе не как католик-консерватор.

3 октября 1861 года, вторник

Обедал у графа Блудова. Там были: Ег. П. Ковалевский (сенатор, недавно пожалованный) и Костомаров. Речь вертелась около городских событий. Граф судил вяло — ему, очевидно, нездоровилось. Графиня, по обыкновению, замыкалась в славянство: она была обложена вся газетами чешскими, галицийскими и проч. Костомаров молчал. Мне тоже не хотелось говорить. Разговор вообще плохо клеился. Все были как-то удручены. Здесь, между прочим, узнал я, что Варшава объявлена в осадном положении. И впрямь, есть от чего быть удрученным.

На днях были распущены слухи, что император едет в Иерусалим на богомолье. Это одна из тех лжей, которыми так изобилует Петербург.

Михайлов признался, что он хотел произвести революцию.

4 октября 1861 года, среда

Встретил одного приятеля [И.А. Гончарова], который советовал быть осторожным. Вчера он обедал в клубе и слышал, как некоторые порицали меня за то, что я не одобряю подвигов студентов. — “А вы их одобряете?” — спросил я его. — “Нет”, — отвечал он. — “Значит, и вас порицали?” — Он замялся.

Совет университета. Происходил выбор членов университетского суда. Я получил только два голоса. Видимое неблаговоление ко мне большинства. Но это меня не удивляет и больше уж не огорчает: я прямо заявил себя против этого большинства в студенческих беспорядках, следовательно, вполне естественно, что они, со своей стороны, против меня. Но гнусное лицемерие иных способно было бы меня раздражить, если бы я менее знал, а подчас и презирал человека. Эти люди с вами заодно на словах, вместе с вами порицают демагогические порывы и замашки противной партии и в то же время склоняются перед ней, готовые покинуть вас одного среди самого жаркого боя и обратить тыл, да еще выдать вас головою, — и все это из подлой трусости, готовности служить вашим и нашим.

Хорошо и начальство: сегодня сделает шаг вперед, а завтра отступит на два назад, и наоборот. Оно выдержанно только на словах, на деле же действует без всякой системы.

Попечитель предложил нарядить комиссию об изыскании способов, облегчить студентам плату, взимаемую с них при поступлении в университет. Доброе дело, и за него я всей душою. Но если затем последует отмена матрикул, то я буду против этого.

5 октября 1861 года, четверг

Все члены университета *ультрапрогрессисты* сделались врагами моими за то, что я не одобряю поступков студентов и вообще восстаю против принципа, который предоставляет студентам право *требовать* отмены каких-либо постановлений. Эти господа следуют обыкновенной демагогической тактике: лгут, клевещут, приписывают мне мысли, каких я никогда и не имел; слова, каких никогда не произносил. Опять был у меня сегодня мой приятель, и мы долго с ним беседовали. Он, по своей неизмеримой лени и апатичности, по своему политическому и нравственному индиферентизму, советовал мне быть и так и сяк. Но этот способ, очень смахивающий на двуличность и подлость, я считаю для себя непригодным. Да притом в настоящее время это легче советовать, чем исполнять. Конечно, безопаснее идти туда, куда ветер дует; но ветры нынче дуют разные и даже противные друг другу. В такое время всякий честный деятель обязан определиться, *быть чем-либо,* а не *всем*, то есть ничем.

Итак, да, я не одобряю стремления молодых людей и моих товарищей взять *нахрапом* то, что должно быть взято твердым и разумным заявлением общественных нужд. Для нахрапа еще не пришло время.

6 октября 1861 года, пятница

В нашем безалаберном обществе все должно быть безалаберно. Толкам, вымыслам, крикам нет конца. Никто не хочет вникнуть в дело, основательно узнать события, чтобы на их прочном фундаменте, а не на зыбкой почве страстных толков, построить здание своих умозаключений.

Все орет, шумит, вопит, ругает первого, чье имя подвернется под язык, — вот вам и общественное мнение. Что к студентам, забранным в крепость, питают сочувствие; что желают их освобождения; составляют проекты адресов и петиций в их пользу; собирают деньги на уплату в университет за неимущих студентов — все это естественно, справедливо и гуманно, как ныне говорится. Но зачем же искажать факты и представлять в ложном свете мысли и поступки людей, намерения и характер которых определились целою жизнью их, — и это на основании нескольких лживых слов какого-нибудь уличного либерала.

Зачем, например, говорить, или, лучше сказать, кричать, что я враг студентов, что я действую против них? Я-то, всю жизнь посвятивший им и укреплению науки! Уж сказать бы лучше, что я собственными руками забираю по ночам юношей под арест и т.д. И это только потому, что я не одобряю их демонстраций на улицах и площадях; что я в совете не разделял мнения большинства относительно матрикул, имея в виду важность момента, когда по городу ходят возмутительные прокламации и открыта целая шайка, готовая подстрекать чернь к резне. Я находил и нахожу, что профессору выказывать сочувствие к уличным агитациям и неразумным требованиям студентов — значит вредить им же самим. Нет! Мне надо было не отставать от Кавелина и именно так действовать. Не детская ли это игра в революцию и либерализм? Не значит ли это поддерживать в студентах опасный для них дух агитации, политических претензий, вместо того чтобы заставлять их учиться? Не значит ли это неопытные и еще не созревшие умы юношей растлевать и делать их слепыми орудиями политических предприятий, которых они сами обсудить еще не в состоянии? Не значит ли это предупреждать и искусственно распалять страсти?

И между тем камергер М.М. сегодня целый вечер у меня орал, что мне следовало в совете принять сторону Кавелина; что меня бранят в обществе и проч. Я объяснил ему все от начала до конца. Он несколько укротился, но ему все же кажется ужасно великим делом — кричать в пользу ультралиберальных идей, потому что это теперь в моде, и слыть громовым героем, новым Гарибальди, сидя у себя в мягких креслах с благовонною сигарою во рту.

До часу продолжались у меня прения. Горло, грудь, голова устали. Мне все это крепко надоело, и я рад был, когда мои гости взялись за шляпы.

7 октября 1861 года, суббота

Впрочем, я не ропщу на все эти толки обо мне. Я ведь не добивался популярности в этом безалаберном обществе, которое волнуется, а не стремится к

определенной цели или стремится так, что в этом стремлении могут погибнуть или исказиться самые цели, какие оно преследует в этом хаосе, где все кричат и никто не понимает друг друга, где никто не дает высказаться другому и каждый хлопочет только о том, чтобы стать впереди и порисоваться a la Гарибальди (бедный Гарибальди!), с возможным, впрочем, ограждением собственной безопасности и с стремлением удрать тотчас со сцены действия, как скоро потребовалось бы определиться точнее. Нет, я не ропщу на разглашаемые обо мне нелепости: ведь в общественных тревогах всего больше достается честным людям.

Что забирают студентов, что их держат в крепости вот уже больше 10 дней, я совершенно этого не одобряю. Но, с другой стороны, надо знать, в каком состоянии дело о Михайлове, о прокламациях и не замешаны ли здесь наши студенты. Это было бы просто ужасно.

Начальство, как и все прочие у нас, тоже очень склонно к несообразностям. Но все-таки из этого не следует, чтобы я одобрял принцип ниспровержения всякой власти, всякого авторитета правительства. Оно необходимо должно начать серьезные реформы; я бы даже стоял за созвание великого земского собора, но, конечно, без участия студентов, которым надо учиться и пока только учиться, если они хотят впоследствии участвовать в решении судеб своего отечества.

Филипсон передал мне просьбу министра составить записку о преобразовании университетов. Я передал Филипсону свои соображения по этому поводу и обещался изложить их в особой записке.

8 октября 1861 года, воскресенье

В двенадцать часов попечитель собрал совет университета. На обсуждение предложен был вопрос: какие меры принять, чтобы при предстоящем открытии университета не повторились скандалы, подобные бывшим. Последовали нескончаемые словопрения о том, что правила матрикул требуют изменений и что только под условием этих изменений можно ожидать, что в университете все будет мирно и тихо. На это попечитель, разумеется, не мог согласиться. Наговорено было много всего. Иные, как например Андреевский, пускались в юридическую схоластику и даже прибегали к юридически крючковатым придиркам. Кавелин толковал о необходимости дозволить сходки, сравнивая их с общинами и артелями. А сходки между тем запрещены высочайшею властью.

Словом, дело, которое попечитель хотел уладить или устроить, взывая к благородному содействию членов университета, не только не уладилось и не устроилось, но запуталось больше и затянулось в узел, который развязать теперь нет возможности и впереди предстоит уже разве только рассечь авторитетом власти. Кавелин предложил следующий компромисс: объявить, что студенты получат желаемое не сейчас, а когда заслужат это хорошим поведением. Я согласен, чтобы было объявлено, но не это, а то, что университеты вообще будут преобразованы, и тогда многое, без сомнения, изменится. Особенно удивительным или, лучше сказать, вовсе не удивительным, а вполне свойственным ему образом вел себя Плетнев. Во-первых, он ни к селу ни к городу сказал длинную речь о любви, сопровождая ее

сентиментальными возгласами и ужимками, похожими на движения и мурлыканье кота, когда он к кому-нибудь ластится. Плетневу, видимо, хотелось угодить большинству, чтобы и волки были сыты и козы целы. Но вот что просто непостижимо: он упомянул про скандал на акте. Казалось бы, это не слишком говорит в пользу сходок и вообще поведения студентов. Но умысел тут был другой. Ему хотелось показать, что он любовью смирил в тот день студентов и велел им разойтись. Но зачем же он скрылся при начале скандала и вернулся уже спустя долгое время после того, как я с некоторыми студентами пошел за ним на его квартиру? Зачем явился он только к концу скандала, когда публика уже разошлась и студенты уже надрали себе горло, крича: “Речь, речь Костомарова!” И как он усмирил студентов? Объявив им, что речь все-таки будет прочитана в собрании студентов, то есть сделав именно то, что они дерзко требовали.

Заседание совета продолжалось два часа и, разумеется, кончилось ничем.

11 октября 1861 года, среда

Сегодня открыт университет. Караул в швейцарской снят. Но казарменный запах до того заразил воздух, что с трудом можно дышать тут: запаха этого не выведешь, я думаю, и в месяц. Студентов собралось очень немного. У меня на лекции было четыре человека, у Благовещенского два, у Ленца тоже человека три, у Косовича ни одного. Я прочитал лекцию с жаром и одушевлением, как ни в чем не бывало. Мои немногочисленные слушатели следили за ней с обыкновенным своим вниманием. Я ими был совершенно доволен, да и они, кажется, мною.

Между тем небольшие толпы студентов скитались то у главного входа, то у малого с Невы, как души грешников у порога рая, в который им воспрещен вход. Это, кажется, были те, которые не подали просьб и не приняли матрикул. Говорят, что они похаживали тут с умыслом затеять опять какую-нибудь демонстрацию.

Итак, первый день открытия университета, которого так боялось начальство наше, прошел благополучно. Каковы-то будут последующие?

12 октября 1861 года, четверг

Сильнейшее доказательство, что мы не созрели еще для коренных государственных изменений, — это нынешние происшествия. Есть ли что гнуснее, как получать мальчиков делать революции, а самим за спиной их велеречить о высоких государственных вопросах.

Подъезжая часов в одиннадцать через Дворцовый мост к Академии наук, где сегодня было заседание, я увидел толпу народа на островской набережной и маневрирующий туда и сюда отряд жандармов. Так и есть, опять скандал студенческий.

Я не пошел в Академию, а отправился в университет. Около малого входа с Невы стояла небольшая толпа студентов. Но главная сцена была не здесь, а у большого входа. Там расположился и отряд жандармов. На площади скитались

зрители и стояло несколько экипажей. Сумятицы, впрочем, большой тут не было. Я вошел в университет; там было все тихо; несколько студентов, принявших матрикулы и явившихся на лекции, бродили по коридору. В аудиториях было пусто.

Я возвратился в Академию. Там нашел я Востокова, Грота, Дубровского и Билярского, к которым присоединился скоро и Срезневский. Было не до заседания, по крайней мере мне как лицу университетскому. Около двенадцати часов я опять отправился в университет, где мне следовало читать лекцию.

Около малого входа все еще стояли студенты; около них несколько человек городской стражи. Я пошел наверх в свою аудиторию. В коридоре собралось десятков пять студентов около ректора, и он что-то им проповедовал. Между тем жандармы оттиснули от главного входа толпу студентов человек в полтораста и загнали их в университетский двор, откуда под конвоем человек сто из них было отведено в крепость.

Вот в чем состояло дело: человек около семисот приняли матрикулы и объявили, что они желают слушать лекции на основании тех правил, какие в матрикулах изложены. Не подавшие об этом просьб, — а их по городу рассеяно человек триста, — решились отправиться гурьбой к университету, выманить оттуда как-нибудь принявших матрикулы, напасть на них, вырвать у них несчастные матрикулы и тут же, у порога университета, уничтожить. Этому хотела воспрепятствовать полиция, и дело кончилось отведением в крепость большей части этих антиматрикулистов.

На лекции явилось очень немного студентов. Большая часть из них, предвидя скандал, не пошла на лекции из опасения подвергнуться неприятностям от товарищей противной партии. У меня было, однако, более, чем вчера, и лекция состоялась без малейшего нарушения порядка, как всегда.

14 октября 1861 года, суббота

Не те виноваты, у которых едва начинает пробиваться пух на верхней губе, а те, у которых уже начинает седеть щетина на бороде.

Как ни нелепы эти беспорядки, которые вот уже три недели держат в тревоге весь город, однако и пренебрегать ими нельзя. Ведь сколько пожаров случается от того, что какому-нибудь мальчишке вздумается для своей потехи подбросить зажженные спички под забор или сарай.

В Главном управлении цензуры. Министр не председательствовал. Он был в Совете министров, и его заменил Делянов.

В “Русском слове” появился новый пророк в модном направлении — Писарев. Он в прошедшем году кончил курс в нашем университете и теперь поместил в “Русском слове” статью “Схоластика XIX века и процессы жизни”. Прочитав ее, признаюсь, я даже раздражился, и в этом расположении духа я говорил слишком горячо, делая мой доклад, за что подлежу сильному упреку от самого себя. Не должно в важных случаях отдаваться увлечению, хотя бы источник его был благородный. Правда, уже более двух недель, как я принужден бороться с пошлым и

грубым стремлением, которое, как мутные волны, все больше и больше нас охватывает со всех сторон и которое угрожает нам в будущем кровавым потопом. Немудрено в таком положении вещей прийти в нехорошее расположение духа. Я не могу не бороться с этим духом разрушения и сложа руки сидеть и только смотреть на этот бурный поток. Но конец концов, каково бы ни было положение вещей, дурному настроению не следует давать ходу. Не надо допустить его перейти в постоянное, ни даже повторяющееся расстройство. Самообладание, самообладание!

15 октября 1861 года, воскресенье

Надо не иметь ни малейшего понятия о России, чтобы сломя голову добиваться радикальных переворотов. Стоит только послушать, как рассуждают о современных происшествиях люди даже пожилые, чтобы убедиться, что тут нет ни опытности лет, ни здравого смысла, ни образования. Суждения совершенно детские! И им нет ни малейшей нужды, что факты, о которых они судят и из которых они выводят свои умозаключения, искажены нелепейшим образом, до невозможности верить им хоть на йоту. Они произносят решительные приговоры о делах и лицах, о которых ничего никогда не знали, ничего никогда не думали. И это люди, метящие в избиратели и представители наши! “Ничего, — говорят красные, — выучатся на практике”. Да ведь я сапог не дам сшить человеку, который ничего не смыслит в этом ремесле и с моих ног начинает свое ученье, а здесь дело идет о том, чтобы издавать законы для государства, направлять политику — словом, управлять не одним даже, а целыми народами. Для всего этого общество должно быть воспитано, подготовлено. Не мешайте же, господа, учиться тем, которые еще могут и должны учиться.

М.А.Корф написал книгу “Жизнь Сперанского”. Сегодня я слышал от одного умного человека такое о ней суждение: “Подлая, скверная книга”. — “Отчего, — спросил я, — такое немилостивое суждение?” Строгий судья решительно ни одного слова дельного не сказал о ее недостатках, а только общие места, что книга не полна, что Сперанский был величайший человек и проч. “Книга, конечно, — сказал я, — имеет и даже значительные недостатки. Но чтобы назвать ее подлою и скверною, надо было прочесть ее с предвзятым намерением найти ее такою”.

Беда! У нас кто получил от природы ума на 10%, тот думает, что ему отпущено его на 100%, а всем другим на 1 или на 0. Нет никакой правильной меры в суждениях о самих себе и о других; ни малейшей заботливости быть справедливым. Кричат, чтобы перекричать других и сделать свою мыслишку господствующей над мыслями всех своих знакомых, приятелей, незнакомых и неприятелей, — в этом главная цель наша, а там хоть трава не расти. Черт с ней, с правдой; ведь от нее я не покажусь гением ни в собственных своих глазах, ни в глазах других. Правда слишком проста. У гениев все не так, как у обыкновенных смертных, — а мы гении!

16 октября 1861 года, понедельник

Не Россия для университета, а университеты для России.

17 октября 1861 года, вторник

Поутру сильно нездоровится. Я не поехал в Римско-католическую академию: это очень далеко, да и в коридорах и в зале там бывает очень холодно.

Вот что хотел бы я сказать и при случае скажу одному из красных: Нам не след быть врагами. Мы стремимся к одной цели. И вы и мы — люди движения; но вы — представители *быстроты движения,* мы — представители *постепенности* его. Все дело в том, чтобы не допускать друг друга до крайностей. И несдержанная быстрота и слишком большая медлительность — одинаковое зло. Вы не даете обществу застояться, спустить, что называется, рукава; мы не хотим допустить вас до головоломной скачки вперед, которая может породить много зла, например анархию. Одним словом, мы составляем противовес, который мешает тяжести упасть на одну сторону весов. В сущности же не будет ни того, что вы хотите, ни того, что хотят ваши противники, а от взаимного противодействия сил выйдет нечто, чего не ожидаете ни вы, ни они, — выйдет то, чему быть надлежит. А в этом и вся сила.

Вы хотите крови; мы допускаем ее возможность, но не хотим ее. Вы говорите, что без крови ничего не достигается, но, во-первых, кто вам сказал это? Из того, что было, не следует, чтобы всегда так было, и чего не было, то может быть; а во-вторых, кровь вещь хорошая, когда она течет в указанных ей местах — в жилах; но не совсем хорошая, когда она спешит оттуда литься. В таких случаях лучше, чтоб ее лилось меньше, чем больше. Положим, умеренное кровопускание бывает иногда полезно и спасительно; но излишнее убивает. Кровопускание не есть специфическое средство. А главное, не надо его вызывать искусственно, насильственно. Пусть будет все в свое время, по неотразимой силе вещей, а не по велению и замыслу одной партии, хотя бы и вашей. Да притом вообще кровь имеет скверное свойство — отуманивать голову.

Вы говорите, что надо разрушать все старое, *все, все,* чтобы потом создалось новое. Но разве это возможно? Старое в человечестве: и наука, и искусство, и всякие опыты и открытия веков. Старое все то, откуда, из чего вытекает новое. Разрушить все старое значит уничтожить историю, образование, начать с Адама и Евы, с звериной шкуры, с дубины дикаря, с грубой физической силы.

В общественном порядке бывают *перестройки,* а не постройки сызнова всего так, как будто ничего не было прежде.

А когда перестраивают, то иное оставляют, другое исправляют, а до кое-чего даже вовсе не дотрагиваются, потому именно, чтобы не разрушить всего. Тут нужны рассудок, осмотрительность, а не безумие, страсти, попыхи и скачка сломя голову.

Не дразните слишком правительство: вы заставите его, как в нынешней Франции, опереться на войско и массы — и тогда вы можете себе представить, что произойдет не только с вами и с вашими теориями, а даже с тем, что получше вас и ваших теорий?

Говорить дурно о правительстве, обвинять его во всем сделалось ныне модою. А я думаю, что если бы правительство показало, что с ним шутить нельзя — мода эта быстро прошла бы.

В сегодняшних “Санкт-Петербургских ведомостях” изложены университетские события. Описание сделано в очень умеренном духе. Некоторые обстоятельства не в пользу студентов смягчены, другие совсем выпущены, например то, что депутаты требовали отмены матрикул от имени всех своих товарищей и что большинство положило не исполнять честного слова относительно исполнения правил матрикул — хотя бы и дав его. Всему этому я сам был свидетель.

Вечером были Марк и Гончаров. Те же бесконечные разговоры о современных происшествиях. На этот раз, впрочем, оба судили о них как зрелые люди, а не как студенты.

18 октября 1861 года, среда

Отнимая у человека религию, нравственность, идеалы и оставляя за ним только эгоизм с расчетливостью бобра да натуральные влечения к материальным благам, вы низводите его решительно до скота. Но если, по-вашему, это истина, хотя и прискорбная, то почему же не истина то отрадное чувство, которое человек почерпает в высших верованиях и стремлениях? Вы требуете везде фактов; но разве не факт это чувство с его благими последствиями? Ваши учения разве делают возможным доверие к какой-нибудь из ваших истин? Ежели, по-вашему, существенно одно тело, то как же вы хотите, чтобы я признал к чему-нибудь годным хоть одно понятие, сотканное головой человеческой, хотя бы то эта голова принадлежала Молешоту, Фохту, а наипаче Лаврову, столь красноречиво читавшему лекции о философии в Пассаже, а не то Писареву, знаменитому философу “Русского слова”.

Говорят, что во время студенческих демонстраций в Москве студенты были побиты чернью, которая сочла их бунтующими против начальства. Если это правда, то это факт очень знаменательный. Что скажут наши красные, призывающие народ к восстанию во имя прогресса и всяческих социальных совершенств?

На лекции сегодня у меня было человек шесть слушателей. В других аудиториях еще меньше. Некоторые профессора совсем не читают лекций, потому что не для кого читать.

19 октября 1861 года, четверг

Государь приехал. На лекции у меня было студентов пять, у других и того меньше. У Срезневского, например, три. Всего посещающих лекции 75 человек, а подавших просьбы около 700. Отчего же они не ходят в университет? Это большей частью юристы, то есть самая беспокойная часть студентов. Едва ли они не решились держаться системы *пассивного сопротивления*, по примеру Венгрии. У нас везде и во всем подражание. Матрикулы они взяли, просьбы подали, но тем не менее хотят оказать безмолвный протест. Долго ли это продлится и чем кончится?

Никак не могу себя убедить никакими логическими доводами уважать это общественное мнение. Все точно объелись дурману. Все на студентов смотрят как на мучеников. Их дерзость, неповиновение закону и власти считают геройством, а

правительство позорят всеми возможными способами. Клевета, выдумки, искаженные факты составили какой-то мутный водоворот, который уносит и крутит в себе и старого и малого. Ни одного суждения умеренного, основательного, ни малейшего желания дойти до истины. Кричат, шумят, вопиют, как сумасшедшие или пьяные. Чего же они хотят? Конституции? Так это бы и говорили. Тут все-таки был бы какой-нибудь смысл. Нет, просто беснуются. Конечно, такое настроение умов имеет важное значение, но ведь и горячка имеет важное значение для того, кто ею одержим.

Будет ли правительство иметь довольно силы сдержать это безалаберное движение, которое угрожает России неисчислимыми бедствиями? Главное — недостаток национального, патриотического чувства. Общество проникнуто отсутствием возвышенных верований. Оно только расплывается в разрушительных поползновениях, а не стремится организовать, созидать… А там внизу массы, погруженные в грубое и полное невежество…

Я пробовал убеждать, доказывать — логика не действительна для тех, у кого в голове нет ее. Тут может действовать только сила, а у меня нет ее.

20 октября 1861 года, пятница

Чего хочет это общество? Резни? — неправда! Оно испугается этого в момент исполнения и упадет на колени перед сильной властью, которая захочет спасти его.

Был у Делянова. Он сообщил, что под председательством министра назначается из нескольких профессоров комиссия для обсуждения вопросов о преобразовании университетов и что я назначен членом ее. Итак, вот опять вторая комиссия, где мне приходится работать. Первая касается преобразования Ришельевского лицея в университет.

Некоторые студенты хотели замешать в свои демонстрации и войско. Они ходили по казармам и подстрекали солдат к восстанию, распространяя между ними, по “Великоруссу”, мысли об уменьшении срока службы и проч. По мнению означенных студентов, солдаты должны добиваться этого с оружием в руках, и им станут помогать студенты и все хорошие люди. Вот оно куда пошло! И находятся зрелые люди, которые выражают сочувствие к таким демонстрациям. Не хочу думать, чтобы они знали о всех подобных замыслах. Но им следовало предвидеть, к чему может привести нелепое движение среди молодых людей, презрение к закону, к порядку, дерзость, с которою они на своих сходках домогались участия в обсуждении политических вопросов и государственных реформ. И вот чему также сочувствует наше общественное мнение, и некоторые из моих так называемых друзей — не говорю уже о врагах — порицали и порицают меня, что я вооружаю против себя это мнение, не соглашаясь с ним и не льстя ему…

Вечером еще 25 сентября приходил ко мне один студент, который на мои слова, что надобно учиться, а не делать глупостей, отвечал, что отныне не наука должна занимать студентов, а современные вопросы.

27 октября 1861 года, суббота

При отсутствии у нас самостоятельности нам, кажется, следовало бы особенно уважать друг в друге его свое, свою мысль, свое мнение и помогать таким образом вырабатываться определенному, своеобразному характеру. Но этого-то нам и недостает. Мы готовы с яростью преследовать каждого, кто захочет думать и поступать независимо. Дух нетерпимости и страсть к умственному и нравственному деспотизму составляют язву нашего так называемого передового общества.

22 октября 1861 года, воскресенье

Студенты, взявшие матрикулы, но не являющиеся на лекции, подбросили в университете четыре записки с ругательствами на тех своих товарищей, которые посещают лекции. Швейцар Савельич с прискорбием мне говорил, что некоторые из студентов (смутников, как он их называет) бродят по коридорам и уговаривают товарищей не ходить на лекции.

Впрочем, немудрено, что университет пуст. Большая, самая многочисленная, часть студентов принадлежит к юридическому факультету, а профессора этого факультета сговорились не являться на лекции. С ними заодно Спасович и Кавелин. Это особенно питает дух оппозиции в студентах.

Новый номер “Великорусов”, который получили, кажется, редакции всех или главных журналов. Опять какой-то таинственный комитет обращается с воззванием к патриотам, и на этот раз преимущественно к патриотам умеренно-либеральной партии. Дело идет о конституции. Комитет, как бы в виде уступки умеренно-либеральной партии, решается пока не думать о насильственном принуждении государя дать конституцию или о низвержении династии, а предлагает обратиться к государю с адресом и прилагает проект самого адреса.

И воззвание и проект адреса написаны в умеренном духе, без кровавых выходок и разных революционных задирательств, и потому они могут иметь значительное влияние на публику, если успеют распространиться, — а кажется, успеют, потому что вот же под самым носом тайной полиции они преспокойно разгуливают по всему городу в бледно отпечатанных, — но все-таки отпечатанных экземплярах. Да и довольно появиться самому ограниченному числу экземпляров, чтобы быть прочитанными всеми, переходя из рук в руки.

Замечательно, что студенческая история оставлена почти без внимания. О ней упоминается только в виде наставления пропаганде, что на юношество надо действовать возбудительно, но в то же время укрощая его неуместные или неумеренные порывы.

23 октября 1861 года, понедельник

Из этого как бы следует, что не все наше общество проникнуто безалаберным влечением к анархии, или, что все равно, к так называемому прогрессу *сломя голову.* Да, было бы совсем иное дело, если бы в нем действительно преобладали умеренно-

либеральные идеи, не вызывающие никакого насильственного переворота, а только побуждающие правительство не останавливаться или слишком медлить на пути неизбежных реформ. Это, конечно, то, чего хотят, чего должны хотеть все благородные мыслящие люди. Ибо нельзя же России и управляться так, как она управляется ныне. Надо призвать к содействию сословия — новые силы и способности. Но в какой форме должно это состояться? — вот вопрос. Довольно ли многочисленна, сильна и образованна умеренная партия, чтобы склонить весы и на сторону рассудка и общественного блага? Будет ли она преобладающею? Не одолеет ли ее партия “сломя голову” и не поведет ли нас кровавым путем анархии к новому и притом ужаснейшему реакционному деспотизму?

Боюсь, чтобы правительство не отнеслось слишком легко ко всему этому движению, не подумало, что с ним можно справиться обыкновенными полицейскими мерами. Вразуми его, Боже! А времена опасные и многосмысленные.

Государь, говорят, благодарил на параде Преображенский, Финляндский полки и жандармов за их действия во время студенческих смут.

Навестил Филипсона: он болен.

Вечером заседание у министра. Совещались о преобразовании университетов по поводу проекта барона М.А.Корфа. Он предлагает сделать университеты совершенно открытыми для всех и каждого, через что уничтожается самое имя студентов и таким образом прекращается их корпоративное значение. Не будет переводных экзаменов и курсов, — словом, университеты лишаются своего школьного характера. Я подал голос в пользу этого проекта, полагая, что в настоящее время это чуть ли не единственное средство борьбы с корпоративным духом молодых людей в университетах. Дух этот в своем настоящем виде такое глубокое и опасное зло, что я не считаю излишними никакие жертвы для его ослабления. Плетнев говорил в таком же духе, а больше и сильнее всех — Савич. Министр возражал, что он сомневается в действительности этих средств, и защищал переводные экзамены. Но все остальные были решительно в пользу проекта, предложенного бароном Корфом. Делянов тоже сильно поддерживал нас. Министру, видимо, не хотелось согласиться с Корфом.

В четверг будут об этом прения в Совете министров.

24 октября 1861 года, вторник

К чему может привести идея безусловной личной свободы, составляющая один из основных догматов новейших политических учений? Образование не так всемогуще, чтобы изменить человеческую природу. Зверские инстинкты никогда не покидают человека. Так, например, что в самом деле значит проповедование убийства и кровопролития якобинцами и революционерами под предлогом доставления человеческому роду неслыханных благ и усовершенствований? Что значит вообще так называемый прогресс, который обрекает уничтожению все, что сделано человеческими силами в соединении с жизнями многих тысяч людей, многих генераций?

Не угодно ли тем, которые находят кровопролитие, или, как они его называют, кровопускание, полезным для блага народов, начать его с самих себя, с своих жен, детей?

В Киеве для блага народа толпа каких-то сорванцов и негодяев палками до смерти заколотила стоявшего на паперти полицейского офицера.

25 октября 1861 года, среда

Лекция в университете. Слушателей человек двенадцать.

Кавелин подал в отставку. Это по крайней мере честнее, чем не читать лекций.

Делянов говорил мне, что министр не склоняется на меру, предложенную некоторыми членами университета в заседании у него в понедельник.

Я монархист (разумеется, не абсолютный) по принципу, а к Александру Николаевичу питаю искреннюю преданность со времени освобождения крестьян. Но, право, я боюсь, чтобы мне не перестать уважать его. Как можно делать министром таких людей, как граф Путятин? Ведь довольно поговорить с ним четверть часа, чтобы убедиться в его ограниченности. Неужели у избравшего его так мало знания людей и знания государственных нужд, которым должны удовлетворять избираемые? Это непостижимо.

Министр внутренних дел Валуев сделал мне сегодня через К. И. Рудницкого предложение принять на себя редакцию газеты, которую предполагает издавать с будущего года при министерстве внутренних дел.

Положено быть у министра в следующую субботу.

Откровенно спросить у Валуева: уверен ли он в том, что сам не встретит противодействия в либеральных видах, в которых должна издаваться газета.

26 октября 1861 года, четверг

Лекция в университете. Слушателей меньше, чем вчера. Заседание в Академии. Дубровский читал мало интересную для меня статью о переводах библии на польский язык.

28 октября 1861 года, суббота

Обедал у Делянова. Там, между прочим, был Павлов (Николай Филиппович). Он торжествует, по ходатайству министра внутренних дел Валуева государь дозволил ему издаваемую им еженедельную газету (“Наше время”) превратить в ежедневную, с политикою, — чего так трудно теперь добиться и чего, вероятно, он не достиг бы, если бы дело шло через Главное управление цензуры. Кажется, газета будет полуофициальная.

После обеда я отправился к министру внутренних дел. Он предложил мне быть редактором газеты, которую министерство решило издавать с нового года. Я

высказал ему мое мнение, что газета должна прежде всего иметь свой определенный характер, должна выражать какое-нибудь направление. А направление это, я полагаю, не может быть иное, как умеренно-либеральное. Если я возьму на себя редакцию газеты, буду ли я в состоянии поддерживать это направление в видах самого правительства? Министр отвечал, что тут надо будет действовать осторожно. “Вы знаете, — прибавил он, — что само правительство не уяснило себе своих видов”.

После довольно продолжительного разговора министр дал мне на размышление 48 часов. В понедельник надо будет дать решительный ответ.

29 октября 1861 года, воскресенье

Утром просидел часа три у Павлова. Что бы там ни было, а умный человек этот Павлов. Он очень верно судил о нынешнем направлении умов, о студенческих агитациях, о неразумии тех профессоров, которые выступили на защиту претензий студентов, и проч. Сверх того, Павлов и приятный человек: тон разговора, манеры, язык — все показывает в нем человека образованного.

Сильный мороз. Пронзительный северо-восточный ветер. Скверно — холодно. У меня еще не готова шуба, и я принужден был ездить в ватной шинели поверх теплого пальто, что делало из меня толстяка вроде моего приятеля Ивана Карловича Гебгардта.

30 октября 1861 года, понедельник

У министра внутренних дел. Я отдал ему записку, заключающую в себе ряд условий, на которых может быть предпринято издание газеты. Он прочитал ее при мне и на все согласился. Итак, жребий брошен. Я буду редактором этой газеты и, наконец, попытаюсь осуществить мою заветную мысль о проведении в обществе примирительных начал. В пятницу министр доложит обо мне государю.

Был, между прочим, разговор о министре народного просвещения. Валуев тоже того мнения, что это — просто человек ограниченный, неспособный возвыситься до известных понятий и осилить своего положения.

7 ноября 1861 года, среда

На лекцию не явилось ни одного студента. Так как с самого открытия университета студенты филологи постоянно посещали аудиторию, то в большем, то в меньшем количестве, то их отсутствие в настоящем случае не является ли демонстрацией, уже лично против меня направленной? В продолжение всей моей университетской деятельности это был бы решительно первый случай. Но не надо ни этому удивляться, ни этим огорчаться. Деморализация в нашем университете так велика, что всего можно ожидать. Однако, кажется, и у других профессоров нашего факультета тоже никого сегодня не было.

2 ноября 1861 года, четверг

Сегодня студенты опять не явились на лекцию ни ко мне, ни к другим профессорам нашего факультета.

Заезжал в департамент к Делянову. Разговор о министре. Каждый его шаг есть ошибка. Он уже на попятный двор о созвании профессоров от всех университетов для составления проекта преобразования последних. Об открытых университетах тоже назад.

Делянов рассказывал мне, до каких неистовств доходили студенты в Москве. Они, между прочим, в глаза ругали попечителя, называли его <…>

Отправил к Валуеву проект объявления об издании газеты и получил от него записку с приглашением явиться к нему завтра в половине восьмого часа вечера.

3 ноября 1861 года, пятница

Вечером у Валуева. Он сказал мне, что докладывал государю о назначении меня главным редактором газеты, и государь “с особенным удовольствием” на это согласился.

Совершенно неожиданно явился В.И.Барановский, который сегодня же приехал из Крыма. Очень отрадно было увидеться с тридцатилетним добрым другом.

Был поутру у Плетнева. Он рассказывал мне о том, как был выбран в министры Путятин. Митрополит Филарет рекомендовал его как религиознейшего человека. Императрица, плененная рассказами о благочестии и набожности графа, забыла, что для министра необходимы еще и другие качества, и начала сильно настаивать у государя о назначении его на место Ковалевского. Разумеется, к этому присоединились и другие члены камарильи, которые, кроме угодничества двору, ничего не знают и знать не хотят. К сожалению, государь отдался этой интриге, — и вот Путятин сделан министром, к стыду правительства, ко вреду России и к своему собственному позору.

Говорят, великий князь Константин сильно противился этому назначению. Он как начальник флота хорошо знает Путятина. Но и это не помогло.

5 ноября 1861 года, воскресенье

Утром у Филипсона. Разговор о министре, то есть о трудностях вести с ним дело. Потом у графини Блудовой.

Там был, между прочим, бывший губернатор самарский, а ныне директор департамента податей и сборов, К. К. Грот. Умный и благомыслящий человек. Продолжительный разговор об университетах. Общие мысли о неспособности Путятина. Граф Строганов вмешивается во все. Он же вытеснил из головы Путятина мысль о сознании профессоров из всех университетов для рассуждения об устройстве последних.

Толкуют о назначении Титова на его место. Князь Суворов назначен генерал-губернатором в Петербурге на место Игнатьева. В публике одобряют этот выбор.

Получил от министра Валуева официальную бумагу о назначении меня главным редактором газеты “Северная почта”.

7 ноября 1861 года, вторник

В десять часов утра экстренное заседание в Главном управлении цензуры. В “Сыне отечества” появился листок, сверху которого крупными буквами начертано: “Картина: русские крестьяне благодарят государя за освобождение от крепостной зависимости, поступила в продажу и пр.”. Эта картина была на выставке и в объявлении о ней нет ничего странного. Но под ним на том же самом листе напечатана карикатура, в которой представлен Краевский и издатель “Сына отечества” со множеством собак и собачонок. Под карикатурой подпись: “Собачья депутация изъявляет благодарность своему защитнику в виду своего преследователя”. Дело в том, что в “С.-Петербургских ведомостях”, издаваемых под редакцией Краевского, не раз были печатаны статьи против множества собак в городе и предлагались намордники, а “Сын отечества” смеялся над этим. Но сближение двух фактов — благодарность крестьян и благодарность собак — вышло как нельзя более неуместным. Об этом уже распространились толки в городе. Старчевский был позван в заседание для объяснений; он объявил, что листок напечатан совершенно без ведома его. Цензор также не видел его и не подписывал. Определено отнестись к генерал-губернатору для произведения формального следствия.

8 ноября 1861 года, среда

Невоздержанность мысли так же вредна, как и невоздержанность тела. Воздерживаться от некоторых мыслей все равно, что воздерживаться от пьянства.

Ограниченные умы часто обольщаются верностью исходной точки и логичностью прямых из нее выводов. Отправляясь от начала справедливого, они идут последовательно все по одной линии и приходят, наконец, к пропасти. Надо уметь стать на другую точку зрения и не терять из виду других линий. Тогда увидишь их множество, увидишь, что они то сходятся, то пересекают одна другую и таким образом, умеряя и ограничивая себя, взаимно мешают заключениям быть крайними и односторонними. Нет истины в одном определении: она состоит в совокупности многих определений.

Вечером совещание с Варадиновым, который дан мне в помощники по редакции. Хлопот предстоит многое множество.

9 ноября 1861 года, четверг

В университете лекций не было; студентов в приходе не оказалось.

Заехал к Краевскому. У него сборище литераторов. Мне стало страшно. Все такие знаменитости или смотрят знаменитостями. Просто я попал в пантеон великих людей, и мне стало совестно, зачем я такой маленький. Поговорив немного с Краевским о новой газете, я скоро ушел.

10 ноября 1861 года, пятница

Вечером в шесть часов заседание у министра народного просвещения. Совещание об открытии университета в Одессе. Университету там положено быть из двух факультетов: историко-филологического и физико-математического. Дворянство того края просило об открытии отделения наук сельскохозяйственных. Долго спорили о том: должно ли преподавать агрономию практически и для этого устроить нечто вроде фермы, хутора — или нет? Советов, Ильенков и некоторые другие высказывались против этого. Только зачем же эти профессора не сами от себя выражали свое мнение, а все прятались за Либиха?

11 ноября 1861 года, суббота

Заседание в Главном управлении цензуры в восемь часов вечера. Представление о “Русском слове”. Министр настаивал на запрещении этого журнала. Другие члены и я полагали ограничиться предостережением. На этом и порешили.

12 ноября 1861 года, воскресенье

Являлся кое-кто предлагать свои услуги по газете.

13 ноября 1861 года, понедельник

Вечером совет университета. Министр поднял вопрос о доцентах: не следует ли подчинить их профессорам? Совет отвечал, что это противно духу университетского преподавания. Другой вопрос: об учреждении особой экзаменационной комиссии, которая бы объезжала университеты в период экзаменов и подвергала студентов испытанию вместо самих профессоров. Тоже отвергнуто.

15 ноября 1861 года, среда

Сказать министру Валуеву: мы стоим на пути широком — на пути чести и опасностей. Правительству предстоит приобрести общественное доверие, — но приобрести его оно может только правдивостью.

16 ноября 1861 года, четверг

Делянов подал в отставку. Он сегодня сам рассказывал мне о своей стычке с

графом Путятиным, по поводу которой выход его в отставку сделался неизбежным. Путятину не понравился вице-директор Воронов, который несколько раз высказывал мысли, противные мыслям министра об устройстве гимназий. И вот он решился сделать его помощником попечителя в Вильно, о чем и объявил Делянову. Последний воспротивился такому назначению, о котором даже не спросили Воронова, хочет ли он этого. Путятин, по-видимому, уступил, но затем тайком сделал доклад государю, и Воронов был назначен в Вильно. Это, разумеется, привело в негодование честного и прямодушного Деля-нова. Он горячо объяснялся с министром и, несмотря ни на какие его убеждения, просьбы, даже слезы, остался верен своему решению об отставке.

Вечером министр присылал за мной. Он просил меня изложить ему письменно главные вопросы, касающиеся существенных потребностей университетов и требующие немедленного обсуждения и решения. Очевидно, он не в состоянии сам обнять ни задач университетов, ни нужд их, ни средств, как их преобразовать и улучшить. Я обещал ему сделать это.

17 ноября 1861 года, пятница

Утром занимался окончанием статьи об университетах, которую хочу напечатать в “С.-Петербургских ведомостях”.

18 ноября 1861 года, суббота

Ультралибералы наделали и, вероятно, наделают еще много вреда делу свободы. Вместо того чтобы действовать благоразумно в развитии принципов, идей законности, права, честной свободы, они начали угрожать правительству, дразнить его и гадить ему.

Доклад министру внутренних дел о газете. Разрешены некоторые вопросы. Главное, мне хотелось еще объясниться насчет направления. Я решительно и определительно высказал мои мысли относительно правдивости. Мне сказано, что это быть иначе не может, и дано торжественное уверение, что министерство ничего противного этому не потребует. Я заметил, что “кроме убеждений вашего высокопревосходительства и моих, того требуют и выгоды самого дела”.

Мне поручено снестись с Тройницким, который назначен товарищем Валуева.

19 ноября 1861 года, воскресенье

Просидел целое утро у Делянова. Туда приезжал и назначенный на его место управляющим департаментом народного просвещения граф Дмитрии Андреевич Толстой, мне коротко знакомый человек. Разговор был о Путятине. Делянов не щадил его. Граф Толстой защищал его со стороны честности. Потом речь склонилась к нынешнему состоянию России, которое представляется в самом неутешительном свете. Граф лето жил в деревне, ездил по разным губерниям и наблюдал состояние вещей и умов. Он убежден, что года через два — в 1863 году —

у нас откроется резня. Дворянство приготовляет адресы государю, прося его о даровании некоторых конституционных льгот или чего-то в этом роде, не настаивая, впрочем, на самой конституции. “Колокол” в восторге от студенческих историй и прямо приглашает студентов не думать о науке, а развивать пропаганду восстания. Надо отдать справедливость Герцену, что он поступает и нечестно и гадко: действует из-за угла, вовсе не понимая России, ее нужд, положения и не думая о последствиях.

Не есть ли все это процесс перерождения — и это всеобщее шатание умов, и быстрая, тревожная разладица общественных отношений, деморализация, бестолковое увлечение молодых умов, тупое бездействие зрелых и возмужалых — это всеобщее брожение, лихорадка честолюбий без всяких прав на отличие, бред умов такими теориями, которые едва коснулись их мысли, но не выдержали ни анализа, ни испытания. Не есть ли это процесс тяжелый и тревожный, процесс перерождения народа, который не жил до сих пор жизнью естественного и здорового развития, народа, которого история мучила, а не воспитывала?..

Тут не должно волноваться ни страхом, ни негодованием, тут надо отбросить обыкновенные предубеждения. Тут должно мужественно мыслить, мужественно хотеть и действовать.

Но все это невольно надламывает во мне веру в нашу национальную способность самим устраивать свою судьбу. Невольно приходит на ум, что русский народ в самом существе своем носит невозможность самообладания, невозможность нравственной и политической самозиждительности. Не общее ли это на всех славянах проклятие? Спаси Боже!

20 ноября 1861 года, понедельник

А личные мои дела куда как нехороши. Все одно и то же. Мне кажется, что уже и сам Вальц перестает верить своим ободрительным речам. Хочу посоветоваться еще с Экком, который пользуется большою известностью. Может быть, наука тут и ничего не может сделать, но утопающий хватается за соломинку. Никто, утопая, не опускается прямо на дно, не барахтаясь. Ведь это инстинкт живого существа.

21 ноября 1861 года, вторник

Поутру был у Тройницкого, с которым мне приходится часто иметь дело по газете. Мы, заседая с ним в Главном управлении цензуры, были хороши и теперь почти во всем согласились. Как товарищ министра, он будет содействовать доставлению нам из министерства материалов для газеты, будет посредником между ним и редакцией. Да, это весьма важно.

У Тройницкого я встретил какого-то полковника, который в Москве был действующим лицом на площади во время студенческой смуты. Предполагая, что он как свидетель может дать самые точные об этом деле показания, я спросил у него: точно ли и какое участие принимал народ в этом печальном событии. Полковник отвечал, что народ действительно с остервенением бросался на студентов и

некоторых из них избил до полусмерти. Ему, полковнику, удалось спасти трех, причем и его в свалке помяли и он потерял фуражку. В толпе кто-то крикнул: “Это они за крепостное право стоят!” — и от этого народ пришел в неистовство.

От Тройницкого отправился я к Муханову, у которого довольно долго просидел. Он дал мне прочитать от кого-то письмо из Москвы к А.М.Горчакову о нынешнем хаотическом состоянии России и о средствах выйти из него. Средства эти: *власть* и *либерализм*, то есть правительство должно стать на сторону умеренного либерализма, но действовать с силою и властью. Тут говорится также о плате со студентов: мера эта признается вредною и не политичною. Письмо написано хорошо. В нем много правды.

Говорено было также о графе Путятине, то есть о его неспособности управлять министерством. По-видимому, он недолго останется министром. Но кто займет его место? Толкуют об Головнине. Будет ли это находка?

22 ноября 1861 года, среда

Поутру был у Краевского. Советовался с ним о некоторых подробностях издания газеты. Он человек очень опытный по этой части. Я получил от него много полезных указаний.

Оставил у него для помещения в “С.-Петербургских ведомостях” мою статью об университетах.

Многим журналам и газетам на будущий год угрожает банкротство. Так плохо идет подписка. Ни у кого нет денег. Мне рассказывали, что третьего дня, на похоронах Добролюбова, сотрудника “Современника”, Чернышевский сказал на Волковом кладбище удивительную речь. Темою было, что Добролюбов умер жертвою цензуры, которая обрезывала его статьи и тем довела до болезни почек, а затем и до смерти. Он неоднократно возглашал к собравшейся толпе: “А мы что делаем? Ничего, ничего, только болтаем”.

Тройницкий сообщил мне, когда я был у него в воскресенье, любопытный статистический факт, извлеченный им из официального источника: что из 80 000 чиновников империи ежегодно открывается вакантных мест 3000. В продолжение двух или трех лет с 1857 года из всех университетов, лицеев и школы правоведения выпускалось ежегодно 400 человек, кроме медиков. Вывод из этого: как невелико у нас число образованных людей для занятия мест в государственной службе. Я был поражен.

Отправил письмо к Глебову, прося его предупредить доктора Экка о моем желании с ним посоветоваться…

23 ноября 1861 года, четверг

Жиды нашли, за что распять Христа, афиняне — за что отравить ядом Сократа и проч. После этого следует ли нам, ничтожным людям, удивляться, что находят за что распинать наше имя и отравлять всячески, колико возможно, наше сердце

злобой, клеветой и т.п. Довольно вызвать одобрительный отзыв трех или четырех человек, чтобы заставить других трех или четырех ругать вас беспощадно.

Удивительно ли, что мы не обладаем правдою в судах, когда вовсе не заботимся о ней в наших суждениях и речах.

Обедал у министра финансов А.М.Княжевича: он сегодня именинник. Тут увиделся с бывшим министром Ковалевским, который упрекнул меня, что я у него не бываю, Но у меня точно что-то оторвалось от сердца в отношении этого человека. Из мелкого ли желания быть популярным или просто вследствие органической неспособности к смелому самостоятельному образу действия — только в нем нельзя не видеть одной из главных причин того печального состояния, до которого доведены наши университеты. Говорил, между прочим, с Гречем и очень много с другим Ковалевским, братом бывшего министра. Тут встретился также с Бутовским, с которым не виделся лет десять. Он теперь велик и силен: директор департамента мануфактур.

25 ноября 1861 года, суббота

Продолжительный разговор с графом Д.А.Толстым.

28 ноября 1861 года, вторник.

Вы говорите, что надо дотла разрушить все старое, чтобы построить лучшее новое. Но кто же будет строить? Люди? И вы думаете, что они не внесут в новое здание своих страстей, предрассудков, заблуждений. Зло переменит только кожу и останется тою же змеею.

29 ноября 1861 года, среда

Виделся с Ребиндером, который дня на два приехал сюда из Москвы. К нему зашел тоже М.А.Языков. Разговор о современном положении вещей. Уверенность в неизбежности смуты.

1 декабря 1861 года, пятница

За мною присылал министр народного просвещения. Я отправился к нему. Он просил меня доставить ему программу потребностей университетских, о чем он уже и прежде просил. Между прочим, он много говорил о печальном состоянии университетов. Говорил, что одною из главных причин неустройства он считает соглашение нескольких профессоров, чтобы поставить правительство в затруднение. Они препятствуют даже новым лицам поступать в юридический факультет, в пример чему приводил Редкина, который сначала вызвался быть у министра, назначил день и час и не явился, объявив, что он с таким <…>, как нынешний министр, никакого дела не.хочет иметь. Это сам граф Путятин мне и пересказал.

2 декабря 1861 года, суббота

Задние мысли ужасно вредят всякому делу. Люди гораздо реже пользуются поводами к одобрению или похвале других, чем поводами к их осуждению и порицанию, и как в последних никогда не бывает недостатка, то, раздувая и преувеличивая их, они могут представить чуть не чудовищем того, кто в сущности человек очень почтенный и порядочный…

Студенты опять произвели скандал в университете. Они там собрались в кучу и о чем-то рассуждали или что-то читали. Помощник инспектора Шмидт, подозревая или видя в этом сходку, просил их разойтись, на что они отвечали грубостью. Увидев между ними одного, не принадлежавшего к тем, которые взяли матрикулы и следовательно получили право посещать университет, он взял его за руку и спросил: “А вы зачем здесь?” Тогда на бедного Шмидта посыпались удары, его сбили с ног, то есть окончательно прибили. По этому поводу наряжается из профессоров суд, и мне приходилось быть его членом и чуть ли не председателем, как старшему. Я просил меня уволить от этого, потому что я страшно теперь занят газетою и приготовлением академического отчета. Выбрали от нашего факультета Штейнмана и Сухомлинова.

3 декабря 1861 года, воскресенье

Нет больших врагов у свободы, как яростные и неразумные ее глашатаи и защитники… Кажется, свободы никто не дарит, а она заслуживается и приобретается самими, кто ее хочет и достоин.

Есть отважные мысли разного рода: по влечению одних идут и открывают Америку, по влечению других попадают в дом сумасшедших.

4 декабря 1861 года, понедельник

Отдал министру записку об университетах. Я рад, что спустил с рук эту бесплодную работу. Между тем мне хотелось сделать дело, полезное для Гончарова. Я предложил министру назначить его членом Главного управления цензуры на место Тройницкого, который сделан товарищем министра внутренних дел и потому выбыл из управления. Конечно, лучшего выбора сделать невозможно. Но что же отвечал министр, который сам хорошо знает Гончарова?

— Я уже назначил, — сказал он.

— Кого же? — спросил я.

— Кисловского!!

Кисловский способен судить о литературных делах — этот невежда, никогда не выходивший из канцелярской рутины! Министр вытесняет Делянова и Воронова и дает ход Кисловскому!

5 декабря 1861 года, вторник

В восьмом часу утра получил записку от Филипсона с просьбою в девять часов быть у него. Дело состоит в том, что меня просят быть членом комиссии, назначенной для пересмотра университетского устава. Поручение это так важно, что я не могу от него отказаться, несмотря на множество теперешних моих занятий. Дай Бог сил!

Был у Е.Ф. фон Брадке, у которого нашел попечителя Казанского университета, князя П.П.Вяземского, с великолепными волосами и оригинальным бульдогообразным лицом. Брадке с виду кажется развалиною. Он сидел, или, лучше сказать, лежал, с обернутыми фланелью ногами. Но он удивил меня бодростью, силою и ясностью своих суждений. Видно, что дух его бодр, хотя плоть немощна. Он принял меня очень любезно, вспомнил наше прежнее знакомство при Норове. Все, что он говорил о предстоявшем нам деле, отличалось опытностью, знанием и умом. Позже к нам присоединился Фойхт, назначенный от Харькова присутствовать в комиссии.

7 декабря 1861 года, четверг

Первое заседание комиссии. Брадке начал очень умным и ясным изложением задачи ее. Филипсон немножко неловко и слишком горячо распространился о преимуществах открытых университетов перед другими, в том смысле, как я писал в “С.-Петербургских ведомостях”. Но я писал, желая противодействовать корпоративному духу студентов в его настоящем виде. Между тем есть другие, не менее важные условия, которые должны быть приняты в соображение при устройстве университетов. Депутаты от Московского университета, С.М.Соловьев и И.К.Бабст, явились в заседание довольно поздно: они только что приехали из Москвы. В этом заседании, после довольно продолжительных прений между председателем и Филипсоном, принято было приступить к пересмотру устава 1835 года и проектов нашего университета. Киевского, Московского, исправляя и изменяя устав сообразно новым потребностям.

Был Ржевский, будущий редактор отдела внутренней летописи. Человек бойкий.

8 декабря 1861 года, пятница

В 10 часов заседание комиссии для устройства университетов. Еще до этого я должен был написать и разослать несколько писем. В комиссии, идя шаг за шагом по параграфам устава 1835 г., причем цитировался и проект устава Петербургского университета, мало изменили первый из них. Но главное — установление кафедр по университетам. Нам объявили, чтобы мы были не слишком щедры на новые кафедры, так как правительство всего может дать на университеты только 500 000 рублей. Положено в каждом к ныне существующим кафедрам прибавить по одной. Мы долго работали над приведением в согласие кафедр по каждому факультету с будущими штатами, и все-таки вышло, что денег потребуется больше, несмотря на нашу скромность.

Еще важная вещь: признана полная автономия университетов относительно распределения наук по разрядам и проч. — словом, все, относящееся к свободному и широкому ходу науки. Не требуется даже разрешения начальства, а только заявляется ему.

Опять говорилось с Брадке о неизбежности нового закрытия университета. Мнимое открытие его производит только скандал. Никто из студентов не ходит на лекции; прежде человек 50 являлось, а теперь решительно нет никого.

После трудного и продолжительного (до трех часов) заседания в комиссии мне тотчас после обеда предстояло ехать в университет, где попечитель назначил собрание для совещания по поводу преобразования университета. Филипсон-таки охотник советоваться, даже там, где должен бы решать авторитет его собственного убеждения или власти. Филипсон заболел, и я должен один переговариваться с профессорами. Часа два прошло в толках и прениях. Оттуда забежал домой, выпил чашку чаю — и к министру внутренних дел в десять часов вечера. Там собраны были частные репортеры и происходили совещания до половины первого ночи.

9 декабря 1861 года, суббота

Третье заседание в комиссии. Большие прения по вопросу: нужно ли доцентов назначать общим числом для университетов или распределить их по факультетам и вакантные места одного факультета не предоставлять другим? Был также возбужден Бабстом вопрос: подлежат ли сочинения студентов общей цензуре или могут печататься с разрешения факультетов? Московские депутаты сильно настаивали на последнем. Собрали голоса. Большинство осталось за ними. Я был против; председатель также. Положено разногласие это внести в протокол. Князь П.П.Вяземский поспорил с председателем.

Тут я познакомился с бароном Николаи, попечителем Киевского университета.

Я заявил в комиссии желание восточного факультета иметь особого профессора истории Востока.

Вечером явился ко мне И.А.Арсеньев от министра в сотрудники газеты. Он будет сделан редактором политического отдела.

10 декабря 1861 года, воскресенье

Утром писание отчета. Вечером на рауте у министра внутренних дел. Множество всякого народа. Виделся со многими из старых моих знакомых.

11 декабря 1861 года, понедельник

Не помню, чтобы я был когда-нибудь так занят.

Комиссия. Сегодня довольно подвинулись вперед. Министр сказал нам, что миллиона прибавки на министерство народного просвещения не будет, но Брадке противного мнения. Последний сообщил нам виды относительно дисциплинарной

части. Университетские студенты, где есть генерал-губернаторы, то есть в больших городах, в Петербурге, Москве и Киеве, будут подчинены генерал-губернаторам, при которых, для надзора за ними, будут особые чиновники. Харьковские и казанские депутаты объявили, что они сами справятся со студентами и отвечают за порядок в университетах. Это замечательно!

12 декабря 1861 года, вторник

Заседание комиссии. Решен важный вопрос об ограничении власти попечителя. Брадке сам возбудил его. Барон Николаи противился и говорил умно и основательно с своей точки зрения. С его мнением согласился и Н.В.Исаков. Остальные приняли мысль председателя.

13 декабря 1861 года, среда

Утро с десяти до половины третьего по обыкновению работал в комиссии. Вот, как говорится, духа перевести некогда. Много было прений, но дела сделали немного.

Вечером решился послушать музыку и хоть немного дать отдыха голове. Поехал в оперу. Давали “Бал-маскарад” Верди. В театре был он сам. Его вызывали в третьем акте и по окончании спектакля.

14 декабря 1861 года, четверг

Комиссия. Прения о доцентах. Вечером у меня собрание частных редакторов газеты до 12 часов. Бездна разных обстоятельств, из которых иные должно объяснить, по другим Самому дать решение, а по третьим испросить его у министра. Многое, однако, кажется, слажено.

15 *декабря 1861 года, пятница*

В комиссии сильные прения по поводу двух вопросов:

1) допустить ли женщин к слушанию лекций или нет, и

2) о плате за студентов. Первый вопрос большинство решило отрицательно. О втором прения еще не кончились. Мало, однако, сочувствия облегчению платы. Я стоял за смягчение, особенно в отношении к способным бедным людям.

У графа Адлерберга. Передал ему доклад о пособии “Энциклопедическому лексикону”.

16 декабря 1861 года, суббота

В комиссии. Окончательно решен вопрос о плате со студентов.

В редакции от трех до пяти часов. Бездна разных затруднений, которые предстоит уладить. Терпения и мужества.

Заседание в комиссии от десяти часов до трех, потом от трех до пяти в редакции сильно утомило меня. Вечером обычный пароксизм, а ночью толчки, толчки, толчки.

17 декабря 1861 года, воскресенье

Говорят о назначении министром на место графа Путятина Головкина. В публике общее нерасположение. Все считают его умом довольно мелким и фальшивым.

Вечером у Валуева. Многое множество звездоносцев. Сегодня я уже не сделал ошибки, как прошлый раз, — приехал в белом, а не в черном галстуке. Масса знакомых.

18 декабря 1861 года, понедельник

Мой академический отчет приведен к концу. Заседание в комиссии. Сильнейшие прения о том: избирать ли из профессоров проректора для наблюдения над студентами в стенах университета или определять для этого инспектора из посторонних лиц? Московские и я настаивали на последнем. Прочие желали первого. Большинство осталось за последними. Но мы намерены еще поднять этот вопрос, ибо дело весьма важное.

Вечером у меня собрание из депутатов и двух лиц нашего университета. Толки шли о проректоре и инспекторе. Положено приступить к соглашению. Бабст заготовил редакцию параграфов к завтрашнему заседанию.

19 декабря 1861 года, вторник

Сегодня довольно много пройдено параграфов устава без особенных прений.

20 декабря 1861 года, среда

В комиссии. Дело шло о штатах, к которым надо было приспособить устав. На университеты ассигновано правительством 500 тыс. руб., в чем, впрочем, иные сомневаются. Цифра эта, однако, нам сообщена официально. Из комиссии за два часа отправился в редакцию и там до пяти часов. Тут набрался всяких хлопот, крупных и мелких. Все идут ко мне за разрешением, что, разумеется, меня чрезвычайно затрудняет, особенно материальная часть.

21 декабря 1861 года, четверг

Дописал, наконец, отчет по Академии. Итак, с плеч долой хоть эта ноша. Отчет

писал я урывками, минутами.

В комиссии читана общая редакция устава. Высочайшее повеление о закрытии С.-Петербургского университета. Фактически он был уже закрыт самими студентами, которые не посещали лекции.

22 декабря 1861 года, пятница

В комиссии. Начало подходит уже к трем часам. Я не выдержал, почувствовал себя дурно. Трудно в течение вот уже тринадцати дней каждое утро заседать в комиссии от десяти до трех часов, не считая массы других дел.

Вечером к Плетневу. Читал ему академический отчет. Он одобрил и весьма похвалил. Итак, это великолепное разглагольствие о том, что в сущности очень мало стоит, эта фальшь, облеченная в одежду пышных слов, — все это, наконец, кончено. Ах, нет, не кончено. Еще надо прочитать президенту, графу Блудову, который, вероятно, найдет что-нибудь поправить в слоге; он это любит, так как считает себя прямым наследником Карамзина.

23 декабря 1861 года, суббота

Сегодня заседания в комиссии не было, но, несмотря на это, бездна выдалась хлопот, особенно по редакции.

24 декабря 1861 года, воскресенье

Заезжал ко мне Фукс, редактор по отделу “разных известий”. Вышел беспорядок: Ржевский врезался в его отдел и распорядился самовольно. Надо принять меры на будущее время.

25 декабря 1861 года, понедельник

Праздник рождества Христова. Маленький отдых. Впрочем, нельзя этого назвать настоящим отдыхом, потому что от меня беспрестанно требуют объяснений и разных разрешений по редакции. Между прочим, между частными редакторами начинают возникать несогласия и споры о пределах их редакции. Иные врезываются в им не принадлежащие отделы и захватывают чужой материал. Все эти дрязги надо разбирать и улаживать.

27 декабря 1861 года, среда

Министром назначен А.В.Головнин.

Кое в чем поддерживать правительство еще не значит быть ему преданным Защищать принцип правительства или самое правительство — не одно и то же.

Газета крайне меня беспокоит. Там черт знает что напутали, и придется многое

переделывать, а 1 января уже у порога.

Заседание в комиссии. Филипсон поспорил с председателем, и довольно неловко. Он читал свое мнение, в котором защищал совершенно открытые университеты на основании журнальных толков. Видно по всему, что тут нет своего цельного, строго обдуманного мнения. Здесь и я грешен. Филипсон взял несколько и моих мнений, выраженных в печати, которые, впрочем, очень далеки от его крайней теории и которые я применял совсем иначе, чем он, в наших комиссионных заседательских совещаниях. Филипсон не понимает разницы между истиною, логически вытекающею из известного принятого начала, и истиною, применяемою к различным условиям и требованиям жизни. Впрочем, в изъяснении причин студенческих волнений у него сказано много верного и справедливого. Нехорошо, однако, то, что он своей бумаге дал характер полемический, или, лучше сказать, обвинительный, против действий комиссии, которую он упрекает в отступлении от высочайших повелений и проч. Председатель объявил, что он напишет на это свое возражение.

Затем в комиссии не происходило ничего особенно важного, и мы разошлись в половине второго, так что я мог сделать еще кое-что по редакции, побывать в типографии и проч.

28 декабря 1861 года, четверг

Из комиссии ушел в двенадцать часов. Собрание редакторов, с которыми протолковал до пяти часов Газета настраивается к первому января. Но бездна еще мелочей, которые надобно уладить.

29 декабря 1861 года, пятница

Акт в Академии наук. Я читал отчет.

Вечером у министра Валуева с докладом, потом в типографии. Приехал домой поздно, но еще застал у себя нескольких знакомых.

30 декабря 1861 года, суббота

Комиссия. Потом целый день в хлопотах и возне с газетой.

31 декабря 1861 года, воскресенье

Несмотря на воскресенье, получил повестку, что и сегодня заседание в комиссии, только не в десять, а в одиннадцать часов. Ужасный, неугомонный человек этот Брадке! Это, конечно, ничего для тех, у кого только одно дело в руках, а у меня завтра должна выйти газета. Может быть, придется немного опоздать в комиссию.

Обделал дела по редакции, кажется, удачно. Был у Фукса, потом поехал в

заседание комиссии. Сегодня последнее заседание. В пятницу подпишем новый устав. Всего было семнадцать заседаний.

1862

1 января 1862 года, понедельник

До половины третьего ночи в типографии, где и принял новорожденного младенца — “Северную почту”. Вместе со мною работали и частные редакторы. Выход из-под пресса первого листа мы приветствовали бокалом шампанского в подвалах типографии, где начальник типографии представил мне этот лист во втором часу. Домой вернулся к трем.

В десять часов утра был уже у министра внутренних дел и представил ему первый номер газеты.

Я недоволен этим номером. Что в нем лучшего, то не наше: это объявление о предпринимаемых правительством реформах. Оно принято в редакцию от государственного секретаря.

2 января 1862 года, вторник

Сделал наскоро несколько визитов, потом в типографии и редакции провел до пяти часов, подготовляя следующий номер газеты.

Приехал домой около шести, а в девять снова отправился в типографию, где и оставался до двух часов ночи.

3 января 1862 года, среда

Черт знает что напутано в сегодняшнем номере газеты. Страшная неисправность корректуры. Мы решили с товарищем министра перестроить совсем типографию, усилить корректуру и проч.

Отвратительный пароксизмный день. В типографии до часу ночи. Ждал заграничных депеш: их еще не было в час. Велел без них верстать, а когда они придут — тиснуть особое прибавление.

5 января 1862 года, пятница

Все с газетой. Страшное неустройство во всем. Из этого хаоса надо образовать порядок и стройность. Типография особенно отличается классической неурядицей. Я призывал Нагеля, чтобы он помог добрейшему и усерднейшему Петру Ермолаевичу устроить порядок технический, а товарищ министра — надо отдать ему справедливость — помогает всем со стороны министерства. Бездна всяких

хлопот и мелких и важных. На меня со всех сторон летят упреки за всякую ошибку, опечатку. Но я не унываю, зная, что, всякое дело вначале представляет большие трудности и неустройства.

6 января 1862 года, суббота

В России бездна способностей, но людей, приспособленных к делу, очень мало. Отчего это?

Вечером с докладом у министра внутренних дел.

7 января 1862 года, воскресенье

Получил вечером от министра внутренних дел любопытное письмо, которое может меня с ним поссорить… Нужно отвечать, и я намерен отвечать сильно.

10 января 1862 года, среда

Утром письмо от Валуева, умное и совершенно примирительное. Вечером у него. Объяснение. Дело кончилось удовлетворительно.

Позже в типографии. Застал там Тройницкого и Ржевского. С новым метранпажем дело, кажется, идет лучше.

13 января 1862 года, суббота

В восемь часов вечера заседание Главного управления цензуры — первое под председательством нового министра. На первый раз достоинства министра выразились в быстроте, с какою он вел и, кажется, намерен вести наши заседания. Прежде три четверти времени уходило на болтовню и пустые словопрения. Теперь же читается бумага, приводится справка, и если все мнения согласны, то делу и конец; если же не согласны, то собираются голоса. Что требует рассуждения, о том рассуждается, но без уклонений и обращений к таким-то примерам и воспоминаниям из своей собственной жизни, без умозрений, в которых и ума-то никакого нет, и т.д. Мы в два часа бездну дел пересмотрели и произнесли решений.

В заключение министр объявил, что государю угодно, чтобы *цензура усилила свою бдительность и строгость против периодической литературы.* В этом смысле уже даны цензорам циркуляры. Что скажете вы, господа красные; на чьей душе грех?

Замечены в “Дне” особенно статьи: о самоуничтожении дворян и о земских соборах.

В одиннадцать часов заезжал в типографию. Там все обстояло благополучно.

16 января 1862 года, вторник

Ездил в Римско-католическую академию объясняться по поводу того, что я за это последнее время в ней часто не бывал. Сегодня я просил епископа и ректора уволить меня, так как я не выполняю как следует моих обязанностей. Но он об этом и слышать не хочет, и вся академия волнуется при одной мысли, что я хочу оставить ее. Кажется, меня там действительно любят, может быть и не без примеси своих расчетов — по крайней мере со стороны начальства, — но и за то спасибо.

Тут я наткнулся на приготовления к поздравлению нового варшавского митрополита: он из наших воспитанников и на днях возведен в этот сан. Это неслыханное возвышение. Он всего шесть лет как священствует и был духовником академии. Я вместе с другими пошел его поздравить как моего бывшего ученика. Такого умного, кроткого, пленительного лица я между мужчинами, кажется, никогда не видал. Имя его Феликс Фелинский. Он наговорил мне много любезностей, как меня любят все мои слушатели и проч.

17января 1862 года, среда

День без особых забот и приключений по редакции. Однако я все-таки приехал домой лишь после полуночи. Хлопочу, чтобы мне дали помощника по материальной части.

18 января 1862 года, четверг

Большая суматоха в редакции по поводу замеченных опечаток и проч.

20 января 1862 года, суббота

Вечером доклад у министра Валуева. Выхлопотал себе помощника по материальной части А. И.Артемьева, человека очень дельного. По-видимому, Валуев все сердится на меня за мое письмо. Но я от этого не унываю. Он, несмотря на наши предварительные разговоры, кажется хотел видеть во мне чиновника, а я этого не хотел и не хочу — вот и все. А если я в письме говорил от сердца и высказался с некоторою твердостью и независимостью духа, то как же иначе? Я иначе не говорю.

21 января 1862 года, воскресенье

Я рад воскресенью, как школьник. Не ехать ни в редакцию, ни в типографию и вечер могу остаться дома. Словом, воскресенье для меня настоящий день седьмой, субботний.

В жизни выдаются особенно трудные и трудовые моменты. Один из таких переживаю я теперь. Вокруг все бурлит и клокочет. Я похож на кормчего, который должен вести свой корабль среди мелей и подводных камней. Неурядицы по изданию газеты, с которыми я должен ежедневно бороться; недостаток в честных сотрудниках, бедность материала, способного оживить газету и придать ей литературное значение; бесконечные стеснения со стороны министерства;

взыскательность публики, требующей, чтобы вдруг все было сделано, что делается месяцами и годами; неприязненные крики крайних партий; надломленное здоровье, — и посреди всего этого хаоса я один, без всякой другой опоры, кроме чистоты моих намерений… Вот некоторые, но далеко не все прелести моего нынешнего положения.

Да, у меня есть враги, которые всячески стараются мне вредить. Лучше, конечно, если бы этого не было. Однако я надеюсь, что во мне найдется довольно нравственной силы, чтобы побороть это зло, не уступив ни на шаг из того, что я считаю честным и справедливым.

22 января 1862 года, понедельник

В Думе некоторые профессора собираются читать лекции, говорят, по желанию бывших студентов. На это уже получено разрешение.

23 января 1862 года, вторник

Обнародование в “Северной почте” государственного бюджета, и потому я пробыл в типографии до часу ночи.

Разнеслись слухи, что министр финансов вышел в отставку и на место его назначен Рейтерн.

24 января 1862 года, среда

Сегодня получил от государственного секретаря для напечатания в “Северной почте” указ об увольнении Княжевича от должности министра финансов и о назначении на его место Рейтерна.

28 января 1862 года, воскресенье

Парадное представление министру. Вот мое определение Головкина: сух, холоден, умен, изворотлив. Вот и все пока.

29 января 1862 года, понедельник

Борьба и все только борьба: борьба с недугом, с бесконечными затруднениями в делах, по службе, с человеческими мерзостями. Вот что называется жизнь боевая! Да где же лавры? Кроме сосновых игл, ничего не растет на нашем болоте. Но все-таки надо крепиться и мужаться из уважения к самому себе.

Жестоко был истязуем все утро: налетел особенно сильный пароксизм. Поехал в типографию. Там в хлопотах как будто стало полегче. В три часа поехал в университет; из университета домой пешком — немного расходился. Припадки теперь приняли, точно, лихорадочный характер: они аккуратно посещают меня через

день.

Сегодня был в историко-филологическом факультете выбор трех членов в правительственную комиссию университета до его открытия. Я получил из шести — два шара. Итак, у меня есть два благоприятеля. Чудо! Ведь против меня все красные и все пестрые…

2 февраля 1862 года, пятница

Сегодня было у меня особенно много посетителей. Разошлись в три часа.

3 февраля 1862 года, суббота

Вечер в типографии.

5 февраля 1862 года, понедельник

Неприятное, о какое неприятное дело! Министр внутренних дел издал циркуляр губернаторам, чтобы те посредством полиции заставляли подписываться на “Северную почту”, так как эта газета правительственная и должна противодействовать русской прессе! Так сказано в циркуляре. Это меня глубоко огорчило. Надо принять против этого меры.

6 февраля 1862 года, вторник

Я прочитал сегодня двум моим главным сотрудникам, Ржевскому и Арсеньеву, проект моего письма к министру с изложением нашего протеста против принудительной подписки на газету и особенно против того, как в его циркулярах мотивирована эта нелепая мера. Они без малейшего колебания согласились подписать мое письмо. Завтра оно будет отправлено по назначению.

7 февраля 1862 года, среда

Отправил письмо к Валуеву за подписями: моею, Ржевского и Арсеньева. Письмо, мне кажется, написано убедительно и сильно. По крайней мере я не стеснялся.

Письмо было отправлено около четырех часов, а ответ я получил в шесть. Ответ показывает, что министр почувствовал неприличие своего поступка, но как поправить его трудно, то он кое-как изворачивается. Впрочем, он обещается дать циркуляру пояснение, благоприятное для наших идей.

8 февраля 1862 года, четверг

Мои товарищи очень благодарили меня за оборот, какой я дал делу о

министерских циркулярах.

11 февраля 1862 года, воскресенье

Вечером у министра Валуева. Говорено было о нашем протесте. Валуев выражался очень любезно и еще раз подтвердил свои обещания.

13 февраля 1862 года, вторник

Нельзя сказать, чтобы я принадлежал к смертным, слишком облагодетельствованным судьбою. Тяжкий беспрерывный труд, болезнь, враги, из которых каждый ежеминутно готов бросить в тебя грязью, необеспеченная будущность — право, все это вместе взятое и еще в прибавку кое-что другое составляет ношу жизни довольно порядочной тяжести. Да как быть? Надо нести. Да и почему бы жизни быть лучше здесь, когда она скверна, очень скверна в тысяче других мест?

Все эти последние дни я ношу внутри себя какую-то пустоту и глубокое презрение ко всему окружающему. Чувство это, впрочем, становится почти хроническим, как и мои болезненные припадки. Кстати о последних. Вальц, в сущности так же мало знающий, как и все его собраты, все хочет уверить меня, что это так, нервное состояние, даже не болезнь, а слегка неприятное препровождение времени.

14 февраля 1862 года, среда

Боже мой, что это за люди! Как шакалы, так около тебя и шныряют, чтобы поживиться, оторвать от тебя кусочек или твоего спокойствия, или твоей репутации. Кажется, на что бы им это нужно было?

15 февраля 1862 года, четверг

Даже некогда хорошенько побеседовать с самим собою в этом дневнике.

16 февраля 1862 года, пятница

В Твери, говорят, произошло какое-то волнение среди дворянства. Туда послали для исследования и для водворения порядка Н.Н.Анненкова, несколько жандармских офицеров, обер-прокурора сената. Тверь — город либеральный. Он со времени крестьянского дела не раз уже выражал требования, довольно смелые.

18 февраля 1862 года, воскресенье

Холоду 13R. Походил, погулял перед обедом по вьюге. Встретил Панаева, который очень похудел. Жалуется на своих сотоварищей-литераторов и

журналистов, на тех передовых людей, которые так много вредят делу настоящей свободы. Вот теперь начинает убеждаться в этом Панаев. Между прочим, новый министр, Головнин, требовал от них мнения по цензурным делам, а они так этим вознеслись, что начали разглашать, что и цензура и сам министр теперь у них в руках.

19 февраля 1862 года, понедельник

Сию минуту, около четырех часов, узнал я, что И.И.Панаев умер. Вчера в это самое время я встретил его на Невском проспекте и гулял с ним более получаса. Он показался мне похудевшим, и я заметил ему это. “Да я чуть было не умер недавно, — сказал он мне, — в груди у меня что-то такое сделалось, что чуть было не задушило меня. И это продолжалось часа три”. Затем он говорил со мною о тверском происшествии, о литературе и литераторах, которых он укорял за их безалаберность и крайний образ мыслей. Я подивился такой скромности и умеренности суждений. И вот бедного Панаева уже нет на свете.

Сегодня также получил приглашение на похороны Алимпиева, одного из моих самых давнишних приятелей и доброжелателей. Грустно.

Был у доктора Экка, с которым советовался о моем здоровье…

20 февраля 1862 года, вторник

Кончил статью о прогрессе для “Северной почты”. Она очень меня занимала. Вся она написалась легко, но конец сильно затруднил меня, там, где приходилось говорить о наших крайних прогрессистах, и выходило очень резко. А я враг всяких резкостей и личностей в печати. Я решился это оставить и заключил статью только легким о них упоминанием.

Прислал министр для напечатания в газете объяснения о тверском деле. Дело нехорошее. Тринадцать человек дворян вздумали выразить протест против “Положения о крестьянах 19-го февраля”. Их привезли, посадили в крепость и предали суду сената.

21 февраля 1862 года, среда

Переговоры с товарищем министра Тройницким. Тут какая-то интрига. Кому-то хочется опрокинуть Ротчева, который составляет нам и переводит телеграфические депеши, и посадить на его место другого. Между тем я не имею никакой причины быть недовольным Ротчевым. Кроме того, я решился сильно воспротивиться этим набегам на редакцию и сегодня вечером серьезно объяснил товарищу министра, что я и мои товарищи очень недовольны таким вмешательством в наше дело; что газета начинает приобретать авторитет; что мы и без того заняты очень много, чтобы еще хлопотать о пустяках, которыми нам надоедают, и проч. С товарищем министра мне вскоре удалось договориться так, что когда явился Арсеньев, которого депеши преимущественно и касаются, никаких компликаций уже не могло последовать. Все

уладилось, и все остались довольны.

22 февраля 1862 года, четверг

На похоронах у Панаева. Его отпевали в церкви Спаса Преображения. Я, однако, не достоял обедни. Народу было много, и в церкви духота. Тут, между прочим, я встретил государственного секретаря Буткова.

Заседание вечером в Главном управлении цензуры. Давно уже его не было. Тут, между прочим, очень смешным образом выказал себя Кисловский, мой старый недруг, который вообразил себе, что он может и здесь подставлять мне ногу. Под его наблюдением находится “Северная почта”. Кисловский не понял, что это только соблюдение формы и что газета, издаваемая министерством внутренних дел, в сущности не подлежит его контролю. Объявив, что подведомственные ему журналы и газеты неукоризненны, он прибавил, что вот только разве “Северная почта” подлежит его замечаниям — и за что же? За статьи об архиепископе Фелинском. Он не мог догадаться, что такие статьи иначе не печатаются, как по распоряжению высшего правительства. Я выслушал это спокойно и, не обращаясь к Кисловскому, объяснил только с улыбкою министру Головкину, какого рода эти статьи. Министр тоже улыбнулся и, сказав, что до газеты “Северная почта” касаться нечего: это газета официальная, тотчас встал с места, и заседание кончилось. Кисловский остался ни при чем.

Новый член Тихомандритский. Ну, этот…

24 февраля 1862 года, суббота

Надобно достигнуть того состояния духа, в котором бы все неизбежные превратности жизни принимались без ропота и уныния, но и с некоторым внутренним довольством. Ведь ежели человек — существо, способное к усовершенствованию, то почему не достигнуть ему этой степени нравственного совершенства? Бывают высшие умы, почему же не быть характерам высшим?

28 февраля 1862 года, среда

Стычка с Ржевским. Он безжалостно засыпает редакцию своими статьями, которые далеко не все хороши, да к тому же еще и не подписывает под ними своего имени. Мало того, он вздумал самовольно распоряжаться в типографии, приказывая метранпажу набирать и печатать свои статьи, не заботясь, достанет ли для них места, не пострадают ли от того другие отделы и в состоянии ли типография делать это с такою быстротою, как ему хочется. Об этом доложено было мне, и я сделал распоряжение, чтобы без моего ведома и согласия никакая статья не набиралась.

Во вчерашнем номере Ржевский напечатал в фельетоне статью: “Обозрение русских журналов за январь месяц”. Статья наполнена ругательствами на Чернышевского, шутками дубового свойства и вообще плоха. Сильно не по душе мне все эти ругательства и плоскости!.. Сегодня Ржевский принес продолжение, с

тем чтобы оно было набрано и напечатано в завтрашнем номере. Было уже три часа. Метранпаж пришел в отчаяние и явился со мною объясняться. Ржевский разгневался, не допуская, чтобы его статья, даже не подписанная, могла подвинуться, уступить место другой, каковы бы ни были соображения общей или главной редакции. Он ушел в крайнем раздражении.

Мораль этого факта: у нас невозможно соединение людей для какого-нибудь общего дела, потому что каждый из участников считает для себя законом не интересы дела, а свои собственные выгоды, свое я, свое самолюбие. Впрочем, о Ржевском меня предупреждал Валуев. “Имейте в виду с этим человеком, — сказал он мне, — что он охотник запускать лапу в чужие дела”.

1 марта 1862 года, четверг

Многое приходится сносить тому, кто хочет быть вполне честным человеком.

Стоит только немного изучить и узнать людей, чтобы почувствовать глубокое презрение к тому, что в большинстве случаев отнимает у вас или дает вам их сердце.

2 марта 1862 года, пятница

Вечером приходил ко мне Арсеньев. Он очень испуган: ему кто-то сказал, что против меня и него существует заговор. Хотят свергнуть меня с редакторства, а на мое место посадить Артемьева. Арсеньева тоже хотят удалить. За себя мне нечего бояться. Я со времени известного циркуляра (об обязательной подписке на газету) только одною ногою стою в редакции. Мой выход из нее только вопрос времени. Впрочем, слухи, переданные мне Арсеньевым, на этот раз кажутся мне просто грубою шуткою, которою хотели напугать его, зная его легковерие и тревожный нрав. Я ему это так и растолковал и успокоил его.

3 марта 1862 года, суббота

В мыслящем существе жизнь без мысли есть нелепость.

Жизнь в мысли значит жизнь по законам, по идеям целого, добра, порядка. Жизнь не в мысли значит жизнь по слепым влечениям материи, природы.

Эгоизм есть бессмыслие, потому что он удаляется от главных оснований и атрибутов мысли — от общего.

Права жизни велики, столь же велики в глазах человека должны быть и права мысли.

Три элемента образуют характер: природа (природные предрасположения, наклонности), воля и среда.

5 марта 1862 года, понедельник

Если правительство само себе не помогает, ободряя честный либерализм и направляя умы к разумным и полезным реформам, то кто же может ему помочь?

Профессор П.В.Павлов за речь свою на публичном чтении, бывшем в пятницу в пользу литераторов, выслан в отдаленный уездный город под надзор полиции.

Арсеньев продолжает волноваться. Он утверждает, что действительно существует заговор о низвержении всех нынешних редакторов “Северной почты” и что главное действующее лицо здесь Мельников.

6 марта 1862 года, вторник

У министра Валуева. Интересный разговор. Я мало верю тому, что передавал мне Арсеньев о подкопе под весь состав нашей редакции, но опасение его и страх за самого себя могут быть и основательны. Притом надо также взять в расчет и слова товарища министра о дороговизне издания газеты и о дефиците, который ожидает министерство. Все это заставило меня поехать к министру. Он был очень любезен, говорил, что доволен газетою, но что его тоже смущает будущий дефицит и что он желал бы, чтобы мы соблюдали побольше экономии в гонорарах, особенно по политическому отделу. Я воспользовался этим, чтобы заговорить об Арсеньеве, и засвидетельствовал об его усердии, трудолюбии и искусстве, с каким он ведет отдел. Министр с этим совершенно согласился. Что же касается вообще до дефицита, то я заметил, что его надо было предвидеть и что издание газеты с такою целью и в таких размерах не может обойтись без значительных издержек и пожертвований. Затем министр объявил, что намерен похерить Варадинова: это даст нам экономию в 4000 рублей.

Речь перешла на цензуру, то есть на превращение ее из предупредительной в карательную Он, кажется, доволен тем, что она перейдет в его руки.

Если похерение Варадинова состоится, то надо будет просить, чтобы его не оставили и без должности, и без средств к существованию. Надо также будет заявить и о Богушевиче, который работает очень толково и усердно.

7 марта 1862 года, среда

Академическая газета “С.-Петербургские ведомости” стоила в прошедшем году 184 000 рублей. Обыкновенно расход ее простирался от 140 до 150 тысяч: печатание 32 тыс., бумага несколько больше. Корреспонденты заграничные получают в год тысячи полторы; гонорар за перевод в политическом отделе полторы копейки со строки; за оригинальные статьи — от 4 до 6 копеек. В прошедшем году академическая газета расходилась в числе 9600 экземпляров.

Опять возня со шрифтом. Министр объявил Петру Ермолаевичу, что он недоволен шрифтом и проч. Неприятная забота о сокращении гонораров. Мне кажется, Головкин сделал большую ошибку, открыв университет в Думе. Он этим только как бы утвердил в юношах мысль, что учиться можно налегке, на бегу, в публичных собраниях, а не в школе, не в университете. Это опасный шаг по

направлению к легкому, поверхностному знанию, вместо серьезной науки, в которой мы чувствуем такую настоятельную потребность.

10 марта 1862 года, суббота

Толки о происшествии в думской зале на лекции Костомарова. Вот что случилось. После высылки Павлова в Ветлугу между профессорами, читавшими лекции в Думе, и бывшими студентами последовало соглашение о прекращении лекций. С этим не согласились Благовещенский и Костомаров. Последний явился в положенный час на лекцию. Его приняли дурно. Он сказал речь к собравшейся толпе, где объявил, что он не намерен быть гладиатором в потеху тем, которые собираются для зрелища и демонстраций, а не для науки; что он не намерен угождать их пустому либеральничанью. Вслед за этим раздались крики, свистки, ругательства. Но Костомаров удалился, не очень трогаясь этими выражениями уличного негодования. Только уходя, Костомаров еще сказал: “Вы, господа, начинаете свое поприще Репетиловыми, а окончите его Расплюевыми”.

Вот теперь уже и в публике начинают толковать, что во всех проделках молодых людей не столько виноваты они, сколько наставники и руководители, возбуждающие в них преждевременно либеральное движение, вместо того чтобы сообщать здоровые и точные идеи науки. Давно пора бы.

11 марта 1862 года, воскресенье

Главное управление цензуры уничтожено. Цензура окончательно переходит в министерство внутренних дел и устанавливается на особых началах.

Вечер у Валуева. Ничего, кроме скуки и духоты.

12 марта 1862 года, понедельник

Вчера гнусный холод до десяти градусов с пронзительнейшим ветром. Сегодня выпал снег, как в декабре или в январе.

Одиннадцатый час вечера. Сейчас от Головнина. Разговор о цензуре. Просил меня помочь ему в том, чтобы Географическое общество было изъято из цензуры.

14 марта 1862 года, среда

Один хозяин у нас в Малороссии послал двух парней (хлопцев) на бахчу принести пару больших арбузов к обеду. Хлопцы сорвали и несут каждый по арбузу в полу своей свитки. Дорогой они заспорили: кто сорвал и несет лучший арбуз? От спора они перешли к ссоре, а от ссоры к драке. Арбузы были выложены на землю, а хлопцы вцепились друг другу в чубы. Пока происходила эта битва, прибежала свинья и съела оба арбуза.

15 марта 1862 года, четверг

Опять возня с Ржевским. Теперь он письменно жалуется мне на одного из чиновников редакции, который сделал ему грубость. Ездил к нему, толковал, объяснялся, и дело, кажется, по крайней мере по-видимому, уладилось.

16 марта 1862 года, пятница

Над способностью хорошо мыслить и хорошо чувствовать есть еще высшая способность или сила организовывать эти мысли и чувства, сосредоточивать их, возводить в творческий акт постоянной, систематически развивающейся решимости действовать в одном определенном направлении. Это характер, всегда верный самому себе и всегда готовый господствовать и над понятиями и над чувствами во имя одной, глубоко запечатленной в душе, идеи. Вот этой-то силы, этого характера может недоставать целым нациям, как и отдельным лицам.

Движение, волнение тогда хороши, когда в потоке их вырабатываются *твердые и определенные* начала, на которых впоследствии может построиться новое, лучшее положение вещей.

Настоящее поколение признает одно начало — оппозицию против всякой руководящей власти, всякого нравственного авторитета. Оно признает за собою — и только за самим собою — безусловную свободу! Есть ли это начало плодотворное? Тут только одно отрицание, а зиждительного ничего нет. Пусть бы оно, это поколение, рвалось вперед; но пусть же оно несло бы с собою и какие-нибудь зачатки нового, лучшего порядка вещей. Быть способным к одному отрицанию значит быть ни к чему не способным.

Но, возразят мне, отрицание только первый шаг: из него само собою выработается положение. Нет! Сперва надо быть *чем-нибудь,* чтобы внести *что-нибудь* и поставить на место отринутого. Пустота родит пустоту, из ничего ничего не бывает.

17 марта 1862 года, суббота

Есть умы до того крепкие, что могут переваривать огромную массу принятого ими знания, не впадая от того в замешательство, в судороги или опьянение. Но, наоборот, есть такие слабые головы, которые не переносят и самого слабого приема знания. Они пьянеют от него, как дети от нескольких капель вина, путаются, впадают в хаос, но полные надменности несут вздор, считая его за великие будто бы ими открытые истины.

18 марта 1862 года, воскресенье-

Сейчас (двенадцать часов ночи) с раута от Валуева. Собрание было огромное. Наслушался разных новостей. Утешительного ничего. Хаос в понятиях усиливается. Валуеву, кажется, недолго оставаться на своем посту.

Великий князь Константин действительно назначен председательствующим в совете (Государственном) на место Блудова, который за болезнью уволен на 6 недель.

19 марта 1862 года, понедельник

Впереди перспектива становится все мрачнее и мрачнее. Если известная партия одолеет, тогда всем разумно-либеральным, умеренным началам конец, и представители этих начал будут смяты скачущею сломя голову и ломящею все толпою. А затем что: новый гнет, новый деспотизм?..

Головнин тоже, кажется, хочет больше думать о своей популярности, чем о правильном направлении дел. Не для этого ли, между прочим, он спихнул с своих рук цензуру на руки министра внутренних дел? Открыл университет в думе?..

20 марта 1862 года, вторник

У министра Валуева, вечером, с докладом. Утвердили корреспондента в Лондоне по случаю всемирной выставки — московского профессора Киттары.

Правительство правительством, да хороши и мы! Разве не случается сплошь и рядом: человек учится где-нибудь в университете или в каком-нибудь другом высшем учебном заведении; как говорится у нас, прекрасно образован; толкует горячо о высших истинах, о свободе, о честности и чести и проч. Получает он видное место — смотришь, сделался деспотом и вором. Из кого же все вырабатывается, как не из народа, не из общества? Не есть ли оно плоть от плоти их и кость от костей их?

22 марта 1862 года, четверг

Зима в настоящем смысле слова. Опять санная дорога.

Вчера было собрание у товарища министра внутренних дел. Собрание состояло из членов бывшего Главного управления цензуры и чиновников оного. Странное положение ныне цензуры. Она как-то раздвоилась: одною ногою стоит в министерстве народного просвещения, а другою в министерстве внутренних дел. За первым, собственно, остается власть предваряющая, цензирующая; другому принадлежит наблюдательная, контролирующая и, как говорят, впоследствии будет принадлежать и карательная. На днях три самоубийства: какой-то сотрудник журнальный Пиотровский застрелился, какой-то бывший студент зарезался, и профессор медецинской академии Л.А. Беккерс отравился.

Курочкин, издатель “Искры”, вызвал на дуэль Писемского. Они сильно обругали друг друга и теперь хотят драться — по крайней мере первый.

Ко мне обращался Вейнберг, бывший редактор “Века”, с просьбою принять его в сотрудники газеты.

25 марта 1862 года, воскресенье

Возвышенные умозрения необходимы для человека как пища для его духа, как сила, возносящая его над треволнениями дня, как просветление ума, которому без них все кажется как-то туманно, тесно и безжизненно — именно, даже безжизненно, хотя, по-видимому, какая жизнь в идеях? Я не принимаю в этих умозрениях ничего за догмат: я только питаюсь ими, как укрепляющею и оживляющею меня пищею.

Надо добросовестно и строго отделить в современных стремлениях истинные потребности от мнимых или мечтательных и преувеличенных — отделить возможное к осуществлению от утопического и возможное к осуществлению без проволочки от того, что история по необходимости откладывает на будущее время.

26 марта 1862 года, понедельник

В нравственно-психологическом внутреннем мире человека одни только те явления заслуживают внимания, значение которых определяется разумным созданием и воспринимается волею. Все прочее похоже на облака, гонимые и разгоняемые ветром, или на пену, мгновенно возникающую и исчезающую в волнах потока. Радость ли, горе ли приносят такие явления, они не заслуживают внимания мужественного человека или заслуживают настолько, насколько они представляют эстетический интерес, подобно явлениям внешней природы.

27 марта 1862 года, вторник

Вечер у Арсеньева. Кажется, мне и его надо остерегаться, как и Ржевского. Эти господа, как большинство людей, способны одинаково нагадить человеку отчасти из-за дрянной какой-нибудь выгоды, отчасти так, оттого, что приятно искусно нагадить: этим выказывается ум, ловкость.

30 марта 1862 года, пятница

Почему школа отрицания находит так много последователей? Потому что она льстит самолюбию людей легкого ума, ничему основательно не учившихся. Они не хотят подчиниться авторитету, который всегда выказывается в положительных принципах, тогда как, отрицая, они имеют право думать, что они сами господа своих мнений. Им кажется, что они выше всех тех, кого не признают, а в самом деле они похожи на тех нищих, которые ни во что ценят всякое приобретение, .потому что им собственно нечего терять.

Был у меня Чижов. Поседел, но бодр и свеж, с теми же добрыми качествами и слабостями, как и прежде. Он ни крошки не подвинулся вперед и не ушел назад. То же самодовольство своею гордостью, та же вера в тонкость своего ума, способного всех провести, то же уменье, когда нужно притвориться.

Вот уже дня три или четыре, что я, кроме обычных припадков, испытываю какую-то вялость, тяжесть в теле и в голове, крайнюю усталость — одним словом,

чувствую себя довольно нелепо.

31 марта 1862 года, суббота

У товарища министра Тройницкого. Объяснение по поводу замечания министра о том, что в газете нашей неосторожно будто бы говорено о нынешнем положении Пруссии. На самом деле у нас решительно ничего не сказано, чего не было в других газетах. Товарищ сам не согласен с замечанием министра.

2 апреля 1862 года, понедельник

Был в редакции товарищ министра и объявил мне, что “Северная почта” не будет иметь особого цензора.

6 апреля 1862 года, пятница

Вчера и сегодня свирепый холод. Опять за шубы. Вечером были у меня Чивилев и Гончаров. Первый уже начал преподавание политической экономии наследнику. Он весьма утешительные вещи о нем рассказывает. Молодой человек этот умен, добр и, что очень важно, не гнушается труда мысли.

8 апреля 1862 года, воскресенье

День Пасхи. У заутрени в церкви Уделов. Очень недоволен службой. Быстрота этой службы доведена здесь до пределов возможного. Все кончилось не более как в полтора часа. В церкви было много разряженных дам и щеголеватых кавалеров, которые все время службы вели между собой оживленную беседу. Мы вернулись домой с Гончаровым и проболтали за куличом и ветчиной до трех часов утра.

9 апреля 1862 года, понедельник

Снаряжая корабль в плавание, никто не валит груза на один борт его. Необходимо сохранить равновесие, иначе корабль потонет.

11 апреля 1862 года, среда

Работал в редакции: завтра снова выходит газета.

12 апреля 1862 года, четверг

Опять обругали “Северную почту”. Я был бы совершенно равнодушен к этим грубым нападкам, если бы, к сожалению, не нужно было отвечать на них. Это скучная и неблагодарная трата времени. Надеюсь, однако, что этим кончится. Во всяком случае наш ответ не должен выходить из границ строгого приличия.

13 апреля 1862 года, пятница

Кажется, окончательный конец зиме. Идет сильный и теплый дождь.

Министр внутренних дел собрал сегодня в два часа всех, принадлежащих к наблюдательному ведомству по делам книгопечатания. Ну право же, большая нелепость и весь этот наблюдательный синклит, и самая идея наблюдения, и все это нынешнее состояние цензуры. Вот Валуев как попался со своими проектами преобразования цензуры! Он хотел установить карательную цензуру, взялся за это, не сумел сделать и проволочил дело до появления на сцену Головкина: этот его теперь и обошел. Сущность цензуры Головнин забрал себе, а ее темную, невыгодную сторону оставил Валуеву. Вышла совершенно басня "Ворона и Лисица".

14 апреля 1862 года, суббота

Страшную будущность готовят России все эти ультрапрогрессисты. И чего хотят они? Вместо постепенных, конечно безотлагательных, реформ, вместо разумного движения вперед они хотят крутого переворота, хотят революции и пытаются произвести ее искусственным образом. Безумные слепцы! Будто они не знают, какая революция возможна в России! Им хочется порисоваться на сцене, хочется поиграть в историю: история их первых смелет, как мельничный жернов дрянное жито или овес, и унесет в своем водовороте. Разве России необходима такая революция, какую они замышляют?

Ржевский получил по городской почте анонимное письмо, полное иронических похвал его либеральному образу мыслей в статьях "Северной почты". К письму приложена возмутительная прокламация к офицерам русской армии, с просьбою напечатать ее с его, Ржевского, комментариями. Прокламация эта, говорят, в день Пасхи проникла даже во дворец и очутилась в карманах некоторых сановников, как, например, графа Адлерберга и проч.

15 апреля 1862 года, воскресенье

Свобода и закон — вот что должно бы составлять исключительную основу управления человеческими обществами. Но как в этих обществах всегда будут злоупотребления первою и нарушения второй, то к ним надобно присоединять еще и *охранительную* силу власти.

У нас особенно трудно устроиться правильному общественному порядку самому, без участия внешней руководящей силы. Патриотизма у нас очень мало, а самолюбие вместе с кровью наполняет все жилы и жилки нашего организма.

18 апреля 1862 года, среда

Валуеву дали Владимира 2 степени. Он, говорят, огорчен. Министру и в самом

деле это как будто не по чину.

20 апреля 1862 года, пятница

Великолепная погода. Парад на Царицыном лугу. Мы смотрели на него с типографского балкона.

Искусство убивать людей не лишено своего рода поэзии: ее много в стройном движении этих огромных масс. Особенно хороши артиллерия и кавалерия.

21 апреля 1862 года, суббота

Славянофильство начинает принимать характер не простой школы или учения, а настоящей секты, со всеми правами и обязанностями истых фанатиков.

22 апреля 1862 года, воскресенье

Мы испытали деспотизм личный, но Боже сохрани нас испытать еще деспотизм толпы, массы — деспотизм полудикой, варварской демократии.

27 апреля 1862 года, пятница

Все последние дни сияющие, но прехолодные.

Нередко чувствуется сильная неурядица в душе — недостаток уверенности во всем: в человечестве, в жизни, в самом себе: и в своей судьбе. Большей частью, конечно, это есть следствие слишком эгоистической заботливости о самом себе, о своей будущности, а кажется, пора утвердиться в мысли, что чем больше ты погружаешься в личные интересы своего маленького я, каковы бы они ни были, тем дух твой более стесняется, мельчает, ослабевает в силе и мужестве.

28 апреля 1862 года, суббота

Сегодня, по распоряжению министра народного просвещения, были собраны профессора несуществующего университета для обсуждения вопроса: может ли и на каких основаниях может быть открыт университет? В собрании поднялся страшный шум. Наконец кое-как, среди нестерпимого гвалта, добрались до самого вопроса, который кое-как был поставлен Ленцом. Ведь и спор-то весь был из-за того, что не знали, о чем рассуждать и как взяться за вопрос. Но тут все единогласно согласились с тем, что “при нынешних обстоятельствах нельзя открывать университета до издания нового устава”. А можно ли открыть университет с принятием только некоторых изменений в некоторых правилах? Против этого оказалось четыре или пять голосов, и в том числе мой. Я ушел тотчас после этого, но шумные толки, кажется, еще долго продолжались.

Что у нас за шарлатан министр Головкин! Он решительно не приходит ни к

какому определенному результату, а все вертится на одном месте: то одну ногу поднимет, то другую, сделает движение рукой, сладко улыбнется — вот и все.

29 апреля 1862 года, воскресенье

Вот, между прочим, какую хитрость употребил министр. Ему хочется угодить студентам и защитникам их буйных выходок и открыть университет. Но самому взять инициативу в этом опасном деле не хочется. Вот он всячески вертится около университета, побуждая его самого дать голос в пользу открытия. Между прочим вот еще что ему приписывают: он внушил сперва немецким, а потом, говорят, и русским “С.-Петербургским ведомостям” напечатать, что в публике очень желают открытия университета и что последнему нечего уж больше бояться студентов, так как они переводят свои сходки из стен университета в Общество пособия нуждающимся литераторам. Ведь если это правда, то это верх самого низкого угодничества толпе… Во Франции по крайней мере лилась кровь во имя неисполнимых, но все-таки великих теорий, а у нас она будет литься так, по причине тупости или подлости некоторых и совершенной безалаберности всех.

Андреевский вчера требовал, чтобы университет сам составил себе новые правила, и так, чтобы министерство не имело на это никакого влияния: не нужно даже и санкций его на эти правила. На это кто-то возразил: “Так вы университету хотите присвоить диктатуру?” — “Да”, — отвечал он. “Ну, — заметил я Куторге, сидевшему против меня, — этот далеко идет, уйдет ли только далеко — не знаю”. А когда я сказал, что всякие правила, какие мы ни составим, будут сочтены за произвол и что лучше подождать нового устава, который все-таки будет законом органическим и, так сказать, законным законом, то Благовещенский на это возразил: “Да разве теперь кто-нибудь уважает закон?” — “Ну так нечего открывать и университетов”, — отвечал я.

Действительно, прежде уважали если не закон, то правительство или по крайней, мере признавали в последнем силу и боялись ее, а теперь решительно нет никакого обуздания, никакой сдержанности, и всякий бредет, куда ему вздумается.

Надо, однако ж, хоть министру понять значение всего этого и не быть ни подлецом, ни трусом.

Если предполагаемые временные правила будут составлены в духе, ограничивающем произвол студентов, то студентам это не понравится, и они опять набуянят. Если правила эти будут слабые и потворствующие, то они понравятся студентам, и они опять-таки будут делать все что угодно, только не учиться.

Был у Делянова. Разговор об открытии университета и о вчерашнем собрании. Делянов прекрасный человек, но слабый: он не способен ни на какое решительное мнение, он колеблется.

1 мая 1862 года, вторник

Объяснение с министром Валуевым. Он принялся сокращать расходы по газете.

С этой целью уволены редакторы Ржевский и Варадинов. Это сохраняет 7500 рублей. Без Ржевского, пожалуй, можно обойтись, но где границы этих сокращений? Министр мог не остановиться на этом и простереть свои урезки на гонорар сотрудников, а это неизбежно парализовало бы литературную сторону газеты. Вследствие этого я решился всеми силами сопротивляться новым урезкам: в случае же неудачи — подать в отставку. Министр нападал на расширение политического отдела; я защищал его. Положено уничтожить в газете петит. Впрочем, мы пока расстались довольно дружелюбно.

Мне в подмогу дан Богушевич для отдела, которым заведовал Ржевский.

3 мая 1862 года, четверг

Вчера, третьего дня и сегодня светло, тепло; словом, похоже на весну.

Вчера прощанье с графом Блудовым. Собрались почти все академики. Старик все еще вспыхивает и оживляется, хотя уже слаб. Он едет за границу.

7 мая 1862 года, понедельник

С Валуевым сильно не ладится. Если я со времени знаменитого циркуляра (губернаторам об обязательной подписке) только одною ногою стоял в редакции, то теперь вишу в ней на волоске, который сам ежеминутно готов подрезать. Валуев все сердится на дефицит газеты, точно он при самом начале дела не говорил сто раз мне и другим, что он этим не будет стесняться, что нужны пожертвования и т.д. Вчера он призывал Волькенштейна и сурово напал на него опять за шрифт.

Это меня сильно расстраивает. Я подозреваю, что, нападая на типографию, министр косвенно бросает стрелы на меня. Ему не нравится мое желание удержать за редакциею известную степень самостоятельности, без которой, однако, нельзя дать газете сколько-нибудь характер, заслуживающий внимания и доверия общества. Были у меня с ним и некоторые столкновения. Он все жалуется, что его не слушают. Да, становится очевидно, что министр после всех благих намерений и разглагольствований о широких взглядах и задачах хочет в конец сузить первоначальный план газеты. Если он действительно такой ветреник, то я ему больше не помощник.

9 мая 1862 года, среда

Нет! Все наши государственные люди решительно ниже посредственности, люди бездарные, неспособные ни к какой светлой, широкой мысли, ни к какому благородному усилию воли. Какая нравственная сила в состоянии поддержать правительство, состоящее из таких гнилых элементов, из этих бюрократических ничтожеств.

10 мая 1862 года, четверг

Размыслив хорошенько, я решился написать Валуеву письмо с объяснением, что при таких порядках, .или, лучше сказать, беспорядках, и постоянных тревогах и переменах газета не может идти честно и успешно. Я хочу предложить ему, не согласится ли он определить цифру, ниже которой в расходах по содержанию газеты идти нельзя, не уронив газеты, а если он на это не согласится — подать в отставку.

13 мая 1862 года, воскресенье

Поутру отослал письмо к Валуеву.

15 мая 1862 года, вторник

Драка Писарева с Гарднером [из-за невесты первого] на железной дороге недели полторы тому назад.

Время берет свое, время делает свое. Люди совершают неподобные дела, а время употребляет эти дела, как умный пахарь навоз, и взращает из них добрые плоды. Значит, не люди заслуживают уважения, а время и принцип, который вырабатывается временем.

Собрание совета или профессоров, потому что собственно совета нет, под председательством попечителя Делянова. Предложен был вопрос: когда должен быть открыт университет? Положено: открыть совет в августе, а университет к первому октября приблизительно.

К концу произошла сцена. Костомаров подал в отставку, и сегодня получен уже приказ о его увольнении. Некоторые из профессоров захотели сделать ему овацию. Поднялся Горлов и начал упрашивать его остаться в университете. За Горловым поднялись и другие и тоже начали упрашивать. Костомаров встал и как-то несвязно заговорил о своем расстроенном здоровье, потом перешел к откровенности. “Я, — сказал он, — получил более двадцати ругательных писем от студентов; мне угрожают побить меня, если я останусь в университете: что же мне делать?” Наконец он склонился на убеждения, чтобы ему по крайней мере числиться на своей кафедре, авось студенты отдумают и не захотят его больше ругать. Я ушел: мне было и жалко и стыдно.

16 мая 1862 года, среда

Большую часть жизни мы проводим в том, что собираемся жить, — и, наконец, решаемся жить, когда уже поздно и для жизни остается не больше времени, как сколько нужно, чтобы проститься с ней.

Объяснение с Тройницким по газете, вследствие моего письма к Валуеву. Валуев сердит на меня за письмо. Он говорит, что я будто лишаю его права заниматься интеллектуальною стороною газеты. Это несправедливо. Я только стою за то, чтобы не отступать от первоначального плана газеты и от тех задач, держаться которых мне было торжественно обещано. Тройницкий прочитал мне

предполагаемые цифры. Может быть, они и окажутся удовлетворительными, но я просил сначала допустить их в виде опыта.

17 мая 1862 года, четверг

Наконец совершенно летний день, а мы еще не на даче. Впрочем, нынешний год мы недалеко едем: перебираемся всего только на Черную речку.

В человеке и в человеческой жизни очень мало счастья, еще меньше мудрости и очень много необходимостей, из которых вытекают то бедствия, то пороки.

22 мая 1862 года, вторник

На даче. Вчера переехали. Домик так себе, как говорится, ни то, ни се — ни дурен, ни хорош. Я приехал в шесть часов. Меня задержали в редакции корректуры статьи Ржевского и Леонтьев, который приехал из Москвы. Он очень жалуется на тамошнюю цензуру, которая совершенно сбита и с последнего толка. Валуев делает замечание, а Головнин пишет отношение.

Сегодня обедал у меня Марк, который едет в четверг за границу на воды лечиться после тяжкой болезни. Вечером мы пошли гулять: скверно, холодно. В Строгановой саду, однако, пел какой-то дурак-соловей, как будто можно здесь что-нибудь делать другое, как не каркать по-вороньи.

23 мая 1862 года, среда

Поутру. Уф, как холодно! Я сижу за письменным столом в теплом пальто и калошах. Перед глазами у меня торчит несколько березок, из которых нехотя тянется тощая зелень. Немного далее луг, на котором всеми неправдами кое-как пробивается из полумерзлой земли травка. Где-то вдали каркает ворона. По небу бродят тучи, из которых так и ожидаешь, что посыплет снег: вот и прелести здешней майской природы. Я, как Ричард III, ходя по комнатам, кричу: “Дров, дров — всю дачу за дрова! Топите печи”.

Люди бывают вообще чрезвычайно щедры на одолжения, которые им ничего не стоят.

24 мая 1862 года, четверг

Вчерашний день к вечеру потеплел. Сегодня тоже тринадцать градусов поутру: и за то спасибо.

Вчера в Петербурге было разом четыре пожара в разных частях города. Один, и всех сильнее, недалеко от меня, около Лиговки. Толкуют о поджогах. Некоторые полагают, что это имеет связь с известными прокламациями от имени юной России и которые были разбросаны в разных местах.

27 мая 1862 года, воскресенье

А пароксизмы своим чередом продолжают преизрядно трепать меня, особенно по ночам.

Моя статья о прогрессе перепечатывается в разных губернских ведомостях. Есть же, значит, люди, разделяющие мой образ мыслей. Впрочем, знает ли большая часть наших так называемых мыслящих людей, чего они хотят и к чему стремятся. В этой анархии идей нет ничего определенного.

28 мая 1862 года, понедельник

День, полный тревог и страха для всего Петербурга.

Последние четыре или пять дней подряд в городе были пожары, а иногда и по нескольку разом. В пятницу, например, их было одновременно шесть в разных местах. Носились слухи, что поджигают. Меня даже уверяли, что поймано несколько разбойников-поджигателей.

Сегодня часу в первом поехал я в город, на свою квартиру. Там швейцар рассказал мне, что вчера на углу Владимирской и Стремянной поймали кого-то с горючим и зажигательными снарядами в карманах. Он сам видел всю суматоху этой ловли. Удивительная беспечность правительства. Город в очевидной опасности, особенно после известных последних прокламаций, которые были везде разбрасываемы — на улицах, на площадях, в домах, в казармах. Войска у нас, слава Богу, довольно. Не следовало ли бы учредить усиленные патрули и даже оцепить более опасные и подозрительные места? Ничего этого нет. Я не встретил даже обыкновенных казачьих разъездов. При такой слабости власти, разумеется, следовало опасаться еще больших несчастий. Так и случилось.

Я вернулся домой, то есть на дачу, часов около четырех. В шесть разнесся слух, что Петербург жгут, что пожар вспыхнул в лучшей части его, около Невского проспекта. Я вышел на Строганов мост: над Петербургом висела огромная туча дыма. Приехала дочь моя, которая гостила у своей подруги, и сообщила, что все около нашей квартиры. Щукин и Апраксин дворы в огне. Я с женой тотчас же отправился в город. У меня в квартире лежала тысяча рублей денег, все мое богатство, и некоторые документы. Мы были в большой тревоге, пока доехали до Владимирской. На улицах везде стояла сумятица, но о грабежах не было нигде слышно. Дом Фридерикса атакован был огнем с двух сторон: со стороны Щербакова переулка, который, казалось, весь пылал, и со стороны Троицкого переулка, где тоже все горело. Щукин двор и Апраксин уже не существовали. Было в огне и министерство внутренних дел. Сила пожара напирала на министерство просвещения и на Пажеский корпус. Их всячески старались отстоять. Из нашего дома почти все выносили свои пожитки. Что нам делать? Спасать больше всего надо было мой кабинет — но как? Нас с женой было только двое. Рабочие люди разбирались нарасхват. Мы собрали мои бумаги, да кое-какой скарб и связали в узлы, но вынести их было некому. Ко мне зашли князь Волконский, Капнист и Струговщиков. Все они предлагали свои услуги. Но дом Фридерикса так геройски сопротивлялся напору двух огней, что мы решились быть наготове, но не торопиться с выноской вещей.

После полуночи, когда опасность для нашей квартиры несколько уменьшилась, я, оставив жену вместе с подошедшим тем временем Целинским, поехал на дачу, чтобы успокоить детей и прислать оттуда Иванова и няню — что и было сделано. Лишь под утро, не раздеваясь, бросился я на диван и кое-как заснул.

Весь день прескверно себя чувствовал; сильный пароксизм и головная боль.

29 мая 1862 года, вторник

Пожар произвел страшное опустошение, В Чернышевом переулке и в Троицком, еще догорают дровяные дворы, и дом Фридерикса еще не в безопасности. Общее мнение, что поджигают. Рассказывают, что в разных местах задержаны люди с горючими веществами.

Часть моих вещей перевезена в редакцию и сложена в кладовую. Серебро, которого, впрочем, у меня немного, я взял к себе на дачу. Библиотеку же и часть бумаг пришлось оставить в кабинете запертыми.

30 мая 1862 года, среда

Пожар на Песках. Я поехал в город в 11 часов утра. На Царицыном лугу были войска и государь. Город в большом волнении. В поджигательстве никто не сомневается. Рассказам, слухам, толкам нет конца.

Вчера и сегодня ветер ревел и по временам превращался в бурю. Сильно холодно.

31 мая 1862 года, четверг

Несомненно, кажется, что пожары в связи с последними прокламациями. Если бы поджоги производились простыми мошенниками, то были бы покушения к грабежу: их нигде не оказалось…

Объявлено от полиции, что по высочайшему повелению составлена комиссия для оказания пособия пострадавшим от пожара. Многие совершенно все потеряли. Между такими находится и добрый мой благородный Воронов. Семейство его отправилось на лето в Псков. Сам он тоже ездил туда на Троицын день и когда вернулся в понедельник вечером, то застал квартиру свою в пламени, и уже ничего нельзя было спасти.

Объявлено от правительства, что всех, кто будет взят с поджигательными снарядами и веществами или задержан по подозрению в поджигательстве, а равно и подстрекателей к беспорядкам судить будут военным судом в двадцать четыре часа.

Сегодня также на Мытной площади происходила казнь Обручева за распространение возмутительного сочинения против государя и верховной власти, то есть над его головой была переломлена шпага и объявлено ему: каторжная работа на три года, а затем вечное пребывание в Сибири.

Приняты меры: все дворы заперты; у ворот сидят дворники, которые обязаны смотреть, чтобы во двор не проходили люди подозрительные. Усилены патрули. Вечером был на даче у министра Валуева. Однако объяснения по делам редакции не состоялось. Министр готовился к докладу государю.

2 июня 1862 года, суббота

Ужасно холодно в комнатах; на воздухе семь градусов. Пожары укротились.

В восемь часов вечера получил от товарища министра статью для завтрашнего номера об открытии в Сампсониевском и во Введенском училищах злоумышленнического преподавания о том, что надо Петербург жечь и проч. Это проповедовалось в воскресных школах, заведенных в этих училищах для рабочего класса. Наряжена комиссия для исследования. Я поехал тотчас в типографию, и при мне набрали статью.

Разговор с радикалом.

— Надо все разрушить: бей направо и налево.

— Для чего же?

— Разумеется, чтобы истребить все накопившееся зло и достигнуть чего-нибудь лучшего.

— Но кто же построит на место разрушенного лучшее?

— Сама жизнь.

— Хорошо, но, во-первых, кто же вам дал право насильственно вести людей к этому лучшему? Они не хотят иметь вас своими вождями: вас никто к тому не уполномочивал. Кто вы? Где ваши кредитивы? А во-вторых, где гарантии, что это лучшее, ради которого вы требуете столько жертв, будет действительно достигнуто?

3 июня 1862 года, воскресенье

Утром у товарища министра. Объяснялся о кое-каких делах по редакции. Просил и его доставить кое-какие факты о пожаре: иначе мы не можем ничего напечатать. Обещал.

Пойманы и признались двое поджигателей: мужик и баба, которым *кто-то* дал по 25 рублей за это ужасное дело. Но этого *кто-то* или *этих* не могут отыскать. А в них-то и вся сила.

Государь не соглашается на смертную казнь. Народ все думает, что поджигают студенты. Головнин писал Валуеву, чтобы тот сделал объявление в том смысле, что напрасно обвиняют студентов. Валуев отвечал отказом. Флигель-адъютант граф Ростовцев арестован.

Очевидно, существует какой-то заговор, ветви которого распространены далеко. Бедная Россия! Каким хаосом тебе угрожают!

4 июня 1862 года, понедельник

Народ толкует, что поджигают студенты, офицеры и помещики.

5 июня 1862 года, вторник

Разумеется, ультрапрогрессисты хотят сломить все старое: тут нет ничего необыкновенного. Но разумеется также и то, что они должны встречать противодействие со стороны умеренных. И те и другие необходимы в процессе движения. Разрушение необходимо, в порядке вещей; но тоже необходимо и созидание. Эти две силы должны уравновешивать себя взаимно. Смерть без жизни была бы только смерть; жизнь без смерти лишилась бы обновления, оцепенела бы, сделалась бы минералом, не более. Во всем этом есть своя логика, своя правильность.

Виновных в поджоге ведено судить полевым уголовным уложением, а право конфирмации государь предоставил военному генерал-губернатору.

9 июня 1862 года, суббота

Бедное мое отечество! Видно, придется тебе сильно пострадать. Темные силы становятся в тебе все отважнее, а честные люди все трусливее…

Передо мной программа двух лекций из нравственной философии, которые намерен читать публично Лавров. Программу эту я взял как член факультета для того, чтобы представить на нее свои замечания. Боже мой, что за философия… Я написал протест и послал его в факультет.

Вы хотите кровавыми буквами написать на ваших знаменах: свобода и анархия. Мы напишем на своих: *свобода, закон и власть, охраняющая свободу и закон.*

Человек так гадок во всех своих проявлениях, что не знаешь, кто хуже: притеснители или те, которые выдают себя за защитников угнетаемых.

Если революция не переродила и не улучшила французов, то из-за чего же столько шуму и хлопот, столько пролитой крови?

Но кто удержит бурю, когда она разыграется? *Ум и труд* — вот в чем состоит гарантия человеческого существования и самое право на него человека. Потому-то, если вы не развили своего ума, если вам недостает знания, которое, как известно, есть сила науки, и если вы не трудитесь, — вы непременно должны впасть в зависимость или от природы, или от подобного себе, более знающего и более трудящегося. Что не уступает уму и труду, то уже выходит из-под власти человека; тут остается только терпеть.

10 июня 1862 года, воскресенье

Был у Плетнева на даче за Лесным корпусом. Он все еще болен. Рана на груди

его до сих пор не закрывается. Он очень изменился. Уж не начало ли это конца? Мне стало грустно. Было время, я ему верил…

Погулял немного по тем местам, где лет пятнадцать мирно протекали наши дачные дни. Еще грустнее стало. Вечер очень холодный. Когда вернулся домой, было всего восемь градусов. Ночь исполнена всяких мерзостей. Заснул только под утро.

11 июня 1862 года, понедельник

Известны слова Шварценберга: “Мы (то есть австрийцы) удивим мир нашею неблагодарностью”. Не пришлось бы нам удивить мир бессмыслием наших драк, наших пожаров, нашего поклонения беглому апостолу революции Герцену, из Лондона, из безопасного приюта командующему на русских площадях бунтующими мальчиками.

Находят сходство между временем Людовика XIV и Николая I, между временем Людовика XVI и Александра II: какой прекрасный повод повторить французскую революцию во всех ее фазисах! Нам ничего и не нужно более. Подражать и только подражать — в этом наше умственное превосходство. У них все опошлено: злодейство у них считается геройством. Трусливое “прятание за спиной английского полисмена” — благоразумием, аплодисменты мальчиков — популярностью. Ложь, ложь и ложь — даже не заблуждение, а ложь. Познакомился в редакции с Киттары, нашим будущим корреспондентом с лондонской выставки.

Еще прекрасная новость: говорят о подметных письмах, в которых обещают отравлять пищу и питье жителей.

12 июня 1862 года, вторник

Вот она и реакция, как и следует быть после таких бессмысленных и гадких дел, какие наделали наши красные. Воскресные школы велено закрыть; женский пансион в Вильно также. Школы будут преобразованы и подчинены строгому правительственному контролю. Журналы “Современник” и “Русское слово” закрыты на восемь месяцев. Но главное неудобство всякой реакции, а особенно нашей, будет в том, что тут правое потерпит наравне с виноватым. Мысли грозит опять застой и угнетение, а мыслящим людям, писателям, ученым — неприязненные нападки невежд и ретроградов.

Вечером у товарища министра. Комиссия для открытия поджогов действует плохо. Она очень мало до сих пор открыла.

Программа Лаврова — это верх бесстыдства и шарлатанства. Я написал мои замечания и отправил в факультет.

13 июня 1862 года, среда

В “Нашем времени”, в 122-м номере, напечатана довольно откровенная статья о

пожарах. Там, между прочими о них толками в обществе, говорится о пытке, будто бы предложенной одним из членов следственной комиссии.

Скверно, сумрачно, холодно, сыро.

14 июня 1862 года, четверг

Лето и для Петербурга даже изумительное. Отвратительный холод и дождь. Температура колеблется между шестью-семью градусами тепла. Живущие на дачах особенно терпят. На этот раз и нам попался прескверный дом, хотя и с печами, но очень ветхий. Топим каждый день, и притом березовыми дровами, как зимою, а тепло не держится. Ко всем прелестям еще сильный ветер, насквозь пронизывающий.

Дурное свойство реакции то, что она, как коса, проходит полосами и срезывает все — и дурные травы и хорошие.

В массе надолго подорвано уважение к именам ученого, литератора, студента.

15 июня 1862 года, пятница

Более тридцати лет я в Петербурге и ничего подобного не помню: весь почти июнь свирепствует холод и такие переходы, например, как от тринадцати градусов вдруг в несколько часов-до девяти, восьми, семи и шести. Сегодня с самого утра буря, дождь, а тепла только на пять градусов. Невыносимая мерзость. Мы топим по два раза в день. Я работаю в калошах, в сюртуке и в теплом пальто.

Приказано в сентябре открыть физико-математический факультет при здешнем университете. А через год и остальные.

Ну право же, это просто общественное бедствие вроде пожаров: теперь уже только 4 градуса на воздухе, а у меня в кабинете после вторичной топки едва дотягивает до 8 градусов.

16 июня 1862 года, суббота

Есть одна истина — Бог. Все прочее или полуистины, истины относительные, или чистая ложь.

В литературе у нас привыкают всякую умную статью или суждение называть бесцветными, если в них нет резкого тона и выражений радикального свойства. Так приучают общество к спирту и мешают ему находить вкус в том, что не опьяняет сразу.

Ну, право же, главный редактор официальной газеты сильно смахивает на каторжника. Он отвечает за каждую букву, за каждую запятую, которые поставлены или выпущены. Пока не вышел номер, он в тревоге; вышел номер — он еще в большей тревоге. Там может быть сделана ошибка, здесь она уже сделана, и поправить ее нельзя. Публика недовольна тем, что номер не весь по ее вкусу;

начальство — тем, что вы литератор или ученый, а не чиновник. Словом, надо иметь большой запас мужества и еще больший запас той философии, которая учит многое презирать… Я разумею, конечно, редактора, который хочет добросовестно вести дело, который имеет свои определенные виды и не хочет, не может отступать от однажды признанных за ним полномочий…

19 июня 1862 года, вторник

Эти мнимые народные учителя, вместо того чтобы учить народ, *навязывают* ему свои мысли. Для сеяния некоторых истин надо прежде удобрить, подготовить почву ума. И потому эти пресловутые учителя наши очень похожи на пустых болтунов, которые заботятся не о том, чтобы сделать дело, а о том, чтобы поскорее выболтать то, чего они начитались или наслышались.

Я забыл отметить в моем дневнике, что я в субботу поздно вечером получил для напечатания в “Северной почте” депешу о том, что Лидере ранен пулею в Саксонском саду, в Варшаве, на минеральных водах. Местность, где это произошло, и обстановка заставляют думать, что выстрел сделан не из личных видов, но что он — следствие какого-нибудь заговора. Преступник не схвачен. Значит, ему среди бела дня дали способ уйти. Сегодня в половине двенадцатого получил депешу, что Лидерсу хуже.

22 июня 1862 года, пятница

Депеша утром из Варшавы, что в великого князя Константина сделан выстрел из пистолета при выходе его из театра. Пуля пробила мундир на груди, однако до тела едва коснулась. Виновник схвачен на месте. Найдутся красные, которые назовут это геройством. Однако что же такое будет с обществом, если всякому будет позволено или всякий присвоит себе право осуществлять свои политические идеи, свои проекты о благе народов и человечества посредством пистолета, пожаров и т.п.?

Некто приехал, чтобы постучаться в двери службы, но нашел, что двери эти для него заперты на замок. Посмотрел в щелочку замка: видит, что хозяева дома, значит не хотят принять. С тем он и уехал опять заграницу.

23 июня 1862 года, суббота

Человек гадок, жизнь гадка, а еще гаже, зная это, не уметь сносить их такими, каковы они есть.

Выстреливший в великого князя — какой-то подмастерье, портной Ярошинский.

26 июня 1862 года, вторник

Вчера выдался день порядочный, без ветра, без дождя и с 13R тепла. Сегодня

опять заворотило на прежнее. Ветер, дождь и холод.

Опять неурядица в типографии, впрочем, все по части корректуры. Сделана ошибка в поправке ошибки по поводу запрещения Аксакову издавать газету “День”.

Министр придал этому чрезмерное значение и сделал типографии и редакции несоответственно строгий выговор. Это с некоторых пор его обыкновенный способ выражать лично мне свое нерасположение. Нет, решительно надо подавать в отставку. Всякое живое слово в газете вызывает в нем досаду, которую он срывает на опечатках и тому подобных мелочах. Газете грозит ограничиваться простою перепечаткою его циркуляров и других официальностей.

Третьего дня я переменил главного корректора. Первый вздумал было по своему усмотрению исправлять статьи газеты. В одном номере он не напечатал несколько строк, говоря, что так лучше. Теперь я определил кандидата нашего университета.

27 июня 1862 года, среда

Поутру предварительно объяснялся с Тройницким. Он подтверждает, что министр недоволен газетою, придирается ко всему и придает особенную важность безделицам вроде опечаток, упуская из виду главное или не желая на нем останавливаться. Я объявил Тройницкому о своем решении подать в отставку. Он не отговаривал меня от этого, соглашаясь, что так дело дольше вести нельзя.

Приехав домой, я написал просьбу об увольнении и коротенькое письмо к министру с изъяснением причин, заставляющих меня отказаться от должности главного редактора. Был уже час, когда я поехал в редакцию и оттуда послал просьбу и письмо к Валуеву.

Оказывается, что у Валуева гораздо более бюрократический склад ума и гораздо более узкий взгляд на вещи, чем он заставил меня думать сначала. На нашу газету, о которой вначале он так много и высокопарно толковал, он в конце концов смотрит как на вместилище циркуляров и указов. Он вовсе перестал говорить о существенных интересах или задачах ее.

Кроме того, он хотел бы, чтобы газета сразу приобрела чуть не десять тысяч подписчиков. Он не понял, что доверие общества может быть заслужено только постепенно.

Когда же мне случалось напирать на важность дела и ссылаться на его собственные первоначальные намерения, он сердился, жаловался, что я его учу…

Что же, в самом деле, мы, люди пожившие, благомыслящие, друзья прогресса, в состоянии сказать, по совести, молодому, нетерпеливому, волнующемуся поколению, что можем мы сказать ему о наших правительственных деятелях?

28 июня 1862 года, четверг

Выходит старая песнь, что честный и прямодушный образ действий почти

всегда обращается в невыгоду тех, которые так действуют.

29 июня 1862 года, пятница

Поутру у Тройницкого. Продолжительный разговор о делах “Северной почты” и о моей отставке. Выходит все то же: министр желает дать газете такой оборот, что мне решительно в ней нечего делать.

Министр повез сегодня доклад государю о моем увольнении.

30 июня 1862 года, суббота

Получил письмо от Валуева об увольнении меня от звания главного редактора “Северной почты”. Письмо исполнено самых лестных для меня вещей. Мы расстаемся с ним “в самых дружественных отношениях”. Да, а дела все-таки не могли вместе делать.

А врачи опять гонят меня к морю. Теперь, пожалуй, это и может состояться.

Вечером многие съехались ко мне, в том числе Тройницкий и Небольсин. Мы пили чай на балконе, а вокруг нас шумели великолепная гроза и дождь. Было очень тепло — необычайно для нынешнего лета.

1 июля 1862 года, воскресенье

Был у Валуева. Принят очень хорошо. Просил об отпуске. Он согласен.

4 июля 1862 года, среда

Вчера был у Делянова. Разговор о Головнине. Дурно идет управление министерством: шаткость, вмешательство посторонних лиц, незнакомых с делом, искание популярности. Барон Николаи, как человек благородный и способный, был бы, полагают многие, лучшим министром в настоящее время.

Сегодня не без грустного чувства передал я мои обязанности новому редактору. Дело это было мне дорого; я многого от него ожидал, как оказывается, напрасно… Я не мог продолжать его долее, не утратив моей самостоятельности.

Страшная сырость на этой Черной речке! Да и дожди же одолели.

5 июля 1862 года, четверг

Странные и страшные слухи ходят по городу, — будто во дворце получено подметное письмо следующего содержания: “Говорят, что во время отсутствия государя и государыни (которые собираются ехать в Либаву) будут исполнены над зажигателями смертные казни. Если это произойдет, то неминуемая смерть посредством отравления будет внесена в самое царское семейство. А чтобы это не

показалось одною пустою угрозою, то на днях увидят фактическое тому подтверждение”. Вслед за этим, говорят, в одном полку вдруг заболело сорок человек явными признаками отравления. Разумеется, я этому не верю, но распускание подобных слухов уже имеет свое значение.

7 июля 1862 года, суббота

Поздно вечером приехал ко мне Арсеньев, и мы вместе составили телеграфическую депешу к Гончарову в Москву, приглашая его скорее вернуться в Петербург. У Валуева есть намерение поручить ему главную редакцию “Северной почты”.

8 июля 1862 года, воскресенье Ездил навещать Плетнева. Здоровье его не улучшается: все та же рана на груди. Это очень его ослабляет; при этом ноги плохо служат. Я посидел у него часа два. На возвратном пути меня преследовал сильный дождь, а ветром сломало зонтик, так что я с трудом укрывался его лоскутьями. К счастью, было тепло.

Плетнев мне рассказывал о том, какой радушный прием сделала императрица Кохановской: последняя была восхищена ее добротой. Прощаясь, императрица сказала ей:

— Желаю вам всего лучшего на свете.

— Так позвольте же, государыня, просить у вашего величества теперь же исполнения этого желания: благословите меня, — сказала Кохановская, тронутая ласковым обращением всего царского семейства.

Удивительно, как при виде приближения к роковой развязке близко стоявшего к вам человека в памяти отчетливо возникает ваше общее с ним прошлое и как притом жало зла притупляется, все темное стушевывается, а светлое выступает и осеняет вас отрадным чувством примирения.

10 июля 1862 года, вторник

Холодно, сыро, бурно. В сердце тоска. Говорят, арестовали Серно-Соловьевича, Чернышевского и Писарева.

11 июля 1862 года, среда

Создать верования мы не в силах, а потрясти их можем.

13 июля 1862 года, пятница

Приготовления к отъезду. Опять новый поход к морю. Не скажу, чтобы мне улыбалась эта, третий раз предпринимаемая, погоня за призраком здоровья. Но

врачи требуют, мои настаивают и упрашивают, — едем.

14 июля 1862 года, суббота

Сегодня выезжаю по железной дороге на Эйдкунен в Булонь.

19 июля 1862 года, четверг

Еще в Берлине встретились мы с Страховым и до сих пор все бродим вместе и по Дрездену. До наивности добрый, мягкий и умный, он очень приятный спутник. Сегодня мы вместе посетили картинную галерею. Вот опять божественная Мадонна Рафаэля. Нынешний раз она мне показалась еще совершеннее. Я около часу смотрел на нее, разбирая каждую черту картины отдельно и потом снова соединяя их. Нет, ничего подобного еще не производило искусство, да вряд ли в состоянии произвести еще когда-нибудь. Для создания такого лика нужна детская беззаветная вера, время для которой навсегда миновало. Я было встал, чтобы идти смотреть на другие картины, и опять вернулся к Мадонне, да так и просидел перед ней все время, что пробыл в галерее. Затем только мельком взглянул на Мадонну Гольбейна, на Корреджиеву ночь, на брак в Кане Галилейской Веронезе, на Мадонну Мурильо. Здесь же в Дрездене встретил я князя Г.П.Волконского с сыном его, юношею двадцати лет, который едет продолжать учение в Боннский университет. Он уже пять лет учился в Веве и сдал в Женеве приемный экзамен в университет. Молодой человек произвел на меня хорошее впечатление. Князь-отец возлагает на него большие надежды.

20 июля 1862 года, пятница

Остроумие такой спирт, который очень скоро выдыхается, если его часто откупоривают.

Поутру у Вольфсона. Он принял меня дружески. Жаловался, что ему не высылают из Петербурга субсидий, книг, журналов. Рассказал мне анекдот о М.А.Бакунине, когда тот бушевал в Лейпциге, в 1848 г. Бакунин находился в большой опасности; его преследовали, и если б он был пойман, то его расстреляли бы. Спасаясь от преследователей, Бакунин явился к Вольфсону и просил у него убежища на ночь. Вольфсон скрыл его у себя. В следующее утро на прощанье Бакунин сказал ему: “Ты оказал мне услугу, потому предупреждаю тебя: если наша возьмет верх — не попадайся мне: повешу или расстреляю”. Во время резни в Дрездене в том же году Бакунин, по словам того же Вольфсона, направлял пушки на картинную галерею.

Вечером заезжал за мной князь Волконский, и мы вместе отправились за город на народный праздник и немного побродили там в толпе, среди ярмарочных палаток и столов с пряниками и разными другими сластями. Затем проехали на Брюлевскую террасу, посидели там, а в заключение и на террасе отеля “Бельвю”, и в ночном полумраке любовались Дрезденом, усеянным сверкающими огоньками.

22 июля 1862 года, воскресенье

Вечер у Вольфсона, где познакомился с актрисою Янаушек. Она чешка и, по словам Вольфсона, великая артистка. Наружность у нее изящная и эффектная. Она собирается в Петербург.

25 июля 1862 года, среда

В Брюсселе. Вечером успели еще побывать в саду, который не лучше и не больше нашего Летнего, но содержится гораздо менее чисто, а между тем оттуда уже с десяти часов вечера изгоняется публика: это в июне и в июле, а в августе и в сентябре с девяти часов. Кроме того, по саду и среди бела дня запрещается ходить с узлами и пакетами. Мы несли с собой бумажный мешочек с двумя фунтами вишен. К нам подошел блюститель порядка в форменной одежде и учтиво, но внушительно попросил нас удалиться, так как в городской сад не допускают никого с “ношею”. Дворец против сада ни величествен, ни богат. Впрочем, вообще Брюссель на вид прекрасный, один из лучших в Европе городов. Общая его физиономия сильно напоминает Париж. Но окрестности его мало привлекательны: страна кругом плоская и местами болотистая. Бельгийцы тоже напоминают собой французов: та же живость в языке и в движениях.

26 июля 1862 года, четверг

Ровно в полночь приехали в Булонь. Благодаря позднему часу у станции железной дороги не оказалось экипажей, и мы, взяв носильщика, пешком отправились в отель “Брайтон”. Бушевала страшная буря. Ветер безжалостно рвал и трепал нас. Но мне было хорошо. Я с жадностью глотал влажный, йодистый, бодрящий воздух. С океана среди рева волн иногда раздавались пушечные выстрелы.

27 июля 1862 года, пятница

В отеле такая дороговизна, что нет возможности оставаться в нем. Я решился отправиться в пансион госпожи Вильбен, где останавливался в первый раз. Мадам Вильбен меня тотчас признала и выразила большую радость: я чуть не задохся в благоуханной атмосфере розовых улыбок, которых она напустила на меня целую тучу. Но главное оказалось, что у нее есть две свободные комнаты, и те самые именно, которые мы занимали прежде. Прекрасно! Мы тотчас их взяли и сладили дело по прежней цене, то есть за восемьдесят франков с двоих в неделю, что ровно вполовину дешевле, чем в отеле.

Как-то грустно и странно видеть себя в том же жилище, где жил два года тому назад, но при других условиях. Здесь все по-старому: та же мебель, те же постели, вся прежняя обстановка. Так и кажется, вот войдет Казимира со своей добродушной и нежной заботливостью обо мне и спросит, не идти ли нам на жете, или погулять

по городу, или на рынок за плодами.

29 июля 1862 года, воскресенье

Мы провели преприятный вечер. Было тихо; луна выплыла из-за туч и бросала свой серебристый свет на город и океан. Вдали мелькали огоньки маяка. Пришел слепой певец с гитарою и под аккомпанемент ее и шума волн звучным и приятным голосом пропел прощание матроса с сушею. Все это было чрезвычайно эффектно, и для довершения живости впечатления мимо нас пронесся английский пароход в даль океана, а навстречу ему плыл другой из Англии.

3 августа 1862 года, пятница

Ровно в шесть часов утра пушечные выстрелы возвестили о сегодняшнем празднике — именины Наполеона. У домов вывешены трехцветные флаги. Увидим, что будет далее. Но празднику, кажется, угрожает дождь, хотя очень тепло. Да вот уж и пошел — теперь 9 часов.

Вечером все казенные дома были иллюминованы. Особенно хорошо был иллюминован дом супрефекта. Флаги пестрели у всех домов. Толпы народа весело, живо волновались по улицам. Мы отправились к верхнему городу, где и без того теперь довольно шумно, потому что тут ярмарка. Но сегодня стекались сюда, кажется, тысячи народа — стар и млад, мужчины и женщины. Тут в балаганах дают разные представления. Музыка в разных местах то ревет с барабанным стуком и трубами, то дребезжит и гудит как-то дико и нелепо; крик, гам, писк, пение, говор, пускание ракет — словом, как говорится у нас, светопреставление. Самое большое и пестрое сборище и хаос лиц, слов, движений — у карусели. Вечер был тихий и теплый, следовательно, как нельзя более благоприятствовал веселью. Да и мастера же французы веселиться! На одной площадке заиграли польку. Несколько рыбачек и горничных, охватив друг друга за талию, вдруг выскочили из толпы и, прыгая под такт музыки, живо завертелись вокруг водоема. Это было очень оригинально, весело и живо. Здешние француженки из простого класса особенно цветущи и красивы. Лица их чисты и как будто отчеканены легким, деликатным резцом. Черные оживленные влажные глаза, черные волосы, необыкновенная живость и грация движений — все это очень привлекательно даже почти во всякой девочке-замарашке.

4 августа 1862 года, суббота

Я встретился в Дрездене с князем Юсуповым. Речь у нас зашла о Герцене и его революционных листках, которыми он наводняет Россию. Вот что он рассказал мне по этому случаю: “В Берлине покупал я в книжном магазине кое-какие немецкие книги. “А не хотите ли вы русских?” — спросил у меня услужливый книгопродавец. — “Каких же?” — “Да вот, например, герценовских; у меня есть всевозможные его сочинения; и прежние и самые новые”. — “Нет, — отвечал я, — у нас ныне очень строго преследуются эти вещи, и я боюсь, что не довезу их до Петербурга: у меня

отберут на границе”. — “Вот пустяки! Я вам доставлю в Петербург сколько угодно, прямо в ваш дом, в ваш кабинет”. — “Это удивительно! Но если я вздумаю задержать того, кто мне их принесет?” — “Не беспокойтесь! Вы не в состоянии будете этого сделать, вы и не увидите того, кто вам принесет их”.

5 августа 1862 года, воскресенье

Вопрос: общество ли делает человека негодным, или человек общество?

В четыре часа пошли смотреть церковную процессию. Несколько девушек в белых платьях, в белых покрывалах и с белыми венками на голове держали голубой покров и сопровождали огромную корзину с цветами. Впереди несли хоругви, позади их отряд зуавов-музыкантов. У некоторых домов, особенно у казенных, были вывешены флаги — белые с голубым. Процессия эта вошла в церковь в Готевиле, где и началась служба. Служил епископ. Мы вошли в церковь, но не дождались конца. Между тем пошел дождь. И испортил процессию.

8 августа 1862 года, среда

Надобно везде являться на помощь и всегда, сколько есть наших сил, поддерживать все честное, истинное и справедливое. Вот мой девиз, и я во всю мою жизнь старался следовать ему и по влечению моих нравственных инстинктов и сознательно. Ибо мы можем только помогать созиданию, а не созидать.

Человек не лучше животного, когда он ест, пьет, спит, размножает род свой; он становится немного лучшим, когда мозг его вырабатывает цепь понятий и занимается отправлениями мысли. Но он становится положительно выше животного — существом особого рода, когда решается на одно истинное, честное и справедливое.

После обеда мы отправились в концерт. Зала была битком набита. Пела какая-то Луиджи — ученица, как сказано на афише, Россини. Это и видно было: она уже очень немолода. Пела она усердно и, как кажется, по хорошей методе, но голос ее уже потерял свежесть и чистоту. Тальберг играл на фортепиано, по выражению сидевшего возле меня француза, как принц искусства, и на скрипке играл какой-то неслыханный еще скрипач Сидичелли — и играл превосходно.

9 августа 1862 года, четверг

Каждый день процессия в честь Божией матери. Вот сейчас прошли с хоругвью женщины, по-видимому рыбачки, в черных платьях и белых чепцах.

10 августа 1862 года, пятница

Здоровье здоровьем, а дело делом. Сие должно делать и оного не оставлять, как очень умно сказано в весьма умной книге. Меня сильно занимает мысль написать сочинение в виде письма из-за границы о нынешних наших делах и послать для

напечатания в “Северную почту”. Я накидал уже на бумагу несколько идей и продолжаю каждое утро заниматься этим. Лучше что-нибудь, чем ничего. Голос честного человека может что-нибудь значить в настоящее время, когда так сильно кричат демагоги и друзья Герцена.

Сильно надоедают эти частые трубные звуки, которые раздаются по городу от марширующих зуавов. Вероятно, это исполнение каких-нибудь служебных требований; но к чему же это беспрерывное хождение по улицам и трубление? А вот также и духовные процессии. Говорят, что они обыкновенно продолжаются здесь недели три сряду.

12 августа 1862 года, воскресенье

Великолепная религиозная процессия. Из собора в Готевиль в четыре часа потянулись ряды девиц, маленьких, средних и больших, одетых в белые платья, с венками из белых роз на голове. Их было не менее, а может быть, и более тысячи. Они шли отрядами. Каждый отряд сопровождал какой-нибудь символ, относящийся к Божьей матери, или же ее изображение на хоругви. Некоторые отряды состояли и из мальчиков, старух убогих, призреваемых каким-то обществом, монахинь, матросов, несших модель лодки и посреди нее маленькую статую Божьей матери, духовенства, а в заключение — епископ, который нарочно сюда приехал для этого праздника. Некоторые отряды девиц пели гимны, а сверх того процессию сопровождали два оркестра военной музыки. Шествие началось ровно в четыре часа, обошло главные улицы, набережную и опять возвратилось в собор. Мы с двух пунктов видели эту процессию — на площади против крепости, когда она только что показалась из ворот последней, и на набережной возле нашей квартиры. Все это великолепно, даже во многом изящно, но не величественно. Это больше зрелище Для развлечения, на что французы так жадны, чем религиозное торжество для возбуждения благочестия. Все это слишком обременено символами, слишком нарядно, слишком внешне, действует гораздо больше на внешние чувства, чем на сердце. Католическое духовенство не знает, кажется, меры в обрядности. Стечение народа здесь было огромное, но толпа вела себя так чинно, что трем полицейским сержантам, которых я заметил, казалось, вовсе нечего было делать.

13 августа 1862 года, понедельник

Сегодня опять процессия. Вот раздаются свежие женские голоса и рев вчерашнего какого-то попа, у которого неслыханной свирепости голос. Я выглянул в окно: вот опять повалили толпы от железной дороги к Готевилю.

15 августа 1862 года, среда

Вот что важно в этих странах: всякий человек сознает здесь свое достоинство, и последний поденщик, подметающий сор на улице, так же мало способен допустить, чтобы его оскорбили, поступили с ним несправедливо и незаконно, как и какой-нибудь депутат, заседающий в законодательном собрании.

17 августа 1862 года, пятница

В Петербурге у нас все, кажется, порядочно и тихо. Я заключаю это из того, что в здешних газетах решительно ни слова о России (кроме телеграфических депеш о смутах в Варшаве), как будто она не существует на европейской карте. Дай Бог, чтобы она меньше подавала и повода говорить о себе в газетах, ибо для газетных речей нужны пожары, резня, виселицы и тому подобные возбудительные вещи. Теперь довольно и одной Италии. Бедный Гарибальди, кажется, сделал фальшивый шаг. Не попасть бы Италии прямо в руки Наполеону III. Вот уж здесь, говорят, из Шалонского лагеря зуавы двигаются к Ницце.

19 августа 1862 года, воскресенье

Сегодня в “Constitutionnel” я прочитал, что Гарибальди взят в плен войсками Виктора-Эммануила. Гарибальди, по всем законам, должен быть осужден на смерть. Но, само собой разумеется, что его предшествовавшие заслуги, весь характер его деятельности ставят его вне закона, то есть выше закона. Он, конечно, будет помилован.

29 августа 1862 года, среда

Человек — первый виновник всех своих бед, хотя всегда готов обвинять в них судьбу или кого угодно, хоть папу римского, только не себя.

1 сентября 1862 года, суббота

Вечер проведен в семействе лондонского русского священника Попова, Евгения Ивановича. Это весьма образованный человек. У него две милые дочери. Но странно как-то, зная, что они русские, слышать в разговоре их иностранный выговор. Они родились и воспитывались в Лондоне.

5 сентября 1862 года, среда

Сборы в дорогу. Довольно подличать с океаном. Каждый день по нескольку раз ходил я к нему на поклон, восхищался им во всякое время и во всех его видах — в грозном величии и в безмятежном покое, доверчиво погружался в его волны: чем-то он мне за все это воздаст?..

7 сентября 1862 года, пятница

(В Париже.) Заезжал сегодня в канцелярию нашего посольства узнать, не будет ли какого-нибудь торжества у живущих здесь русских по случаю празднования завтра тысячелетия России. Не будет ничего, кроме обедни и молебна.

8 сентября 1862 года, суббота

Поутру в церкви. Нашел там не так много русских, как ожидал. Киселев был в парадной форме, так же как и члены посольства. Здесь я неожиданно встретил графа Блудова с графиней Антониной Дмитриевной, Батюшкова, графа Апраксина, доктора Каталинского.

Церковь наша действительно очень хороша, особенно внешний вид. Внутри она расписана в византийском стиле. Французские певчие пели хорошо и только немногие слова выговаривали, несколько смягчая их.

После обеда был у меня Франчески, которому обо мне писали. Он мне очень любезно предложил разные услуги в путешествии по Парижу и хотел доставить мне билеты в некоторые общественные учреждения. Разговор о политике в весьма умеренном тоне. Франчески очень щеголеватый француз, с изысканными манерами и несколько приторною любезностью.

Сегодня же были в саду акклиматизации. Тут много любопытного — между прочим, такие громадные страусы, каких можно видеть разве только в Африке Их семь штук: они, как чопорные дамы, расхаживали в своем отделении.

9 сентября 1862 года, воскресенье

Во всяком французе первая мысль при встрече с вами — сделать впечатление, произвести эффект.

Если подумаешь, что в миллионах этих улыбок, обязательных пожеланий и уверений, расточаемых с такою роскошью, в этих горячих, дружеских рукопожатиях нет ни капли правды; что во всем этом скрывается затаенное “черт тебя возьми, мне нет до тебя никакого дела” или “сколько я могу содрать с тебя денег?” — когда все это сообразишь, тогда естественно приходишь к мысли, что человек получает от цивилизации все: богатство, комфорт, внешний лоск, блеск и проч. и проч., кроме одного: кроме возможности быть лучшим.

11 сентября 1862 года, вторник

Получил от Франчески кучу билетов в те места, куда без билетов не пускают.

Были в Люксембурге. Осматривали комнаты и картины, изображающие подвиги Наполеонов I и III, например, когда последний принимает императорский титул, венчается с Евгенией, посещает рабочих и т.д.

Внизу любопытна комната Марии Медичи, сохраненная в том виде, как была при ней. Но самое любопытное в Люксембургском дворце — это зала заседаний сената. Она действительно великолепна и достойна хоть бы не нынешних холопствующих французских сенаторов.

13 сентября 1862 года, четверг

Обозревали в Лувре музей. В галерее антиков мы, само собой разумеется, больше всего времени посвятили Венере Милосской. Но то, чего я не видал прошедший раз в Лувре, — это чрезвычайно интересное собрание исторических вещей. Тут меч и скипетр Карла Великого, кресло Дагоберта, некоторые туалетные принадлежности и даже поношенный башмак Марии Антуанетты. Очень интересны еще вещи, находившиеся в употреблении у Наполеона I, именно: его кресло, довольно потертое; походный столик, чрезвычайно простой, со складным стулом; бюро, походная кровать с пологом, тюфяком и одеялом; знаменитый его серый сюртук и треугольная шляпа, которую он носил на острове св. Елены; туника и мантия, в которой он короновался; колыбель короля Римского и проч. Все это осматривал с двенадцати до трех и порядочно устал, так что не мог уже ехать в Клюни, как предполагал. На сегодня довольно.

14 сентября 1862 года, пятница

Я познакомился с нашим умным священником, отцом Иосифом Васильевым. Застал у него нескольких русских: Бутурлина, Малоземова, Евреинова. В час в Тюльерийский дворец. Вход дозволен только в парадные комнаты. Все это, разумеется, великолепно. Но всего лучше вид из Маршальской залы на площадь Конкорд и на Триумфальную арку. Да и сама зала Маршалов очень хороша. В нескольких местах на дощечках надпись, что строго воспрещается давать деньги служителям. Но, должно быть, им запрещено и говорить: иные из посетителей обращались к ним с вопросами о некоторых предметах, но служители были глухи и немы.

Отчего не пускают в жилые комнаты Наполеона? Говорят, что там что-то переделывают. Но я подозреваю другую причину; может быть, Наполеон не хочет, чтобы всякому было известно, где его можно найти.

Потом осматривали Клюни. Всего интереснее само здание Клюни по своей древности, которая восходит до времен римлян. Много барельефов, статуй, разных обломков XI и XII веков.

Нам, русским, интересны еще: образ Божьей матери, взятый при разрушении Бомарзунда, — складной, старинной суздальской живописи, в медной оправе; потом в саду, как трофей, чугунный крест из Севастополя, попорченный, видно, ядрами и снятый с церкви.

Пасмурно, но тихо и тепло, как в июне или июле. А у нас в Петербурге, кому-то писали оттуда, десятого выпал снег.

15 сентября 1862 года, суббота

В одиннадцать часов в Сен-Клу. День очаровательный, только жарко. В Сен-Клу мы походили в парке, дошли по аллее до башни и оттуда любовались Парижем, который тут почти так же виден, как с Бельвю или с Медонской террасы. Затем мы

отправились в Севр в сопровождении какого-то рабочего, шедшего с бочонком за пивом по одной с нами дороге. В Севре осмотрели знаменитую фабрику фарфоровую и видели почти все ее сокровища, кроме тех. которые увезены на лондонскую выставку, — следовательно, главных-то и не видели. Но и виденного довольно, чтобы составить себе понятие о совершенстве, до которого доведена здесь отделка материала и живопись. Но и дороги же все эти вещи. Одна тарелка столовая — 350 франков. Есть вазы по 30, 20 и 18 тысяч франков.

Из Севра в Бельвю, где мы посидели на скамейке и посмотрели на Париж, оттуда представляющийся океаном зданий, берегов которого не видно и среди которого с левой стороны зеленеет только один остров — Булонский лес.

Вот, наконец, и Медонская терраса, которая мне нравится больше всех других пунктов, откуда можно наслаждаться великолепным зрелищем города, не знающего, по-видимому, границ своему объему, своей производительной мелкой и крупной деятельности, кипучести своих страстей, города, поставившего себя так высоко в истории и спустившегося в настоящее время так низко к подножию Наполеонова трона, — словом, города, который и;видеть и узнать необходимо для полноты знания человека, то есть того, как он может возвыситься и пасть, каких мерзостей и ужасов он может наделать и до какой нравственной оцепенелости может дойти.

17 сентября 1862 года, понедельник

Ботанический сад. Здесь особенно нас заняли: самый сад, который мы весь обходили, прогулка в лабиринте, с восхождением на башню, откуда видна значительная часть Парижа. Далее, дромадеры, тигр огромного роста и свирепейшего вида, которому, кажется, не нравилось, что он был предметом общего любопытства, тогда как он не имел возможности употребить в дело над любопытными своих зубов и когтей; лев, который в это время покоился сном невинности; слон, весьма грациозно обращавший свой хобот к зрителям за подачками хлеба; морда гиппопотама, высунувшаяся из воды, — сам же он весь был в нее погружен, а другой из сарая показывал свой огромный зад, и пр. Обезьян мы пропустили, спеша к теплицам. Здесь особенно привлекла наше внимание Victoria regia, только своими листьями, потому что в нынешнем году она не цвела; огромные пальмы. Впрочем, у нас в Ботаническом саду не меньше замечательных экзотических растений. В теплице один из рабочих обратился к нам с русскою речью. Оказалось, что он воспитанник одесского училища садоводства, из евреев, и здесь учится.

Из сада в фиакре поехали в Sainte-Chapelle в Palais de Justice. Эти замечательное здание готической архитектуры, построенное Людовиком Святым. Внутренность вся из разноцветных стекол; линии легки и грациозны. Нам показывали на правой стороне в стене окошечко: там, никем не виденный и сам ничем земным не развлекаемый, молился и слушал обедню святой король. Из Sainte-Chapelle мы отправились пешком и осмотрели дорогой одно из полезнейших и прекраснейших зданий Парижа — рынок. Говорю “прекраснейших” не напрасно. Оно легко, величественно. Древние непременно сделали бы из него храм и посвятили его

Помоне, потому что большая часть лавок, по крайней мере нам так показалось, была наполнена овощами и плодами. Мы также принесли нашу жертву в этом храме, оставив в нем около двух франков и взамен их получив от царствующего там божества три великолепнейшие груши — дюшесы, и полтора фунта фонтенеблосского винограду. Затем по улице Монмартр мы вышли на бульвар того же имени и сильно усталые возвратились домой уже в три часа.

18 сентября 1862 года, вторник

Версаль, в половине первого. Два часа без отдыха ходили по комнатам и осмотрели весь дворец. Всего интереснее та часть его, где жил Людовик XIV: спальня с кроватью в том виде, как при нем; две комнаты по бокам, сообщающиеся с Геркулесовою залою, комнаты наверху с портретами знаменитостей века Людовиков XIV и XV — королей, министров, принцев, принцесс, писателей, красавиц и других чем-либо замечательных женщин. Тут нашел я и нашу Екатерину II и Софью Алексеевну. Не знаю, почему последняя представлена красавицей. Есть также портрет Петра III и картина смотра войск в Париже с изображением Петра Великого. Большинство зал в первом и во втором этажах (кроме тех, где жил Людовик XIV) составляют род картинной галереи с изображением подвигов французских войск. Всего больше картин приходится, разумеется, на долю Наполеона I. Из царствования нынешнего Наполеона здесь есть и Альмская битва, и сражение при Аккермане, и осада и взятие Севастополя, и Сольферино, и Madженто. Очень интересны еще залы с изображениями крестовых походов с взятием Иерусалима и с портретами рыцарей того времени!

Впрочем, осматривать Версаль не два часа надо, а разве две недели. К тому же в залах было ужасно душно, и я с радостью вышел в сад. Обойдя цветник, мы спустились вправо с террасы и приютились на скамейке перед бассейном, достали маленький взятый из Парижа паштет да пару дюшес и позавтракали. Потом опять поднялись на террасу и оттуда любовались садом. Внизу играла военная музыка и пестрели толпы народа. Между тем с запада надвигались живописные и грозные тучи. Все это вместе было действительно полно поэзии. Солнце скрылось. Мрачная тень повисла над парком и дворцом и заслонила собою еще так недавно лучезарную даль. Не так же ли точно померкли перед кровавым образом революции и слава и блеск царившего здесь двора?.. Однако пора подумать о возвращении: тучи медленно, но верно надвигались на нас. Да вот уже и упало несколько тяжелых капель дождя, сверкнула молния. Все бросились из сада. К счастью, мы у самого дворца нашли фиакр и сухие добрались до железной дороги.

19 сентября 1862 года, среда

Вот уже, кажется, и здесь водворяется осень. Целую ночь лил дождь и теперь утром продолжает свое дело, превращая улицы Парижа в мутные потоки жидкой грязи.

Позднее посетили фабрику гобеленов. Мы осмотрели и готовые уже ковры и обои и видели приготовление их в мастерских. Удивительные произведения

прихотливого искусства! Ткань имеет всю правильность и экспрессию, всю свежесть колорита и тончайшие видоизменения теней, как в картинах лучших мастеров. Вот, например, семейство Дария у ног Александра или “Преображение” Рафаэля и его Мадонна. Это воплощение идеалов в шерстяные нитки посредством механического перебрасывания коклюшек на туго натянутой основе. Мы видели самое производство работ. Я полагал, что это дело женских рук, а между тем тут работают все мужчины.

Отсюда мы отправились в Пантеон и ехали туда по той части Парижа, которую можно назвать изнанкою его, то есть по крайне непривлекательным, грязным и вонючим улицам. Тут обитают рабочие и вообще недостаточный люд. Это, кажется, все пещеры, где зарождаются и откуда вырываются революционные бури. Но вот императорский лицей, а возле него Пантеон. Чудное, величественное здание, на фронтоне которого еще красуются слова: “Великим мужам благодарное отечество”, хотя теперь оно посвящено не великим мужам, а высшему существу.

20 сентября 1862 года, четверг

Может ли существовать хорошее, благоустроенное, истинно человеческое общество без верований?

22 сентября 1862 года, суббота

Приготовления к отъезду. Нетерпение скорее увидеть своих все растет. Да и цели нет больше оставаться в Париже. К тому же и погода, кажется, окончательно повернула на осень, а бульвары совсем обезобразились: на них роют какие-то канавы, для газа что ли, а в иных местах поливают каким-то гнусным смрадным составом. Особенно пострадал от всего этого ближайший к нам Итальянский бульвар.

27 сентября 1862 года, четверг

(В Берлине.) Прочитал брошюру Кошелева “Конституция, самодержавие и земская дума”, которую купил в здешнем магазине. В брошюре много справедливого. Мысль о земской думе мне кажется и верною и практически применимою, если государь захочет и ему не помешают. Но тут есть одна щекотливая вещь: не нарушится ли с думою принцип самодержавия? Кошелев не дает ей законодательного характера, а только *совещательный*. Но захочет ли он остановиться на этом? Для совещательной думы у нас есть и исторические элементы. Она была бы у нас вполне народным учреждением.

Прочитал также последний номер “Колокола”. Герцен называет Мадзини и Гарибальди “святыми Дон-Кихотами”. Бакунин лжет о Польше. Напечатано приглашение о пособии Михайлову, с уверением, что оно *непременно* дойдет до него.

30 сентября 1862 года, воскресенье

Ровно в одиннадцать часов ночи прибыли мы в Петербург, где были встречены всеми остальными членами моей семьи. Через полчаса я был дома — и с удовольствием.

Без меня случилась беда: нас жестоко обокрали. Исчезло все платье, а у меня из кабинета все сколько-нибудь ценное. И это случилось среди белого дня. Тринадцать замков взломано. Полиция действовала гнусно. Где тонко, там и рвется.

1 *октября 1862 года, понедельник*

С великой радостью чувствую я себя дома, посреди своей милой семьи, любящей и любимой. Надоело скитаться по чужим местам, среди чужих людей.

Надо, однако, заметить, что путешествие оказало мне пользу. Отдых и море сделали свое, и вот уже несколько времени я не испытываю обыкновенных припадков. Я второй день дома, и мне тоже хорошо.

Воровство на моей квартире произошло при таких условиях, а полиция при исследовании его вела себя так гнусно, что я не могу оставить это дело без последствий. Да и самые потери наши гораздо больше, чем я понял сперва. У нас из квартиры вынесено все платье, все белье, все вещи, какие только можно было унести. Из кабинета у меня пропали разные серебряные и золотые вещи (две табакерки, медали, старинные монеты), даже ордена мои и шифр моей дочери. Бумаги приведены в хаос: воры везде искали чего-нибудь ценного или денег.

5 октября 1862 года, пятница

Все эти дни занимаюсь приведением в порядок моего кабинета и некоторыми визитами. Сегодня ездил к обер-полицмейстеру с жалобой на неправильные действия полиции в расследовании совершенного у меня в мое отсутствие воровства — и особенно на следственного пристава Куприянова, который вместо оказания законной помощи и содействия моей жене делал ей всевозможные затруднения и требовал ее для показаний в участок.

6 октября 1862 года, суббота

Вечером у министра Валуева. Принят очень любезно. До него дошли слухи о воровстве у меня, и он расспрашивал о подробностях.

10 октября 1862 года, среда

Прочитал высочайше утвержденный проект нового судопроизводства и судоустройства. Какие невероятные успехи сделала Россия в нынешнее царствование. Если бы в николаевские времена кто-нибудь вздумал помечтать о подобных вещах и мечта его как-нибудь вылетела из его уст, — тот был бы сочтен за

сумасшедшего или за государственного преступника. А тут вот публичное судопроизводство, гласность, присяжные, адвокатура, освобождение суда от деспотизма администрации, и все это создание того государя, которого упрекают в слабости, малоумии и пр. Нет, господа красные, последователи Герцена, вы не поняли этого человека, и в вас нет ничего, кроме желаний играть роль и рисоваться перед толпой, чтобы она рукоплескала вам. Нет, вы не двигатели России на ее пути к успеху, а тормозы ее! Лишь бы государь сумел удержаться на своей высоте, вопреки всем мутным волнам, бушующим у подножия его трона. Он, очевидно, весь для России, но беда в окружающих его…

В трудах по новому судопроизводству преобладала и преобладает здравая либеральная партия.

11 октября 1862 года, четверг

Мужественное помышление о жизни, мужественное помышление о смерти. В заседании Академии.

15 октября 1862 года, понедельник

Бесчисленные толки об адресе, поданном государю подольским дворянством.

17 октября 1862 года, среда

Тирания свободы не менее опасна и пагубна, как и тирания деспотизма.

Насчет бессмертия души в нынешней науке ходят дурные слухи.

А вот и мои старые враги опять начинают понемножку подкрадываться ко мне, особенно в ночной тишине. Ночью и теперь пароксизм со всеми его забытыми прелестями.

Да, мужество в помышлении о жизни, мужество в помышлении о смерти.

21 октября 1862 года, воскресенье

Я ненавижу всякий деспотизм — столько же черни, сколько и одного; деспотизм мнения, как и грубой физической силы; деспотизм, превращающий меня в рабочую машину посреди какой-нибудь мастерской для выгод коммуны, как и деспотизм богача, который думает овладеть мною, моим трудом и знанием, потому что у него много денег.

Живут я, ты, он — то есть живут индивидуальные личности. Общество — отвлеченное понятие, а социалисты и коммунисты хотят, чтобы общество состояло из индивидуальностей, из которых каждая была бы порабощена ему и жила в нем и только для него. Не наоборот ли? Не должно ли общество быть устроено так, чтобы каждый мог жить свободно, свободно располагать собой, а общество только охраняло бы эту возможность.

22 октября 1862 года, понедельник

У заблуждения есть своя логика.

У нас редко кто рассуждает, редко кто имеет терпение рассуждать и терпение выслушивать рассуждения других. У нас хотят только решать.

Гончаров давал обед у Дюссо некоторым из своих приятелей. Обед хорош, но приправленный плохими разговорами и остротами без соли. Удивительно, как люди, слывущие умными, да и действительно умные, могут находить удовольствие в таких пустяках и — гнусностях.

27 октября 1862 года, суббота

Иной считает себя чрезвычайно умным человеком потому только, что, ни во что не мешаясь и ничего не делая, он умел избежать ошибок и столкновений с людьми.

У нас есть множество людей, которые желают революции единственно для развлечения, из желания посмотреть на нее в окошко. Они забывают одно — что революция имеет обыкновение стрелять во все, нимало не разбирая, окошко ли то, или дверь, или улица.

29 октября 1862 года, понедельник

Вчера был у Делянова. Он рассказал мне следующую вещь. Когда недавно он представлялся государю, то речь коснулась беспорядков в университете и либералов вообще. “Нельзя отвергать, — сказал Делянов, — что существуют партии с самыми разрушительными демагогическими стремлениями”. — “Никто, — отвечал на это государь, — подробнее и точнее меня не знает этого”.

Наши ультралибералы готовы Стеньку Разина и Емельку Пугачева счесть за глубокомысленных политиков и народных героев.

30 октября 1862 года, вторник

Большая ошибка со стороны государственного человека ставить зависящих от него людей в такое положение, что они или должны изменить своим правилам и убеждениям, или отказаться от деятельности под его управлением.

31 октября 1862 года, среда

Человек без некоторых добрых свойств со всем своим умом никуда не годен. Он это чувствует и, не имея этих свойств, всячески старается показаться имеющим их. Смешно в таких случаях видеть, как это ему не удается и как все его усилия проходят мимо цели. Он точно, подобно известному греку, упражняется в бросании горошиной в цель, с тою только разницею, что грек был счастливее его и попадал,

куда метил, за что и получил от Александра в награду целую меру гороха.

Вечером в театре на представлении новой оперы Верди “Силы судьбы”. Сюжет смахивает на плохую мелодраму, но в музыке много блеску и энергии. Барбо и Грациани, кажется, превзошли самих себя. Со времени Виардо и Рубини музыка не производила на меня такого действия. Особенно Грациани: иные звуки его голоса точно шелест крыльев в полете души, когда она возносится к своим идеалам.

1 ноября 1862 года, четверг

Когда люди в массе не знают, куда идти и почему они идут туда, а не в другое место, и между тем чувствуют, что идти необходимо, — тогда они называют такое влечение *духом времени*.

Дух времени есть повелительная сила истории, влекущая людей к разрешению задачи, основания которой положены в предшествовавшем ходе вещей.

Одни только страдания и бедствия имеют способность придавать жизни серьезный характер. Без них жизнь была бы какая-то шутовская процессия или, как говорит Шекспир, сказка, рассказываемая старухой у очага.

Шумите, спорьте, сочиняйте теории какие угодно, только не запутывайте народ во все это. Ведь ему-то приходится расплачиваться за все слезами, кровью, а он, несчастный, даже не имеет удовольствия сказать, что понимает что-нибудь в ваших воззваниях и учениях. Поучите его, просветите, пусть он сам скажет за себя слово. Чтобы иметь удовольствие управлять им и вести его куда вам угодно, вы готовы перерезать ею…

Толчки нужны, только без ломания костей.

Общее заседание в Академии наук. Объявлено о Бэре, что он увольняется, по просьбе его, от звания ординарного академика, с 3000 руб. пенсиона, единовременною выдачею 1000 рублей и с чином тайного советника. Потом Бэр избран в почетные члены почти единогласно, кроме одного голоса. Был прочтен список сочинений, поступивших на Демидовскую премию Их всего тридцать.

3 ноября 1862 года, суббота

Мужественное помышление о жизни, мужественное помышление о смерти.

4 ноября 1862 года, воскресенье

Наклонность к ничегонеделанию вместе с праздным, безрезультатным разгулом мысли и фантазии, кажется, лежит в натуре нашей. Удивительнее всего, что эти стремления к пустоте, прикрываемые вычурным умозрением или умничаньем, мы готовы вменить себе в достоинство и восхищаться этим, как истинно самородною чертою нашей *широкой цельной* натуры. В самом деле, великая, широкая натура! Англичанин что-нибудь сделал и делает, француз что-нибудь сделал и делает, немец тоже, а мы создаем свою историю из *ничегонеделания* или преследуем такие

отчаянные фантастические задачи делания, что делание по ним опять-таки превращается в ничего.

Освящение питательной залы в императорской Публичной библиотеке. Тут было много посетителей, между которыми много и моих знакомых. Делянов прочитал небольшой умно составленный отчет о постройке залы, потом был отслужен молебен. Зала, да и все внешнее устройство библиотеки действительно превосходно. Всем этим обязаны бывшему директору, барону Корфу.

9 ноября 1862 года, пятница

Мужественное помышление о жизни, мужественное помышление о смерти.

Теории, навязывающие государству свои идеи о благосостоянии его, забывают одно весьма важное обстоятельство, что государство должно бы для осуществления этих идей вдруг приостановить текущую деятельность народа.

Что учреждения нынешние должны носить на себе либеральный характер — в том никто не сомневается. Но либерализм министра должен быть государственный, а не журнальный.

11 ноября 1862 года, воскресенье

Поутру был у Шульмана. Он рассказывал мне о том, что на днях целый эскадрон уланского полка подъехал на учении к полковому командиру, потребовал от него смены своего командира капитана Лаврова, которым за что-то был недоволен. А в кадетском корпусе кадеты атаковали батальонного командира и хотели его бить, кажется и побили. Прежде еще этого, месяц тому назад, в Корпусе путей сообщения воспитанники послали директору адрес, требуя, чтобы он сменил самого себя, так как они им недовольны.

12 ноября 1862 года, понедельник

Мужественное помышление о жизни, мужественное помышление о смерти.

Если не правительство поддерживать, так принцип его.

14 ноября 1862 года, среда

Сегодня утром встал совсем больной. К обычным пароксизмам присоединилась еще довольно сильная простуда: флюс, лихорадка и тому подобные прелести.

В человеке существует множество неопределенных инстинктов, которые готовы сделать из него самое жалкое игралище своих стремлений. Но в нем же есть сила, способная их сдерживать, обуздывать и ограничивать, если не совсем уничтожать. То, что моралисты называют внутреннею борьбою, вовсе не есть вымысел; это борьба не иное что, как акт самоуправления, которым приводятся к единству, обуздываются и устраиваются различные силы и влечения нашей натуры, нашего

темперамента, наших естественных наклонностей.

Вся задача образования должна состоять в том, чтобы сделать человека способным к самообладанию.

Природа снабжает нас расположением, наклонностями, силами, образование научает нас извлекать из них истинно человеческую личность.

В этом смысле человек есть творец самого себя. Ему даны материалы, стихии. Образ же, в котором они должны сосредоточиться и проявить себя, есть плод его художественной деятельности.

Возделывай разумно самого себя — вот истинная задача духа.

15 ноября 1862 года, четверг

Нет позорнее вещи, как то, когда человек, уступая натиску партии или желая понравиться толпе, делает не то, что признает за лучшее и справедливое.

Всякая партия бессильна, когда она не имеет корней в народе, который бы ей сочувствовал и поддерживал ее, и когда она рассчитывает только на возбуждение диких и неистовых страстей. Всякая партия должна опираться хоть на частичку истины.

16 ноября 1862 года, пятница

Все добродетели человеческие чрезвычайно способны прокиснуть, испортиться и сделаться ни к чему не годными. Чтобы уберечь их от этой порчи, их нужно как можно чаще просаливать солью разума и совести или хорошего религиозного чувства.

17 ноября 1862 года, суббота

Нет ничего лживее, неосновательнее, несправедливее и поверхностнее суждения одного человека о другом.

Человек принадлежит к породе существ разумных, но безнравственных.

19 ноября 1862 года, понедельник

Весь ноябрь месяц постоянно сухо и не очень холодно: градусов пять-шесть. Были и прекрасные свежие дни, но снегу нет.

Все это гнусное здание бюрократического управления ни к черту не годится; но его нельзя опрокинуть разом, а надобно подпилить, чтобы оно само упало.

NN _ рудник, в который так же трудно проникнуть, как и разработать его. А там не одно олово и камни — есть и золото.

24 ноября 1862 года, суббота

Вчера вечер просидел у меня Воронов и рассказывал о разных постановлениях по цензуре; о предполагаемом слиянии школ военного ведомства с гражданскими; об уставе университета, который обещал мне прислать в новой, исправленной редакции.

25 ноября 1862 года, воскресенье

Главная ошибка наших демагогов в том, что они все наши беспорядки и бедствия приписывают одному правительству и ничего не оставляют на долю истории и самой испорченности общества, которое есть естественное последствие хода нашей жизни и невежества.

26 ноября 1862 года, понедельник

Честный труд и независимость — вот единственное благо, если на земле что-нибудь можно назвать благом.

27 ноября 1862 года, вторник

Деньги не должны быть ценимы ни слишком высоко, ни слишком низко. Первое приводит к гнусному корыстолюбию, к скупости; второе часто ставит в такие затруднения, которые приводят не только к нищете, но и к пороку — к низости, плутовству и пр. Я уверен, что у нас в России большая часть казенных крадств и разных мошенничеств происходит оттого, что “все трын-трава, и последняя копейка ребром”.

Так как человек уже не может быть скотом, то надо ему стараться сделаться человеком.

1 декабря 1862 года, суббота

Сильные морозы, а снегу все нет.

Я не перестану повторять, что всякий деспотизм гадок, но хуже всего деспотизм так называемого крайнего либерализма. Последний уже оковывает не тело, не внешнюю жизнь, но силится проникнуть внутрь вас и наложить цепи на ваше убеждение, на мысль вашу и совесть.

4 декабря 1862 года, вторник

Небо расступилось и уронило несколько пушинок снегу. Все обрадовались — поехали на санях, но нельзя сказать, чтобы ездить было приятно.

Обедал у графа Блудова. Никого не было, кроме Н.В.Воейкова. Старик был удивительно бодр и, по обыкновению, говорлив, читал наизусть отрывки из

“Вадима” Княжнина и рассказывал литературные предания екатерининского времени.

7 декабря 1862 года, пятница

Общее заседание в Академии наук. Потом экзамен кандидату Бильбасову на степень магистра из всеобщей истории. Экзаменовал Куторга.

8 декабря 1862 года, суббота

Бессмысленное управление — вот тема, которую варьируют на разные лады все министры народного просвещения после Уварова до Головкина включительно.

Вечером у Чивилева. Там были Гончаров и Соловьев (профессор). Разговор, между прочим, о Головнине. Все одного мнения о нем как о человеке, который помешан на тонкостях и лишен производительной силы ума; как о человеке, не способном возвыситься до той государственной нравственности, которая в побуждениях своих носит что-нибудь общее, человеческое, народное.

9 декабря 1862 года, воскресенье

Написал к Тройницкому письмо с вопросом: могу ли я как экс-редактор “Северной почты” ходатайствовать о награждении к празднику бывших при мне участников в редакции.

10 декабря 1862 года, понедельник

Не будь человек способен сделаться чем-нибудь хорошим, он не был бы так гадок. Звание человека ко многому обязывает.

11 декабря 1862 года, вторник

Когда на поверхности человеческих деяний вам все представляется так гладко, прилично, изящно; когда перед вами возникают и рисуются изящные образы и такие привлекательные слова, как, например, дружба, искренность, преданность, бескорыстие и пр., — верьте, что там, внутри этой поверхности, движутся и работают тайные силы; всевозможные ненависти, эгоизмы клокочут и потрясают цветущую поверхность, как вулканические смертоносные газы в недрах земли колеблют ее кору и готовят целые потоки лавы и грязи.

Опять момент внутреннего беспокойства и недовольства духа. Этот момент продолжается уже несколько дней. Я сам себе кажусь ужасною гадостью, а жизнь моя — бессвязным, пустым, бесплодным сновидением, облаком благородных, возвышенных замыслов, которые ветер обстоятельств и собственное бессилие уносят вот и теперь в бесконечное пространство.

И внешние мои обстоятельства таковы, что я остаюсь каким-то нелепым обрывком, как бы случайно попавшим в ход общественных деяний. Всякий может похвастаться, что он что-нибудь значит, что-нибудь делает вместе с другими; а вот я с моими честными намерениями и поступками выхожу совершенно бесплодным и ни к чему негодным идеологом. Выходит, что сказано в малороссийской песне:

А вже сусщ жито сіе,

А в сусща зелеше, —

А у мене не орано і не сюно.

Правду сказать, орано-то много и сеяно немало, только ничего не выросло — сеяно, должно быть, на ветер, или самое семя такое, что из него ничего вырасти не может.

А все-таки не могу я не питать глубокого презрения к современным мне людям. Они чуть ли еще не хуже меня. Я по крайней мере решительно не способен желать или делать кому-нибудь из них зло, уважаю честность и справедливость.

13 декабря 1862 года, четверг

Во всей нашей администрации есть только один человек, честности и патриотизму которого можно доверять, — это Александр Николаевич [т.е. император].

24 декабря 1862 года, понедельник

Когда человек стремится к какой-нибудь цели, он считает важным все, что имеет отношение к этой цели. Но когда цель не существует или уже достигнута, тогда он видит себя как бы перенесенным в какую-то беспредельную сферу, где все исчезает и жизнь перестает иметь значение.

Считать слишком важным дело, которым вы занимаетесь, значит подвергаться опасности или никогда его не сделать, или сделать дурно.

Некоторая доля легкомыслия необходима для того, чтобы часто не впадать в отчаяние.

Когда все проходит, то почти не о чем жалеть.

26 декабря 1862 года, среда

Я имею несчастную слабость — верить в доброту и пользу нравственных принципов даже тогда, когда почти никто им не верит.

По заведенному обычаю надо было предварительно прочитать президенту

отчет, который должен быть читан на акте в Академии 29 декабря. Он назначил мне сегодняшний вечер, в восемь часов. Только я развернул тетрадь и едва успел прочесть несколько строк, почтенный старик заснул. Что мне было делать? Прекратить чтение неловко. Я продолжал, будто не замечая, скомкал все кое-как и в десять минут кончил чтение. “Хорошо, — сказал он, проснувшись, — очень хорошо”. Поговорив с ним еще кое о чем, я и ушел.

28 декабря 1862 года, пятница

Мы должны противодействовать напору новых разрушительных идей, стремящихся ниспровергнуть все старое, не для того, чтобы остановить этот поток или обратить его вспять — что и невозможно и было бы противно закону вещей, — но для того, чтобы умерить его сокрушительное действие и спасти для человечества то, что может и заслуживает быть спасенным. Уже одно то полезно, что, задерживая умы в их бурных порывах, мы их самих несколько отрезвляем, заставляем одумываться, не считать себя во всем непогрешимыми и смирять свои деспотические покушения.

Я не могу никак понять, какое мы право имеем обрекать гибели и бедствиям настоящее поколение во имя блага и усовершенствования будущих.

Комиссия, учрежденная Головкиным, под председательством Д.А. Оболенского, для устройства цензуры и цензурного устава, кончила свои работы и представила министру свой проект. Барон Николаи раскритиковал его в пух. Увидя из этого, что проект не пройдет в Государственном совете, Головнин опрокинулся на него сам и нашел его невозможным *по чрезмерной строгости*. Между тем князь Оболенский имеет у себя кучу записок от него, в которых он одобряет идеи комиссии, так что очевидно, что проект весь развивался под его руководством и влиянием. Что ж это значит? То, что в случае утверждения проекта Головнин перед ультралибералами умывает руки: вот, дескать, несмотря на мое противодействие, ретроградный закон постановлен; в случае же неутверждения он припишет себе заслугу, что успел остановить такое зловредное дело. Вот в таких-то эволюциях, в этой гимнастике интриг Головнин проводит свое время. Бедная Россия! Оболенский, бывший другом Головкина и отчасти его творение, теперь ругает его везде наповал.

29 декабря 1862 года, суббота

Акт в Академии наук. Я прочитал мой отчет в 20 минут, — весь акт кончился часов около двух, начавшись в двенадцать.

31 декабря 1862 года, понедельник

1862 год кончен.

1863

1 января 1863 года, вторник

Новый год. Все как будто вдруг обезумели, какая беготня и суматоха! Что же это такое? В природе ли произошла какая-нибудь радикальная перемена или в людях? Ведь в сущности ни малейшего намека на то, что случилось что-нибудь новое, что образовало бы рубеж между 1862 и 1863 годами. Между тем со всех сторон сыплются поздравления, все поддаются каким-то надеждам, вероятно и в этом году таким же несбыточным, как и в прошлом. А впрочем, не худо, что такой обычай существует. За недостатком истинных благ человеку нужен хоть призрак хорошего лучшего. И вся эта беготня — своего рода занятие, которое разнообразит обыкновенную прозу жизни.

3 января 1863 года, четверг

На бале во дворце. Съезд начался около девяти часов. Я приехал к Иорданскому подъезду. Вход в залу великолепный, освещение блистательное. Помпеевская галерея уставлена растениями и превращена в роскошную садовую аллею, которая примыкает действительно к саду, освещенному сверху огнями, сверкающими, как брильянты. Приглашенные сперва толпились в двух больших залах в ожидании выхода государя и царского семейства. Тут было-таки порядочно душно. Около десяти часов отворилась дверь внутренних покоев, загремела музыка, и потянулся польский с государем во главе, с государыней, членами императорского дома и разными дамами и кавалерами. Потом все смешались и разбрелись по разным комнатам.

Число гостей, говорят, простиралось до тысячи двухсот, но тесно было только около танцующих. В одной зале играли в карты, и там же представлялись государыне многие дамы и новопожалованные камер-юнкера и камергеры. С каждою и с каждым она говорила по нескольку слов. Государь ходил по всем залам и кое с кем разговаривал. Все было чинно. Но когда пошли к ужину, то при входе в залы, где были накрыты столы, вдруг поднялась страшная суматоха, толкотня и давка. Можно было подумать, что все эти звездо- и лентоносцы выдержали жестокий пост, — с такою неудержимою алчностью спешили они, толкая друг друга, занять места за роскошно сервированными столами… Государь ходил вокруг столов, просил не вставать при его приближении, а когда его не послушались, то, возвысив голос, с неудовольствием почти крикнул: “Да сидите же!” Я приехал домой около двух часов ночи.

7 января 1863 года, понедельник

Неожиданно предстал передо мною из Москвы Н.Р.Ребиндер, с которым мы не виделись уже около двух лет. Странная перемена в нем произошла: он сделался мистиком, верит в пророчества какого-то московского ясновидящего.

8 января 1863 года, вторник

В эту зиму у меня не переводятся больные: вот теперь захворал коклюшем мой мальчик…

Жалко мне было вчера слушать, как Ребиндер рассказывал о своем свидании и беседе с московским ясновидящим в Девичьем монастыре. Оказывается, что провидение с особенною заботливостью следило и следит за обстоятельствами Н.Р.; что оно знает, какой он отличный человек, как много страдал и страдает (его обсчитал плут-управляющий) и как эти страдания беспримерны; что теперь оно положило непременно устроить дела его лучше и не будет более искушать его неслыханное мужество и добродетель и пр. Вот какого тумана напустил себе в голову мой бедный Ребиндер. А все оттого, что каждый из нас считает себя чем-то весьма важным во вселенной и что мы и наши житейские дрязги должны обращать на себя особенное внимание Бога и людей. А ведь, кажется, Н.Р. умный человек. Но мнимый пророк очень ловко льстил ему, поддевал его на общем человеческом самолюбии. Известно, как легко человек ловится на эту лакомую приманку.

9 января 1863 года, среда

Поехал вечером рассеять тяжесть в голове и на сердце в оперу. Давали “Пророка” Мейербера, переименованного у нас в “Осаду Гента”. Музыка серьезная и строгая.

10 января 1863 года, четверг

Одна только крайняя непоследовательность делает умного человека способным принимать участие в судьбе людей, наперекор его знанию человеческой жизни и сердца.

Сдержанность, мужество, самообладание.

Не вызывай на бой судьбы, не рисуйся перед ней своею храбростью — это глупо, а покоряйся и терпи с достоинством мужа и человека и с уверенностью философа, что жизнь вовсе не заслуживает той важности, какую мы ей даем.

По закону ограничения каждого явления, каждой силы в природе и истории ни одно из этих явлений и ни одна из этих сил не могут развиваться в бесконечности. Одно ограничивается другим, и в этом ограничении добро находит свой предел во зле, зло в добре. Все нейтрализуется одно в другом. Волна вздымается, растет, доходит до громадной высоты и исчезает, чтобы уступить место другой. Есть ли тут какой-нибудь предначертанный план, какая-нибудь цель? И тот и другая

заключаются в самой природе явлений и сил, в их ограничении друг другом, в невозможности простираться в бесконечность.

13 января 1863 года, воскресенье

Философские учения о добродетели были всегда не иное что, как учение о владычестве разума над внутренним миром. Одно есть необходимое следствие другого.

Так называемым передовым умам нашим недостает двух качеств: глубины суждения и осмотрительности в видах. Они от поверхностно понятого столь же поверхностно спешат к крайним выводам, не обращая ни малейшего внимания на посредствующие звенья мысли, которые должны бы были останавливать их на ближайших последствиях и таким образом придавать их идеям характер существенный и строго последовательный.

Вот характеристика разных министерствований министерства народного просвещения после Уварова: министерствование Шихматова — *помрачающее.* Норова — *расслабляющее,* Ковалевского — *засыпающее;* Путятина — *отупляющее,* Головкина — *развращающее.*

Эти ужасные припадки коклюша! Бедное дитя мучится ими каждую ночь.

14 января 1863 года, понедельник

Как бы я желал всегда пользоваться таким прекрасным настроением духа, как теперь: равнодушие к жизни и смерти полное, без утраты энергии к тому, что из презренной жизни делает ее менее презренною.

15 января 1863 года, вторник

В воскресенье получена депеша о восстании в Польше. Какая гнусность: убивать солдат, ночью, безоружных, спящих!..

Совершенная распутица. Снег почти весь стаял, а ночью свирепствовала буря. Были сигналы из пушек.

Сегодня напечатана речь государя, произнесенная им на разводе и обращенная к Измайловскому полку. Речь благородная и умеренная. Говорят, однако, что он произнес ее с особенной энергией и употребил несколько выражений относительно людей неблагонамеренных из своих, которые очень не понравились некоторым.

16 января 1863 года, среда

Вчера весь день шел сильнейший дождь, ночью бушевала буря и с крепости раздавались выстрелы, служащие сигналом для галерных жителей, что вода прибывает.

18 января 1863 года, пятница

Опять мороз до 9 градусов. Гадко вокруг, гадко в себе.

Однако еще гаже находить все это слишком гадким. Вечером были Данилевский, приехал недавно из Малороссии, и Тимофеев — оба пока верные мне.

20 января 1863 года, воскресенье

Не думал я, что Валуев будет мне мстить за то, что я, человек мысли и науки, осмелился не быть мелким чиновником в его прихожей. Право же, это недостойно не только государственного человека, но даже умного человека.

Странно, что при всей моей опытности и при всем моем знании человеческих гадостей меня часто обманывало и обманывает доверие то к их уму, то к их сердцу.

21 января 1863 года, понедельник

Русский человек не выносит трех вещей: труда, порядка и своего величия.

Ночь. Вокруг тишина, периодически нарушаемая припадками коклюшного кашля бедного мальчика. Сон бежит. В голову лезет всякая дичь.

22 января 1863 года, вторник

Из телеграфических депеш видно, что одни из самых деятельных двигателей польского восстания — католические попы. Мы, мне кажется, вовсе не умно ведем себя в этом восстании. Мы разбросали войска на огромном пространстве и расположились там небольшими отрядами, как дома, забыв, что мы хуже, чем в земле неприятелей, — мы в земле домашних врагов. Оттого солдат наших резали, как баранов, и резали даже сонных в постели.

Каждая эпоха обязана быть честною, справедливою и не покидать здравого рассудка.

Большие тяжести не поднимаются без участия многих и различных сил. Так и разные реформы и улучшения в государстве без содействия образования, а образование предполагает науку, нравственность, искусство. Недостаток одного из этих факторов производит уже дело неполное, уродливое.

Французские реформаторы первой революции положили приостановить правосудие, науку, промышленность, религию, пока не устроится новый порядок вещей и не преобразуется общество. Что из этого вышло — мы знаем.

Человек должен действовать всеми своими органами, а не одною только рукою или ногою.

23 января 1863 года, среда

Вышло то, что могло бы не быть и чего не желали, а не произошло много такого, что могло бы произойти и чего желали.

“Энциклопедический лексикон” Гершельмана падает. Его вышло пять томов, продолжать далее не на что: подписка идет очень плохо. На днях был у меня Гершельман. Головнин обещал ему взять значительное число экземпляров для учебных заведений министерства народного просвещения. Я обещал Гершельману, по просьбе его, походатайствовать за него у Воронова, которого я уже и просил. Надежды, однако, не много, а жаль! Лексикон начал издаваться добросовестно и хорошо. Во всяком случае это лучше многих из наших журналов.

Обед у Дюссо, который давал некоторым из своих знакомых и членам редакции “Северной почты” Клеванов. Все участники газеты сетуют на то, что она теперь пошла по стезе полицейской газеты, и упрекают Валуева за то, что, намереваясь сначала создать в ней орган правительства с влиянием на общественное мнение, он потом спустил ее так низко.

25 января 1863 года, пятница

Какая и кому польза от “Северной почты” в том виде, в каком она ныне издается? Ни правительству, ни обществу. Служит ли она органом первого? Нет! Она не содержит в себе ни разъяснений видов правительства, ни даже фактов

— хотя и то и другое предполагалось при ее основании. По моему плану она должна была быть соединением лучших правительственных идей с идеями разумного прогресса, которые правительству предстоит не только признать, но и выполнить. Ее направление и содержание должны бы быть таковы, чтобы, лучшая часть публики ее поддерживала, а она в свою очередь на нее влияла бы.

Сознавая за собой независимый образ мыслей, не принадлежа ни к какой литературной партии, не разделяя крайних увлечений общества, но всей душой преданный делу разумного прогресса и предстоящих необходимых преобразований, я с радостью взялся за дело, которое казалось мне таким многообещающим. Все предварительные совещания мои с Валуевым о первоначальном плане газеты подкрепляли во мне и поддерживали мои надежды. Валуев, казалось, сочувствовал моим намерениям и изъявлял на все свое полное одобрение. Но потом, когда я начал дело в духе нашего обоюдного решения, он вдруг чего-то забоялся, ему стало мерещиться, что я учу его, что я намерен отложиться от него, что газета будет дорого стоить, хотя он сам установлял и бюджет ее и беспрестанно твердил сначала, что при основании такого обширного предприятия нечего стесняться копеечными расчетами. Словом, он в заключение дал ход назад и выказал полную неспособность стать над бюрократическою рутиною. Мне тут уже ничего не оставалось, как выйти из редакции.

Вчера напечатан указ о передаче цензуры министерству внутренних дел (указ 14 января, N 20 “Северной почты”).

26 января 1863 года, суббота

Вечером у Чивилева. Он рассказывал мне кое-какие черты из семейного быта государя. Выходит, все это семейство предоброе, прекрасное. Но всем им недостает одного качества — твердости. И в наследнике то же замечается. Он умен, способен к труду мысли и сочувствует всем высшим ее интересам, но тоже слишком мягок сердцем. Может быть, с летами и опытом он немного окрепнет, что ему необходимо, ибо его ожидает бурная будущность.

27 января 1863 года, воскресенье В самых силах, составляющих основание и верховный закон жизни, заключается бесконечное разнообразие, по которому каждая сила стремится быть беспрепятственно всем тем, чем по натуре своей она способна быть. Отсюда возникает вечный антагонизм сил, неравенство их, столкновение, расхождение, новое столкновение, группировка; словом, те бесчисленные модуляции, та игра жизни, которая в природе и в истории производит все, что в них есть и бывает. Строители социальных утопий хотят все уравнять, замкнуть силы в определенные границы, там урезать, здесь удлинить — словом, сделать людей, эти живые, бесконечно разнообразные по своей натуре силы, тем, чем они не могут и не должны быть. Утопист насилует историю и природу человеческую, вынуждая у них результаты, лежащие вне их способностей. Общество человеческое старается уравновесить силы, оставляя для деятельности их наибольший простор, и урезывает их только тогда, когда они стремятся в бесконечность. Оно действует здесь принудительно, но с благою целью спасти всех от одного и каждого от всех, тогда как утописты просто хотят парализовать силы, уничтожая в них самую возможность расширения и свободной деятельности.

28 января 1863 года, понедельник

Главная трудность для цензурной администрации будет состоять в том, как формулировать те уклонения печати, которые подлежать будут рассмотрению судов. Уклонения эти часто ускользают от ясного определения их смысла.

Трудиться и бороться — вот задача жизни. Это я беспрестанно повторяю моему сыну.

Достигать закона беззаконием — едва ли это здравая и разумная мера.

У Валуева. Меня ожидают новые занятия по цензурной комиссии да еще какое-то дело, о котором он скажет после. Я нашел его в кабинете среди кучи бумаг, небритого, усталого, но, по обыкновению, любезного и привлекательного.

29 января 1863 года, вторник

Получил от министра внутренних дел предписание о назначении меня членом в высочайше учрежденную комиссию для рассмотрения законов о печати, под председательством князя Оболенского.

30 января 1863 года, среда

Есть что-то очень юное в нашей литературе: крайняя заносчивость, всезнание и дух нетерпимости.

У князя Оболенского. Предварительные объяснения касательно законов о печати. Взгляды его, кажется, обещают быть основательными и справедливыми. Во всяком случае видно, что он предмет этот изучил широко как в теории, так и в положительных законодательствах. Он показывал мне массу книг, которыми запасся для справок, а отчасти и прочел в продолжение своего председательствования в прежней комиссии. Тут собрано почти все, что было писано по поводу цензуры в Германии, Франции, Англии, Бельгии, равно как и все законодательства по этой части. У него также находится множество бумаг, сообщенных из министерства народного просвещения по делам цензуры. Тут много и моих прежних работ.

Мне кажется, с князем Оболенским можно будет ладить. Он, по-видимому, человек рассудительный, умный, образованный и чуждый всяких крайних увлечений. Со мною вместе от министерства внутренних дел назначены Ржевский и Тютчев.

Вечером в опере. Давали “Фиделио”. Барбо пела превосходно.

31 января 1863 года, четверг

Замечательные скачки в нынешней зиме. Вчера, когда мы ехали в театр, шел дождь, а когда возвращались домой — уже довольно сильно морозило.

5 февраля 1863 года, вторник

Не правительство, а принцип правительства дорог и нужен.

У нас господствует полная анархия понятий.

6 февраля 1863 года, среда

Последние дни никак не могу наладить себя на серьезную работу. Голова как-то особенно тяжела. У меня лежит неоконченная статья об университетах. Вчера и сегодня несколько раз присаживался за нее, но сильный прилив к голове даже туманил глаза.

7 февраля 1863 года, четверг

Молодые умы не значит лучшие умы, а только более энергические. Но энергия столько же может быть направлена к худому, как и к хорошему. Молодые умы способнее к делу. Но делают ли они его как должно? По крайней мере у нас можно сильно усомниться в этом. Способность к делу узнается не только из желания, из стремления делать, но и из стремления делать хорошо. Хорошо же делать значит, во-первых, составить хороший план дела, основанный на знании, следовательно, на

изучении вещей; во-вторых, значит иметь сколь возможно больше основательных удостоверений в осуществимости плана и, наконец, в-третьих, значит иметь цель плана столько же справедливую, как и разумную. Если хорошенько всмотреться в молодые умы нашего времени, то окажется, что всех этих условий им решительно недостает. Им недостает главного — знания и изучения; недостает также удостоверений в осуществимости плана. Положим, что у них цели хорошие, но, при недостатке этих качеств, хорошими целями, как говорит пословица, мостят ад.

9 февраля 1863 года, пятница

Каждому человеку отпущена от природы известная мера сил и известный их образ. Кто не пришел к сознанию их, тот направляется этими силами слепо и сам не иное что, как природа. Но человек, стоящий на высшей степени духа или которому достался большой запас сил, добирается рано или поздно до их сознания и полагает здесь основание своей нравственной конституции. *Сознать свои силы и образ их* — вот высшая задача мыслящего духа. Управлять этими силами и пускать их в ход для дальнейшего развития — вот настоящая практическая задача деятельности. Никто не в состоянии сделать из себя ничего более того, на что дают ему способы его силы. Но каждый обязан сделать из них все Возможное. Довольство самим собой есть сознание, что мы сделали и делаем все возможное из сил, дарованных нам природою; что мы издерживаем и употребляем отпущенный нам природою капитал разумно, то есть бережно и достаточно, без расточительности и скупости.

В силу этого нравственного закона никто не должен порываться стать ни выше себя, ни ниже себя. Мы не иное что, как арендаторы, которые должны честно и выгодно возделать поле, взятое нами на время у общего господина, а плата за него — продукты, которые мы должны внести в общую сокровищницу блага и успеха человечества.

С горы легче спускаться, чем всходить на нее.

10 февраля 1863 года, воскресенье

Положение вещей у нас в обществе крайне неудовлетворительно. Правительство с каждым днем теряет свой авторитет. Конечно, глава находит сочувствие и пользуется расположением масс. Но в мыслящей части общества — одни по принципу ультралиберальных идей питают к нему ненависть; другие, готовые всячески примкнуть к нему, раздражаются многими мерами, изобличающими или неспособность, или слабость правительства; самые лучшие питают скорбь в глубине своей души.

Польское восстание почти всеми приписывается неспособности варшавского наместника. Не было принято никаких своевременных мер и тогда даже, когда восстание по многим зловещим признакам становилось уже несомненным. Не было принято никаких предосторожностей, и за-резывание наших сонных солдат по ночам должно приписать не одному ожесточению возмутившихся, но и превосходящей всякую меру оплошности наших властей.

11 февраля 1863 года, понедельник

Дело честного человека в том, чтобы делать честное дело, несмотря на то, какие последствия могут из того выйти для него самого.

У князя Оболенского. Я представил ему несколько возражений на некоторые статьи проекта законов о печати,

особенно на главу об организации управления по этой части. Лицо начальника цензурного управления мне кажется лишним, да и самое название начальника неуместным, так как отныне начальник цензуры есть министр внутренних дел. Совет очень ослаблен, и за ним не остается почти ничего, кроме роли сыщика. Князь Оболенский возразил мне, что это не так, потому что только административная часть вверяется начальнику, а цензурная, заключающая в себе важные части, отнесена к Совету. “Но в таком случае, — заметил я, ~ почему же эти цензурные предметы не поименованы в статье, где исчисляются обязанности Совета, а в исчислении *административных* предметов, заключающихся в кругу деятельности начальника, поименованы составление инструкций и пр. — часть чисто законодательная”. Князь согласился, что это надо будет исправить.

Вообще я думаю, что слово *начальник* надо устранить и самые права его ограничить, предоставив их Совету. За первым останется еще довольно много как за председателем последнего. Таким образом не будет дано простора произволу *одного.* Оболенский с этим согласился.

Князь рассказал мне всю процедуру дела цензурного законодательства, как оно было поведено Головкиным, и показал мне всю переписку его с ним. Оказывается, неслыханная неспособность и недобросовестность этого господина гораздо в высшей степени, чем думают в публике. Всему этому трудно было бы поверить без свидетельства собственных его писем. Боже мой, как обманывают главное лицо!..

14 февраля 1863 года, четверг

Говорят, Виктор Гюго написал прокламацию к полякам. Что же делать другого, как не возмущать общество этому высокопарному пустомеле, который, проповедуя равенство, так хорошо умеет обделывать свои собственные дела. Вот он и сейчас преподнес Европе, продав его за 400 тыс. франков, новый гениальный продукт [“Отверженные”] своего уродливого воображения.

Вообще странна ненависть европейской печати к России и радость ее при виде замешательств в ней. Неужели она боится тени Николая Павловича? Но справедливо ли, разумно ли смешивать николаевское время с нынешним и мстить целому народу за ошибки или вину одного человека? Это-то прославленная гуманность Европы и этому-то учатся в ней наши ультралибералы!..

15 февраля 1863 года, пятница

У попечителя был собран историко-филологический факультет для совещаний о назначении профессоров в университет, который предположено открыть в будущем августе, так как устав уже рассмотрен и исправлен строгановскою комиссиею. Тут коснулось дело меня. Я объявил, что мое пятилетие уже кончилось, и прошу меня уволить. Факультет, не знаю искренно или притворно, просил меня остаться. Особенно настаивали Срезневский и Куторга. Они просили, чтобы я остался по крайней мере для начала возрождения университета, чтобы не вдруг его покинул. На это я *слегка* согласился, не дав решительного ответа даже самому себе. Я не имею чести нравиться Головкину, да и в товарищах не совсем уверен. Два вышеупомянутые, да еще Сухомлинов, — чуть ли не единственные мои доброжелатели среди них. Но и между ними я вполне доверяю искренности только последнего.

Хочу поговорить с Деляновым о том, как он думает, но в конце концов я все-таки полагаю просить об отставке.

Мы богаты великими публицистами, великими мыслителями в газетах и фельетонах; но вот когда дело дошло до приискивания профессоров, то пришлось почти над каждою кафедрою задуматься: кого?

16 февраля 1863 года, суббота

Объяснялся с Деляновым по поводу вчерашнего заседания и назначения профессоров в университет.

Меня факультет просил остаться. Я уступил только на короткое время — пока университет не переправится через Черное море и не станет снова на твердую почву. И то потому, что все согласились в необходимости не устранять при этой переправе людей надежных, то есть искренне и издавна преданных университету. Впрочем, Головнин, может быть, захочет поступить иначе.

17 февраля 1863 года, воскресенье

Что бы ни было, я пойду открытою, прямою дорогою. Для меня столько же ненавистны притязания крайних, как и закоснелость консерваторов, и хотя говорят, что умеренный образ мыслей не есть самый блестящий, но он есть самый справедливый, единственный, которым может и должен руководствоваться человек с сердцем и здравым умом. И он требует также мужества, когда дело идет о том, чтобы противостоять страстям и увлечениям партий.

Наши газеты и журналы жестоко ошибаются, думая, что они располагают общественным мнением и направляют его. Правда, они действуют на него — но чем? Изображением скандалов или мелких житейских дрязг, чиновничьих проделок и пр. Но созидать партии, как они думают, установлять принципы, приводить в движение политические пружины и пр. — это чистейшая мечта и обольщение самолюбия. Но есть другое неоспоримое влияние наших газет и журналов — это влияние на молодое поколение.

Это влияние во многом пагубно. Нет ничего легче, как заражать молодые умы теориями — как бы они нелепы и неисполнимы ни были — проповедованием безусловной свободы во всем: в обществе, в нравственности и пр.; поверхностным знанием, полным в сущности глубокого невежества; презрением ко всему строгому, серьезному, основательному и пр. Вот тут наша публицистика хозяйничает с большим успехом.

19 февраля 1863 года, вторник

Был Гиляров-Платонов, вызванный сюда для присутствия в цензурной комиссии. С кем из умных и честных людей ни говори, все слышишь одно и то же: ужасное время переживает Россия. По делам польским нам угрожает вмешательство Европы, которая с чудовищною, непонятною ненавистью, кажется, готова растерзать в клочки Россию. А что им сделала Россия? Они забыли 1812 год. Но человек, видно, везде готов более на зло, чем на добро. Что же это за цивилизация, которая не делает людей ни великодушнее, ни справедливее? Но всего хуже наши домашние враги, эти мелкие журнальные либералы, для которых нет отечества и которые за 25 или 50 лишних подписчиков на издаваемую ими газету готовы проповедовать всякую мерзость, все, что увеличивает наше смятение и горе. О, какой глубокий отвратительный разврат в этом поколении, руководимом мудрецами, подобными Герцену, Бакунину и пр.

Боже мой! При таких государственных людях, какими теперь мы богаты, немудрено и пасть России. Ни сильной мысли, ни твердой воли, ни живого патриотического чувства, которые бы сообщались другим!

Сегодня не мог быть в первом заседании комиссии — голова болит, грипп сильнейший.

21 февраля 1863 года, четверг

Есть люди, которые, в силу укоренившегося обычая, исполняют некоторые добрые дела точно так, как в известное время они обедают, пьют чай и т.д.

Не постигнет ли варварство еще раз человеческие общества, когда нравственная сила и сила этой силы — верование — совершенно угаснут в сердцах людей?,

Бокль думает все принципы общества подчинить одному *знанию.* Для него нет нравственных убеждений, нет верований, или все убеждения и верования он старается установить на знании.

Польское восстание, без сомнения, есть не иное что, как симптом общего революционного социалистического движения; Европа должна перестроиться и обновиться, по мнению вождей этого движения; но обновлению должен предшествовать дух бури и всеобщего разрушения. Из праха и развалин сам собою должен возникнуть новый мир, в котором водворится золотой век. Что это: сумасшедшие или апостолы новой религии без веры, нового откровения без чудес, новой нравственности без добродетелей, общества без законов и власти, полного владычества разума без страстей, без науки, искусства и поэзии, нового особенного христианства без Бога, Христа и церкви; наконец, жизни без страданий и смерти?

Положим, что в этих учениях есть доля правды, но сколько же здесь лжи и безумия! Предпринимать дело человечества с таким риском для него, без особенного ясного на то полномочия, которого и быть ни от кого не может, есть уже безумие или злодейство. Можно ли позволить себе во имя какой бы то ни было системы играть так жребиями человеческими и, хотя бы то с наилучшими измерениями, увлекать людей в пропасть, если нет никакой достоверности в том, что пропасть эта превратится в жилище блаженства?

Заседания в Академии наук и в факультетском собрании, где производился экзамен В.А.Бильбасову на звание магистра.

В Академию была прислана бумага за подписью министра двора, с изъявлением от государя императора неудовольствия за громогласные разговоры и шум в церкви (придворной) среди посетителей, приглашенных присутствовать при обряде венчания великой княжны с Баденским принцем. Все четырехклассные особы, имеющие приезд ко двору, должны расписаться на этой бумаге, что читали ее. Возможно ли, что наше общество, высшее, образованное, до того забыло самые обыкновенные приличия и вынудило государя сделать себе наставление и замечание, как самому пошлому школьнику? Однакоже это случилось. Обстоятельство, кажется, само по себе не важное, но в настоящее время оно имеет важный смысл.

Иностранные газеты продолжают выражать нам свою неприязнь за Польшу, особенно по поводу заключения с Пруссией конвенции.

26 февраля 1863 года, вторник

Эти ночные толчки, которые я так часто терплю ночью, — Дамоклов меч, под которым я нахожусь постоянно с 1858 года.

28 февраля 1863 года, четверг

Социалисты хотят, чтобы народы жили без правительств. Может быть, человечество когда-нибудь и испробует это. Но что в том? Надобно совершенно не знать людей или питать слепую веру в самые фантастические утопии, чтобы поверить, что человек способен обойтись без внешней силы, которая бы его обуздывала и направляла. Если не случится силы, которая бы хитростью или насилием взяла его в свои руки, так он создаст ее сам. Она падет или он ниспровергнет ее за злоупотребления, но она будет создана вновь. Перемениться могут формы отношений этой силы и ее проявления, но отменить ее нельзя, пока на земле будут страсти, неравенство способностей, пока один будет способен властвовать и другой будет иметь больше выгоды повиноваться и быть спокойным, чем вечно стоять настороже.

1 марта 1863 года, пятница

Бокль излагает историю по-своему, Маколей по-своему, Шлоссер и Гервинус

по-своему. Историк не должен бы быть политиком, а прежде всего умным человеком и критиком. Страшно надоели все эти перетолковывания деяний и событий, которые каждый старается изъяснить в духе своих идей, привязанностей своей партии.

Между всеми этими великодушными партиями, препирающимися за права и благо человечества, в сущности дело идет о том, кому из них властвовать в мире. Человечество есть добыча, которая должна быть наградою победителя.

2 марта 1863 года, суббота

В Казанском университете произошел скандал. Профессора перессорились до такой степени, что для умиротворения их послан Делянов. Избирали кого-то в профессора по медицинскому факультету и избрали большинством голосов в совете. Казалось бы, и делу конец. По всем законодательствам в мире большинство решает дело. Но нашим ультралибералам какое дело до закона? Меньшинство не только вздумало не уважить решения совета, но формально воспротивилось ему и объявило письменно, что оно не хочет принять в свои сочлены такого-то.

14 марта 1863 года, четверг

Заседание в Академии. Новый член П. П. Пекарский. Он показался мне весьма благовидным и приличным.

18 марта 1863 года, понедельник

У Державина были три орудия письма: перо золотое, перо гусиное, прескверно очиненное, и нечто вроде помела.

Ужасное кровопролитие (в Польше) продолжается. Сколько погибает несчастных, которые думают, что они режутся за отчизну, и добросовестно подставляют грудь свою под русские пули, а между тем служат только орудием или несбыточных, или честолюбивых стремлений нескольких коноводов. Кровь этих несчастных должна пасть на последних. Но что толку в этом?..

По ночам худо спится: атакуют беспокойные и тревожные мысли о России. Ведь это наступил роковой кризис для нее — почти быть или не быть — едва ли не важнее 1812 года.

19 марта 1863 года, вторник

Холода продолжаются. Ужасный, ножами режущий, северо-восточный ветер при ослепительном сиянии солнца. Сегодня по крайней мере погода не подличает — пасмурно, прямо скверный день, без фальшивых обещаний.

Враги готовы кинуться на нас со всех сторон, как звери, то есть как собаки, а не как львы, потому что львы, говорят, великодушны и благородны. А что делает наше правительство — покрыто глубокою тайною. Знаешь только, что там в разных

местах дерутся, что наши режут напропалую поляков, вот и все. А вот тут, возле, враги хуже — наши ультралибералы, которые готовы заменить на карте Россию Польшею…

Горько, что так мало чувствуешь в себе сил, чтобы работать для бедного отечества…

21 марта 1863 года, четверг

Заседание в Академии и девичий экзамен в университете.

23 марта 1863 года, суббота

На похоронах старушки Михайловой, которая умерла 79 лет. Это была женщина замечательного ума и силы характера. Я очень уважал ее. Умерла она с полным спокойствием духа и сохранила до конца свой пиетистически христианский образ мыслей. Она была лютеранка.

26 марта 1863 года, вторник

Более всего надо опасаться верить тому, что нам приятно.

27 марта 1863 года, среда

Вчера первый день немножко теплый без свирепого северо-восточного ветра. Я сверг с себя зимние калоши и облекся в легкие, но совлечь шубы еще не дерзнул.

29 марта 1863 года, пятница

Если еще не повеяло весной, так по крайней мере нет северо-восточного ветра. Вчера и сегодня погода прелестная — четыре градуса тепла, и солнце сияет во всей своей красе.

30 марта 1863 года, суббота

Заутреня и обедня в университетской церкви. Виделся с Костомаровым, Устряловым и проч. Горячо похристосовался с нашим добрым и умным швейцаром Савельичем, видевшим день рождения университета.

31 марта 1863 года, воскресенье

Праздник Пасхи. День неслыханно прекрасный — 9R тепла с девяти часов утра. Солнце сияет, как на итальянском небе.

1 апреля 1863 года, понедельник

Читал манифест об амнистии полякам. Манифест мог бы быть лучше написан.

Слухи ходят, что Европа принимает в отношении к нам вид все грознее и грознее. Власть в делах мира принадлежит хитрейшему и бесстыднейшему. Теперь она за Людовиком-Наполеоном, и он, кажется, намерен воспользоваться ею, уверив всех, что Россию надобно уничтожить для безопасности Европы, которой угрожает-то, собственно, он.

Какой мы следуем политике — покрыто мраком неизвестности. Но, кажется, едва ли мы не избрали несчастную систему уступок и мира *во что бы то ни стало*. Ничто не может быть плачевнее этой системы, если мы ее приняли. Ею не только нельзя избежать войны, но она прямо ведет к ней. Единственный способ избежать ее — это *показать* Европе, что мы не боимся войны. Но непременно *показать*, дать ей почувствовать это.

7 апреля 1863 года, воскресенье

Говорят, ноты, или так называемые депеши, трех держав получены. Что-то решит наше правительство? Горе, если оно окажет слабость. Это будет первый шаг к низведению России с ее политической степени. Правительство лишится последнего престижа, и тогда трудно решить, к какому хаосу внутреннему можем мы прийти. Разумеется, врагам нашим этого и хочется.

8 апреля 1863 года, понедельник

В университете заседание в факультете по поводу диссертации Бильбасова.

Нас собралось человек восемь. Толки на тему: будет ли у нас война? Я развил ту мысль, что это совершенно зависит от нашего поведения: если мы с твердостью покажем Европе, что не желаем, но и не боимся войны, и выразим полную к ней готовность, то Европа не начнет ее.

Боже сохрани правительство от уступок, противных чести и безопасности России. Национальное чувство начинает повсюду, здесь и в губерниях, сильно возбуждаться. Если <…> Наполеон высказался так, что под гнетом общественного мнения он может нарушить союз дружбы с Россией, то Александр может ему ответить, что под гнетом всеобщей ненависти и негодования своего народа к чужому вмешательству он не ручается за то, что этот народ в состоянии наделать. Европа не может желать такой войны, какая грозит возникнуть из-за вмешательства Наполеона, и потому легко может случиться, что то общественное мнение, на которое Наполеон опирается, не будет за него, а против него. Империя — это война, беспощадная вечная война, что всякий увидит. Наполеонова династия может, как червь, жить и питаться только трупами. Вот десять лет с тех пор, как этот узурпатор распоряжается в Европе, — она не слагает с себя оружия. Это не может же продолжаться всегда. Может быть, в случае войны, племяннику, как и дяде, придется разбиться вдребезги об этот колосс, который они называют варварским народом.

9 апреля 1863 года, вторник

Похороны корнета Ремера, убитого в сражении с мятежниками недалеко от Варшавы, 2 апреля. Вынос был из церкви Симеона. Стечение народа огромное. Из императорской фамилии присутствовали тут наследник и Николай Николаевич. Вообще оказаны достойные почести этому молодому храброму офицеру, положившему живот свой за родину.

В воскресенье на площади у Зимнего дворца была огромная манифестация. Несметные толпы народа собрались перед балконом, выходящим к Адмиралтейству, и подняли страшное "ура", так что государь показался, наконец, на балконе. Толпы встретили его с неописанным восторгом. Народ просил показаться также царицу. Она явилась на балконе — тот же восторг и радостные клики.

Во время концерта в пользу инвалидов государь был принят также с необыкновенным восторгом. Музыканты, между прочим, принуждены были четыре раза повторить гимн: "Боже, царя храни".

Обо всем этом либеральные петербургские газеты хранят глубокое молчание. На то они либеральные, чтобы быте бесчувственными к народным чувствам.

10 апреля 1863 года, среда

Весь праздник была удивительная, неслыханная у нас погода. Солнце блистало на небе во всей красе своей; тепло, а на солнечной стороне даже очень жарко. С воскресенья начало немножко хмуриться и позывать на дождь; однако дождя не было, и вот сегодня в восьмом часу утра уже 8R тепла.

Если уж пошло на то, так Россия нужнее для человечества, чем Польша.

Одни те народы могут служить человечеству, которые еще не прожили всего капитала своих нравственных сил, а Польша, кажется, уже это сделала. У России же есть будущность. Мы воспитаны в суровой школе. Но зато мы и способны что-нибудь сделать. Нас упрекают могуществом нашим, как преступлением. Но разве мы украли наше могущество? Мы добыли его терпением и кровью нашею.

12 апреля 1863 года, пятница

Неумеренное чтение пустых книг, как, например, романов, имеет расслабляющее свойство. Действие его то же, как действие питья, ленивого лежанья на диване или праздного шатанья по улицам.

13 апреля 1863 года, суббота

Грозные и зловещие предзнаменования становятся все сильнее и сильнее. Все почти уверены в неизбежности войны. Между тем в правительственных сферах, по-видимому, все спокойно, незаметно никакого особенного движения. Что это —

инерция или уверенность в своих силах? Последнее-то едва ли уместно. Нет сомнения, что мы в большой опасности. Мы недостаточно вооружены. У нас нет ни способных генералов, ни способных государственных людей.

14 апреля 1863 года, воскресенье

Мрачнее и мрачнее. Многие находят, что наше положение очень опасно. В народе, правда, пробуждается сильный патриотизм, но средства наши слабы в сравнении со средствами неприятеля или неприятелей. Войско наше храбро, но так ли хорошо оно вооружено и обучено, как войско, например, французское? Кронштадт худо укреплен. У нас нет панцирных судов. Начальство морское после Крымской войны мало заботилось о флоте. Есть ли у нас нарезные пушки и много ли их? Финансы наши в крайнем упадке.

15 апреля 1863 года, понедельник

Снег. Тепла два градуса, ужасная слякоть. Толки, бесконечные толки о том: будет ли или не будет война? Я постоянно повторяю одну мысль, что возможность войны много зависит от нашего поведения, то есть от той энергии, с какою мы будем показывать, что мы войны не желаем, но и не боимся ее. Впрочем, не слишком ли далеко зашел Наполеон, чтобы возвратиться назад? И не слишком ли велики интересы Англии и других держав, чтобы втянуть его в войну, которая может кончиться одним из двух: ослаблением его или России. В таком случае, разумеется, война неизбежна.

Настроение умов у нас, мне кажется, хорошо: нет самохвальства, которым мы часто отличались, но нет и уныния, хотя все сознают, что воина предстоит трудная и нам угрожают большие опасности. Как-то все понимают, что здесь дело идет о том, чтобы быть или не быть.

16 апреля 1863 года, вторник

Второй раз получил от инспектора Римско-католической академии извещение, что лекций по моему предмету не будет…

17 апреля 1863 года, среда

Восемь часов вечера. Сейчас принесли указ об отмене телесных наказаний. Это составит эпоху в истории русского народа.

Вечером иллюминация. Невский проспект буквально был залит народом и экипажами. Я дошел кое-как или, лучше сказать, донесен был толпою до Думы; далее идти было невозможно: сплошная стена народа, еле-еле подвигавшаяся вперед, и страшная теснота вокруг заставили меня решительно возвратиться вспять. Я все думал, не поедет ли государь, — мне хотелось дождаться его. Но было уже десять часов, а его не было.

Иллюминация была блистательная. Особенно хорошо были иллюминованы дома Бенардаки, Кокорева, Гостиный двор, Дума и проч. В трех местах гремела музыка. В народе соблюдался удивительный порядок и благопристойность. Вмешательства полиции ни малейшего. Пьяных я не видал ни одного.

18 апреля 1863 года, четверг

Множество адресов от разных сословий с изъявлением патриотических чувств. Замечателен адрес старообрядцев:

Слава Богу! Речь государя к депутациям превосходна: спокойствие, умеренность и твердость. В Европе увидят, что новая война с Россией не будет похожа на Крымскую.

Говорили об адресе финляндцев, но в печати его нет. Жаль, если это только слух. Швеция вооружается не на шутку, грозя отнять у нас Финляндию и чуть ли не Петербург.

19 апреля 1863 года, пятница

Из адресов едва ли не самый лучший — старообрядцев и самый неудачный — Московского университета.

В Москве 17-го был невыразимый народный энтузиазм. Народ потребовал, чтобы молебен был отслужен на площади против окон тех комнат дворца, где родился государь. Народ пал на колени и молился за Россию и государя с глубоким чувством. Очевидцы говорят, что это было зрелище великолепное и трогательное.

Вечером 17-го здесь в театре происходила также манифестация. Играли “Жизнь за царя”. Тут не было конца восторженным кликам, рукоплесканиям. В театре, между прочим, был английский курьер, накануне приехавший с депешами к своему послу. Он был изумлен выражением всеобщего восторга, который не должен бы удивить англичанина, и сказал, что он будет бояться рассказывать об этом в Лондоне, потому что там этому не поверят.

20 апреля 1863 года, суббота

Заседание в Академии…

В Академии то же и то же: ловля мух и комаров. Адрес здешних старообрядцев очень хорош. Зато Московский университет отличился каким-то школярным витийством.

22 апреля 1863 года, понедельник

Поутру ездил в Смольный монастырь поздравить Леонтьеву с ее 25-летием службы. Она была тронута этою вежливостью и просила меня на вечер. Вечер был очень оживлен. Тут встретил я многих из моих смольных слушательниц, от которых

наслушался множество любезностей и воспоминаний. Ведь то была, в самом деле, моя лирическая эпоха, и промелькнуло много приятных дней в кругу этих развитых, милых, неиспорченных женских существ. Я воротился домой во втором часу.

23 апреля 1863 года, вторник

От 7 градусов тепла погода перешла к жару. В Летнем саду земля опушается травкою, на кустарниках начинают пробиваться листья, но большие деревья, как опытнейшие, стоят угрюмо, обнаженные, как бы боясь довериться ненадежной здешней весне.

Возрождаются некоторые надежды на мир. Замечательна, между прочим, сегодняшняя телеграмма, извещающая, что шведский сейм решительно отвергнул всякую мысль о помощи Польше.

24 апреля 1863 года, среда

Я за литературу готов стоять, но еще более за общество.

25 апреля 1863 года, четверг

Всеобщее негодование на слабость нашего управления в Варшаве. В самом деле, город на военном положении, а там, как и во всей Польше, главная правительственная власть в руках революционного комитета. Что за нелепость! Полиция состоит из поляков. Русский элемент совершенно подавлен. Все русские терпят неслыханные оскорбления перед глазами великого князя Константина Николаевича. А главное, по причине совершенного бессилия нашего правительства восстание затягивается более и более и дает Европе повод вмешиваться.

Крестьяне в Динабургском уезде сами решились расправиться с бунтующими помещиками. В имении Платера они наделали пропасть беспорядков. Те же стремления обнаруживаются и в других западных губерниях. Да что же и делать крестьянам? Их душит революционный комитет, а правительство не оказывает им защиты.

Самарское дворянство постановило приговор: вызвать из-за границы, и особенно из Парижа, наших путешественников, которые терпят там всяческие оскорбления русского имени и все-таки продолжают там жить.

Встретил у католической церкви похороны митрополита Жилинского, который на днях умер.

Вечером был Сухомлинов, который едет в Малороссию, по поручению министра, собирать какие-то сведения.

26 апреля 1863 года, пятница

Польские студенты и гимназисты сожгли Горыгорецкое училище, перерезав

прежде инвалидную команду.

В Варшаве царствует совершенная анархия. Если есть там тень порядка, то ею обязаны мы революционному комитету, а никак не нашему правительству, которое, однако, держит город в осадном положении. Полиция там состоит из поляков.

Против варшавского управления общее негодование.

Теперь знакомые не спрашивают при встрече друг друга: здоровы ли вы? — а: война или мир?

Назимова, говорят, заменяют Муравьевым-Карским.

27 апреля 1863 года, суббота

Претензии человека — претензии полубога, если не Бога, а судьба его такая же, как последнего червя. Не странно ли это?

Заседание в Академии и факультетском собрании. Говорят о странном адресе войска Донского. Они собирались в числе сорока полков, снарядились совершенно на бой и выступили к пределам своей земли, послав всеподданнейше представить государю, что они готовы: куда он повелит им идти?

28 апреля 1863 года, воскресенье

Зашел к Княжевичу. Там услышал весьма неприятную новость, что наших наголову разбили поляки. Нашими начальствовал Витгенштейн.

Между кадетами какого-то корпуса открыли несколько человек, которые приготовляли порох для поляков.

В Витебской губернии разграблена казенная почта.

Это была огромная ошибка, что Константин Николаевич позволил полякам безнаказанно оскорблять русских — кидать в них грязью, даже плевать на солдат и офицеров. Это, конечно, заставило общественное мнение в Европе сильно усомниться в праве нашем на Польшу, в праве, не только не защищаемом, но явно нами самими не признаваемом. А с другой стороны, оно придало полякам бодрости, самоуверенности; нам же всем показало крайнюю слабость нашего правительства и утвердило в мысли, что нечего рассчитывать на его благоразумие и силу.

30 апреля 1863 года, вторник

Разрешил давно и неприятно занимавшее меня недоумение. Пребывание мое в Римско-католической академии, по нынешним обстоятельствам, с каждым днем становилось для меня тяжелее, фальшивее. Не то чтобы в слушателях или начальстве я встретил что-нибудь неприязненное себе или русскому элементу: напротив, я лично продолжал пользоваться, как и во все время моей службы, отличным расположением тех и другого. Что касается до русского элемента, то, по крайней мере наружно, ни одним словом, ни мановением, так сказать, никто из них

тоже не выразил ничего враждебного. Что же там происходит у них в сердцах — я не имею ни права, ни возможности знать этого и допытываться. Но все-таки отношения наши не могли не быть странными? — тем более что по конкордату ни один православный-преподаватель не должен быть в академии. Я оставался там один и был удерживаем, так сказать, насильно самими академистами, которые не раз на мои просьбы уволить меня отвечали мне самыми жаркими просьбами не оставлять их. Между тем на днях я два раза получил от инспектора извещение, что лекций моих в такой-то день не будет. Потом я раза три сам не пошел на лекцию. Я хотел спросить совета у директора департамента иностранных исповеданий графа Сиверса. Но этот не захотел меня принять, когда я два раза к нему приходил. Что мне оставалось делать? Подать прямо в отставку я считал неловким. Я придумал написать инспектору следующее письмо:

“По не зависящим от меня причинам и, к сожалению моему, не мог читать уже несколько раз лекций в Римско-католической академии. Наступившие за сим экзамены в университете для студентов, допущенных к ним по закрытии последнего, и усиление испытаний для домашних учителей и учительниц делают для меня совершенно невозможным в в настоящее время посвящать труды мои академии. Дабы такая остановка не причинила для последней какого-либо неудобства, я честь имею уведомить вас, милостивый государь, о вышесказанном, с тем, что не признает ли начальство академии полезным возложить преподавание русской словесности вместо меня на кого-либо другого”.

Это письмо я сегодня и отправил к инспектору Вожинскому.

1 мая 1863 года, среда

Весь почти апрель был очень хорош: тепло и солнце. Вот и май, и начало его также хорошо. Деревья видимо начинают опушаться молодою зеленью, даже большие начинают понемножку выходить из скептического положения и больше доверять ласковой улыбке солнца. Что будет дальше и не заплатится ли нам за это в конце мая или в июне чем-нибудь вроде 7 градусов тепла или страшного северо-восточного дуновения — это мы после узнаем, а теперь что хорошо, то хорошо. А у нас еще нет и помина о даче.

2 мая 1863 года, четверг

Заседание в Академии, экзамены гувернанток. Вечером заседание факультета у попечителя для извещения о предстоящем открытии университета. Я, кажется, пока остаюсь.

Весы, по-видимому, склоняются на мир. Англия и Франция, особенно последняя, сильно смягчили тон своих настояний. Россель объявил в парламенте, что войны не будет. Швеция, получив от Финляндии объявление, что та вовсе не желает отложения от России, дала знать, что она не имеет повода к войне.

3 мая 1863 года, пятница

Заседание в Академии наук. Тут же заседание в комиссии для присуждения Уваровских премий. Я читал мой отчет о двух комедиях, из которых присуживал премию комедии Островского “Грех да беда на кого не живет”. Другие члены комиссии, не знаю почему, кажется, не хотели дать ему премии.

Майков вечером читал у меня свою пьесу “Смерть Люция”. Вещь истинно прекрасная.

4 мая 1863 года, суббота

Что же такое жизнь, когда лучшая из добродетелей есть презрение жизни, а учение, проповедующее презрение, это есть высшая степень мудрости.

Я не знаю, в жизни и судьбе человеческой есть что-то столь непрочное, что кажется невозможным считать их за что-нибудь серьезное. Право, все похоже на обман, иллюзию, на фантасмагорию. Существенная сторона жизни дает себя чувствовать только страданиями, и потому-то первый закон для всего живущего и самое решительное из его стремлений есть избегать страданий.

Человек постоянно опасается человека. Между умными людьми эти опасения особенно обыкновенны. Каждый из них очень хорошо знает и лживость другого и способность его вредить или гадить ближнему.

Обмануть вовсе не считается стыдным: стыдно быть обманутым. Первое всегда считается признаком ума, ловкости; второе означает воронью простоту, тупость, слабоумие.

Сколько раз я был наказан за пренебрежение предосторожностью в обращении с людьми!..

Человек одарен особенною способностью запутывать и усложнять самые простые вещи. Иному хочется показаться во что бы то ни было умнее других, и он, как говорится, из кожи лезет в изобретении разных утонченностей, соображений, воззрений и проч.

5 мая 1863 года, воскресенье

Главное, многому, что считается важным, не должно придавать важности.

У ректора Римско-католической академии епископа Берестневича, который на днях приезжал ко мне и не застал меня дома. Он самым убедительным образом просил меня не покидать академии.

Все еще колеблются политические дела между миром и войною. Восстание не только не прекращается, но фанатизм поляков, кажется, возрастает. Многого публика ожидает от Муравьева, назначенного на место Назимова.

Великим князем продолжают быть сильно недовольны.

6 мая 1863 года, понедельник

Опять тревоги, сомнения, беспокойства. Меньше и меньше обращать внимания на весь этот вздор, которому значение дается единственно нашим малодушием в подрыв нравственной свободе.

10 мая 1863 года, пятница

Неудачная попытка отыскать дачу. Все или заняты (на Аптекарском острове), или непомерных цен.

Николай Николаевич Кологривов неожиданно из Парижа. Он говорит, что там вовсе нет никаких оскорблений русским, что журналы ругают нас, но живущие в Париже не терпят ничего похожего на оскорбление. В обществе там сочувствуют полякам, о которых они не имеют ни малейшего понятия, равно как и о России, и только.

13 мая 1863 года, понедельник

К какому-то отставному действительному статскому советнику Гордиенко ночью на даче за Лесным Корпусом в окошко влез кто-то с кинжалом и с пистолетом в руках, и когда хозяин проснулся и бросился на разбойника, то последний нанес ему 11 ран кинжалом; пистолет хозяин успел выбить у него из рук. Умы в настоящую минуту так настроены против поляков, что и в этом ночном разбое видят дело рук польских повстанцев.

Ездил смотреть дачу на Аптекарском острове, в Аптекарской улице, дом Миллер. Дача недурна, и окрестности чисты и зелены, хотя довольно пустынны. Все бы ничего, но дорого — 300 рублей. Но придется нанять. У меня собственно как-то очень охладело влечение к здешней так называемой природе, так называемому лету и к так называемым дачам; но пусть семья не лишается некоторого удобства и удовольствия, пока я в силах им доставить это.

14 мая 1863 года, вторник

Нестроение, путаница, всеобщая тревожность усиливается день ото дня. В Москве, говорят, сильное волнение по случаю каких-то манифестаций со стороны революционного варшавского комитета. По всей России возмутительные прокламации летают тучами и иногда производят даже желаемое действие, как, например, в Пензенской губернии, откуда на днях князю Оболенскому писали, что крестьяне, прочитав прокламацию о какой-то новой неслыханной, обещаемой им, воле, об отдаче им всей земли и проч., отказались платить оброк, работать на помещика и даже на себя. В Казани какой-то бежавший студент произвел настоящий бунт между студентами и другими отчаянными либералами и пр. и пр. В Петербурге тоже никто не надеется на безопасность в течение лета.

Что же правительство? Ничего. Никакой энергии, никакой

предусмотрительности, никаких мер, выходящих из обыкновенной полицейской рутины и соответствующих чрезвычайности обстоятельств. Все это видят, все на это негодуют.

15 мая 1863 года, среда

Сильное раздумье насчет дачи. Хорошо ли, благоразумно ли при этой сумятице и отсутствии безопасности разбиваться на два жилища. Здесь могут обокрасть, а там могут на безлюдье, .особенно в августе, забраться в комнаты.

16 мая 1863 года, четверг

В 103 номере “Московских ведомостей” помещена весьма сильная статья об унижении, которое терпит Россия со стороны европейских держав, и о том, как ей необходимы действительные и неотлагательные меры усиления и организования своих защитительных сил. Приводится мысль, возбужденная в Москве, об образовании городового ополчения для охранения внутренней безопасности. Надобно всячески будить правительство и пользоваться одушевлением народа.

17 мая 1863 года, пятница

В конце концов, однако, в этом хаосе мнений и понятий надобно мужественно и твердо держаться начала, которое корнями вросло в твое сердце и с которым согласны все выводы твоего ума. А там пусть будет что будет.

Говорят, мы живем в переходное время. Каждый век есть переходное время. Дело в том, чтобы жить и действовать, — результаты же складываются всегда не так, как думают живущие и действующие. Идти слепо за потоком времени так же глупо, как и противодействовать ему во всем. Всему существующему грозит разрушение. Но существующее не должно уступать своих прав без боя. Его права состоят в том, что оно существует. Это я и хотел, между прочим, выразить в статье моей “Молодое поколение”.

18 мая 1863 года, суббота

У графа Сиверса. О Римско-католической академии. Граф просил меня не оставлять академии, что, впрочем, и было уже мною решено после объяснения с епископом-ректором. Я долгом счел засвидетельствовать, что в продолжение моей 22-летней службы в этой академии я не заметил ни в воспитанниках, ни в служащих ничего враждебного против России. Мои личные отношения с ними были всегда самые лучшие.

19 мая 1863 года, воскресенье

Диспут Бильбасова на магистерскую степень. Магистрант защищался очень

хорошо. Посетители все почти были студенты. Сторонних очень мало.

21 мая 1863 года, вторник

Заседание в факультете. Принято пока мнение Куторги о неразделении факультета и другом способе специализиро-вания учебных занятий, — говорю “пока”, потому что окончательное обсуждение этого вопроса еще будет.

Встретился с Ф.И.Тютчевым.

— Война или мир?

— Война, без всякого сомнения, — отвечал он. А он имеет случаи кое-что знать о подобных вещах и при дворе и в министерстве. [Тютчев был председателем петербургского комитета иностранной цензуры.]

Встретил также Малеина, ныне управляющего департаментом в министерстве иностранных дел.

— Война или мир?

— Война, без малейшего сомнения, — отвечал он.

22 мая 1863 года, среда

Какая щедрость природы — отпустила нам тепла на 7R.

Мы имеем весьма важное преимущество перед нападающими на нас — преимущество обороны. Нам не нужно одерживать побед; нам надобно только стойко и успешно обороняться. Отбить врага, оттолкнуть его от себя и удержаться в своей позиции — будет великою для нас победою.

Пока ты не приобретешь достаточно силы, чтобы довольствоваться самим собою, во всем опираться только на самого себя, до тех пор ты совершенно ничего не сделал для своей нравственной безопасности, свободы и чести.

Все имеющее на нас извне влияние получает значение и силу только от нашей нравственной слабости.

Привычка предполагать из возможного всегда худшее до того срослась со мною, что она даже не беспокоит меня, Иногда мне случалось счастливо в этом обманываться. Но тогда эту случайность я принимал как сюрприз, как подарок, и оттого мне не было хуже. Если же мои опасения сбывались, то я имел ту выгоду, что не был застигнут врасплох, и хотя зло от того не переставало быть злом, но как-то утешительно для самолюбия видеть, что нас не поймали на легковерии, что нас, как говорится, не успели надуть.

23 мая 1863 года, четверг

Чему научает знание жизни? Не слишком доверять жизни. Чему научает знание людей? Не слишком доверять людям. Чему научает вообще знание? Не слишком

доверять знанию.

Экзамен из философии в университете. Жалчайшая философия, то есть логика и психология. Жалчайший экзамен. Студенты ничего не смыслят. Профессор Полисадов прйтворяется, будто он что-нибудь знает, и ставит им по “четыре”, чем они очень недовольны и просят о “пяти”. После я экзаменовал девиц.

Вечером был француз из Саверна с поклоном от Шаля. Он третьего дня приехал сюда, уверяет, что войны не будет. Не знаю, на чем он это основывает. Он, впрочем, не любитель Польши и революции, любит Россию, по словам его, и говорит хорошо по-русски. Зовут его Сеговиц.

24 мая 1863 года, пятница

Объяснение с Деляновым по поводу экзамена на звание гувернанток. Очень глупо. Объяснение с моей стороны было неполное, хотя и сильное.

25 мая 1863 года, суббота

Ниспровержение верований и основных нравственных истин, составляющих главные отличительные черты нашего времени, могут ли ручаться за установление новых, лучших? Дело не в том, что *такие-то* верования и *такие-то* истины уничтожаются, а в том, что уничтожаются вообще какие бы то ни было верования и истины, то есть уничтожается самый принцип, а не проявления его. Тут нет уже речи о замене одних другими, а о конечном разрушении. Скептицизм и материализм делают громадные успехи: все хотят заменить *социальными* отношениями без пособия нравственных условий и начал. Условия эти и начала подчиняются социальным, а не наоборот.

26 мая 1863 года, воскресенье

Философские исследования о литературе.

Поляки совершают неслыханные варварства над русскими пленными. На днях сюда привезли солдата, попавшего к ним в руки, а потом как-то спасшегося: у него отрезаны нос, уши, язык, губы. Что ж это такое? Люди ли это? Но что говорить о людях? Какой зверь может сравниться с человеком в изобретении зла и мерзостей? Случаи, подобные тому, о котором я сейчас сказал, не один, не два, их сотни. С одних они сдирали с живых кожу и выворачивали на груди, наподобие мундирных отворотов; других зарывали живых в землю и пр. Своих они тоже мучают и вешают, если не найдут в них готовности пристать к бунту. Всего лучше, что в Европе все эти ужасы приписываются русским, поляки же там называются героями, святыми и пр. и пр.

Слабость характера вызывает и поощряет насилие.

Самообладание, укрощение себя.

27 мая 1863 года, понедельник

Разлад между мыслию и жизнию — вот откуда происходит большая часть наших бедствий и всяческих нестроений. Мысль всегда стремится к идеалу — не к тому, что есть, а к тому, что может и что должно быть; действительность никак этому не покоряется. Мысль, насилующая действительность, никак этому не покоряется. Мысль, насилующая действительность, возбуждает борьбу. Чем мысль отважнее, идеальнее, непокорливее, тем неизбежнее победа над ней действительности. Зло, которое от того происходит, падает всею тяжестью на нас, не умевших примирить мысли с действительностью, хотя бы то посредством подчинения одного деятеля другому.

28 мая 1863 года, вторник

В апрельской книжке журнала "Время" напечатана статья под названием "Роковой вопрос" и подписанная *Русский*, самого непозволительного свойства. В ней поляки восхвалены, названы народом цивилизированным, а русские разруганы и названы варварами. Статья эта не только противна национальному нашему чувству, но и состоит из лжей.

Публика изумлена появлением ее в печати. Цеэ [председатель петербургского цензурного комитета] отставлен.

Язык до Киева доводит, а усилие или твердая воля — до цели.

Переехали на дачу на Аптекарский остров, в Аптекарский переулок,- в дом Миллер. Вечером, в восемь часов, я приехал на дачу. Был сильный, но летний прекрасный, теплый дождь. Я очень доволен моей дачей. Помещение удобно. Кругом сады, к ней принадлежащие, где свободно и уединенно можно гулять, сколько душе угодно. Рядом, в другом доме той же хозяйки, живет наш добрый старинный друг К.И.Рудницкий.

29 мая 1863 года, среда

Утром обошел сад. Всмотрелся еще больше в свою дачу и еще больше нашел причин быть ею довольным.

Обедал у Делянова, где, между прочим, были Погодин, Н.Ф.Павлов, М.О.Коялович. Разумеется, разговор все обращался к одному предмету — к польским делам. Коялович был недавно в Вильно и рассказывает удивительные вещи про нелепое управление Назимова. Да это просто дурак. Хорош, впрочем, и правитель в Варшаве. Вообще видно, что правительство отлично содействовало развитию восстания в Польше своею крайней слабостью и непринятием никаких мер. Немудрено, что народ потерял, наконец, надежду на защиту правительства, начал полагаться больше сам на себя, чем на него, и даже расправляться с бунтовщиками по-своему.

Журнал "Время" запрещен. Огромная ошибка правительства, то есть министра внутренних дел. Это запрещение даст благовидный повод нашим врагам говорить,

что правительство употребляет насильственные средства, чтобы заставить замолчать истину, и проч.

Еще нелепее распоряжение Валуева. На место Цеэ назначен председателем цензурного комитета некто Турунов, чиновник министерства без всякого значения в обществе, ничем не соприкасающийся к литературе, не имеющий никакого понятия о таких щекотливых делах, как дела цензуры. Как запрещение “Времени”, так и это назначение произвели весьма неважное впечатление на публику.

30 мая 1863 года, четверг

М.Н.Муравьев распоряжается решительно. Три ксендза расстреляны в Вильно. В Динабурге тоже расстрелян граф Платер, в Ковно — Моль.

Толки о войне как-то затихли, между тем все уверены в ее неизбежности.

31 мая 1863 года, пятница

Какое неблагородное, мстительное существо этот Валуев. Ему называли меня для замены Цеэ; он не согласился, без сомнения помня, что я явился перед ним не раболепным чиновником, а человеком несколько самостоятельного образа мыслей и независимого характера, и назначил на этот важный в настоящее время пост человека совершенно ничтожного, то есть он принес общественное дело в жертву своему глупому и мелкому самолюбию. Вот они, наши государственные люди! Мудрено ли, что в критические минуты народ инстинктивно чувствует к ним глубокое недоверие и полагается не на них, а на свои собственные силы.

Я, конечно, не отказался бы от председательства в цензурном комитете, хотя тут, кроме опасностей и страшных трудов, для меня совершенно ничего нет. Дело в том, что я чувствую уверенность в себе повести дела цензурные лучше какого-нибудь Цеэ или Турунова. За меня моя опытность, некоторое значение в обществе, знание литературных дел, мой характер и политический образ мыслей. Все это Валуеву очень хорошо известно, но, повторяю, он захотел принести в жертву важное общественное дело своему глупому и мелкому самолюбию.

Да разве же я оспаривал его министерское значение, когда был с ним в сношениях? Может ли он обвинить меня в этой глупости?

Вечером был Н.Ф.Павлов из Москвы.

7 июня 1863 года, суббота

Заседание в Академии наук. Спор Погодина с Срезневским. Первый доказывал, по общепринятому мнению, что Кирилл и Мефодий — настоящие изобретатели славянского письма и переводчики священного Писания. Второй, основываясь на сказании черноризца Храбра, утверждал, что славяне до Кирилла и Мефодия, по принятии христианства, писали уже греческими буквами и имели евангелие и псалтырь в переводе на славянском языке. Оба, как обыкновенно, остались при

своих мнениях.

6 июня 1863 года, четверг

Заседание в Академии. Диспут Л.Н.Майкова на степень магистра. Я был оппонентом вместе с Срезневским. Диспутант защищался несколько вяло.

Обедал у меня доктор Завадский. Он большей частью лечил дам, большой охотник до них и много рассказывал любопытных и скандалезных о них анекдотов.

Вечером заехал Гончаров. Он слагает с себя редакторство “Северной почты” и делается членом Совета по делам печати. Редактором на место его назначают какого-то Каменского. Итак, в течение года переменилось уже три редактора.

7 июня 1863 года, пятница

Долго беседовал с Погодиным, заехав к нему поутру. По поручению государя он написал статью в ответ на какую-то наглую и грубую на Россию клевету, напечатанную во французском журнале. Завтра он покажет ее князю Горчакову. Он написал также письмо к Гарибальди, которое мне прочитал. Письмо очень умно и благородно написано. В нем он увещевает Гарибальди не смешивать своего чистого и прекрасного имени с таким грязным и гадким делом, как польское восстание, причем объясняет ему кратко всю лживость распущенных поляками по Европе слухов о себе и о России.

Заседание в Академии наук.

В польском банке, в Варшаве, украдено 3 000 700 рублей, в числе которых золотом триста тысяч.

В Казанском университете открыто настоящее скопище самых гнусных революционеров. Там производилась, говорят, фабрикация всех прокламаций и проч. Туда для исследования посланы Тимашев и Жданов.

8 июня 1863 года, суббота

Экзамен в Римско-католической академии, то есть проформа экзамена. В настоящее время особенно это пустая форма. Все эти юные ксендзы смотрят до лесу и, кажется, охотно удрали бы туда, если бы их не придерживала здесь власть. Впрочем, они по наружности весьма кроткие и благомыслящие создания. Но было бы очень простодушно верить их сердцу, так же как поведению. Вот, например, несмотря на сдержанность последнего, сегодня сказался дух полонизма и в них. Когда я перед экзаменом зашел в канцелярию, чтобы отдохнуть там с минуту, ко мне явился один из моих слушателей, неся в руке билеты, обернутые в пакет и запечатанные *черною* печатью. Печать эта меня удивила тем более, что билетов и запечатывать нет никакой надобности: их обыкновенно кладут на стол перед ректором просто сложенными. Секретарь, увидев это, сказал: “К чему эта печать? Что это, демонстрация, что ли? Не надо этого!” Я подтвердил его слова о

ненужности запечатывания. Секретарь взял пакет, разорвал его и бросил с печатью.

Вот другое: одному из юношей досталось отвечать о состоянии образованности русской в татарский период. Тут, между прочим, он без всякой надобности привел известное письмо новгородского архиепископа Геннадия о необходимости любви и прочитал наизусть очень бойко и с видимым удовольствием то место, где Геннадий говорит, с каким трудом он учит мужиков грамоте, чтобы, по недостатку людей, сделать из них церковников. Я выслушал это весьма равнодушно и сказал: “Так у всякого народа начальные периоды их умственного развития бывают трудны и мрачны”. Прелат, председательствовавший на экзамене, прибавил к этому: “Да! Так было везде, в Польше, было, например, еще хуже”.

Отослал письмо к Каткову. Непостижимое диво! Статью мою он до сих пор не печатает, а она нужна именно ко времени. Я написал письмо учтивое, но далеко не дружеское, прося его возвратить мне статью назад. Погодин, которому я выражал мое неудовольствие на Каткова по этому поводу, говорит, что в редакции катковских изданий свирепствует страшная неурядица и задержки всякого рода. Вот, например, “Русского вестника” вышли две книжки только, а теперь половина шестого месяца. Говорит, однако, что третий номер уже готов. Как милостиво!

Фелинский, варшавский архиепископ, привезен сюда и оставлен в Гатчине. В Римско-католической академии мне говорили, что он за то вызван сюда, что не послушался великого князя, который требовал от него не делать уличных процессий в праздник Христова тела, так как город находится на военном положении, и от скопления народа могло произойти столкновение, и многие могли пострадать. Мне кажется, было бы хорошо, если бы великий князь спросил прежде у Фелинского, ручается ли он, что в случае дозволения процессии никаких беспорядков не произойдет.

Меры Муравьева начинают приносить плоды: восстание в губерниях, ему вверенных, почти прекращено. Его отношение к епископу Красинскому и правила о том, как должны поступать власти в губерниях, объявленных на военном положении, превосходны.

Все показывает, что государь твердо решился на войну. Пора, пора действовать в духе одной системы, не сворачивая в сторону ни на одну линию, а система эта не может быть иная, как война.

9 июня 1863 года, воскресенье

Поутру у Фукса, а потом у Тройницкого.

Редактором “Северной почты” сделан какой-то Каменский.

Муравьев писал к министру внутренних дел, что хотя дела в западных губерниях пошли очень хорошо, но полного прекращения восстания нельзя ожидать, пока в Царстве Польском управление будет идти так, как ныне. Никто, как кажется, ума не приложит о том, что значит там поведение великого князя.

Фелинский привезен сюда не за процессию, а за то, что он обнародовал

известное письмо свое государю. В “Le Nord” же пишут, что за то, что он требовал тело Канарского для совершения над ним почестей погребения. Итак, католики не считают бунт преступлением. Вероятно, они хотели провозгласить Канарского мучеником.

Министр, по-видимому, сам находит, что поступил дурно, запретив “Время”. Ему кто-то, вероятно из чиновников, сказал, что “Время” вообще издается в нехорошем направлении, тогда как в этом отношении оно в тысячу раз является меньшим злом, чем “Современник” и “Русское слово”, которые были только приостановлены на восемь месяцев. Министр не позаботился спросить об этом у людей, которые официально наблюдают за направлением периодической литературы. Вот теперь он хочет спрашивать мнения у Совета по делам печати, в котором и делает председателем Тройницкого. Диво! Спустя лето в лес по малину, как говорит пословица. А Совет ведь был у него под боком.

Был Виткин. Он живет через дом от меня.

10 июня 1863 года, понедельник

Вчера был у меня Страхов, автор несчастной статьи “Роковой вопрос”, напечатанной во “Времени”. Он ужасно смущен; просил у меня совета и, по возможности, заступничества. Я выразил ему мое прискорбие, что он написал эту статью, что оправдать ее нет никакой возможности, что статья нехорошая. Он не защищался и не опровергал этого, но приводил в оправдание свое одно то, что он совсем не хотел оскорблять Россию, которой он чувствует себя сыном, что его намерение было, напротив, убедить поляков не гордиться “своими преимуществами, своей опередившей нас цивилизацией” и пр., но что он только *не вполне* выразил эту мысль, *не досказал* ее. Я на это ответил ему, что все это может быть, а что все-таки никак не следовало ему печатать такую невысказанную мысль, что впечатление, ею сделанное, не могло быть иное, как то, какое сделано, и что в настоящее время особенно подобные вещи не могут быть терпимы. Умы в волнении, народ раздражен до крайности, правительство озадачено и затруднено; как же тут не быть крайне осторожным в печатном слове? Бедный Страхов все это сделает *теперь*. Он, по его словам, более всего в отчаянии потому, что его считают каким-то не русским. “Да! — отвечал я. — Знаете ли, от кого первого узнал я о существовании вашей статьи? От поляка, который объявил мне о ней с некоторого рода торжеством и радостью”.

Далее Страхов спросил меня, что ему делать? Я сказал, что так как власти оставляют его в покое, то лучше всего дать время остынуть этому впечатлению и после найти случай объясниться и объяснить самому, что вы сделали огромную ошибку и проч.

Встретился с М.М.Достоевским, редактором “Времени”. Вот он в самом деле несчастный человек, — почти в пух разорен. Он сознает, что виноват, но ему кажется, что с ним поступлено слишком строго, что, конечно, не лишено основания, когда вспомнишь, что “Современник” и “Русское слово” были только *приостановлены*, а не запрещены вовсе, а эти журналы постоянно выражали — и часто без всяких околичностей — самые враждебные идеи не только правительству,

но всякому общественному и нравственному порядку. “Время” никогда не допускало подобного бесчинства, и направление его было более либерально-консервативное. Я утешал Достоевского тем, что есть причины полагать, что запрещение и этого журнала будет также временное…

Сознание собственной ошибки есть тоже несчастие, и гораздо иногда большее, чем другие несчастия, именно потому, что это наша ошибка. Но и его надобно снести великодушно, как все прочее.

Последний девичий экзамен в университете.

11 июня 1863 года, вторник.

Странное сближение. В разговоре с Тройницким я, между прочим, сказал: “Нет худа без добра. Печальные нынешние обстоятельства послужили поводом высказаться великой нашей национальной мысли, что союз народа с государем несокрушимо крепок, и эти печали укрепили его еще более”. — “Знаете ли, — отвечал он, — что эту самую мысль и почти слово в слово так же высказал государь при одном моем докладе”.

Последнее заседание Комиссии по делам книгопечатания для подписания всего дела и представления проекта министру. Явились только я и Бычков.

Заезжал к Погодину. Там нашел Делянова и Кокорева, с которым и познакомился. Ничего! Мужик ражий, с очень широкою окладистою бородою, должно быть, судя по физиономии, великий плутище, как и подобает всякому самородному русскому уму. Известно, что Кокорев очень умный человек, приобретший огромное состояние. Как он должен смеяться, увидев, например, такого человека, как я, который слывет тоже не дураком и который, однако, целую жизнь свою проводит за учеными пустяками, бесполезными для него самого и для других. Погодин большой приятель Кокорева; но это совсем другой человек. Он с наукою соединил и искусство добывания денег. Одно уже то, что музеум свой, стоящий тысяч двадцать, он продал казне за сто пятьдесят тысяч рублей, делает ему величайшую честь. Вот настоящие сильные умы русского государства.

Погодин возил к Горчакову свою статью, написанную в ответ на французские гнусные клеветы. Князь одобрил ее и решил напечатать сначала по-русски в “Русском инвалиде” или “Московских ведомостях”, а потом перевести на французский язык и тиснуть в “Journal de St.-Petersbourg”. 0 письме к Гарибальди он сказал, что надобно немного смягчить в нем похвалы ему.

На замечание Погодина о непостижимом поведении великого князя в Варшаве и о том, что публика тут подозревает какое-то предательство, князь отвечал, что предательства никакого нет. Тютчеву же он говорил, что великий князь действует по инструкциям, отсюда посылаемым, которые велят ничего не предпринимать крутого, ибо это может произвести какой-нибудь решительный взрыв в Варшаве и тем побудить европейские державы двинуться тотчас в Польшу, а мы должны всячески выиграть перед войной время, необходимое для окончательных приготовлений.

12 июня 1863 года, среда

Вчера прегнусное расположение духа. Сегодня тоже. Вечером беседа со Страховым. Я все-таки советовал ему не давать пока никаких объяснений и ждать, пока все уляжется. Да и объяснять притом тут нечего: он виноват кругом, — если не намерением, то делом.

13 июня 1863 года, четверг

Есть разные боязни у человека, потому что ему угрожают многие невзгоды. Но самая главная боязнь есть боязнь смерти. Кто победит это — тому не страшны уже никакие боязни.

Заседание в Академии. Погодин читал свой ответ на французскую статью, помещенную в “Revue des deux mondes”. Отсюда мы пошли с ним ко мне, где он посидел немного и взял у меня свои бумаги.

Вечером Гончаров и небольшая прогулка у Невки.

15 июня 1863 года, суббота

Заседание в Академии наук.

16 июня 1863 года, воскресенье

Современная цивилизация есть искусство, посредством которого люди могут жить вместе, не впуская когтей друг в друга, а только держа их наготове в мягкой шерсти.

Человек по своей натуре есть враг другого человека. Но он как разумное существо понимает, что беспрерывно нападать на другого значило бы в то же время беспрерывно терпеть нападение, что, конечно, очень неприятно, и потому он старается или скрыть свою вражду, или ослабить ее так, чтобы не было беспрестанных нападений.

По современным учениям знание должно заменять верование. Но можно ли вполне доверять знанию? Можно, говорят материалисты, если вы ограничите знание пределами видимости, пределами опыта. Но в состоянии ли человек удовольствоваться этим ограниченным знанием?

Поутру заходил к Редкину, который живет от меня через дом. Проговорили часа с полтора. Вспоминали о Печерине, Герцене и пр.

Возвращаясь, встретился с Тройницким, который заходил ко мне. Мы возвратились ко мне и просидели довольно долго. Он объявил мне, что Совет по делам печати будет на этой неделе собран. Члены его: я, Гончаров, Варадинов, Пржецлавский, Турунов. Председателем — он, Тройницкий. Гончаров произведен в действительные статские советники. Ну, я думаю, он очень рад. Ему давно уже

хотелось быть превосходительством.

К обеду приехали: мой верный добрый Тимофеев и художник Крамской.

18 июня 1863 года, вторник

Был поутру в городе. Заходил к Гончарову поздравить его с действительным статским советником. Он очень доволен.

19 июня 1863 года, среда

Вечером был Редким и просидел долго. После подошел Вессель, редактор “Учителя”. Он дня три как приехал из Астрахани по Волге и заезжал по пути в некоторые города. Он рассказывал, что народ в деревнях страшным образом расправляется с лицами, которых подозревает в полонизме. Недавно около Симбирска где-то крестьяне избили и изуродовали пятерых чиновников, посланных зачем-то из Петербурга, о которых они почему-то вообразили, что они поляки.

Известие о том, что семейство великого князя Константина выехало из Варшавы за границу и сам великий князь собирается тоже. Революционный комитет объявил ему, что он, после казни Канарского, не ручается более за его безопасность. Итак, приказания комитета исполняются уже и русским правительством.

20 июня 1863 года, четверг

Заседание в Академии, последнее перед каникулами.

21 июня 1863 года, пятница

К чаю пришел Гончаров. О производстве его и о назначении членом Совета по делам книгопечатания уже получен указ.

22 июня 1863 года, суббота

От Каткова ни слуху, ни духу. Хочу писать к Гилярову, чтобы он похлопотал о возвращении мне моей рукописи. Давно уже носились слухи о несносной надутости, заносчивости и несказанном высокомерии Каткова со всеми, кто имеет или имел с ним какое-нибудь сношение. Но такой грубости и неучтивости, судя по прежним моим отношениям к нему, я, правду сказать, никак не ожидал, — и это урок моему легковерию и доверию к людям. Видно, Катков, как и все наши великие люди, изнемог под бременем своего величия и не выносит его. Я имел глупость огорчиться этим, и даже сильно, так что меня несколько дней занимал его поступок, который, впрочем, и вредит мне порядочно. Статья моя должна остаться ненапечатанною, так как теперь она была бы не ко времени. А как Катков был любезен, дружелюбен ко мне и внимателен, когда я был ему нужен! Разумеется, я виноват, что верил в некоторое благородство его.

Первое заседание Совета по делам книгопечатания. Присутствовали: председатель Тройницкий, Пржецлавский, Гончаров, Варадинов, Тихомандритский, я, Похвиснев и Турунов.

Распределены были газеты и журналы для наблюдения. Мне достались “Отечественные записки” и “Русский вестник” да газет несколько, — я не определил еще, каких. Думаю взять “С.-Петербургские ведомости”, “Голос” и “Московские ведомости”.

Замечания о лицах. *Пржецлавский* — старый плут, поляк и католик в душе, но весьма искусно скрывающий свои польские и католические тенденции. Трудно теперь решить, какого направления будет он держаться по цензуре. Он всегда применялся к обстоятельствам и к тому, куда тянут сильнейшие.

Варадинов едва ли имеет какое-нибудь убеждение, кроме того, что надобно исполнять волю начальства. В нем много чиновнического: весьма сговорчив со старшими, но с другими бывает упрям, считая упрямство за твердость и кое-какие мыслишки за систему. По цензуре не будет противоречить большинству, а тем более действительным или предполагаемым желаниям лиц авторитетных.

Мой друг *И.А. Гончаров* всячески будет стараться получать исправно свои четыре тысячи и действовать осторожно, чтобы и начальство и литераторы были им довольны.

Тихомандритский — ничего.

Турунов. Мне кажется, он немного глуповат, как следует быть чиновнику, которого министр считает за слепое орудие. К нему, впрочем, надобно еще присмотреться.

Похвиснева видел лишь в первый раз и потому о нем не могу составить себе никакого понятия. Наружность его тощая, самодовольная, вертлявая, — вот и все, что видно с первого раза. Я немножко с. ним поспорил: он хотел, чтобы мы сами путешествовали в канцелярию комитета за получением журналов. Я заметил ему, что это дело сторожей, а не членов Совета. “Но можно посылать”, — возразил он.

“Кого? — спросил я. — Дайте нам людей, кого бы можно было посылать”. Он, впрочем, не настаивал.

С Туруновым тоже я не соглашался: он хотел, чтобы рассматривалась и официальная часть “Губернских ведомостей”. “На что это? — возразил я. — Губернское начальство отвечает перед министерством за все свои распоряжения и за обнародование их, и не значило ли бы наше наблюдение, что мы присваиваем себе контроль над местными областями, принадлежащими единственно министерству? Да и как может кто-либо из нас знать, что считать дозволительным или непозволительным в официальных действиях и опубликованиях губернаторов?..” Председатель принял мое мнение.

26 июня 1863 года, среда

Вечером заехал ко мне Любощинский, и мы отправились с ним к Излеру. В саду

играла музыка и бродило довольно гуляющих. Дам было, впрочем, мало. Сад прибран довольно порядочно и не уступает парижскому Шато де Флер. Потом пели цыгане; пение их мне всегда было противно, пели тирольки недурно, пели и танцевали какие-то девицы из кафе-шантана. Лучше всего был комический танец с пением какого-то француза с француженкой.

29 июня 1863 года, суббота

Вчера отправил письмо к Никите Петровичу Гилярову-Платонову страховым [т.е. заказным письмом]. Он приятель с Катковым, и я прошу его походатайствовать перед не выносящим своего величия журналистом, чтобы он возвратил мне мою статью, которая лежит у него без употребления вот уже около двух месяцев, и теперь ее печатать уже было бы несвоевременно.

Записался у Валуева, потом зашел к Тройницкому. Те же толки о войне, которая кажется неизбежной, и те же всеобщие жалобы на великого князя, которого бездействие и потворство польским революционерам поистине изумительны.

2 июля 1863 года, вторник

Слухи о войне более и более усиливаются. Мы дали уже ответ на предложение трех держав и, как говорят, в отрицательном смысле, чего и ожидать надобно было.

Революционеры варшавские доходят до неслыханного неистовства. Они запретили своим дамам носить кринолины, но когда эти не послушались, предпочитая наряд патриотизму, тогда явилось на улицах человек тридцать, носящих на себе звание революционных полицианов, и начали срывать с женщин кринолины с такою яростью, что у многих оказалось внаруже то, что тщательно скрывается под платьем.

Наша полиция смотрела на это с безмолвным спокойствием: пусть, дескать, поляки ярятся друг против друга, это им свойственно. Мне кажется, следовало бы защитить женщин против гнусного фанатизма революционного их собственных мужей, братьев и пр., чтобы показать, что мы тоже составляем правительство в Варшаве для общей безопасности и готовы оказать покровительство даже врагам нашим, когда они нуждаются в нем.

Ум человеческий любит рыться в самом себе. Он все вытаскивает оттуда на свет Божий: и чистое золото и грязь, с которою оно смешано. Надобно еще приложить много ума, чтобы переработать эту смесь и отделить годное к чему-нибудь от негодного.

3 июля 1863 года, среда

Орудие честного труда — вот что должно дать воспитание.

5 июля 1863 года, пятница

Если с вами поступлено неучтиво и вы скажете тому, кто поступил с вами так, что он невежа и скотина, — то принято ли у вас в Москве этим обижаться, или это считается там за похвалу? Ведь есть разные обычаи на .свете: что город, то норов.

На свадьбе. М.Е.Звегинцев, лишившийся тому полгода назад нежно любимой своей жены, сестры Казимиры [жены автора дневника], сегодня обрачился на гувернантке своих детей Каролине Филипповне, которая лет 10 уже живет у них в доме. Предложение ей было сделано вскоре после похорон первой жены М.Е. так что лишение одной почти совпадает с приобщением другой. Венчание происходило в церкви Инженерного замка, в которую превращена комната, где был задушен Павел.

6 июля 1863 года, суббота

Весь день угрожал дождем, хотя его и не было, но было холодно. Вечером пришел Марк, Мордвинова, и мы пошли гулять в сад графа Борха. Дачу занимает посланник французский Монтебелло. На возвратном пути нас до самого дома провожала громадная туча, угрожая нам проливным дождем. Однако угроза не исполнилась.

7 июля 1863 года, воскресенье

После обеда, не застав дома Гебгардта на Крестовском острову (дача N 29), заглянул в публичный сад, за вход куда платится по 30 копеек с рыла, как говорится в нашей серой публике. Два оркестра музыки, канаты для плясунов, цирк, какие-то декорации странного вида — все это аляповато и грубого свойства. Гулявший народ весь состоял из разных мастеровых, всероссийского мелкого купечества, немцев-ремесленников, девиц несомненного поведения и проч. Все это, впрочем, вело себя благопристойно и прилично, что, как говорят, продолжается до 12 часов. Отсюда начинается второй период увеселений и продолжается до утра. Героями этого периода выступают уже лица, сильно вкусившие даров Бахуса, или, как говаривал Петр Великий, Ивашки Хмельницкого. Тут уже начинается всякое коловратство, и человечество начинает превращаться в свинство. Я пробыл в силу около часу и уехал домой.

8 июля 1863 года, понедельник

Начало музыкальных вечеров по подписке в Аптекарском саду. Публики собралось довольно, преимущественно дам. Но вскоре пошел дождь, и многие предались бегству, в том числе и я с Казимирой, Софьей и Сашей. Наше Аптекарское гулянье приготовляется быть похожим на Павловское, только в самом уменьшенном виде: это Павловск в яичной скорлупе.

Ко мне приходил Страхов со статьей, которую он хочет напечатать в “Дне”. Она содержит в себе оправдание его “Рокового вопроса”, наделавшего столько шуму и послужившего поводом к запрещению “Времени”. Цензура московская не

пропустила этого оправдания и представила статью министру. Оправдание, правду сказать, неудачно: все оно состоит из таких отвлеченных изворотов, которые никак не в состоянии разубедить публику. Я *откровенно* сказал мое мнение и советовал автору откровенно сознаться в своей ошибке. Редактор “Дня” говорит, что он удовлетворен этой апологией. В добрый час! Странные и нелепые люди эти москвичи в своей непомерной заносчивости и высокомерии. Они думают, что публика должна верить каждому их слову, как священному писанию, и горе тем окаянным, которые вздумают усомниться в их праве на умственную диктатуру!

9 июля 1863 года, вторник

Ведь французам и англичанам придется брать штурмом не город, а целое государство. Им, особливо первым, притом нужны победы, а нам нет в них никакой надобности: для нас довольно только отразить врагов. Наполеону, например, нужно непременно напоить французов допьяна и для этого поднести им чашу с победами, — иначе он пропал, затеяв войну, которая не удовлетворила бы страсти их напиваться национальным самолюбием.

11 июля 1863 года, четверг

Каким бы широким полетом ума ни парили вы, а все должны приблизиться к одной мысли: что все, что вы знали, любили, чего надеялись, что считали важным, великим, и вы сами — все это тень, сон, ничто. Старая Соломонова мудрость, в той или другой форме с такими или другими оттенками, так или иначе ожидает вас на конце вашего поприща.

Жизнь только сама по себе, потому что она жизнь, что-нибудь значит, а не по результатам, какие из нее добываются. Добывается из нее — ничто, и больше ничего.

Сегодня, между прочим, был я свидетелем зрелища, которое произвело во мне самые живые ощущения. Отправляясь на заседание в Совет, я увидел на Царицыном лугу большое сборище народа, столы, нагруженные хлебом и водкою, полковые повозки и ящики, прямо против Павловских казарм. “Что это такое?” — спросил я у извозчика. “Это встреча павловским солдатам, возвратившимся из похода”. Мне ужасно хотелось остаться здесь и посмотреть на наших храбрых солдат, бивших поляков. Но служба, да притом до заседания мне хотелось сделать некоторые свои дела. Подъезжая к Большой Морской, я наткнулся прямо на батальоны павловцев. Впереди гремела музыка, а перед вторым батальоном звучали удалые песни; впереди солдатик отплясывал удалую пляску. Вид солдат мне чрезвычайно понравился: простые, добродушные, скромные загорелые и здоровые лица. “Что, ребята, из похода?” — спросил я одного усача с добродушнейшей физиономией. “Из похода, ваше благородие”.

Музыка, песни, развевающиеся знамена, загорелые и окуренные порохом лица храбрых солдат наших — все это сделало на меня глубокое впечатление. Я решился до заседания оставить свои дела и, сколько позволит время, побыть на площади. Сел

на первого попавшегося извозчика и велел везти себя к Царицыну лугу и приехал туда в ту самую минуту, когда батальоны вступили на площадь. Тут возвышался алтарь. Войско сделало полукаре. Знамена осенили налой с евангелием, и полукружием стояли георгиевские кавалеры вновь пожалованные, сделав ограду из штыков. Пришел священник, седовласый старик, и началось молебствие под открытым небом, при стечении многочисленного народа. День был хотя серенький, но теплый и тихий. Я дождался до конца молебна. Мне крайне хотелось главного: присутствовать при обеде или закуске солдат, прислушаться к их речам, самому поговорить с ними, но — служба. Оставалось до заседания менее получаса. Нечего делать, надобно было ехать. Но я уехал умиленный и растроганный.

12 июля 1863 года, пятница

Вчера напечатаны ответные наши ноты Англии, Франции и Австрии. Они сделали самое благоприятное впечатление на публику. В самом деле, все в них скромно, правдиво и твердо. За этим только остается быть войне. В этом все уверены и ожидают войны спокойно, хотя знают, что она будет тяжела.

Вчера в заседании я читал свои два мнения о двух статьях в “Отечественных записках”, из которых одну цензор хотел вполовину пропустить, а другую — нет. Я полагал первой вовсе не пропускать, потому что она содержала в себе мысли о перемене образа правления в России, а другую позволить, хотя она заключала в себе нападки на нашу администрацию. Я нашел причину, между прочим, сделать себе небольшой выговор: оба мнения мои были немного длинноваты и поэтому не произвели такого впечатления, какое в противном случае они могли бы произвести. На будущее время принять за правило не делать этого. Совет утвердил беспрекословно оба мои мнения относительно непропуска одной и пропуска другой статьи.

Так называемые друзья содержат в себе прекрасный материал для составления отличного врага.

Вечером пришли Пинто, Влад. Михайлов и Марк и просидели до часов двенадцати. Потом пустился проливной дождь, который свирепствовал, вместе с сильным ветром, целую ночь. Я слышал сигнальные выстрелы о прибытии воды.

16 июля 1863 года, вторник

Новый роман Писемского, которого две части напечатаны в “Русском вестнике”, “Взбаламученное море”, содержит в себе обрывки тряпья, в которые завернута русская народность и из которых уже нашито множество товара на нашем литературном рынке.

Вчера был у Делянова. Я внесен в список профессоров, принятых в университет при открытии его. В списке юридического факультета не оказалось Спасовича, который все время считался профессором и действовал в разных комиссиях. Что это значит? Он много грешил во время бывших студенческих волнений. Но не оказался ли он почему-нибудь неудобным как поляк? Между тем он

человек очень способный. Не оказалось также Кавелина, Стасюлевича и Утина, но они прежде подали в отставку.

Ночью долго не мог заснуть: в голову лезли разные думы. Придумал, между прочим, предложение, которое намерен сделать совету в первое его. заседание по возобновлении университета. Вообще нужно бы придать этому событию некоторую торжественность для подействования на юношество. Надобно посоветоваться с Деляновым.

17 июля 1863 года, среда

В Европе все опять пустились ругать нас, как говорится, напропалую. Ноты наши очень не понравились. Право, в Европе умных людей меньше, нежели кажется. Там как будто не шутя думали, что Россия согласится на все шесть пунктов, что стоит ей пригрозить и пр. Но ведь это только в глубине невежества и крайнем тупоумии могли зародиться подобные надежды? Европа хочет у России отнять право развития, цивилизации, право великой державы, добытое ею ценою огромных пожертвований и крови, — и Россия должна уступить, отдать себя на поругание всему миру и истории, и пр. и пр. Это доказывает только одно, что Европа привыкла уступать самому грубому и наглому насилию. Но мы не привыкли…

Россия и Польша — это понятно и естественно. Но Россия или Польша — нелепо, глупо и противоестественно (но еще безумнее: не Россия, а Польша). Это значило бы, что отжившее и гнилое должно жить вместо того, что действительно может жить…

18 июля 1863 года, четверг

Если бы ложь не облекалась в одежду истины, то на свете не было бы обманутых.

Человек любит рыться в своем мозгу, и если ему удастся вытащить оттуда на сто пудов грязи всяких пустых умозрений, догадок, заключений, ни на чем не основанных и пр., золотник чистого золота истины, то труд его не потерян, он в барышах.

Заседание Совета по делам книгопечатания.

19 июля 1863 года, пятница

После обеда за Лесным корпусом у Срезневского. Давно уже не был я в этих местах, где прожил некогда лет шестнадцать. Как много здесь перемен! Прежние деревца превратились в ветвистые большие деревья, в тени которых тонут дачные домики. Домики также переменились: большая часть из них осунулась, обветшала. Над воротами читаешь надписи новых хозяев вместо прежних, которые или умерли, или как-нибудь иначе исчезли из этих мест.

Нет и Лесного корпуса. Но парк его так же хорош или стал лучше: больше

зелени, зелень гуще. Я часа полтора просидел у Срезневского и возвратился домой в половине одиннадцатого.

Спал отлично. Знаменательный сон. Я шел по косогору огромнейшей юры: налево пропасть глубины неизмеримой, направо — покатость зеленая, но такая гладкая, что ноги скользили, как по стеклу. “Надобно бы туда, направо, наверх, — говорил я кому-то, идущему вместе со мною, — туда орлиным полетом”, — и устремлялся по скату. Но ноги скользили: уцепиться за что-нибудь, упереться не на что. Но я подвигался вперед по дороге в надежде где-нибудь отыскать удобное место для всхода. Даль скрывалась в катком-то полутумане. Тем и кончилось — я проснулся.

20 июля 1863 года, суббота

Обедал на именинах у Ильи Арсеньева. Во время обеда пришла к нему труппа швейцарских певиц, певших у Излера, с поздравлениями. Эти милые шаловливые девицы пропели нам несколько премилых песен. Обед прошел очень весело, потом мы отправились к Излеру, где я встретился с А.И.Евреиновым, который и довез меня в своей карете до Песочного переулка. Он недавно воротился из Московской губернии и говорит, что везде находит самое прекрасное настроение духа в народе. Против Константина все ужасно вооружены. Даже открыто говорят в Москве, что пусть он туда не показывается, — его камнями закидают.

22 июля 1863 года, понедельник

Обширная на Елагином острову выставка цветов. День был прелестнейший, и небо такое голубое, какое достойно было бы осенять не такие болота, как здесь. Мы с Соней поехали туда на дрожках, а Казимира с Сашей на пароходе. Я еще никогда не был на Елагине в дворцовом саду. Сад, нечего и говорить, чудесный. Столетние дубы величественно раскидываются на просторе, не стесняемые никакой садовой искусственной архитектоникой. Вид с мыса на Каменный остров, Неву, Крестовский, Новую Деревню восхитительный. Цветы на выставке, разумеется, хороши, но на сей раз их отпустили публике скупо. Но дело не в этом, а в гулянье в саду, который не открыт для публики и только теперь сделался ей доступным. Два очень хороших оркестра военной музыки немало содействовали прелести прогулки. Посетителей, однако, было очень мало. Мы оставались тут часа три и возвратились домой на пароходе уже почти около шести часов.

23 июля 1863 года, вторник,

Знание движется. Следовательно, переменяется? Нет! Оно развивается, как все живое. Вчерашнее не делается ложным от того, что сегодня наступило новое. Но оно уже не удовлетворяет духа, перешедшего от низшей ступени к высшей. В развитии нет ничего ненужного, но никакая часть зато развивающегося организма не исчерпывает всей его целости. Организм знания бесконечен, и потому нет абсолютной полноты знания, а только-только относительное, то есть настоящее

полнее прошедшего, новая ветвь знания *пополняет* только целую систему его, не делая ее совершенно полною.

Истина не есть что либо *познанное,* а — *познаваемое.*

25 июля 1863 года, четверг

Заседание в Совете по делам печати. Я читал мнение мое по докладу цензора Лебедева, который не хотел пропустить повести “Еспанского шулера” для “Отечественных записок”. Я полагал, что ее можно пропустить, смягчив только весьма немногие места. Вещь эта недурна, и я рад, что ее удалось спасти.

Вообще до сих пор Совет действует совершенно в либеральном духе, чему много содействует расположение председателя Тройницкого. Разумеется, литература не отдаст нам справедливости и будет бранить нас, несмотря ни на что. Но было бы и глупо и гнусно в исполнении своего долга руководствоваться мнениями других или тем, что об нас скажут. Я по крайней мере не из тех, которые бы добивались популярности, угождая партии или чьим бы то ни было сторонним требованиям. Меня уж бранили и продолжают бранить за то, что я не соглашался потворствовать студенческим агитациям, за “Северную почту” и за все, что не цвело красным цветом; но мне даже не приходило на ум серьезно об этом думать.

Краевскому сделан выговор за статью против Каткова, напечатанную в “Голосе”. Он призван был к министру. Итак, Катков действительно есть лейб-гоф-обержурналист. Недаром говорят в публике, что он получает субсидию. Но в таком случае зачем же так высоко поднимать голову в качестве *независимвго* органа общественного мнения?

26 июля 1863 года, пятница

Вечером на цветочной выставке. Приятная прогулка. Там встретил многих знакомых, между прочим Павлова, который дня на три приехал сюда из Москвы. Мне хотелось переговорить с ним насчет участия моего в газете, которую он будет издавать с будущего сентября. Мы условились сойтись с ним у Фукса завтра вечером.

В 9 часов мы отправились домой, куда явились Пинто и В.Михайлов, и просидели до половины первого.

27 июля 1863 года, суббота

Вечер у Фукса. Перед этим зашли ко мне Редкий и Арсеньев: мы напились вместе чаю и потом уже в 10 часов с Арсеньевым отправились к Фуксу. Там нашли уже за чаем Павлова. Я объяснился с ним насчет участия моего в его газете “Русские ведомости” и обещал ему статью “Чего хочет от нас Европа и чего должны хотеть мы”. Статья почти написана мною.

Была речь о Каткове. Я рассказал ему о поступке его со мною по поводу статьи

“Молодое поколение”, которую он не напечатал и не хочет возвратить мне, даже не удостаивает меня известить ни единым словом о ее судьбе. Павлов рассказал мне тоже некоторые факты о нем, из которых следует, что *посади свинью за стол, она и ноги на стол.* Успех его газеты совершенно одурил, отуманил его голову. Он сделался каким-то наглецом, ничего и никого не уважающим, поставил себя вне всяких условий образованной общественности. Итак, совершенно справедлива моя апофегма, что у нас никто не выносит своего величия. Павлов обещал мне через своих приятелей похлопотать о возвращении моей статьи. Сам он прекратил с ним всякие сношения.

Мы просидели у Фукса до половины первого часа.

28 июля 1863 года, воскресенье

В половине второго с Казимирою на цветочной выставке. Это вышло прекрасное гулянье в дворцовом саду. Небо хмурилось, но было тепло. Начал накрапывать дождик, и гуляющие пустились из сада. Я усадил Казимиру в карету княгини Вяземской, которая любезно предложила завезти ее домой, а сам остался в саду, где и пробыл до четырех часов, несмотря на угрозу дождя. Преприятная вышла прогулка. Я возвратился уже на пароходе.

29 июля 1863 года, понедельник

Ездил в город. Заезжал к Гончарову. Встретил похороны лейб-медика Енохина, на которые заезжал в церковь государь. Вечером музыка в Аптекарском саду: на этот раз играли венгерцы, и очень хорошо.

30 июля 1863 года, вторник

Прогулка на цветочной выставке с четырех часов. Туда пешком (час ходьбы), оттуда на пароходе.

31 июля 1863 года, среда

Поутру к Левашевой на Крестовский остров, туда почти пешком, а оттуда совсем.

1 августа 1863 года, четверг

Заседание в Совете по делам книгопечатания. “Московские ведомости” иногда со своими советами народу и правительству заходят слишком далеко, и как они имеют привычку говорить обо всем диктаторским тоном, то это делается нестерпимым, несмотря на то, что правительство по известным причинам дает им более воли, чем другим газетам. Положено отнестись к Московскому цензурному комитету, чтобы он старался воздерживать ярые и беспардонные порывы

“Московских ведомостей”. По одной статье для “Голоса” мне определено представить мнение.

Вечером музыка в Аптекарском саду при завывании ветра и под навесом громадных туч, угрожающих дождем.

2 августа 1863 года, пятница

Человек одинаковую кару несет за свою оплошность или глупость, как и за злоумышленность.

Три заседания одно за другим в Академии наук: одно общее, где избрали в экстраординарные академики Овсянникова по физиологии и Шренка по зоологии; второе — нашего словесного отделения и третье в комиссии об Уваровских премиях. В последнем произошло у меня препирание с Срезневским. Я присудил премию Островскому за его драму “Грех да беда на кого не живет”. Срезневский противился этому с яростью. Драма ему не понравилась, и он не считал ее достойною премии. Я сам далек от того, чтобы признать ее первоклассным произведением; но если нам дожидаться шекспировских и мольеровских драм, то премии наши могут остаться покойными; да такие пьесы и не нуждаются в премии. Островский у нас один поддерживает драматическую литературу, и драма его “Грех да беда” хотя не блестит первоклассными красотами, однако она не только лучшая у нас в настоящее время, но и безотносительно отличается замечательными драматическими достоинствами. Грот сильно меня поддерживал. Состоялось шесть голосов в пользу моего предложения и два против, считая в этом числе и голос Срезневского.

Адрес виленского дворянства государю о помиловании напечатан. Но предводителю дворянства Домейке он обошелся было дорого: он получил два удара кинжалом от имени варшавского революционного комитета. Однако он остался жив и даже вне опасности.

Весьма неприятная телеграмма: у нас революционеры захватили транспорт с деньгами вместе с двумя прикрывавшими его ротами и двумя пушками. Подробностей нет, но тут должна быть или измена, или непростительная оплошность командира. Начальник отряда поручик Лявданский: что-то польское.

3 августа 1863 года, суббота

Август решительно себя изобличает. Пасмурно и холодно, словом, погода начинает быть августейшею.

4 августа 1863 года, воскресенье

Ни к черту не годится тот, кто, одолжив вас в нужде, крадет у своего соседа платок.

На выставке цветов все. Оттуда пешком. Свежо, но обошлось без дождя.

5 августа 1863 года, понедельник

Перед обедом на выставке.

6 августа 1863 года, вторник

Справедливые упреки самому себе за слова, которые не мог удержать на языке. Глупо, глупо, тысячу раз глупо!

7 августа 1863 года, среда

О человеке говорят: *добрый,* когда решительно нельзя сказать о нем ничего хорошего, да и ничего слишком дурного. Это определение полного ничтожества.

Уверенность в своем совершенстве нимало не содействует нашему усовершенствованию.

8 августа 1863 года, четверг

Заседание в Совете по делам печати. Мое мнение о возможности пропуска статьи “Поместный вопрос”. Тройницкий возражал, что это критика на положение о крестьянах. Я говорил, что есть места, действительно дающие повод думать это; но их можно исключить. Положено возвратить эту статью в цензурный комитет для исправления ее и после опять внести в Совет.

Замечания Ведрова на некоторые статьи “Московских ведомостей”. Катков, как говорится, рубит с плеча направо и налево. Я молчал, так как я не могу беспристрастно относиться к этому господину; по крайней мере так может казаться.

9 августа 1863 года, пятница

Вечером на музыке в Аптекарском саду. Огромное стечение народа. Ко мне зашли после пить чай Фукс со своей прелестною женою. Не много удается встретить таких милых и грациозных женщин.

10 августа 1863 года, суббота

Прекраснейший день, каких в целое лето было немного. Я, Казимира и Софья отправились в Павловск погулять и навестить некоторых наших знакомых. Главного из них, Услоновского с женою, мы не застали: они в это время были у нас. Потом Софью я оставил у Старынкевичевых, а сам пошел бродить по городу и по парку, где не был уже года два. Павловск премиленький, чистенький городок, весь в садах и парках. Вокзал усовершенствовался и украсился так, что подобных гуляньев я и в Европе нигде не встречал. Встретился с несколькими знакомыми, некоторые звали меня к себе обедать, особенно С.С.Дудышкин. Но мне хотелось обедать одному на свободе, и я потребовал себе обед в вокзале. За полтора рубля меня оставили

голодным. Все изготовлено как нельзя хуже. После обеда со мной соединилась Казимира, и как она еще не обедала, потому что предполагаемый обед у Срезневских не состоялся, то я повел ее в кондитерскую, где она съела котлетку, очень порядочно приготовленную, а я дообедал несколькими пирожками и бутылкою пива. Все здесь гораздо лучше, чем в пресловутом вокзале, и я жалел, что не обратился сюда.

Вечером был концерт русской оперы. Пели плохо, кроме отличного тенориста Никольского. Мы заплатили по рублю за место. Но зато освещение вокзала было великолепное. После первой части мы уже не захотели слушать концерта и походили на воздухе до отъезда, вместе с Бахтиным. На дебаркадере отыскали Марка и в 45 минут одиннадцатого отправились в Петербург. Вечер был приятный, теплый.

12 августа 1863 года, понедельник

Гулял, по обыкновению, час с небольшим, заходил на Каменный остров. Зелень еще везде удивительно свежа. Кое-где только на липах пробивается желтизна — первые седины отцветающей природы.

14 августа 1863 года, среда

Не надобно омужчинивать женщину. Она именно потому и хороша, что не имеет многих свойств мужчины, а взамен их имеет свои женские свойства. Превращая женщину в мужчину, эмансипируя ее, вы рискуете дать ей многие пороки мужчины. Пусть даже слабости ее и недостатки будут женские.

15 августа 1863 года, четверг

Когда рождается какая-нибудь теория, она хочет и расширить как можно более круг своего влияния и деятельности. Это весьма естественно. И пусть их рождаются и живут, насколько хватит у них внутренней силы мысли и логики; они мешают восторжествовать упорному консерватизму и будят человечество от апатии и сна, говоря ему беспрестанно: вперед, вперед! Но ни одна теория не должна восторжествовать, да она и не может. Всегда являются другие теории, возникает борьба, одни другую ограничивают и мешают ей завладеть всем полем человеческой деятельности. Вот это и составляет закон жизни и усовершенствования.

Что невозможно, то едва ли может быть справедливо.

17 августа 1863 года, суббота

Сегодня заседание в Академии.

Великий князь Константин третьего дня приехал из Варшавы.

19 августа 1863 года, понедельник

В восемь часов утра отправился я на прогулку и проходил два часа — к Строганову саду, к Елагину острову, обошел весь Каменный остров — и ни крошки не устал.

Вечер очаровательный, и я зашел к Излеру послушать Гунглов оркестр. Возвратился домой в 10 часов.

20 августа 1863 года, вторник

День вышел такой же прелестный, как и предыдущие. Ездил в город за жалованием в министерство внутренних дел и получил его, хотя мог и не получить, по крайней мере теперь. Казначей департамента полиции исполнительной заворовался, и несколько казенных денег пропало. Имя сему казначею — Соколов.

Говорят, великий князь Константин опять возвратился в Варшаву. А там ужасы увеличиваются. Каждый день совершается по нескольку убийств, наглейшим образом, среди бела дня, а наши власти там смотрят только сложив руки. Что за непостижимое бездействие!

22 августа 1863 года, четверг

Вчера вечером встретился я с Павловым, который только что приехал из Москвы. Он через секретаря Каткова старался добиться у последнего возвращения моей рукописи, но покуда не добился. Трудно с людьми, в ненормальном состоянии находящимися, а Катков до того полон самолюбия от газетного своего успеха, что с ним уже нельзя вести себя как с человеком в здравом уме.

Фукс рассказывал о ссоре, возникшей у великого князя Константина с Валуевым. Великий князь упрекал последнего, что, с той поры как цензура поступила в ведомство министерства внутренних дел, печать постоянно восстает против него, а в защиту его не позволяется печатать ничего. Валуев отвечал ему с твердостью и достоинством. Однако велено было спросить у цензоров и редакторов газет: было ли что-нибудь не пропускаемо в защиту управления в Царстве Польском? Ответ был совершенно отрицательный, а некоторые из редакторов отвечали, что они желали этого, посылали даже корреспондентов в Варшаву, но никто не представлял в редакции их ни одной строчки в пользу этого управления.

Заседание совета университета — первое с его открытия. Впрочем, настоящего открытия еще не последовало.

Происходили приготовительные совещания о новом устройстве университета и введении нового устава. Выборы ректора, инспектора и проч. назначены на 2 сентября. Заявлено также о баллотировке тех профессоров, которые выслужили 25 лет или 5 лет сверх этого срока. К последним принадлежу я.

Так как я уверен, что получу черных шаров больше, чем белых, то я объявил, что баллотироваться не буду и подам письменный мой отзыв. Против меня сильная партия, которая была бы очень довольна подвергнуть меня неприятности неизбрания. Что это-за люди? Разумеется, ультралибералы, остатки Спасовичей,

Кавелиных, Костомаровых и пр. Но их так много, что перевес на их стороне будет без сомнения.

Жаль мне расставаться с университетом, которому много принесено мною жертв и для которого я трудился добросовестно. А старшие профессоры что же? Это почти все люди ничтожные по характеру, которые очень тоже не прочь нагадить своему товарищу единственно за то, что он неизменно выдвигался вперед. Впрочем, есть ли кто-нибудь из них, который бы чем-нибудь не был мною обижен во время оно, когда я в министерстве был силою? Но не это меня огорчает, — я слишком хорошо знаю людей, чтобы ожидать от них чего-нибудь, кроме желания гадить, — а так просто грустно…

Все ближе и ближе день моего уничтожения. Судьба обрезывает одну ветвь за другою с дерева, которое непременно засыхает. Но да не найдет она меня малодушным и жалким! Жизнь моя была, конечно, не иное что, как ошибка. Я должен понести за это кару на моем сердце; пусть же оно одно и знает про то.

Мне чрезвычайно нравится изречение Веспасиана: “Император должен умирать стоя”. Почему же этого нельзя применить ко всякому сколько-нибудь мужественному и честному человеку!

23 августа 1863 года, пятница

Мое великодушие не должно простираться до того, чтобы доставить многим удовольствие положить мне черный шар. Но, по совести говоря, почему ко мне такое недоброжелательство? Многим я был полезен, никому, могу сказать торжественно, с глубочайшим убеждением совести, никому не был вреден. Но, может быть, они в самом деле считают меня отставшим для науки и, следовательно, действуют против меня тоже на основании добросовестного убеждения? Конечно, говоря друг с другом об этом, они, как римские авгуры, должны закрывать головы, чтобы не дать заметить своего смеха. Нет! Мое убеждение едва ли не вернее, то есть что человек создан с инстинктом, каким не наделено ни одно животное, — с инстинктом пожирать подобных себе.

А выставлять они будут то, что мой образ мыслей слишком консервативен для такого либерального университета, каким сделался в последнее время Петербургский. А многим не шутя колет глаза даже моя Анненская звезда.

24 августа 1863 года, суббота

Обычное заседание в Академии наук.

Получил письмо от Погодина, который пишет, что когда он сказал Каткову о моей статье, он схватил себя за волосы, пошли извинения и пр. Погодин и от себя просит извинить Каткова. Впрочем, последний говорит, что он находит необходимым сделать в статье некоторые изменения. Я думаю, что это пустяки и только предлог к оправданию. Как мне поступить в этом случае? Подумаю и решусь.

30 августа 1863 года, пятница

Сегодня обедало у меня человек до тридцати по случаю именин, моих и Саши. Я ужасно устал. Вечером гости разъехались довольно рано, чему я был очень рад.

31 августа 1863 года, суббота

Заседание в факультете. Я объявил, что баллотироваться не намерен. Но, по наведении справки, оказалось, что баллотировка и не нужна. Несколько месяцев остается мне дослужить до второго пятилетия.

1 сентября 1863 года, воскресенье

Прошедший месяц был не только августейший, но и всемилостивейший! Первые признаки сентября, что стало немного холоднее. Однако все-таки 13R тепла.

Каковы бы ни были проекты общественных преобразований и усовершенствований, но ни один из них не устоит пред голосом разума, если не признает главными руководящими началами — начала *нравственности, и справедливости.*

2 сентября 1863 года, понедельник,

В факультетском собрании было положено, чтобы каждый профессор определил, сколько он будет читать лекций. Так как теперь будут открыты только первые курсы, то каждый профессор должен ограничиться двумя, не более. Я намерен прочитать моим слушателям в первый семестр (который для меня, собственно, один и есть, потому что в январе 1864 года я выслуживаю уже второе пятилетие) “Введение в литературу и историю ее”, что будет заключать в себе основные идеи литературы и истории ее вообще и русской в особенности. В этом смысле надо будет представить и план этих интересных чтений. Это последний мой труд для университета.

Был назначен совет для выбора ректора, но не знаю, почему-то отменен, и я даром проездился в университет.

Поговаривают о выборе в ректоры меня или Ленца. Что касается меня, то это пустяки. Против меня, во-первых, существует сильная партия, и во-вторых, я оканчиваю службу мою при университете.

3 сентября 1863 года, вторник

Вчера получил письмо от Гилярова. Катков извиняется тем, что он раздумывал все о статье, — ему не нравится, что я считаю молодое поколение какою-то корпорацией. Это сущий вздор и нелепость. Буду отвечать Гилярову, чтоб он похлопотал о скорейшем возвращении мне статьи.

5 сентября 1863 года, четверг

Проклятый день — весь в напряженной, а между тем глупой и бесплодной работе. В 10 часов утра я отправился в заседание Академии — одно из бесплоднейших заседаний в мире, потом в университет для бесплоднейшего экзамена каких-то болванов, которые хотят быть кандидатами и, без сомнения, достигнут этого. Все это продолжалось до половины второго часа, и я едва успел прибежать в Совет министерства внутренних дел, где через несколько минут открылось заседание, продолжавшееся на сей раз не так долго, до четырех часов. Затем зашел к Доминику, где за полтора рубля оставлен полуголодным. Что за мерзость эти обеды в наших отелях! Они подают обыкновенно пять блюд, гнусно изготовленных и из какого материала — Богу единому да повару известно. А что бы сделать три блюда, да порядочных?

Выкурив сигару, отправился я в заседание совета университета, и там в буквальном смысле прозаседал до десяти часов с шести, толкуя о многих бесплоднейших вещах. Ну, не проклятый ли день? Приехал домой в половине двенадцатого ночи. В совете был выбор ректора; избрали Ленца 22 голосами против трех. Я получил 8 шаров. Но были и менее меня получившие, и их было много.

6 сентября 1863 года, пятница

Я никогда не дойду до того, чтобы мне не принимать самого теплого и глубокого участия в делах человеческих, в их скорбях и усовершенствовании. Но я решительно не в состоянии питать уважения ни к их судьбе, ни к их нравам. Мне кажется первая в высшей степени ничтожною, а вторые — в высшей степени мелкими, пустыми, лишенными всякого морального достоинства. Эгоизм, ложь, лицемерие, тщеславие и корысть суть главные их двигатели. Оптимисты ссылаются на некоторые благородные черты, проявляющиеся то там, то сям; но они мелькают именно как черты, лишенные определенного и полного образа. Характеров, которые одни составляют полного и хорошо организованного, здорового и сильного человека, вовсе нет. Ум как будто бы для того только и существует у них, чтобы составлять нелепые теории, умствовать о том, чего они не знают и знать не могут, обманывать и плести более или менее удачную ткань для прикрытия своего тщеславия. Разумеется, я не веду с ними войны за их глупости и пороки; они не должны даже знать о моих сердечных к ним отношениях. На что им это знать? Но я не могу, зная их хорошо, питать ни уважения, ни доверия к ним. Я стараюсь обезопасить себя от их нападений, являюсь среди их вооруженным с ног до головы, чтобы не быть застигнутому ими врасплох, хотя не всегда с одинаковым успехом и благоразумием. Но по крайней мере ложь их меня не обольстит.

А между тем странно: первое впечатление мое при встрече с каждым человеком — это то, чтобы думать о нем хорошо и быть с ним в лучших отношениях. Прежде это служило для меня источником больших ошибок, но теперь я научился это впечатление держать в границах и не мешать предосторожностям.

Заседание в Академии наук.

8 сентября 1863 года, воскресенье

Вечером приехал ко мне Рудницкий, которого увольняют от управления департаментам по государственному имуществу за то, что он поляк. Не знаю, подал ли он к этому какой-нибудь повод сам, или это начинает быть системою правительства. Зеленый говорил ему, что на него есть доносы, которые передал ему князь Долгорукий. Впрочем, ему ничего особенно худого не делают, да он этого и не заслужил. Конечно, в Рудницком сидит немного польского духа, но он не из революционных поляков. И вообще это благородный и умный человек Он показывал мне письмо, которое намерен подать Зеленому. Я советовал ему кое-что в нем исправить. От него я узнал о полученной из Варшавы телеграмме, что во время проезда по какой-то улице Ф.Ф.Берга под карету его брошена начиненная порохом граната, разрывом которой ранило его и убило и переранило восемь казаков.

9 сентября 1863 года, понедельник

Знакомыми надобно обзаводиться, как мебелью.

10 сентября 1863 года, вторник

Отослал письмо к Гилярову, все по поводу задержанной Катковым статьи моей. Я написал, что решительно не хочу иметь с ним никакого дела и прошу об одном — возвратить мне мою статью.

11 сентября 1863 года, среда

Нам недостает двух вещей — искусства и добросовестности.

Проработал утро над запискою в завтрашнее заседание Совета по делам печати по донесению Одесского цензурного комитета.

12 сентября 1863 года, четверг

Заседание в Академии наук, куда пришел пешком. Час с небольшим ходьбы. Тут, как и всегда, ничего. Эти господа совершенно зарылись, как мыши в подполье, в свои тесные кружки буквоедных и мелких фактических изысканий и высокомерно презирают всякого, кто смотрит немножко шире и выше. Надобно видеть, с каким умилением и сладострастием они предъявляют, что, например, у такого-то старого писателя буквы стоят не на том месте, как предполагалось (а писатель-то гроша железного не стоит), или такой-то вариант нашелся там-то и пр. О, добросовестные ослы, подбирающие сухие былия на ниве человеческих знаний и довольствующиеся этим, как сочною и питательною пищею!

Новые сведения из Варшавы показывают, что Берг не ранен и казаки не убиты, но двое или трое ранено да лошади. Там, впрочем, начинают принимать энергические меры для прекращения убийств и для подавления революции.

Напечатаны ноты трех держав и наши ответы, при которых приложен особый меморандум. Как первые пошлы, бесцветны и фальшивы, так наши ответы благородны, умны и дышат правдою. Меморандум особенно написан превосходно. Право, старая европейская дипломатия бледнеет перед нашею молодою. Да и то сказать, за нас — право и правда, за них — покушение к насилию и ложь.

16 сентября 1863 года, понедельник

Переезд с дачи.

Вечером заседание в совете университета. Очень много дела. Между прочим, выбирали декана филологического Факультета. Выбрали опять Срезневского. Я охотно положил ему белый шар. И тут выразилось недоброжелательство ко мне. Из четырех голосов я получил один, и то этот дан был мне Срезневским. Прочие получили по два утвердительных и по два отрицательных.

В это заседание я также поднял сильную борьбу с советом. В восточном факультете есть несколько исправляющих должность ординарного профессора, которые настоящими ординарными не могут быть, потому что не доктора. Еще при открытии университета получено было высочайшее повеление, чтобы не имеющие докторской степени профессора озаботились непременно приобретением ее. Восточный факультет представил, что так как в России вся восточная наука сосредоточивается в С.-Петербургском университете, и именно в тех профессорах, которые не имеют степени доктора, то приходится этим совсем не быть ординарными профессорами, так как им и экзаменоваться было бы не у кого. А потому факультет просит, в уважение такого исключительного положения профессоров не докторов, исходатайствовать им на этот раз утверждение в ординарное профессорство и помимо докторства. Тут есть смысл, и я охотно подал мой голос в пользу этого ходатайства.

Но далее вдруг читают новое представление того же факультета, чтобы четырем или, кажется, пяти его профессорам дать докторские степени по причине их *знаменитости в ученом свете.* Надобно знать, что новый устав дает университетам право *возводить знаменитых ученых, приобретших всеобщую известность своими учеными трудами,* прямо в степень доктора, без испытания. Это что за речи? Университет открыл в своем сословии вдруг пять знаменитостей, о которых никто, кроме его, не знает. Очевидно, этим хотят подорвать силу закона. Я воспротивился сильно против такого злоупотребления, объявив, что это произведет самое невыгодное впечатление в публике.

Завязались горячие прения. Совет по слабости, кумовствам и проч. видимо склонялся в пользу предложения факультета. Однако некоторые поддерживали, хотя слабо, мою мысль. Решили отложить это дело до следующего заседания. Я принял твердое намерение не уступать и даже подать письменное мнение. Тут может пострадать честь университета. Просто это нахальство восточных профессоров, которые сами себя производят в знаменитости.

17 сентября 1863 года, вторник.

Вчера я выбран в члены совета при попечителе. Я, конечно, не был бы выбран, если бы избрание происходило баллотировкою. Но это делалось так, по вызову председателя совета, который и спрашивал у профессора, не желает ли он принять на себя это звание. Я отвечал, что не считаю себя вправе отказываться от какого бы то ни было служебного назначения. Ну и положено представить меня вместе с прочими попечителю.

19 сентября 1863 года, четверг

Заседания в Академии и в Совете по делам печати. Ничего особенного.

23 сентября 1863 года, понедельник

У немцев наука часто превращается в ремесло. Они из себя выходят, чтобы приправить истины известные новыми комбинациями, представить их в новой форме, разжижить или сгустить их в своем уме, хотя от этого ни наука, ни образованность не подвигаются ни шагу вперед. И все это делается для того, чтобы в огромной конкуренции ученых удержать за собою такое-то место или добиться нового. Истины науки у них фабрикуются точно так же, как сукно, сапоги и пр.

24 сентября 1863 года, вторник

Бурное заседание в совете университета. По выслушивании некоторых дел и предложений выступил на сцену опять вопрос, поднятый восточным факультетом в прошедшее заседание, о производстве за *знаменитость* вдруг четырех докторов из его членов. Закипела страшная битва. Главными действующими лицами тут были я, Срезневский, Казембек и сами проектируемые доктора, которые сами защищали свою знаменитость и предъявляли свои права на докторство: Березин — меньше всех, впрочем, — профессор еврейского языка Хвольсон и другие.

Видя, что партия докторантов усиливается, я решился прочитать заготовленную мною по этому случаю записку, к чему послужили некоторым введением слова Андриевского, который, как маленький куличок, обыкновенно бегает от одного убеждения к другому и сует свой носик во все мнения, добывая оттуда то, что ему нужно. Слова его относились к поддержанию чести университета и, следовательно, клонились в пользу моего предложения. Записка моя была выслушана с большим вниманием и вызвала страшнейшую бурю со стороны Срезневского. Впрочем, несмотря на ярость защиты своего факультетского предложения, Срезневский не вышел из пределов приличия. Он начал с сожаления, что должен поддерживать мнение, противное моему, и настаивал на знаменитости предлагаемых докторантов. Я продолжал, с своей стороны, настаивать, что не нам самим следует признавать знаменитость своих сочленов, а надо, чтобы это сделал ученый свет. Но вот поднялся Казембек и прочитал свою записку, очень умно и остроумно написанную, которая окончательно добивала восточный факультет. Слова его как ориенталиста

имели значительный вес.

Решено было спросить начальство: можно ли разуметь закон таким образом, что университет может признавать знаменитостями и давать по этой причине докторство своим собственным сочленам? Вопрос в сущности смешной, но так как факультет все-таки не достигал своей цели, то я и Казембек не противоречили этому решению. Срезневский видимо утих и смирился. Вообще спор хотя был жаркий, много кричали и шумели, однако ни дерзостей не было, ни скандала, кроме одного того, что лица, служившие поводом к прению, принимали в нем сами участие, разумеется в свою пользу. Я возвратился домой в одиннадцатом часу.

25 сентября 1863 года, среда

Прелестнейший день, какой и в июле редко встречается: 15R тепла. Да почти и весь сентябрь таков.

Хотел я оставить разум с его беспощадною логикою, с его суровыми истинами, вроде спинозианских, и прилепиться к чувству, чтобы жизнь не казалась такою страшною махинацией с столь же страшным выполнением законов необходимости. Но чувство, обещающее так много, само утомляется, колеблется и требует опоры в той же самой мысли, которая ничего слышать не хочет о чьих бы то ни было правах, кроме своих собственных. Прибегаю я к фантазии, но фантазия, обольстив меня на минутку своими блестящими миражами, сама преклоняется перед всесильною действительностью, которая или повелительно требует отправляться с грезами фантазии в дом сумасшедших, или покоряться своим превратностям. Как бы примирить разум, чувство и фантазию?

Заседание в Академии по случаю Уваровской премии. Я читал отчет о присуждении награды Островскому за его драму “Грех да беда на кого не живет”. Отчет мой, кажется, был немного длинноват и слишком много ударял на теорию драмы.

26 сентября 1863 года, четверг

Дай Бог, чтобы я ошибся, а мне кажется, война неизбежна, и жестоко те ошибаются, которые думают, что движение национальное, обнаружившееся у нас в последнее время, в состоянии отстранить ее. Война за Польшу задумана Наполеоном уже во время или, может быть, ранее итальянской войны. Успех поощрил его только в этих планах, которые риторическая история, по своему обычаю, назовет великими, но которые в сущности не иное что, как кровавый эгоизм Наполеоновской династии. Освободитель Италии и Польши, организатор Мексики должен быть, без сомнения, властелином Европы. Это та же завоевательная теория Наполеона I, только в другой форме. От Наполеонов не будет покоя Европе, пока она не сокрушит их вконец. Нынешний Наполеон считает себя прямым наследником и исполнителем замыслов первого. Он льстит массам демократическими тенденциями; льстит народностям независимостью, а между тем становится страшным деспотом всякого образованного либерализма. Он считает

себя избранным орудием для совершения революции социальными реформами, которые каким-то чудесным образом должны произойти от него и через него.

27 сентября 1863 года, пятница

На выставке в Академии художеств. Очень хвалили картину Ге “Тайная вечеря”. Картина эта сделала на меня неприятное впечатление. Христос похож на какого-то молодого парня, кручинящегося о чем-то. Это они называют простотою в духе новейшего искусства. Ведь идеалов положено не иметь ни в поэзии, ни в живописи, хота человек на каждом шагу их творит сотнями, потому что синтезис, идеализация в его природе. Если простота есть естественность, отсутствие преувеличений и лжи, то кто будет спорить против нее? Но если она есть не иное что, как так называемая натура, обнаженность от всех возвышенных проявлений и выражений духа, то что же она, как не пошлость, жалкое отражение наших ежедневных жалчайших сплетней, интересов и пр.? Ученические картины выставки суть ученические. Хороши две картины Айвазовского, особенно “Вечер в Малороссии”.

28 сентября 1863 года, суббота

Разговор с Ф.И.Тютчевым. Он в близких отношениях к А.М.Горчакову и ко двору. Я изъявил ему опасения о войне; он не разделяет этих опасений, полагая, что Наполеон без Англии не начнет войны, а Англия не расположена к ней. Я спросил его, какое положение Австрия принимает в отношении к нам? Разумеется, она не выражает никаких определенных видов. Она боится России, но не хочет отстать и от Запада; боится также Франции. А Пруссия? Пруссия тяготеет к нам — это натурально. Но идиотское нынешнее правление в ней делает из нее что-то нелепое. Германское единство — чистая и пустая фантазия.

Но я все-таки уверен, что война неизбежна. Наполеон с Италией и еще с кем-нибудь может ринуться на нас. Может быть, этого и добивается Англия “по дружбе” своей к Наполеону. Как бы то ни было, а мы не должны впасть в грубую ошибку, то есть считать войну невозможною и вследствие этого оставаться, как говорится, спустя рукава.

29 сентября 1863 года, воскресенье

Уж так созданы поляки, кто-то сказал, что они если не бунтовщики, то подлецы. Возникают иногда в сердце человеческом хорошие и благие стремления. Ты в радости спешишь протянуть им, так сказать, руки и — схватываешь воздух: они, едва родясь, улетели или тут же схвачены были другими, более сильными эгоистическими стремлениями и проглочены ими, как маленькие певчие птички поглощаются каким-нибудь коршуном.

Вечером посетил меня старинный мой университетский товарищ, бывший профессор политической экономии, Виктор Степанович Порошин. Получив по наследству богатое имение в Каменец-Подольской губернии лет тому пятнадцать

назад, он продал его и постоянно уже жил в Париже, женат на какой-то гувернантке-француженке. Сюда он приехал поискать каких-нибудь занятий — если не в университете, так в Археографической комиссии или в Статистическом нашем бюро при министерстве внутренних дел. Он теперь преимущественно занимается историей России, особенно в соприкосновении ее с Польшею. Он являлся к разным высокостям здешним и знаменитостям и получал везде тощие и неопределенные ответы. Валуев принял его, по своему обыкновению, живописно, поговорил с ним на четырех языках и обещал подумать. Мы просидели и протолковали с Порошиным до половины первого ночи.

1 октября 1863 года, вторник

Был у Вальца. Кроме объяснений о здоровье, разговор о заграничных толках о нас, так как Вальц на днях только возвратился из-за границы. Два мнения весьма основательные, основанные на этих толках, он мне передал. Первое, — что мы непременно должны действовать на общественное мнение Европы посредством прессы: до сих пор мы не умели обратить ее в свою пользу. Тут нужны и деньги. Второе — что было бы чрезвычайно полезно открыть Петербург для некоторых ученых съездов.

2 октября 1863 года, среда

Опера “Любовный напиток” — очень милое, грациозное создание Доницетти, сыгранное и спетое итальянскими артистами с обыкновенным искусством прелестными голосами. С удовольствием просидел часа три в театре.

Вчера в заседании Совета по делам книгопечатания сильное прение между председателем и Туруновым. Этот последний, в качестве председателя Петербургского цензурного комитета, пропустил карикатуру в “Искре” на цензуру, довольно едкую. Представлены в лице женщин две статьи:

до цензуры — одна, и другая — после цензуры. Первая — молодая, прекрасная женщина, вторая — изуродованная и безобразная. Внизу подпись: до цензуры, после цензуры. Турунов очень неловко защищал пропуск этого, а Тройницкий очень логически сильно на него напирал. Боже, Турунов решительно не понимает тонкостей литературного и цензурного дела! Вольно же было Валуеву поручить ему эту важную часть. Валуев, кажется, сам не лучше его понимает это дело. Так по крайней мере выходит из назначения Турунова.

Вечером Порошин и Тимофеев.

5 октября 1863 года, суббота

Поутру телеграмма от Рудницкого из Берлина. Приехал благополучно.

6 октября 1863 года, воскресенье

Сегодня молебен в университете по случаю открытия в нем лекций. Я опоздал, пришел уже к концу, но так как был только двенадцатый час в начале, а повестка была к одиннадцати часам. Затем в час диспут Бауера на степень доктора, который, однако же, я принужден был оставить, только что он начался. Дело происходило в большой зале, которая не была еще ни разу нынешнею осенью топлена, и в ней было порядочно холодно. Я помню, как однажды жестоко простудился в нетопленной аудитории университета, и потому, боясь того же и теперь, предался бегству. Вышел как-то нынешний день нелепо.

Бедная моя Катя опять заболела. Целая жизнь этого бедного существа не что иное, как переход от болезни к выздоровлению и от выздоровления к болезни.

7 октября 1863 года, понедельник

Совет университета. Возвращался оттуда около десяти часов вечера. Ужасная буря, дождь, мрак и ни одного извозчика до Полицейского моста. Тут попался нам один, и мы с Срезневским уже доехали до Аничкова моста. Ночью пальба с крепости: видно, жителям взморья приходилось плохо.

8 октября 1863 года, вторник

Начало лекций в Римско-католической академии. Там давно меня ожидали.

9 октября 1863 года, среда

Первая моя лекция в университете. Большая аудитория буквально была битком набита. Лекция выслушана была с большим вниманием.

11 октября 1863 года, пятница

Сегодня вооружен двумя рубашками, особенно для университетских зал, где до сих пор не топят.

Век радикально хочет изменить быт человечества. Он стремится разрушить старый нравственный и общественный порядок. В первом он уничтожает *верования и духовность,* противопоставляя им знание и материю. Во втором он видит повсеместное рабство и противопоставляет ему безусловную свободу и общество без власти, существующее и поддерживающееся единственно устройством отношений.

О людях надобно жалеть: они очень немощны — немощны, чтобы восторжествовать над своею слабостью, немощны, чтобы воспротивиться своей силе, которая влечет их далее возможности и разума.

Вторая лекция моя в университете и прочитанная прескверно, как я иногда и даже нередко читаю, когда мысль моя не проникнута одушевлением. Иногда решительно я бываю так настроен, что не могу, несмотря на все мои усилия,

прочитать хорошо, а иногда мои иллюстрации бывают истинно блестящи. Не тогда они бывают особенно дурны, когда я к ним не готовлюсь, а именно, по крайней мере большею частью, тогда, когда я готовился к ним тщательно. С этим я борюсь во всю мою профессорскую карьеру. Следствием этого, разумеется, бывает крайнее недовольствие самим собою, доходящее нередко до уныния. Так и теперь. Но теперь я побеждаю это тягостное состояние духа чем-то вроде равнодушия к требованиям собственной личности, которая, однако, не лишает меня бодрости. Надо поставить себя выше успеха и неуспеха и не потворствовать самолюбию, жаждущему во всем первого и потому слишком чувствительному к последнему.

Вечером заседание в попечительском совете, где, между прочим, было рассуждаемо о дозволении так называемых учительских съездов наподобие германских. Ведь без подражания нам жить нельзя. Я выразил мнение, что этому препятствовать никоим образом не должно. Но и слишком восхищаться этим также не следует. Беда, однако, в том, что тут потребуются деньги от казны.

Без меня были у меня Щебальский, Воронов и Майков. Последнего я еще застал. Был также Крамской, с которым я имел прения о картине Ге. Он находит, что она — удивительная вещь, и я нахожу, что она удивительная по изображению Христа, который представлен в виде здорового, румяного парня, кручинящегося о какой-то неудаче. Майков согласен со мною, хотя находит, что во многом картина очень хороша. Да я о прочем не говорю, но Христос, Христос! Главное, она меня возмущает не сама собою, а тем, что служит выражением того грубого материализма, который хочет завладеть искусством, так же как нравственным порядком вещей.

13 октября 1863 года, воскресенье

Утром заезжал к Ливотовой и Княжевичам, которых не застал дома.

16 октября 1863 года, среда

Что вводит в заблуждение материалистов? Новейшие открытия в области физиологии и психологии действительно показали, что все наши способности действуют по законам, которые в теле находят свои приложения. И если на этом остановиться, то можно прийти к результатам, не очень утешительным для человека. Но в том-то и дело, что на этом остановиться нельзя. Все отправления наших способностей с их законом не иное что, как подготовка для *чего-то другого* — “и над этой бездной ношашеся дух”. Этого-то духа ни материалисты и никто разгадать никогда не может.

Лекция в университете поправила вторую. Но все-таки я не совсем еще доволен.

17 октября 1863 года, четверг

Я постоянно был уверен и теперь остаюсь уверенным, что война неизбежна.

Мысль об ослаблении России и об отстранении ее от дел Востока слишком засела в голове Наполеона и других, чтобы они могли от нее отказаться. Да и Польшу они слишком начинили горючими веществами, из которых примирения и тишины не сделаешь.

На днях напечатано распоряжение военного министерства о сильном комплектовании армии офицерами. Неужели теперь только правительство наше не питает сомнения относительно войны? Кажется, и нехитрому уму это давно уже видно.

18 октября 1863 года, пятница

В понедельник в совете университета было читано любопытное отношение Потапова к министру, в котором передается показание одного польского юноши в Вильно, каким образом он находился в нашем университете и что происходило в нем у студентов. Студенты разделились на три партии: красных, отчаянных революционеров, либералов, которые не прочь от революции только в крайнем случае, и умеренных, которые науку считали единственною целью своего пребывания в университете. Другие называли их в насмешку *матрикулистами*. Все три партии собирались в студенческой библиотеке в лице своих депутатов, где и толковали о *материях важных*, политических, социальных. Отсюда-то и возникли известные университетские беспорядки.

Вечером неожиданно Ребиндер из Москвы. Мы очень обрадовались друг другу. Он вообще в порядочном состоянии и физически и нравственно. Мистическое расположение исчезло. Он говорит, что нашел в Москве общество по себе между женщинами, которым очень доволен. Пробыл у меня часа два. Послезавтра обратно в Москву.

Когда с Валуевым кто-то завел речь о губернаторах, он сказал: “У меня нет губернаторов, а есть мои агенты”. Оттого он и делает губернаторами дураков, как на днях сделал Мансурова в Самару. Но бояться умных людей, избрать себе помощниками дураков не значит, кажется, много самому иметь ума.

20 октября 1863 года, воскресенье

Поутру у Воронова. Головнин не хочет, чтобы Каткову отвечали с некоторою силою на его нападки на министерство народного просвещения, против которого он ратует свирепо и ругательно. — Я считаю такое попущение решительно неуместным там, где дело идет об отражении наглости и лжи, особенно в глазах нашей публики, которая смелость считает за право.

21 октября 1863 года, понедельник

Правда ли, что прожито все, чем обыкновенно живут? Нет! Кажется, еще есть кое-какие остатки капитала: надо только благоразумно их употреблять.

Редко сыновья наследуют таланты своих отцов, но пороки очень часто.

24 октября 1863 года, четверг

Заседание в Совете по делам печати. Мне поручено было рассмотреть просьбу Павлова о дозволении вновь издать запрещенные в 1835 году его три повести. Я представил мое мнение, что две повести: “Аукцион” и “Именины” могут быть пропущены беспрепятственно, но что “Ятаган” я не считаю возможным пропустить. Повесть эта производит ужасное впечатление относительно гнета начальника над подчиненными, к чему дает полное средство военная дисциплина. Рассказ о происшествии вымышленном легко превращается в тенденцию. Совет утвердил мое мнение.

Потом я читал записку об усилившейся литературе по части раскола, особенно о современном его движении, об учреждении им своих епископий, об окружном названии могильских раскольников, что все печатается в “Русском вестнике”. Я ставил повод, что правительство должно серьезно подумать о делах раскола, который после патриотических адресов раскольничьих общин действует открыто и усиливается создать свою церковную иерархию. Я полагал из этого один выход: если церковь не может признать этой иерархии, то она вместе с правительством должна оказать этому такую же *терпимость*, какая оказывается у нас прочим религиозным верованиям. При этом я полагал, однако, приостановиться печатанием статей о *современных* действиях раскола. Совет совершенно одобрил все. Что-то скажет министр? По словам Тройницкого, он намерен действовать в отношении к расколу тоже либеральным образом.

Потом было суждение о непостижимой наглости “Московских ведомостей” и “Современной летописи”, в которых Катков доходил до неистовства в отрицании, например, министерства народного просвещения. Он просто ругается, как пьяный мужик. Председатель выразил мысль, что надобно будет просить меня составить записку об этом.

26 октября 1863 года, суббота

Всякий фанатизм подозрителен: он непременно есть нечто искусственное, насильственное и экзальтированное.

27 октября 1863 года, воскресенье

Заезжал к Бунге отдать ему визит, но не застал его дома. Потом у Пинто, который недавно женился на очень милой женщине.

28 октября 1863 года, понедельник

Некоторые из профессоров (Кавелин, Спасович, Утин, Березин, Костомаров, Стасюлевич) вздумали было *подготовлять* юношество в университете к

политической деятельности. Оно бы и ничего, да только они забыли про способность юношества считать себя готовым во всякое время. Да притом настоящая подготовка состоит в строгом и ос-новательном изучении науки. Оттого и вышло, что юноши начали было действовать, когда совсем не были готовы, да и наделали чепухи.

Кажется, во мне никогда не кончится эта гамлетовская борьба между притязаниями на высшее нравственное и умственное достоинство и слабосилием духа. Но так и быть! Все-таки надобно бросить оружие и кричать: “Пардон!”

Уж такова моя природа: в ней есть что-то слабое, всегда готовое преувеличить опасности и препятствия, и есть какая-то нравственная тягучесть, способность выбиваться из-под внутреннего гнета, каким бы он ни был.

Тронная речь Наполеона, по обыкновению его, замысловатая и ничего определенного не выражающая. Он, как страус, сует голову в конгресс, хотя вовсе не говорит, как он может состояться. Тут, впрочем, есть все: и мир, и война, комплименты Александру, и угрозы, и скромность, и наглое хвастовство, что Европа не может не принять его высочайшей воли за закон. Это должно и отуманить французов и понравиться им.

Я с самого восстания Польши не переставал верить в войну. Судя по нашим теперешним приготовлениям, в этом, кажется, и не может быть сомнения.

29 октября 1863 года, вторник

Правительству нужно при себе держать собаку вроде Каткова, чтобы она лаяла на воров или на тех, которых можно подозревать в воровстве; но ее надобно держать на цепи. Взбесившись, она, кусая проходящих, может укусить и своих.

Надобно стараться делать хорошо вещи из такого материала, какой нам достался: ежели простой камень — из простого камня; мрамор — так из мрамора. Можно хорошо сидеть и на стуле из березового, а не красного дерева, хотя нет сомнения, что красное дерево наряднее.

30 октября 1863 года, среда

Какая нелепая басня ходит по городу! Будто сосланный в Ярославль варшавский епископ Фелинский составил из живущих там поляков комплот, который заказал в Борисоглебском уезде огромное число полушубков для повстанцев; будто бы эти полушубки охотно были сшиты нашими мастерами и проч. Государь будто бы за это велел Ярославскую губернию переименовать в Ново-Псковскую и с ярос-лавцев взять рекрут вместо 10 с тысячи по 20.

1 ноября 1863 года, пятница

Пушкин, восхищаясь Баратынским, изощрял на нем свое беспристрастие: он знал, что он тут ничего не потеряет. Так Петр Великий украшал князя

Ромодановского атрибутами своей власти, и никто, конечно, от этого не мог вместо настоящего царя в самом деле считать царем Ромодановского.

Вчера во II отделении Академии рассуждали об отчете к 29 декабря и по обычаю возложили на меня составление его. Четвертый год сряду я уже исполняю эту неблагодарную работу. В этот раз Пекарский выразил мысль, чтобы отчеты наши не состояли из общих мест. Мысль совершенно основательная, но так как я должен был принять ее на свой счет, то сегодня я решился объяснить мой отказ по этому предмету. Меня, однако же, не допустили до этого Срезневский и сам Пекарский. Последний очень горячо извинился, уверяя, что он имел в виду не меня, но плетневские отчеты. Тем дело кончилось. Я не счел себя вправе отказаться более от этого поручения, хотя оно очень неприятно.

3 ноября 1863 года, воскресенье

Утром у Бунге. Побеседовал с ним около часа; после отправился к графу Блудову, которого не застал дома: он поехал в Царское Село.

4 ноября 1863 года, понедельник

Совет в университете. Ничего особенного. Произвели в доктора ориенталиста Григорьева и выбрали в профессоры физиологии Овсянникова. Он получил 19 избирательных и 2 отрицательных.

7 ноября 1863 года, четверг

Без полной нравственной независимости от людского мнения не бывает ни хорошего истинного характера, ни истинно хорошего дела.

В Германии на стороне материализма Молешот — его “Кругооборот жизни”, где теза “Без материи нет силы, без силы нет материи” — всемогущество превращений природы. Вагнер — его слова: “По мне, ни один из результатов физиологии не приводит меня к необходимости допустить душу, отдельную от тела; но порядок нравственный требует этой гипотезы”. О религии: “В делах религии я люблю простую и наивную веру угольщика; в деле науки я считаю себя в числе лиц, которые любят как можно меньше сомневаться”. Фогт — его “Картины животной жизни”. “Физиологические письма”, “Чтения о человеке”, месте, “которое он занимает в кругу других явлений и в истории земли”, “Мысль есть выделение мозга” Мозг выделяет мысль, как печень выделяет желчь и почки урину. Бюхнер, его “Kraft und Stoff” (“Сила и материя”), Спиц, Э.Левенталь — “Сила не есть существенное условие материи, это результат соединения частиц” Фихте-сын, его “Антропология”. Ульрици, его “Бог и природа”. Гербарт Дробиш, Риттер, Тренделенбург, Юлиус Шиллер, Дрозбах, Титман, Михаэлис, Карл Фишер, Лотце, физиолог, защищающий спиритуализм.

Три заседания — одно за другим: в Академии наук, в Совете по делам печати и в попечительском совете. В Совете по делам печати поднят был вопрос о нападках

на студенческие правила в газетах; я говорил, что эти нападки действительно могут иметь весьма вредное влияние на юношество. Положено поручить мне составить об этом доклад.

В попечительском совете вопрос был: дозволят ли раскольникам заводить школы так, как они о том просят?

Положено дозволить, не препятствуя им в то же время отдавать детей своих и в общие училища, не обязывая их учиться закону Божию у православных священников. В своих же школах они могут ему учиться у своих попов или учителей.

8 ноября 1863 года, пятница

Вечером много дам, — красавица Старынкевич, или королева Анна, и проч.

10 ноября 1863 года воскресенье

Поутру у Сухомлинова и Миллера.

11 ноября 1863 года, понедельник

Обед на именинах у Владимирского.

13 ноября 1863 года, среда

В опере — “Сила судьбы”, вердиевское произведение с таинственными эффектами, шумом, громом и проч., как подобает у Верди. Сегодня и Барбо пела как-то плохо. Я уехал, не дождавшись четвертого акта.

14 ноября 1863 года, четверг

В университете пока тихо; юноши, по-видимому, хотят заниматься. По крайней мере они усердно посещают лекции и ничего буйного не предпринимают. Они только поворчали на запрещение курить папиросы и, как им известно, что никакой закон у нас не крепок, то просто без шума и агитаций начали курить сперва на улице около университета, а потом и в разных уголках самого университета. Разумеется, начальство смотрит на это сквозь пальцы. Но в таком случае зачем же запрещать было? Впрочем, совет и хотел позволить, да министр не согласился, а теперь вот и вышло нарушение закона.

Во многих газетах были вообще осуждаемы правила, но это, кажется, так, ради оппозиции всему, что делается правительством. Но это пока, по-видимому, не производит впечатления на юношество.

Сверху собачья старость и разврат, снизу — грубое и глубокое невежество. Мудрено ли, что Европа считает нас варварами?

15 ноября 1863 года, пятница

Известная доля легкомыслия необходима, чтобы не дать нам слишком погрузиться в тревожные и мрачные думы. Вечером Вернадский и Огильви.

16 ноября 1863 года, суббота

Поутру был у меня В.М.Княжевич и долго просидел.

Напечатаны имена лиц, участвовавших в поднесении образа М.Н.Муравьеву в его именины. Тут все аристократические имена, начиная графом Блудовым и оканчивая Помпеем Батюшковым. Гуманнейшему генерал-губернатору Суворову было предложено тоже участвовать в этом деле;

Он отказался, сказав, что не может сделать этой чести такому людоеду, как Муравьев. О, гуманнейший генерал-губернатор! Как вы глупы! Неужели вы думаете, что бунты могут быть укрощаемы гуманными внушениями, наподобие назимовских, а не казнями?

К несчастию, долго, а может быть и навсегда, на земле запутанные и связанные узлы страстей человеческих и глупостей будут рассекаемы мечом и топором. Почему же не повесить было нескольких ксендзов и отчаянных повстанцев, когда они вешали и мучили наших солдат, священников и всех, кто попадал к ним в руки? Но мстить не годится, скажете вы. Да разве правительство мстит? Оно наказывает. Но наказывайте мягче, говорите вы. О, гуманнейший генерал-губернатор! Разве вы не знаете, что действительное наказание может укрощать только некоторых, а не то, которое сам преступник выбрал бы для себя? А к несчастию, оказываются действительными в некоторых случаях только виселицы. Правда, вы, гуманнейший генерал-губернатор, выпускаете из тюрем воров, потакаете всяким мошенникам и довели даже полицию в Петербурге до того, что ее никто в грош не ставит; но ведь это же нехорошо. Оттого в Петербурге всякому мошеннику жить легко, а худо только честным людям. В общественном деятеле самая гуманная черта есть справедливость, а вы, гуманнейший генерал-губернатор, есть не иное что, как слабоумный господин, ищущий популярности.

Тютчев написал, говорят, прекрасные стихи по поводу отказа гуманнейшего генерал-губернатора от участия в поднесении образа Муравьеву. Мне Владислав Максимович Княжевич обещал их прислать.

17 ноября 1863 года, воскресенье

Польская свобода не стоит того, чтобы сами поляки так дорого за нее платили.

Как ужиться польскому элементу с русским, — вот вопрос. А они обречены судьбами истории и территорий своих жить вместе, следовательно, уживаться. По закону вещей, сильнейший элемент должен быть преобладающим, — а сильнейшим здесь является русский. Вот чего поляки ни понять, ни снести не могут. Полонизм и

руссизм не могут слиться уже по одним религиозным причинам, но они могут *соединиться*. Нельзя не согласиться с тем, что этому соединению могут много, или, лучше сказать, исключительно, содействовать русские. Одними административными мерами этого достигнуть нельзя. Надобно, чтобы наш общественный дух стремился к этому соединению *превосходством нравственным, превосходством образования своего и уравнением* прав. Мысль о мщении должна быть выкинута из умов наших, как преступная. Но в состоянии ли наш общественный дух исполнить эту задачу? Увы! Я сильно опасаюсь противного.

18 ноября 1863 года, понедельник

Во времена софистов гуманный элемент начал вытеснять у греков их национальный элемент. Греки в понятиях много выигрывали, зато они столько же или еще более теряли в нравах, которые опирались на их национальность. Эта последняя, разлагаясь, терялась в общечеловеческом, как всякая индивидуальность, умирая, теряется в безбрежном океане и движении всеобщей жизни. Все исходит от общего и исчезает в общем.

Новое и старое. Новое или развивается органически из старого, или прививается к нему. Во всяком случае несправедлива мысль слишком жарких поборников нового, что все старое сгнило и что надобно радикально его отбросить, чтобы насадить на место его это новое. Если бы действительно все старое сгнило, то на чем же утвердили бы новое? Последнего не к чему было бы даже привить. Если народ не имеет ни преданий, ни стремлений к лучшему, так каким образом вы приложите к нему ваши идеи этого лучшего?

На обеде у вице-президента Академии медицинской Глебова. Лукулловский обед! Он так пленил физиолога Якубовича, что, вышед из-за стола после обеда, он обратился к толстяку-повару и обнял его. Повар этот принадлежит Английскому клубу, который славится своим столом более, чем какими-нибудь другими достоинствами. На обеде у Ивана Тимофеевича были все знаменитости медицинские, между прочим Дубовицкий, Цыцурин, Кабат, Якубович и пр. Все приукрашены эполетами генеральскими и звездами. Я один без звезды был, которой не надел, потому что не предполагал никак у скромного Ивана Тимофеевича такого помпезного обеда. К счастью, однако, все эти почтенные люди настолько были учтивы, что притворились, будто знают меня по имени, и были ко мне любезны как нельзя более. С Дубовицким и Якубовичем я особенно познакомился. Члены этого медицинского общества, по-видимому, очень дружны между собою. Праздник этот был дан по случаю именин маленького сына Ивана Тимофеевича. У него премилая жена, которая потеряла уже нескольких детей, и в том числе сына, говорят, прелестного и даровитого мальчика 14 лет, от чего почти чуть не сошла с ума. Теперь этот двухлетний ребенок ей как бы заменяет потерянных, и она не знает, как выразить свой восторг.

20 ноября 1863 года, среда

Поутру у ректора. Очень добрый, честный, благородный человек, но лишен

вовсе правительственных и распорядительных способностей, так что он непременно должен будет зависеть от других.

Если я имел какие-нибудь успехи в жизни, то обязан за них не уму моему, не способностям, ни даже характеру или каким-нибудь предварительным соображениям и плану, а чистой случайности.

21 ноября 1863 года, четверг

Маленькие обиды чувствуются иногда сильнее больших. Умер И.И.Давыдов в Москве, 15 ноября.

Наслаждение (проповедуемое материалистами) есть нечто другое, нежели довольство самим собою (своим внутренним миром и своим бытием). Оно состоит в беспрерывном, так сказать, поглощении того, что нам приятно, в беспрерывном ощущении одного того, что соответствует нашим желаниям; довольство возможно и при отсутствии приятных ощущений. Оно состоит в сознании того, что мы живем и поступаем сообразно с идеями, которые мы признали за начало и закат нашей деятельности. Начало наслаждения ложно уже потому, что оно неосуществимо; ему противятся условия природы и условия нашего существования. Если бы, наконец, человек вполне проник в таинства природы посредством науки, то он должен бы увидеть, что она не всегда и не во всем готова удовлетворить его требованиям. Никогда она не сделается только орудием его, а не достигши этого, человек не в состоянии заключиться в одной сфере своих желаний, своих наслаждений. Таким образом, он всегда будет в необходимости, кроме начала наслаждения, принимать для своих действий какое-то другое начало. Говорить, что наслаждение можно находить и в терпении, в мужественном перенесении неизбежных страданий, — значит играть словами или лгать самому себе.

22 ноября 1863 года, пятница

Вот уже более двух недель, как продолжаются прискорбные толки о прекращении в Государственном банке платежей звонкою монетою. Это взволновало весь город или, лучше сказать, всю Россию. Винят министерство финансов: Рейтерна, Ламанского, Штиглица, который теперь уехал за границу для каких-то финансовых операций, и об нем говорят, что он бежал. Слухи носятся даже, будто Рейтерн увольняется. Одна газета даже советует ему застрелиться. Словом, в денежном и промышленном мире страшная суматоха.

Вечером Вильский с женою.

23 ноября 1863 года, суббота

Обедал у графа Блудова. Я давно не видал старика, кажется с того времени, как я виделся с ним в нашей церкви в Париже. Он ветшает. Прежде после обеда он обыкновенно разливался речами, как колокольчик, а теперь немножко поговорил со мною, М.О.Кояловичем, да и заснул в креслах. Антонину Дмитриевну Блудову

принесли в креслах в гостиную: она почти совсем не владеет ногами. Хотя во всем прочем здорова, как деревенская работящая девка. После обеда еще оставался часа два.

24 ноября 1863 года, воскресенье

Поутру у Делянова и Тютчева. У последнего встретил Жандра, на днях приехавшего из Киева. Он говорит, что сначала Н.Н.Анненков тоже хотел действовать гуманным и миротворительным образом (наподобие Назимова, верно?); но, наконец, убедился в решительной невозможности этой системы с поляками. По мнению Жандра, который хорошо знает край, потому что много лет служит там, единственный способ умиротворить страну — это истребить дотла польский элемент. Они непримиримы во вражде к нам и непоколебимы в уверенности, что польское королевство и может и должно существовать в пределах, существовавших до раздела. Массу русского и малороссийского народа тех губерний они считают за совершенное ничто и думают, что Польша — это шляхетство. Между тем народ страшно их ненавидит, и если бы не правительство, то в первом взрыве восстания он растерзал бы каждого поляка. Из всего этого следует, что между двумя национальностями не может быть других отношений, кроме радикального истребления одной другою. Россия, разумеется, не может согласиться на уничтожение себя, и как она сильнее, то дело должно кончиться истреблением польской национальности. Кажется, и правительство, наконец, поняло эту печальную необходимость и начинает принимать меры, ей соответствующие. Мелкую безземельную или малоземельную шляхту оно намерено переселить в Оренбургскую, Самарскую и другие губернии, а богатых помещиков заставит продать свои поместья русским.

25 ноября 1863 года, понедельник

В совете университета. Ничего особенного.

27 ноября 1863 года, среда

Работы — составление отчета по Академии, записка в Совет по делай печати. Все это трудная работа, потому что все — пустяки. Против обычая моего, я как-то мало о них забочусь, а между тем они, как говорится, на носу стоят. Вечером в опере. Давали прелестную, грациозную “Ченерентолу” и пели прекрасно, как всегда: Кальцолари, Нантье-Дидье и пр.

28 ноября 1863 года, четверг

Не был сегодня в заседании Академии — занимался составлением записки по поводу отзывов газет об университетских правилах и напрасно только потерял восемь рублей; вопрос об этом отложен до следующего заседания.

В заседании Совета по делам печати Пржецлавский требовал, чтоб запретили такие книги для народного чтения, как сонники, гадательные и пр. “Для чего?” — спросил я. “Чтобы не усиливать народных предрассудков”. — “Предрассудки эти будут и без книг, пока народ будет в невежестве. Запрещением вы тут ничего не сделаете, а только раздражите умы”. Совет отверг предложение Пржецлавского.

Гончаров указал на одно место в “Дне”, где повествуется, каким образом один православный священник (кажется, в Волынской губернии) в имении графини Потоцкой доказывал в церкви крестьянам, что они свободой своей обязаны единственно своей помещице, и кончил тем, что провозгласил в молитве ее имя, как провозглашаются имена лиц царствующего дома. Совет определил довести об этом до сведения министра.

“Московские ведомости” сильно нападают на киевского генерал-губернатора Анненкова.

29 ноября 1863 года, пятница

Вечером Ульшевский с женой.

30 ноября 1863 года, суббота

Бедная моя Катя с самого переезда с дачи страдает. Это одна из тех жестоких скорбей жизни, против которых бессильны все средства. Вся жизнь ее есть не иное что, как страдание.

1 декабря 1863 года, воскресенье

Проклятый отчет меня давит. Записку я сегодня уже кончил.

Иметь власть хорошо не для того, чтобы выситься над другими, а для. того, чтобы, держа людей в страхе, препятствовать им делать тебе пакости, заставлять их чувствовать, что они не могут сделать тебе зло безнаказанно.

Вот И.И.Давыдов, скончавшись, такую нехорошую память по себе оставил, что вчера члены Академии нашего отделения просили меня вовсе не говорить о нем в отчете, так как дурно, то есть правдиво, о нем что-нибудь сказать, особенно с кафедры, не приходится, а хорошее все было бы сочтено за ложь, и никто бы этому не поверил. В самом деле, однако, так ли он был виноват? Разумеется, он был не лучше, да и не хуже других. Хуже других он был только тем, что был *невоздержнее* в господствующих или главных своих пороках — корыстолюбии и мелком честолюбии. А невоздержность эта не то чтобы заставляла его делать другим зло, — он вовсе не был зол по природе своей, — а заставляла унижать себя пресмыкательством перед сильными и исканиями. Я всегда называл его ловцом пред господом житейских благ. Но он готов был даже услуживать другим, делать нечто вроде добра им, конечно, если это не было противно его выгодам. Да кто же иначе и поступает? Опять повторяю, он превосходил всех других невоздержанием в своих

пороках, а не самыми пороками. Умей он немножко себя обуздывать, он оставался бы тем, чем был, не казавшись таковым, и оставил бы по себе память человека даровитого и почтенного, потому что он был очень даровит. Многие были лучше его единственно потому, *что* были скрытнее его.

Поутру у Вернадского.

Человек бывает хорош, и то ненадолго, только один раз в жизни — в молодости. Потом он становится все хуже и хуже, портится, воняет, — и если его не просолить всего насквозь, до костей, высшими верованиями, идеями, то задолго до смерти он загноится и совершенно протухнет.

2 декабря 1863 года, понедельник

Я не знаю, почему хуже оказывать какие-нибудь услуги с намерением получить за них известную сумму денег, нежели снискать протекцию, получить место и т.п.

В уме у нас нет недостатка, но величайший недостаток в характере и честности.

Статья Прудона о трактатах 1815 года, разразившаяся страшною грозою над поляками, производит большое впечатление.

Вчера был у меня поутру Ф.И.Тютчев и подтвердил известие, что недалеко от Варшавы, на железной дороге, Ф.Ф.Трепов накрыл четырнадцать членов главного революционного правления.

Был Ф.В.Чижов, на несколько дней приехавший из Москвы. Он сделался совершенно промышленным человеком. У него седенькая небольшая бородка клином.

Вечер Ахматовой, издательницы периодического собрания романов. Тут были два Стасовы — один с огромною бородою и огромнейшим чувством самодовольства и высокомерием на лице, другой Д.В. поскромнее и с меньшею бородкою; Гаевский Виктор, от которого я теперь только узнал, что он под следствием как замешанный в дело о сношениях с Герценом, которое производится в сенате. Он поэтому и не служит, надеясь, впрочем, что его оправдают, в чем я сильно сомневаюсь: ибо едва ли он действительно не скомпрометировал себя сношениями с Герценом. Было время, когда наши либералы считали за особенную честь прикоснуться к этому подлецу писаньем или рукопожатием, для чего нарочно ездили в Лондон, где раболепски выпрашивали у него улыбки и милостивые слова. У Ахматовой был также Краевский, с которым на этот раз можно было вести беседу, ибо он как-то менее обыкновенного был умен и важен. Я просидел у Ахматовой до половины двенадцатого часа.

4 декабря 1863 года, среда

Вместо того чтобы сколь можно более умягчить и облегчить приятельские смерти, человек обставил их всевозможными декорациями ужасов, как, например, в наших похоронах, где поэзия скорби доведена, кажется, до последней степени. К

чему это? Эти сентиментальные обряды, это вытягивающее душу пение, эти молитвы о вечном покое, то есть о небытии и недействии, — во сто раз представляют страшнее и безотраднее то, для чего нужнее человеку мужество и тихая покорность законам природы.

Лекция в университете. Доволен.

В опере. Давали “Фаворитку”. Барбо была чудо хороша — и как певица и как актриса.

5 декабря 1863 года, четверг

Надобно очень любить Россию, чтобы не чувствовать отвращения ко всей безалаберности нашей администрации, умственному и нравственному разврату так называемого образованного общества, глубокому невежеству и дикости масс и вообще отсутствию всякого понятия законности и честности во всем народе. По глубокому сознанию моему могу сказать, что я люблю отечество и сколько мог служил ему честно. Но как часто моей любви приходится бежать под защиту великодушия от тысячи бесчестных или бестолковых явлений нашей общественности. Сколько раз эта любовь была оскорблена самыми недостойными поступками моих соотчичей, а более всего их грубейшим нарушением правил самой обыкновенной общественной честности. Довериться в чем бы то ни было своему соотечественнику в большом деле или малом — значит непременно остаться в дураках. Когда и как мы выйдем из этого?

Что ни говори оптимисты, а война у нас на носу. В политической атмосфере так сперся воздух, столько накопилось всяких испарений, что все это должно непременно разрешиться грозою. Я с самого восстания Польши ни на одну минуту не сомневался в неизбежности войны.

Что такое наука? Опыт, наблюдение, система и вывод.

Несмотря на прославленную гуманность века, вражда и разъединение между людьми, кажется, никогда не доходили до такой степени, как ныне. Чем это объяснить?

Самостоятельность, свобода личности, без сомнения, великое приобретение современной цивилизации; но они же порождают этот дух разъединения, дух обособления, по которому каждый не только считает себя заимодателем самого себя, но и всех других людей.

Можно ли на принципе взаимной выгоды основать союз общественный и основать мир и порядок между людьми — на что так горячо надеются социалисты? Во-первых, понятие о выгоде очень неопределенно и широко, так что, идя от него, легко можно перешагнуть рубеж, отделяющий мои выгоды от выгод других, и, как говорится, запустить лапу в чужой карман. Во-вторых, выгоды так изменчивы и разнообразны, что чрезвычайно трудно установить для них какое-нибудь общее мерило, которое бы одного заставило уважать в другом то, что ему принадлежит и прилично. То, что я считаю для другого неважным, в сущности может быть очень важным для него, и наоборот.

Кто в состоянии не только сказать, но и исполнить “на земли мир и в человецех благоволение”!

6 декабря 1863 года, пятница

Если женщина захочет завладеть теми же правами, как мужчина, ей придется хуже: она лишится тех услуг и покровительства, которые получает от мужчины взамен некоторых недостающих ей прав. Мне кажется, таким образом, что те худую услугу ей оказывают, которые стараются о так называемой ее эмансипации и об уравнении прав ее с правами мужчины.

Где неодинаковы силы, там неодинаковы и права. Краевский мне говорил, что Стендер, попечитель Казанского университета, сделал представление министру Головкину с жалобою на газеты, особенно на “Голос”, что они восстанавливают юношество против университета, нападая на составленные им для них правила. Головнин призвал по поводу этого на совещание Краевского и прочитал ему проект ответа своего Стендеру, где он делает ему почти выговор и объявляет, что печать хорошо делает, замечая недостатки управления по министерству народного просвещения, что он всегда этого желал и пр. Что же такое Головнин этот — подлец или дурак? Он один в своем либерализме не понимает, что брань на студенческие правила вовсе не составляет тех замечаний, которыми бы могло воспользоваться министерство, и что, напротив, она очень вредна, поселяя в молодых людях, и без того слишком своевольных, нерасположение к законам университета, ограничивающим их поведение и произвол.

9 декабря 1863 года, понедельник

Что если Наполеон, наскучив всеобщим к нему нерасположением и недоверчивостью европейских правительств, вздумает им бросить в глаза всеобщую революцию в демократическом и. социальном духе? Ведь он недаром считает себя главою демократического союза в Европе и покровителем национальностей.

В совете университета. Выбрали в ординарные профессоры истории Востока Григорьева, а в профессоры ботаники Бекетова. Я, разумеется, положил на обоих белые шары, хотя уверен, что особенно последний охотно нагадил бы мне черным шариком, если бы я вздумал баллотироваться еще на пять лет профессуры. Но в факультете я воспротивился проекту сделать вдруг несколько докторов, в том числе и Леонтьева. Зачем, сказал я, вдруг делать несколько докторов, так опрометчиво и так нескромно пользоваться правом, которое вверено нам для серьезного и справедливого пользования? Будем немножко умереннее, чтобы не уронить самого принципа. Соблюдем по крайней мере постепенность: сперва одного, потом другого, а не вдруг четырех или пять. Благовещенский сильно настаивал на пожаловании в доктора Костомарова. Я не противоречил этому, хотя сердце мое не лежит к этому фальшивому человеку, который на публичной лекции предал анафеме тех, которые мечтают об отделении Малороссии, а сам погряз в сепаратизме и славянской федерации.

Еще выбрали архитектора Харламова. Было шесть кандидатов и один, за которого стоял ректор.

10 декабря 1863 года, вторник

Говорят о Кербице и его сильном участии в восстании польском и арестовании.

11 декабря 1863 года, среда

Опера “Маскарад”.

12 декабря 1863 года, четверг

Президент Академии навязывает нам выбор в члены-корреспонденты отделения Каткова и Аксакова. Отделение, как и вся Академия, сильно на это негодует. Сверх того, графу Блудову хочется, чтобы мы избрали в почетные члены Рейтерна и Буткова. В сегодняшнем заседании отделения было о всем этом рассуждение. Только один Срезневский не против домогательств президента. Веселовский и Грот поехали к Блудову попытаться, нельзя ли отклонить его от несчастной мысли выбрать Каткова. Против Аксакова не столько восстают. Разумеется, я не могу быть в пользу Каткова. Вообще странное и нелепое положение Академии, что она должна расточать знаки своего уважения по приказанию начальства. Но это ли одни странности у нас?

Говорят, что Россия есть страна чиновников без правосудия и хорошего управления. Теперь можно будет сказать, что она есть и страна докторов и членов ученых обществ без науки.

Жаль, что корреспонденты отделений не баллотируются в общем собрании Академии. В этом случае можно было бы, наверное, предполагать, что креатуры президента прогулялись бы на вороных. У мира шея толста: ее не так-то легко перерубить топором власти, как у одного или двух человек. Достижение счастья, поставляемого главной целью в школе утилитаров, требует необходимо известных ограничений, которые невозможны без свободного решения воли. Нужно отказаться нередко от удовольствия не ради высшего или другого удовольствия, а ради исполнения долга или содействия благу других и проч. Следовательно, счастье здесь отодвигается на второй план, и место его заступает другое начало.

“Но ведь это-то самопожертвование и составляет один из элементов счастья?” А если нет? Если я чувствую болезненно эту необходимость пожертвования?

Милль и другие принимают за основание начала пользы *просвещенный эгоизм.*

Есть поступки, которых нельзя назвать ни воровством, ни подлостью, никакими другими унизительными именами, поступки, которых нельзя предать ни общественному позору, ни правосудию, но которые тем не менее заставляют сомневаться в благоустроенности души того, кто их себе позволяет, так что вы теряете невольно доверие или к уму, или к характеру его, или к тому и другому

вместе.

Граф Блудов решительно не сделал ничего полезного для Академии, а вред он успел сделать. Во-первых, он навязал Академии, вопреки закону и ее выгодам, вместо Краевского для газеты Корша и, во-вторых, надавал ей почетных членов вроде графа В.Ф.Адлерберга, Буткова и проч.

14 декабря 1863 года, суббота

Читаю, между прочим, “Записки” Ермолова. Они ничего не прибавляют к его славе. Язык чрезвычайно напыщенный, и резкие приговоры о всех деятелях двенадцатого года не возбуждают особенного доверия.

Вчера в заседании Академии, по предложению графа Блудова, выбрали в почетные члены Буткова и Рейтерна, а сама Академия — Даля. Стыдно президенту, что он навязал нам такого господина, как Бутков. Это позор для Академии. А как было бы кстати выбрать князя А.М.Горчакова.

От Каткова мы кое-как отделались, представив причину, что комплект членов-корреспондентов полон и нет вакансий, хотя, собственно говоря, это не причина. Выбрали Островского, Н.С.Тихонравова и Даничича в Белграде.

Знание, право, законность: отсюда нравственное уважение самих себя и всех принципов человечества. Вот что более всего нам нужно, а не демократические, аристократические или социальные тенденции.

Обедали у Дена: я, Арсеньев, Гончаров, Краевский, Фукс, Ржевский, Клевецкий и Розенгейм.

15 декабря 1863 года, воскресенье

Вечером литературное чтение у Фуксиньки. Читал роман свой некто Жандр. Этот Жандр лет тому семь или восемь назад читал уже мне отрывки его. Он сочинял его лет восемнадцать и, несчастный, пришел к убеждению, что произведение его составит эпоху в русской литературе. Три часа, с десяти до половины второго, он морил нас плохими стихами и избитым сюжетом о том, как княжна Алина сначала любила некоего Сергея, как потом влюбилась в другого некоего графа, как этот граф оказался бездельником и как эта глупая женщина была наказана за свою ветреность тем, что принуждена была умереть от чахотки; как Сергей, тоже больной, очутился у ее предсмертной постели и т.д. Сперва мне было жаль чтеца-автора, как жаль всякого человека, который напрашивается на публичное осрамление. Потом меня одолела скука, а затем — досада.

Тут я познакомился со Скарятиным. Очень умная и привлекательная физиономия. Я приехал домой в третьем часу ночи, отказавшись от ужина, предложенного гостеприимным хозяином.

Диспут в университете на докторскую степень Березина и Васильева. Оба меня упрекнули, что это я заставил их диспутоваться. “Ничего, господа, — сказал я, — вы

возьмете свое в честном бою и нам доставите удовольствие вас послушать".

Диспут в университете на докторскую степень касался слишком специальных вопросов. Березин защищал свои тезы с достоинством, выказывая в себе человека даже с внешним образованием. Васильев — немножко дубовато, но видно, что у него огромные знания в его предмете, то есть в китайском языке. Но он горячо любит свой предмет, что не видно в Березине. Разумеется, они оба были удостоены степени доктора восточных языков, и я искренно поздравил их.

18 декабря 1863 года, среда

В опере. Было "Риголетто" Верди. Если шум, треск, крики и завывание составить могут хорошую оперу, то "Риголетто", без сомнения, опера очень хорошая.

19 декабря 1863 года, четверг

Неумолкаемые слухи о Кербице: иные говорят, что он уже в здешней крепости; другие — что он арестован и находится в Варшаве; третьи — что он там только под строгим наблюдением полиции; а есть и такие, которые уверяют, что он уже и казнен. Попробуйте поверить чему-нибудь из этих рассказов, в которых рассказчик уверяет, что он все это слышал от достовернейших людей, чуть не от самого Кербица, который ему одному даже пересказал, как его повесили, — попробуйте поверить, и вы останетесь в дураках.

Совет по делам печати. Я читал записку мою о статьях, напечатанных в разных газетах против студенческих правил. Непостижимо поведение здесь Головкина. Правила составлены почти буквально по его циркуляру, а между тем он велит писать на них опровержения, сам исправляет их, делает строгий выговор казанскому попечителю за то, что тот донес ему о вредных действиях, производимых этими статьями на студентов. Что это такое: тупоумие, подлость ли или еще что-нибудь другое? Между тем он представляет все действия пред государем в благовидном свете. Есть ли на свете подобное правительство, где была бы допущена такая бестолковость? Муравьев нещадно вешает и разоряет помещиков в своем округе, а в соседних с ним губерниях, управляемых Анненковым, зло проникло тоже глубоко в край, если не глубже, чем в Литве; там чуть не по головке гладят поляков. В Киеве перед носом генерал-губернатора продолжают носить траур. Вот сюда приехал Анненков; все думали, что он уже не возвратится к своему посту. Ничего не бывало — он опять туда едет для делания глупостей или для ничегонеделания. В "Московских ведомостях" прямо выставлена неспособность Анненкова; Ген, киевский гражданский губернатор, пустился защищать киевское управление и выразил, между прочим, ту мысль, что адреса, поданные в округе Муравьева, были вынуждены им и пр.

20 декабря 1863 года, пятница

Греч написал ко мне письмо, прося моего содействия о избрании его в члены Академии. Как тут содействовать, когда большая часть членов против него и помнит его действительные и вымышленные грехи? Я читал его письмо в отделении и, разумеется, встретил сильное противодействие, так что о предложении его в члены и думать нечего. Все это надобно старику передать как-нибудь помягче.

Лекция в университете, и, кажется, последняя. Праздниками я должен буду подать просьбу об увольнении меня, так как баллотироваться я не намерен, а баллотироваться не намерен потому, что не чувствую себя настолько великодушным, чтобы доставить недоброжелателям моим удовольствие набросать мне черных шаров. Но зачем и почему эти недоброжелатели? Право, не знаю. Я, конечно, не намерен сравнивать себя с Аристидом, но совершенно уверен, что многие бросят в урну осуждающие меня шары по той же причине, по которой афинянин желал бросить свой черепок против Аристида. Я уверен, что Андриевский, Березин и пр. будут в состоянии собрать достаточное число голосов, чтобы меня забаллотировать. Это так для меня достоверно, что с моей стороны было бы большим неблагоразумием идти на явную неудачу и скандал.

21 декабря 1863 года, суббота

Отчет, несносный отчет.

Они роются в навозе и заднепроходной кишке науки и, конечно, полезны для нее. Худо только то, что они, во-первых, все испражнения человеческого ума считают за главное дело, а, во-вторых, себя самих за такие органы науки, в сравнении с которыми все другие ничего не значат. А нечего делать! Вот я пишу академическую речь и должен, зажав нос, во всеуслышание восклицать: “Сор славянский! пыль родная! слаще ты, чем мед и сот!”

Вечер у Клеванова. Досадно! Хозяин удержал меня у себя до двух часов. Я приехал к нему после факультетского заседания, где мы экзаменовали Бестужева-Рюмина и Добракова на звание магистров. Дома очень обо мне беспокоились, и Казимиру я нашел в слезах: я забыл ей сказать, что из университета проеду к Клеванову.

22 декабря 1863 года, воскресенье

Занимался весь день отчетом.

23 декабря 1863 года, понедельник

К чему приведет нас эта страшная деморализация сверху до самого низу? Внизу, конечно, меньше ее, но тут глубина невежества, совершенно варварское состояние, равняющее нас чуть не с краснокожими, и полнейшее отсутствие всяких понятий о долге, справедливости и законе — особенно о законе.

Я не верю в спокойствие наших университетов и добропорядочность учащегося

в них юношества. Оно вступает в них с подготовленными понятиями и стремлениями, которые навевают на него время и явные и тайные прогрессисты. Университеты хотят опереться на науке; науку в среде своей сделать господствующею и, увлекши ею юношество, побороть в его сердце незрелые политические и социальные влечения. Мысль сама по себе основательная и верная. Но дело в том, что университеты не имеют силы для ее осуществления. Им недостает для этого двух главных вещей — единства и согласия корпорации профессорской, и, во-вторых, талантов в самих профессорах. Есть люди, достойные уважения, хорошие преподаватели: но этого мало для настоящего времени. Увлечению надобно противопоставить нечто равносильное, а этого-то равносильного и нет. Срезневский очень доволен, когда три или четыре студента, разумеется, из плохих или посредственных, с великою ревностью выписывают у него разные кавыки и юсы из старых шпаргалов, и думает, что юноши зело прилежат учению книжному. Но он не видит, что делается вокруг его и За спиною его.

24 декабря 1863 года, вторник

Читал у Грота отчет свой, который, впрочем, не приведен еще в порядок. Тут были Срезневский и Билярский. Беда с такою работою, в которой каждый по мере сил своих и самолюбия хочет участвовать. Тот хочет арбуза, а этот соленых огурцов, а главное — все хотят, чтобы было сердито и дешево, а между тем у отделения решительно нет ничего, из чего бы можно было составить интересный для публики отчет. Языком и словесностью почти совсем не занимались, а каждый делал то, что случайно попадало ему в руки, — то в архиве, где он официально занимается, то для своих лекций и пр. Я возился с этими господами с двенадцати до трех часов и объявил им, что в последний (пятый) раз составляю отчет и ни за какие блага уже не примусь за эту смешную и неблагодарную работу.

25 декабря 1863 года, среда

Поутру боль в груди сильнее, кашель меньше, небольшой насморк. Посылал к Вальцу. Надобно знать, могу ли я выходить?

Был Вальц; велел остаться дома и велел принимать по две капли какого-то *бромина* через каждые два часа. Я думаю, что это вздор. Предписана диета.

26 декабря 1863 года, четверг

Нет! Этот глупый бром, как и все гомеопатические средства, чистая мистификация. Сегодня все то же.

К черту все бромы! Давайте мне что-нибудь посущественнее! Вечером я бросил глупые гомеопатические капли и велел на грудь положить свиного жиру на сахарной синей бумаге да намазал жиром нос. Мне присоветовали также напиться отвару яблочного с розовыми листьями.

27 декабря 1863 года, пятница

Вальц, по обыкновению обманул вчера, не приехал. Черт с ним! Он, кажется, теперь больше занят своими торговыми спекуляциями, чем больными. Тому назад недели три он просил у меня взаймы тысячи три. А где я их взял бы! Весь мой капитал состоит в билете Коммерческого банка в 2000 рублей; отдать их напропалую — значит быть дураком. Но он, кажется, на меня сердит за это. Это уже в другой раз, что он думал поживиться от меня деньгами. За визит я плачу ему исправно и более договорного. Но человек всегда свинья.

28 декабря 1863 года, суббота

Сегодня окончательно надобно исправить гнусный академический отчет к завтрашнему прочтению. Вальц говорил вчера, что я могу выехать без малейшего опасения.

День провел дурно — отсутствие энергии, голова пуста и к вечеру и ночью болела. Между тем надобно было работать за гнусною речью, кое-что поправлять и кое-что выкидывать, переставлять и пр. Я диктовал, наконец, Казимире и насилу кончил в половине двенадцатого. Вечером написал еще записку к графу Блудову о том, почему я не мог к нему явиться для прочтения речи.

29 декабря 1863 года, воскресенье

Жизнь! Какая страшная бездна! Как не закружиться голове, заглядывая в нее!

Акт в Академии наук. Я приехал в половине первого с Тимофеевым, который зашел ко мне. Через несколько минут сказали, что приехал и президент наш, граф Блудов. Вышед в прихожую, я нашел этого бедного старика сидящим на стуле, в своей голубой ленте, в совершенном изнеможении. Он совершенно был похож на умершего или умирающего, тяжело дышал и стонал. Его утомил всход на лестницу. Когда немножко он оправился, я сказал ему, что как ни приятно нам видеть его в среде нашей, но он лучше сделал бы, если бы поберегся и остался дома. Отдохнув, он отправился в залу и сказал мне: “И вы приносите жертву, вы ведь тоже больны”. Вскоре, однако, он оправился, и хотя с трудом, но храбро высидел все время и выслушал наши речи. По временам он обращался ко мне с шутливыми замечаниями: я сидел возле него на эстраде по левую руку, а вице-президент В.Я.Буняковский — по правую. Сначала я чувствовал себя порядочно, но потом в голове моей поднялось брожение, и я боялся, что мне сделается если не дурно, так что-нибудь такое, что помешает выполнить мое дело. Наконец дошла очередь до меня. Речь мою я прочитал прескверно. Кроме того, что у меня не хватило голоса от моего проклятого гриппа, я беспрестанно спотыкался и путался. Чтобы не мучить себя и других, я пропускал многие места. Я возвратился домой в половине третьего, усталый и изможденный.

31 декабря 1863 года, вторник

Конец 1863 года.

1864

1 января 1864 года, среда

Принялся убирать свой кабинет и приводить.в некоторый порядок книги, находящиеся у меня в ужаснейшем хаосе. К сожалению, место в кабинете моем не допускает расположить мою библиотеку так, чтобы я мог ею пользоваться. Теперь я иной нужной книги совсем не могу отыскать; все свалено в шкафах в куче. Мне хотелось хоть один шкаф очистить для необходимейших книг. Пренеприятная работа, сильно меня утомившая. Я хотел пойти погулять, но устал уже так, что не мог. Да и кое-кто приехал: например Барановский, дядя Марк, Глебов; с ними я заговорился и уже потерял охоту к прогулке.

2 января 1864 года, четверг

Весьма важный вопрос при определении какой-нибудь эпохи в истории: литература; что тут считалось в произведениях словесности хорошим, что трогало и одушевляло сердца, занимало умы. Иногда мысль должна быть обставлена иглами, чтобы они отбивали охоту нападать на нее.

3 января 1864 года, пятница

Грипп немного меньше, хотя продолжается.

6 января 1864 года, понедельник

Что ты не очень умный человек, я узнаю это из того, что ты считаешь себя очень умным.

Никогда, кажется, в Петербурге не совершалось столько мерзостей, как ныне, в управление гуманного болвана генерал-губернатора Суворова. Воровство, денное и ночное, в огромных размерах каждый день и каждую ночь разбой, пьянство, небывалое даже в России, так что пьяные толпами скитаются по улицам, валяются и дохнут как скоты, где попало. Между опивающимися есть мальчики пятнадцати лет, а сегодня извозчик мне говорил, что он видел четырехлетнего ребенка. Всевозможные уличные беспорядки: скорая и сломя голову езда по улицам, вследствие которой беспрестанно случаются несчастия, стаи собак бродячих, как в Константинополе, и проч. Полиция до того распушена и обессилена, что ее решительно никто не слушается, и не раз видели, что извозчик или мужик барахтается и дерется с городовым, который хочет за какой-нибудь беспорядок

повести его в часть. Воров, по приказанию генерал-губернатора, которые раза по три сидели за воровство в тюрьмах, выпускают тотчас, хотя бы у них нашли ворованные вещи. Недавно И.И.Домонтович сам слышал от городовых и других полицейских служителей, что не стоит ловить поджигателей и воров, потому что начальство выпускает их тотчас. По нескольку раз попадаются одни и те же лица в преступлениях. Полицмейстер Банаш, мне знакомый, говорит, что у него руки опускаются что-нибудь делать, потому что генерал-губернатор решительно и явно поддерживает воров и мошенников, разумеется, из гуманных видов. Вот как в этой полуварварской земле переделывают высокие европейские принципы на свой лад.

7 января 1864 года, вторник

Для человека мужественного и с характером нет в жизни эпохи, когда бы он мог сказать: теперь я уже ничего не могу делать.

Самая трудная для меня вещь — сражаться с некоторыми антипатиями, с внутренним нерасположением к тому или другому делу. Однако надобно не только с этим сражаться, но и побеждать это.

Отвез письмо к Срезневскому об увольнении меня из университета, так как 17-го числа окончится мое пятилетие. У Срезневского я просидел часа два. Не знаю, искренно или нет, но он очень жалел, что я выхожу из университета. Впрочем, я решительно не понимаю, почему бы он лгал в этом случае. Я виделся также с ректором по этому же поводу. Тоже сожаление. Он хотел, однако, разузнать, нельзя ли надеяться на большинство голосов в совете, если я подвергся бы баллотировке. Я отвечал, что баллотироваться наудачу я никак не могу, а за достоверность кто может поручиться? Он все-таки хотел, однако, попытаться переговорить с некоторыми членами.

8 января 1864 года, среда

Не ездил уже в университет, отозвавшись болезнью. Не стоит начинать новый семестр.

Сегодня в опере. Давали “Фауста”. Музыка вздорная, игра Барбо-Маргариты очень хороша. Я на четвертом акте уехал.

9 января 1864 года, четверг

Правительству, особенно в известных обстоятельствах, бывают нужны цепные собаки, как Муравьев и Катков. Оно и спустило их с цепи, а теперь не знает, как их унять. Сегодня в заседании Совета по делам печати, между прочим, была доложена ругательнейшая статья “Московских ведомостей” на Петербург. Я при этом случае сказал, что о Каткове Совет ничего не может постановлять: пусть министр ведается с ним, как считает за удобнейшее, а Совет был бы только смешон, выслушивая и бесплодно занося в свои протоколы то, чему он противится и чего остановить не в состоянии. Председатель объявил, что министр действительно сделал свое

распоряжение. Ну и ладно! Хотя я уверен, что это вздор и что из этого ничего не выйдет.

Сегодня я долго беседовал с товарищем министра, и он мне сказал, что милютинская партия сильно начинает расти. Ну, это не к добру. Милютин приверженец красных и поборник демократических начал. Я думал, что, сделавшись министром, он перестанет быть красным, но в демократизме он, кажется, зашел слишком далеко, чтобы воротиться назад. Беда нам с нашими доморощенными доктринерами. Россия могла бы легко обойтись без применения всех этих учений, которые на Западе выдвинуты историей. Нам не нужно преобладание ни аристократов, ни демократов; нам нужно одно — *расширять и усиливать класс образованный, не держась никаких сословных принципов.* Но мы искусственно и насильственно возбуждаем антагонизм сословий и, гладя по головке и возвышая грубую полуварварскую массу, не видим, какое опасное и дикое господство в ней приготовляем. Не следовало ли прежде позаботиться о воспитании этой массы, которое, умерив ее дикие инстинкты, сделало бы ее способною ко всему тому, что теперь ей навязывают, не имея никакого обеспечения, что она этого не употребит во зло? Господство массы отзовется великою бедою для России.

10 января 1864 года, пятница

Подписался на “Голос”.

Совершенно неожиданно получил статью мою от Каткова. Ее привез ко мне и оставил вместе с своею карточкою Гиляров. Меня не было дома.

12 января 1864 года, воскресенье

На днях разнесся слух, что Герцен умер, а теперь говорят, что это ложь. Умер ли, жив ли, впрочем, совершенно все равно: он превратился в политическое ничтожество для России. Ни пользы, ни вреда от него нет никакого. С польского восстания он так упал в общественном мнении, что о его существовании почти забыли.

Поутру кое-какие визиты, как-то: Делянову, Овсянникову и проч.

13 января 1864 года, понедельник

Отдал статью мою “Молодое поколение” для напечатания редактору “Северной почты”. Ее надобно предварительно показать министру.

15 января 1864 года, среда

Природа сильно мстит за обиды, ей чинимые или неразумием нашим, или страстями. Но что всего хуже: она мстит детям за проступки отцов.

“Взбаламученное море” Писемского — это море безвкусия, в нем же несть

числа гадов.

Герцен, говорят, не умер, но здравствует и благоденствует, подобно всем подлецам. Будь он честный человек и живи в своем отечестве, давно тем или другим образом он был бы затерт или совсем пропал.

Вывеска честного человека — бедность и ограниченный круг действий.

16 января 1864 года, четверг

Жизнь — тревога; моя — архитревога. Был ли в жизни моей случай, которому бы я имел право серьезно порадоваться, который бы, сначала, по-видимому, благоприятствуя мне, не обратился мне в горе или не умалил значительной части своего благоприятства? Жаловаться на это, конечно, было бы и малодушно и глупо. Это значило бы жаловаться на самого себя, потому что человек в большей части своих неудач и несчастий виноват сам. Я и не жалуюсь, а только, беседуя с самим собою, говорю о факте.

Между прочим, домашние мои дела вот каковы: обе дочери мои милые, добрые (а Софья весьма даровитая) девушки, но слабого, болезненного сложения. Существование бедной Кати есть не иное что, как цепь выздоровлений и болезней. У ней спинная кость не в порядке, и тут помочь уже никакая медицина не в состоянии. Саша добрый мальчик, но без способностей. Он не в силах сосредоточить себя, и к тому же в гимназиях ныне, как и всегда у нас, прескверно учат. Тут хотят взять не *качеством* учения, а *количеством.* В низших классах, например, каждый день вкачивают десяти- и двенадцатилетним детям в головы по пяти предметов, и как каждый учитель заботится о том, чтобы пройти больше, а не о том, чтобы пройти лучше, то дети ходят как пьяные, отуманенные словами, не понятиями, и ничего не в состоянии выразумить порядочно. Итак, мои бедные девочки обречены на нищету и труд, а для труда у них отнято главное орудие — здоровье. Будущность мальчика тоже ненадежна. Все это представляется мне день и ночь, — а помочь этому как?

17 января 1864 года, пятница

На днях встретил Тургенева, недавно приехавшего сюда из Парижа по вызову правительства для очной ставки с некоторыми заключенными в крепости. Тургенев долго не ехал, ссылаясь то на свою болезнь, то на болезнь дочери своей (у него побочная дочь в Париже). Главная же причина была боязнь, чтобы его как-нибудь не сопричислили к бунтовщикам. Сенатор Пинский написал к нему, наконец, что его присутствие необходимо здесь для решения дела и что ему совершенно нечего опасаться: он даст только два-три показания — и делу конец. Так действительно и было. Мне Тургенев сказал, что после двух призывов в сенат ему объявили, что он может отправляться теперь куда угодно.

18 января 1864 года, суббота

Факультет изъявил свое желание, чтобы я остался, по крайней мере на этот академический год, в университете, и просил меня продолжать лекции. Об этом пойдет представление к министру.

Вечер у Клеванова. Там были, между прочим, один рязанский помещик и один тамошний же посредник. Последний очень порядочный и образованный молодой человек. Он учился в Московском университете. Разговор касался преимущественно нынешних финансовых затруднений, от которых сильно терпит провинция. Денег нигде нет; сбыта сельских продуктов также нет. Дешевизна хлеба такова, что его сбывать не стоит, и проч. и проч. Я приехал домой в три часа.

20 января 1864 года, понедельник

Совершенная оттепель, дождь.

Умер (19-го числа) А.В.Дружинин, который давно уже был болен чахоткой.

21 января 1864 года, вторник.

Распутица продолжается.

Заседание в попечительском совете. Прения о разных специальных вопросах гимназической администрации. Я в них не участвовал.

Любопытно было только то, что начинают чувствовать необходимость восстановить Педагогический институт. Хотя теперь существует более двадцати человек для приготовления к учительскому званию по С.-Петербургскому округу, но ими никто не занимается. Руководители их — университетские профессора, которым правительство платит дополнительное жалованье, в глаза даже никого их не видали, и молодые люди, ничем не занятые, находят для себя эту милую праздность на иждивении правительства очень приятною. Когда одного из них спросили, под чьим руководством он занимается, он отвечал: под руководством профессора Куторги. А Куторги и в Петербурге с мая месяца совсем нет. Удивительно, как мы, русские люди, равнодушны ко всякому общественному делу и как нас нужно принуждать что-нибудь делать.

22 января 1864 года, среда

По желанию факультета я продолжаю мои лекции в университете.

Марку Любощинскому пишут, что новый дом в Лосведо, где жило семейство Жусто, сгорел дотла. Не крестьяне ли это пошаливают? При нынешней безнаказанности немудрено, если демократическая дикость или дикая демократичность разгуливается у нас таким образом. И в Петербурге безнаказанность причиняет страшные явления.

23 января 1864 года, четверг

Дом в Лосведо сгорел не от пожара, а от выкинутого огня из трубы.

Заседание в Совете по делам печати. Корш, редактор “С.-Петербургских ведомостей”, сделал великую глупость—написал ругательство на цензуру и правительство вообще и, оттиснув листок, просил председателя цензурного комитета представить это Совету. Совет определил объявить ему, что если он осмелится вперед делать подобные вещи, то ему, как лицу неблагонадежному, будет воспрещено издавать газету, о чем Совет уведомит полицию и президента Академии наук.

Вечер у Княжевича.

24 января 1864 года, пятница

Костомаров написал оправдательную статью против упреков в сепаратизме. Мне дана она была на рассмотрение; она написана хитро, но все-таки отстаивает любимую мысль малороссийских литераторов о введении преподавания в малороссийских школах на тамошнем наречии. Я полагал статью эту остановить именно по этой причине. Гончаров слабо возражал; видно, что он совсем не знает стремлений этих господ. Я настаивал, что всеми силами надобно противодействовать замыслам их, потому что за их домогательствами скрываются тенденции настоящего сепаратизма на основании нелепой славянской конфедерации.

Статья моя “Молодое поколение” напечатана в “Северной почте”, N 20.

Итак, война началась с Дании. Едва ли она сделает честь Германии. Это война слона против мыши.

25 января 1864 года, суббота

Факультетское заседание. После магистерского экзамена из политической экономии некоему… (забыл фамилию), выбор в доценты Астафьева, Бауера и Люгебиля. Избраны единогласно. Потом я прочитал предложение мое об избрании Сидонского в почетные доктора. Записка моя возбудила столь громкое одобрение, что положено в факультете изъявить мне благодарность. Раздались такие выражения: что это мастерское, художественное и верное изложение. Посмотрим, что скажет совет.

В заседании был и Куторга, который недавно приехал. Он решился подвергнуться баллотировке.

Признаюсь, грустно мне оставить университет! Большая и лучшая часть моей жизни посвящена была ему. Но, во-первых, я почти убежден, что не получу двух третей голосов в свою пользу, а во-вторых, может быть, я действительно и не в состоянии буду приносить той пользы слушателям, какую может принести им новое лицо с свежими силами? (Только не Сухомлинов, мой непосредственный преемник, который, бедняга, как-то сильно ослабел и телом и духом, особенно последним.)

Настоящее мое значение в науке есть *философское,* а теперь требуют исключительно фактов. Фактами по русской словесности и я, конечно, могу быть не беден. Но мне недостает возможности *сравнительного способа,* по незнанию моему иностранных языков. Вот где настоящий для меня камень преткновения. Я чувствуй мои силы в философской и эстетической сфере; знаю, что мои слушатели могут получить от меня, может быть, верные основные начала, могут развиться под моим руководством в высших соображениях по литературе и особенно утвердиться в нравственном, благородном сочувствии великим истинам науки и жизни, потому что я сам всем этим глубоко проникнут, имею для подобного направления достаточный запас опытности, а может быть, и способность.

Но достаточно ли всего этого при нынешних требованиях науки, как ее понимает большинство, особенно у нас? Вот в чем моя совесть не может быть спокойною. Конечно, без всякого глупого жеманства и мелочного самолюбия я могу сказать, что был бы во многих отношениях еще полезен университету. Но, может быть, ему нужны другого рода пользы, которых я не в состоянии ему дать.

Статья моя “Молодое поколение”, как доходят до меня слухи, читается с большим сочувствием. Хотелось бы мне знать, как ее примет само молодое поколение. Тут для него ничего нет обидного. Напротив, мое сердечное чувство на его стороне. В этом, как и во всем другом, я только не допускаю крайностей. Для этого я и прибавил эпиграф: *“Равновесие сил есть высокий закон жизни”*. Никак не могу понять, почему Катков не хотел ее напечатать. Причина, *что я смотрю на молодое поколение как на корпорацию,* слишком глупа и нейдет к делу, чтобы быть настоящею или истинною причиною. Тут скрывается какая-то задняя мысль. Главное же, мне кажется, это то, что Катков отуманен успехом своей газеты и вменяет себе в достоинство отвергать то, что другие одобряют. Впрочем, Катков и не отличался никогда верным тактом и пониманием собственно в оценке и анализе литературных вещей. А теперь он совсем одурел от успеха!

Если вам случилось оказать мне услугу, то не дерите же с меня процентов сто на сто, как какой-нибудь жид-ростовщик! Вот, например, господин Катков, сделав нечто хорошее своей газетой, теперь считает, что он купил этим право делать всевозможные гадости. С неслыханною наглостью всякого несогласного или расходящегося с его мнением он клеймит словами изменника, врага отечества, невежды и т.п. Но ведь это значит иметь слабую голову, чтобы так скоро опьянеть от успеха и надуться таким непомерным количеством спеси и самохвальства.

26 января 1864 года, воскресенье

То выражение особенно хорошо, которое, означая с точностью определенную мысль, вместе с тем дает вам чувствовать и отношения его к другим мыслям, более или менее к ней близким или отдаленным, но которые непосредственно не входят в цепь излагаемых вами понятий.

Утром у Ливотовой. Она предложила мне быть членом установляющегося Общества женского труда. Я слишком поспешно согласился, однако не прежде, как рассмотрев проект устава, который тут же и дан мне.

27 января 1864 года, понедельник

Записка моя о Сидонском была читана в совете университета. Я никак не ожидал такого блистательного успеха: он избран был двадцатью тремя голосами против трех! Многие мне лично выразили самые любезные приветствия по поводу изложения моего и пр. Я, мимо едучи из совета, заехал к Сидонскому поздравить его. Старик был очень рад.

В доценты гражданского права избран Вицын. Варадинов выбирался в профессоры и получил хорошие баллы: семнадцать против десяти. Но Вицын был избран двадцатью четырьмя против двух.

Бедный Куторга (Михаил) потерпел поражение. Нужно было две трети голосов для того, чтобы избрать его на пятилетие: ему недодано было двух. Люгебиль и Бауер избраны в доценты.

Вот, мне кажется, что будет: Пруссия отдаст Франции свои рейнские провинции, а взамен возьмет себе Голштинию, которая ближе к ней и выгоднее полуофранцуженных рейнских мест. Тут же и море, а Пруссии сильно хочется быть морскою державою. Австрии она гарантирует Венецию, а чтобы не дразнить Италии, Наполеон выведет свои войска из Рима. Франция останется в союзе с Россией, которой гарантирует Польшу. Россия, по всему этому, не поссорится и с Пруссией за ее операции в Дании. Крохотная Дания, разумеется, останется обиженною, но на нее не посмотрят. А Англия? не захочет же она затевать одна войну за Дакию? Да притом у ней останется утешение — виды на хорошенький кусок на Востоке. Так, кажется, сданы карты Наполеоном, а он, известно, отличный игрок. Ему более всего от этого будет хорошо. Он разом уничтожит красноречивое ворчанье оппозиции и еще теснее свяжет с собою Францию, да и ее самую. России, однако, надобно быть осторожною. Ей оставят Польшу, как цепную собаку, которая, хотя и на привязи у нее, но всегда может оборвать цепь и кинуться на хозяина. Поэтому Польшу надобно так устроить, чтобы для нас она подобной опасности не представляла.

29 января 1864 года, среда

Какая-то сплетня была причиною, что Куторга не выбран. Кто-то распространил между членами совета (кажется, говорят, Сухомлинов) мысль, что Куторга не будет читать лекций, о чем будто бы он объявил в факультетском собрании в субботу. Там была, правда, речь о нечтении лекций, но только до того дня, когда решится вопрос о его избрании. Словом, сплетня, — и этак-то дела у нас решаются. Теперь и говорят некоторые из членов совета, что, вероятно, законное большинство осталось бы за Куторгою, — если бы то и то. Все ложь и пустяки. Придется только повторить старые стихи Карамзина из Экклезиаста:

Не судит ни о ком рассудок беспристрастный,

Лишь страсти говорят…

30 января 1864 года, четверг

Заседание в Академии — ничего; в факультете — дело о Куторге. Положено просить о сделании его почетным членом университета и оставлении его еще хоть на несколько времени преподавателем истории по причине неимения для этого предмета надлежащего опытного лица (остался один начинающий доцент Бауер).

Совещание между мною, Штейнманом и Срезневским о продвижении в докторы (почетные) Костомарова. Положено помедлить. Но при этом я объявил, что буду решительно противиться избранию его в профессоры.

Заседание в Совете по делам печати. Побито мнение Пржецлавского о недозволении печатать на русском языке известной книги Милля “О свободе”. Он очень было распространялся в поддержке запретительной системы печати, как, впрочем, это обыкновенно делает, очевидно, желая подслужиться. Более всех против него говорил я, Гончаров и сам председатель. Прочие скромно высказывали свое согласие на наше мнение. Речь была также по поводу статьи “О пище”, назначенной для “Современника”. Гончаров отозвался о ней и так и сяк. Положено, чтобы я еще прочитал эту статью и дал о ней свое мнение.

1 февраля 1864 года, суббота

Кажется, следующее определение человека будет недурно: человек есть существо физическое, разумное и гадящее своему ближнему.

Какой злой дух надоумил Пирогова оставить науку, где он занял такое прекрасное место, и прилепиться к отверженному племени бюрократов, где он едва может приобрести посредственное значение, да и пользы никакой?

2 февраля 1864 года, воскресенье

Подражательность и восприимчивость — два различные и последовательные фазиса в истории нашего умственного образования. Подражательностью мы становились перед предметами и, как неподвижное зеркало, механически, или, если угодно, оптически, отражали их в себе без малейшего принятия внутрь, без всякого изменения, кроме того, что предмет был существен, а отражение его призрачно. Восприимчивостью мы до некоторой степени усваиваем себе чужие понятия, принимаем их внутрь, но не перерабатываем их, не анализируем, оставляем их почти такими, какими они приняты, и стремимся распространять, не думая и не заботясь о том, должны ли они быть распространяемы и могут ли они ужиться в нашем русском мире. И тут, как и там, немного самостоятельности, но здесь более движения, больше живости. Видно, что мы хотим напитать себя принятым материалом. Но так как мы не думаем о доброкачественности принятой пищи, ни о том, в какой мере она свойственна нашему организму и нашему возрасту, то нередко пища эта производит в нас тошноту, и, вместо того чтобы действительно нас питать,

она нам вредит и отравляет нас. Мы похожи на богача, который, вместо того чтобы употреблять капитал на удобрение и обработку своей земли или на заведение полезных фабрик, тратит его на добывание из чужих рук того, что ему нужно и что не нужно, и таким образом проматывает свое достояние непроизводительно. Немудрено, что после первого удовлетворения своим нуждам и прихотям и мы разоряемся и становимся нищими.

Годичное собрание в Обществе пособия нуждающимся литераторам. Была прочитана небольшая статья Тургенева в память Дружинина. Избран президентом барон М.А.Корф.

Я предложил старшую пенсию, выдаваемую Обществом в память Дружинина, назвать — “Дружининскою”. Все единогласно одобрили это и согласились.

А некоторые из членов явились, чтобы нагадить Корфу, снабдив его отрицательными голосами. Но это не удалось.

Тут я побеседовал с князем Щербатовым, Тургеневым и пр. Некрасов просил меня очень покорно о поддержке в Совете по делам печати его просьбы по поводу одной статьи, которую ему хочется поместить в “Современнике”. И.А.Гончаров, по обычаю своему, уклоняется от этого, сваливая на меня, хотя дело касается до него, потому что он распоряжается “Современником”. Я не привык уклоняться и потому сказал, что сделаю что могу и что должно.

В пять часов мы сошлись на тризну по Дружинине в Hotel de France. Тут были, кроме меня: Тургенев, Анненков, Гончаров, Ковалевский Егор, Григорович, Гаевский, Боткин и брат Дружинина. Этот последний очень благодарил меня за мысль, поданную в Обществе о Дружининской пенсии. Обед был роскошный, но беседа за обедом была совершенно пустая. К концу обеда ударились в разговоры о женщинах и разных отвратительных скандальных историях. Неужели наши передовые умы не умеют найти лучших предметов для дружеской беседы?

3 февраля 1864 года, понедельник

Что такое это волнующееся общество и что из него должно выйти? Вот главные вопросы.

4 февраля 1864 года, вторник.

Все надобно сводить к одному центру — к самоутверждению или к самоукреплению.

Всякий непременно хочет составить около себя особый кружок, чтобы первенствовать в нем.

Роль правительства была бы та, чтобы нелепые стремления и нелепые требования сдерживать, а между тем давать науке сколь возможно более простору и способов, чтобы она вырабатывала здравые и точные понятия, которые распространялись, бы в обществе, становились бы основанием и залогом прочного

настоящего преуспеяния.

5 февраля 1864 года, среда

Великое горе мое — бедная Катя. Особенно нынешнюю зиму она страдает больше, чем когда-либо. У меня сердце поворачивается, смотря на нее! А помочь чем? Медицина не делает чудес. Она едва что-нибудь может делать, и то ощупью.

6 февраля 1864 года, четверг

То совершенно ничего не значит, что человек сам собою и для себя делает. Тут он то же самое значит, что всякое животное: он ест, пьет, плодится, заботится о своем благосостоянии, наслаждается более или менее, страдает и умирает. Важно то, что он вносит в общую сокровищницу человеческого развития и образования, чем он содействует к построению общего здания человечности.

Вот так мне достанется и умереть, не только не выполнив моей задачи, занимавшей меня со дней отрочества, но И никакой. Главный недостаток и бедствие моего существования состоит в том, что я задал себе задачу слишком огромного размера. Я не умел остановиться на одном предмете, я не умел быть *специальным*. Каждый особенный предмет мне казался слишком ничтожным, чтобы я мог всего себя ему обречь. Целое, общее, человеческое — вот что меня занимало, что влекло меня к себе. Правда, я не пренебрегал ни одним сколько-нибудь важным предметом, но я не хотел заняться им не только исключительно, но даже долго. Мне хотелось быть историческим лицом — и только. Во всех моих стремлениях, правда, проглядывало стремление к политической деятельности; но как у нас она была невозможна, то я ничего и не достигал и не мог достигнуть в этой сфере.

И вот каждая крыса из этих специалистов, грызущая свой лоскутик полусгнившего, старого пергамента или засушенный стебель какого-нибудь растения, может с гордостью стать передо мною и спросить: “Вот ты мыслитель и красноречивый болтун, а ничего не сделал. Посмотри, вот я сколько нагрыз сору — как ты это называешь, но этот сор пойдет хоть на замазку чего-нибудь, а ты разве сам только годишься на нее”.

Какой-нибудь Пекарский есть полезный человек для науки, хотя он думает о ней и понимает ее столько же, как крот, роющийся под землею, понимает то, что происходит на ней, или столько, сколько крот способен видеть свет солнечный.

Управлять людьми — самое скучное и неблагородное ремесло, и одни только сентиментальные мечтатели или рьяные честолюбцы способны добровольно обречь ему себя на жертву. Если вы не чувствуете призвания ни быть жертвою, ни делать других жертвами, то заботьтесь единственно о первом и оставьте людей быть тем, чем они хотят и могут сделаться.

Заседание в Совете по делам печати. Пржецлавский читал свою записку о сильном распространении у нас материализма и полагал, что достаточно выбрать хороших цензоров, чтобы остановить этот пагубный поток. Я испросил у

председателя разрешения говорить. Прежде всего я похвалил записку г-на Пржецлавского, назвав ее *трактатом*, что, кажется, не понравилось ее сочинителю, который видит в ней официальный документ. Потом я обратился к вопросу: какие же меры думает автор принять против этого зла, ибо нельзя же серьезно думать, чтобы выбор нескольких хороших цензоров был достаточною для этого мерою? Да и самый этот выбор не есть вещь легкая. Материалистическое настроение есть настроение времени. Оно не только врывается в печать — оно сидит на кафедрах университетских, оно проникает в воспитание. Естественная наука овладела духом времени и вместе с утилитарным направлением составляет нравы нашего времени. Если это зло, то против него надобно ополчиться силами равными. Сюда надобно призвать на помощь, уж конечно, не одну полицию, то есть цензуру, а все, что есть лучшего в верованиях человеческих, в разуме, в воспитании. Но как это сделать? Я в заключение показал, что записка Пржецлавского есть весьма почтенный трактат, но не ведущий ни к каким практическим результатам в административном отношении. В таком же духе оспаривали Пржецлавского президент, Гончаров и Турунов. Прочие молчали. Автор записки защищался с своим обыкновенным неумением. Чтобы, однако, сделать ему утешение, да и не оставить без внимания такого важного дела, как материализм, президент предложил отправить в С.-Петербургский цензурный комитет записку его *для прочтения*. Тем и кончилось длинное прение.

В “Дне” учинены сильные нападки на управление в Киеве. В том крае готовятся ужасы по милости неспособности и крайней слабости нашей тамошней администрации. Совет не признал нужным принять какую-нибудь меру против “Дня”. Тройницкий, между прочим, сказал, что все излагаемое в “Дне”, к сожалению, совершенно справедливо, что ему, как товарищу министра, очень хорошо известно.

Мне отдана на рассмотрение статья “О пище”, назначаемая для “Современника”, о которой просил Некрасов.

Есть ли у нас патриотизм? В образованном так называемом классе его нет.

7 февраля 1864 года, пятница

Обед у Григория Васильевича Дружинина, брата умершего недавно Александра Васильевича. Обед балтазаровский — вина были особенно изящны. Я пробыл часов до девяти вечера в беседе с некоторыми литераторами: Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем, Анненковым и пр. Интересен был особенно Тургенев. Он много рассказывал любопытных вещей о сношениях своих с заграничными писателями, особенно с Диккенсом.

Вот разница между Тургеневым и Гончаровым: один настоящий джентльмен. Он приятен без всяких усилий, прост и благороден. С ним приятно быть и говорить. Гончаров — толстенький, надутенький господин вроде провинциального дворянина. Он непременно хочет давать вам чувствовать, что вы имеете дело с знаменитостью в его особе. Весь же его характер может быть обозначен следующими чертами: *эгоист, трус и завистник.*

Вообще разговор за нынешним обедом и после обеда был и занимательнее и

приличнее. Может быть, оттого, что с нами были неразлучны дамы — старушка мать Дружинина и жена его. Да и дети тут беспрестанно вертелись.

8 февраля 1864 года, суббота

Вечер у Ржевского, где виделся с Скарятиным. Он мне нравится.

9 февраля 1864 года, воскресенье

Я говорю: какое право имеет общество (клуб), избирая кого-либо в свои члены, контролировать его убеждения? Оно не может или не должно принять бесчестного человека, — вот все, на что оно имеет право. При этом я заметил: есть две нравственности у человека — *нравственность общественная и нравственность совести*. Пусть общество и осуждает поступки, противные первой. Но кто судьи вторых? Бог разве и Третье отделение.

10 февраля 1864 года, понедельник

8-го, в субботу, умер Востоков, на восемьдесят третьем году жизни.

Да и президент наш Д.Н.Блудов тоже плох. Он, кажется, тех же лет. Я вчера заходил справиться о его здоровье. Мне сказали, что ему сделалось хуже.

Письмо к Рудницкому в Веймар.

11 февраля 1864 года, вторник.

Смерть собственно не есть зло — она ничто. Зло — умирание и предумирание.

Медики уверяют, что каждая эпоха, кроме общих обыкновенных недугов, имеет еще свои собственные, проистекающие из обстоятельств времени. Таковы ныне нервные болезни и размягчение мозга. Любопытно было бы исследовать психологические причины последней болезни, сделавшейся ныне столь обыкновенною. Мне кажется, это есть следствие расширения образованности и происшедшего отсюда страшного усиления честолюбия, напрягающего душевные силы каждого к замыслам и предприятиям, выходящим из пределов его сил и возможности. В самом деле, кто ныне не честолюбив? Кто не желает отличиться, обратить на себя общее внимание, сделаться популярным? Популярность есть сама По себе болезнь нашего времени. Желание приобрести ее напрягает мозг свыше меры, а отсюда до размягчения мозга недалеко.

Самое важное было в Востокове, важнее его науки, — это то, что он был истинно честный человек.

12 февраля 1864 года, среда

Похороны Востокова. Из Петропавловской лютеранской церкви мы проводили

его на Волкове кладбище, и там были угощены завтраком, до которого я, впрочем, не дотрагивался почти. Из церкви гроб вынесли и поставили на дроги мы, академики. Провожавших до могилы было довольно много. На могиле Срезневский сказал коротенькую, но весьма приличную речь в честь покойного, который действительно был один из замечательных ученых и один из честнейших людей. Я, правду сказать, не очень большой веры в так называемую славянскую науку, но Востокова нельзя было не уважать и не любить за его сердце. За завтраком еще сказано было маленькое слово Билярским. Борис Федоров, бывший член бывшей Русской академии, прочитал старые стихи Востокова в доказательство, что он был не только истинно ученый, но и поэт.

Но вдруг из среды провожавших исторгся редактор педагогического журнала “Учитель” Весгель и довольно яростно произнес несколько слов в укоризну чиновников и литераторов, из которых никто не захотел отдать последней почести знаменитому ученому. Это и правда. От меня, кажется, тоже ожидали слова, но я не был к этому приготовлен и был совершенно не расположен. После пришли ко мне хорошие мысли, но это было уже дома, ночью, когда я лежал в постели. Опоздал, значит. Впрочем, я не пожалел об этом. Востокова я уважал и любил, но восторгаться славянством значило бы для меня искусственно себя настраивать. И хорошие мысли, опоздавшие приходом ко мне, более относились к нему как к человеку, а публика этим, конечно, не была бы довольна в устах академика.

13 февраля 1864 года, четверг

Заседание в факультете. Окончательный экзамен на магистра некоему Янсону, который во всех предметах оказал превосходные знания и умение излагать. Главный его предмет — политическая экономия.

15 февраля 1864 года, суббота

Заседание в Академии. Читаны были записки покойного А.Х. Востокова. Их не много. Они содержат только детство академика и его воспитание сперва в кадетском корпусе, а потом в Академии художеств. Записки эти очень любопытны и отличаются тою искренностью и простотою, какие вообще были свойственны характеру этого почтенного и благородного академика. Срезневский, по обыкновению своему, как певчая птичка, разливался в преувеличениях об достоинствах Востокова. По его словам, Востоков не уступает Гумбольдту, Ньютону; он наш Яков Гримм и пр. Мне понятны эти восторги Срезневского. Востоков был славянский филолог, Срезневский также славянский филолог; обоготворяя первого, последний не забывает, конечно, и себя. По его мнению, все науки не важны в сравнении с наукою о славянстве. Востоков был, неоспоримо, достопочтенный ученый и достопочтеннейший человек. Но зачем же стулья-то ломать? Тут досталось всем, кто не был на похоронах. Впрочем, действительно странно было бы, что для отдания последнего долга знаменитому ученому не явился ни один литератор, если бы мы не знали, что наши литераторы не только не учены, но и большие невежды. Гораздо страннее, что Московский университет не отвечал

на посланную ему телеграмму о смерти Востокова. Харьковский отвечал очень любезно.

16 февраля 1864 года, воскресенье

Спектакль в Пассажном театре. Здешние малороссияне решились сыграть на своем языке две пьесы Основьяненко: “Щира любов” и “Сватання на Гончарівці”. Игра была очень недурна, особенно отличилась некая г-жа Гудима-Левкович. Она прекрасно играла малороссийскую влюбленную дивчину. Все в ней: манеры, произношение, игра ее приятной, умной и одушевленной физиономии — все было чисто народное. Со всем этим она соединяла артистическую отделку. Другая девица, Квитченко, тоже весьма недурно сыграла ее подругу. Жаль, что пьеса “Щира любов” плоховата: в ней пропасть несообразностей и перехитренное сентиментальничанье, как вообще у Основьяненко. Театр был довольно полон. И вообще спектакль этот удался. Он был дан в пользу семейств, пострадавших от войны. В промежутках некто Майский говорил свои рассказы недурно, хотя самые рассказы довольно пусты. Я не дождался конца. И то было уже половина двенадцатого.

17 февраля 1864 года, понедельник

Дрянное расположение духа, как во все эти дни. Зачем, срезая мне на носу бородавку, вы хотите отрезать мне и нос?

Заседание в совете университета. Сильное прение по случаю определения Куторги преподавателем за плату. Срезневский был очень сентиментален, возглашая о необходимости удержать Куторгу. Отчего это у нас всякие изъявления чувства смешны? Не оттого ли, что оно фальшиво и натянуто и что ему никто не верит, начиная с того, кто его выражает?

18 февраля 1864 года, вторник

Я на месте Куторги никак не согласился бы быть преподавателем по найму от корпорации, где я имел голос и теперь его не имею. Что это — любовь к науке? Но ведь эту любовь можно питать и иначе, кроме преподавания, к которому Куторга и не показывал особенной ревности. Нужды в деньгах он не имеет, потому что он с достатком. Нагадить университету, показать ему, что вот как он отлично преподает, а университет его отверг? Конечно, это бы самое положительное, но успеет ли он сделать это?

Как часто становлюсь я жертвою внутренней неурядицы! Недовольство положением своих дел, недовольство обществом, желание удержать нравственно свое место между другими, может быть более честолюбивое, чем законное, и конец концов — недовольство самим собою! Во всем этом огромный недостаток мужества и самообладания.

Как много я сам завишу от отношений, в которых путаются умы слабые и мелкие души — люди, которые никогда не думали и не заботились о возделывании

себя и самообразовании! Несмотря на лета мои, я чувствую в себе достаточно нравственной силы, а между тем не могу справиться с тем, за что с гордым презрением смотрю на других. Не стыд ли, не унижение ли это? Но в смирении да созреет истинное мужество!

19 февраля 1864 года, среда

Обедал у Владимирского. За обедом произошла ссора у профессора Благовещенского с Данилевским — известным мальчиком-писателем (хотя он, по летам, уже давно не мальчик), лгунишкою и хвастуном ультралиберального покроя. Он самый горячий проповедник малороссийского сепаратизма и проч. Со мною он хотел быть холоден за то, что в прошлом еще году я откровенно высказал ему мое мнение о пустошности его романа (кажется, “Переселенцами” он называется) и о его тенденциях о преподавании в малороссийских школах на малороссийском наречии. Но мало-помалу, горячась в разговоре, он снова начал мне оказывать свое, не очень мне приятное, дружеское расположение. Он жестоко врал о поляках, показывая им гуманное сочувствие и не скрывал своей антипатии к москалям. Это вызвало возражение со стороны Благовещенского, и мало-помалу дошло дело до крупных слов! Болтун Данилевский начал уже говорить дерзости. Он вел себя вообще глупо и нагло. По правде сказать, Благовещенскому не следовало с ним связываться.

За обедом был еще Лохвицкий, с которым я тут и познакомился. Господин не очень привлекательной наружности. В нем что-то есть свойственное нынешним передовым людям, то есть непобедимая самоуверенность и дух нетерпимости. Диктаторские приговоры текут из уст его рекою, и, кажется, он никому не позволяет подняться до высоты его полета.

От Владимирского я уехал в оперу, где прослушал только один акт из “Линды ди Шамуни” и возвратился домой усталый, оставив моих досидеть до конца оперу. Бедная Катя возвратилась с головною болью.

20 февраля 1864 года, четверг

Поутру, приготовляя доклады к Совету в министерстве, неожиданно получил от вице-президента Академии уведомление, что я назначаюсь дежурным при гробе графа Д.Н.Блудова. Итак, Блудов умер. Я немедленно дал знать Тройницкому, что в заседании не буду, и поехал в мундире к покойному. В час была панихида. Тут видимо-невидимо было чиновного народу. Был государь с государынею и всем своим семейством. Из знакомых я бонжурился здесь с Княжевичем, Ковалевским, Корфом, который благодарил меня за присылку моих статей, и пр. Просидел я до половины третьего. Завтра я опять дежурным. Сегодня, по-настоящему, не мне следовало. Но я охотно согласился оказать эту почесть знаменитому и благородному усопшему.

Граф Блудов умер вчера часа в четыре пополудни. В двенадцать часов еще он принимал какой-то доклад, а за полчаса до смерти говорил о манифесте для

польских крестьян, о государе и собирался одеться, чтобы, как он говорил, помолиться Богу за государя. Эти подробности сообщила мне А.А. Воейкова, бывшая неотлучно при нем с его дочерью.

21 февраля 1864 года, пятница

Дежурным у гроба Блудова. Был там в половине одиннадцатого часа и возвратился домой к трем. Панихиду служил митрополит. Боже мой! Что за неуклюжее, медведеобразное существо этот митрополит! Что за грубое, неприятное, пошлое выражение лица! Служба по обыкновению состояла из бесчисленных повторений одного и того же, которое, не знаю почему, сочла нужным наша церковь, но которое в состоянии надоесть самому Богу. Потом обычное пение, упрощенное, как его называют, а мне кажется, упошленное. Хотели избежать театральности католической, оперного настроения и впали в такое невыносимое единообразие и вой, от которых ни уши, ни сердце ничего не достигают. Наконец, тоскливость нашего похоронного чтения превосходит всякое мужество. В этих воззваниях: вечная жизнь, вечное успокоение и пр. так и режет душу *вечное ничто*. Положим, что оно, может быть, так и есть, да не надобно же дразнить этим человека, и без того много огорченного. Особенно неприлично делать это христианству, которое наделило человечество столь многими хорошими иллюзиями.

Ждали государя, но на сей раз его не было. Сановников было опять великое множество. Сегодня был и Валуев. Чудо как великолепен в своей синей по жилету ленте.

В произведениях искусства мало того, чтобы не было неправды: надобно, чтобы в них была правда.

Меня совсем не утомили ни вся сегодняшняя и вчерашняя суматоха, ни долгое стояние на ногах и даже весь этот смрад, состоящий из запаха начавшего разлагаться тела, из удушливых паров хлора, которым беспрестанно кропили комнату, из тяжелого ладанного дыма и чада свечей, который делается ужасен после того, как во время панихиды сотни губ дышат на них и потушат, — ничто из этого не подействовало на мою голову.

22 февраля 1864 года, суббота

Вчера был у меня Сухомлинов и рассказал мне, что происходило в экстренном заседании совета университета за четверг, на котором я не мог быть. Ректор прочитал *секретное* к нему отношение попечителя, который уведомляет его, что ему сделалось известным, что в университете находятся три поляка, которые явились туда с намерением подстрекать молодежь к беспорядкам и довести опять университет до закрытия. Правда, уже несколько дней волнуется юношество и, кажется, решительно предпринимает опять учредить сходки.

Я думаю, что сегодня мне не следует быть на похоронах. Как ни мало я устал за два прошедшие дни, но сегодня ожидает меня многостояние и суматоха, а вот уже четвертый день, как у меня кровотечение.

Нынешняя естественная наука устремилась с скальпелем и микроскопом на открытие глубочайших тайн творения. Она действительно дошла до мельчайших подробностей в составе вещей; но дошла ли она до главного — до той силы, которая этим подробностям дает движение и жизнь? Объяснить эту силу *отношениями* нет никакой возможности, потому что отношения суть только последствия, а не причины движения и жизни. Положите камень на камень, травку на травку, нерв на нерв, каплю крови на каплю крови, — вы ничего тут не найдете, кроме мертвого *сопребывания*. Чтобы тут явилась жизнь и движение, нужно что-то другое, чего никак нельзя видеть сквозь микроскоп или достать скальпелем. Нужен *возбудитель*, от которого бы вещи пришли в движение и каждая стала в известное отношение к другой. Возбуждение предшествует отношениям, а не отношения производят возбуждение.

Не был на похоронах Блудова.

23 февраля 1864 года, воскресенье

Конечно, Европе угрожает всеобщая нравственно-социальная революция. Дело не в том, чтобы ей противиться, но чтобы по возможности отстранить крайности, в которые впадает всякая революция, и сделать ее менее пагубною, а более для людей полезною.

Надобно, чтобы горячность не превращалась в горячку с бредом.

24 февраля 1864 года, понедельник

В университете опять между студентами начинаются беспорядки. Вот оно, молодое поколение! Ведь, право, это мерзость! За что оно хочет первенствовать? Что оно уже сделало такого, что бы возбуждало к нему сочувствие? Какие надежды оно подает? Чем лучше оно стариков? Ведь одно, чем может и чем должно оно уверить в своем превосходстве, — это учиться, приготовлять из себя лучших деятелей, чем предшественники его. А оно, как пьяное, лезет туда, куда ему не подобает, орет, замахивается на закон и порядок, науку посылает к черту, заменяя ее газетными статьями и легким чтением… Что за нелегюсть! И это будущность России! Хороша будущность!

Вчера услышал я от Делянова, что в президенты Академии назначен Литке. Очевидно, это выбор Головкина. В полунемецкую Академию немца, — видно по всему, что Головнин большой патриот. Да и что такое Литке? Он известен как хороший моряк и как очень неуживчивый человек, а главное, как большой покровитель своих соотечественников-немцев. Право, можно бы сделать выбор поумнее и сообразнее с настоящими обстоятельствами. Отчего, например, не Корф? Отчего не Строганов?

25 февраля 1864 года, вторник

Много приходится терпеть от внутренней неурядицы. Для меня равно

отвратительны глупые и экзальтированные наши прогрессисты “очертя и сломя голову”, как и те бюрократические холопы, которым дела нет до общественных улучшений, лишь бы они исправно получали свое жалованье, чины, ордена, денежные награды.

Что поляки не могут снести вида русского мужика, что они питают к нему вместе и антипатию и презрение, — это понятно, потому что действительно они образованнее, а русский мужик или масса народа покоится еще в древнем варварском киммерийском мраке. Но непонятно то, что они те же чувствования питают к так называемому образованному сословию: ведь они уж никак не выше его. Тот же умственный и нравственный разврат, та же пустота ума, отсутствие всякого характера и пр. и пр. Их интеллигенция — такая же гадость, как и наша, да у них еще хуже, с прибавкою католицизма. Тут поистине нечем гордиться и превозноситься перед нами.

26 февраля 1864 года, среда

Сейчас получил известие, что бедный Виктор Иванович Барановский умер.

27 февраля 1864 года, четверг

Многие очень хорошо знают науку жизни, но им незнакомо искусство жить, и они очень дурно, то есть несчастливо, живут.

Был у Барановского. В отдаленнейшей части города, в Галерной гавани, в осунувшемся и полуразвалившемся доме, который играет роль кожевенной фабрики, в беднейшей и грязной комнатке лежало на столе, покрытое церковным покровом, убогое тело бедного В.И.Барановского. Тут была какая-то дама, показавшаяся мне очень приличною, и два молодых человека. Между ними вертелась молоденькая девочка лет четырнадцати, очень хорошенькая собой, но слишком бойкая для грустной картины. Все вокруг было в высшей степени грязно и убого. Сын и дочь уехали на кладбище, и я не дождался их, хотя пробыл у тела более часа. Меня одно утешило: это то, что Виктор Иванович обошелся со смертью чрезвычайно свободно, фамильярно, не делая из нее ничего особенного. Он как будто не хотел вовсе признать в ней страшилище, какое обыкновенно делают из нее люди, особенно люди умирающие. За две недели еще до ее посещения он говорил в каком-то смутном предчувствии, что ему скоро придется сделать путешествие на Смоленское кладбище. За два или за три часа до кончины он спросил у своей дочери, во сколько часов умерла младшая дочь его тому лет десять назад, Катя. “В восемь часов вечера”, — отвечала та. “А я так вот не доживу и до восьми часов утра”, — и сказал это так спокойно, как будто дело шло о самой обыкновенной вещи.

Но, кажется, он сам много виноват в своей смерти, если в таких случаях можно быть виноватым. Рядом с его жилищем случился пожар, и он в одном сюртуке простоял часа полтора на сквозном ветру в каком-то полуразвалившемся сарае. Потом он и слышать не хотел о докторе, и когда, по крайнему настоянию своей дочери и сына, решился наконец призвать его, то уже было поздно: в легких у него

начался антонов огонь. Ему хотели поставить пиявки. Пришел фельдшер. “Зачем ты?” — спросил он у него. “Приставить вам пиявки”. — “Приставь их к своему носу, убирайся!”

Утром был на панихиде у графа Блудова в Невском.

28 февраля 1864 года, пятница

В опере — “Отелло”. Барбо восхитительна и пением, и красотою, и игрою. Возле меня в ложе сидел И.Ф. со своею возлюбленною Лелинькою. Как же она похудела и подурнела!

29 февраля 1864 года, суббота

Похороны Виктора Ивановича на Смоленском кладбище. Из так называемых друзей никого, кроме меня, не было, — ни Гебгардта, ни Деля.

1 марта 1864 года, воскресенье

Проработал в кабинете до второго часу над речью, которую Академия поручила мне произнести 6 марта в общем ее собрании.

Ездил к Глебову, от которого узнал подробности бывшего беспорядка между студентами Медицинской академии. В первоначальном поводе к этому виновата конференция, в которой две партии и вследствие интриг одной партии и был назначен Мерклин профессором ботаники вместо Бекетова и А.С.Фаминцына, человек вовсе неспособный и плохой ученый, даже плохо знающий по-русски. Прочие подробности происшествия в публике рассказывались довольно верно.

2 марта 1864 года, понедельник.

Совет в университете по случаю суда над студентами. Осуждены шесть. Трех из них определили исключить, остальные приговорены к меньшим наказаниям. Немножко смешна эта юридическая комедия. Да нечего делать — лишь бы помогла держать в порядке эту глупую молодежь, которая не хочет учиться, а хочет управлять! Так и пахнет фонвизиновским Митрофаном: не хочу учиться, а хочу жениться. Главное, чего они добиваются, — это сходки, а сходки уже они тотчас превратят в политический клуб.

3 марта 1864 года, вторник

Весь день за академическою работою.

5 марта 1864 года, четверг

Если бы, господа, не было нас, сдерживающих ваши бессмысленные порывы, то вы давно бы перерезались между собою и обратили в прах все общество под предлогом просвещать его и вести к прогрессу…

В Совете по делам печати два мои доклада: один о нелепейшей драме известного литературного чудака Великопольского “Янетерской”, которая была в 1839 году напечатана с разрешения цензора Ольдекопа, ее не читавшего, и сразу после того отобрана у автора и сожжена в присутствии моем и покойного Стефана Куторги. Теперь он решился ее снова пустить в свет и представил рукопись в цензуру. В этой пьесе автор собрал все мерзости, все нравственные искажения, которыми позорит себя род человеческий, — воровство в разных видах, прелюбодеяние, сводничество матери дочерью, смертоубийство, самоубийство, покушение на кровосмешение и пр., и все это намалевал грязнейшими красками. В предисловии он говорит, что делает это для того, чтобы разительными изображениями порока отучить от него людей; но выходит, что у него омерзителен не порок, а сами эти изображения. Я, разумеется, хотел избавить литературу нашу от стыда замараться этим гадким произведением и полагал не дозволять драмы к напечатанию, основываясь на прежнем ее запрещении, хотя автор и исключил из нее рескрипт царствовавшего государя с подписью *Николай,* сочиненный самим г.Великопольским и в котором будто бы государь изъявляет свое прощение и милость Щукину, отчаянному дуэлисту. Совет согласился со мною беспрекословно.

Другой доклад мой был интереснее: я представил пространную записку. Дело состояло в том, что в “Современнике” назначена была статья “Пища и ее значение”, кажется, работы Антоновича. Статья эта открыто проповедует материализм под тем видом, что человеку прежде всего нужно есть, а потом, говоря о труде и несоразмерности вознаграждения за труд, выводит коммунистические и социалистические тенденции. Будь это популяризирование или начала науки, я ни слова не сказал бы против этого, каких бы щекотливых вопросов статья ни касалась. Но это просто прокламирование к людям недалеким умом и знанием о том, что человек и живет, и мыслит, и все делает на свете одним брюхом и что по началам и стремлениям этого брюха надобно переделать и общественный порядок!

Сначала рассматривал эту статью И.А.Гончаров, и, по свойственному ему обычаю сидеть на двух стульях — угождать литературной известной партии из боязни быть ею обруганным в журналах и оставаться на службе, которая дает ему 4000 руб. в год, — он отозвался о статье и так и сяк, но более так, чтобы им осталась довольна литературная партия. Он, однако, употребил уловку, впрочем, не очень хитрую и замысловатую, хотя принятую, очевидно, с хитрым намерением отклонить от себя решительный приговор: он просил Совет назначить еще кому-нибудь из членов прочесть эту статью. Совет возложил это на меня.

Так как я решительно не признаю никаких литературных партий и не боюсь их, да и правительственным властям не намерен угождать, если бы они потребовали чего-нибудь нелепого и противного истинным пользам науки, мысли и просвещения, то и принял намерение в этом случае действовать так, как стараюсь действовать всегда, — по крайнему моему разумению и убеждению. Прочитав со вниманием статью, я убедился в том, что это негодная статьишка из многих в “Современнике” и

“Русском слове”, рассчитывающая на незрелость и невежество, особенно молодого поколения, и добивающаяся популярности в его глазах проповедованием эксцентрических и красных идей. Чего хочется этим господам? Денег и популярности. Трудиться им серьезно для добывания их нет ни желания, ни надобности. В иностранных литературах и книгах есть все, что угодно: оттуда легко добыть всевозможных прелестей радикально-прогрессивного цвета; они будут у нас новы, и, выдавая их за свои, легко добыть славу великого мыслителя, публициста. Перо же у нас бегает по бумаге довольно скоро.

Само собою разумеется, что нельзя же потворствовать в печати этому умственному разврату и эгоизму, которому нет дела до последствий, лишь бы добыть денег *ц* популярности. К сожалению, это печальная и неопровержимая истина. Все это я выразил в моей записке и показал, что правительство не вправе быть индиферентным к таким проявлениям печати, которые потрясают нравственное чувство, особенно у нас, где наука и общественное мнение еще так слабы, что не в состоянии противодействовать ложным и вредным учениям и нейтрализовать их своим влиянием. Совет не только согласился с моим заключением, но определил записку мою *для руководства* послать в здешний и Московский цензурные комитеты.

Забавен был Иван Александрович Гончаров: он спорил со мною, стараясь доказать, — и, правду сказать, очень нелепо, — что пора знакомить наше общество и с скверными идеями. Он забыл про то, что оно и так хорошо знакомо со многими скверными идеями, но из этого не следует увеличивать зла новым злом посредством печати, которой у нас верят, как евангелию, что знакомить людей со всеми мерзостями, прежде чем дано им орудие бороться с ними, — значит решительно делать их безоружными и покровительствовать злу. Потом Иван Александрович согласился со мною и даже горячо поддерживал мысль принять мою записку в руководство. Итак, теперь он имеет полную возможность объявить в известном кругу литераторов, что он горою стоял за статью, но что Никитенко обрушился на нее так, что его защита не помогла, — это главное, а между тем он не восстал и против решения Совета. И козы сыты и сено цело.

Вечером ездил в Академию прочитать речь мою в комиссии: совершенно одобрена.

6 марта 1864 года, пятница

Заседание в Академии в присутствии нового президента Литке. Он открыл заседание весьма пристойною и скромною речью. Потом я прочитал речь в память графа Блудова. Успех был огромный. После заседания все руки протянулись ко мне, чтобы пожать мою, все окружили меня с изъявлением глубокого сочувствия и благодарности. Можно без преувеличения сказать, что это был восторг, и — что делает честь сердцу этих людей — восторг, в котором они выражали, что они вполне поняли и оценили заслуги и высокие качества покойного президента. Даже холодный Я. К. Грот расчувствовался и сказал мне: “Одного жаль, Александр Васильевич! — это то, что вы мало пишете”. Перевощиков, который скуп на

похвалы, рассыпал их передо мною щедро. Новый президент благодарил меня с большим достоинством и тактом, несмотря на то, что многое в речи он мог принять как урок себе. Многие говорили: “Как, и это написано в четыре дня?!” Мне тем приятнее эти одобрения, что они происходят не от журнальных мальчишек-писунов, а от серьезных людей мысли и науки.

7 марта 1864 года, суббота

Сильное прение о Костомарове в факультете. Благовещенский опять настоятельно начал предлагать его в доктора и опять так же настоятельно встретил противодействие во мне и Срезневском. Главная наша мысль была та, что вовсе неудобно и неприлично признать Костомарова доктором, когда патриотическая часть общества признает его сепаратистом и антинациональной личностью, к чему Костомаров подал повод своими малороссийскими выходками в печати и особенно своею статьею и полемикою о Дмитрии Донском. Докторство не было бы в настоящее время признанием только ученых заслуг Костомарова, но овацией, которая служила бы свидетельством того, что университет одобряет самый образ его мыслей. Да и вообще поведение Костомарова во время его профессорства в университете было таково, что вовсе не делает чести ни его уму, ни его принципам. Дело осталось при том, что факультет не согласился ходатайствовать о нем в совете, а Срезневский выразился прямо, что он будет протестовать против всего совета, если бы он захотел сделать его доктором.

8 марта 1864 года, воскресенье

Недели три тому назад я начал замечать что-то неладное в моем правом глазу: какое-то радужное мелькание по временам, когда глаз обращен к свету. В очках я этого не чувствовал. Худо то, что мелькание это видимо усиливается. Это заставило меня обратиться к совету глазного доктора Блессига. Блессиг очень приятный молодой человек, возбуждающий к себе доверие.

От него отправился я к Назимовой, жене бывшего генерал-губернатора в Вильно и моей ученице Екатерининского института. Я был принят с необыкновенною приветливостью. Она показала мне двух своих дочерей, милых молодых девушек, из которых одна такая краснощекая; от нее пышет здоровьем.

Не все то дурно, что старо, не все то хорошо, что ново.

9 марта 1864 года, понедельник

После совета университетского вечер у Литке, где были все академики и многие из посторонних. Я встретил тут, между прочим, давно не виденного мною Бутовского, который директором департамента мануфактур. Нечего сказать, лицо важное, — таким он и старается показаться. Встретил также Бунге, который извинялся, что не может бывать у меня по пятницам по причине заседания в какой-то комиссии, в чем я его охотно извинил, и проч. Возвратился я домой часов около

двенадцати.

11 марта 1864 года, среда

Получил от Устрялова в подарок четвертый том его истории Петра Великого. Богатое издание.

12 марта 1864 года, четверг

Заседание в Академии и в Совете министерства. В последнем Пржецлавский читал пространную записку о средствах оградить в печати личную честь от порицаний. Много слов и умствований, дела очень мало. Остальные дела были неважны.

13 марта 1864 года, пятница

Лавров учит философии женщин, которые где-то собираются, чтобы слушать его лекции. Сегодня с его лекции к нам заехала милая, умная и молодая девушка К.С.Старынкевич. Она сама посмеивается над философией Лаврова. Я хотел узнать от нее содержание его лекции, но было уже поздно, и она спешила домой. Впрочем, вот одна из его фраз: “Человека составляют чувственные впечатления и образуемые из них механически понятия; что касается ума, то это есть только географическое наименование”. Восхитительно! Вот какой великий философ Петр Лаврыч! Милые женщины! Он вам докажет, что вы мыслите известными частями вашего прелестного тельца, а голова вам дана единственно для украшения.

Вот эти растленные умы! Прежде чем они научились мыслить самостоятельно, они делаются апостолами материализма, который составляет грустное, но не единственное приобретение науки там, где она живет продолжительной и богатой жизнью. У нас же что значит это философствование, как не преждевременная гнусная похоть, как не она-ния, порождающая хилые, болезненные создания, способные только бредить и заниматься сладострастными мечтами, а не мыслить и действовать.

Можете ли вы доказать, что то, что вы проповедуете, есть истина? А если нет, так зачем же вы проповедуете?

14 марта 1864 года, суббота

В ваших либеральных учениях есть одно нехорошее место: это то, что вы не допускаете ничьей свободы мнений, кроме ваших. Это — всеобщая революция, социальная, политическая, умственная, нравственная.

Один журналист сказал одному знакомому мне лицу на упрек его, что он помещает в журнале статьи вредного направления: “Как вы хотите, чтобы я не печатал забористых и скандальных статей? Ведь тогда бы журнала моего никто не выписывал”.

16 марта 1864 года, понедельник

Всеобщая революция — радикальная реформа всей цивилизации и образованности — вот к чему влечет так называемый дух времени, к чему стремятся современные умы. Это движение всемирное. Примеры подобных движений есть в истории. Хорошая, сознаваемая или не сознаваемая стороны результатов этого движения:

а) В государстве и обществе *(политическая и социальная* реформа) — торжество демократии, уничтожение всяких общественных привилегий, управление из выбранных лиц под контролем общества.

b) *Политико-экономическая* — свобода труда и более правильное распределение народного богатства.

с) *Религиозная* — полная свобода совести; христианство, очищенное от мифа, чудес и метафизических-догматов, основанное на вере в божество и провидение без личного чужого посредства и ходатайства, где каждое неделимое, нося само в себе правильно сознаваемого Бога, чрез то самое делается ему доступным, оставаясь в то же время человеком-богом с своим человеческим, уничтожение или сокращение и оразумление обратной стороны религии.

а) *Реформа нравственная* — признание нравственного закона из уважения к нравственному достоинству и значению человека без всяких чаяний наград или опасений наказаний.

е) *Реформа в науке* — достоверность знания и истины на наблюдении и опыте с признанием высших прав и требований разума, соединение анализа с синтезисом.

f) *Реформа в искусстве* — сочетание реального с идеальным и уничтожение в последнем всего фантастического, произвольного и истребленного.

Все это, конечно, ведет к всестороннему и полному обновлению человечества, о чем мечтают лучшие умы нашего времени. Но, стремясь к этой мечте, мы идем по скату и можем свалиться в пропасть.

Опасности, угрожающие на этом пути:

а) *Для государства и общества* — анархия, деспотизм грубых и полудиких масс, отвержение прав всякого таланта и всякой высшей силы умственной, ниспадение до грубейшего и бедственнейшего варварства.

b) *В отношении экономическом* — нарушение прав собственности с коммунистическими притязаниями, бедность от недостатка внутреннего поощрения к труду, основанного на праве собственности.

с) *В религии* — уничтожение веры в высший порядок вещей и высшее существо, подавление всякой идеи о связи Бога и человека, совершенный атеизм и падение религиозного чувства.

d) *В нравственности* — уничтожение нравственных принципов и погружение в материализм.

e) *В науке* — синкретизм понятий без единства обобщающего начала, материализм.

f) *В искусстве*— уничтожение всяких стремлений к идеалу и ослабление творчества вследствие уничтожения высших стремлений человеческого духа.

Мы должны пройти чрез все эти ужасы, потому что настоящее поколение приняло методу *полного отрицания,* уничтожения всякой связи настоящего с прошедшим, полагая, что это единственный способ для достижения великих и благодетельных последствий всеобщей реформы. Между тем достижение всех этих последствий в таких размерах, как думают утописты, есть вещь чисто проблематическая.

Противостоять этому движению нельзя и не должно. Но должно противостать возможности гибельных последствий. Вот почему надобно сражаться с бессовестными радикальными стремлениями современного поколения, но не преграждая пути вперед, потому что если не будет этих задерживающих умственных ограничений, то действительно человечество может попасть в пропасть, вместо того чтобы достигнуть обетованной страны обновления.

17 марта 1864 года, вторник

Нынешние естествоиспытатели относят человека к разряду обезьян. Они не находят между ним и этими животными почти никакого развития в физическом устройстве. Отсюда материалисты и заключают, что напрасно человек приписывает себе какое-то высшее значение на земле. Однако если бы интеллектуальная сила зависела единственно от материальных условий и была бы только продуктом телесного устройства, то отчего же обезьяны, столько же в этом отношении совершенные, как и человек, лишены этой силы? Не значит ли это, что разум проистекает из другого источника и что для происхождения его недостаточно ни особенного устройства мозга и нервной системы, ни особенного расположения органов движения и т.п.? Мне кажется, что аргумент, заимствуемый материалистами из физического сходства человека с другими животными, против духовности человеческой природы или чего-то другого, что мы так называем, — что этот аргумент не имеет ни малейшего основания. Он только доказывает, что никакое устройство материальное не в силах даровать существу высших духовных сил и стремлений.

19 марта 1864 года, четверг

Великолепный парад в память взятия Парижа, Говорят, что праздник по этому случаю сделан в соответствии с празднованием взятия Севастополя в Париже, из чего выводят не слишком благоприятные признаки отношений наших с Францией. Впрочем, мысль о всеобщей европейской войне висит над Европой, как туча, уже несколько лет. Надобно же ей когда-нибудь разразиться. Говорят также, что французское посольство уехало в Москву на этот день, чтобы не быть свидетелем празднеств в память взятия Парижа.

Вышел из Академии наук в двенадцать часов и поневоле должен был смотреть парад, потому что проходу через Исаакиевскую площадь, залитую войсками, не было. Впрочем, я не жалел об этом и о потере двух часов времени. Парад составлял зрелище величественное и поэтическое и невольно возбуждал чувство патриотической гордости. Что за войска! Какие молодцы люди! Какая быстрота и стройность движений! Право, искусство убивать людей, как никакое другое искусство, делает честь человеческому гению.

20 марта 1864 года, пятница

В прошедший вторник я выбран в члены “Сельского общества”.

21 марта 1864 года, суббота

Речь, которую я читал в Академии наук в память графа Блудова, мне самому нравилась, но теперь я вижу, что она плоха. Да и может ли написать что-либо хорошее, истинно хорошее, маленький, темненький человечек? Мне прислали корректуру из типографии.

Маленький, темненький человечек, который всю жизнь свою возится с тем, чтобы не быть ни тем, ни другим, и все-таки остается им.

22 марта 1864 года, воскресенье

Эмансипаторы женщины требуют равенства ее с мужчиною. Не значит ли это, что женщина должна делать то же, что мужчина? В таком случае, нужно ли, чтобы женщина соблюдала некоторую стыдливость, сдержанность, скромность в стремлениях удовлетворить потребностям и влечениям пола? Или она может кидаться на мужчину, когда кровь ее закипит, без всякого зазрения совести и сама поднимать подол? По учению эмансипаторов выходит, что так. Возражение: но и мужчина не должен позволять себе этого. Да этого и не будет, когда мужчины будут благовоспитанны и нравственны. Природа, однако, сама сделала мужчину *нападающим*, а женщину только *уступающею*. Это мы видим даже у животных. Да и не без причины. В противном случае был бы повальный разврат, и люди, собаки, лошади и проч. только и делали бы, что совокуплялись. Род животных и человеческий должен бы погибнуть от той самой причины, которая должна служить к их возрождению и сохранению.

Женщине полагается ездить верхом только боком. И на это есть основательные физиологические причины.

Что женщина слабее мужчины, это, кажется, факт, не подлежащий сомнению. Нуждается ли она поэтому в покровительстве мужчины или нет? Если нуждается, то тут уже не может быть равенства. Нужда в покровительстве есть зависимость.

Впрочем, я не восстаю против поднятого вопроса, точно так, как и против других подобных вопросов. Многое должно уничтожиться из того, что люди

принимали за правило и истину. Много должно установиться нового, хотя бы только по одному тому, что оно ново. Но не должно отнимать у разума права устраивать вещи с его участием, так как то, что делается без его участия, не бывает ни лучшим, ни справедливейшим.

Я придерживаюсь охранительных начал, но каких? Не тех, которые противодействуют всяким реформам, а тех, которые противодействуют насилию и деспотизму, с какими их хотят производить.

Деспотизм одинаково ненавистен, действует ли он по внушению страсти или теории.

Поутру у Делянова познакомился с книгопродавцем Вольфом. Мужик бойкий и сильно плутоватый. На упрек мой, зачем он издает такую пустошь, как “Заграничный вестник”, вместо хорошего и доброкачественного периодического журнала, который бы знакомил нас с важнейшими явлениями иностранной науки и жизни, — он отвечал, что для этого у нас не найдется ни литературных деятелей, ни читателей. “Что касается до читателей, вы нашли бы их; о деятелях не знаю”. Тут прочитал он целую огромную филиппику противу русских литераторов: как они малограмотны, малосведущи и бесстыдно недобросовестны. Он привел несколько фактов и примеров тому, которые, в самом деле, не много делают чести нашей интеллигенции. Вот этот книгопродавец рассказывает все эти мерзости во всеуслышание. Он рассказывает их и за границей, куда часто ездит. Мудрено ли, что об нас составляется такое нелестное для нашего национального достоинства мнение? Всему виновато проклятое *как-нибудь* и отсутствие честности.

Был у меня Тютчев. Его назначили членом Совета по делам печати, и он хотел со мною посоветоваться насчет тамошних дел. Он, между прочим, сказал мне, что Горчаков сильно советовал государю не делать праздника по поводу взятия Парижа 19 марта. Тютчев думает так же, как и я, что война неизбежна.

23 марта 1864 года, понедельник

Вчера в N 66 “С.-П. ведомостей” появилась речь моя о графе Блудове.

Взял билет на вход в “Общество сельских хозяев” и внес 60 руб.

Главная ошибка новых учений о радикальных изменениях общественного порядка состоит в том, что они хотят построить здание прежде, чем заготовлен нужный для него материал. Материал есть человек, с его природою и историей, выработанными нравственными и умственными наклонностями и стремлениями. Для предполагаемого нового порядка вещей этот материал решительно не годится. Надобно, чтобы он совершенно изменился, чтобы дерево стало железом, вода камнем или камень водою и пр. Какая сила может произвести это чудесное изменение? Защитники новых учений говорят, что это изменение совершится, когда установится новый порядок вещей, человек сделается лучшим и способным держаться новых общественных начал. Это значит начинать с конца. В том-то и состоит задача, что самое устроение общества на новых началах предполагает такие условия, каких нет. Но наука, говорят, сделает возможным эти условия. Бокль

проповедует знание как единственное средство к тому. Ну так отложите же по крайней мере ваши радикальные реформы до того времени, пока эта подготовка будет выполнена. Не начинайте с последствия, вместо того чтобы начать с причины.

Все хотят произвести из субъективного закона личной свободы. Но разве эта свобода безгранична? Уничтожьте прежде ограничения, которыми отовсюду окружена человеческая личность, ограничения со стороны внешней природы и со стороны ее собственного бессилия.

Вы хотите основать все на началах *разумного эгоизма*, на внешних отношениях человека к человеку. Какая нелепость! Разумный эгоизм состоит в избежании наказания. Величайшим мудрецом, по этому учению, будет тот, кто сумеет подчинить без опасности для себя все интересы, всех сделать орудиями своей воли и своих выгод. Нет, говорят, это будет противно образованному духу, противно внутреннему самодовольству, это будет не благо, а зло для нас самих, сделает нас внутренне несчастными. Почему же? Вы, значит, признаете какого-то внутреннего судью над самим эгоизмом? Выходит, что ваша теория разумного эгоизма есть совершенный пустяк: она несамостоятельна, она разбивается о какого-то другую силу, о какое-то другое требование.

Получил весьма милую записочку от графини А.Д.Блудовой с изъявлением благодарности за речь в Академии.

24 марта 1864 года, вторник

Вчера отправлено письмо в Архангельск к Смольяну о Ломоносове.

В первый раз был в “Сельском обществе”. Тут встретил много знакомых. Некоторые благодарили меня за речь мою. Обед с музыкой. Я сидел возле Гончарова и Струговщикова: оба угощали меня, один хересом, другой шампанским. После обеда открылось заседание. Я не мог дождаться конца: в большой зале, где происходило заседание, было довольно холодно, я боялся простудиться. Все, кажется, недурно.

25 марта 1864 года, среда

Я вчера узнал в Обществе, что меня избрали в члены очень хорошо: из ста тридцати голосов против меня было только четыре.

Поутру у графини А.Д.Блудовой. Она очень благодарила меня за речь со слезами на глазах, говоря, что я совершенно понял и с любовью изобразил покойного ее отца. После графа остались его записки, которые она хочет печатать, хоть в извлечениях, если по цензурным соображениям их нельзя будет напечатать все. Записки эти очень должны быть интересны. Головнин взялся доложить о них государю.

Рассказ о дуэли между Шадурским и другим каким-то офицером. Они поссорились в каком-то трактире за камелий. Шадурский убит.

Потом ездил отыскать Глинку, сына Сергея Николаевича. Мне удалось выхлопотать ему от Литературного фонда пособие 75 руб. Он был болен и лежал в Обуховской больнице, а жена оставалась на квартире без куска хлеба. Я нашел их в беднейшей квартире. Странно, что дядя его Федор, человек богатый и у которого нет детей, ему не помогает.

Потом заехал к Гаевскому, у которого провел часа полтора.

26 марта 1864 года, четверг

Речь моя, как оказывается, имела большой успех

27 марта 1864 года, пятница

На юбилейном обеде генералу Н.В.Медему, в честь пятидесятилетия его службы. Я был приглашен участвовать в этом торжестве в качестве сослуживца генерала по званию члена Главного управления цензуры. Юбилей, как все подобные ему, с довольно плохим обедом, музыкою, похвальными, тоже весьма плохими речами, с тостами и проч. Речи, которых было бесчисленное множество, в самом деле были весьма не красноречивы, наполненные общими местами и фразами с уверением в их искренности и т.д. Да и произнесены они были не блистательно. Ко мне подходило несколько генералов с вопросом, не скажу ли я чего-нибудь. Я отвечал, что очень уважаю и люблю генерала Медема, но что я служил с ним очень недолго, что для речи у меня нет материалов, а говорить общие места я не имею привычки. После обеда я тотчас уехал домой. Обед продолжался два с половиною часа.

29 марта 1864 года, воскресенье

Иные статьи могут стоить книг, так как иные книги могут не стоить статей.

Елена Павловна пожелала прочесть мою речь, о чем писал ко мне Делянов; я отправил к нему экземпляр для нее, да еще, по просьбе его, для Гагарина и три экземпляра для некоторых других подобных господ.

30 марта 1864 года, понедельник

Совет в университете. Сильное прение о Вернадском. Факультет не хотел избрать его в профессоры финансов и употребил (И.Е.Андреевский) пошлейшую, истинно подьяческую уловку; однако нашлось в совете столько здравомыслия и справедливости, чтобы не согласиться с факультетом. Да, правду сказать, и плутовство его было слишком очевидно. Совет положил допустить Вернадского к баллотировке.

31 марта 1864 года, вторник

В русском древнем эпосе, сравниваемом с западным, есть что-то *мужицкое*. Но это не мешает ему иметь свое важное достоинство.

Вечером в собрании “Общества сельских хозяев”. Опять встретил много знакомых.

2 апреля 1864 года, четверг

Заседание в Академии, в Совете министерства внутренних дел и в совете попечительском. В Совете министерства опять побит Пржецлавский — на сей раз Гончаровым — по вопросу об усиленном надзоре за нападением на личности, за карикатурами и проч. Пржецлавский хотел, чтобы для этого дана была определенная инструкция цензорам.

Норов изъявлял сожаление, что не мог найти доселе речи моей о графе Блудове, чтобы прочитать ее. Я решился послать ему экземпляр. Во мне нет закоснелой ненависти ни к кому, хотя нет и никакой веры в человеческую добродетель. Все обман, ложь и пустота. Но столько же не стоит удерживать негодование на лицо, сколько и пленяться его мнимою добротою.

Если вы не хотите иметь врагов, так не старайтесь сделать что-нибудь лучше других.

3 апреля 1864 года, пятница

Цивилизация ведет за собою полнейшее и всестороннее развитие человека, а следовательно, и развитие страстей. И вот где необходимость сдерживающей, ограничивающей власти на самых высших ступенях цивилизации.

4 апреля 1864 года, суббота

Русской женщине принадлежит великая будущность, если только она сумеет обуздать страсть к неизмеримым кринолинам, которых пределы граничат с областью разорения их отцов, мужей и их самих.

Норов благодарил меня за присылку речи и отчета.

5 апреля 1864 года, воскресенье

Был поутру у почтенного Глебова и просидел часа полтора у его жены Анны Ивановны. Весьма оживленная и приятная беседа.

6 апреля 1864 года, понедельник

Вечер у президента Литке.

9 апреля 1864 года, четверг

Заседание в Академии и потом в Совете по делам печати. Здесь опять был побит Пржецлавский по поводу одного его донесения, в котором он требовал, чтобы цензура наблюдала за тоном выражений в полемике журналистов между собою, так как они грубо и пошло ругают друг друга. Но как цензура может учить вкусу и приличию людей, незнакомых с ними ни по чувству, ни по образованию?

Видел депутатов Царства Польского, ехавших во дворец. Все они были в национальных живописных костюмах.

В сегодняшнем N (81) “Северной почты” напечатан рескрипт, читанный при закрытии финляндского сейма. Он содержит в себе выговор сейму за его неприязненность к России, обнаруженную во время прений. Это очень хорошо. Всякая тварь, пользующаяся всевозможными льготами в соединении с Россией, считает долгом своим при всяком удобном и неудобном случае плюнуть на нее, и государь прекрасно напомнил чухонцам, что это глупо и неправильно. Россия, кроме добра, ничего им не сделала, а они, получая от нее все благое, воротят от нее свое рыло. Это нам праведное наказание за то, что мы мало уважаем самих себя.

Сейм тоже выразил свое противодействие законам о печати, которые чрезвычайно либеральны. Смешно, право! Из чего хлопочут они? Так, как будто у них Бог знает какая богатая литература и какие чудеса они делают в нравственном мире. Вот уж правда, что куда конь с копытом, туда и рак с клешнею. Нужно же им подымать бурю в стакане воды!

10 апреля 1864 года, пятница

Прусская палата общин стремится к тому, чтобы нивелировать сословия во имя демократического принципа, по которому чтобы захватить власть в свои руки и управлять страною на основании какой-то представительной олигархии. Бисмарк это очень хорошо понимает, и вот откуда весь антагонизм.

Самая консервативная страна в мире, без сомнения, есть Англия.

Дело не в том, чтобы стремиться остановить движение ко всеобщей реформе, а в том, чтобы задержать его, сделать его, во-первых, не столь разрушительным, каким оно угрожает быть, а во-вторых, подчиняя его закону постепенности в известной мере, тем самым обеспечить благие его последствия. Это борьба, но без борьбы никакая истина и никакой успех не могут быть прочными. Вот почему я придерживаюсь в моих либеральных тенденциях консервативного начала. Настоящее и будущее должны иметь связь с прошедшим. Не перестроив планеты, нельзя радикально перестроить ни человека, ни общества. Всякие крайние и абсолютные покушения в этом роде ведут к рабству, бедствиям и гибели. Зачем это?

Прошла Нева.

11 апреля 1864 года, суббота

Вчера и сегодня прекраснейшая погода. 9R тепла утром. Толпа страшная гуляющих около верб и по всему Невскому проспекту.

12 апреля 1864 года, воскресенье Мало гулял: В.Е.Княжевич просидел у меня часа два.

13 апреля 1864 года, понедельник

Между понятием о вещи и усвоением себе этого понятия — большая разница. Последнее только одно составляет наше настоящее приобретение — знание, истину и чувство истины.

14 апреля 1864 года, вторник

Обед в клубе. Там встретился с Левшиным, попечителем Московского университета. Продолжительный разговор о нашем просвещении и воспитании. К нам присоединился еще один господин, который часто со мною встречается и бонжурится, но которого имени я не знаю. Левшин обманул мои ожидания. Я думал, что он будет плохим попечителем: он казался мне как-то пошловатым, а вышло, что он теперь лучший попечитель. Простой здравый смысл и доброе благорасположенное сердце заменили ему все прочие качества. Главное же — он не имеет начальнических претензий все знать и именно знать то, чего он не знает. Затем он принимает советы, не делаясь рабом советчиков.

15 апреля 1864 года, среда

Не хлопочите понапрасну, говорит партия ярых и всеобщих реформаторов: вам не остановить мощных пружин и вечно вращающегося колеса того ткацкого станка, на котором ткется бесконечно длинная и широкая ткань жизни с ее бесчисленными узорами. Мы и не хотим остановить их; мы знаем, что закон жизни есть закон изменения. Все течет и изменяется, сказал давно еще Гераклит. Но мы хотим *задерживать*, чтобы пружины и колеса двигались не так быстро, потому что тут важно не одно изменение для изменения, что в буре его живут и движутся чувствующие существа, которые должны иметь время вздохнуть и почувствовать свое существование. Мы хотим, чтобы эти бури изменений не сносили, не сталкивали их мгновенно в пропасть.

Словом, мы хотим, чтобы были стадии на этом пути, пункты, остановки и отдохновения, а не сплошное трение оборачивающегося катка. Мы страдаем от лихорадки, перемежающейся лихорадки. Притом, если, как вы говорите, будет время, когда этими переворотами достигается лучшее состояние человечества, то разве это лучшее может произойти не иначе, как через совершеннейшее истребление прошедшего и всего ныне живущего? Разве это лучшее может быть сколько-нибудь прочным, если оно совершится не по закону постепенного органического развития?

Отдал Казимире на сохранение три тысячи рублей, — две в билете Государственного банка, а тысячу ассигнациями. У меня остались 70 полуимпериалов, сохранившихся от поездки за границу, и тысяча рублей ассигнациями в моем портфеле. Вот все мое богатство.

16 апреля 1864 года, четверг

Русский народ не знал доселе ни религии, ни нравственности, ни знания, как те, которые вбивали в него насильственно и механически. Мудрено ли, что к нему ничего из этих благодатей не пристало, ничего не вошло внутрь, не сделалось моральною силою и побуждением души. Он нравственен, религиозен по внешности, по обряду, по преданию, без малейшей внутренней уверенности и сознания. Знание ему тоже навязывается извне посредством или угроз, или поощрений. Не следует ли, наконец, обращаться прямо и просто к его здравому смыслу, к его человеческственным инстинктам, к его замечательным дарованиям, особенно к его нуждам, чтобы мало-помалу пробуждать в нем стремление к знанию и благородные нравственные и религиозные наклонности? В этом смысле покушение графа Толстого с его школой яснополянской, если только оно имело какой-нибудь смысл, разумеется, лучше и основательнее соображенное, могло бы повести к хорошим последствиям.

17 апреля 1864 года, пятница

Ничто столько не содействует распространению поверхностных, смешанных, неосновательных и нелепых понятий о предметах серьезных, как так называемые популярные книги.

19 апреля 1864 года, воскресенье

Праздник Пасхи. Заутреня и обедня в Исаакиевском соборе. Насилу продрались к алтарю, хотя и имели билеты. Служил архиерей. Нельзя сказать, чтобы тут было лучше, чем в других приходских церквах. Толкотня и суматоха такие же. Пение довольно посредственное. Беспрерывная прогулка по церкви каких-то господ мимо вашего носа, наконец, страшно надоедает.

Я был в шубе, и мне не было очень жарко, потому что в этой части церкви, где мы стояли, не было тесно. С нами был Пинто с женою, который у нас и разговлялся, и обыкновенные посетители, Ф.К.Гебгардт и пр. Холодно, градуса два. По временам проглядывало солнце, но северный ветер. Нева, впрочем, была чиста ото льда. Я отправился пешком, зашел в Екатерининский институт поздравить начальницу Е.В.Родзянко с ее вчерашним двадцатипятилетним юбилеем, завернул тут же к классным дамам: Поганато, Араповой и Петровой. Записался у графини Блудовой, которую не застал дома, записался также у президента Литке и потом просидел часа полтора у В.М.Княжевича. Вот и все мои парадные визиты.

20 апреля 1864 года, понедельник.

Вся эта громадная масса народа, волнующаяся на улицах и площадях в праздничном и праздном возбуждении чувств, производит странное впечатление. Чувствуешь силу, но силу грубую, почти дикую. И этой массе хотят наши либералы навязать конституцию! Ей нужна не конституция, а общественное и гражданское воспитание. Дело в том, что конституционалисты хотят не того, чтобы она управляла сама собою, но чтобы они могли ею управлять. Но они-то сами должны быть также воспитаны для политической жизни и деятельности; а так, как они есть, они способны только к глупостям. Они ни к какому серьезному делу не годятся, потому что серьезно ничему не учатся и ни о чем серьезно не думают.

21 апреля 1864 года, вторник

В клубе обед. Встретил много знакомых. Государь отказал в награде президенту Медицинской академии Дубовицкому и вице-президенту, моему приятелю И.Т.Глебову, за то, что они распустили академию. И того и другого обвиняют в послаблениях студентам, которые сильно дурачатся. Удивительно, как старые и опытные люди не имеют твердости воспротивиться нелепым увлечениям молодых людей!

Военный министр велел не допускать девушек на лекции в Медицинскую академию. Их сперва явилось три или четыре, и действительно, говорят, занимались усердно анатомией. После их расплодилось уже до шестидесяти и более. Все это милые нигилистки с остриженными волосами, в круглых шапочках с перышком. Они начали расхаживать по коридорам, куря папиросы, под руку со студентами и производя с последними разные скандалики. Очевидно, тут дело шло не об анатомии над трупами, но об опытах над живыми телами, из которых некоторые заметно начали полнеть и утолщаться. Дивны дела твои, о русское общество и русская интеллигенция!

22 апреля 1864 года, среда

Наши нигилисты поступают точно так же, как польские революционеры. Те требуют Польши 1782 года, Польши с 22 миллионами населения, или ничего. Нигилисты тоже — дай им жизнь без всяких нравственных опор и верований!

23 апреля 1864 года, четверг

Порядочный снег покрыл крыши домов и улицы. Между тем тепла 5R.

Надобно, наконец, написать мнение по случаю проекта нового устава Академии наук, который хочет слить II отделение с III. Я восстаю против этого. По моему мнению, необходимо допустить некоторую самостоятельность II отделению, то есть ту самую, какую оно имеет уже, изменив, конечно, кое-что в его устройстве.

26 апреля 1864 года, воскресенье

Науке в наше время приписывается значение, какое едва ли она может иметь. Она должна, по мнению некоторых, заменить следующие начала общества: верования, все нравственные опоры и убеждения и проч.

Праздниками я не воспользовался как следует. Они проведены как-то вяло и непроизводительно. Только; с четверга начал я пробуждаться, и дух деятельности начал охватывать мои внутренние силы. Я работал последние дни над *мнением* по вопросу о слиянии II отделения Академии с III, и как я объявил уже себя противником этого влияния, то мне следует представить протест мой сколь возможно в убедительнейшем виде: ибо приходится сражаться со многими, чуть ли не со всеми членами Академии. К четвергу надобно это приготовить, чтобы прочитать в отделении

Диспут в университете В.К.Надлера на звание магистра по части всеобщей истории. Диссертация была “О реформационном движении в Чехии в четырнадцатом столетии”. Диспутант защищался чрезвычайно слабо. Однако его поздравили магистром.

27 апреля 1864 года, понедельник

У доктора Завадского (Степана Павловича) на вечере. Все были незнакомые. Ничего замечательного.

29 апреля 1864 года, среда

Кто из своего я не творил себе кумира и не преклонялся пред ним с религиозным благоговением!

30 апреля 1864 года, четверг

В воскресенье приехал М.Н.Муравьев.

На днях был у меня разговор с Ф.И.Тютчевым о гнусном Головнине и о гнуснейшем его управлении “Что вы будете делать? — сказал мне Тютчев. — Все знают его, все глубоко презирают, государь разделяет общее к нему неуважение, а между тем нет человека, который бы решился сказать государю, как вредно терпеть на таком важном посту такого подлеца и глупца. Я говорил раз об этом с Горчаковым, который по близости своей к государю скорее всех мог бы открыть ему глаза. Но он отвечал мне: “Я не могу этого сделать, потому что государь может подумать, что я иду против его брата”. Итак, вот каким соображениям предается в жертву образование, будущность России! Неужели в самом деле двор имеет свойство отнимать у людей всякое благородное чувство, всякое великодушное побуждение и делать из них трусов и мельчайших эгоистов, когда такой умный и, по-видимому, благородный человек, как князь Горчаков, боится сказать государю правду и освободить, из видов этой боязни, отечественное воспитание, науку,

надежду будущего, от такого скверного насекомого, их подтачивающего, как Головнин.

Читал записку мою против слияния II отделения с III. Кажется, она сделала благоприятное впечатление на моих сочленов.

1 мая 1864 года, пятница

Светло, а тепла только 4R. Вчера шел сильнейший лед по Неве. Какая ненасытимая утроба у этого Ладожского озера: оно как будто сожрало зимой лед всего севера, а теперь выблевывает его на нас.

Мне рассказывали, что в день приезда Муравьева в Петербург Суворов послал на железную дорогу чиновника объявить ее администрации, чтобы она не допускала стечения народа на дебаркадере во время выхода Муравьева из вагона. Администрация, однако, отвечала, что она сделать этого не в состоянии и не вправе, потому что народ этот состоит из отцов, мужей, жен, братьев и пр., приходящих встречать своих приезжающих родных.

2 мая 1864 года, суббота

Вечер у Чивилева. Нас трое только и было: он, я и Соловьев, недавно приехавший из Москвы. Я не знаю, есть ли существо на свете столь неприятное, как московский ученый, литератор или московский так называемый передовой человек? Детская заносчивость, бабское умничанье, дух нетерпимости, хвастовство и дерзость их нестерпимы, еще нестерпимее петербургской распущенности и глупого западничанья.

3 мая 1864 года, воскресенье

Вчера был у меня сильнейший спор с Чивилевым — странно сказать — о свободе воли. Он придерживается нынешней философии и отрицает свободу воли. Главное его доказательство: мысли нам даются не нами, от них зависят побуждения к решимости, следовательно, воля повинуется необходимому сцеплению понятий. Он полагает также, что для ума человеческого нет ничего недоступного и что знание должно разоблачать все тайны вещей. Свобода воли есть иллюзия. “Отчего же и знания наши, — возразил я, между прочим, — также не иллюзия? Почему думать, что я все знаю, меньше иллюзия, чем уверенность, что я могу хотеть и не хотеть по выбору моего ума?” и проч. и проч.

Потом завязался спор о Муравьеве. Чивилев разделяет мнение “Голоса”, что Муравьев ничего не сделал для укрощения бунта и для утверждения русского элемента в западных губерниях.

Поутру визит Миллеру и Назимову. Затем погулял в Летнем саду. По крайним аллеям ездил государь с государыней; народу было множество. Сад весь не иное что, как собрание стоймя торчащих бревен, палок и прутьев. И признаков зелени нет.

Погода, впрочем, была прекрасная. Часов в пять — гроза и дождь.

5 мая 1864 года, вторник

Нанята дача в Павловске у генерала Мердера. Вчера дано и задатку пятьдесят рублей; за лето двести пятьдесят с мебелью, которая, вероятно, будет не весьма блестящая.

Празднование столетия Смольного монастыря. За несколько еще дней я получил пригласительный билет. В 9 часов утра я заехал к Полиньке Сукман, которая воспитывалась в Смольном монастыре и была также приглашена на праздник; так как она очень мила, то мне захотелось взять ее с собою. В сорок минут десятого мы были уже в соборе Смольного монастыря. У барьера стояло множество старух, кажется из богадельного дома. За балюстрадой были нынешние воспитанницы и суетилось несколько чиновников. Принц Ольденбургский был уже здесь. Он подошел ко мне с обыкновенною своею незатейливою любезностью, спросил, сколько времени служил я в монастыре и исправно ли посещают лекции студенты университета. Церковь скоро начала наполняться бывшими воспитанницами и сановниками. Между теми и другими я встретил много знакомых. Обедню служил митрополит. Пели придворные певчие. Как хороша эта церковь! Я не видел нигде подобной по величественности, простоте и легкости архитектуры, кроме разве Пантеона в Париже. К молебну приехали государь, государыня и вся императорская фамилия.

Собор с самым зданием Смольного монастыря соединили на время крытою полотняною галереею. Чрез нее-то и прошли все приглашенные в бесконечные монастырские коридоры, которые привели их в парадную залу. В верхнем коридоре по обеим сторонам стояли в два ряда воспитанницы, что производило весьма интересный эффект. В зале, против входа, в тени прекрасной зелени стояла статуя Екатерины II, а на всем пространстве залы были накрыты столы для завтрака. Все места были заняты женщинами, кроме одного стола, назначенного сановникам, между коими поместился и я, маленький и темненький человек, — между сановнейшим мужем Языковым, директором Училища правоведения, и министром юстиции Замятниным.

Так как это по преимуществу был женский праздник и как мое сердце вообще больше лежит к нашей образованной женщине, нежели к нашему так называемому образованному мужчине, то я и обратил все мое внимание на эти волны женских голов, заливших всю почти залу. Какое разнообразие лиц и возрастов! Тут рядом с цветущею юностью последних выпусков помещались развалины начала нынешнего столетия, которые тоже когда-то цвели юностью. Говорят, сохранилась одна дама ста четырех лет первого выпуска. Но ее здесь не было. Тут мелькали и мне знакомые многие головки, лет двадцать и пятнадцать тому назад блиставшие прелестью и первым упоением молодой расцветающей жизни, а теперь — увы! — увядающие, полуувядшие или совсем увядшие, что красноречиво говорит и о моем собственном увядании. И сколько из них увяло и увядает в нужде и под гнетом разных житейских невзгод и бурь!

Многие, увидев меня, посылали мне свои приветливые поклоны и улыбки уст, на коих мрачно лежала грустная печать времени. Мужчины тотчас сели за стол, накинулись было на блюда с пирогами, котлетами и пр., но явился какой-то камергер и объявил, что надобно ожидать государя. Все встали и начали ожидать. Минут через двадцать явился и государь, ведя под руку императрицу и последуемый великими князьями и чинами двора. Заиграла музыка. Государь раскланялся с обыкновенною своею приветливостию, потом сел за стол, чему последовали и все прочие, — и началось набивание чрева. Меня вовсе не занимали яства; я был увлечен в область дум смыслом этого торжества. Воображение мое вызывало и Екатерину, которой Россия обязана пониманием высокого значения женщины и превращением ее из куска сладкого мяса или пирога, начиненного физическими восторгами, в существо мыслящее, благородное, в великое орудие народного перерождения и очеловечения. Но вот нелепый Языков берет мою тарелку и нагружает ее котлетами; надобно было есть. Явились бокалы с шампанским; первый тост за государя, — запели прелестные женские голоса: “Боже, царя храни!” Все встали — минута была прекрасная. Бокал в память Екатерины, — опять те же голоса, певшие какой-то гимн с припевом известного польского: “Славься сим, Екатерина, славься, нежная к нам мать”. Это тронуло меня почти до слез. Но мои соседи рады были, что это пение кончилось и что они опять могли приняться за желудочные дела. Завтрак был обильный, вина довольно, и вино хорошее. Все это из дворца. Служили придворные лакеи.

По окончании завтрака государь скоро уехал со всем семейством. Мы рассыпались все по залу. Тут я беспрестанно встречался с моими прежними ученицами, приветствуемый их дружелюбными воспоминаниями. Не из женщин была особенно интересна встреча с А.С.Норовым, который, как в старину, изъявлял мне всевозможные ласки.

Я припомнил ему, между прочим, юбилей Московского университета и сказал, что это был лучший момент его министерствования.

— А кому обязан я этим? — возразил он. — Вам. Ведь царская грамота была зерном всего, ведь она возбудила всеобщий восторг, — а грамоту сочиняли вы!

— Если уж так, — отвечал я, — то эффект произошел от того, как вы ее прочитали; и прочитали великолепно.

Что действительно правда. Итак, тут вышла система взаимного восхваления.

В половине третьего часа я отправился домой и по дороге заехал к Сукманам, где и сдал мою спутницу на руки ее родителям. Праздник Смольного монастыря оставил во мне самые приятные воспоминания.

7 мая 1864 года, четверг

Непристойная сцена между Срезневским и Билярским в Академии. Билярский захотел отомстить Срезневскому за то, что этот подавал голос против назначения ему полного вознаграждения (шестьдесят рублей за печатный лист) за сделанные им выписки в академическом архиве о Ломоносове, на том основании, что это простые

выписки, без всяких исследований. Срезневский был прав, и с ним согласились все другие члены отделения, в том числе и я. Теперь Билярский, в качестве редактора “Записок” Академии, напал на Срезневского за представленную им для напечатания в этом сборнике статью о русских летописях, называя эту статью сырым материалом и недостойною чести быть напечатанною в академическом издании. Это значит око за око, зуб за зуб. Однако Билярский неправ: в статье Срезневского есть исследования, хотя и невеликие. Во всяком случае статья эта не могла подлежать контролю одного члена, между тем *как* уже отделение ее одобрило.

Срезневский, человек чрезвычайно самолюбивый и не умеющий владеть собою, когда дело идет о том, чтобы усомниться в его необъятной учености и ученых заслугах, отвечал, что не Билярскому судить Срезневского и что первому можно учиться у последнего. Слово за слово, дошло до непристойных личностей и таких речей, которым приличное место не в учебном собрании, а в кухне или передней. Академики превратились в бранящихся баб или сторожей. Их нельзя было удержать. Недоставало только пощечин.

Заседание в Совете министерства по делам печати. Я читал две записки мои — о втором издании романа Зотова “Таинственные силы”, где речь идет, между прочим, о предсказании Калиостро насчет Павла I; я полагал, что роман можно пропустить, исключив слова: “у вас есть наследный принц”. Вторая записка по поводу статьи Страхова о польских делах, которую совсем безвинно цензурный комитет запретил. Я полагал дозволить ее. Со мною согласились Тютчев и Гончаров. Положено, чтобы и другие члены Совета её прочитали. Стихотворения Некрасова “Колыбельная песнь” и “Железная дорога” не пропущены.

Я отдал Тютчеву брошюру, в которой Головнин опубликовал, какие его представления и проекты не утверждены государем или советом Государственным. Что за гнусность этот Головнин! Это род доноса обществу на того и другого. Тютчев пришел в изумление и негодование. Нельзя ли довести это до сведения государя? Тютчев взялся показать брошюру князю Горчакову. Не сделает ли он этого?

Во дворце спросили у Муравьева: долго ли он останется здесь и какая цель его приезда в Петербург? Он отвечал: “В краю, мне вверенном, жонд польский побежден, но я приехал сражаться с тем жондом, который в Петербурге”. Валуев не поехал к Муравьеву, оправдываясь тем, что он не знает, принял ли бы его Муравьев?

У Муравьева, разумеется, не были также Головнин, Рейтерн и знаменитый гуманист Суворов.

8 мая 1864 года, пятница

Духовенство сильно домогается взять в свои руки народные школы. Между прочим, поборники его выдумали вот что. Они разгласили и довели до сведения, будто граф Блудов незадолго до смерти своей имел в виду проект образования верховного комитета для начертания системы обучения и управления в школах, под председательством митрополита. Он не успел только обделать этот проект и дать ему официальный ход. Мысль эта, подкрепленная Бажановым и другими, получила характер авторитета, и о приведении ее в действо сильно теперь хлопочут. Между

тем, говорят, Блудов не имел вовсе этого намерения, и только из некоторых слов и намеков *полагают*, что он его имел.

10 мая 1864 года, воскресенье

Достоверно только то знание, которое относится к факту или состоит из чувственного наблюдения и опыта. Так говорят нынешние философы. Все прочее — чистая иллюзия.

Если хочешь сохранить в” себе некоторую силу против зол и бедствий жизни, то умей подавлять в себе и ограничивать всякую привязанность, все, что делает для тебя драгоценными людей и вещи.

Нужны или некоторая доля легкомыслия, или высокая степень мудрости, чтобы сносить жизнь.

11 мая 1864 года, понедельник

Во всей Европе свирепствует холод. На днях говорил Пинто, что он получил известия, что около Турина замерзло два человека. В Ницце и Пизе шел снег.

Отослал К.С.Веселовскому записку мою по вопросу о слиянии II отделения Академии с III.

В совете университета. Выбран членом комиссии по делу об избрании Вернадского в профессоры по кафедре финансов, которого факультет не хочет избрать вследствие интриг, а большинство совета хочет.

12 мая 1864 года, вторник

Был Вольфсон из Дрездена.

13 мая 1864 года, среда

Делянов — один из лукавых армян: он притворяется добрым и умным (он имеет настолько ума, чтобы притворяться добрым и умным). Собственно, он ни к чему не годен и не способен. Бывши попечителем С.-Петербургского университета много лет, он решительно ничем не ознаменовал своего управления, кроме бегства из университетской залы во время акта, когда студенты вздумали сделать демонстрацию по поводу отмены чтения костомаровской речи. К этому разве можно еще прибавить, что он всегда был готов наговорить тьму приятных вещей профессорам, добивающимся у студентов популярности, — Кавелину, Костомарову, Спасовичу: это были первые у него люди, и он первый же оставил их и даже объявил себя против них, когда эти господа подверглись справедливому порицанию за их легкомыслие и пошлый либерализм.

Председательствовал в комиссии, которая собралась у меня. Изложение дела предоставлено мне. Из-за чего я тут? 1 июня я уже не принадлежу университету. Это

так уж, из любви! А дело глупое и мудреное. Совет сделал глупость, и теперь надобно ее поправить.

16 мая 1864 года, суббота

России суждено страдать от нашествия иноплеменных — норманнов, половцев, печенегов, татар, немцев, галлов, и с ними двадесяти язык, и даже армян. И.Д.Делянов сначала хотел быть популярным у красных и повергся в их объятия, но когда увидел, что красные проваливаются, он тотчас отпихнул их от себя и выдал. Время и нравы.

Получено письмо из Парижа от Плетнева и читано в заседании отделения с известием о смерти Шевырева. Отделение поручило мне написать его биографию.

17 мая 1864 года, воскресенье

Сегодня в полицейских газетах “Ведомости С.-Петербургской городской полиции” объявлено, что 19 мая, во вторник, в восемь часов утра будет на Мытнинской площади объявлен приговор Чернышевскому. Он осужден на семь лет каторжной работы и потом на вечное житье в Сибири.

Суд приговорил его к четырнадцати годам каторжной работы, но государь половину уменьшил.

18 мая 1864 года, понедельник

Заседание комиссии, приготовил проект, как быть делу, и прочитал его. Все члены согласились с благодарностью, и делу конец.

20 мая 1864 года, среда

Не поехал в университет. Был у меня Костомаров. Его статью “О вече”, назначенную для журнала “Дело и отдых”, цензура страшно искалечила, да кроме того его фразы заменила своими. Я прочитал статью и решительно не нашел в ней ничего противоцензурного.

Какая-то Михаэлис бросила букет цветов Чернышевскому, когда он был возведен на эшафот. Разумеется, ее тотчас взяли и увезли с жандармами.

21 мая 1864 года, четверг

Заседание в Академии. Ровно ничего.

Заседание в Совете по делам печати. Мы с Тютчевым тщетно старались защитить статью Страхова для “Эпохи”: невежество и глупость большинства одержали верх. Даже Пржецлавский был на нашей стороне.

Я спрашивал у Турунова, зачем цензура не пропустила статью Костомарова “Вече”, назначенную для журнала “Дело и отдых”. Оттого, что тут цензор нашел что-то противное самодержавию. Я читал ее и совершенно ничего подобного не нашел. Надобно признаться, что цензура находится в руках людей, глубоко невежественных. Особенно вредит ей председательство в комитете такого человека, как Турунов, который в литературе и науке ничего не смыслит и как самый пошлый чиновник смотрит на них. Выбрал же Валуев председателя! Но Валуеву, впрочем, и нужны не сведущие и способные люди, а такие, которые бы терлись постоянно в его прихожей, от него, как Мемнонова статуя от солнца, ожидали возбуждения, словом, чтобы это были люди ничтожные, не способные затмить его своим умом. Самый министерский взгляд! О умобоязнь, умобоязнь!

Мы долго рассуждали с Тютчевым о печальной судьбе дел, вверяемых таким государственным людям.

Дело сделалось: кн. Горчаков показывал государю доставленную от меня через Тютчева брошюру, написанную Головкиным о его проектах и представлениях, не утвержденных государем или Государственным советом. На государя это сделало, видимо, неприятное впечатление. Он заметил, что уже слышал об этом.

Я спрашивал у Любощинского, чтобы он как сенатор сказал мне: доказано ли юридически, что Чернышевский действительно виновен так, как его осудили? Он отвечал мне, что юридических доказательств не найдено, хотя, конечно, моральное убеждение против него совершенно. Как же, однако, осудили его? В Государственном совете некоторые из членов не находили достаточных улик и доказательств на приговорение его к тому, к чему он приговорен. Тогда князь Долгорукий показал им какие-то бумаги из III отделения — и члены вдруг перестали противоречить. Но что это за бумаги? Это тайна. Зачем же делать из них тайну, если в них заключаются точные доказательства вины Чернышевского? Жаль! Потому что люди, даже вовсе не сочувствующие Чернышевскому, невольно склоняются к мысли, что с ним поступлено слишком строго; чтобы не сказать — жестоко. А теперь особенно такие впечатления не полезны для правительства. В приговоре, читанном публично во вторник, говорят, упомянут даже ряд статей в “Современнике”; но тогда виновата цензура. Зачем она пропускала статьи, столь явно клонившиеся к ниспровержению существующего порядка? Словом, кажется, тут поступлено неосмотрительно.

23 мая 1864 года, суббота

Пусть верховное существо будет премудрое, благое, все, что вам угодно, только никак не всемогущее; потому что если бы оно было таково, то как бы оно допустило такие страшные беспорядки и страдания в человеческом роде? Ведь правду надобно сказать, род человеческий задуман хорошо, но выполняется как нельзя хуже. Неужели это было и в плане верховного существа? Ведь это комедия, исполненная иронии и слез, шутка, даже не остроумная.

Ассоциация, составленная из членов, из которых каждый сам по себе ничто, и однако ж ассоциация в сложности делает важные дела — она делает историю, новую

природу, новый мир. Не странно ли это?

24 мая 1864 года, воскресенье

Многие сильно негодуют на правительство за Чернышевского. Как было осудить его, когда не было никаких юридических доказательств? Так говорят почти все, даже не красные. У правительства прибавилось достаточное число врагов.

Как согласить столько неразумия в судьбе человечества с разумностью его плана и цели, — если таковые существуют? Из этого-то источника, конечно, материалисты черпают свои тенденции. Их главный двигатель — отчаяние. И правду сказать, есть от чего прийти в отчаяние.

Отсюда один шаг или к отчаянному нигилизму, или к такому героическому верованию, к которому не всякий способен.

Была у меня очень милая и очень несчастная женщина, одна из моих смолянских учениц, бывшая баронесса Ус-лар, потом Фролова и, наконец, Богданова. Последний ее муж запутался в спекуляциях, в которых исчезло все его состояние; на какие-то еще аферы он хотел употребить женины 50 или 60 тысяч рублей, но она ему решительно отказала, сказав, что эти деньги не ее, а деньги детей ее (от первого брака), которые она должна сохранить как святыню. Тогда муж этой бедной женщины решился на отчаянное дело: он сочинил фальшивую от ее имени доверенность и посредством этого акта получил женины деньги из мест, где они хранились. Деньги эти тотчас утонули в том же омуте, в каком погибло все его имущество, и ему ничего не осталось более, как самому броситься в воду, что он и сделал, кинувшись с Тучкова моста в Неву. Жена его почти в одно время узнала, что муж ее утопился и что она с тремя малолетними детьми осталась нищею. На первое время ей помог принц Ольденбургский: трех ее детей приняли в заведения, сама же она теперь ищет литературной работы, почему и обратилась ко мне. Я объяснил ей, в каком положении находятся эти дела у нас: ни один журналист [тогда это слово означало: издатель журнала] не платит за статьи, которые он берет будто бы за плату, то есть все эти дела делаются на чисто мошенническом основании.

Она, женщина очень умная, с ужасом рассказывала про Лаврова, который предложил ей какой-то маленький перевод и вместе с тем любезную готовность сделать из нее современнейшую нигилистку. Он занимается этим ремеслом, то есть превращением женщин и девушек, большею частью молоденьких, в нигилисток, для какой цели и открыл у себя для них курс материалистической философии.

25 мая 1864 года, понедельник

Отослал к членам комиссии записку для подписания.

26 мая 1864 года, вторник

Переехали на дачу в Павловск, в дом Мердера. Начались прекрасные дни, и в

городе становится душно, пыльно, смрадно.

Вечером собрание нескольких академиков у президента на совещании по вопросу о слиянии II отделения с III. Я и Срезневский защищали самостоятельное существование II отделения. Грот очень неловко и очень тупо защищал слияние. Президент вел себя хорошо: он, как и следовало, искал примиряющего начала. В конце заседания пришли к мысли уничтожить вообще отделения и слить их в одну безраздельную корпорацию. Не решив, однако, ничего окончательно, положили обдумать эту меру и послать ее на рассуждение прочим членам.

27 мая 1864 года, среда

Я сегодня вечером приехал в Павловск. Дача Мердера мне очень нравится. Она вся прикрыта зеленью и со всех сторон представляет обширный горизонт. Мы очень удобно разместились в ней. Я обладаю двумя премиленькими комнатками, из которых одна служит мне спальнею, а другая кабинетом. Плата за дачу 250 руб.

28 мая 1864 года, четверг

Вчера и сегодня прекрасные дни. Дача мне более и более нравится. Сегодня с Сашей поутру я совершил большую прогулку по парку. Вокзал очень усовершенствован; прочее все как прежде.

Вечером нахлынула страшная толпа гуляющих из Петербурга. Что за безумная роскошь в женских нарядах! Право, это безобразие, особенно когда вспомнишь, как вообще мы страдаем от безденежья и дороговизны. Вот в чем русская женщина заслуживает порицания; Суетность и страсть к разным нарядам, не к изяществу — доходит у нее до нелепости.

29 мая 1864 года, пятница

Получил от министра Валуева через его товарища поручение написать записку о Главном правлении училищ, которая ему, не знаю почему, нужна к заседанию в Государственном совете. Это заставило меня ехать в город. Здесь надобно было произвести пропасть рытья в бумагах и книгах, чтобы отыскать нужные справки. С этим провозился целый вечер и часть ночи.

30 мая 1864 года, суббота

В городе. К двенадцати часам была готова записка. Отвез ее к товарищу министра. Я прочитал ее ему, и он остался совершенно доволен. Записка нужна по поводу совещания в Государственном совете о так называемом Блудовском проекте.

Вечером заседание в совете университета. Я прочитал составленную мною записку от имени комиссии о выборе Вернадского в профессоры по кафедре финансового права. Ею примиряются все противоречия совета с факультетом. Все меня благодарили с великим жаром. Я тотчас по окончании чтения и по принятии

советом моего проекта оставил совет. Это последнее мое заседание в нем. Я расстался навсегда с университетом после тридцати лучших моих лет, ему посвященных, — расстался с грустью, не жалея, впрочем, о разлуке моей с лицами. Многие из них были моими недоброжелателями, решительно не знаю почему, да и они сами этого не знают. Вот поэтому я и не решался баллотироваться. Строго и глубоко взвешивая мои поступки и всю мою деятельность в университете, не могу себя упрекнуть ни в чем. Но об этом придется много еще говорить в мемуарах своих.

А министерство, то есть Делянов, поступило со мною подло. Университет желал оставить меня еще до сентября, но чтобы лишить меня 600 руб., министр с Деляновым устроили так, что я должен оставить его 1 июня.

Я хотел было сказать в совете маленькую прощальную речь, но рассудил, что не для кого и не для чего. Я просто встал и неприметно ушел.

В десять часов я был уже на даче.

1 июня 1864 года, понедельник

Май захотел вознаградить нас на конце за все скверности, которыми он наделял нас. Последняя неделя его была очень хороша. Но сегодняшний день — прелесть: светло, жарко, тихо. Зелень великолепная. Вечером на музыке.

4 июня 1864 года, четверг

Заседание в отделении Академии. Срезневский поздравил меня с званием почетного члена университета, в которое я избран единогласно. Или нет, кажется, нашелся один дурень, по выражению Срезневского, который кинул в меня черным шаром. Впрочем, правду сказать, я не придаю большой важности этому почету.

5 июня 1864 года, пятница

Поехал в город ради заседания в Академии. Заседание в Уваровской комиссии для рассмотрения драм. Ни одной, достойной премии, а поступило шесть или семь.

6 июня 1864 года, суббота

Вчера обещал нашему академическому полицеймейстеру статью для напечатания в академических “С.-Петербургских ведомостях”. С ним и с его женою произошел прегнусный случай, конечно, нигде не возможный, кроме России. Они пришли в лавку Шутова и Кольцова что-то покупать. Вдруг приказчик или черт его знает кто из лавочников бросается на его жену, говоря, что у них много в лавке воруют, начал со всех сторон ее ощупывать. Потом обратился к ее мужу с наглым вопросом: не украл ли он чего? Вышел неслыханный скандал. Кейзер послал за квартальным. Тот объявил лавочника виноватым, однако ничего не сделал. Об этом Кейзер публиковал в “С.-П. ведомостях”, на что в N 123 последовал пренаглый и

преглупый ответ хозяев лавки. На эту статью надобно написать статью. Это дело общее всех честных людей — против варварства и татарщины наших мошенников-купцов. Надобно бросить в них несколько сильных строк, хотя это не сделает их из дикарей людьми и гражданами, но молчать все-таки не должно. Разумеется, статья будет от имени обиженного.

11 июня 1864 года, четверг

В половине девятого утра в город — в Академию наук и в Совет по делам печати.

Важно не то, что мы думаем, а то, к каким результатам приводит нас наше мышление.

Ни самим собою, ни человечеством нельзя управлять без некоторой доли деспотизма.

12 июня 1864 года, пятница

Вчера отдал Кейзеру написанную мною и исправленную статью в ответ гнусным гостинодворцам.

Всякое учение о человеке более или менее неполно и неудовлетворительно. Но из разных и противоречащих учений надобно принять то, которое в состоянии сделать человека сколько-нибудь лучше и довольнее.

13 июня 1864 года, суббота

Сверху — испорченные нравы растленной и неустановившейся общественности, внизу — почти дикое состояние неразвитой народности: трудно пройти по тесному и узкому пространству между тою и другою.

14 июня 1864 года, воскресенье

Разные гости и гостьи из города. Между прочими Старынкевич с двумя дочерьми, очень милыми и развитыми девушками. После обеда — А.С.Норов, которого я проводил до его дачи, а сам отправился в вокзал, откуда вскоре был изгнан сильным дождем.

18 июня 1864 года, четверг

В городе — заседание в Академии.

20 июня 1864 года, суббота

Лето до сих пор такое, какого давно, кажется, в Петербурге не бывало.

Прелестнейшие дни, жаркие, но умеряемые теплыми дождями. Как дача моя примыкает к полям, то я гуляю по ним. От них открывается обширный горизонт, в кругу которого справа видно Царское Село, а слева — Славянка, с белою своею церковью на холме. У подошвы его мелькает тоже небольшая финская деревенька с церковью. Отсюда по дороге к моей даче примыкает лес. Отлично, хорошо! В таком приятном месте еще никогда не занимал я дачи. Но это все имеет свои неудобства. Красота места и лета делают то, что я мало сижу в кабинете и мало занимаюсь.

А есть что делать. Надобно многое приготовить для Академии. Беда только в том, что я не силен в буквоедстве, и товарищи мои никак не сочтут важным того, что я делаю. Может быть, они и правы. Для них наука есть не иное что, как груда фактов, добро бы еще крупных, а то всяких, без малейшего стремления выразуметь их смысл и связь. Они вовсе не заботятся о том, к чему это поведет и что из этого выйдет. Выйдет что-нибудь, а там хоть трава не расти.

Они завладели полем грубого и одностороннего эмпиризма; мне остается творчество мысли, и я должен там искать материала для разрешения академических задач. Это напоминает мне анекдот о Кребильоне. Кто-то выразил ему свое удивление, что он избирает для своих трагедий такие ужасающие, страшные сюжеты. “Что же мне делать? — отвечал он, — Корнель взял себе небо, Расин — землю, мне остался один ад, и я стремглав бросился в него”.

Когда естествоиспытатель занимается исследованием природы, он имеет дело с различными видоизменениями природы. Когда он переносит свой микроскоп и скальпель на почву исследований о человеке, то видит перед собою ту же материю, только измененную и усовершенствованную. Это очень натурально. Человек возникает и вырабатывается из той же грязи, из какой возникают и вырабатываются дуб и обезьяна. В нем совершаются те же процессы жизни, только под другими условиями и дающие другие результаты, — это ясно до очевидности, до осязательности. Тот же всеобщий мировой закон господствует в нем, как и во всем прочем. Он, по выражению Спинозы, вещь между вещами. Но вот в том-то и вопрос: точно ли тот же закон господствует в нем, как и во всем прочем? Если смотреть на одну его половину, то выходит так; если смотреть на другую, — то нет никакой возможности изложить ее одним и тем же законом. Тут кроется что-то другое, о котором по меньшей мере следует сказать, что мы о нем ничего не знаем. Но незнание о существующем не доказывает его небытия.

Каким образом мы представляем себе то, чему соответствующего нет ничего в природе? Каким образом мы можем заблуждаться? Это игра нервной системы, комбинации восприятия и ассоциаций нервных потрясений, отвечают материалисты. Положим, так. Пусть это будет статика и механика представлений. Но каким образом может из них возникнуть и составиться сила, которая явно хочет и может идти наперекор принудительному натиску механических комбинаций? Как и откуда возникает вокруг сила, которая катящемуся шару дает толчок и заставляет его мчаться по совершенно новому направлению? Одним словом, как из механики может возникнуть воля — эта совершенная, диаметральная противоположность всякой механике?

28 июня 1864 года, воскресенье

Вечером приехал А.М.Княжевич с Александрою Христиановною. После небольшой прогулки и чаю я проводил их на дебаркадер и после немножко послушал музыку. Гуляющих, по обыкновению, было множество, особенно широчайших кринолинов и безмерных хвостов.

1 июля 1864 года, среда

Вот и перемена погоды! Жаловавшиеся на жары теперь могут успокоиться. Наступили дни реакции. Ночью шел сильный дождь опять. Теперь десятый час утра, тучи нестройными клочьями, гонимые ветром, бродят в сумрачном пространстве; солнце как-то нехотя и на минуту проглядывает сквозь них. Видно, что оно устало, посылая нам так долго свой лучезарный блеск и теплоту — долго, то есть целый месяц. По-здешнему, месяц постоянно прекрасной погоды — это такая милость природы, которой мы удостаиваемся раз в несколько десятков лет. Исключение прошло, нормальное состояние берет свое. Теперь 11 R тепла, но это только начало. Мы непременно спустимся до 9R, а может быть, и к 7—8R.

С 10 июня я начал заниматься сочинением статей для Академии наук. Их будет несколько под названием: “Литературные наблюдения и исследования”. Не знаю, будут ли довольны мои академики. Это философия литературы, а они обыкновенно ожидают от себя и других каких-нибудь трактатов о найденном каком-нибудь засаленном и запыленном лоскутке бумаги, отрытом в каком-нибудь архиве с вариантом по какой-нибудь рукописи. Но я сказал *трактатов* неверно. Они довольствуются простым так называемым заявлением фактов, называя громким именем факта всякую дрянь, без рассуждений и выводов. Я предпринял смелое дело — во-первых, рассуждать о литературе, вместо того чтобы рассуждать о буквах и словах, во-вторых, отыскивать смысл и значение того, что люди говорят и пишут в течение веков.

Знакомство с Марьей Антоновной Быковой, вдовой умершего сенатора Быкова, которая есть невеста дяди Марка, или, что все равно, Марка Николаевича Любощинского. Она сама сегодня к нам приехала знакомиться и обедала у нас. Она уже далеко не первой молодости и мать трех сыновей, из коих первому 10 лет. Мне показалась она женщиной весьма порядочной с весьма приятными и даже привлекательными, хотя полуувядшими чертами лица. В ней нет ничего напыщенного, барского и суетного. Видно, что она знает жизнь и умеет отличать существенное от пустого и мечтательного. Кринолин ее умеренный, а хвоста почти вовсе нет. Шляпка пристойная, без крылышка — символа летания по магазинам и поднебесным пространствам либеральничанья, которого молоденькие наши ветреницы набрались у таких же юношей, брадатых и безбородых профессоров. Видно, что она не имеет ни малейшего понятия о философии Петра Лавровича Лаврова, что и делает ей великую честь.

2 июля 1864 года, четверг

Холодно, только 10R тепла поутру. Северовосток затянул свою обычную песню, и теперь черт знает, когда он перестанет.

Пусть люди происходят не от одной; а от нескольких пар, пусть существует какое угодно разнообразие в происхождении и характере рас, но не подлежит сомнению, что где есть разумность, там и настоящий человек, и что разумность есть источник таких сходств, которые человеческому роду дают характер единства и самостоятельности между всеми творениями вселенной.

3 июля 1864 года, пятница

Заседание в Совете по делам книгопечатания. Объявлено распоряжение министра о прекращении полемики между газетами остзейскими и московскими. Первые открыто проповедовали сепаратические идеи, обособление Остзейского края, нерасположение и ненависть русских немцев к России, вторые — восстали против этого. Я возвысил свой голос — могу сказать, возвысил, потому что говорил горячо, — выражая следующую мысль: положим, что прекращение подобной полемики вещь хорошая, министр решил его, и дело с концом. Но позволено ли будет немецким газетам в статьях не полемического свойства продолжать выражать свои тенденции против России и доказывать, что остзейские провинции составляют совершенно отдельное от нее целое, связанное всякими своими интересами более с Германией, чем с ней? Если это будет допущено, по слабости ли цензуры или попущению местных властей, то на каком же основании может быть воспрещено русским газетам возражать против этого направления остзейской прессы? Высшая цензурная власть не должна допустить это, но в таком случае надобно принять решительные меры, чтобы это и было так. Тогда исчезнет само собою не только полемика, но и повод к ней, что важнее всего.

На мою речь последовало согласие прочих членов — не знаю, притворное или искреннее. Турунов по крайней мере что-то долго вертелся около общих мест, но я настоял, чтобы это было определительно заявлено в нашем протоколе.

4 июля 1864 года, суббота

Типы из общественной и нравственной среды. Философ-филантроп и прогрессист. — Космополит. — Реалист.

5 июля 1864 года, воскресенье

Целый день свирепствовал дождь, даже с небольшою грозою. К особенностям дождей нынешнего лета принадлежит то, что они падают на землю не каплями, а целыми потоками. Еще замечательно то, что он обыкновенно теплый и после него бывает тепло. Вечером небо как будто очистилось немного, и мы с Сашей решились отправиться на вокзал слушать музыку. Несмотря на неблагоприятную погоду, слушателей и слушательниц собралось много. Зала была вся наполнена. По окончании двух отделений мы вышли на площадку, вечер был сумрачный, но тихий

и теплый. Вдруг надвинувшиеся облака прорвались, и полил ужаснейший дождь. Все бросились в залу и галереи. Мы с Сашей притаились в уголку на последних. Уже было не до музыки, меня занимала мысль, как возвратиться домой, но Саша был в восторге от приключения. Дождь, кажется, немножко начал утихать, я бросился к извозчикам и насилу отыскал жалкую клячонку с мальчуганом. Ну, хорошо и это. Едва успели мы доехать до железных ворот, как дождь снова усилился и напал на нас с таким свирепством, какого я не помню. Сделалось темно. Зонтик защищал нас, но тут ничто не могло помочь. Дождь падал с такою силою и такой крупный, что, казалось, мог пробить крышу из дерева, а не только из шелковой ткани. Лошаденка кое-как плелась. К счастью, все-таки расстояние до нашей дачи невелико, и мы возвратились домой хотя немного измоченные, но не промокшие.

6 июля 1864 года, понедельник,

Давно я не любовался такими великолепными, живописными тучами. Вот и теперь они со всех сторон надвигаются громадами самых разнообразнейших форм и цветов, то синего, то беловатого и дымчатого. Быть дождю опять. С балкона моего открываются прелестнейшие виды на окрестности и на небо. Не хочется войти в кабинет, чтобы заниматься, а заниматься надобно.

7 июля 1864 года, вторник

Прекрасное утро, — ходил гулять, прошел всю деревню Поповку и в десять часов возвратился домой. Всей прогулки час. Теперь за работу.

10 июля 1864 года, пятница

К вечеру собралась великолепная гроза.

11 июля 1864 года, суббота

Замечательно, что в нынешнее лето после каждого сильнейшего дождя или грозы теплота не только не уменьшается, но увеличивается. Вчера перед грозою было жарко и душно, сегодня поутру — 19R тепла.

В наше время под литературой стали разуметь все печатное. Литература в высоком и истинном своем значении отклонилась от настоящего пути. Писать и печатать сделалось делом весьма легким, и приобретение имени литератора — доступным всякому. Это страшно загромождает общество бесчисленным множеством пустяков и хламу до того, что иной раз приходится желать, чтобы явился какой-нибудь новый Омар, отобрал всю эту дрянь и сжег ее, чтоб освободить общество от бремени. С другой стороны, удобство, с каким, особенно молодые люди, предаются соблазну пустого празднословия и надежде привлечь на себя внимание общества, отклоняет их от остальных занятий и мешает образованию характеров.

13 июля 1864 года, понедельник

На похоронах Достоевского (Михаила). Он умер от разлития желчи, 44 лет. Это был не столько замечательный литератор, сколько честный и добрый человек. Брат его Федор больше писатель: он сильно пострадал, был замешан в истории Петрашевского. Лет пять он провел на каторге. Я проводил бедного покойника на кладбище.

С балкона моей дачи я часто любовался хорошеньким леском на косогоре, по ту сторону Славянки. Оказалось, что этот лесок есть тихое вечное пристанище павловских обывателей. Вся церемония продолжалась с обедней часов больше двух. Жар был сильнейший, собиралась гроза, великолепные тучи наплывали с запада. Однако грозы не было. Я ни крошки не устал.

16 июля 1864 года, четверг

Ездил в город, так, для пустяков. Сибирская язва приняла в Петербурге большие размеры. Приняты полицейские меры, особенно относительно лавок с мясом. Но этих мер никто из торговцев не соблюдает, а начальство довольно тем, что разослало надлежащие циркуляры.

Приехав из города, был позван на обед, который сосед мой, полковник Денисов, давал по случаю именин своей жены Юлии Васильевны. Большую часть времени провел в разговоре с Желтухиным (Алексеем Дмитриевичем), который состоит ныне секретарем при Гагарине, председателе Государственного совета. Вечером маленький фейерверк.

18 июля 1864 года, суббота

Неожиданно приехал брат Семен и очень меня обрадовал.

19 июля 1864 года, воскресенье

Притязания новейшей науки бесплодны, она готова дать громадные обещания человечеству. *Неизвестное* не существует для нее, если не теперь, то в будущности. Она хочет уничтожить верования, обещая человеку одно несомненное и достоверное.

Для всяческих глупостей в голову человеческую открыты широкие ворота; для благоразумия же едва мерещится узенькая тропинка, и тою едва можно ему пройти, потому что на каждом шагу оно встречается с теми же глупостями, которые приходится преодолевать, а при самом входе в голову лежат, как откормленные огромные церберы, самолюбия, обольщения и лжи всякого рода — природные и могущественнейшие враги благоразумия.

20 июля 1864 года, понедельник

Замечательнейшие черты нынешнего лета: никогда зелень не была такою роскошною, с таким блестящим колоритом, с такою сочностью; никогда облака и тучи не были так пышно и великолепно расцвечены и не являлись в таких разнообразных, причудливых, то величественных, то грациозных формах и очертаниях! Вот хоть бы и сегодня. Право, не хочется сойти с балкона и запереться в кабинете, не хочется приниматься за книгу или за перо. А надобно и то и другое.

22 июля 1864 года, среда

Были случая три или четыре сибирской язвы на людях в Петербурге, но дальнейшего распространения, кажется, ее нет. И вероятно, некоторая прохладность, нашедшая теперь, ее остановит.

Это ведь не более как мода говорить, что воспитание человека надобно предоставить обществу, а не государству, мода, основанная на том, что общество должно давать все (ассоциации), а не государство. Но забывают одно: готово ли общество, настолько ли оно развито и благоустроено, чтобы заменить государство?

Долго не мог заснуть: в голову лезли все разные обычные вопросы философского и политического содержания. Ум очень часто забегал к тем предметам, над которыми я теперь работаю для академического сочинения, которое собственно не будет академическим в нашем академическом смысле.

23 июля 1864 года, четверг

Немец настолько бывает в России честен, насколько позволено быть честным в этой стране.

Совет по делам печати. Министр (Валуев) сделал нелепое и смешное замечание на журнал последнего заседания. Я представил мое мнение по поводу сделанного им воспрещения полемики между газетами остзейскими и русскими о народностях. У меня там, между прочим, выражена такая мысль: что если остзейские газеты в неполемических статьях станут нападать на русскую народность, а русским будет воспрещено на это возражать, то русская народность в *печати* будет беззащитна. Валуев на это пишет, что уже приняты меры против статей остзейских газет подобного рода, но что русские газеты сами задирают и подают повод к полемике. При этом он не разделяет мнения, выраженного в журнале, что русская народность будет беззащитна: такая сильная народность не нуждается в защите.

Каково? Нас будут ругать в глаза, будут доказывать всенародно, что Мы варвары и что мы живем только немецким умом, а мы должны проходить это молчанием под предлогом, что считаем себя очень сильными. Притом ведь я говорил о беззащитности нашей народности *в печати*, нимало не сомневаясь в ее силе на практике. Но Валуеву захотелось меня уколоть. Главное, он не любит, чтобы кто-нибудь смел иметь свое мнение там, где он министерствует. Правду сказать, какой же он дурак! Не умеет обуздать своего крошечногэ чиновничьего самолюбия;

и во всякой чужой мысли он видит личное себе оскорбление. Хорош государственный человек! Тем не менее, однако ж, мне надобно держать ухо востро с этим пошляком! Добра он сделать мне не захочет, а зло и захочет и может сделать.

Долго не мог заснуть, потом спал порядочно, хотя недолго, потому что должен был встать рано, чтобы проводить брата на первый поезд, да еще написать о нем письмо к муромскому градскому главе Ермакову (Алексею Васильевичу).

25 июля 1864 года, суббота

Удивительный этот русский народ! Ума не приложишь к нему. Ведь вот, например, теперь заворовался, запил, заплутовался так, что, ей-Богу, серьезно говоря, тяжело с ним жить. А между тем чувствуешь, что в нем есть что-то, которое так и тянет к нему, что-то до того доброе, умное, обаятельное, что никакой немец, никакой француз и даже англичанин не могут с ним сравняться. Вот и бьешься с ним, как рыба об лед. Беспрестанно он то бесит тебя своими гадостями в кабаках, на улицах, на рынках, в мастерских; то в самые мрачные минуты вырывает у вас улыбку веселья своим простодушным, беззлобным и беззаботным пренебрежением всех житейских невзгод и трудностей; то трогает вас до слез какою-нибудь истинно великодушною геройскою выходкою, вовсе не кокетничая ею и не понимая даже смысла ее. Черт знает что это такое! Говорят, этому народу недостает образования. Дай Бог, чтобы он — разумеется, с помощью немногих простых, крепких, честных и серьезно просвещенных душ — дал его сам себе. Беда, если он возьмет то образование, какое хотят ему навязать наши либералы, наши публицисты и наши государственные люди *(из письма к И.А.Гончарову)*.

Отосланы письма к Гончарову во Франкфурт-на-Майне и к Рудницкому в Веймар.

Бенефис Штрауса в вокзале. Сбор Штраусом пожертвован в пользу раненых воинов. Я был с Казимирой и с Сашей. Превосходно играл военный оркестр, состоящий из двухсот пятидесяти музыкантов. Публики было много — и все люди чистые и благонамеренные, особенно женщины, длиннохвостой, короткохвостой и бесхвостой породы, вымытые, чистенькие, выглаженные и выутюженные, хоть сейчас на картинку. Хорошеньких было многое множество. Все было чинно, в высшей степени благопристойно и немного скучновато. Впрочем, скука нам необходима: мы ограждаемся ею от скандалов. Был и государь, но очень недолго. Говорят, он получил депешу, что в Петербурге пожар на газовых заводах где-то, и тотчас уехал.

26 июля 1864 года, воскресенье

Ивановский мне сказал, что между множеством честных людей ему попадались и бесчестные. “Я был несчастнее вас, — отвечал я ему, — между множеством бесчестных я находил только иногда и честных людей”.

29 июля 1864 года, среда

Прелестное утро, и я вдоволь нагулялся по полям, дойдя до деревни Поповки и до финской церкви. Возвратился в половине двенадцатого с огромным букетом полевых цветов.

30 июля 1864 года, четверг

Вчера мне говорили, что у государя в Петергофе украли лошадь. Эта дерзость возможна при той распущенности и безнаказанности, какие господствуют у нас везде.

7 августа 1864 года, суббота

Наше время отличается, между прочим, страшными неурядицами всякого рода. Вот, например, в Петербурге полиция потеряла всякое значение, и всевозможные бесчинства ежедневно и безнаказанно совершаются на глазах у всех. Пьянство дошло до неслыханного безобразия. Нет номера “Полицейских ведомостей”, в которых бы не было объявлено о нескольких несчастных и даже смертных случаях от пьянства. А сколько не объявленных! Было несколько случаев смерти от пьянства детей четырнадцати и пятнадцати лет. Я как-то говорил об этом с членом Государственного совета, бывшим министром финансов, Княжевичем, что высшему правительству пора бы подумать об этом нравственном и общественном безобразии. “Да, — отвечал он мне весьма равнодушно, — по этому поводу хотят принять кое-какие меры”.

А что делается по губерниям! Вот и пресловутая акцизная система! Воровства совершаются с неслыханною наглостью, и краденое, разумеется, никогда не отыскивается. Воры, несколько раз уже пойманные и выпущенные на волю, снова производят свой промысел с усиленною дерзостью, как и следует при такой неслыханной безнаказанности. Ежедневно почти “Полицейские ведомости” извещают о задавленных и искалеченных на улицах скорою ездою, которая запрещена законом, но, видно, разрешена гуманным болваном генерал-губернатором Суворовым. Порядочных женщин всенародно оскорбляют на улицах и гуляньях. На невских пароходах, развозящих публику по островам, свирепствуют такие беспорядки и произвол содержателей их, что об этом и говорить скучно и гадко. Недавно полиция, выведенная из терпения наглым нарушением правил со стороны распорядителей этих пароходов и беспрерывными жалобами со стороны публики, явилась, в лице частного пристава, в контору “Северного пароходного общества” с требованием прекратить беспорядки. Но контора буквально прогнала частного пристава, объявив ему во всеуслышанье, что она знать не хочет никаких полицейских порядков. Об этом сама полиция объявляет печатно в своей газете. Сделано ли какое взыскание за такое нарушение законов и общественного порядка — неизвестно, а известно только то, что беспорядки на пароходах после того усилились.

В Петергофе на станции железных дорог во время иллюминации 27 июля

роздано было билетов вдвое против того, сколько могли вместить вагоны. От этого произошли давка и страшный беспорядок. Публика, видя, что власти не действуют и граждане оставлены без защиты и преданы в жертву разбойникам-антрепренерам, наконец, решилась сама расправиться. Она перебила в вагонах стекла, поколотила служащих и разбила кассу, и так далее, и так далее, и так далее. Что все это значит? Что значит это потворство негодяям в ущерб честным и мирным людям?

По нашим законам требуется *собственное* признание преступника для учинения ему законного наказания. Этот закон, очевидно, остаток того варварского законодательства, которое очень легко оканчивало всякое уголовное дело собственным признанием преступника, потому что в руках властей были такие милые и удобные средства добывать это признание, как кнутья, дыбы и проч. Очевидно, это остаток пыточных времен и наследство застенков. Тогда признание действительно было делом очень обыкновенным, хотя и мало убедительным.

3 августа 1864 года, понедельник

Прогулка в Славянку вечером. Бедная Славянка в сильном запустении, однако все-таки хороша. Церковь и дом простой, но изящной архитектуры.

Те только книги хороши, которые необходимы

4 августа 1864 года, вторник

Нет большего доказательства ничтожества государственного деятеля, как когда он боится способных людей и окружает себя ничтожествами еще ниже его.

6 августа 1864 года, четверг

День такой, в который природа предоставляет человека самому себе. Делай, как хочешь сам, будь весел, доволен, а я тебе ничего не дам, кроме ветра, холода, сумрака.

На днях биржевая артель давала обед генерал-губернатору Суворову. Говорят, он был в восхищении от своей популярности, жал руки мужикам и проч. Бедный взрослый ребенок! Он забавляется игрушками, вместо того чтобы делать дело, как прилично правительственному лицу. Как кокетка не может устоять против моды на хвосты и широчайшие кринолины, так умы ограниченные, кокетничая собою, не в состоянии противиться другой моде — моде на известные понятия, на так называемые идеи.

Есть у нас особенный тип прогрессиста, который как нельзя осязательнее воплотился в Петре Лавровиче Лаврове. Он страстно любит человечество, готов служить ему везде и во всем. Любовь эту почерпнул он в сочинениях новейших социалистов, не думая много о том, насколько в них правды, применимости к трезвой, настоящей, а не экзальтированной, пустой и бесплодной преданности интересам человечества. В награду за свою бескорыстную любовь Петр Лаврович

хочет одного: быть признанным великим человеком между своими современниками и удостоиться от них двух-трех оваций. Желание весьма скромное и похвальное. Собственно говоря, Петр Лаврович философ, потому что он знает немецкий язык и прочитал на нем некоторые из великих творений Фейербаха, Молешота, Бюхнера и т.д. В заботливости своей о благе человечества он неустанно суетится, всюду суется со своим участием, старается, елико возможно, рассеять все предрассудки и просветить людей так, чтобы они совершенно поняли и убедились в том, что человек происходит от обезьяны, что нравственность и религия суть цепи, наложенные на людей деспотами и попами, что *просвещенный эгоизм* есть единственный нравственный принцип, что душа человека и душа свиньи совершенно одно и то же, что “ум есть географическое название” и проч. и проч. Петр Лаврович удивительно подвижной человек. Едва прочитает он в заграничном журнале какую-нибудь ученую и политическую новость, тотчас, как Боб-чинский, бежит разглашать ее везде, куда только дозволен ему доступ. Писать он избегает, отчасти потому, что боится цензуры, а отчасти потому, что пишет прескверно — темно и запутанно. Он лучше любит путь тихой, ползучей пропаганды и особенно падок до молодых людей и женщин, которых ему легче начинять всяким вздором во имя прогресса. Прежде “Колокол” был для него источником всех великих истин и убеждений. Но с той поры, как “Колокол” затих, Петр Лаврович сделался эклектиком в определенном смысле—в смысле социализма и материализма.

Вечером на музыке в вокзале. Народу было несметное множество, несмотря на дурную погоду, бурный ветер и то и дело набегавший дождь. Духота в зале была невыносимая. Я ушел в половине десятого. После, говорят, произошел скандал: драка между двумя какими-то гуляками, что в добропорядочном Павловске редкость. А одного посетителя поймали, когда он вздумал посетить чужой карман.

7 августа 1864 года, пятница

Всю ночь свирепствовала буря: завывал ветер, и о крышу стучал дождь. Вообще осень начинает выставлять свою угрюмую рожу. Сегодня только 9R; мрачные тучи, гонимые ветром, почти сплошь застилают небо и угрожают дождем. Но зелень удивительно свежа. Только рябина и кусты сирени немножко начинают желтеть.

9 августа 1864 года, воскресенье

Я с своего балкона наблюдал над громаднейшей тучей, которая с неимоверной быстротой неслась над рекою Славянкой и над окрестными полями, изливая потоки дождя, слегка задевшего и нас. Теперь говорят, что эта туча несла в себе не один дождь, но страшный ураган, который наделал много бед в соседней деревеньке: посрывал с домов крыши, повалил заборы, раскидал на нивах копны хлеба и даже, говорят, унес одного ребенка, который без вести пропал. Мы ничего этого не испытали и только дивились издали быстроте, с какою неслась туча среди нас самих окружавшей глубокой тишины.

10 августа 1864 года, понедельник

Гуляя, я видел следы разрушения, причиненного вчерашним ураганом. Он пронесся довольно узкою полосою между нашей дачей (по дороге в деревню Славянку) и второю Матросскою слободкою и повалил на пути своем огромные деревья, одни повырывал с корнем, другие поломал и разбросал повсюду массу сучьев и обломков. Заходил к Перевощикову.

Не знаю, почему Второе отделение Академии не было приглашено на 25-летний юбилей Пулковской обсерватории, который праздновался 7 августа. Я хочу поговорить об этом с вице-президентом.

11 августа 1864 года, вторник

Все почти трактаты о воспитании смотрят на человека в детстве как на существо, которое не сделано, а которое следует сделать. Оттого такая масса правил и учений, часто одно другому противоречащих, оттого система преследования каждого шага ребенка под предлогом направлять и развивать его. Между тем верное правило одно — то, которое выразил Сократ, что воспитателю надлежит исполнять только должность повивальной бабки. Есть еще одно обстоятельство, которое нынешние педагоги почти совершенно упускают из виду, — это влияние на человека среды, в которой ему предстоит жить и действовать. И потому эти педагоги вообще очень мало заботятся об образовании в человеке *характера*, для чего всего нужнее крепко установить начало *честности и мужества*. Главное, чтобы человек в состоянии был выдержать напор всяческих искушений и мерзостей, среди которых ему придется жить, чтобы он не боялся борьбы за честную мысль и честное дело.

Большая часть заблуждений в умственной области происходит от смешения понятий о двух различных силах человеческого духа — силы *познавательной* и силы *творческой*, между тем как они совершенно различны и ведут к совершенно различным результатам. Сила познавательная занимается тем, что есть; сила творческая — тем, что может или должно быть.

13 августа 1864 года, четверг

В заседании Академии наук. Пекарский читал отрывок. из истории Академии — об астрономе Делиле. Любопытно.

14 августа 1864 года, пятница

Три заседания в Академии: в нашем отделении, общее и по Уваровской премии. Я объяснялся с вице-президентом и секретарем о том, почему наше отделение не было приглашено на празднование 25-летнего юбилея Пулковской обсерватории. Мне отвечали, что распоряжался этим Струве и что будто бы он два раза посылал к нам повестки, которых, однако, никто не видал. Это должен быть чистый вымысел. Я выразил от лица моих товарищей неудовольствие за такое невнимание, а публика обвиняет нас в равнодушии ко всему академическому.

19 августа 1864 года, среда

Все эти дни холодно, сумрачно, дождливо. Трудно уважать и самого себя, сознавая себя таким ничтожным и жалким существом, как человек.

20 августа 1864 года, четверг

Мне кажется, что всякая радость жизни является похищением у судьбы. Есть что-то незаконное в так называемом счастье, особенно если вспомнить, как много людей страдают и умирают, не ощутив в жизни ничего, кроме скорби.

Неужели одни несправедливые в состоянии пользоваться некоторыми дарами жизни? Почти так.

В Совете по делам печати я представил мнение о статье для “Русского вестника”, в которой излагаются сцены из эпизода первой холеры в 1830—1831 гг. Московский цензурный комитет не хотел пропустить этой статьи, потому что в ней много страшных сцен и рассказывается о крестьянском восстании. В последнем комитет видит сословный антагонизм. Я возразил, что история не обязана льстить сентиментальным наклонностям, а обязана быть правдивою. Что же касается сословного антагонизма между крестьянами и помещиками, ныне о нем не может быть и речи. Со времени происшествия прошло уже более четверти столетия, и оно со всеми своими подробностями принадлежит истории. Совет согласился с моим мнением.

В заседании Академии. Промах Пекарского, который песнь о пострижении Евдокии Лопухиной счел за открытие, а она давно уже напечатана в “Русском архиве”.

27 августа 1864 года, четверг

Когда россиянин говорит о честности, то это все равно, как бы глухой говорил о музыке.

29 августа 1864 года, суббота

Юбилей академика Карла Максимовича Бэра. У нас ничего не умеют сделать так, чтобы это было прилично и безобидно для всех и каждого. Во-первых, обед был в зале ресторана “Демут”, до того тесной, что посетителям приходилось сидеть чуть не на коленях друг у друга, и оттого произошла невыносимая духота. Одному — и именно Штакельбергу — даже сделалось дурно. Потом, ни малейшего порядка, ни малейшего соблюдения обыкновенных приличий и торжественности, хоть сколько-нибудь напоминающей об идее празднества. Шум, гам, стукотня, какие-то неистовые возгласы во время чтения речей, вскакивание с мест и возвращение к ним со стуком и грохотом. Первая речь на немецком языке Миддендорфа прошла еще кое-как благополучно Но затем уже не было никакой возможности что-нибудь сказать или

услышать. Я решился не говорить моей речи и уехать тотчас после пирожного, тем более что боялся опоздать на царскосельскую железную дорогу и не попасть на ночь домой в Павловск. Меня остановили секретарь Академии Веселовский, Бетлингк и прочие распорядители праздника, говоря, что это будет очень неловко, так как я нахожусь в программе чтения “Да как же я буду говорить в этом хаосе?” — спросил я. “Выждите минуту и начните”. Но этой минуты тщетно было ожидать. Я вырвал из моей речи несколько фраз, кое-как бросил их перед Бэром, — это было все бессмысленно и нелепо, — и тотчас бежал, жалея о потерянном времени и о Бэре, которого так недостойно чествовали.

Еще непристойность. После провозглашения тоста в честь государя обыкновенно музыка играет “Боже, царя храни”. Тост был провозглашен, три раза повторилось обычное “ура!” — музыка молчит. Тщетно Литке делает знаки, чтоб играли: музыка все молчит. Наконец он начинает сначала тихо, потом громче требовать гимна, и только уже после повторенного им громкого крика: “Боже, царя храни!” — музыка решилась начать национальный гимн. Все это, однако, составляло только наружную сторону дела, внутренняя же вот в чем. Во-первых, немцы, очевидно, хотели выказать свое торжество над русской партией, что, впрочем, им во всяком случае нетрудно, так как они всегда действуют обдуманно, согласно и твердо, а мы ведь не можем соединиться втроем или вчетвером без того, чтобы не постараться нагадить друг другу и не разбиться врозь. Ни одна немецкая речь не удостоила своего внимания России.

Во-вторых, тут была партия тех естественников, которые исповедуют материализм. Ей хотелось выставить Бэра как свое знамя. Но главное — сюда явилось несколько каких-то брадатых нигилистов.и юношей — последователей новейших доктрин. Они за десять рублей пришли поесть, выпить и произвести демонстрацию в пользу своих принципов. Я видел некоторых из этих господ, которые изъявляли свою готовность на всякий крик. Зеленый мне говорил, что он видел то же на своем конце стола. Немцы, чествуя свою знаменитость, хотели, чтобы было как можно больше людей, и напустили сюда кого попало. В течение двух недель в каждом номере “С.-Петербургских ведомостей” ежедневно печатались зазывы на юбилей. Мудрено ли, что тут очутилось много господ, которые явились вовсе не для Бэра.

Жаль мне, что так плохо отпраздновали день действительно одного из достойнейших представителей науки, и еще более жаль, что тут все соединилось к тому, чтобы затмить русское имя и русскую мысль. Да и поделом нам! Кто сам себя не уважает, тот заставляет и других себя не уважать.

3 сентября 1864 года, четверг

Переезд с дачи. Ужасная возня. Возы с вещами насилу приехали к одиннадцати часам ночи. Хорошо, что еще ночи лунные.

5 сентября 1864 года, суббота

Заседание в Академии наук. Президент было опять поднял вопрос о II отделении, то есть о слиянии его с III. Так как я главный противник этого слияния, то Литке обратился ко мне, чтобы я высказал мое мнение относительно компромисса, предложенного некоторыми членами. Компромисс состоял в том, чтобы слить все отделения в одну безразличную массу, и тогда не было бы никакой обиды национальному чувству и отечественной науке в уничтожении Второго отделения, которое таким образом разделило бы только общую судьбу всех других отделений.

Я возразил, что вообще едва ли рационально и выгодно для науки создать одну огромную машину, которая, естественно, будет тяжела и неповоротлива при решении специальных вопросов, принадлежащих какой-либо отдельной группе сведений. Комиссии не помогут делу. Назначать их каждый раз по каждому текущему вопросу было бы странно, а образовать постоянные комиссии — значило бы допустить те же отделения. Мне кажется, что для спасения II отделения от стыда исключительного закрытия не следует прибегать к мере, неудобной для всей Академии. И в таком случае гораздо естественнее и согласнее с достоинством Академии и с национальным чувством — оставить II отделение в том виде, как оно есть, уменьшив только число членов до пяти или шести, и даровать им права, какими пользуются члены других отделений.

Говорили много и не пришли ни к какому решительному заключению. Срезневский начал было увертываться, однако скоро понял, что это нехорошо, и выразился в пользу моего мнения. Билярский и Грот молчали, Пекарский что-то пробормотал, кажется против, но ничего не сказал. Когда Устрялова спросили, считает ли он полезным присоединить историю ко II отделению, он хриплым, едва слышным голосом отвечал, что считает за лучшее оставить ее в III, но не подтвердил этого никаким мотивом. Больше его не тревожили. Устрялов, мне кажется, очень нехорош. Лицо у него вспухло и побагровело. Я думаю, что он долго не проживет.

6 сентября 1864 года, воскресенье

Сегодня А.А. Воскресенский, исправляющий должность ректора университета, поднес мне от имени последнего диплом на звание почетного его члена с весьма любезными изъявлениями.

Вчера отослал Веселовскому, по его настоятельному требованию, для напечатания отрывок речи, которую я приготовил к юбилею Бэра и из которой мог сказать только несколько фраз. Он требовал всей речи. Я послал ему только частицу ее, именно то место, где мне хотелось кратко охарактеризовать философское направление ученых трудов Бэра. Напечатают — хорошо; не напечатают — не будет повода к сплетням.

10 сентября 1864 года, четверг

Заседание в Академии наук и в Совете по делам печати. Толки о “Московских

ведомостях”. В одной из статей в них сильно нападают на Головкина по поводу книги Шедо-Ферроти, написанной в защиту управления великого князя Константина Николаевича в Польше и которую Головнин повсюду рассылал. В другой статье говорится о пожарах нынешнего лета. Тут сгруппированы все бывшие пожары вместе с симбирским, и сделано замечание о поджогах. Статья эта, говорят, произвела сильное впечатление за границей.

14 сентября 1864 года, понедельник

Ежели есть что-нибудь достоверное на свете, так это то, что нет ничего достоверного.

Многие точно так же злоупотребляют наукою, как и другими вещами. Они считают за науку весь сор и хлам, который удается им подобрать. Они до крайности злоупотребляют словом факт; им нет никакого дела до смысла его.

В пожарах обвиняют поляков, которых целыми толпами выселили из Царства Польского и из западных губерний во внутренние города империи. Мне кажется, что это в самом деле ошибка администрации. Конечно, они не жгут городов, но содействуют распространению среди легковерной молодежи зажигательных идеи.

Иной не знает, куда девать свои дни, так много у него праздного времени. Таким нечего жаловаться на скоротечность жизни.

15 сентября 1864 года, вторник

Ничто столько не содействует распространению и усилению умственной лени, как неумеренное чтение. Страсть искать всего в книгах и от книг ожидать во всем вразумления, правил и наставлений ослабляет силу самостоятельного мышления, стесняет деятельность разума и устраняет благотворное на нас влияние собственного опыта и наблюдения. На жизнь мы привыкаем смотреть всегда чужими глазами. Она становится для нас чем-то далеким, и место ее заступают отвлеченные понятия. Неумеренное чтение раздражает ум гораздо больше, чем просвещает и укрепляет его. Не это ли многочитание, поглощающее время и умственные наши силы, причиною того, что в наше время так мало твердых умов и твердых характеров?

16 сентября 1864 года, среда

Катков решительно присвоил себе монополию патриотизма и думает, что кто не по его началу и не по его способу выражает свои патриотические чувства, тот не только не патриот, а даже чуть не предатель отечества. Он-то и открыл настоящий способ патриотических мыслей и поступков, и до него и без него никто из русских не знал бы, в чем состоит патриотизм. Впрочем, это свойство большинства москвичей, смотреть на всю остальную Россию свысока, точно они этим как бы хотят напомнить претензию древней Москвы на самодержавие. Правда, в Петербурге много немцев, но тут нет также недостатка и в настоящих русских,

только последние не так много кричат и вопят о своем патриотизме, как москвичи.

19 сентября 1864 года, суббота

Заседание в Академии. Ничего, как почти всегда.

Был у меня Владислав Максимович Княжевич. Разговор о Головнине и о том, как он рассылал книгу Шедо-Ферроти. Это произвело большой скандал, особенно после статьи в “Московских ведомостях”, в которых опубликовано содержание письма Головнина два года тому назад к редакторам. В письме этом он восхваляет их за статьи по польскому делу и изъявляет желание собрать их в одну книжку, напечатать и разослать по учебным заведениям. А теперь он рассылает брошюру Шедо-Ферроти, где изложены о том же предмете взгляды совершенно противоположные, с целью оправдать поведение великого князя в Варшаве. Правительственный совет (за отсутствием государя) спрашивал Головнина, точно ли он рассылал везде эту книгу и с какою целью? Он отвечал, что книгу действительно рассылал, основываясь на том, что если везде и, между прочим, в учебных заведениях читали нападки на великого князя *по-русски*, то не худо, если теперь прочтется защита его *по-французски*. Этот ответ он препроводил к государю и к великому князю

Говорят, что поджигатели в Симбирске пойманы, и во главе их не поляк, а русский. Горько, если это правда.

21 сентября 1864 года, понедельник

Обедня и панихида по графе Блудове в память дня его ангела… Возвратился пешком с Перевощиковым, который сегодня именинник и звал меня к себе на вечер.

Славную штуку выкинул, как говорится. Московский университет. Получив из департамента министерства народного просвещения двадцать экземпляров книги Шедо-Ферроти для раздачи, кому сочтет нужным, совет университета единогласно определил: так как книга эта не иное что, как пасквиль на русское правительство и управление, то он, университет, не считает полезным или уместным заботиться о ее распространении и полагает возвратить все экземпляры оной в департамент. Что-то скажет на это Головнин?.. Московский университет, мне кажется, сделал только одну ошибку — а именно, назвав присланную министром книгу пасквилем на правительство. Он лучше сделал бы, отвергнув ее без этого слова.

Государь, прочитав книгу Шедо-Ферроти, сказал. “Вот оказали медвежью услугу великому князю”. Это передал мне Тютчев.

22 сентября 1864 года, вторник

Вчера в Апраксином переулке или где-то поблизости вспыхнул пожар. Однако его скоро затушили.

Пожары у нас становятся хроническим бедствием. В редком номере газет не

читаем известий о сильных пожарах в разных городах и селах.

23 сентября 1864 года, среда

Вот уже несколько лет, как и публика, и дума, и полиция признают необходимость обуздать собак, которые бегают по городу и кидаются то на лошадей, то на прохожих. Нередко также бывают печальные случаи бешенства и укушения бешеными собаками и взрослых и детей. Вот, например, после переезда моего с дачи в Павловске вдруг появилось несколько бешеных собак и искусало многих людей, в том числе детей бедного инженерного полковника П. и его самого. Полиция все “принимает меры”. В думе все толкуют то о намордниках, то о штрафах с хозяев и проч. — и вот уж несколько лет толкуют, а собаки по-прежнему бегают по улицам, пугают лошадей и людей, бесятся и кусают прохожих. Вообще Северная Пальмира представляет из себя чудную картину города, где безопасности граждан на каждом шагу что-нибудь угрожает.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы полицейское управление совсем не обнаруживало энергии. Вот, например, на днях у Гостиного двора под арками запрещено разносчикам продавать плоды, и они изгнаны оттуда, как сказано в объявлении обер-полицеймейстера, за то, что производили там нечистоту и грубо обращались с покупателями. Теперь, чтобы купить десяток яблок или груш, надобно идти или на Щукин двор, или в Милютины лавки.

О пожарах мы знаем только, что они случились и случаются там-то, больше ничего нам не сообщается.

В Симбирске уже двух расстреляли, признавшихся в поджогах. У них русские фамилии, хотя один из них уроженец Витебской губернии и католик. Это, впрочем, должно быть только исполнители — настоящие двигатели дела еще не открыты.

27 сентября 1864 года, воскресенье

Поутру у Воскресенского. Не застал его дома. Оставил карточку и письмо с изъявлениями благодарности совету университета.

29 сентября 1864 года, вторник

Катков и Аксаков считают себя настоящими опекунами русского народа. К Петербургу они питают ненависть и презрение и его правительственное значение считают чистой узурпацией. Стоит только жить в Петербурге, чтобы, по их мнению, потерять всякое патриотическое чувство к России. Тот не патриот, кто не орет, не беснуется, не ломает стульев и столов.

Разнесся слух, которому я, однако, не верю, будто Московский университет просил у министра народного просвещения извинения за свой поступок с книгой Шедо-Ферроти. Я с самого начала был того мнения, что Московский университет погорячился, но лишь в том, что назвал эту книгу пасквилем. Это, конечно, было

сказано крепко, — но и извинение тоже выходит крепко. Об извинении говорил Чевкин Княжевичу в Государственном совете. Княжевич послал вопрос в Москву к одному из своих приятелей, правда ли это, но ответа еще не получил.

1 октября 1864 года, четверг

Вечер у Тютчева. Тут нашел я много так называемых знаменитостей, среди которых я казался себе таким маленьким, таким маленьким! Забавно, что все эти господа осматривали друг друга, как собаки, готовые к схватке и к взаимному кусанию. Все это громадные самолюбия с претензиями на абсолютную непогрешимость и с стремлением нагадить всякому чем Бог послал, лишь только этот всякий осмелится обнаружить мнение, не согласное с их мнением. Вот наши ученые и литературные общества! В них уже никак нельзя явиться, не нося камня за пазухой. Приятное препровождение времени! Один посмотрел на меня свирепо, другой свысока, третий и вовсе не удостоил взглядом. Правду сказать, я сам обратил на все это внимание только ради его смешной стороны. Весь вечер я проговорил с Г., с его женою, моею бывшей институтскою ученицею, некрасивою, но большою умницею, и с каким-то профессором Одесского лицея. Так проведено время до половины двенадцатого ночи.

2 октября 1864 года, пятница

Не умолкают толки о Головнине, Московском университете и Шедо-Ферроти. Петербург давно не имел случая потешиться таким хорошим скандалом! А сколько лгут — не приведи, Господи! Нет решительно никакой возможности добраться до истины между этими бесчисленными: “Я сам тому свидетель”, “Я слышал из уст самовидца”, “Слышал от достовернейшего человека” и проч. и проч.

4 октября 1864 года, воскресенье

Поутру был с визитом у Егора Оттовича Дуве, начальника винных акцизов в Витебской губернии. От него услышал я о новом распоряжении, чтобы все поляки, служащие там, были немедленно уволены от своих должностей с предоставлением им права искать себе мест во внутренних губерниях.

Хорошо и Должно говорить о русском элементе, о преобладании его над элементами других народностей в империи. Но пока мы будем только говорить или кричать по-московски об этом, мы не много пользы сделаем. Надобно, чтобы вся наша народность подтверждала это право на преобладание не одною своею численностью и грубой силой, а своим развитием, своими умственными, нравственными и общественными успехами. Теперь, кажется, рано еще слишком кричать об этом, потому что успехи наши не блестящи. Наша народность пока сильна только своею численностью, смутным сознанием своей силы и смутным же стремлением к самостоятельности. Разумеется, и эту силу и эту самостоятельность, равно как и сознание их, надобно всячески поддерживать, но не криком и показыванием кулаков, а более деятельными и твердыми стремлениями к развитию

наших умственных и нравственных сил, к развитию народной интеллигенции. Пока это не будет засвидетельствовано опытами и очевидными результатами, до тех пор ни немцы, ни поляки не будут нас внутренне уважать, а будут только нас бояться да ненавидеть и порочить. Нам следует быть скромнее и умереннее, а не следовать примеру московских журналистов, которые хвастают, что они одни открыли и знают настоящий состав русского патриотизма, из каких специй состоит этот соус.

6 октября 1864 года, вторник

Обедал в клубе. Встретил много знакомых. Разговор в кружке, состоявшем из меня, из директора департамента сборов Марковича и Гончарова. Директор был недавно в губерниях и вывез оттуда, как он говорит, очень грустное впечатление. Везде хаос. Речь зашла о пьянстве. “Обвинять в этом акцизную систему, — сказал директор, — нельзя: это страшное, наследственное наше зло”. “Однако надо же против этого принять какие-нибудь меры”. — “Да,, вот мы и приняли меру: увеличение пошлины за патенты на открытие питейных заведений. Полагают, что это уменьшит их число, а с уменьшением мест питья и пьянство должно уменьшиться”. — “Но это не отвратит зла. Тут надобно взять вещи глубже. Зло в нравах, и надобно бы принимать соответственные меры”. — “Конечно, — продолжал директор, — полиция могла бы препятствовать несколько распространению зла. Но полиция находится в полном бездействии”.

Маркович рассказал несколько фактов, свидетелем которых был сам, — об отношениях нашего народа к полякам, группами раскиданным министерством внутренних дел по внутренним губерниям. Сначала он дико смотрит на них и негодует, что к ним насылают этих “изменников”. Но так как эти “изменники” хитры и по наружности ведут себя неукоризненно, то скоро ненависть к ним уступает место самому радушному и ласковому обращению.

8 октября 1864 года, четверг

Низшее сменяется высшим, которое парализирует это низшее. Но скачками ничего не делается: через низшее нельзя перешагнуть к высшему, а надо взглянуть ему прямо в лицо и заставить его уступить высшему, потому что оно оказывается перед ним несостоятельным, как несостоятельно все слабейшее перед сильнейшим, неправое перед правым, одностороннее перед более полным и прочее. И низшее должно быть, но быть и господствовать должно высшее.

Один труд дает право на вознаграждение, лучшее достигается одними пожертвованиями, победа — битвами. Все эти истины известны до пошлости, однако повторять их приходится часто.

9 октября 1864 года, пятница

Конвенция, заключенная Наполеоном с Виктором-Эммануилом, уже тем много говорит в пользу Италии, что она заключена с Италией, а не с Римом. Какое бы ни

было ее содержание, а важно то, что существенною стороною тут признается Италия, и о делах папы трактуется не с ним, а с нею. Какого еще доказательства преобладания Италии в Италии?

11 октября 1864 года, воскресенье

У Княжевича. День его рождения. Ему минуло 72 года. Слухи, что Головнин писал к государю, откровенно признаваясь в ошибке своей, подавшей повод к известному скандалу с Шедо-Ферроти. Он оправдывается тем, что увлекся беспредельною любовью своею к великому князю Константину, и прибавляет, что если имел несчастье навлечь неудовольствие государя, то просит уволить его от должности. Государь будто бы отвечал, что это пустяки, чтоб он не беспокоился и оставался на своем месте.

12 октября 1864 года, понедельник

Странное, дикое время! Разладица всеобщая: административная, нравственная и умственная. Деморализация в народе и в обществе растет и зреет с изумительною быстротою. Умы серьезные тщетно стараются противодействовать злу. Да и много ли их, этих умов? Общественное воспитание запуталось в своих собственных сетях, то есть в разных педагогических умозрениях, не обдуманных еще и не выработанных: ему недостает твердых ни умственных, ни нравственных начал. Власть никем не уважается. О законе и законности и говорить нечего: они и прежде имели у нас только условное своеобразное значение, т.е. настолько, насколько их можно было обойти в свою пользу. Настоящей, так сказать, разумной революции нам не из чего делать: у нас нет материалов для нее, хотя, по-видимому, все к ней и клонится. Но, по свойству наших нравов и по складу нашего ума, мы способны дойти путем деморализации до состояния полной анархии, на что уже и теперь есть очевидные намеки. Странное, дикое время!

13 октября 1864 года, вторник

Светит ли Божье солнце на землю, трещит ли мороз в 20R, идет ли дождь, стоишь ли ты по колена в грязи — во всем исполняются непреложные законы природы. Кричи, сколько хочет, человеку в одном случае: “Мне тепло!”, в другом: “Мне холодно и сыро!” — он этим ничему не поможет. Однако было бы ложью, если б я думал и говорил противное.

14 октября 1864 года, среда

В опере. Давали “Сомнамбулу”. Увы, и тени ничего подобного с тою “Сомнамбулою”, в которой некогда участвовали Виардо, Рубини, Тамбурини. Я уехал после половины пьесы.

На нашем коридоре в театре учинено воровство: оставили без шуб трех дам.

Лакей ушел в раек смотреть представление, оставив шубы на чье-то попечение; вернулся — и ни шуб, ни попечителя не оказалось больше в наличности.

15 *октября 1864 года, четверг*

Бесчисленные толки о поездке государя во Францию, о его свидании с Наполеоном и особенно о поездке наследника в Рим. Толки эти, разумеется, не опираясь на знание тайных пружин дипломатии, заключают в себе не много правдоподобного. Приверженцы “Московских ведомостей” говорят, что нас хотят закурить фимиамом, завлечь в невыгодные уступки по восточным делам, что Наполеон непременно нас надует и т.д. Но поездка в Рим наследника действительно является странною, — если только она состоится. Там недавно ругали нас наповал. Мы принуждены были отозвать оттуда нашего посланника, — и вот, однако, намерены сделать визит святому отцу. Непонятно! Подождем объяснений от всеобъясняющего времени.

Поджоги у нас делаются чем-то вроде мании, чем-то вроде препровождения времени. Недавно поймали одного поджигателя. У него спросили, что побудило его к поджогу: мщение, желание воровать? Он отвечал, что ни то, ни другое, а он поджег так, и сам не знает, почему. Другой сам донес на себя и на подобные вопросы отвечал таким же точно образом. Вот широкая натура! Однако ж, что это такое? Аксаков скажет, что это — великие силы великой национальности, не направленные как должно и потому проявляющие в себе преимущественно элементы разрушения. А в сущности, я думаю, это объясняется проще. Русский человек в настоящий момент не знает ни права, ни закона. Вся мораль его основана на случайном чувстве добродушия, которое, не будучи ни развито, ни утверждено ни на каком сознательном начале, иногда действует, а иногда заглушается другими, более дикими инстинктами. Единственною уздою его до сих пор был страх. Теперь страх этот снят с его души. Слабость существующей еще над ним правительственной опеки такова, что он опеку эту в грош не ставит. Безнаказанность при полном отсутствии нравственных устоев подстрекает его к подвигам, которые он считает простым молодечеством, а нередко и корысть руководит им… Безнаказанность и “дешевка” — вот где семя этой деморализации, которая свирепствует в нашем народе и превращает его в зверя, несмотря на его прекрасные способности и многие хорошие свойства.

16 октября 1864 года, пятница

Держись крепче за что-нибудь, да, держись, чтобы вот этот прилив и напор темных мыслей не увлек тебя в бездну. *Характер, нравственное самообладание, свобода* — ведь это те старые ступени, на которых ты думал всегда основать и утвердить себя: неужели они сгнили и подломились?

Был Порошин. Теперь он приехал из Парижа с целью, нельзя ли собрать здесь средства и материальные и литературные, чтобы издавать в Париже журнал о России вроде “Revue Britannique”. Он жаловался мне на современную безучастность к этому делу, встреченную им как между людьми мысли и науки, так и между

сильными. Его приглашают занять в университете кафедру финансовых наук.

17 октября 1864 года, суббота

Я отказался от составления отчета за нынешний год по II отделению Академии наук. Отчет должен быть читан 29 декабря. Это взял на себя Я.К. Грот.

18 октября 1864 года, воскресенье

Неужели это правда, что пожарами потешаются наши нигилисты, а не поляки, которым это сначала приписывали? Из последних только немногие привлечены к ответу по этим подвигам.

Тело изнашивается, как платье. В нем делаются прорехи, которые медицина старается кое-как заштопать или положить на них заплату. Но, наконец, оно превращается в тряпку, годную только на то, чтобы ее выбросить и зарыть в яму.

19 октября 1864 года, понедельник

Иные люди с заслугами, так и хотелось бы их уважать. Но когда увидишь, как непомерно они себя ценят, в какое величие облекаются и как беспрестанно смотрятся в зеркало своего самолюбия до полной утраты всякой способности видеть что-нибудь, кроме себя и своей красоты, то немедленно прячешь опять свое уважение подальше. Так оно и остается едва ли не навсегда в экономии.

До какой степени, однако, исподличались люди нашего времени, если справедливо, что пожары произведены были “прогрессистами”. Ведь они, значит, поступают наподобие подлейших грабителей. И вот каким способом они хотят улучшить судьбу рода человеческого!

20 октября 1864 года, вторник

Обедал в клубе. Встреча со многими знакомыми, особенно с бывшими моими студентами, которые, по-видимому, рады были видеться со мною. Беседа с разными лицами. Все одно и то же: нескончаемые жалобы на нынешнее положение вещей, на всеобщую разладицу и распущенность. Земские учреждения никак не прививаются. Помещики жалуются, что их помазали по губам, — обещали им серьезные занятия, а вместо того дали программу, для которой не стоило делать столько ломки и шуму. Оттого между более значительными и умными помещиками возникла пассивная оппозиция. Так говорят по крайней мере. - Жалобы также на то, что пошлый демократизм принимает все большие и большие размеры и грозит важными бедами. Мужик не исполнил своих обязанностей, мужик вырубил ваш лес или каким-нибудь другим образом у вас сорвал — вы не найдете на него управы у местных властей.

Мы все спускаемся по скату и с неудержимой быстротой мчимся в пропасть, которой пределов и дна — не видно. Что делать! История ничего даром не дает, видно, и нам приходится поплатиться. Ведь с Петра Великого мы находимся в

неестественном и напряженном состоянии. Надобно же, чтобы это разрешилось каким-нибудь кризисом. Я не верю в необходимость сочиняемых революций. Но если их сочиняет история? Надобно, однако, стараться купить у ней то, что она неизбежно и неотразимо навязывает как можно дешевле, — заплатить 50, когда она запрашивает 100. Долг каждого честного человека содействовать этому удешевлению, а не накапливать дел, за которые придется платить страшные проценты. Вот почему я мой либерализм смягчаю консервативным принципом.

Либерализм надобно просеивать сквозь сито консерватизма: пусть выпадает чистая мука, а шелуха выбросится вон.

21 октября 1864 года, среда

Обсуживать факт столько же необходимо, как и иметь о нем понятие. Обсуживать факт — значит открывать смысл его, его отношение к другим фактам и место, занимаемое им в ряду их. Впрочем, многие другие интересы могут сопрягаться с известным фактом и входить в суждение о нем. Мыслящий ученый должен обсуждать факты.

22 октября 1864 года, четверг

Память по Неверовском в церкви института слепых. Служба была очень хороша, так же как и пение бедных слепых.

24 октября 1864 года, суббота

Если вы не будете чувствовать отвращения ко всему злому и безобразному, то как же вы почувствуете расположение к доброму и прекрасному?

Заседание в Академии наук. Последовало соглашение между членами II отделения насчет необходимости поддерживать самостоятельность последнего, на которую, было, посягнула комиссия для рассмотрения проекта нового устава. Сперва только я и Срезневский были защитниками этой самостоятельности, но когда предложена была комбинация, чтобы от III отделения взять русскую историю и древности и присоединить их, по сродству предметов, ко II отделению, тогда к нам пристали Грот и Пекарский. Один против всего этого оставался Билярский, из каких видов, уж не знаю.

Еще Гротом предложено было, чтобы членов-корреспондентов раз в месяц приглашать на наши заседания — “для литературного оживления”. Против этого восстал Пекарский — почему? — казалось непонятным. Впрочем, он объявил, что к литературе и литераторам не питает ни малейшего сочувствия. Он хочет быть верен одной науке, но о науке имеет самое странное, одностороннее понятие. Он, по-видимому, думает, что она состоит единственно в выписках из архивных актов и в накоплении материалов наподобие того, как он это сделал в своей книге о литературе и науке в эпоху Петра Великого. Положим, труд этот — труд почтенный, но тем не менее нельзя смотреть на науку так узко. Для Пекарского, кажется, мысль

не существует в науке: факты, цифры, буквы- — вот все, что он признает в ней. Срезневский согласился со мною на предложение Грота и даже упомянул о философском и художественном элементе в изучении литературы.

Срезневский и Билярский опять столкнулись в заседании. Билярский утверждал, что он мог бы быть в Академии (в III отделении) представителем философии языка, а Срезневский уверял его, что он не мог бы быть таким представителем, потому что он не знает иностранных языков или знает лишь немногие. Билярский рассердился и заметил Срезневскому, что не ему бы об этом говорить, так как он сам ничего не знает и т.д., но я и Грот поспешили прекратить это, обратив внимание отделения на другие предметы.

26 октября 1864 года, понедельник

Вы поддерживаете материальную сторону науки, — надобно же, чтоб были и такие представители ее, которые поддерживали бы и ее духовную сторону. Только в этом уравновешении интересов материальных с внутренними и духовными наука находит и свою точку опоры и обещает счастливые результаты. Разъединение этих сил и элементов в науке было бы более чем когда-либо великою несообразностью.

Писатели — представители живой движущей мысли; академики — представители мысли установившейся, утвердившейся. Но так как мысли человеческой не суждено стоять на месте, а напротив, суждено вечно идти вперед, то ей нужно и пособие силы движущейся и, следовательно, движущей точно так же, как этой последней нужна сдерживающая сила мысли академической.

Неужели талант есть что-нибудь чуждое Академии? Если Академия его не вырабатывает, то из этого не следует, что она не должна его уважать или обязана от себя отпихивать там, где представляются точки соприкосновения между ею и им, как, например, в исследовании отжившего языка и литературы с живым языком и литературою. Отделение русского языка и словесности менее всего может уединяться от жизни и общества, потому что в языке и литературе лежат и выражаются самые драгоценные их интересы.

Авторитет отделения выиграет от соединения с живыми силами литературы, потому что он будет поддержан силами, имеющими важное влияние на общество. Этим соединением отделение докажет свое уважение к тому, что дорого обществу.

И почему считать ничтожным суждение живого талантливого писателя о достоинствах и заслугах какого-нибудь автора, уже приобревшего себе имя в истории?

Академия, конечно, должна привлекать в свои стены только тех писателей, которые обнаруживают несомненный талант и сильно содействуют эстетическому и умственному развитию общества. Принятие в свои сочлены и соучастники таких литературных деятелей, я полагаю, не унизит Академии, а даст ей новый блеск и значение. Она со временем может даже присвоить себе как бы род санкции значения писателя и того внимания, какое ему оказывает общество. Тогда если бы явился талант сомнительного свойства или с такими принципами, которых Академия не

может одобрить, и она отвергла бы его, то это уже не могло бы служить ей укором. Всякий знал бы, что это происходит не от равнодушия ее или невнимания к успехам живой отечественной словесности, а от других, совершенно уважительных причин.

Возражение, что Академия тем самым вовлечется в омут разных литературных сплетен текущей литературы, мне кажется, не заслуживает серьезного внимания: это значило бы сомневаться в способности Академии поддерживать собственное ее достоинство.

Вчера заезжал ко мне Норов: убедительно просит к себе обедать. Чудак, ей-Богу! Я обещался.

27 октября 1864 года, вторник

Это неправда, будто Московский университет извинялся перед министром Головкиным по делу о книге Шедо-Ферроти. Это была одна из тысячи сплетен.

К несчастью, те, которым всего нужнее знать .истинное положение дел, узнают о нем всегда слишком поздно. Поздно будет вразумлять массу в уважении к закону, к правам собственности помещиков и пр., когда “передовые люди” развратят ее настолько, что она захочет всего. Тогда всякое обращение к порядку, к закону будет сочтено за реакцию.

У нас еще не выработалось и не установилось никаких понятий о законности и праве, и потому нет ничего легче, как впасть нашему народу в совершенную анархию.

Из иных голов, довольно, впрочем, пустых, выпрыгивают по временам легонькие, красивенькие идейки, которым страсть как хочется побегать по свету и погулять на воле. Слабоумные родители их ни в чем не хотят их руководить или стеснять, и идейки до того расшаливаются и становятся такими своенравными, раздражительными, что начинают идти наперекор здравому смыслу, который тогда, в свою очередь, на них ополчается. Иногда он не прочь даже и посечь их. Самая чувствительная для идеек в таком случае розга есть насмешка.

1 ноября 1864 года, воскресенье

Утром зашел к Ржевскому. Там разговор с здешним предводителем дворянства Татищевым. Он показался мне человеком толковым. Жалобы на демократические притеснения помещиков в отношении к крестьянам. О земском учреждении говорит, что вряд ли его можно применить, что дворянство не хочет такого ничтожного учреждения, и проч. и проч.

Ни одна из многих сил, действующих в обществе, не должна преобладать над другими. Все силы должны уравновешивать друг друга, и это стремление к равновесию есть разум общества, его благодетельный ангел-хранитель.

В науке, например, стремление собирать и хранить материалы полезно и необходимо. Но необходимо дать место и мысли, теории. Буквоеды говорят

обыкновенно; дайте прежде накопить материалов, а там после, когда-нибудь, вы их осмыслите и оживотворите мыслию и духом. Но когда же? Законченных полных результатов вы никогда не дождетесь, важен самый процесс деятельности, ибо человек есть беспрерывная деятельность. Но хорошо ли в самом процессе деятельности опираться только на одну силу, исключая другие, столь же важные и необходимые? Хорошо ли вместо четырех или двух колес ехать на одном или смотреть одним глазом, прищурив другой?

Вечером у Сухомлинова. Беседа с Лохвицким, Чебышевым, Дмитриевым и пр. Лохвицкий умен, но немножко смахивает на ярыгу. Его завтра будут баллотировать в профес-соры здешнего университета по юридическому факультету. Университет, пожалуй, сделает в нем приобретение в отношении науки, особенно при нынешнем безлюдье, — но держи ухо востро, университет! Он постарается прибрать в руки всю ученую братию, а как это ему, конечно, не удастся, то покушения его будут источником больших нестроений в корпорации.

Долго разговаривал с Костомаровым. Его статья “Вече в России” заарестована в цензуре Бог знает за что. Цензорам показалось, что не следует напоминать, что когда-то давно у нас народ собирался рассуждать о своих делах. Мне хочется помочь Костомарову, и как Совет по делам печати, по его жалобе, передал статью на мое рассмотрение, то я надеюсь, что мне удастся не допустить цензуру до этой глупости.

2 ноября 1864 года, понедельник

Поутру приходил Костомаров для объяснений по своей статье. Я посоветовал ему пожертвовать двумя-тремя словами и одной фразой, чтобы не дразнить…

3 ноября 1864 года, вторник

В некоторых произведениях художественной литературы характеры являются искусственно сложенными, а не органически развитыми. Таковы, например, характеры в немецких романах. Немец-романист сам себе скажет: вот надобно составить характер чудака-профессора. Является идея чудака-профессора в виде схемы. Вот, например, встречается рожа с особенно педантичными ужимками, — давай ее сюда! Черта берется и бережно откладывается в сторону. Далее следуют некоторые эксцентрические понятия о жизни, людях и проч. Все это прикладывается одно к другому, и когда накопится порядочное количество этих кусочков идеи, по мнению автора достаточное, чтобы наполнить ими схему, он их сортирует, складывает, и выходит чудак-профессор, то есть автомат без малейших признаков жизни или с признаками, пугающими воображение читателя, как пугают зрителя восковые фигуры с смотрящими стеклянными глазами и с механически размахивающими руками. Это настоящие Парацельсовы гомункулы.

На чтении в клубе. Читал В.А.Полетика на тему: земледельческое ли государство Россия? О самом вопросе он не много сказал, но вообще говорил очень легко, живо и умно. Ему часто хлопали.

4 ноября 1864 года, среда

Наше время принято называть переходным. Но не все ли времена переходные, то есть не все ли они служат ступенью от прошедшего к будущему? Каждое время не есть что-нибудь самостоятельное; оно стоит в средине между тем, что было, и между тем, что будет. От одного оно заимствует причины и основания, а для другого, в свою очередь, служит причиною и основанием. Если за признак переходности считать беспорядки, брожения, — отсутствие прочно постановленных начал и учреждений — словом, ломку отжившего, то это несправедливо. Переходят всегда не к более прямому или разумному, а к новому. Это не иное что, как закон вечного движения — закон perpetuum mobile.

5 ноября 1864 года, четверг

Заседание в Совете по делам печати. Совет, после некоторых возражений, утвердил мое представление о дозволении напечатать статью Костомарова “О вече” в журнале Е.Н.Ахматовой “Дело и отдых”.

Пржецлавский читал свою записку о “злокачественности” “Московских ведомостей”. Он говорит в ней, что газета эта была очень полезна, возбуждая народное чувство во время польского восстания, но потом она присвоила себе право, дозволенное только в государствах конституционных, — порицать все действия правительства и высших правительственных лиц, сделавшись настоящим органом оппозиции. Записка, надо отдать ей справедливость, написана ловко и умно. Так как члены Совета, при первом заявлении Пржецлавского, объявили, что они не подпишут протокола, ибо они не могут согласиться с безусловным осуждением московской газеты, хотя и не отвергают, что она вышла из пределов, дозволенных у нас в печати, то Пржецлавский доставил записку свою прямо министру. Поэтому Совет определил: принять ее к сведению и ожидать дальнейшего распоряжения министра.

6 ноября 1864 года, пятница

В прошедшем заседании Географического общества Безобразов в присутствии великого князя читал записку о гирлах у Ростова-на-Дону, о их засорении, необходимости очистки их и проч. Тут находился, между прочим, городской голова Ростова, человек, говорят, умный и значительный. Выслушав записку Безобразова, он попросил слова. Он говорил о том же, приводя и свои мнения.

В заключение он сказал: “Но между неудобствами, которым в настоящее время подвергается Ростов, есть еще одно весьма важное для местного населения. Это то, что ни один обыватель не может быть спокоен, если не имеет в своем распоряжении револьвера”.

Общее месячное собрание в Академии наук. Ничего.

8 ноября 1864 года, воскресенье

Утром у Тройницкого. Он очень болен. Я застал у него четырех докторов. Худой знак! Я спросил у Пеликана: “Какая у него болезнь? Говорят, ревматизм?” — “Чистейшая подагра”, — отвечал он. А между тем больной уверен, что у него ревматизм. Скверно то, что подагра летучая. Она открылась у него вдруг. Я просидел у больного часа два. Он, казалось, был доволен моим посещением и удерживал меня. Тут я познакомился с доктором Тильманом и с директором земского отдела Замятниным. При уходе встретился с министром Валуевым, с которым не виделся больше года. Очень любезен.

Вот какой скандал произошел в Большом театре. Давали какую-то оперу. Великий князь начал хлопать г-же Барбо. Со всех сторон вдруг раздались шиканья. Великий князь захлопал сильнее; шиканья усилились, так что хлопанье должно было умолкнуть.

9 ноября 1864 года, понедельник

Как ни гадко у нас все и как ни гадки мы сами, а все-таки мы не немцы, не французы, не англичане, а русские, и должны оставаться русскими.

10 ноября 1864 года, вторник

Положение великого князя, говорят, упрочивается. Заходил к Норову. Встречен с объятиями. У нас с ним возобновились дружеские отношения. Жалкий министр, он как человек имеет свои привлекательные качества, и с возвращением его к частной жизни качества эти опять вступили в свои права. Наши отношения теперь уравновешены.

Норов издал книгу “Даниил игумен” и снабдил ее своими примечаниями.

Отчего у людей честных меньше мужества делать честные дела, чем у мошенников делать злые?

16 ноября 1864 года, понедельник

Прегнусная ночь. В голове барабанило и давило, как уже давно не было.

Навещал больного Тройницкого. Ему лучше.

18 ноября 1864 года, среда

Депутация остзейских крестьян, прибывшая сюда просить государя о распространении на них Положения 19 февраля, принята дурно. Она атаковала как-то государя в Царском Селе и была отослана с флигель-адъютантом к Валуеву, а тот велел ей немедленно отправляться восвояси. Депутация московского купечества совсем не была принята. Она, как говорят, являлась для объяснений по поводу торговой конвенции, которая будто бы заключается не в пользу русской торговли на основании принципа свободы.

Великий князь, видимо, усиливается. На днях Головнин давал в честь его обед, на который был приглашен и Валуев. Рейтерн и Головнин крепче, чем когда-либо.

Министр внутренних дел велел рассмотреть в Совете по делам печати записку Пржецлавского о “Московских ведомостях” и доложить по ней свое заключение, когда выздоровеет Тройницкий. До меня не дошла еще она. Дело это весьма щекотливое. Пржецлавский подкрался для нанесения удара газете как раз в пору, то есть когда известная партия заметно усиливается. Я поступлю, как всегда, по своему крайнему убеждению.

Говорят, Головнин многих из московских профессоров представил к обычным наградам. Государь всем отказал. Значит, и правосудие удовлетворено и Головнин выказал свое великодушие.

19 ноября 1864 года, четверг

Накопилась пропасть дел. Надобно еще писать замечания на академический устав. Мой протест, однако, помог.

По новому уставу решено не сливать II отделения,с прочими и предоставить ему самостоятельность.

22 ноября 1864 года, воскресенье

Поутру у Войцеховича. Разговор о нынешних делах неутешительного свойства. Он человек умный и честолюбивый, сильно добивался власти и участия в делах, а теперь он только сенатор. О нем говорят, что он нечисто поступал в делах раскольничьих, которые при Николае I были ему поручены, — будто бы он брал с раскольников взятки, а между тем проповедовал чуть не крестовый поход против них. И теперешний взгляд его на раскольников не отличается либеральностью. Он уверен, что в них таятся семена важных социальных и политических переворотов.

У него встретился я также с князем Урусовым, который назначен докладчиком по делам Человеколюбивого общества. Эти дела, как и все другие у нас, страдают большими неурядицами, особенно в денежном отношении.

23 ноября 1864 года, понедельник

Человек жалуется на скоротечность жизни. А что бы он делал с жизнью более продолжительною?

Жизнь — не дар, а долг. Притча о талантах заключает в себе глубокую истину.

24 ноября 1864 года, вторник

В честном сердце существует потребность прямо и откровенно высказаться, когда от него требуют мнения. Об остальном оно не заботится: это уже не его дело.

Из многих опытов жизни я узнал, что в сумятице человеческих страстей и своекорыстий идея редко одерживает верх, если она не поддержана вещественною силою или властью. Высказывайте смело и откровенно идею, если сердце ваше бьется для нее: это долг честного человека. Но не унывайте в тщетности ваших усилий дать ей перевес в человеческих делах: это невозможно, если вы не вооружены властью. Довольно, что вы бросили ее в водоворот человеческой мысли: может быть, она там и не потонет. Но вам уже не знать вашего собственного детища, и, может быть, семя вашей идеи взрастет только на могиле вашей.

26 ноября 1864 года, четверг

Вчера еще послал Веселовскому мои замечания на проект нового академического устава. Вероятно, на меня будут некоторые, а может быть, и многие сердиться за то, что я сильно восстал против вызова ученых из-за границы и против увеличения пенсий некоторым из должностных лиц по Академии, как то: секретарю, вице-президенту, директорам библиотеки и типографии.

29 ноября 1864 года, воскресенье

Обедал у Княжевича. Владислав Максимович, между прочим, рассказал анекдот о Канкрине. Канкрину говорили о каком-то господине, который будто бы мог быть хорошим министром финансов. “Да, — отвечал Канкрин, — он человек умный, только, чтобы быть действительно хорошим министром финансов, ему недостает поэзии”.

1 декабря 1864 года, вторник

В руках человека трудолюбивого и искусного, как в природе, ничто не должно пропадать даром.

Что такое деспотизм? Односторонность, поглощение всех одним, подчинение одним интересам всех других интересов человечества или общества, одной идее — всех других идей, одной силе — всех других сил. Он нехорош, потому что противен природе вещей, — и одинаково нехорош, в какой бы форме ни являлся: в форме ли политической, нравственной, умственной или социальной.

2 декабря 1864 года, среда

Вечер у Благовещенского. Там, между прочим, познакомился с К.Н.Бестужевым-Рюминым, кажется, будущим профессором истории в здешнем университете.

4 декабря 1864 года, пятница

Общее собрание в Академии наук. Избран в адъюнкты Безобразов (Владимир

Павлович) по части статистики и политической экономии на место П.И.Кеппена. За него было 22 голоса, против него — 9.

Но самое важное в Академии — это было суждение о замечаниях, сделанных разными членами Академии на проект нового устава. Толки о том, чтобы все издавалось в Академии на русском языке. Вряд ли это возможно. В таком случае мы не имели бы никаких связей с ученою Европою, которая не знает по-русски. Есть вещи в науке, которые должны быть обнародываемы на языке всем доступном, а именно на французском. В проекте было сказано, что Академия издает свои сочинения на иностранных языках и на русском — “по своему усмотрению”. Я предложил поправку: “смотря по потребности”, потому что слово “усмотрение” отзывается произволом. Поправка эта принята единодушно. В проекте II отделение (русско-славянское) было почему-то переименовано в III. Грот стоял за старое название. Возникли довольно сильные прения. Решено удержать старую цифру. Я согласился с большинством. М.И.Броссе насмешил Академию. Возражая Срезневскому по-русски, он выразился, что мнение последнего несогласно “с добрым умом”.

Второе заседание будет в среду.

Литке показал много такта и умения направлять прения. Он и по-русски говорит совершенно правильно и чисто. Заседание длилось четыре часа. Да перед этим наше, в отделении, около двух часов. Итого я высидел шесть часов и досиделся до головной боли.

5 декабря 1864 года, суббота

Читал обнародованные на днях законы о судах. Вот великолепный монумент нашего времени! Дело это станет рядом с освобождением крестьян. Между тем о нем, за исключением небольшого круга, непосредственно соприкасающегося с этим делом, очень мало говорят и думают в обществе. Какая-нибудь журнальная сплетня производит больше впечатления, чем это бессмертное дело. Я пробовал заговорить об этом хоть с некоторыми из товарищей по Академии, но нашел мало сочувствия.

Новые законы сначала наделают много суматохи. Их не сумеют ни понять, ни оценить, ни применить. Но не должно приходить от этого в отчаяние, как не должно приходить в отчаяние от летнего дождя, который смачивает на вас платье, но приготовляет обильную жатву.

6 декабря 1864 года, воскресенье

Когда семья накормлена, сам сыт и все в тепле, чего же больше?

Демократизм демократизмом, но закон и право должны бы иметь также некоторую силу.

Все больше заняты теперь займом и лотереей, чем новым законодательством, которое, конечно, составляет эпоху в истории русского народа. Конечно, и то дело, да как же так мало принимать участия в одном из величайших событий народной

жизни.

Навещал больного Тройницкого. Ему теперь гораздо лучше. Да самому-то мне не лучше. Скверные дни и еще более скверные ночи.

7 декабря 1864 года, понедельник

Вечер у Литке. Много знакомых. Продолжительный разговор с Устряловым и Овсянниковым.

8 декабря 1864 года, вторник

Иметь в виду три монографии в виде воспоминаний:

1) О Якове Ивановиче Ростовцеве как писателе. 2) О Врончевко Михаиле Павловиче. 3) О Галиче.

Сегодня обедала у меня молодая и хорошенькая девушка из породы тех, которых ведут путем прогресса передовые люди вроде Лаврова. Я дразнил ее либерализмом и философиею. В жару защиты того, на что, ей казалось, я особенно нападал, а именно — что повиноваться никто и ничему не обязан, эта милашка, наконец, до того завралась, что стала защищать анархию и с энтузиазмом воскликнула:

“Анархия — самое лучшее состояние общества!” Я очень смеялся этому и сказал ей, что с удовольствием вижу, что семена такого великого философа, как Петр Лаврович, упали не на бесплодную почву. Она еще больше рассердилась, тем не менее мы расстались друзьями.

10 декабря 1864 года, четверг

Чрезвычайное собрание в Академии наук. Дочитывались и разбирались замечания на проект устава. Мое замечание о том, что из проекта следует исключить слова: “Из двух кандидатов на вакантное место в Академии — иностранного и русского — при равном достоинстве предпочтение отдается русскому”, — не встретило такой оппозиции, как я ожидал. Я того мнения, что в деле общечеловеческой науки, представительницею которой является и наша Академия, единственное решающее значение должны иметь ученые труды и заслуги, а не происхождение избираемого. Однако определено внести в проект поправку Срезневского, что иностранец избирается только в таком случае, когда нет достойного своего. Я остался при своем мнении. Пекарский потерпел сильное поражение. Я восстал против увеличения окладов канцелярским чиновникам. Секретарь на это даже обиделся, и все собрание приняло его сторону.

Желая сохранить для будущей биографии Я.И.Ростовцева некоторые сведения о нем как о писателе, я не могу отделить этих сведений от моей собственной личности. Ростовцев, бесспорно, обладал литературным дарованием. Но его умственные силы были рано отклонены на другое поприще, и дарование это не

успело выразиться в крупных чертах. Оно ознаменовалось немногими проявлениями и чертами, которые могли быть наблюдаемы людьми, к нему близкими и неприметно сливавшимися с обстоятельствами, в которые был поставлен Яков Иванович в ранней молодости. Вот почему сообщаемые мною о нем сведения как о писателе должны принять характер моих воспоминаний.

Беда, когда тупым и ограниченным людям попадется в руки какая-нибудь истина. Не постигая ее связи с другими истинами, они думают, что ее на все хватит, и удивляются, почему свет не идет так, как должен идти по этой истине. Они забывают, что есть еще другие истины, другие требования, которым тоже нужно дать место в системе жизни.

11 декабря 1864 года, пятница

Приказ о моем увольнении из университета помещен в 269 N “С.-Петербургских ведомостей”. Увольнение считается с 1 июня 1864 года.

Теперь более всего занимают публику толки о железных дорогах на юге и о займе. В вопросе о железных дорогах борются две партии. Одна требует дорог на Киев, другая — на Харьков и Кременчуг. Основные причины первой — политические, второй — экономические. Говорят, в прениях Географического общества первая партия одержала решительную победу. Ожидают теперь, что скажет правительство. Тут, как говорят, пришли в столкновение партии национальная, польская и немецкая.

Что касается займа, то решительно не добраться толку во всех о нем толках. В одном углу говорят, что заем совсем не удался, по крайней мере в Петербурге и Москве; в другом углу объявляют успех займа колоссальным. Извольте тут составить себе верное понятие о современных вопросах. В то время, например, как положительно известно, что партия, желающая железной дороги на Харьков и Кременчуг, потерпела сильнейшее поражение в Географическом обществе, “С.-Петербургские” ведомости” объявляют, что теперь вообще все согласны с тем, что дороги не следует проводить на Киев.

13 декабря 1864 года, воскресенье

Иные любят предаваться в науке гимнастическим упражнениям. Упражнения эти состоят в том, чтобы щеголять искусством и ловкостью в показании или опровержении таких фактов и таких понятий, которых ни доказывать, ни опровергать собственно нет никакой надобности, ни даже возможности. На это удивительные мастера немцы.

14 декабря 1864 года, понедельник

Вот теперь становится кое-что известным о займе. Публика подписалась на сто двадцать миллионов. Штиглиц взял на тридцать миллионов, но берлинский банкир Мендельсон взял всего на миллион или полтора, а не на тридцать, как говорили.

16 декабря 1864 года, среда

Совершенная распутица. Дождь. Тепла 2R. “Московские ведомости” мечтают о разделении власти между собою и правительством: ему предоставляют они пока вещественную, а себе умственную диктатуру… По всему видно, что “Московские ведомости” опьянели от успеха. Они считают себя всесильными, способными под эгидою московских оваций бороться даже с властью. Вот как далеко может зайти русский человек. Но неужели общество способно подчиниться такой диктатуре, такому свирепому и исключительному господству одного ума, одного мнения, и не сумеет выработать в себе других элементов умственной силы?

17 декабря 1864 года, четверг

Самые негодные люди — люди полуобразованные. Немного получше их так называемые образованные, но худшие из худших — это те, которые составляют касту ученых, артистов, литераторов, сказал бы и попов, если бы между многими дурными попами не попадалось и несколько хороших.

Если бы каждый подвергал себя перед самим собою ответственности за дурные мысли, как за дурные дела, то я думаю, что последних было бы меньше.

На днях Модестов принес мне свою монографию о Таците. Вещь недурная, и автор, кажется, обещает быть хорошим профессором. Он назначается в Одессу по кафедре латинской литературы.

Многие, кому удалось сделать какое-нибудь порядочное дело, считают, что это уже как бы дает им право на множество пакостных дел.

Вечером у Владислава Максимовича Княжевича. Вот один из немногих, у которых прекрасное сердце и ясный ум в связи с прочно установившимся возвышенным характером. Он не скоро дает себя понять. По наружности он не блестящ и как будто холоден. С первого взгляда в нем не подозреваешь ни того богатства мысли, ни той энергии в преследовании добра, ни той деликатности и полноты сердца, какими он вас изумит, когда вы поближе с ним познакомитесь. Он не спешит себя изобличить, а предоставляет вам самим открыть то, что другие так любят держать напоказ. Зато, полюбив его раз, кажется, уже никогда не разлюбишь, если только сам не перестанешь быть достойным любви. Он далеко не чужд новых идей. Он любит Россию как благородный человек и. как просвещенный гражданин.

Мы часто с ним видимся. У меня с ним как-то ладится. Сегодня Владислав Максимович много рассказывал мне о Вигеле, записки которого теперь печатаются в “Русском вестнике” и так много читаются, но правдивости которых, признаюсь, я мало доверяю. Княжевич был с ним знаком в Крыму. Оказывается, что Вигель был человек неизмеримо самолюбивый, тщеславный, готовый всякого оскорбить и сам оскорблявшийся самыми ничтожными мелочами. Так, однажды он рассердился на Владислава Максимовича и наговорил ему грубостей за то, что, как-то обедая у него, не был приглашен занять за столом первое место, тогда как у хозяина никогда и в мыслях не было размещать своих гостей по рангам или по каким-нибудь

отношениям, а всякий садился где пришлось, за круглым столом, без всяких указаний. “Ведь я — тайный советник”, — говорил Вигель, изъявляя свое негодование.

Вообще Вигель не пользовался ничьим уважением, и многие, встретясь с ним раз, старались уже больше не встречаться. Он был охотник читать свои записки всякому, кто соглашался их слушать, и, видимо, бил на эффект. Все это мне сообщил Владислав Максимович.

19 декабря 1864 года, суббота

Вечером у Ржевского. Познакомился с новым собратом, Безобразовым (Владимиром Павловичем), избранным в члены Академии. Человек, видно, знакомый с гостиными и большой говорун. Он и Мельников (Печерский) много рассказывали про Якушкина, известного наблюдателя народных нравов, в армяке ходящего по России.

Из рассказов Безобразова и Мельникова о народе и о провинциальном обществе и вообще о том, что называют массами, можно вывести довольно прискорбные заключения о русском народе, по крайней мере в настоящий момент его существования. Это какой-то омут, в котором кипят и бурлят волны сил без всякого направления и результата. Ну это, положим, может еще перебродить. Но вот что самое безотрадное: русский ум горячо на все кидается, но едва успев коснуться поверхности предмета, уже начинает им скучать и бросаться на другой, на третий и т.д., пока от усталости или от недостатка интереса, поддерживаемого только серьезным пониманием и участием к вещам, не впадает в апатию до новой вспышки. Ведь это очень печальная национальная черта. Если она действительно нам присуща, так что же прочного можем мы создать?

Книга Спасовича “Теория уголовного права” подпала опале. Ее не дозволено печатать новым изданием…

Вчера странный случай. Приехал в Римско-католическую академию читать лекцию и узнаю от студентов, что ректор, епископ Берестневич, и инспектор Вожинский сменены и едут — один в Ковно, другой в Вильно.

20 декабря 1864 года, воскресенье

Папа разрешился пренелепым вселенским посланием. Даже крепкие католики негодуют. Он чуть не формальному проклятию предает веротерпимость и всякое свободное стремление ума к знанию и истине. Одна французская газета (“France”) справедливо замечает, что даже в средние века подобные притязания встречали отпор и противодействие. В послании, между прочим, господствует неприличный главе католического христианства тон раздражения.

21 декабря 1864 года, понедельник

Целое утро почти до обеда провозился, приводя в порядок мои бумаги. Не управился даже с малою частью — с перепискою, которой едва половину успел разобрать. Выходит, что я переписывался решительно почти со всеми литераторами, многими из ученых и со множеством всяких лиц. Это такая масса — разумеется, за много лет, — что я затрудняюсь расположить ее в порядке. Уничтожать не хочется: тут много любопытного. Тем не менее многое все-таки уничтожил, особенно из частной переписки. Не понимаю, как успевал я отвечать на все эти письма. Если же и не на все отвечал, то все же на большую часть. Есть записочки небольшие, но интересные. Тут и психология, а иногда и история времени.

Приезжали ко мне прощаться ректор католической академии, епископ Берестневич, и инспектор, прелат Вожинский. Разумеется, нельзя было не коснуться причины внезапного их увольнения и отъезда из столицы, одного в Ковно, другого — в Вильно. Причина, по их словам, — интриги здешней, их же духовной власти.

Но по городу ходят слухи, что открыто существование какого-то общества или комитета, обще- и польско-революционного, которого и святые отцы не чужды.

22 декабря 1864 года, вторник

Великий князь Константин сделан председателем Государственного совета. Так называемая народная партия сильно встревожена. Она видит торжество немцев и поляков.

Великий князь, Головнин и Валуев — в тесном союзе. Последний спешит всячески поправить последствия своей прежней ссоры с великим князем и, кажется, вполне в этом успел. Что касается до Головкина, то этот интриган, кажется, больше всех в выигрыше.

Однако и Головнин делает нечто хорошее. Он, например, окончательно добивает авторитет орденов и чинов. Он столько надавал их всем и каждому, что совсем подрывает их значение. И впрямь, пора отучить чиновников от всякого рода тщеславия.

Впрочем, он и с казенными деньгами не церемонится и пригоршнями бросает их, благо министр финансов ему приятель. Вот, например, попечителю Стендеру он дал аренду. Стендер тем только и заслужил эту награду, что был гувернером где-то, где учился Головнин, Казанский университет привел в окончательный беспорядок и, чтобы не наделать там новых неудобств, уволен в бессрочный отпуск за границу, где и поднесь пребывает.

23 декабря 1864 года, среда

Неужели же одною материальною силою мы будем притягивать к себе немцев, поляков, финнов? “Московские ведомости” во имя народности желают слияния с Россией всех этих иноплеменников. Но разве этого возможно достигнуть посредством одной материальной силы? А где же наши умственные и нравственные преимущества, которые одни в состоянии дать нам над ними перевес и втянуть их в

нас?

27 декабря 1864 года, воскресенье

У правительства множество врагов, и нельзя не согласиться, что значительную часть их оно само создает себе своими ошибками и своею слабостью. Быв диктатурою по положению, оно лишено существеннейшего свойства диктатуры — силы заставить себе повиноваться. Его всячески обходят и не слушают, его порицают и над ним смеются не одни “Московские ведомости”: оно это видит, но ничего не делает ни для исправления своих ошибок, возбуждающих подобные вещи, ни для преграждения им пути. Другие враги зарождаются в тине революционных мечтаний и тенденций, но эти., пожалуй, менее опасны.

Вот истекает год. Каков мой внутренний мир и каково мое внешнее положение? Ни о том, ни о другом я не могу сказать ничего хорошего. Я не сделал ничего заслуживающего внимания. Правда, в уме моем я находил довольно восприимчивости и энергии, но как-то мало было воли, чтобы ополчить его и двинуть на продолжительный и последовательный труд. Особенно непроизводительно прошло лето. Мои воззрения на вещи и людей не изменились: они так же неутешительны и суровы, как и прежде.

С самим собою я был часто не в ладах. Однако начало самообладания и стремления к достижению высшего нравственного достоинства меня не покидали. В этом отношении я еще полон юношеских идей и юношеской силы. Что же мешало моему внутреннему успокоению и душевному миру? То же, что и всегда. Невозможность достигнуть того и сделать все то, к чему стремился и стремлюсь. Кроме того, я так же мало оказывал сдержанности и мужества посреди тех противоречий, какие беспрестанно возникают из наших сношений с людьми. Словом, в *действительном* самоусовершенствовании я мало сделал успехов.

Внешнее мое положение очень не блистательно… А здоровье? Оно стоит на одной точке — по крайней мере не хуже. Пароксизмы сменяются своим чередом почти периодически, но вообще я чувствую в себе довольно энергии…

28 декабря 1864 года, понедельник

Муравьева, говорят, спросили, какие ныне из поляков вверенной ему территории менее опасны? — “Те, которые повешены, — отвечал он, — а потом те, которые сосланы”.

Как скоро перестанешь заниматься определенным полезным трудом, так и становится скверно.

Право же, человек не может жить без иллюзии, что он что-нибудь значит, что-нибудь знает и что-нибудь делает. Есть вещи, которые надобно делать, хотя бы по одному тому, чтобы сделать не так, как хочется, а как должно.

Что за лицемеры и лжецы эти люди, будто бы несущие истины, — эти провозвестники науки, а в сущности ремесленники, добыватели денег и искатели

фортуны!

29 декабря 1864 года, вторник

Акт в Академии наук, — как все акты. Нынешний продолжался три часа с четвертью. Обозрение действий Академии и заслуг ее хорошо составлено и хорошо изложено Веселовским. Но все-таки утомительно было слушать его час с четвертью. Зато А.Н.Савич читал решительно невыносимо о заслугах умершего в нынешнем году Струве. Так читают только дьячки псалтырь по умершим.

31 декабря 1864 года, четверг

Конец 1864 году!
